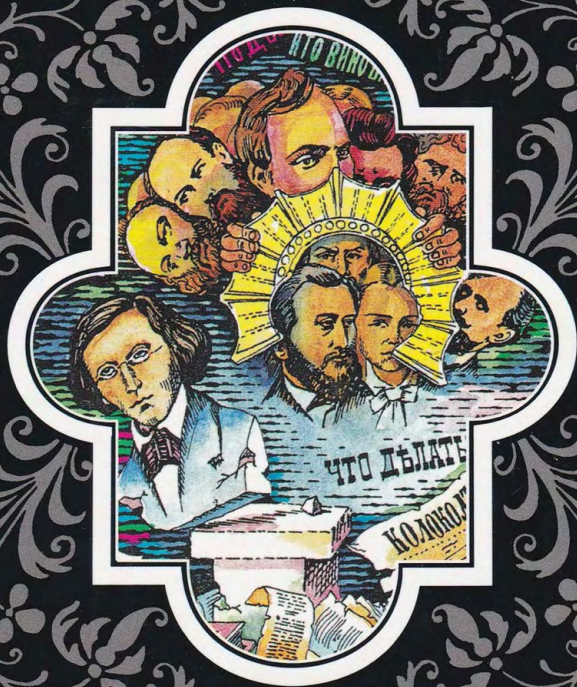


Д.Л. МОРДОВЦЕВ



Scan Kreyder - 09.08.2019 - STERLITAMAK



Д.Л. МОРДОВЦЕВ



Собрание сочинений

в четырнадцати
томах



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1996

Д.Л. МОРДОВЦЕВ



Собрание сочинений

Том
четырнадцатый



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1996

**ББК 84Р1
М79**

**Оформление художника
Б. ЛАВРОВА**

Мордовцев Д. Л.

М79 **Собрание сочинений: В 14 т. Т. 14.— М.:
ТЕРРА, 1996.— 576 с.— (Библиотека исторической
прозы).**

ISBN 5-300-00536-3 (т. 14)

ISBN 5-300-00170-8

**В четырнадцатый том Собрания сочинений вошли ро-
маны «Жертвы вулкана» и «Знамена времени».**

**М 4702010100-319
А30(03)-96** **Подписное**

ББК 84Р1

ISBN 5-300-00536-3 (т. 14)

ISBN 5-300-00170-8

© Издательский центр «ТЕРРА», 1996



Жертвы вулкана

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН
ИЗ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ
ЖИЗНИ ПОМПЕИ

Вместо предисловия

Посетив два раза, в 1883 и в 1889 году, Помпею, этот удивительный остаток античного мира, словно живым вышедший из своей исторической могилы после того, как он оставался в ней заживо погребенным почти восемнадцать столетий, явившийся во всей полноте его домогильной жизни: с форумами, обставленными рядами колоннад и статуй, с храмами, в которых пребывали на своих местах жертвенники и античные боги, с театрами и аренами, в которых оставались как бы со вчерашнего дня нетронутыми входные билеты и скелеты львов, ждавших боя с гладиаторами; дома, полные всего домашнего обихода, с посудой, мебелью, съестными припасами, хлебами, консервами, с детскими игрушками, даже с духами и притираниями для погребенных вместе с ними красавиц античного мира; улицы, со следами колес на мостовых, стены с нестертыми еще объявлениями о театральных представлениях и зрелищах, — посетив, повторяю, два раза это чудо древности, я всякий раз испытывал глубокое очарование при виде всего этого, и мысль моя невольно переносилась за две тысячи лет к той, полной поэзии и сверкающей всеми красками античной жизни, которая теперь сама явилась свидетельствовать о себе. Это неотразимое обаяние исчезнувшей с лица земли, отдаленной от нас тысячелетиями жизни, всякий раз вызывало во мне настойчивое желание воспроизвести картины этой дивной жизни хотя бы в слабых, бледных очерках, хотя бы неясные силуэты людей того далекого исторического прошлого с их человеческими страстями, радостями и печалью.

Скромную попытку того, что я хотел бы создать моими слабыми силами, я и представляю на суд читателей.

Обширный порт Помпеи ярким летним утром 79 года нашей эры представлял великолепное оживленное зрелище. На бирюзовой, гладкой, как зеркало, поверхности его почти сплошную массу толпились корабли, пришедшие сюда со всего известного тогда света: из Испании, Египта, Палестины, Сирии и даже из гиперборейской Пропонтиды — из Пантикапей, Херсонеса таврического, Меотиды и от таинственных берегов Скифии, из таких стран, которые воображение древних населяло антропофагами, мирмидонами и одноглазыми циклопами. Сквозь целый лес мачт и флагов глядело на эту картину голубое море, окаймленное дивною рамкою берегов с цветущими городами: Мизеном, Байями, Путеоли, Неаполем, Ретиною, портом Геркулеса и Стабиями. На заднем плане картины высились две горы, Сомма и Везувий, которые, как молчаливые стражи, своим массивным телом защищали этот райский уголок земли от сурового дуновения северных ветров.

Картина была действительно дивная, вполне отвечавшая самому названию всей этой местности — Счастливая Кампания.

Но детали этой картины представляли не одно счастье. Кроме богатых восточных товаров и всевозможных предметов роскоши, пришедшие сюда со всех стран корабли привезли с собою множество и иного рода товара, товара живого, говорившего на всех известных и неизвестных римскому миру языках. Это были невольники, закупаемые работоторговцами на всех невольничьих рынках Африки, по всем берегам Средиземного, Евксинского и Меотийского морей и перепродаваемые во все города Италии, всюду, где рабы были такою же необходимостью, как рабочий скот и вьючные животные.

Сюда-то, на помпейскую пристань, у самых стен города и был выгружен этот живой товар. Невольники и невольницы, старые и молодые, подростки и дети целыми беспорядочными группами стояли или лежали на особо сколоченных из досок возвышениях, чтоб покупатели могли их видеть, а чтоб могли в то же время оценить их «статьи» — мускулистость и силу мужчин, стройность и красоту женщин, — все невольники приводились на рынок голыми, и только женщинам позволено

было несколько прикрыть свою наготу, да и то лишь до осмотра товара.

Среди групп этих несчастных расхаживали с бичами в руках их владельцы-торговцы и, чтоб придать своему товару более оживления, хлестали по обнаженным плечам и спинам бичами то одну, то другую жертву, если видели на лицах их уныние или недостаточно живости.

Тут же массами толкались покупщики из Помпеи, Стабий и других соседних городов, а равно местные поселяне и рыбаки, пришедшие поглазеть на заморский живой товар, на чудеса Востока, на кривляющихся обезьян, на болтливых и крикливых попугаев и других невиданных птиц и зверей Африки.

В утреннем воздухе над всей этой колыхающеюся рыночной толпой стоял стон от громких выкриков и завываний продавцов, от нестройного гула и говора толпы, от стонов и плача живого товара, подбадряемого сыромятными бичами.

— Благородные граждане Помпеи! — выкрикивал длинный, черномазый сицилиец-продавец. — Купите бородатого скифа: он силен, как вепрь, и хороший наездник. Из него выйдет или отличный гладиатор, или ловкий автомедон на ристалищах.

Праздная толпа надвигалась к стороне бородатого скифа и любовалась его железными мускулами, а бедный скиф угрюмо смотрел куда-то вдаль, за Везувий, туда, где далеко-далеко расстилались его родные степи с высокими курганами.

— А вот чернокожий нубиец, благородные помпеяне! — махал бичом продавец над курчавою головой негра. — Он гибок и увертлив, как тигр его родины, а быстротою своих ног померяется со страусом. Купите, не жалейте сестерций: он может служить прекрасною кариатидою из черного лаконийского мрамора.

И черное блестящее тело негра действительно напоминало мраморную, чудной работы кариатиду из Лаконии, только грустные глаза говорили, что это не статуя.

— О, не срывайте с меня покрывала! — слышался женский, полудетский плач. — Великая Изиди! Защити, укрой меня, о!

— Прочь, нахалы! — послышался чей-то могучий голос. — Не смейте обнажать бедную девочку.

Толпа дрогнула и подалась назад от возвышения, на котором находилась группа женщин-невольниц и между ними прелестная девушка, почти ребенок, с золотистой косой, с профилем сфинкса и прекрасными продолговатыми, как у

сфинкса, глазами. С нее-то и сдернули было покрывало какие-то молодые нахалы в новеньких тогах. Могучий же окрик, от которого они оробели и попятились, принадлежал тучному высокому мужчине с огромною лысиной и редкими остатками седых волос у висков и на затылке. За ним шли четыре воина в одежде римских матросов с короткими мечами у бедер, а рядом с ним курчавый молодой человек с свитком папируса в руке и тростью.

Тучный мужчина, перед которым все почтительно расступились и богатая тога которого изобличала римского сановника, подошел к золотокошой девушке, смущенно и со слезами на глазах старавшейся прикрыть красным шерстяным лоскутом свои полуобнаженные, почти не сформировавшиеся еще части тела.

— Откуда ты, бедное дитя? — спросил он ласково.

Девушка молчала, нервно теребя свое покрывало.

— Из Египта, благородный господин, — подобострастно отвечал за нее продавец, пряча за спиною свой хлыст.

— А умеет она говорить по-римски? — продолжал спрашивать тучный вельможа. — Когда наглецы, — он оглянул толпу, — сорвали с нее покрывало, то мне послышалось, что она призывала великую Изиду на языке египтян.

— Благородный господин прав, — почтительно отвечал продавец, — моя прекрасная невольница предпочитает язык своей родины, но она отлично знает и римский, и эллинский языки. Кратилла, — строго обратился он к юной невольнице, — отчего ты не отвечала, когда с тобой заговорил благородный римлянин? Слышишь? — И он показал ей хлыст.

— Не смей ее трогать! — остановил его гордым жестом римлянин. — Я сам поговорю с ней.

Потом, обращаясь к юной невольнице, он спросил ее с отеческой нежностью:

— Так тебя зовут Кратиллой, бедное дитя?

— Да, господин, — тихо отвечала девушка, — мое имя Кратилла.

— Это имя греческое, а ты сама египтянка?

— Я только родилась и выросла в Мемфисе, но мои родители греки.

— Как же ты, бедное дитя, сделалась невольницей? — спросил римлянин с глубоким участием.

Девушка заплакала. Крупные слезы, как жемчужины, текли из ее глаз, но она не смела даже утирать их, боясь неловким движением обнаружить свою наготу.

— Бедное, бедное дитя! — тихо шептал римлянин, тронутый глубокою скорбью юной невольницы.

В это время ее продавец, суетливо бросившись в ближайшую палатку, вынес оттуда широкий цветной плащ и накрыл им голые плечи плачущей девушки.

— Я ее купил, благородный господин, купил на законном основании, — торопливо бормотал он, укутывая свою жертву. — Клянусь Нептуном и его могучим трезубцем, я ее не похищал, а купил на море в виду острова Крита.

— Ба-ба-ба! Великий навмарх и славный испытатель природы! — раздался сзади чей-то голос. — Какой шаловливый фавн превратил великого ученого в служителя Венеры?

Это говорил, повелительно отстраняя от себя толпу, высокий пожилой гражданин в богатой тоге, ведя под руку молодую девушку, черная головка которой украшена была белою и желтою розами.

— А, почтенный Марк Аррий и прекрасная Мальвия! Да покровительствуют вам вечные боги, — отозвался тот, которого называли великим навмархом и испытателем природы, обращаясь к пришедшим и здороваясь с ними.

Сопровождавший его молодой человек с свитком папируса в руке также приветствовал пришедших. При взгляде на девушку с розами в волосах черные глаза его сверкнули внутренним огнем, но, по-видимому, огнем мгновенно вспыхнувшей досады.

— Так великий навмарх созерцает красоту юных невольниц? — продолжал в шутливом тоне тот, которого называли Марком Аррием. — Что ж, испытатель природы, по-моему, должен изучать не одни растения, цветы, камни и животных, но и прекраснейших из этих последних — хорошеньких невольниц, вроде вот этой рыженькой Венеры.

— Но это не Венера, почтенный Аррий, — возразил тучный римлянин, — это еще чистая, невинная Психея.

— Ах, какая хорошенькая! — невольно сорвалось с языка той девушки, которую называли Мальвией. — Какие волосы, какие глаза, точно у Андиомены Апеллеса. Отец, милый, — обратилась она к Марку Аррию, — ты непременно должен купить ее мне. У меня будет самая красивая рабыня во всей Помпее, как мне будут завидовать наши матроны и девицы! Купи, милый!

— А может, великий навмарх уже приторговал ее для себя, для натуральных коллекций, — продолжал в прежнем шутливом тоне Марк Аррий.

— Нет-нет, почтенный господин! — возразил продавец. — Благородный навмарх не спрашивал даже о цене невольницы.

— Правда, — отвечал тот, которого называли навмархом. — Я приехал из Мизена с целью посмотреть, не привезли

ли пришедшие с Востока корабли каких-либо новых экземпляров птиц или зверей, которых мне не приходилось еще изучать.

— И наткнулся на этот рыженький экземпляр? — продолжал шутить Марк Аррий.

— Да... Меня возмутили нахалы, какие-то публичные скоморохи или певцы, которые сорвали с нее покрывало, а потом я заинтересовался судьбою этого бедного ребенка.

— Но она уже не ребенок, благородный навмарх, — вмешался продавец, — она уж взрослая совсем, ей четырнадцать лет, а египетские девушки развиваются...

— Хорошо, хорошо, оставь! — остановил его римлянин.

Юная невольница уже не плакала. Задрапированная по самое горло ярким плащом, она сама вся похожа была на яркий цветок. Глаза ее робко, но уже без ужаса украдкой поглядывали то на этого доброго лысого толстяка, которого она сразу полюбила за его великодушие, за его ласковый голос, за его кроткие глаза, то на этого высокого насмешника, сразу оттолкнувшего ее своими грубыми шутками, то на его красавицу дочь, то на молчаливого юношу со свитком папируса. Она сейчас же поняла, что в жизни ее совершается новый переворот к лучшему: по крайней мере, ее не будут больше хлестать этим ужасным бичом. А кто знает?.. Она рабыня... Как ей хотелось, чтоб она досталась этому доброму толстяку с кроткими глазами!.. Она боялась красавицы с розами в волосах: хоть бы искра сожаления или участия к бедной невольнице блеснула в ее гордых, самоуверенных глазах... Она будет гордиться, хвастаться своей рабыней... Нет, лучше бы к доброму толстяку с кроткими глазами...

А эти кроткие глаза участливо смотрят на нее.

— Расскажи же, бедное дитя, как ты попала в неволю? — спросил наконец добрый толстяк. — И где твои родители? Может быть, нам удастся возвратить тебя им...

Детская радость мгновенно осветила нежное личико девушки.

— О, великая Изиды, если б это чудо совершилось! — воскликнула она, сжимая руки. — Но я не знаю, где мой отец и моя мать. Отец мой скульптор с острова Книд, и все его предки были скульпторами. Первый наш родоначальник был учеником великого Праксителя, от него и перешло в наш род искусство ваяния. Лет двадцать назад отец мой с острова Книд переселился в Египет, чтобы научить египтян искусству ваяния по греческим образцам, потому что египетская скульптура груба...

— Правда, милое дитя, — подтвердил и навмарх, — египетские боги и статуи их царей далеки от истины, от природы. Ну?

— Отец мой и основал в Мемфисе школу ваяния, — продолжала девушка, — и двадцать лет работал там. В Мемфисе я и родилась, там я училась у жрецов при храме Изиды, которые и научили меня римскому языку. Дома же мы говорили на родном языке, а по-египетски научилась говорить с детства от нянюшки египтянки. В последнее время отец и мать стосковались по родине и решили съездить туда, да, кроме того, отцу хотелось сделать для себя копию с знаменитой статуи Афродиты Праксителя, которая находится в ее храме на острове Книд. Но на море на наш корабль напали финикийские пираты, всех взяли в плен и распродали в рабство на разных невольничьих рынках. В Тире на рынке меня купил мой прежний владелец, торговавший неграми, а у него около острова Крит перекупил меня и вон того нубийца настоящий наш владелец. Куда продали отца и мать, я не знаю... О, мама, моя мама! О, великая Изида!..

Девушка, ломая руки, опять залилась слезами.

— Утешься, бедное дитя! — успокаивал ее добрый толстяк. — Мы постараемся разыскать твоих родителей, у нас для этого немало средств. Я пошлю запросы на все невольничьи рынки Средиземного моря от лица римского сената, в силу предоставленной мне божественным цезарем власти, и тогда посмотрим, кто ослушается повеления, над которым начертаны будут священные буквы: S. P. Q. R.! — заключил он торжественно.

При этих словах многие на площади обнажили головы.

— Это Плиний, великий начальник всего римского флота, — слышался шепот в толпе, — великий ученый муж.

— А этот высокий — Марк Аррий Диомед, вольноотпущенник божественной Юлии Ливии Друзиллы, супруги божественного Августа, он же и магистр пригорода Помпеи, Августус Феликс.

— А это его красавица дочь — Мальвия.

— А тот юноша со свертком — племянник Плиния.

II

Действительно, это были: добрый толстяк — знаменитый Плиний, впоследствии названный Старшим, в отличие от своего не менее знаменитого впоследствии племянника, Плиния же, названного Младшим. Плиний Старший в это время начальствовал над римским флотом, зимовавшим в порте Мизена.

Марк Аррий Диомед, кроме своего официального положения, был известен в Помпее своей роскошной загородной виллой, расположенной близ дороги, ведущей из Помпеи в Геркуланум.

Когда юная невольница Кратилла после своего рассказа снова предалась отчаянию, начался формальный торг. Она все надеялась, что ее купит добрый толстяк, к которому она охотно бы бросилась на шею и умолила не отдавать ее никому, но стыд мешал этому естественному порыву. Между тем Мальвия так и повисла на шее у отца: «Купи мне ее; милый мой, хороший!»

Диомед души не чаял в своей любимице и, понятно, ни в чем не мог отказать ей. А продавец между тем не переставал расхваливать свой товар:

— Посмотри, господин: это не простая рабыня, а настоящая весталка... Великий навмарх прав, назвав ее Психеей: посмотрите, какие девственные формы, какая округлость бюста, какие нежные очертания торса, какие руки, ноги!

И торг состоялся тотчас же. С немым укором бедная девушка посмотрела на Плиния, но тот со свойственной ученому мужу рассеянностью ничего этого не заметил. Его интересовал теперь бородатый атлет, скиф, представлявший собою фигуру Юпитера олимпийского, только без орла и скипетра, но с выкрашенными белую краской ногами. Плиний засмотрелся на этого обитателя гиперборейских степей, где когда-то изнывал великий изгнанник Овидий. Ему захотелось приобрести этого задумчивого гиганта и сделать из него не гладиатора, как предлагал продавец, а отличного матроса.

— А где ты приобрел этого скифа? — спросил Плиний продавца.

— В Босфоре киммерийском, благородный господин, в городе Пантикапее, — отвечал тот.

— А почему ты знаешь, что он скиф?

— Так называли его пантикапейские греки, у которых я купил его.

— А сам он на каком языке говорит?

— Ни на каком, господин, он только ворчит, как собака, или рычит. Только одно слово я у него и разбираю: это когда на море случится буря с громом и молнией, так он поднимает к небу руки и рычит: Перуне, Перуне. Должно быть, это у них бог, вроде нашего Юпитера громовержца.

Плиний на минуту задумался, а потом спросил о цене невольника. Цена оказалась подходящей, и он купил скифа. Тут же на него надели грубую рубаху, не достигавшую до

колен, а юную Кратиллу увели в палатку, где она и оделась в свое греческое одеяние, значительно поношенное.

Кратиллу тотчас же увели в Помпею через Порто-Марина, а Плиний со своею покупою, с племянником и матросами направился от невольничьего рынка к той части порта, где выставлены были на продажу редкие птицы, привезенные из Азии и Африки, обезьяны и звери в клетках. Пока он обходил клетки с птицами и зверями, юный Плиний, по его приказанию, купил у торговца хлеба и тушу баранины, чтоб накормить скифа. Бедный гигант оказался страшно голодным и с жадностью накинулся на предложенное ему угощение. Затем, увидав каменный бассейн, наполненный водою, он припал к нему рядом с пившими воду ослиами и стал жадно утолять мучившую его жажду.

— Он пьет, как лошадь, не отрываясь, — заметил один матрос.

— Да, побыл бы ты в его шкуре, так и из помойной ямы стал бы глотить не лучше свиньи, — заметил на это другой, пожилой, матрос.

Между тем Плиний купил себе пару страусовых яиц и ихневмона, того злейшего врага страусов, пожирающего их яйца, и едва направился было к берегу, где дожидалась его лодка, на которой он приехал из Мизена, как невольно остановился в радостном изумлении.

— Вечные боги, кого я вижу? Это ты, Агриппа? Откуда? — спрашивал он, не зная с чего начать. — Как! Неужели это ты? Такой старик?

— Я, я, мой друг! Парки, видимо, торопятся допрясть до конца нить моей жизни, — отвечал новоприбывший слабым голосом.

Он был худ и бледен, несмотря на сильный загар. Широкая тога болталась на его плечах, как на вешалке.

— Какие добрые боги привели тебя к нам? — участливо допрашивал Плиний, обнимая друга.

— Харон давно кивает мне веслом, приглашая в свой челнок, — загадочно отвечал новоприбывший, — но я пришел просить покровительства великого Сераписа, не поможет ли он мне?

— И хорошо сделал, — серьезно сказал Плиний, — и я прошлым летом лечился в храме Сераписа, и милостивый бог уменьшил мою одышку. Так ты прямо из Испании?

— Да, мой друг, только заезжал в Рим, поклониться новому цезарю, божественному Титу.

— А что нового в Риме?

— За болезнью, признаюсь, я никого почти не видел, навестил только старого друга, Тацита... О! как он бичует в своих «Анналах» постыдный Рим и его граждан, хоть и огоривается, что пишет свой великий труд *sine ira et studio*... Узнав, что я еду к тебе, он велел горячо обнять тебя: Плиний, говорит, наша гордость...

— О! Славный старик слишком милостив ко мне, — скромно возразил великий ученый. — Но как тебе понравились наши места? Ты здесь в первый раз?

— В первый, мой друг, и нигде ничего подобного не видел: это настоящий Элизиум на земле.

— Правда, мой милый Агриппа: недаром и бессмертный Вергилий здесь именно поместил и Элизиум, и Аид, и ты все это увидишь своими глазами. Именно здесь, — Плиний торжественно окинул взором всю дивную панораму неаполитанского побережья, — на этом таинственном клочке земли всемогущие боги, которых я созерцаю в творческой и разрушительной силе природы, дают смертным и то, что может дать самого блаженного Элизиум, и то, что самого ужасного может дать Аид. Я давно стараюсь проникнуть в тайники природы, которая неохотно открывает смертным свои тайны. В последнее время я замечаю, что здесь происходит какая-то усиленная подземная работа, точно Вулкан готовит что-то ужасное смертным, от чего вся земля колеблется в основании. Недавно вон там, около ПUTEОЛИ, я всходил на гору, которая называется *forum Vulcani*; там, в недрах этой горы, совершается что-то таинственно-ужасное: из расщелин скал исходит удушающий серный дым; это дым Аида. Когда я топнул ногой, то мне послышалось, что из-под земли раздались какие-то глухие стоны: это были стоны теней умерших, заключенных в мрачном царстве Аида...

— И ты, муж науки, веришь этим басням, занесенным к нам из Греции? — перебил Плиния его друг.

— Верю, потому что и я и ты — мы не что иное, как щепоть той же земли, в которую я топнул ногой, и она со стоном отозвалась на мой призыв.

В это время они подошли к берегу, где их ожидали две лодки: одна, на которой прибыл из Мизена Плиний, и другая, привезшая в Помпею друга Плиния, Агриппу.

— Так ты теперь из Мизена прибыл сюда? — спросил его Плиний.

— Да. Я нашел там только почтенную матрону, твою сестру, и она сказала мне, что ты с племянником отправился в Помпею, я и поспешил к тебе навстречу, чтоб обнять старого друга.

— Благодарю. Дружба, как и любовь, это высший дар богов: любовь все созидает в мире, а дружба сохраняет созданное от разрушения. Сколько, однако, лет мы не виделись?

— Да около тридцати, даже больше, с того самого момента, когда мы в последний раз встретились с тобой у посившего трупа задушенного Тиберия. И однако, — прибавил Агриппа с грустной улыбкой, взглянув на своего друга, — наша дружба не спасла нас от разрушения: безжалостный Хронос унес с твоей некогда курчавой головы все волосы, а мою черную голову всю обсыпал инеем седины, да и ноги отнял, грудь разбил...

Он удушливо закашлялся.

— Вот... И Тацит кашляет над своими «Анналами»...

Друзья сели в ожидавшую их лодку. В ней же поместились Плиний-младший, новоприобретенный скиф и четыре матроса с кормчим. Лодка отчалила, а за нею и другая, привезшая Агриппу, в которой остались два прибывшие с ним рыбака, старик-отец и молодой загорелый малый, сын.

Лодка плавно скользила по бирюзовой поверхности моря, пересекая Неаполитанский залив по направлению к заливу Байи. Друзья молчали, занятые каждый своими мыслями. Из головы Плиния не выходило грустное, задумчивое личико Кратиллы. Зачем он уступил ее Диомеду? Зачем не избавил ее от рабства? Хорошо ли будут там с нею обращаться? Она — такое нежное, хрупкое существо, она не предназначена для рабства. Но может быть, ему удастся вернуть бедную девочку ее родителям.

Скиф между тем, сидевший на дне лодки, позади передних гребцов, встал и, положив свои мускулистые руки на их весла, что-то проворчал, знаками показывая, что хочет грести. Матросы с улыбкой смотрели на него.

— Ты, варвар, хочешь попробовать? — спросил один из них. — Да умеешь ли ты работать веслами?

Плиний заметил эту сцену и тоже улыбнулся.

— Уступите ему весла, — сказал он матросам. — Дикарь не хочет сидеть сложа руки.

Матросы повиновались. Скиф сел на их место, поплевал себе в ладони, взял весла и начал грести. Все сразу заметили, что весла попали в опытные руки. Он так ловко, глубоко и легко забирал ими воду, что лодка полетела как птица и далеко оставила за собою лодку Агриппы.

— Клянусь Нептуном! Этот варвар врожденный моряк! — воскликнул Плиний. — Смотрите, какое умение, ка-

кая ловкость! И метрическая правильность взмаха и удара... Удивляюсь только, где он в своих степях мог так освоиться с морем.

А между тем варвар сам вспоминал, где он освоился с морем. Там, далеко-далеко, на берегу такого же голубого моря, хотя его и называли Черным... Там, в той стране, которую греки называли Тавро-скифиею, он беспечным ребенком, маленьким дикарем, бегал по песчаному берегу своего родного моря, пока не вырос и не превратился в большого дикаря... Там он и пенил свое море на своей маленькой лодке-душегубке, пока не захватили его в море греческие пираты и не продали в рабство в Пантикапее... И вот он здесь, в неизвестной стороне...

И чтобы задавить душевную муку, тоску по жене и маленьким детям, он еще с большею силою налегал на весла, и лодка летела все быстрее.

— Вон там, над тем берегом, покоится прах бессмертного Вергилия, — говорил между тем Плиний, показывая на выдающийся в море мыс.

Скоро они миновали ПUTEОЛИ и мост, построенный по повелению Калигулы для соединения этого города с Байями, где предавались безумному разгулу позорные владыки развратного Рима. Длинная линия этого моста Калигулы — чудовищного сооружения, как все было чудовищно, что ни совершали римляне, издали казалась темною бесконечною нитью, а за этой полосой сверкал на солнце своею темною бирюзой чудный залив Байи, живописные берега которого пестрели причудливыми виллами знатнейших вельмож Рима.

— Там и вилла Цицерона, — указал рукою Плиний.

Вдруг со стороны моря, при совершенно безоблачном небе, налетел шквал. Лодка задрожала, накренилась и полетела еще быстрее. Море моментально покрылось рябью и словно все затрепетало, как исполинский сосуд, которым колыхнула невидимая могучая рука.

— Старик Нептун сердится, — как-то загадочно сказал Плиний, — кормчий, зорче наблюдай! Держи прямо в лицо ветру.

Но лицо ветра уже трудно было уловить: он точно сам заметался, испуганный окриком страшного бога морей. Из-за острова Питеуза подвигалось что-то темное, какая-то живая масса с белыми трепещущими окраинами. Из морской ряби уже выскакивали какие-то чудовища с белыми гривами, и море ревело. Серые чудовища превращались в громадные пенистые валы, которые, казалось, обгоняли друг друга, стараясь

поглотить свою добычу, жалкую лодку. Ее то вскидывало на эти косматые гребни, то бросало в бездну.

Но спасительный берег уже близко, вот скоро-скоро мол, а за ним и бухта.

Но вдруг налетает шквал с другой стороны. Лодка опрокинулась — и все исчезло под водою.

III

Когда Диомед и его красавица дочь вместе с юной рабыней вступили в город через Порто-Марина, их слух поражен был какими-то необычайными раскатами грома. Они невольно остановились.

— Что это? — с изумлением воскликнул Диомед. — Клянусь Юпитером! Это гром на безоблачном небе...

Раскаты грома повторились еще с большею силой: казалось, что стены города дрогнули.

— Вечные боги! — с испугом прошептала Мальвия.

Но в это время раздался сзади них, за городскими воротами, такой оглушительный рев, что все сразу поняли, в чем дело.

— Клянусь Марсом! Это праздник для Помпеи, — радостно сказал Диомед, останавливаясь у крытого перистилия базилики.

— Это ревут львы, — обрадовалась и Мальвия, — давно Помпея не слыхала этой прелестной музыки.

— Да, я и забыл, что мне вчера говорил наш благородный эдил...

— Панса? — перебила отца Мальвия с заметным смущением.

— Клянусь Юпитером! Ты точно глупая девочка, — пожал плечами Диомед, — ты точно не знаешь, что у нас один эдил, это Панса.

— Что ж он вчера говорил тебе? — заторопилась девушка. — Ах, отец, а ты даже не сказал мне, что виделся вчера с ним.

— Ну, что ж! Мало ли с кем я вчера виделся.

Львы опять возобновили свой ужасный концерт. Рев их, действительно похожий на раскаты грома, приближался все более и более к тому месту, где остановились наши путники. Навстречу им торопливо бежали со всех сторон ребяташки и взрослые, слышав рыкание обитателей пустынь.

— Ну, отец, что ж тебе сказал Панса? — спросила Мальвия.

— Он сказал, что ожидает из Александрии партию львов. Город давно скучает без обычных зрелищ. Панса говорит, что он не может показаться на форуме без того, чтоб толпа не кричала ему: «Благородный эдил! Мы требуем зрелищ!» Он даже боится, как бы бунта не было из-за этого. Ну, а теперь чернь успокоится.

В это самое время из-за пилястр портика, ведущего из Базилики к форуму, показалась стройная фигура пожилого мужчины в богатой тунике, драпированной легкою тогой.

— А, вот он и сам! — воскликнул Диомед, идя навстречу эдилу. — Клянусь парками, они не только перестали прясть нитку жизни благородного эдила, напротив, парки ее раскручивают назад: ты все молодеешь, благородный Панса!

Эдилу Помпеи было далеко за пятьдесят лет, но он замечательно сохранился: в лице, в движениях его, во всей фигуре было столько подвижности и молодой энергии, что любой помпейский юноша-патриций, истощенный невоздержанностью и кутежами, охотно взял бы себе его лета вместе с его жизненной энергией.

При виде его лицо Мальвии покрылось легким румянцем.

— А, прекрасная Мальвия! — сказал эдил, подходя к девушке. — Клянусь Венерой, сама Флора посыпает твои нежные ланиты розами.

— Я боюсь, благородный Панса, ты этими словами возбудишь гнев богини любви, — кокетливо отвечала девушка.

— Скорее зависть к прелестям смертной, — любезничал эдил. — А вот и мои африканские клиенты, — сказал он, указывая по направлению к Порту Марина.

Оттуда медленно двигался странный кортеж. На высокой двухколесной биде, запряженной двумя сильными мулами, стояла огромная железная клетка, прикрепленная к биде такими же железными цепями, и сквозь решетку клетки виднелась массивная фигура громадного льва, который нетерпеливо бил хвостом по железным прутьям своей прозрачной темницы. Рядом с ним шел черный нубиец с длинным копьём в руке. Это был вожатый львов и, в случае нужды, их усмиритель. За первую бидою следовала вторая... В ее железной клетке беспокойно двигались два чудовища, несколько меньше, чем первое: это были лев и львица. За ними еще и еще клетки с такими же страшными парочками.

Вдруг передовое чудовище издало страшный рев. Его подхватили другие пары, и начался ужасающий концерт, от которого толпа бросилась врассыпную. Тогда вожатый нубиец обернулся к зачинщику и что-то сказал ему на своем языке.

Лев перестал реветь и покорно лег, тяжело дыша своею огромною пастью, словно из раскаленной печи. Концерт смолк.

— О, какие страшные чудовища! — вздрогнула Мальвия, прижимаясь к отцу. — Кого же будут травить ими? — спросила она эдила.

— Я еще и сам не знаю, прекрасная дочь Аррия, — отвечал Панса, — пока еще нет такого преступника, которого сенат осудил бы на растерзание.

— А гладиаторы на что? — возразила нежная помпеянка.

— Это как они захотят, — отвечал эдил. — Но едва ли найдется такой, который охотно пошел бы на верную смерть.

— А рабы? Их можно травить: они наша собственность, — настаивала сердобольная девица.

— Ах ты цикада! — засмеялся отец. — Клянусь Плутон, какой же дурак захочет даром потерять раба, за которого он заплатил чистыми сестерциями? Да если бы и захотел, то закон не позволит.

— Ах, какой жестокий закон! — вскричала очаровательная красавица.

— Да, — вздохнул эдил, — миновали уже добрые старые времена, когда рабы были нашей неотъемлемой собственностью, как баран или курица. Да, обидно.

— О, добрые старые времена, когда я для стола моей августейшей повелительницы, божественной Ливии Друзиллы — да веселится она в садах Элизима! — откармливал в ее садках мурен телом негодных рабов и рабынь, эти добрые старые времена отошли навсегда, — вздохнул жалостно и Диомед.

— Но утешься, прекрасная Мальвия, — успокаивал огорченную девушку сердобольный эдил, — у меня имеются на примете хорошие экземпляры на закуску моим африканским клиентам.

— Кто же такие? — обрадовалась Мальвия.

— О, прекрасная дочь Аррия, это пока секрет государственной важности, — уклончиво отвечал эдил.

Кортеж со львами между тем последовал далее по направлению к амфитеатру, который находился в другом конце города, между Порта-Нуцера и Порта-Сарно. Толпа любопытных, разгоняемая центурионом и воинами, двинулась за кортежем.

— А это что же за златокудрая нимфа у вас? — спросил эдил, заметив Кратиллу, которая стояла позади своей хорошенькой госпожи и нервно куталась в складки своего плаща.

— Это моя новая рабыня, — весело отвечала Мальвия, — гречанка из Египта.

— Какой прелестный ребенок! — невольно воскликнул эдил, любуясь юной рабыней. — Клянусь Марсом, это настоящая Психея Праксителя.

Кратилла при этих словах вздрогнула, а дочь Диомеда досадливо закусил губки.

— Однако мне пора по делам, — сказал эдил, прощаясь с Диомедом и его дочерью, — надеюсь, благородный Аррий, ты не забыл обещания ужинать у меня завтра вместе с моими друзьями. Надеюсь, что и прекрасная Мальвия сделает мне честь откусить у меня соловьиных языков и верблюжьих пят-ток. Я сегодня получил большую партию этого товара из Пафлагонии, отлично заморожен во льду. И хотя я не могу похвастаться такими винами, какие хранятся в подвалах моего друга Аррия Диомеда, но думаю, что найдется и у меня что-либо подходящее и достойное таких дорогих гостей, как мой друг Аррий, его прекрасная супруга, благородная Ливия, и прелестная соперница богини, имени которой, из боязни ее ревности, я не назову. Ваших сыновей я не смею приглашать: они слишком строгие философы и презируют званые обеды!

— О, они у меня большие стойки! — заметил Диомед, а дочь его опять расцвела, когда ее называли «соперницей богини».

Простившись с эдилом, они повернули влево, на форум. Эта длинная, четырехугольная площадь была необыкновенно красива. По сторонам ее шли портики колоннадами в дорическом стиле. Между колоннадами возвышались гранитные и мраморные пьедесталы с белевшими на них статуями из паросского и каррарского мрамора. Особенно прекрасны были статуи Цицерона, Квинта Саллюстия и Куста Паты.

Проходя мимо статуи последнего, дочь Диомеда остановилась.

— Посмотри, отец, он совершенно живой, — сказала она с торжествующей улыбкой.

— И, кажется, делает тебе глазки, — засмеялся Диомед. Девушка покраснела от удовлетворенного тщеславия.

— Верно, ты желала бы, чтоб и твоя статуя украшала этот форум, — лукаво заметил отец.

— Кто этого не желал бы? — потупилась девушка.

— Но, клянусь Минервой, для этого надо быть похожей на Евмахию-жрицу.

— А чем же она достойнее меня? — самоуверенно спросила Мальвия. — Кажется, моя красота...

— Не в красоте, дочь моя, дело, а в поступках, в деяниях.

По левую сторону форума возвышался прекрасный храм Венеры, обнесенный с четырех сторон портиками, которые

покоились на сорока восьми колоннах дорического ордена. В глубине храма виднелись прекрасные статуи Венеры и Гермфродита с прелестным женским бюстом.

В этом месте форум был особенно оживлен. Между колоннами мелькали почтенные патриции в длинных тогах и бойкие, болтливые адвокаты, спешивший в Базилику, где происходило в этот час публичное отправление правосудия. Тут же, около магазинов золотых и серебряных вещей, а равно около столиков менял, толкались иностранцы: греки, египтяне, испанцы, сирийцы, левантыйцы и матросы с кораблей, прибывших в Помпею со всех стран света. Гул на форуме стоял невообразимый.

Под портиками виднелись массы цветов и гирлянд как для поднесения всевозможным богам, большим любителям, по мнению римлян, цветов, так и для увенчания цветами гостей на званых обедах. Кое-где видны были важные фигуры сенаторов, направлявшихся в храм Юпитера, высившийся в конце форума, ближе к триумфальной арке, замыкавшей форум со стороны ворот Геркуланума. Там же сверкала на солнце бронзовая конная статуя Августа с лавровым венком на характерной голове, напоминающей другую такую же характерную голову человека, давшего начало нового цезаризма уже в XIX веке. У подножия ее стояла небольшая группа очень просто одетых людей, темные костюмы которых так резко отличались от ярких цветных одеяний прочих помпеянцев и римлян. Эти люди с строгими лицами и несколько таинственным видом как-то неприязненно поглядывали на бронзового всадника и на видневшиеся в портиках соседних храмов мраморные и бронзовые изображения богов.

Когда Диомед с дочерью приблизился к храму Венеры, Мальвия, по-видимому, что-то вспомнив, остановилась. Суеверная, как все обитатели античного мира, помпеянка испугалась, что, быть может, Венера и в самом деле разгневана словами эдила, будто некая богиня завидует ее красоте, и решила умиловить чем-нибудь гневное и мстительное божество.

— Отец, — сказала она, — подожди меня минутку, я пойду принесу жертву богине.

И она, войдя в храм Венеры и приблизившись к статуе богини, набожно опустилась на колени, сложив на груди руки. Потом она встала, вынула из волос две розы, украшавшие ее голову и уже несколько завядшие, и положила их к подножию статуи.

— Вот что, отец, — сказала она, возвращаясь к Диомеду, — нам еще нельзя идти домой, мы должны сейчас же

зайти в мастерскую скульптора Крапия. Он сказал, что сегодня уже будет готова прекрасная мраморная статуэтка, которую я заказала ему.

— Это какая статуэтка? — спросил отец.

— Копия с великолепной статуи умирающего гладиатора, которая привезена из Пергама и находится теперь в императорском дворце в Риме, — отвечала девушка. — Разве ты не видел у Пансы ее прелестной копии?

— Не помню... Когда ж ты заказала ее?

— Давно уж. Теперь она готова.

— Ах ты цикада! Да ты просто хочешь разорить меня твоими прихотями.

— Ах скряга! Стыдись, — слегка ударила отца по плечу избалованная девушка.

Они повернули назад, пересекли наискосок форум и, не доходя до нового изящного здания Хальцидики, построенного на свои средства жрицей Евмахией, остановились у столика, заваленного цветами и гирляндами. Мальвия выбрала себе роскошные розы, белую и желтую, какие она сейчас только принесла в дар Венере, бросила в корзинку цветочницы серебряную монетку и велела Кратилле вдеть эти розы ей в волосы.

Новая рабыня дрожащими пальцами исполнила приказание госпожи, но не так скоро, как той хотелось.

— Ах, какая ты неловкая! — проворчала требовательная красавица.

Они скоро поравнялись с Хальцидикой. Здание это, подобно храму Венеры, составляло также продолговатый четырехугольник, в виде базилики, с внутренней красивой галереей и перистилем, покоившимся на сорока восьми колоннах из паросского мрамора. Колонны были изящной работы. Из-за них выглядывала прелестная статуя самой Евмахии, воздвигнутая ей сословием помпейских суконщиков¹.

Не успели Диомед и Мальвия сделать несколько шагов в тени портиков Хальцидики, как навстречу им попала сама Евмахия. Это была уже немолодая женщина, но все еще сохранившая красоту и очарование молодости. На ней было длинное жреческое одеяние, грациозно драпировавшее ее стройную фигуру: она сама была вся в белом и казалась мраморной статуей чудной работы.

¹ Эта прекрасная статуя Евмахии находится теперь в неаполитанском народном музее, и на подножии ее до сих пор сохранилась надпись: «Eumachiae L. F. Sacerd. publ. fullones».

— Привет благородной служительнице бессмертных богов! — почтительно остановился перед ней Диомед.

— Боги да хранят почтенного Аррия и его прелестную дочь! — с своей стороны приветствовала жрица. — А это прекрасное дитя? — остановила она взгляд на Кратилле.

— Это моя новая рабыня, — поспешила ответить Мальвия.

Жрица посмотрела на нее загадочным взглядом и тотчас же прибавила:

— Я тороплюсь в храм. Меня ожидают бессмертные боги.

И, тихо склонив голову, она пошла дальше.

IV

Миновав форум, наши путники повернули влево, в улицу Амфитеатра. Там было особенно оживленное движение, потому что одни шли взглянуть на привезенных из Египта львов, а другие уже возвращались к форуму, проводив львов.

Навстречу нашим путникам шли те двое молодых людей, которых мы уже видели в гавани и которых Плиний обозвал нахалами за то, что они сорвали покрывало с Кратиллы. Молодые люди весело болтали. Увидав Диомеда с дочерью и с ними юную невольницу, с которой они поступили так бесцеремонно, повесы сначала смутились было немного, вспомнив окрик на них Плиния, но потом скоро оправились и развязно приветствовали отца и дочь. Кратилла же, при виде своих оскорбителей, смущенно потупилась и плотнее закуталась в свой плащ.

— А, это вы, беспечальные сибариты? — улыбнулся им Диомед. — Куда держите путь? Клянусь всемогущим Дионисом, вы к нему спешите.

— О нет, благородный Аррий, мы спешаем к храму Марса, благодарить бога войны и крови за ниспосланную Помпее милость, — отвечал старший из них.

— Милость? Какую? — спросил Диомед.

— Сейчас привезли из Египта прекрасных львов для нашего амфитеатра; значит, мы скоро увидим кровь на арене.

— Но ведь некого пока травить, — заметил младший сибарит.

— Будет кого, — загадочно сказала Мальвия, — мне говорил сам эдил.

— Кого же? — оживились молодые повесы.

— Это пока государственная тайна, — еще более загадочно отвечала девушка.

— Ах да, мы сейчас встретили твоих братьев, прекрасная Мальвия, — сказал старший из сибаритов. — Они шли с каким-то странным стариком: почти в рубище, босой, с длинным посохом, на конце которого, вместо набалдашника, какой-то крест. И когда мы сказали, что привезли львов для зрелищ, твои братья как-то презрительно пожали плечами, а когда я выразил им удивление, Квинт сказал, обращаясь к старику: «Это — знамение свыше». Какое знамение? Вообще, благородный Аррий, твои сыновья, по возвращении из Рима, стали неузнаваемы.

— О! это все философия: они и от меня теперь удаляются, — презрительно заметила Мальвия.

— Да-да, философия, стоицизм: это они начитались Сенеки да Ювенала, — подтвердил и отец. — Вы вон сибариты, а они у меня стоики, вы читаете только Овидия «*Arctamandi*», а они у меня ой-ёй какие философы!

— Как идут эти розы к прелестной головке Мальвии! — сказал старший из молодых сибаритов, которого звали Флакком и который претендовал на родство с Горацием.

— Прекрасной дочери Аррия Диомеда все идет, — подтвердил его друг, Марк Туллий. — Вы, вероятно, идете любоваться львами?

— Нет, мы уж их видели, — отвечала Мальвия. — Мы идем в студию скульптора взять заказанного мною у него умирающего гладиатора.

— О! — радостно воскликнул Марк Туллий. — Мы скоро увидим настоящих умирающих гладиаторов.

— Да, да! — весело согласилась Мальвия. — А интересно будет сравнить, верно ли скульптор выразил в мраморе агонию смерти.

— О да! Мы это увидим скоро на арене, — заметил Флакк.

И беззаботные повесы двинулись к форуму.

Скоро Диомед и его спутницы поравнялись с храмом Изиды. И этот храм, как и прочие, весь состоял из портиков и колоннад. Главный портик, поддерживаемый шестью коринфскими колоннами, вел к алтарю богини, которая формой своей напоминала другие божества Египта, но только отличалась более тонкой работой. Лицо ее казалось суровым и далеко не гармонировало с находившимися там же другими божествами: Венерой, Амуром, Бахусом и Приапом. Канделябры этого храма имели форму лотоса, цветка, как известно, посвященного Изиде. На стенах висели систры, употреблявшиеся жрецами музыкальные инструменты вроде трещоток. Тут же были изо-

бражения ибиса и гиппопотама. Стенные фрески изображали жрецов в белых одеждах и с бритыми головами.

Около самого храма помещался небольшой киоск, в котором продавались цветы. Мальвия подошла к киоску.

— Есть у тебя цветы лотоса? — спросила она молоденькую красавицу, помещавшуюся в киоске.

— Есть, благородная госпожа, — отвечала цветочница.

— А хорошие, свежие?

— Только что распустившиеся бутоны, которых еще и зефиры не лобзали, — был ответ.

— Дай мне три цветка.

Продавщица достала из-под киоска глиняную, наполненную водой вазу. Из воды глядели, словно улыбаясь, бледные цветки Изида. Продавщица вынула из воды три только что распустившиеся бутона, на нежных листочках которых, казалось, трепетали слезы, и подала их дочери Диомеда. Девушка взяла цветы, бросила на киоск монету и поднялась на мраморные ступеньки храма. За нею робко последовала ее рабыня. Мальвия приблизилась к изображению Изида и, припав на колени, положила к ногам богини цветы лотоса.

Когда дочь Диомеда поднялась с колен и немного отступила от статуи Изида, Кратилла робко приблизилась к богине и упала на колени, припав лицом к подножию божества. По щекам юной рабыни текли слезы, падая на подножие богини.

— О, великая мать вселенной! — тихо шептала девушка. — Я ничего не могу принести тебе в дар... Видишь, у меня ничего нет, только вот эти горькие слезы... Прими их, великая Изида, мать всего сущего, и возврати мне их, их, которые дали мне жизнь.

Она быстро встала и последовала за своими господами.

Скоро они повернули в улицу Стабий, на углу которой помещались мастерская скульптора и магазин. При входе в магазин на невысоком пьедестале покоилась прелестная группа умирающего гладиатора. Мрамор, казалось, дышал, и лицо истекающего кровью воина выражало такие душевные муки и такую кротость, покорность судьбе, что нельзя было без глубокого чувства сожаления смотреть на этот оживотворенный кусок мрамора.

Кратилла, выросшая в скульптурной студии своего отца, при виде всех сокровищ резца, наполнявших магазин, пришла в глубокое волнение. На глазах ее блеснули слезы. Но вдруг, наклонившись ближе к умирающему гладиатору, она слабо вскрикнула и прижалась губами к мраморной руке, на которую опирался умирающий.

— Что ты, безумная! — вскричала дочь Диомеда. — Ты разобьешь ее.

— О, мой отец! мой отец! — шептала Кратилла, целуя мрамор. — Где он? Где мой отец? Он здесь? — бросилась она к хозяину мастерской. — Покажи мне его! О, не скрывай его!

Диомед и Мальвия с изумлением смотрели на эту непонятную сцену. Они подумали уже, что горе помутило рассудок юной рабыни; но Кратилла продолжала умолять, чтоб ей показали отца.

— Это он делал умирающего гладиатора! Это его резец, его! — говорила она, снова припадая к прелестной мраморной группе. — Я знаю его руку, его работу! Да вот и имя его: *Zeno fecit*.

— Да, это действительно делал Зено, грек из Египта, — подтвердил хозяин.

— Это мой отец! — почти вскричала юная рабыня Диомеда.

— Может быть, — согласился хозяин скульптор.

— Где ж он? Где он, о, великая Изида! — ломала руки юная гречанка.

— Не знаю, — отвечал скульптор, — вот уже третью зарницу Гелиос смотрел в мою студию из-за гор Кампании, как исчез Зено.

— Клянусь Палладой, я ничего не понимаю! — вмешался наконец Диомед. — Расскажи мне толком, почтенный Руфус, что это за Зено, и какой тут отец, и какое отношение между этим проклятым отцом и вот этим умирающим гладиатором?

— Я сам не понимаю, благородный Аррий, в чем тут дело, — сказал скульптор. — Но послушай меня. Несколько месяцев тому назад я купил раба, привезенного с прочими на корабле из Финикии. Раба этого звали Зено, так, по крайней мере, он сам себя называл. Оказалось, что мой раб замечательный скульптор, унаследовавший школу великого Праксителя.

— Так это мой отец, вечные боги! — сказала, вся дрожа от волнения, Кратилла.

— Не перебивай! — топнула на нее своею изящною ножкой дочь Диомеда.

— Зено говорил, — продолжал скульптор, — что он грек с острова Книд, но прожил в Египте лет двадцать, где основал скульптурную мастерскую и школу ваяния.

— Это он! Это он! — шептала Кратилла.

— Прошлой весной, — продолжал скульптор, — он с женой и дочкой...

— Это мама и я, — шептала Кратилла.

— ... отправились на корабле из Александрии на родину, но в открытом море на них напали пираты, взяли в плен и распродали на разных невольничьих рынках; одним словом, его разлучили с женой и дочерью. Его из Финикии вместе с другими невольниками привезли в Помпею, и я купил его на рынке за довольно сходную цену, так как ни для какой другой работы, кроме скульптурной, он не был годен. Убедившись скоро в его замечательном искусстве, я поручал ему самые чистые работы, и вот его искусный резец изваял этого умирающего гладиатора с отличной, привезенной мною из Рима, копии гениального пергамского оригинала. Но вот, дня три тому назад, окончив гладиатора, он исчез, и сколько я ни искал его, даже утруждал претора, эдила и всех центурионов, все напрасно! Точно он в воду канул. И признаюсь, благородный Аррий, мне не жаль заплаченных за него сестерций, а мне жаль его золотых рук, его дивного резца, — заключил скульптор, с любовью глядя прелестные формы мраморного гладиатора.

Кратилла слушала его с пожирающим вниманием.

— О, мой отец, мой дорогой отец! — шептала она, закрыв лицо руками. — А где же мама, мама моя?

— Жаль, очень жаль, почтенный Руфус, — проговорил наконец Диомед, — но, быть может, он еще воротится.

— Проголодается и воротится, — подтвердила Мальвия. — Однако нам пора домой, я проголодалась. Только кто же понесет гладиатора?

— Я понесу, — поспешила ответить Кратилла.

— Но он тяжел, — заметил скульптор.

— Ничего, я сильная, — сказала юная гречанка, осторожно приподнимая драгоценную ношу.

— Смотри не разбей, — предостерегала ее Мальвия, — он дороже тебя самой.

— О! я не разобью произведения моего отца! — гордо отвечала дочь Зено, прикрывая голову полой плаща и осторожно ставя на голову свою ношу.

Скульптор помог ей в этом. Но видно было, что мрамор давил бедную девочку; однако энтузиастка не хотела отказаться от своего намерения, хотя все лицо ее покраснело от напряжения.

Диомед расплатился со скульптором. Но в этот момент дочь его воскликнула:

— Курций! Квинт! Куда вы?

Это ее братья проходили мимо мастерской.

— А! это ты, Мальвия! — недовольным голосом сказал Квинт. — И отец тут... А это что? — спросил он, указывая на Кратиллу, по-видимому, изнемогавшую под тяжестью мрамора.

— Это я купила себе умирающего гладиатора, а это — моя новая рабыня! — гордо отвечала Мальвия.

— Сестра, да ты безумная! — с негодованием воскликнул старший сын Диомеда. — Этот мрамор раздавит бедную девочку!

— Она сама этого хотела, — капризно отвечала Мальвия.

— Сама! Стыдись, жестокое существо! — продолжал негодовать Квинт. — Бедное дитя, — нежно обратился он к Кратилле, — дай я понесу это, ты упадешь.

— Нет, нет, добрый господин, — лепетала Кратилла, вся пунцовая, — это работа моего отца, я понесу.

— Нет, милая девочка, я не позволю тебе этого, — настойчиво сказал Квинт, — ты еще совсем ребенок.

И он насильно, но деликатно снял с головы Кратиллы мраморного гладиатора и мощными руками перенес его на свою курчавую голову.

Диомед только рукой махнул.

— И в кого только они у меня уродились! — ворчал он про себя, и при всем том не мог не любоваться могучей, стройной фигурой сына-гиганта, который, исполняя обязанность раба, легко нес впереди всех мраморную группу.

V

Действительно, Диомед не раз задавал себе этот вопрос: в кого уродились его сынки-богатыри.

Бывший раб, выросший при дворе римских императоров и там же получивший соответственное по тому времени образование, потом либертинус, отпущенник Ливии Друзиллы, а теперь богатый и уважаемый гражданин города Помпеи, Диомед хорошо понимал, что хорошее образование — это основа всего, что это прочный базис, на котором строится впоследствии все здание жизни. Он хотел, чтоб сыновья его, оба даровитые и красивые юноши, атлеты по сложению, прославили в потомстве род Диомедов. Он не мечтал видеть в них Гракхов, нет, времена Гракхов давно канули в вечность. Честолюбивая душа бывшего раба не того желала. Мечты его

вители около императорского трона, который так приглянулся ему, когда он был еще при дворе и телом рабов и рабынь откармливал вкусных мурен для стола своих повелителей. Он знал, что трон этот подпирают копыя преторианцев и что эти же копыя могут опрокинуть всякий трон.

И он отправил своих сынков-атлетов в Рим, поближе к трону. Но Диомед не предвидел одного ничтожного пустяка: сыновья его не обладали медными лбами, одним из необходимых условий, чтоб стать хорошим солдатом, настоящим преторианцем. У его сыновей были железные мускулы, способные головы, но лбы не медные.

Молодые Диомеды скоро узнали Рим. Попад в растлевающую столичную атмосферу, они убедились, что Рим давно утратил нравственные идеалы. Римские боги превратились в простых мраморных кукол, их хотя и не сбрасывали с пьедесталов, но рядом с ними и даже выше их ставили других идолов, превращая в богов убийц, развратников, олицетворение всех ужасов нравственной распущенности и пороков. Эти новые боги убивали или топили своих матерей, таких же постыдных, как и они сами. Брату ничего не стоило зарезать своего брата, только бы сесть на его место. В припадке безумия, в порыве бешенства самовластия эти новые боги зажигают со всех концов вечный город и любят этим зрелищем. Живых людей эти новые боги превращают в горящие факелы, травят людей зверями.

В Риме все расшатано, все осквернено. Все, что только осталось в нем чистого и благородного, все это отошло в сторону, удалилось из чумной атмосферы. Красноречие заглохло, поэзия измельчала. Куда девались служители слова? Их нет, один только Тацит клеймит вечным позором гнусных злодеев да Ювенал бичует Рим своею ядовитою сатирой.

Торжествуют наглость, насилие и разврат... Нет, молодые Диомеды не пойдут в лагерь торжествующих. И не пошли.

Они стали искать свои идеалы и, кажется, нашли их за городом, в мрачных подземельях, в катакомбах...

Молодые Диомеды покинули Рим и воротились в Помпею, не оправдав честолюбивых надежд своего родителя.

— С кем это сегодня Марк Туллий и Флакк встретили вас, Курций? — спросил старик младшего сына, когда они возвращались от скульптора.

— Как с кем, отец? — в свою очередь спросил Курций.

— Да с каким-то босым стариком.

— А, это один философ, с которым мы познакомились в Риме, — неохотно отвечал Курций.

— Философ? — удивился старик. — А с каких это пор философы стали ходить босиком?

— Он стоик.

— Стоик! Я знал стоиков, но все они ходили прилично.

— А Диоген?

— Да то был киник! Клянусь Юпитером! Теперь бы цезарь не пошел смотреть на такого оборвыша.

— Ваши цезари не пошли бы, это правда, — глухо сказал, повертываясь со своей ношей, старший из братьев, Квинт. — Но великий Александр пошел бы.

— Ваши цезари! — сердито проворчал старик-отец. — А разве они не ваши?

На этот вопрос ни Курций, ни Квинт ничего не ответили.

— А какая это у вашего босого философа палка с крестом? — снова спросил Диомед.

— Просто палка-посох, — отвечал Квинт.

— А зачем крест?

— Чтоб... ну, чтоб ловчее опираться... не упасть...

Старик пожал плечами. Он уже до некоторой степени примирился с неразговорчивостью своих упрямых сыновей. Но плебейская выходка старшего сына не могла не scandalизировать его. Видано ли это? Сын благородного Марка Аррия Диомеда, магистра пригорода Августа-Феликс, где его сопровождают ликторы, его сын публично тащит на голове мраморную группу, как презренный раб! Старик видит, что все с удивлением смотрят на эту сцену. Он слышит шепот толпы на форуме: «Смотрите! Сын благородного Аррия Диомеда тащит тяжесть... Разве у него нет рабов для этого? Или он сына обратил в раба? Чего доброго! Ведь сам же он был когда-то рабом божественной Ливии Друзиллы»...

Как ножом по сердцу режут эти слова старого Диомеда. Но что поделаешь с строптивыми сынками! Раз он пригрозил им лишением наследства, так они отвечали, что все равно они раздали бы все рабам и нищим...

Когда они миновали уже Геркуланумские ворота и проходили мимо богатой виллы наследников Цицерона, разом поднялся такой ураган, что они едва могли стоять на ногах. Море, еще так недавно лазурное, превратилось в бурную, мрачную и тяжелую, как растопленный свинец, массу. Оно так налетало на береговые скалы и грохотало, словно бы титаны сталкивали и разбивала вдребезги целые горы.

— Клянусь Нептуном и всеми nereидами! — испуганно шептал старый Диомед, силясь удержать на плечах своих то-

гу, которую срывала буря. — Плохо теперь бедному Плинию, если он вздумал воротиться в Мизен.

— Ах, мои розы! Их унесло ветром... ой, ой! — кричала Мальвия, цепляясь за отца.

Но они скоро достигли своей виллы, с внутренней террасы которой был такой прекрасный вид на море, теперь мрачное и бушующее.

К вечеру, однако, буря утихла, и там, над подернутым вечернею дымкою морем и над вырисовывавшимися на небе горными зубьями острова Питеуза¹, где за несколько часов перед тем с этого неба сыпались в море громовые стрелы, там бледно очерчивался теперь тонкий серп молодой луны.

— Да хранит вас ночная Силена, добрые господа, — слышался в полумраке голос старого раба Каниса, сторожа виллы Диомеда.

— Спасибо тебе за пожелание, добрый Канис, — отвечал другой голос, в котором нетрудно было распознать голос Курция. — Ты распорядился, чтоб с новой рабыней сестры все ласково обращались?

— Распорядился, и рабыням, и рабам настрого наказал вашим именем.

— Хорошо, добрый Канис, до свидания. Мы, вероятно, нескоро воротимся.

И тени молодых Диомедов, закутанных в темные плащи и с такими же фригийскими колпаками на головах, перейдя через Виа-Домициана, скрылись за надгробными памятниками, осененными темными иглами стройных кипарисов.

— Сегодня и в душе у меня то же, что в самой природе, — тихо и задумчиво проговорил Квинт, — утром, после встречи и разговоров с Авениром, на душе у меня было так светло и радостно, что хотелось обнять весь мир, все люди казались мне братьями. То, что возмущало мою душу в Риме и здесь, задернулось как будто дымкою, это было всепрощение, любовь. Но когда я увидел этого бедного ребенка, это невинное существо под глыбою мрамора и еще больше убедился в бессердечии сестры, во мне, как и в море, залокотала буря! И это та милая, тихая Мальвия, которую мы когда-то так любили. Куда девалась ее нежность, ее чистота? Откуда душа ее взяла эту жестокость и эту римскую разнузданность воображения? Как настоящая гетера, она мысленно отдается всякому, кто бы ни взглянул на нее.

¹ Ныне Искья.

— Ах, брат, не слишком ли сурово ее судишь? — возразил младший брат. — Оставь ее!

— Да я и оставил! Теперь у меня на душе этот тихий, благодатный вечер.

Вечер был действительно благодатный. Склонявшийся к Мизенскому мысу чуть заметный серп луны не мог отнять блеска у звезд, которые, казалось, одна за другой высыпали на темном небе. Впереди них высилась еще более темная масса Везувия, заслонявшего собою Сомму.

Братья молча пробирались в гору среди поредевшей зелени виноградников и масличных деревьев. Из Помпеи, огни которой издали напоминали звезды, упавшие с неба, до слуха наших путников доносились иногда то лай собаки, то блеяние козы.

Братья долго шли в гору, по-видимому, знакомыми тропинками, протоптанными в каменистой вулканической почве ногами коз и овец. До них чуть слышно доносился шум морского прибоя: после бури море все еще тяжело дышало у берегов, и дыхание это слышно было издали.

— Скоро мы и у цели нашего странствия, — тихо проговорил Курций.

— Да, вон уже те уступы титанов, что воевали с богами, — отвечал другой брат.

Сделав еще несколько усилий в гору, они очутились около едва заметного ущелья, при входе в которое темнело что-то неясное.

— Это ты, брат Кардо? — спросил шепотом Квинт.

— Я, — был ответ из ущелья.

— Мир тебе.

— Мир вам, братья.

— Собираются?

— Почти все в сборе.

Пришедшие скрылись в ущелье. Там они, остановившись на минуту, вынули из-под плаща небольшой фонарик и, вырубив огонь, зажгли в нем светильню. Пламя осветило длинный извилистый проход, естественную пещеру, которая простиралась далеко в глубину Везувия. Чем дальше подвигались пришедшие, тем своды пещеры раздвигались все шире и шире, и наконец за одним из выдающихся уступов показался свет. Взорам пришедших открылась обширная пещера, освещенная двумя канделябрами. Пламя светильников озаряло небольшое собрание людей, по-видимому, различных сословий и общественных положений. Иные были хорошо, чисто одеты, другие в рубищах. Посреди собрания сидел тот

старик, которого утром видели вместе с молодыми Диомедами.

— Мир вам, отцы и братья, — тихо сказали пришедшие.

— Мир вам, — отвечало собрание.

Пришедшие молча опустились на один из плоских камней, которых было немало в пещере.

VI

— О! как я помню этот великий день моей жизни, — начал или, скорее, продолжал старик. — Мы, иерусалимские дети, играли у кедронского потока. Утреннее солнце только что выкатилось из-за Елеонской горы и позлащало своими кроткими, еще не палящими лучами кровлю храма Соломонова и зубчатые стены святого города. В глубине Иосафатовой долины паслись козы и овцы, отыскивая скудную травку среди могильных плит. Вдруг на тропе, идущей из Вифании, показалось несколько путников. Они, видимо, спускались к Иерусалиму. По запыленной одежде их видно было, что идут они издалека. Ближе и ближе, и посреди них — Он. Мы тотчас узнали Его, мы Его уже не раз видели. Да и кто бы не узнал Его по божественному, кроткому лику!

Старик помолчал, как бы подавленный воспоминаниями. Мертвая тишина господствовала в пещере, слышны были только чьи-то тихие вздохи.

— Да, это был Он! — продолжал старик с светлою и грустною улыбкой на устах. — Его окружали ученики, из которых иные срывали тут же около тропы созревшие колосья пшеницы и, перетирая их в ладонях, утоляли свой голод. Мы, дети, давно любили Его; Он с такою кроткою любовью всегда смотрел на нас. Когда Он и ученики, миновав низкие окопы гефсиманского сада, перешли через Кедрон, мы, дети, издали последовали за ними, покинув свои игры. Они вошли в город Овчими воротами. Там уже было много народа: нищие, больные, все, обиженные судьбою и людьми. Его, видимо, ждали. Тут были и книжники, и фарисеи. Он начал что-то говорить своим кротким, но внятнм божественным голосом. Мы, дети, робко приблизились к Нему: нам хотелось прикоснуться хоть к воскрылию Его одежды. Мы видели, что это иногда делали другие, и сами решились сделать то же. Повторяю, ведь мы так любили Его! Но некоторые из Его учеников, заметив наше намерение, отогнали нас. Он это увидел и говорит: «Не отгоняйте от Меня детей, пусть они приходят».

И поглядел на нас Своим кротким, любящим взором. Мы приблизились уже смелее. Я был впереди других детей. И вдруг я почувствовал Его божественную десницу на своей голове! И я услышал Его слова: «Не отгоняйте от Меня детей, не возбраняйте приходить ко Мне: таковых бо есть царствие Божие». Великий Боже! что я почувствовал тогда! Казалось, какая-то божественная сила, какое-то невыразимое блаженство наполнило мою душу, все существо мое! И с той минуты прошло уже около пятидесяти лет, а я все вижу Его, все слышу Его божественный голос... Да, Он теперь тут, с нами!

Все не то с испугом, не то с благоговейным умилением стали оглядываться. Курций судорожно сжал руку своего брата: рука Квинта была холодна и дрожала.

— Да, Он с нами! — с силою повторил старик. — Он сам сказал: «Если где соберутся двое или трое во имя Мое, то Я посреди их».

Старик задумался.

— О! я помню эту ужасную ночь, — продолжал он как бы сам с собою, глядя во мрак пещеры. — Мать моя, убогая вдовица, была наемницей и имела пристанище в гефсиманском саду, сейчас же за кедронским потоком, в небольшой, сложенной из грубых камней хижине. Там и я с нею жил. Ночь была душная, точно перед грозой, и мне не спалось. Я вышел из хижины. Кругом мрак непроглядный. Вдруг слышу недалеко чей-то глубокий-глубокий вздох, от которого мне страшно стало. Но я прислушиваюсь и слышу, кто-то говорит, но слов не разберу. Немного погодя, опять вздох, страшный, мучительный. Слышу слова: «Отец Мой! если не может сия чаша мимо идти от Меня, да пью от нее, буди воля Твоя!» О, ужас, ужас! я узнал Его голос, Его божественную речь, которая заставила меня затрепетать. Это Он молится, Он! И о какой это чаше говорит Он? Вдруг я увидел огни за Кедроном. Двигалась какая-то толпа. Слышны были говор, угрозы. Ближе и ближе. Вижу, сюда идут, где я стоял, закрытый толстым стволом масличного дерева. От света факелов я начинаю различать лица приближающихся: впереди всех один из Его учеников, а за ним народ с оружием и дрекольем, а также некоторые из архиереев и старцев городских. Скоро свет от факелов упал и на Его божественные черты: Он стоял и ждал. Боже Всемогущий! Сколько было святости и кротости в Его лице! И вот тот же самый ученик, что привел всю эту толпу, подходит к Нему и со словами: «Радуйся, рави!» — целует Его. Сердце мне подсказало, что поцелуй этот предательский. А Он, Которого предавали, кротко так гово-

рит своему предателю: «Друг мой, делай то, зачем пришел». И тогда толпа обступила Его... Я видел, как вязали Его, точно преступника.

Ропот ужаса и негодования пробежал по собранию. Квинт Диомед, тяжело дыша, поднялся со своего места. Губы его судорожно дрожали.

— И Его взяли? — спросил он чуть слышно.

— Взяли, сын мой, — отвечал старик, — взяли и связали, как разбойника.

— И никто не защитил Его? — послышался глухой ропот в собрании.

— Нет, один из учеников выхватил нож и отсек ухо рабу одного архиерея, тому, который особенно нагло вязал Спасителя... И что ж! Тогда сам же Спаситель говорит этому ученику: «Вложи нож в ножны его, ибо всяк, кто обнажает нож, от ножа погибнет». А потом обратился к народу и говорит: «Разве вы на разбойника вышли с оружием и дрекольем? Ведь Я каждый день сидел с вами в церкви и учил вас: отчего же не взяли Меня тогда?»

Все молчали. Слышно было, как в темном углу пещеры кто-то плакал тихо. Квинт посмотрел туда. Это плакала, прячась в углу, молодая девушка. Квинт узнал в ней молоденькую сестру пастуха Кардо, который сторожил вход в таинственную пещеру.

— И Его увели, — как бы пробудившись от глубокой задумчивости, заключил старик.

— И Его больше не видели? — спросил кто-то.

— Видели, и я видел... О, как не разорвалось мое сердце, как глаза не померкли навеки от того, что я видел!

Старик утер слезы, которые тихо катились по его загорелым щекам.

— Утром я узнал, что Его осудили на смерть. Я побежал через Овчие врата к дому Пилата. Вся улица была полна народа. И я опять увидел Его! Окруженный воинами, Он нес тяжелый крест, на котором должны были распять Его, и Он был так слаб, так истерзан, что не раз падал под Своею ношей. Кроткое лицо Его было все в крови, и от ударов, которые воины наносили Ему и по лицу, и по голове, и от венца из колючих терний, который возложили на Него. За Ним двигалась толпа, а я издали глядел на Него и плакал. Плакали и женщины. А он поглядел на них и говорит: «Дочери иерусалимские, не плачьте обо Мне, о себе плачьте и о детях ваших: приближаются дни, когда вы воскликнете: «Блаженны неплодные, блаженны утробы, которые не родят, и сосцы,

которые не кормят». И тогда вы скажете горам: «Упадите на нас!» и холмам: «Покройте нас!»

— О-о! — послышалось рыдание. Это рыдала та молоденькая девушка, что сидела в углу.

Курций в волнении ломал руки. Все привстали, ожидая чего-то ужасного.

— Толпа оттерла меня от Него, — продолжал старик, делая последние усилия. — Но я снова увидел Его уже на горе, на кресте. Вечерело. В толпе слышны были крики, вопли, рыдания. А я все глядел на Него издали, я видел Его лицо: Он был еще жив. Солнце косыми лучами осветило это бледное лицо и скрылось. Наступил ужасающий мрак. Толпа дрогнула, потому что дрогнула гора, на которой умирал Он, дрогнули стены Иерусалима. Я чувствовал, как колебалась подо мною земля, я моим детским сердцем понял, что совершилось такое страшное преступление на земле, которого мир не видывал со дня мироздания.

Старик встал и пошатнулся.

— Что это? — с ужасом сказал он. — Земля опять колеблется.

Действительно, чувствовалось, как колебались стены пещеры. Камни заметно дрожали.

— Да, вся гора дрожит, — говорил кто-то испуганно.

— Слышите грохот под землей? Что-то там колышется, клокочет.

— Да, с Везувием совершается что-то необычайное, — заметил старший из Диомедов. — Впрочем, Плиний мне говорил как-то, а он глубоко сведущ в таинствах природы, он говорил, что хотя Везувий давно потухший кратер, однако подземный огонь не совсем погас, и скрытое пламя постоянно клокочет под каменной оболочкою, что особенно ощутительно у ПUTEОЛИ, в горной котловине, которая давно слывет как *forum Vulcani*.

— Это тартар клокочет, — согласились другие.

Но колебание почвы и стен пещеры становилось все ощутимее и ощутимее. С потолка пещеры обрушилось несколько камней, грохот которых отозвался далеко где-то в глубине.

— Уходите все скорей отсюда! — торопливо сказал старый пастух, весь свой век проживший в каменных пещерах Везувия. — Я давно знаком с этою живою горой... Она сердится, только не на нас, бедняков, а на тех, которые всю ее застроили богатыми домами и виллами. Она хочет стряхнуть с себя все это. Пятнадцать лет назад она так разбушевалась, что все опрокинула и разрушила. А они опять всю застроили

ее своими домами. Она не хочет быть их рабыней. Я ее знаю, знаю от отцов и дедов. Только овцы да козы могут по ней ходить, их она не трогает. А на людей она сердится.

Как бы в подтверждение слов старого пастуха, пещера дрогнула снова и посыпались камни.

— Уходите! уходите! — настаивал пастух.

Все торопливо двинулись к выходу и скоро исчезли в темноте.

— Зено, это ты? — слышалось во мраке.

— Я, Кардо, — отвечал другой голос.

— Пойдем пока в мою хижину, Везувий не покоен.

— А Кардита где?

— Она уже прошла.

Голоса смолкли. Братья Диомеды, прислушивавшиеся к ним, остановились.

— Ты слышал, что Кардо назвал кого-то именем Зено? — спросил Курций.

— Слышал. Это имя греческое, — отвечал брат.

— А мне помнится, наша новая рабыня, молоденькая Кратилла, говорила, что ее отца зовут Зено и что он, сделав эту прекрасную группу умирающего гладиатора, скрылся от своего господина.

— Да, и внизу группы вырезано: *Zeno fecit*. Я сам читал, — заметил Квинт.

— Странно! — заговорил опять Курций. — В пещере, где мы сейчас были, меня поразило одно лицо. Может быть, и ты его заметил. Он сидел в углу недалеко от Кардиты. Да его нельзя не заметить, эта голова невольно бросается в глаза: курчавая, она бела, как паросский мрамор, хоть бы один темный волосок, а между тем длинная и пышная, как у Юпитера, борода вся рыжая и золотистая. Меня поразило сходство с ним Кратиллы: уж не он ли ее отец?

— Может быть. Мы это постараемся разведать.

— Да, надо непременно.

— Только теперь надо молчать об этом, и даже Кратилле ни слова, помни.

Братья воротились домой уже за полночь.

VII

Читатель, вероятно, помнит, что налетевшим с моря шквалом опрокинуло лодку, в которой находился Плиний со своими спутниками. В первое мгновение можно было думать, что

все погибли, потому что все скрылись под водою. Но едва предательский бурун, так неожиданно опрокинувший и захлестнувший лодку, шумя и пенясь покатился дальше, из воды стали показываться то головы утопавших, то руки отчаянно борющихся с грозной стихией.

Раньше всех обозначилась на поверхности бушевавшего моря голова скифа, который, по-видимому, плавал как рыба. Заметив невдалеке лысую голову Плиния, мужественно державшегося на воде, и уцепившиеся за его тучную шею чьи-то пальцы с дорогими блестящими перстнями, скиф бросился к ним и ухватил Плиния за тогу, выше плеча, у самого ворота. Он подоспел как раз вовремя: промедли он несколько секунд, и старик пошел бы моментально ко дну, потому что вцепившиеся в его шею и закоченевшие пальцы его друга Агриппы непременно задушили бы его. Как раз в этот момент подошла на помощь другая лодка, рыбаки помогли скифу втащить в эту лодку обессиленного Плиния и его друга, лишившегося чувств. Юный Плиний и матросы отчаянно бились с волнами, но и им успели подать помощь; исчез только один кормчий. Без сомнения, он не хотел пережить своего позора: он видел — так, по крайней мере, ему показалось в первую минуту несчастья, — что по вине его, самого опытного и самого знаменитого во всем римском флоте кормчего, погиб главный начальник этого флота. Тело кормчего через несколько дней было выброшено морем на мизенский берег.

С этого случая Плиний смотрел на молчаливого скифа как на своего спасителя и дал себе слово при первой возможности отправить его на родину, в его далекую Тавро-скифию.

Молодой Плиний в этот день казался задумчивее и грустнее обыкновенного. Это был юноша богато одаренный, мечтательный, с серьезными, необыкновенно благородными инстинктами. Честный, искренний и великодушный, он всею душою уверовал в благородство, в лучшие качества человеческой природы и, казалось, находил их в тех, с кем его сталкивала судьба. Может быть, этому отчасти, а быть может и в значительной степени, способствовали его давнишняя дружба с обоими сыновьями Диомеда. Правда, эти молодые люди были много старше его, но, выросший в обществе своего великого дяди, мальчик рано начал думать, и развитие его нравственных и умственных сил далеко опережало его возраст. Дружба же братьев Диомедов поднимала его в его собственных глазах. Нравственные и религиозные вопросы, которые затрагивал пытливый ум молодых Диомедов, были и ему не чужды, а суждения его, высказываемые своим старшим друзьям с при-

сущей ему величайшей скромностью и искренностью, вызывали дружный и такой же искренний обмен мнений и с другой стороны. Только по одному пункту и та и другая стороны сходились как бы на половинном примирении. В душе юного Плиния было слишком много поэтического начала: без иллюзий, без веры, без творческой фантазии ему жизнь казалась бы засохшим цветком в пустыне, застывшим морем без его переливов и красок, природой без животворящего духа, сердцем без любви и нежности, и когда молодые друзья его, по возвращении из Рима, окончательно разбили своих старых богов, нежная поэтическая душа юного Плиния оставалась верна им, хотя бы как образам, созданиям человеческого творчества, живым олицетворениям вечно живой, созидающей и разрушающей природы. Он не мог примириться с мыслью, что это бирюзовое, подчас седое бушующее море осталось без Нептуна, без плещущихся в его лазури прелестных nereид, эти горы и леса лишились присутствия резвых нимф и шаловливых фавнов, что в зелени садов умолкли соловьи и цикады, а Олимп опустел, как эти голые скалы Питеузы. Он видел Юпитера в грозных тучах, как видел на небе в группе звезд самого Ориона и Персея, спасающего Андромеду.

Часто посещая дом Диомеда в Помпее и оставаясь там иногда по несколько дней, он давно привык видеть хорошенькую, задумчивую девочку, молча, но участливо прислушивающуюся к их горячим суждениям, подчас бурным спорам. Это тихое, прелестное создание была юная сестра его друзей, поэтическая, как ему казалось, Мальвия. С какою детскою радостью и искренностью она всегда встречала своего «мизенского философа» и, положив руку ему на плечо, тихо увлекала его в самый дальний и тенистый уголок своего сада, где уже ожидали юную парочку братья-скептики, часто со свертками папирусов или воощенными дощечками для писания, и тогда лились нескончаемые речи о Риме, о Тите Ливии, о Горации, о великих событиях римского мира, а чаще всего о вопросах нравственных. И задумчивая девочка по целым часам не спускала своих голубых глазок с беседующих, а в особенности с своего «мизенского философа». Когда же темнело, она клала опять свою руку ему на плечо и уводила его к морю послушать, что говорит море, как плещутся nereиды, о чем шепчутся прибрежные камни. И долго-долго, бывало, они бродили в темноте, счастливые, отуманенные каким-то сладким чувством.

Что же удивительного, если они, наконец, полюбили друг друга? Они это давно чувствовали в себе, а потом сказали в объятиях и ласках.

Но девочка скоро стала большою, взрослою девушкой: под южным солнцем так скоро созревают золотые яблоки Геспериды и молоденькие девочки.

Переходный возраст девочки — это роковой кризис в ее жизни, такой же роковой кризис, как во всякой тяжелой болезни. Только счастливые натуры переживают этот кризис и не умирают, если не остаются навсегда с надломленным, ослабевшим, рахитичным организмом. Так бывает и в роковом кризисе девочки, шагающей через порог детства: только исключительные, цельные натуры победно переступают этот роковой порог.

Мальвия оказалась не в числе этих последних; юный Плиний с болью в сердце начал замечать это, как замечается увядание весны: это увядал в душе его взлелеянный им идеал. Сначала и ему самому казалось, что эти весенние нежные краски ее чистой души заменяются более яркими, более и определеннее окрашенными; и во всей внешности ее, в красоте, казалось, наступало тоже яркое лето: что-то пламенное, жгучее сказывалось иногда и в проявлениях ее чувств, в ее порывистых ласках, в страстных речах, в письмах, которые он иногда получал от нее, когда почему-либо долго не мог быть в Помпее. «Приходи, приходи скорее ко мне, я жду тебя, я вся в огне, я хочу повторения твоих ласк, повторения, повторения! Хочу слушать с тобой ночной шепот моря, *твоей* шепот! Смотреть вместе с тобой на *наших* Персея и Андромеду». Навощенные дощечки ее и листки папируса пестрели пламенными эпитетами.

И он приходил на ее зов.

А между тем он видел, что в Мальвии еще что-то происходит, что-то новое, непонятное ему. Прежде она избегала общества мужчин и шла только к нему навстречу, с другими ей было скучно, а сколько-нибудь вольное обращение их отталкивало, оскорбляло ее. Теперь она сама искала общества и, как бы оно ни было пусто, она оживала, будь это общество хотя бы таких пошлых и грязных светских шалопаев, как Флакк и Марк Туллий, или старого, но болтливого эпикурейца, эдила Пансы. Живые беседы Плиния с ее братьями все меньше и меньше ее занимали, и, когда не было других гостей, она охотнее теперь болтала с рабынями о нарядах или о городских сплетнях. Он стал замечать, что ей нравятся лесть, поклонение, от кого бы они ни исходили. Ей скоро все стало надоедать, и она теперь редко оставалась дома, то посещая подруг, у которых собирались гости, то толкаясь с рабынями по магазинам с нарядами.

Не понимая, что бы это значило, огорченный юноша старался вызвать ее на объяснения, но она стала уклоняться и от объяснений, и от него самого. Тогда он стал реже бывать в Помпее; но прежние навощенные дощечки уже не приходили к нему.

Однажды он заговорил о ней с Квинтом, недоумевая, почему так изменилась его сестра. Квинт резко отвечал, что в ней проснулись инстинкты гетеры, мысленно отдающейся всякому, кто бы ни захотел взять ее. Этот ответ оскорбил юношу, но он приписал его вообще суровому характеру брата Мальвии: уж если ему не жаль было разбить старых богов, то разве он пощадит сестру?

Но сегодняшняя сцена на невольничьем рынке возмутила даже всепрощающую душу юного Плиния. Когда его дядя, взбешенный тем, что Флакк и Марк Туллий с таким бессердечием сорвали покрывало с беззащитной девочки-невольницы, обозвал их нахалами, и когда они, отойдя в сторону, продолжали наблюдать за тем, что происходило около Кратиллы, то он заметил, что к ним приблизилась Мальвия вместе с отцом. Девушка, видимо, обрадовалась им, и когда они, имея каждый по розе в руках, один белую, другой желтую, предложили их Мальвии, она тотчас же с самою очаровательною улыбкой украсила ими свою голову. Это не могло не огорчить влюбленного юношу, которого Мальвия уже давно не дарила своими улыбками. Но когда она стала горячо настаивать, чтоб отец купил ей рабыню, такую беззащитную девочку, как Кратилла, юный Плиний убедился, что у той, которую он еще так недавно считал своим божеством, нет даже и человеческого сострадания, нет сердца!

Но он не хотел этому верить. Как не мог он, подобно Квинту и его брату, разбить своих старых богов, так не в силах был он сокрушить в своей душе и этого последнего бога, свой идеал, свою мечту. И он глубоко страдал.

Смущенный дух его напрасно искал опоры, поддержки, утешения. Но кто даст это утешение, кто разрешит тревожившие его сомнения? Люди? Но они сами бессильны и беспомощны. Боги? Но чем их умиловить? Да и не правы ли его друзья, Диомеды, что эти боги — создание человеческой мысли, и притом мысли, запуганной неведомыми силами природы? Не страх ли этого неведомого, с чем человек не в силах бороться, и создал этих богов? Их можно себе только представить, но вызывать к их помощи, это все равно что вызывать к волнам, которые сегодня чуть не потопили их. Да он и вызывал, он горячо плакал у подножия Венеры, обливал сле-

зами ее мрамор; но мрамор так и остался мрамором, холодным, безучастным.

Кто же разрешит его сомнения? Оракул? Но Дельфы так далеко. Где искать Пифии, которая влила бы в его смущенную душу утешение?

А не обратиться ли к Сивилле, к преемнице той кумской Сивиллы, которая когда-то разрешала сомнения царей и народов?

Эта мысль, казалось, охватила его душу. Он был плоть от плоти своего века и своего народа и притом юноша, у которого здравый рассудок часто позволял воображению водить себя, повелевать собою. Все таинственное увлекало его, а здесь таинственное спутывалось с вопросом если не жизни и смерти, то с вопросом, быть может, умиротворения его возмущенной души, с вопросом могучего чувства, чар которого он не мог преодолеть. С тех пор, как это чувство в нем оскорблено, жизнь потеряла для него интерес, природа — обаяние. Он отправится к Сивилле, он не в силах дольше выносить неизвестности.

Когда после несчастного приключения на море Плиний и его свита явились домой, перепуганная старушка, сестра Плиния Старшего и мать Младшего, тотчас приказала рабам хорошенько растереть их тело суконками, переменить мокрую одежду на сухую и заставила всех выпить согревающего и бодрящего напитка.

Пользуясь этим случаем, младший Плиний объявил матери и дяде, что после холодной морской ванны ему необходимо усиленное движение, и потому он намерен тотчас же отправиться в Кумы, говоря, что у него есть там дело. С ним согласились, и он отправился в путь.

Дорога шла по живописной местности, застроенной храмами, дворцами, термами и роскошными вилами, но наш путник ни на что не обращал внимания, притом же все это было ему знакомо с детства. Его, главным образом, занимал вопрос: что он скажет Сивилле? О чем будет спрашивать ее? Конечно, он должен узнать от нее свою судьбу. А так как вся судьба его теперь вмещалась в пределах личного чувства, то, определяя его судьбу, прорицательница откроет перед ним таинственную завесу и настоящего, для него непостижимого, и будущего, которое для него все поглощалось настоящим.

Скоро он миновал Лукринское озеро, так поэтически воспетое Горацием. Теперь в глазах нашего путника, погруженного в мрачные думы, оно потеряло всю свою прелесть. А вот, справа, и Авернское озеро. Скоро, слева от озера, дол-

жна быть та узкая тропа, которая ведет к таинственному гроту Сивиллы.

Вот она! Путник остановился, чтоб перевести дух. Начи-
нало вечереть.

Он продолжал путь. Вон там виднеется черное отверстие
в скалах. Это и есть устье страшной пещеры.

Юноша невольно упал на колени и стал молиться неведо-
мому богу, имени которого никто не знал, но которому в Гре-
ции давно воздвигали храмы. Он не знал уже, кому и
молиться.

VIII

Юный Плиний вступил наконец в страшную пещеру. Там
было темно, как в могиле. Пришелец засветил факел и осто-
рожно пошел дальше. При свете факела пещера казалась еще
страшнее. Плиний слышал у себя над головою какое-то легкое
веяние крыльев. Что это? Неужели это тени умерших? Он
вспомнил, как у Гомера говорится об этих тенях, о таинст-
венных «некюиа», тихий полет которых к Аиду напоминает
веяние крыльев нетопыря.

Вдруг что-то коснулось, словно крылом, его лица и упало
на плечо, на белую тогу. Что-то черное, копошащееся. Он
схватил его рукой. Оно запищало и укусило его за палец. Это
была летучая мышь. Плиний отбросил ее от себя. Он понял
теперь, что это были за тени умерших.

Он двинулся дальше. В это время до слуха его донесся
не то детский плач, не то смех. Он прислушался: это был
крик совы. Затем раздалось злобное мяуканье кошки. Иногда
свет факела освещал по сторонам чьи-то выпуклые круглые
глаза: это зеленые жабы глядели на пришельца из расщелин.

Но вот вдали показался красный свет, потом голубой, по-
том зеленый, и вдруг зарычала собака.

— Молчи, Цербер! — послышался старческий голос.

Плиний вздрогнул от этого голоса, но отступить уже было
поздно. Он двинулся на голос. Скоро в глубине пещеры обоз-
начился треножник, от которого отделялись огненные языки
и исчезали во мраке. При свете этих огненных языков Плиний
увидел человеческое лицо: то было лицо старухи.

Он понял, что перед ним была Сивилла. Старуха, бросая
в огонь какие-то порошки, которые ярко вспыхивали, при-
стально всматривалась в лицо пришельца.

Плиний молчал, он не знал, к кому относятся слова старухи.

— Она снимала для тебя с неба солнце, луну и звезды, да? — спросила Сивилла.

Плиний понял вопрос: да, она сводила для него небо на землю.

— Да, снимала, — глухо отвечал он.

В глубине пещеры кто-то дико захохотал. Плиний вздрогнул. Это сова захохотала, сидя на уступе скалы и глядя своими круглыми глазами на молодого человека, который готов был бежать от ужаса.

— Ты что хочешь сказать, Минерва? — обратилась Сивилла к сове.

Птица защелкала своим крючковатым клювом.

— А, ты говоришь о море, о горах, о цветах? — спросила старуха.

Птица опять защелкала.

— Она заставляла море говорить с тобою, петь тебе любовные песни? — обратилась Сивилла к юноше.

Он все больше и больше понимал язык колдуньи.

— Да, море говорило со мною, я заслушивался его мелодиями, — отвечал он, вспоминая свои ночные прогулки с Мальвией по берегу моря.

— И когда она шла по земле, перед ней распускались цветы, ей улыбались горы?

— Да, все улыбалось и ей, и мне.

— А теперь цветы потеряли аромат, в твоём сердце не поют соловьи?

— Да, — только и мог он ответить.

Он действительно все это чувствовал: вся природа стала для него нема, утратила свои краски, жизнь.

Неведомо откуда появился чёрный кот, который, выгибая пушистую спину, стал тереться у ног Сивиллы. Старуха бросила в огонь пучок травы, от которой распространился удушливый пар.

— А! это ты, кот Радаманта, — сказала старуха, — что делается у вас в аду?

Кот фыркнул, отскочил в сторону и замыкал. Плиний, казалось, терял сознание. Стены пещеры раздвигались все шире и шире, какой-то туман окутал все окружающее, и в этом тумане вырисовывались чьи-то два глаза. Надвинулось тёмное облако, в котором сверкали молнии, с грохотом падая в море. Плиний видел это море и не мог сообразить, где он и что с ним.

Да, он на берегу моря. Облако исчезло, громы смолкли и солнце заходящими лучами золотило вершины Везувия и

Соммы. Навстречу ему по берегу моря двигалась какая-то человеческая фигура. То была женщина, старуха. Седые волосы ее беспорядочными космами падали на лоб и на виски. Слышно было, что старуха говорила сама с собой, жаловалась на что-то.

— Вечные боги! За что, за какие преступления вы отняли у меня рассудок, а вместе с ним и счастье? Не вы ли, бессмертные владыки земли и неба, дали мне красоту, которую сами же обратили в источник моих страданий. Только тогда я и была блаженна, когда не сознавала этого бесценного дара богов. Юная, невинная, я только тогда познала всю силу счастья, когда он был со мною. Он! Где он? Я ищу его и не нахожу. Я обращаюсь ко всем ветрам: принесите мне его милый голос! И я слышу только ропот их. Разве забуду я, как мы с ним ночью порой бродили по берегу моря, прислушиваясь к его шепоту? А звезды, которые глядели тогда на нас с вечного, высокого неба? Но наших ласк никто не видел, даже вы, великие боги. Горе! горе! Пришли другие и отняли меня у него. Они говорили мне о моей красоте. О! будь они прокляты! Да будут поглощены их постыдные тени ужасным Эребом! Им нравилось забавляться мною, а я им верила, я оттолкнула его, и он отошел. Он ушел и унес с собой мое счастье. Всю жизнь я потом искала его и не находила. О, жестокие боги Эреба! Уж слишком поздно вы открыли мне, что только тот, кто первый пробудит в нас инстинкты женщины, кто первый заставит сладостно и трепетно биться наше сердце, кто первый обнимал нас во мраке ночи, тот навеки и останется в нашем сердце. А я оттолкнула его, несчастная! Я думала, что другие дадут мне больше, и пошла навстречу их лстивым речам. Меня забавляло и тешило их поклонение, а они тешили только свое пустое тщеславие, они любили только себя. И вот всю жизнь я ищу его и не могу найти. Уже седые волосы венчают мою безумную голову, а его все нет! О, моя первая, великая любовь!

Юный Плиний с ужасом узнал в этой старухе Мальвию!

Увидев его, старуха как бы опомнилась и приблизилась к нему. На лице его мгновенно блеснула радость.

— Вечные боги! — воскликнула она. — Я наконец нашла его! Ты ли это, мой Плиний?

Плиний с болью в сердце вглядывался в ее черты. Что сделало из нее безжалостное время!

— О, Хронос, губитель всего сущего! — вырвалось у него. — Она ли это? Тот ли это нежный цветочек, который распускался в саду Диомеда? За что вы отняли ее у меня, жестокие боги!

— Но я опять воротилась к тебе...

Снова мрак покрыл все окружающее. Слышался только крик ночной птицы...

Плиний очнулся. Он лежал у треножника, а Сивилла, нагнувшись над ним, брызгала ему чем-то в лицо.

— Видел ее? — спросила она.

— Видел, — беззвучно отвечал юноша.

— Хотел бы ты видеть ее такую?

— Нет, лучше пусть я ее никогда больше не увижу.

— Да ты и не увидишь ее: той, прежней, уже нет.

Плиний действительно почувствовал, как будто камень свалился у него с души. Он приподнялся и с удивлением оглядывался кругом. Пещера та же, но видения исчезли. Неужели это был сон? Нет, то было что-то большее, чем сон. Он одно только сознавал, что в душе его совершился какой-то переворот. Зачем он сюда приходил? Узнать свою судьбу? Нет, он хотел узнать о Мальвии. И он узнал... Что же произошло с его чувствами? Что-то непостижимое и в то же время вполне определенное... Он больше не любил Мальвию. Да, он не любил ее. Неужели же вид отвратительной старухи, явившейся ему в бреду в силу непостижимых чар Сивиллы, неужели этот вид навсегда заслонил для него тот образ, в котором еще так недавно было для него столько обаяния? Да, он и это чувствовал. Что ж, он любил разве не Мальвию? Нет, нет, он любил свою мечту. Боги тогда ослепили его, а теперь, под чарами волшебницы, он прозрел. Теперь Мальвия казалась ему такою, какою он видел ее в последний раз на невольничьем рынке, когда вдруг почувствовал к ней омерзение. Да, она была тогда отвратительна с этими двумя шалопаями, когда требовала покупки юной невольницы.

«Овидиевы «метаморфозы», — невольно думал он, — там, где я видел очаровательный цветок, оказалась отвратительная жаба. Да, Мальвия — жаба!»

Он огляделся кругом и увидел, что из расщелины одной скалы на него действительно глядела жаба. «Это Мальвия», — невольно вздрогнул он.

Когда он вышел из душной пещеры Сивиллы, на него пахло ароматом чудного вечера. Теперь у него на душе было легко. В низинах уже сгустились вечерние тени, а над Авернским озером клубился беловатый пар. Морские чайки собирались на ночлег, оглашая воздух жалобными криками.

— Благодарю вас, вечные боги! Вы исцелили меня, — тихо проговорил Плиний, — я снова чувствую всю красоту природы, всю прелесть этого неба, этого моря. Я был слеп,

и вы дали мне прозреть, вы, которых я вижу теперь в каждой былинке, в каждом дыхании ветра.

IX

Дом эдила Пансы находился на улице Терм. Это был один из богатейших домов Помпеи.

На улицу Терм выходил главный вход, а по сторонам его расположены были четыре магазина. Вход был украшен пилястрами коринфского ордена, а дверь — створчатая, изящной бронзовой работы. По обе стороны вестибюля — мраморные колонны; пол также белый, мраморный. Вправо и влево от атриума находилось шесть комнат для рабов, для клиентов и просителей. Эти комнаты не имели окон и освещались светом из атриума. Атриум, обширная четырехугольная комната, следовала сразу же за вестибюлем. Он не имел ни потолка, ни крыши, а от яркого солнца и от дождя его защищал веляриум, горизонтальная занавесь на кольцах. При входе в атриум нога посетителя переступала через приветствие, начертанное на мраморном полу мозаикою: *salve*. Стены атриума Пансы покрыты были прекрасными арабесками. Посредине атриума в мозаичный пол вделан был мраморный имплювиум для дождевой воды, вроде домашней цистерны. В конце атриума вправо и влево расширялись крылья, *alae*, у стен которых стояли изящные диваны для гостей, а также для саюторов и более почетных клиентов.

Стена атриума, противоположная вестибюлю, отделяла этот зал (если можно назвать залом нечто вроде внутренней галереи) от таблинума и библиотеки с пинакотекою. В таблинуме Пансы находились его фамильные акты, родословные таблицы, трофеи, полученные предками, статуи и бюсты этих предков мраморные, бронзовые и восковые, а также портреты и картины.

Это была одна половина дома Пансы, открытая для публики. Другую половину дома занимали внутренние покои. Сюда входили мимо таблинума через фаукс, завешанный красивою пунцовою драпировкой. За драпировкой открывался роскошный зал, перестиль, поддерживаемый шестью колоннами в длину и четыремя в ширину. Середина перестили, открытая, без потолка, представляла продолговатый четырехугольник с водоемом, в котором плавали рыбы. Между колоннами, на эстрадах, стояли тропические растения и роскошные цветы, а из ниш смотрели великолепные статуи и группы. Дальше следовал

триклиний с легкими диванами, на которых обыкновенно возлежала гости во время пиршеств, женщины же сидели. Еще дальше — ларариум, помещение для домашних богов, для лар. Бронзовые канделябры и висячие лампы, прекрасная мозаика стен, резьба, позолота — все это придавало еще большее величие жилищу эдила.

Наконец, крытый высокий портик, поддерживаемый легкими колоннами, увитыми виноградом, отделял самое жилище Пансы от внутреннего сада. Портик украшала статуя Мелеагра.

Сегодня у Пансы назначен был званый обед, и потому хозяину предстояло немало хлопот. Впрочем, хозяйством в его доме заведовала, главным образом, его сестра Сервилия, вдова сенатора. Эдилу же и в этот день было недосуг за множеством дел в городе и, кроме того, ему нужно было навеститься в амфитеатр, проверить, достаточен ли там уход за вновь привезенными из Египта львами.

Однако он воротился домой вовремя, к приему гостей.

Первыми явились неразлучные друзья, которых в насмешку называли «двумя Аяксами»: это уже знакомые нам шалопаи Флакк и Марк Туллий. Хозяин встретил их в вестибюле и тотчас же провел в атриум.

— Слава, слава нашему благородному эдилу! — воскликнул Туллий. — Никто так много не делал благодеяний Помпее, как несравненный Панса, клянусь Юноной!

— Чем же я так угодил дорогому Туллию? — спросил хозяин.

— О! клянусь Орком...

— Quousque tandem abutere, Tulli, patientia deorum! — перебил своего друга Флакк известною фразою Цицерона, обращенной к Катилине. — Доколе же будешь злоупотреблять терпением богов? То ты клянешься Юноной, то вдруг Орком.

— Ну, сорвалось, не беда.

— Так чем же я угодил любезному Туллию? — снова спросил хозяин.

— О! клянусь Юпитером, а эти благородные львы...

— Да, да! — вмешался и Флакк. — Эти львы надежда Помпеи.

В эту минуту из-за пунцовой драпировки атриума показалась тучная фигура Авла Порка, известного обжоры и философа-киника.

— О боги! — торжественно поднял к небу руки пришедший. — Я уже слышу, пахнет верблюжьими пятками, о, благополучие! О, божественные пятки!

Туника на пришедшем была сильно потерта и засалена. Сам он смотрел простаком, веселым балагуром, но в маленьких, заплывших жиром глазах светилось лукавство.

Он поздоровался с хозяином, небрежно кивнул молодым Аяксам и грузно опустился на ближайшее сиденье.

— Клянусь Плутонем! Благородный Порк оскорбляет божество, — заметил Туллий, — сел задом к божественной Венере-Каллипиге.

Киник лениво оглянулся.

— А чего она тут вздумала раздеваться при мне, — проворчал он, — меня этим не соблазнишь.

— Но у нее пятки вкуснее верблюжьих, — заметил Флакк.

— А кто их пробовал? — огрызнулся киник.

Пунцовая драпировка раздвинулась, и в атриум вступили новые гости. То был Диомед с женою, круглою, с короткою шеей матроной, и с красавицей-дочерью.

— О! мои лары радуются, видя почтенную матрону и ее прекрасное отражение в дочери! — приветствовал Панса новых гостей. — Добро пожаловать, благородный Аррий.

Панса хлопнул в ладоши. На этот зов явился раб.

— Доложи госпоже, что пожаловала почтенная матрона, — сказал Панса.

Раб пошел исполнить приказание. Два Аякса поспешили к Мальвии, которая кокетливо улыбалась молодым шалопахам. Она была одета особенно тщательно. В волосах ее сверкали дорогие камни.

В это время из внутренних покоев вступила в атриум сама Сервилия, пожилая, высокая и худощавая матрона, а с нею молодая девушка в белой тунике, живописно обрисовывавшей ее стройный стан. Это была дочь Сервилии Либелла. Мальвия тотчас поспешила к ней навстречу.

— Милая Либелла! Какая хорошенькая туника! — болтала Мальвия.

— Но она проще твоей, — возразила племянница Пансы.

Не замедлили явиться и новые гости: Марк Голконий Руф, его родственник Корнелий Руф и Марк Лукреций, декурион Помпеи. За ними — молодой преторианец, недавно прибывший из Рима, Кней Авидий. Он вошел с грацией фавна, собирающегося плясать на лугу.

Молодежь бросилась к нему, как к новичку, к столичной птице. Хозяйка поспешила представить его Ливии и Мальвии. Последняя была польщена вниманием интересного преторианца и тотчас же забыла Аяксов.

— Что нового в Риме? — спросила она столичного гостя.

— О, много! — шаркнул ножкой преторианец. — Новые прически... Теперь молодые римлянки не взбивают своих волос до высоты пирамиды Хеопса, а причесываются гладко.

Мальвия вспыхнула. Ее прическа именно претендовала сделаться пирамидой, тогда как Либелла причесана была гладко.

— У нас новые шлемы, — продолжал преторианец, — очень красивая форма. Вообще много нового. Виноват, забыл: новая танцовщица из Афин Коринна... Ах, как божественно она танцует! Да, еще забыл: новые духи — *anima Veneris*... Ах, как пахнут! Клянусь Вакхом! Хотя я больше всего предпочитаю запах императорских конюшен, для меня это аромат, но *anima Veneris*... ах!

— Лучше верблюжьих пяток? — отозвался из угла киник.

— Запах конюшни! — пожал плечами Флакк.

Между тем Голконий Руф, тоже недавно прибывший из Рима, в другой части атриума рассказывал о других новостях, занимавших общественное внимание римлян. Голконий Руф принадлежал к самому почетному роду в Помпее. Это был мужчина лет за пятьдесят, стройный и гибкий, как юноша, с орлиным носом и круглыми глазами, действительно напоминавшими взгляд орла.

— Эта арка еще не открыта, — говорил он, обращаясь к Марку Лукрецию и Диомеду.

— Это какая арка, почтенный Руф? — спросил Панса, подходя к беседовавшим гостям.

— Я говорю, дорогой друг, об арке, которую сенат и народ римский сооружают в честь божественного нашего цезаря Тита, — отвечал Голконий. — Это арка Тита, но она еще не окончена, хотя мне и удалось ее видеть. Она воздвигается в честь покорителя Иерусалима. Замечательный памятник архитектуры.

— А в каком месте Рима она воздвигается? — спросил Диомед.

— При начале *Viae Sacrae*. Она состоит из восьми колонн разных орденов, — идея в том, что Рим вмещает в себе все ордена, как и всю вселенную. Но что за барельефы на стенах и на своде! На одной стороне изображен гроза Иерусалима и всей строптивой Иудеи, божественный Тит. Он представлен сидящим на победной колеснице, на квадриге. Его сопровождают воины.

— В том числе и благородный Голконий Руф, — любезно вставил хозяин.

— О, клянусь Марсом! Благородный Панса мне льстит! — вскинул на него рассказчик орлиными глазами. — Да, я был тогда в свите героя-полководца.

— Виноват, я перебил, — извинился эдил.

— Да, — продолжал Руф, — конями победителя правит сама Рома, а богиня Победы венчает его. На другой стороне другие группы — победоносные войска, пленные иудеи и трофеи победы: скиния завета, величайшая святыня иудейского народа, а также седьмисвечие и другие трофеи. Верх свода арки изображает Тита, парящего в жилище богов на могучих крыльях орла Юпитера.

— Но, благодарение богам, он еще не парит, — заметил из своего уединения киник.

— О да! — согласился Руф. — И арка будет открыта только *post hoc*, да продлят боги его дни.

В это время к Пансе подошел один из его домашних рабов, по имени Какус, и почтительно доложил, что в триклиниуме все готово для пиршества.

Х

Хозяин пригласил гостей пожаловать в триклиниум, и все общество направилось вслед за Сервилией и Ливией, которые шли впереди. Преторианец, помня, что он в хорошем обществе, а не в конюшне, с ловкостью петуха у корыта с кормом предложил свою руку Либелле, которая шла рядом с Мальвией. Последняя хотя и была обижена предпочтением, оказанным ее скромной подруге, однако старалась не выдать себя, и когда к ней подошли Флакк и Туллий с предложением вести ее к столу, она, нервно смеясь, отклонила их любезность и подала свою руку кинику.

— Клянусь великой Форнацидой, — воскликнул толстяк, — а это наиболее почитаемая мною богиня, клянусь Форнацидой, прекрасная дочь Аррия Диомеда очень находчива: она хорошо знает, что ничто так не возвышает красоты, как соседство с безобразием.

— О, благородный Авл Порк... — смешалась Мальвия.

— Да, да! — настаивал киник. — Что же может быть прелестнее, как нимфа под ручку с отвратительным сатиром!

В триклиниуме гостей ожидала целая фаланга рабов: одни держали в руках гирлянды цветов, другие — серебряные кувшины с благовонною водой и белые, шитые шелками и серебром полотенца. На высоких треножниках курились восточные

благоухания, дым от которых легкими струйками уносился в четырехугольное отверстие в потолке над писциной, в которой плескались золотистые рыбки.

На обеденном столе, в середине, возвышалось прекрасное мраморное изображение Весты, окруженной домашними лабрами. Статуя Вакха, увитая виноградными гроздьями, стояла на особом пьедестале.

Мальчишки-рабы, державшие кувшины и полотенца, подходили к гостям и помогали им совершать обычное омовение рук, а другие рабы вносили из форнакса блюда с закусками и кушаньями и ставили их на стол.

— Великий Вакх да покровительствует нам! — сказал хозяин, подходя к изображению этого бога пиршеств и делая в честь его возлияние.

Потом он начал размещать гостей, а рабы украшали их гиляндами.

— О нет, нет! — отстранял от себя раба с цветами киник. — Они будут мешать мне есть. Пусть богиня Флора не погневадается на меня, я люблю наслаждаться ее дарами только после пищеварения.

Выходка киника всех рассмешила.

— Да будет амфитрионом пира благородный Голконий Руф, — провозгласил Панса.

— Просим! просим! — закричали гости.

Рабы наполнили вином кубок каждого гостя.

— О, какие устрицы! — воскликнул Авл Порк, опуская в рот устрицу за устрицей. — Я узнаю их, это из Лукринского озера.

— Да, — подтвердил Панса, — это благородный Плиний прислал мне их в подарок за редкого октопода, которого я презентовал ему.

— Таких устриц, клянусь Форнацидой, не едал и Гораций, — продолжал киник, — а Флакк был знаток в них.

— Флакк? — отозвался с другого конца стола один из Аяксов, тоже Флакк. — Я не люблю устриц.

— Н-ну, — презрительно пожал плечами киник, — кому дано богами много, а иному шиш.

— Какое вино! — воскликнул Марк Лукреций, осушая кубок. — Только боги Олимпа могут пить такое.

— Да оно и старо, как Олимп, — засмеялся хозяин, — оно помнит Брута.

— А я пил вино, которое прекрасная Клеопатра прислала в дар Антонию, — похвастался преторианец, любезничая с Либеллой, которая кусала губы, чтоб не рассмеяться ему в лицо.

— А как оно попало на стол к благородному воину? — лукаво спросил киник.

— Не мне на стол, — развязно отвечал воин, — мы пили его в конюшне.

— А! в конюшне! где так хорошо пахнет...

— Да... Это было в день убийства императора Гальбы: преторианцы разграбили императорский погреб и одну амфору с вином принесли в конюшню.

— Почему ж узнали, что это вино от Клеопатры?

— Так говорили.

— А-а! Ну, так я же лучше скажу, — и киник подмигнул Голконию Руфу, — я пил вино, которым Дидона угощала Энея.

— А кто ж была эта Дидона? — спросил воин.

— Одна танцовщица в Помпее, — серьезно отвечал Голконий Руф.

— А Эней?

— Это известный клоун в Риме, — еще серьезнее отвечал Голконий.

— Как же я его не знаю? — удивился воин.

Но киник, по-видимому, забыл все. Он поднял голову и с наслаждением втягивал носом воздух.

— О, слышу! слышу! — торжественно говорил он. — Несут верблужьи пятки. Великая Форнацида!.. Пятки! пятки!

— И соловьиные языки, — пояснил хозяин, весело улыбаясь.

— О! соловьиные языки не для нас! — небрежно махнул рукою киник. — Они для прекрасного пола.

— А воину следовало бы подать ослиные уши, — шепнул через стол Голконий Руф.

— Они у него и без того есть, — пробурчал Авл Порк.

— Когда же благородный Панса покажет нам на арене амфитеатра своих великолепных африканских львов? — спросила хозяйина дочь Диомеда, кокетливо поправляя свою пирамидальную прическу.

— При первых же ристалищах и бое гладиаторов, прекрасная Мальвия, — отвечал эдил.

— А есть кого травить львами? — спросил преторианец.

— Пока никого, нет преступников, а неосужденных сенатом закон запрещает травить.

— Варварский закон! — надула губки дочь Диомеда.

— Да, это драконовский закон, — подтвердил киник, лукаво поглядывая на Голкония Руфа.

— А кто этот Дракон? — спросил преторианец.

— Это один глупый сенатор, — отвечал Голконий Руф.

— А я рад этому закону, — заметил киник, — когда я вижу, как лев терзает человека, я теряю аппетит, мне противным становится мясо.

— Но рабов следовало бы позволить выводить на арену, — сказал в свою очередь Марк Туллий, — раб моя собственность, моя вещь, что хочу, то и делаю с нею... А этот жестокий закон — безнравственный, он посягает на священные права собственности.

— Клянусь Марсом, это правда, — подтвердил преторианец.

— Мало того, — пояснил Диомед, — закон этот идет вразрез с государственными интересами. Государству важно иметь хороших воинов, бесстрашных бойцов, а мы не даем народу хороших примеров, народ отвыкает от крови, от кровавых битв. Вероятно, римский сенат, в котором заседают выжившие из ума старцы, желает превратить римлян в воинов Ганнибала после Капуи: римляне так изнежатся, что вместо мечей возьмут веретена и будут прясть.

— Как Геркулес у Омфалы, — добавил киник, запивая вином верблюжьи пятки. — А все-таки хороший обед — это лучшая арена для человека.

Но Панса начал успокаивать своих гостей обещанием, что, несмотря на безжалостный закон о зрелищах и травлях людей дикими зверями, он надеется, что благородные инстинкты граждан Помпеи найдут удовлетворение в зрелище, которое он им готовит; что искомые преступники будут подысканы; что он уже напал на след преступления, и преступления очень серьезного; что он следит, при помощи своих агентов, за целою группою людей, которая издевается над всеми божескими и человеческими законами...

— Клянусь Вулканом, это люди очень опасные, — говорил он, — они куют такие ковы, что удивительно, как еще боги терпят их на земле. Они, как дикие звери, скрываются по пещерам, отрицают наших богов, не посещают наших храмов...

— Вечные боги! — воскликнула жена Диомеда. — Кто же они такие, эти изверги?

— Это последователи одной иудейской секты; но их сами иудеи презирают, — отвечал Панса.

— Какая же это секта?

— Последователей этой секты сами иудеи называют «богодедами».

— Как «богоедами»?

— Да, благородная Сервилия, «богоедами»: говорят, будто бы они своего бога употребляют в пищу.

— Как! разве же можно мраморного или бронзового бога есть! — изумилась почтенная матрона.

— Да я сам сомневаюсь, — покачал головою эдил, — но так донесли мне мои агенты.

— Клянусь Юпитером! — вмешался в разговор Голконий Руф. — Я знаю, о какой секте говорит благородный эдил. И кое-что узнал об этом на месте, в самой Иудее, когда я находился там вместе с войсками божественного Тита. Мне передавали там очень таинственную и глубоко трогательную историю. Это было в царствование божественного цезаря Августа, хотя конец этой таинственной драмы последовал уже при его преемнике. В конце царствования Тиверия появился в Иудее удивительный Человек, или, как его называли, Богочеловек. Происхождение Его было таинственное. Родился Он, говорят, в бедной семье, но семья эта по прямой линии происходила от древних царей иудейских. Называли даже бедное местечко, где Он родился, но я позабыл это название. Как Он рос, где, что воспитало Его великий ум, этого никто не знал, и до тридцатилетнего возраста никто в Иудее не слышал о Нем. Говорили после, что перед своим появлением Он долго постился в пустыне, готовясь к великому подвигу, к проповеди новой религии. Наконец, Он явился и с той минуты началась Его проповедь.

— В чем же она состояла? — спросил Панса.

— Да сколько мне помнится, Он так объяснял человеческое счастье, или, как он выражался, блаженство, и я не могу не видеть в Его словах глубочайшей философии. Он говорил: «Блаженны нищие духом, ибо им принадлежит царство небесное; блаженны плачущие, ибо они утешатся; блаженны краткие, ибо они наследят землю»...

— Удивительно! — воскликнул киник. — Это учение побивает всю римскую философию, но я вижу в нем глубокие истины.

— Но это не все, — продолжал Голконий Руф. — Он говорил: «Блаженны алчущие и жаждущие...»

— О! нет, нет! — протестовал киник-обжора. — С этим я не согласен.

— Да ты послушай, благородный Порк, — улыбнулся Голконий Руф. — Он говорил: «Блаженны алчущие и жаждущие правды ибо они насытятся».

— Ну, я и за правду не хочу голодать, — возражал киник, — правда и верблужьи пятки или устрицы из Лукрин-

ского озера, кто ж променяет такое добро на правду! Ну, а что еще?

— Он говорил еще, — продолжал Голконий Руф, — «Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы; блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога». Но всего поразительнее последнее в Его удивительной доктрине. «Блаженны, — говорил Он, — изгнанные за правду, ибо им принадлежит царство на небе; блаженны, если вас поносят и изгонят и будут говорить о вас злые речи, лгать на вас ради Меня», то есть ради Его учения. «Радуйтесь, — говорил Он, — и веселитесь: вам готовится великая награда на небе».

Киник даже перестал есть.

— Удивительно! — сказал он. — Да в Его словах, клянусь Форнацидой, глубочайшая мудрость!

— Ну, и что ж дальше, — спросил Панса и, заметив, что Голконий Руф совсем забыл о своей роли амфитриона-распорядителя, мигнул рабам, чтоб они дополнили вином кубки гостей.

— Дальше? — спросил Голконий. — Этот удивительный Человек творил непостижимые чудеса: слепым возвращал зрение одним прикосновением, исцелял прокаженных, воскрешал умерших, ходил по морю, как по суше; Ему повиновались стихии... Народ видел в нем Бога, и это погубило Его: иерусалимские жрецы обвинили Его в том, будто Он называет себя царем, и наместник цезаря, Пилат, боясь гнева императора, отдал его в руки жрецов, а жрецы распяли Его на кресте, между тем как жизнь его была свята и чиста, жизнь праведника.

— Бедный! — тихо произнесла Либелла.

— Почему же последователей Его учения иудеи называют «богоедами?» — спросил киник, видимо, заинтересованный этой историей.

— А потому, что накануне своей смерти Он ужинал со своими учениками и, передавая им хлеб и вино, заставлял поминать Его этим, говоря, что это Его тело и Его кровь, которую Он проливает за спасение всего человечества, — закончил Голконий Руф трогательную историю. — Но Он, говорят, воскрес из гроба и вознесся на небеса. С той поры число последователей Его учения растет с каждым годом все больше и больше, и мне говорили в Риме, что в Вечном городе их насчитывают уже тысячи.

— О! так это те, которых Нерон превращал в горящие факелы, — заметил Панса, — а мы их будем травить моими великолепными львами.

— Bravo! — подарила его Мальвия очаровательной улыбкой.

— Bravo! bravo! — откликнулись оба Аякса.

Обед между тем кончился, и матроны с дочерьми удалились в гинекейон.

— А теперь, дорогие гости, я угощу вас лицезрением божества, — сказал хозяин, проводив прекрасный пол. — Какую, живо!

Не отходивший от него ни на шаг приживал тотчас прошел в экседру, откуда был ход наверх. В то же время в отверстии в потолке над писциной показалось что-то вроде розоватого облачка, которое, опускаясь ниже, как бы рассеялось, и глазам зрителей представилась знакомая всем мифическая группа: на розоватом облачке полулежала в известной позе Леда с лебедем... Леду изображала очаровательная невольница, в виде божества, прикрытая только лебедем, таким же белоснежным, как и все тело юной рабыни, еще почти совсем несформировавшейся девочки...

Гости, казалось, окаменели от изумления и восторга...

— Долой лебедя! Лебедя долой! Он только закрывает! — завопил преторианец, бросаясь вперед, чтоб оттащить лебедя.

Достойный воин был совсем пьян. Леда забыла свою роль богини и разрыдалась.

XI

Кратилла, проводив свою госпожу на званый обед к эдиду, осталась в ее комнате, чтоб привести ее в порядок. А это было необходимо. Мальвия, которой Кратилла прислуживала за ее туалетом, была очень недовольна своей новой рабыней: то ей казалось, что юная гречанка неумелыми руками мнет легкие складки ее новенькой туники, то косо держит пред ней изящное металлическое зеркало, то не те браслеты подает ей, что вообще она неловка и неповоротлива. Не раз даже она назвала ее дохлой и часто швыряла со злости подаваемые ей то те, то другие принадлежности туалета. Кратилла сдерживала слезы и молчала.

Теперь, когда капризной госпожи уже не было дома, юной гречанке предстояло все убрать и все поставить и положить на место. Она это и делала, молча, неслышно скользя по комнате своими маленькими ножками, обутыми в легкие сандалии. По временам она в печальной задумчивости останавливалась перед изящной группой умирающего гладиатора, который находился

теперь в комнате ее молодой своенравной госпожи. Кратилла знала, что этот говорящий, страдающий мрамор — творение рук ее отца. Это она узнала только вчера, как тогда же узнала и то, что отец ее так недавно еще находился в Помпее, а быть может, и теперь еще здесь, где-нибудь близко. Думала ли она, резвясь и распевая в его мастерской в Мемфисе, что скоро потеряет и милого, дорогого ей отца, и нежную мать, и сама делается рабыней! О, если б знал отец, что она в Помпее! Он наверняка явился бы к ней, чтоб разделить ее грустную участь.

Кратилла припала головой к холодному мрамору статуэтки и безутешно плакала. За слезами она не слышала и не видела, как какая-то тень заслонила свет, проникавший в хорошенькую комнатку Мальвии с крытой галереи, выходившей на внутренний сад виллы Диомеда и на море. Тень стройной, атлетической фигуры старшего сына Диомеда. Он случайно проходил по галерее и заметил плачущую девушку. Тихо подойдя к ней, Квинт нежно положил руку на голову плачущей. Кратилла вздрогнула и оглянулась.

— Не бойся, бедное дитя, — ласково сказал молодой стоик. — Я не хотел испугать тебя, прости меня.

— О, добрый господин! — прошептала девушка, закрывая лицо ладонями.

— Не называй меня господином, милая девочка, зови просто Квинтом, — говорил молодой стоик. — О чем ты плачешь, бедная? Может быть, тебя обидела сестра?

Говоря это, он гладил ее золотистую головку.

— Да? Сестра была груба с тобой?

— О нет, добрый... — Она не договорила и еще больше расплакалась.

— О чем же, бедная?

— Мой отец, мой бедный отец! Он был здесь, это его гладиатор.

— Да, да, — быстро заговорил Квинт, — я вчера слышал об этом. Ты уверена, что это его работа?

— Его, его, добрый гос... добрый Квинт! — горячо сказала девушка.

— Ты говоришь, что его имя Зено?

— Да, вот оно здесь и вырезано им: Zeno fecit. — И Кратилла поцеловала дорогое ей имя.

— И это он работал в скульптурной мастерской Руфуса? — продолжал спрашивать Квинт.

— Да, сам Руфус вчера говорил это.

— Как же он попал к нему в мастерскую?

— Руфус купил его прямо с корабля, здесь, в Помпее.

— А где же он теперь?

— Не знаю... никто не знает. Четвертый день, как он скрылся из мастерской.

Квинт молчал и что-то обдумывал.

— Ты хорошо его помнишь? — спросил он потом.

— О, помню! Как мне его не помнить!

— Постой, бедное дитя, успокойся. У него белая, седая голова?

— Да, белая, как серебро, как паросский мрамор.

— А борода большая?

— Большая, как у Юпитера Фидия.

— Золотистая, как твоя головка?

— Да, точно моя коса...

Кратилла вдруг встрепенулась. В глазах ее на минуту вспыхнула радость.

— Откуда ты это знаешь? — заговорила она быстро. — Ты видел его?.. Ах, великая Изид! Ты это узнал от Руфуса! — печально договорила она.

— Постой, не волнуйся, бедная... Я сам его, кажется, видел...

— Видел! о боги! где? когда? Говори, мой господин!

И девушка схватила его руку и припала к ней губами... «Где? когда? мой добрый... Квинт!»

— Нет, не целуй моей руки, бедное дитя! Я должен целовать твои чистые детские ручки.

И Квинт нежно прижал к своим губам ее тонкие холодные пальчики и так же нежно поцеловал в голову.

Ни Квинт, ни Кратилла не заметили, как в этот момент по галере проскользнула еще какая-то тень. Это была женщина. Она на мгновение остановилась против двери, ведущей в комнату Мальвии, увидела, как Квинт поцеловал у юной гречанки руку и золотистую головку, и, прошептав с затаенной злобой: «А! так вот он какой! А она? о боги!» — исчезла в другом конце галереи.

— Именем богов заклинаю тебя, мой господин, скажи, где ты видел моего отца? — умоляла Кратилла, не выпуская руки Квинта из своих рук.

— Это не моя тайна, дитя, не могу тебе открыть ее, — отвечал Квинт.

— Но ведь я его дочь! Его тайна — моя тайна! С его тайной в груди я умру, но не выдам.

— Я верю, дитя мое, но я должен его спросить, я должен узнать еще, действительно ли он отец твой и желает ли, чтоб ты открыла его убежище.

— А ты его убежище знаешь?

— Нет, я только видел его.

— Где ж это было и когда?

— Где, я не смею сказать тебе, бедное дитя, но я видел его не далее как нынешней ночью.

— Так недавно! о боги! великая Изиди! — прошептала девушка припадая к руке молодого стойка. — Поведи меня к нему, о Квинт!

— Не могу, дитя. Я прежде должен спросить его.

— А когда ты спросишь?

— Я сам не знаю, милая Кратилла: ведь мне неизвестно его убежище.

— Кто же знает, где он, кто?

Квинт вспомнил, что Кардо и Кардита должны знать его убежище, потому что нынешнюю ночь Зено должен был провести в их хижине: он это слышал, когда с братом возвращался из таинственной пещеры.

— Хорошо, я узнаю, — сказал он, наклоняясь и целуя девушку в голову. — Только успокойся, дитя.

Он повернулся, чтоб выйти, как тотчас же лицом к лицу встретился с той женщиной, что за несколько минут перед этим проскользнула по галерее.

— А, это ты, Синистра? — сказал Квинт, видимо, недовольный появлением этой женщины.

— Я, господин... Прости... Я, кажется, помешала вам, — отвечала та, которую называли Синистрой.

— Нет, ты ничему не помешала; скорее, помоги Кратилле привести в порядок комнату сестры. Кратилла, конечно, не знает ее привычек.

Вошедшая была одна из рабынь Диомеда, пользовавшаяся особым расположением главы дома. Это была молодая, красивая, очень смуглая самнитянка, наперсница Мальвии. Она была главною виновницей той крутой перемены в характере и в поведении своей молодой госпожи, которая окончательно оттолкнула от Мальвии как ее братьев, так и юного Плиния. Испорченная и развращенная с детства среди нищеты и разврата в семье своей приемной матери, рыбачки Люпанартии, хитрая и вкрадчивая, она, будучи куплена Диомедом для ухода за подраставшей Мальвией в качестве рабыни, скоро влила яд своей отравы и в неиспорченную еще душу своей юной госпожи. Она овладела этой душой с помощью коварства и лести, и скоро Мальвия на все стала смотреть глазами Синистры. Как Синистра не признавала никаких нравственных обязательств, считая их рабскими оковами, так и Мальвии они

скоро стали представляться такими же оковами. Но она была развитее своей испорченной рабыни и потому пошла по этому направлению еще дальше: честь, сострадание, великодушие, самоотвержение, память сделанного ей добра, благодарность — все это стало казаться ей рабскими оковами для души свободной гражданки, гордой дочери богатого Диомеда. Все это было результатом нравственного воздействия на нее Синистры.

В одном только пункте своих стремлений лукавая самнитянка потерпела полное поражение. Завладев душою старого Диомеда, подобно тому, как прежде, еще девчонкой, она, точно сирена, очаровывала всех помпейских и геркуланумских рыбаков и матросов, Синистра надеялась очаровать своими прелестями и Квинта, атлетические формы которого напоминали ей могучего бога моряков и матросов и не давали ей спать; но она жестоко ошиблась. Квинт холодно, но мягко отклонил от себя ее заискивания, ее ласки. Оскорби он ее, она бы не так страдала; грубость его дала бы ей в руки оружие, злобу, досаду... Но он даже не оттолкнул ее, он мягко уклонился.

Вот почему, когда она увидела Квинта нежно склонившимся над золотистой головкой Кратиллы, когда он с такой отеческой лаской целовал руки этой девчонки, в Синистре пробудилось страстное желание погубить юную гречанку. Решение это созрело в душе ее быстро и бесповоротно, этого требовал ее пламенный темперамент самнитянки, дочери Везувия.

Проходя по галерее, Синистра уловила часть разговора Квинта с Кратиллой. Они говорили об отце гречанки. Спрятавшись потом за ближайшей колонной, лукавая самнитянка подслушала и окончание их разговора. Квинт обещал гречанке найти ее отца. Надо выследить его, это, быть может, облегчит ей выполнение коварного плана. Надо следить за нею и за Квинтом.

— Я охотно помогу неопытной девочке привести в порядок комнату нашей доброй госпожи, да хранят ее боги! — покорно отвечала Синистра, когда Квинт просил ее помочь Кратилле. — Я и вчера, и сегодня показывала ей, как что делать. Сегодня я не отходила от нее, когда она служила божественной Мальвии при ее туалете.

— Хорошо, Синистра, я буду тебе очень благодарен, — сказал Квинт, оставляя в комнате сестры и Синистру, и Кратиллу.

— Кажется, все в порядке, — сказала первая из них, оглядывая комнату по уходу Квинта.

— Если что не так, добрая Синистра, то научи меня, — кротко сказала Кратилла.

— Нет, все на месте, и ты теперь можешь отдохнуть, пока госпожа в гостях, — заключила самнитянка.

Кратилла вышла, с любовью взглянув на группу умирающего гладиатора.

Скоро Синистра вышла из комнаты Мальвии и направилась в сад. Она, по-видимому, искала Квинта. Постояв несколько секунд под старой дуплистй маслиной, она пришла в дом и оттуда увидела, как Квинт прошел через Виа-Домициана и скрылся за группами темных кипарисов, осенявших памятники и колумбарии помпейского кладбища. Он, видимо, направлялся в гору, к Везувию. Его фригийский красный колпак несколько раз мелькал между виноградниками и росшими на горе смоковницами.

Синистра наскоро накинула поверх туники плащ и покрывало и также вышла из дому. Только она пошла не вслед за Квинтом, а левее, несколько в сторону. Но она, видимо, не спускала глаз с фригийского колпака, по временам мелькавшего то из-за ствола пинии, то из-за безобразных колючих листьев кактусов и агав.

— Куда он идет? — невольно шептала она, теряясь в догадках.

Ей вдруг пришла в голову мысль, которая сразу ошеломила ее.

— А если он знал ее прежде? — шептали ее побелевшие от волнения губы. — Великие боги, непременно знал! Ведь он же знает ее отца. Он, конечно, и настроил дуру сестру и старого мула отца купить этого рыжеволосаго змееныша. Недаром они так сладко сегодня целовались. А вчера, разве не срам? Сын Диомеда через весь город пронес этого мраморного раба, чтоб только облегчить эту девчонку! Клянусь фуриями, это все задумано раньше, может быть, даже в Риме, откуда он воротился таким недотрогой. Ну, да вот посмотрим, что он скажет завтра. Завтра, клянусь Немезидой, мой праздник, праздник Немезиды!

XII

На другой день Мальвия проснулась очень поздно. С вечера она долго не спала, потому что сначала рассказывала своей наперснице Синистре о том, какой был обед у эдила, что все это делал он для нее, что для нее выписал откуда-то

из Скифии соловьиные языки и верблюжьи пятки и почти весь обед не отходил от нее; что все мужчины наперерыв старались ей угождать, и почтенный Голконий Руф, и Марк Лукреций; что приехавший из Рима преторианец, любимец императора, просто был без ума от нее, а Флакк и Марк Туллий бесились все время, потому что она не обращала на них внимания; что даже киник Авл Порк был в восторге от нее и назвал ее нимфой Эгерией; но что Либелла была совсем-совсем нехороша и очень дурно одета. Потом, когда она кончила свой хвастливый рассказ и улеглась в постель, Синистра села у нее в ногах и тайнственно поведала своей молоденькой госпоже, как она застала в ее комнате Квинта и эту хитрую притворщицу, тихоню, рыжую гречанку Кратиллу; как она без всякого стыда кидалась на шею молодому господину и как сам молодой господин целовал ее, и ее руки и даже — боги свидетели! — снимал с нее сандалии и целовал ее голые ноги, потом посадил ее на постель, а она, Синистра, со стыда убежала... Что они делали потом, она не знает...

Наслушавшись этих рассказов, Мальвия уснула не скоро, но зато видела восхитительные сны. То видела она себя женой этого преторианца, Кнея Авидия, и сидела вместе с ним в Циркус-Максимусе, в Риме, рядом с ложей императора, и божественный император все время любовался прекрасною Мальвией; то видела она себя женой эдила Пансы и ела у него — великие боги! — ела соловьиные языки и верблюжьи пятки; то была, наконец, женою Голкония Руфа, а молодой Плиний, который теперь не хочет смотреть на нее, плакал с отчаяния.

Когда же она, наконец, утром проснулась, то Синистра, перепуганная и бледная, со слезами объявила ей, что у них в доме несчастье: та драгоценная золотая диадема с алмазами и изумрудами и великолепное жемчужное ожерелье, которые божественная императрица Ливия Друзилла пожаловала Диомеду для его будущей невесты и которые хранились в нише, в комнате Мальвии, в потайном ящике из слоновой кости, кем-то украдены! Она пояснила при этом, что вчера в этой комнате, кроме нее, Синистры, да молодого господина Квинта и молоденькой гречанки Кратиллы, никого не было!

Это известие не могло не поразить Мальвию. Драгоценная диадема и ожерелье Ливии Друзиллы считались семейною святыней Диомедов. Надо было по горячим следам искать пропажу, но так, чтоб никто в доме не знал об этом, особенно отцу Мальвии, для которого святыня эта составляла гордость всей его жизни.

Кроме Кратиллы, некому было украсть этой драгоценности. Эта молоденькая гречанка, при ее скромной наружности, оказывается такою лукавою притворщицею и развратною девчонкой.

Мальвия тотчас же велела позвать ее. На лице Кратиллы светилась тихая радость, когда она вошла в комнату своей госпожи. Ей дали надежду, что она найдет своего отца.

— Ты вчера была одна в этой комнате? — спросила ее Мальвия.

— Была: когда госпожа отправилась на обед к эдилу, я оставалась в этой комнате, — отвечала юная рабыня, не предвидя никакой грозы.

— Что ты делала?

— Убирала, госпожа, как мне было приказано.

— А еще что делала?

Кратилла молчала. По тону голоса молодой госпожи она стала что-то подозревать, и краска разом залила ее хорошенькие щечки.

— Кто же еще тут был? — допытывалась Мальвия.

— Молодой господин входил сюда.

— Что ж вы тут делали?

Смущение все больше и больше овладевало молоденькой рабыней. Она нервно тербила свою длинную белую тунику, в которой она была похожа на хорошенькую статуэтку, завернутую в простыню.

— Ну, говори же, негодная?

Девочка вдруг заплакала, уткнув личико в складки туники.

— Я спросила господина о своем отце, добрая госпожа, — всхлипывала она.

— Ну, хорошо... Это не мое дело, что у вас тут было... Ты рабыня, а он господин... Но ты ничего не брала из этой комнаты?

— Я ничего не брала.

— Лжешь, негодная тварь! Говори! — настаивала Мальвия.

— О, госпожа, я ничего не брала.

— Ничего? А куда девались диадема и ожерелье, которые я вчера при тебе примеряла, а потом положила вон в ту нишу, в ящик из слоновой кости, не знаешь?

— Не знаю, госпожа... О, великая Изид! Пощади меня, защити! — молилась несчастная.

— А, змееныш, не защитит тебя и великая Изид! — злым шепотом говорила разъяренная дочь Диомеда. — Поддай сюда хлыст, Синистра! Бич подай скорей!

Бедная рабыня упала на колени.

— О, боги! отец мой! мама моя! сжальтесь, боги!

Мальвия взмахнула бичом, но в этот момент атлетическая фигура ее старшего брата заслонила собой трепещущую девочку.

— Не смей трогать ее, сестра! — тихо, но твердо сказал Квинт.

— Она моя раба! — дерзко отвечала Мальвия. — Я могу убить ее, как собаку! Она воровка.

— Неправда, благородная госпожа! — раздался вдруг чей-то голос. — Кратилла, маленькая гречанка, невинна.

В дверях стоял старый привратник дома Диомеда Канис, служивший Диомеду еще в Риме, когда тот был только либертином. Из-за него выглядывала огромная собака, добродушно махая лохматым хвостом.

— Извини, благородная госпожа, — сказал старик, почтительно целуя край туники у Мальвии, — моя собака укажет вора.

Собака смело вошла в комнату и ткнулась мордой в руку Квинта, потом быстро лизнула руку Мальвии. Квинт поднял трепещущую Кратиллу.

— Так ты знаешь, кто украл диадему и ожерелье? — спросила Мальвия привратника.

— Я не знаю, благородная госпожа, — отвечал старик, — вечные боги не дали мне этого дара, они дали мне одну способность — различать добрых людей и злых. Но собаке, взамен нашей речи и ума, боги дали дар, которым мы не обладаем; мой Минос укажет тебе вора.

Квинт молча гладил косматую шерсть собаки.

— Пусть укажет, — сказала наконец Мальвия после некоторой борьбы.

Канис, обратясь к собаке, торжественно сказал:

— Минос, судья и гонитель злых, ты знаешь вора диадемы и ожерелья?

Собака радостно залаяла ему в лицо как бы говоря: «Мне ли не знать? Ты же научил меня».

— Ну, говори, где же вор? — продолжал старик. — Вот эта? — он показал на Кратиллу.

Собака подошла к плачущей девушке, ласкова завиляла хвостом и ткнулась мордой в ее колени, а потом поднялась на задние лапы, чтоб лизнуть ее в лицо. Кратилла с испугом отстранилась.

— Это вор, Минос? — спросил старик.

Собака опять радостно залаяла, как бы желая сказать: «Что ты, старина, морочишь их даром? Зачем из меня шута делаешь?»

— Так где же вор? Вот эта? — и старик указал на Синистру.

Собака злобно зарычала, оскалив на перепуганную самнитянку страшные зубы.

— А, эта? Так докажи.

Собака с рычанием схватила Синистру за тунику. Та взвизгнула и попятилась.

— А, хочешь доказать, Минос? Ну, доказывай, — продолжал старик.

Пес упрямо тащил свою жертву из комнаты на галерею. Синистра упиралась.

— Не упирайся! Иди, иди! — настаивал старик. — Иди, говорят тебе, а то он и за лýtки потащат тебя, иди за ним.

Синистра повиновалась в суеверном страхе. Она поверила в сверхъестественное ведение животного, посвященного адским богам в образе Цербера. Она шла за собакой.

— Надо и нам идти, — сказал Канис.

Странная процессия двинулась. Впереди собака, влекущая свою трепещущую жертву из галереи по ступенькам вниз. Вслед за ними Мальвия и Квинт, потом Канис. Кратилла замыкала шествие.

Спустившись в сад, собака повела свою жертву мимо писцины и виноградной беседки, в которой когда-то Мальвия так часто укрывалась от нескромных взоров с юным Плинием и расточала ему такие жаркие ласки и клятвы, и подвела, наконец, в самом отдаленном углу, к старому дуплистому оливковому дереву. Здесь она остановилась и выпустила из пасти тунику Синистры. Та стояла бледная, с судорожно искаженным лицом. Все ждали, что будет дальше.

— Ну, доказывай же, Минос! Покажи, где диадема и ожерелье, — снова обратился привратник к своей собаке.

Минос встал на задние лапы, вздымался на ствол дерева и царапал его когтями.

— Ну, где же? Там? Говори!

Собака срывалась с дерева и радостно лаяла на старика, махая хвостом.

— Тут? На дереве? Или под деревом?

Недоумевающий пес опять вздымался на дерево, обрывался с него, падал, грыз зубами.

— Ну, где же, каналья! Что не говоришь? — дразнил его старик.

Пес уже неистово лаял в лицо своему мучителю. Он, видимо, хотел сказать: «Ты что ломаешься, старый черт! Сам хорошо знаешь, что здесь, сам же мне показывал дупло и

морду мою тыкал туда, заставлял нюхать, а теперь ломаешься, старая лисица!»

Тогда Квинт подошел к дереву и на высоте двух аршин от земли заметил дупло, в которое могла свободно пролезть рука. Он вложил туда руку.

— Здесь! — сказал он и вытащил оттуда шелковый розовый платок, в котором было что-то завязано.

Он осторожно развязал платок. Собака первая ткнулась туда носом и радостно запрыгала.

В платке все увидели диадему и ожерелье. Драгоценные вещи так и горели на солнце. Все посмотрели на Синистру.

— Это не я! — сказала она дерзко. — Это она спрятала, а может быть, сам старый черт.

Но Квинт осторожно развернул платок и поднес к глазам. На платке оказалась надпись, вышитая золотом.

— Тут что-то вышито, — сказал он и прочел вслух: — *Sinistra — amico animae — Barcae gladiator.* А! «Синистра — другу души — Барке гладиатору». Прекрасно! Какой дорогой подарок.

Синистра упала на землю и билась в конвульсиях.

— А у нее недурной вкус! — иронически заметил Квинт. — Барка — гигант и красавец.

— А все же не стоит такого подарка, — проворчал Канис.

Мальвия стояла растерянная, глядя то на драгоценности, то на платок с предательскою надписью... Барка! Она сама недавно заглядывалась на этого гиганта, когда встретила его на форуме... Так богатырски сложен! Какие мускулы, икры! И вдруг, Синистра, ее рабыня, ее соперница! И быть может, давно предпочтенная...

Кратилла припала к лохматой шее собаки, обнимала и целовала ее.

— Поняла ты теперь свою несправедливость? — обратился Квинт к сестре.

— Поняла и тебя, — глухо ответила Мальвия.

XIII

— Ты где это пропадал? — спросил Квинт своего брата, когда тот вернулся откуда-то часа через три после описанного выше происшествия.

— Я был в Мизене, — отвечал Курций.

— У Плиниев?

— Да. Меня беспокоило то непостижимое явление, свидетелями которого мы были третьего дня в пещере на Везувии, и я ездил в Мизен поговорить об этом с Плинием: у меня не выходило из головы, что это работа Вулкана. Что он замышляет?

— Вздор какой! Ты все еще веришь, кажется, бабьим рассказам, что под горой сидит какой-то страшный старик-кузнец и колотит своим молотом, — с презрением сказал Квинт. — Пора бы тебе отказаться от этих бредней.

— Да дело не в названии, брат, — кротко заметил Курций, — Вулкан ли там куролесит или Нептун, это все равно, но я хочу постигнуть тайну природы.

— И что ж, постигнул?

— Старик Плиний говорит, что он сам ожидает чего-то: что-то готовится под землею. Он говорит, что и на форуме Вулкана в последнее время что-то непокойно. Он прислушивается, изучает и хочет поговорить еще об этом со жрецами Сераписа: они хранят какую-то тайну, у них есть сношения с Эребом и подземными силами.

— Да! Они морочат таких же доверчивых, как и ты, — заметил Квинт.

— Может быть, — согласился более податливый младший брат. — А все же мы на днях все отправляемся на форум Вулкана и к жрецам Сераписа.

— Кто это все?

— Плиний со своим другом Агриппой да мы с Плинием Младшим.

— Кстати, отчего он перестал бывать у нас?

— Не знаю. Вообще он стал какой-то странный: что с ним, не постигаю. Да, вот что, у меня есть поручение от Плиния Старшего.

— Какое поручение?

— Он заинтересован судьбою нашей новой рабыни, Кратиллы. Говорит, что обещал этой девочке разыскать ее родителей. От имени сената и народа римского он намерен разослать мандаты по всем невольничьим рынкам о розыске отца и матери Кратиллы. А для этого ему необходимо знать их точные приметы, чтоб прописать их в мандатах. Все это надо узнать от самой Кратиллы.

— Ну, относительно отца ее, — заметил Квинт, — я почти уверен, что мы нашли его.

— Это там, в пещере Циклопов?

— Да. Это, без всякого сомнения, он. Но только ведь он беглец, беглый раб, значит, преступник. И потому надо, чтоб

сама власть приняла его под покровительство, а иначе наш прелестный эдил Кустус Панса не задумается бросить его в пасть льва.

— Это правда. Его должен защитить сам Плиний.

И братья тотчас же порешили призвать Кратиллу и записать от нее приметы отца и матери.

Курций взял со стола навощенные дощечки и стило, и братья вышли в сад. Там они уселись недалеко от писцины у мраморного круглого столика, поддерживаемого тремя бронзовыми кариатидами, и велели одному рабу позвать к себе Кратиллу.

Юная рабыня подошла робко, все еще под впечатлением недавних тяжелых сцен, но, взглянув на молодых господ, смотревших на нее ласково, скоро оправилась.

— Вот что, милая Кратилла, — начал Курций и, желая ободрить девушку, погладил ее шелковистую головку. — Ты помнишь, как отец наш и сестра покупали тебя на рынке?

— Помню, — отвечала рабыня, и тотчас же покраснела при воспоминании о том, как какие-то нахалы сорвали с нее покрывало на виду у всей толпы.

— А помнишь, там был тогда один патриций, тучный такой господин с матросами?

— Да... Такой добрый, ласковый.

— Это наш навмарх, знаменитый Плиний. Он обещал тебе тогда постараться разыскать твоих родителей.

— Да, он был так великодушен, обещал.

— Так вот что, милая Кратилла: он должен знать точные приметы твоих родителей, а потому просил меня записать их с твоих слов. Ты, конечно, хорошо помнишь их?

— Великая Изид! мне ли не помнить! Отец такой красавец — настоящий Мелеагр, только борода больше. А у мамы глаза голубые, как васильки, и коса такая роскошная, как у Юоны.

Квинт добродушно улыбнулся.

— Приметы отца нам, кажется, известны, — сказал он. — Ему лет пятьдесят будет?

— Да, за пятьдесят, он сам говорил, — отвечала Кратилла.

— Зено, уроженец острова Книд, жил в Мемфисе, да?

— Да, у него в Мемфисе мастерская, он скульптор.

— И взят на море пиратами в прошлом году?

Девушка все подтвердила, добавив некоторые подробности.

— Так вот и запиши все обстоятельнее, — сказал Квинт брату. — Не забудь главной приметы: белая как мрамор го-

лова и огненная с проседью борода. А мама? — спросил он Кратиллу. — Ей лет за сорок будет?

— О нет! Она молоденькая. Она родила меня, когда ей было четырнадцать лет, а мне теперь тринадцать, значит, ей двадцать семь лет, — торопливо говорила Кратилла.

— А имя ее?

— Аспазия... Она родилась в Александрии, в Канопусе. Волосы у нее черные, а ростом мы одинаковые.

— А нет ли особых примет? — спросил Курций, торопливо работая стилем. — Женские приметы вообще не так резки, как мужские. Ее могут не выдать по этим общим приметам, особенно если она красива. Такими рабынями дорожат, особенно на Востоке. А нет ли у нее, милая девочка, особой какой приметы: на лице, на шее, на руках или вообще на теле? Не помнишь?

Девушка потупилась в нерешительности.

— Ну, что же, милая? — допрашивал Курций. — Говори, не стесняйся.

— Да... Есть одна примета... Я помню ее с детства... на груди...

— Ну, договаривай же, на груди...

— Да... в середине... между...

Девушка опять остановилась. Курций взглянул на брата. Тот пожал плечами.

— Ну, милая девочка, не надо, если тебя это стесняет, — ласково сказал Квинт, — довольно, может быть, и так ее отыщут.

— Нет!.. вот! — И Кратилла, как бы в порыве отчаяния, вся смущенная, распахнула ворот туники, обнажив белую девственную грудь. — Вот... здесь... это розовое пятнышко и у мамы...

Действительно, посредине груди, между не вполне сформировавшимися сосцами, Курций увидел розовое пятнышко в виде мушки.

— Спасибо, милая, закройся, довольно, — сказал он, — это очень важная примета.

Кратилла, окончательно смущенная, дрожащими пальцами застегивала ворот туники и запахивалась. Потом, несколько успокоившись, спросила Квинта:

— Мне больше говорить нечего?

— Кажется, нечего. Но ты теперь успокоилась уж после того, что с тобой сделала Синистра?

— А что она с ней сделала? — спросил Курций.

— Да она чуть ее не погубила.

И Квинт рассказал брату историю с диадемой и ожерельем.

— Боги! какая злая гадина! — воскликнул Курций, когда брат кончил. — А что ж теперь с ней?

— Теперь она изворачивается. Она сказала отцу, а отец ей верит вполне, что она и не думала воровать драгоценности, а что она сделала это будто бы из боязни, из ревности. Она испугалась будто бы, что Кратилла, войдя ко всем в милость и очаровав Мальвию, отдалит от всех ее, Синистру, и совершенно вытеснит ее из дома. А она будто бы так привязана к Мальвии, что готова лучше умереть, чем потерять ее расположение. Вследствие этого она будто бы и прибегла к хитрости, лишь бы только вытеснить Кратиллу. Она потому и спрятала диадему и ожерелье, чтоб набросить тень на Кратиллу, чтоб все подумали, что она украла драгоценности. А когда она таким образом избавилась бы от соперницы, то сама бы возвратила припрятанные драгоценности, сказав, что нашла их в дупле маслины, куда они будто бы были спрятаны Кратиллой. Вот такая махинация! Но, благодаря случайности, вся эта интрига разоблачилась; не заметь Канис, как воровка прятала вещи в дупло, бедная Кратилла была бы ею погублена.

— Да, это ужасная история! — покачал головою Курций, сочувственно глядя на Кратиллу. — Бедная девочка!

XIV

На другой день утром из Мизенского порта vyplыла известная уже нам красивая лодка Плиния. В ней находились оба Плиния, Агриппа и оба молодые Диомеды. У руля сидел новый кормчий, это был скиф, оказавшийся опытным моряком. Он уже одет был в матросское платье и казался одетым в человеческий костюм медведем.

Утро было ясное, теплое, хотя по небу и ходили белые облачка. Юго-западный ветерок благоприятствовал ходу барки, надувая косой парус, и потому наши путники очень скоро вступили на берег в ПUTEОЛИ.

Они прошли прямо к храму Сераписа. Великолепное здание это составляло продолговатый четырехугольник, длиною около 135 футов, шириною — 115. Двумя сторонами он как бы врезался в гору, служившую основанием форума Вулкана. Эти стороны, равно как и третья, ближайшая к основанию горы, заняты были целым сплошным рядом четырехугольных

помещений, числом более сорока, большая часть из которых составляли жилища жрецов, а также помещения для жертвенных приношений и различных лекарственных материалов. Отдельные небольшие комнатки были заняты горячими, преимущественно серными ваннами для больных, стекавшихся со всех мест на поклонение великому целителю немощных, богу Серапису.

Собственный храм этого таинственного египетского божества возвышался в середине этого обширного здания. Красивый купол его поддерживался шестнадцатью мраморными грандиозными колоннами коринфского ордена... Самый же портик храма, охватывавший его атриум, покоился на сорока двух колоннах, из которых перед каждую возвышались статуи римских и египетских божеств.

Пройдя портиком внутрь атриума, наши путники встретили жреца, который спускался вниз по мраморным ступеням от колонн храма. Плиний подошел к жрецу.

— Служитель великого бога, — сказал он, — где понтифекс храма?

— Понтифекс максимус беседует с божеством, — отвечал жрец.

— Доложи ему, что Плиний, навмарх морских сил Рима, желает говорить с ним.

— Сейчас доложу, великий навмарх.

И жрец вновь поднялся по ступеням в центральное здание храма. Плиний и его спутники последовали за ним. Среди колонн возвышался мраморный жертвенник, передняя сторона которого украшена была символическими барельефными изображениями: фиал и вокруг его основания извивающаяся змея; по сторонам — ибис, крокодил и цветы лотоса. За жертвенником возвышалась колоссальная статуя Сераписа.

Пришедшие преклонились перед жертвенником, но Диомеды сделали это с едва скрытыми улыбками. Скоро показался за статуею тот же жрец.

— Понтифекс максимус просит великого навмарха и его друзей в сакрум, — сказал жрец и попросил их следовать за ним.

Они поднялись по ступенькам и вошли в дверь, задрапированную желтою широкою занавесью. Это был внутренний алтарь божества, но еще не сакрум. Алтарь был слабо освещен тремя маленькими треугольными отверстиями в южной части голубого свода, так что кругом было почти совсем темно и, освоившись с этим полумраком, можно было различить впереди огромную бронзовую статую божества, вокруг кото-

рой двигались какие-то белые фигуры, производя странный, трещащий металлический звук. Это двигались жрецы, потрясая систрами.

Вдруг какой-то непостижимый звук, глухой, но звенящий, как говорящая медь, волной прошел по святилищу. И в то же мгновение бронзовое божество ожило: рот его раскрылся, в глазах блеснул огонь, и бронза заговорила:

— Кто испытывает природу, тот испытывает божество! Смертный! Вступи в сакрум и выслушай мои глаголы.

И бронза умолкла. Глаза божества потухли. В святилище опять воцарился мрак. Только на полу, на черном порфире, горели светлые круглые пятна, точно маленькие солнца.

— Обратите ваши взоры наверх, — сказал один из жрецов, — вы видите, божество посылает свой свет в треугольные прорези, и, несмотря на это, солнце-божество отражается на порфире таким же круглым, какое оно там, у источника божества. Плиний, уразумел ты волю божества?

— Нет, — глухо отвечал ученый.

— Так уразумей: хотя божество будет вещать тебе свою волю устами смертного, такого же, как и ты сам, однако знай, что как свет божества проходит чрез эти три треугольные прорези круглым, как сам источник света, так и глаголы божества, проходя чрез уста великого понтифекса, останутся теми же глаголами божества, истинными и непреложными, как этот свет на порфире. Уразумел?

— Уразумел, — был ответ.

— Переступи же во святая святых.

Плиний, поддерживаемый жрецом, под тихое, мелодичное бряцание систр вступил в таинственный сакрум. Это было тоже нечто вроде небольшого алтаря, посреди которого стоял круглый мраморный стол с небольшим на нем изображением подземного божества, Гекаты. Стол был завален свитками папирусов. Свитками этими наполнены были и все ниши святилища египетской мудрости. За столом, на невысоком бизеллиуме, сидел понтифекс максимус храма Сераписа. Он был в белой одежде. Лицо его было покрыто прозрачной пеленой, так что выражения глаз не было видно, хотя они, по видимому, были живы, как у юноши.

— Садись, сын мой, — сказал понтифекс, указывая Плинию на другой бизеллиум.

Здесь было достаточно света, чтоб разбирать папирусы и работать.

Плиний сел. Он знал давно о громадной учености этого старого жреца и ждал его слова.

Но жрец хотел сам прежде узнать, какие вопросы волнуют пытливого ум старого, опытного натуралиста.

— Ты в чем желаешь испытать божество, сын мой? — спросил он.

— Я замечаю в природе какое-то беспокойство, — отвечал Плиний.

— Природа повинуетя вечным законам, — отвечал неопределенно жрец.

— Да, отец, но мне не все ее законы понятны. Я знаю римские законы и сообразно с ними поступаю. Но тут я часто теряюсь.

— То — законы человеческие, а это — божественные, — по-прежнему отвечал жрец неясно.

— Правда, отец. Вот я и хотел бы проникнуть в тайну природы: что она готовит нам в скором времени, — продолжал Плиний.

— В природе, сын мой, вечная борьба. Я понимаю, ты замечаешь теперь борьбу двух стихий, и борьбу усиленную: это подземная борьба воды и огня.

— Да, отец, борьба Нептуна и Вулкана из-за владычества под землею. Нептун врывается в область Вулкана и мало-помалу заливает эту область. Но Вулкан борется, он колеблет землю.

— Так, сын мой, но есть третья стихия, может быть, самая могучая в природе. Как искра рождается от трения двух тел, так и эта страшная стихия рождается в момент борьбы Нептуна и Вулкана. Этому божеству люди не поклоняются еще, не зная его, но пройдут тысячелетия, и божеству этому человечество поклонится. В божестве этом — великая сила: оно будет переносить людей через океаны; без помощи лошадей и мулов оно будет перевозить по земле целые города с людьми; оно будет носить людей в небесных пространствах.

— Что же это за божество? — с удивлением спросил Плиний.

— Это — Вapop, сын мой.

— Вapop, являющийся от соприкосновения воды и огня?

— Да, сын мой. Это божество уже занесено мною в эти свитки папируса; великий Сезострис открыл мне его.

— Какое же отношение Вapop имеет к тому, о чем я теперь вопрошаю божество? — спросил Плиний.

— Непосредственное отношение, сын мой. Ты замечаешь беспокойство в природе?

— Да, святой отец.

— Это Вapop волнуется под землей, — отвечал жрец. — Он не выносит тесных оков земной оболочки, и чем теснее налагаемые на него оковы, тем он могучее, тем страшнее. Он в состоянии взорвать горы. От его напора шар земной может разлететься вдребезги, и бесформенные глыбы и воды могут унестиcь в пространство навеки.

В словах жреца Плиний находил величайшую истину. Он сам не раз испытывал разрушительную силу пара.

— Я теперь прислушиваюсь к подземной работе этого бога, — продолжал жрец, — я прислушивался к ней и на форуме Вулкана, и на Везувии, в пещере Циклопов.

— О пещере Циклопов мне вчера говорили, — вставил Плиний.

— Кто? — спросил жрец.

— Сын Аррия Диомеда из Помпей.

— Что ж он говорил?

— Несколько дней тому назад ночью там слышен был необычайный подземный грохот, дрожали и срывались с основания камни.

Жрец быстро встал при последних словах Плиния и, подняв руки к небу, вдохновенно воскликнул:

— О, великий Серапис! О, всемогущий Вapop! Вы отклоняете гибель от нашего храма! Я теперь умру спокойно... Мои знания не обманули меня. Слава, слава бо-жеству!

Плиний смотрел на него с удивлением, не понимая, в чем дело.

Жрец наклонился над изображением Гекаты и что-то прошептал, потом снова опустился на бизеллиум.

Плиний ждал, что будет дальше. Вдруг какой-то невнятный, словно металлический звук прошел под землю, и Плиний услышал позади себя голос:

— Смертный! Уста божества вещают последнее слово: горе Помпее, Геркулануму и Стабиям! Огненные реки и адская бездна пожрут их! Горе, горе!

Понтифекс максимус встал и наклоном головы отпустил Плиния.

XV

Выйдя из храма в глубокой задумчивости, Плиний нашел своих спутников под портиками, где они рассматривали статуи божеств.

— Ну, друг Плиний, что поведали тебе боги? — спросил Агриппа.

— Я узнал многое, о чем мой слабый ум и не догадывался, — отвечал Плиний. — Я блуждал во мраке.

— И ты уверен, что общался с божеством?

— Я в одном уверен, что для меня открылась частица божественных тайн.

— И ты вышел из мрака?

— Не вышел, но мрак начинает рассеиваться перед моими очами.

— И это божество прогоняет от тебя мрак?

— Божество... Оно есть знание, но я уразумел только малую, — о, какую малую! — частицу божества! Если б я уразумел всю совокупность божества, совокупность знания, я спас бы мир.

— А разве ему грозит опасность? — с удивлением спросил Агриппа.

— Да, — отвечал ученый древности все с той же задумчивостью.

— Скоро?

— Скоро, хотя только для небольшой частицы видимого мира.

— И ты не можешь устранить этой опасности?

— Не могу... Потому что я не вмещаю в себе всего божества, совокупности знания. Я должен дополнить то, что открыло мне божество; идем на форум Вулкана, — сказал Плиний.

Они оставили портик храма и стали подниматься вправо, в гору, где находился форум подземного бога. Они поднимались медленно, потому что Плинию мешала его тучность, а Агриппе — мучившая его одышка, и потому молодые люди, Плиний Младший и братья Диомеды, далеко их опередили.

— Я не хотел, да и не смел спорить с таким ученым мужем, как твой дядя, — сказал старший из Диомедов, обращаясь к юному Плинию, — но мне кажется, он увлекается.

— Да, друг, Квинт, — отвечал Плиний, — но, клянусь Минервой, без увлечения нет и не может быть знания, без увлечения нет любви. А только любовь созидает.

— Верю, мой друг, но зачем позволять себя дурачить?

— Это жрецы, их сестры и говорящая статуя?

— Да. Ведь в глазах этой бронзовой статуи загорелся земной огонь, в ней говорил человеческий голос.

— Но это не для нас, а уж менее всего для дяди; эти фокусы проделывают жрецы для простого народа, для кото-

рого самые высочайшие истины, не подкрепленные фокусом или, по его мнению, чудом, не имеют никакого значения. А что дядя узнал в сакруме о грозящей миру опасности, то я этому не могу не верить.

— Правда, — подтвердил и Курций, — об этой опасности уже предупреждал нас некто в пещере Циклопов.

— Кто этот некто? — спросил юный Плиний.

— Тот, на голову которого возлагало руку само божество, — таинственно отвечал Курций.

— Само знание?

— Да, знание и Слово! Слово, которое было в начале и без которого не было бы ничего того, что мы видим.

Юный Плиний невольно обвел глазами вокруг. Справа море уходило в бесконечность. Там синели в лазурной дали Прохита, Питеуза и Капреа¹, словно каким-то чудом выдвинутые из морской бездны. Левее — роскошный берег Суррентума², как бы идущий навстречу очаровательному побережью Стабий, Помпеи и Геркуланума, над которыми высились пологие конусы Везувия и Соммы, цветущие, увенчанные зелеными, зонтикообразными верхушками пиний, не предвещающие ничего грозного и разрушительного. К юго-западу — мыс Мизена, этого гиганта, трубача Энея, возвещающего славу троянского героя позднему потомству. Волшебная картина!

И это все — создание того неведомого божества, которое именуют Знанием, Словом, божества, возлагавшего руку на голову того, о котором так загадочно упомянул Курций и об имени которого загадочно умолчал.

Чем выше поднимались они, тем сильнее давал себя чувствовать серный запах, который исходил из рыхлых расщелин форума Вулкана³.

Вот и форум, зыбкий свод, серая котловина, под которою kloчочут огненные волны Эреба. Беловатый дымок струится то из той, то из другой расщелины и тает в душном воздухе. Атмосфера насыщена парами ада. Самые растения кругом, кажется, насыщены этою отравой.

Вблизи зияющей расщелины на низком пьедестале высятся изображения Вулкана и Гекаты. Они закопчены и обезображены серным дымом. Около них стоит жрец из храма Сераписа с тяжелым молотом в руках.

¹ Нынешние Прочида, Иския и Капри.

² Нынешнее Сорренто.

³ В настоящее время — Сольфатара (Solfatara).

— Смертные, остановитесь! — говорит жрец.

Путники останавливаются. Жрец поднимает молот и с силой ударяет в землю. Глухой стон отвечает ему из-под земли.

— Великая Геката милостива, она позволяет смертным приблизиться к вратам Эреба, — говорит жрец.

В это время подходят Плиний Старший и Агриппа. Жрец и при их приближении ударяет в землю молотом.

— Служитель божества! — обращается к нему Плиний. — Ты давно уже находишься здесь стражем подземного жилища?

— Уже тридцать раз я наблюдал солнцестояние вон в том пункте неба и тридцать раз видел, как от этого пункта небесное светило возвращалось вспять, — отвечал жрец.

— Тридцать лет — этого достаточно для того, чтоб вырвать у природы хоть одну из ее великих тайн, — заметил Плиний.

— Тайны природы? — повторил жрец. — Для служителя божества нет тайн.

— Так ты сам божество? — с иронией спросил Агриппа.

— Я перст божества, — гордо отвечал жрец.

— Перст... — Агриппа еще что-то хотел сказать, но удержался, он видел, что его ученый друг Плиний слишком серьезно настроен.

Плиний вынул из-под тоги небольшой свиток папируса, развернул его и стал что-то просматривать и соображать.

— Ты помнишь день 5 февраля, когда небесное светило в пятнадцатый раз поднималось к пункту солнцестояния с того дня, как ты здесь стал стражем подземного жилища? — спросил он жреца.

— День 5 февраля? — переспросил тот.

— Да, в консульство Регула и Виргиния, — пояснил Плиний.

— Когда солнце в пятнадцатый раз поднималось к этому пункту? — снова спросил жрец.

— Да, и когда ты пятнадцатью годами стоял дальше от ладьи Харона, — добавил Плиний.

— Пятнадцатью годами дальше от ладьи Харона? — повторил служитель Сераписа в задумчивости. — Я годами считаю время, а не расстояния.

— А тут именно расстояния, — настаивал Плиний, — тогда ты на пятнадцать лет был дальше — понимаешь? — дальше от смерти, от ладьи Харона.

— А, помню, помню! — воскликнул жрец. — О, великая Геката! Как забыть этот день! Это было в 816 году от осно-

вания Рима¹. О, какой был страшный день!.. Помню, Гелиос поднимался на небо в огненной, раскаленной колеснице. Море, казалось, горело пурпуром. Вершины гор рдели румянцем утра. Природа была спокойна, улыбаясь, как заснувшее на груди матери дитя. Но все живое трепетало, как бы предчувствуя грядущее бедствие. Дикая серна дрожала у моих ног. Лисицы вышли из своих нор и жались вон у тех камней. Змеи искали убежища вот у этого жертвенника. Чайки с жалобным криком метались над скалами, покинув старые гнезда. И вдруг я слышу глухой отдаленный гром. Я ищу облако, но небо безоблачно, хоть бы тучка, хоть бы малейший признак грозы на синеве неба. И вслушиваясь, ясно различаю подземный гром... И в мгновение меня что-то качнуло и как бы подбросило. Я в изумлении осматриваюсь и вижу, явственно вижу, что всколыхнулись горы, скалы вздрогнули, как вздрагивает человеческое тело в лихорадке. Великие боги! Я вижу: земля вздувается, пухнет, идет волною, волна за волной...

— А откуда шли эти волны? — в каком-то нетерпении спросил Плиний.

— С той стороны, от Кум.

— А в каком направлении?

— Туда, вдоль берега... И вдруг всколыхнулось море, точно кто колыхнул его из глубины, и море вздулось, вспухло, гигантским гребнем пошло по направлению к Везувию.

— К Везувию, точно? — в волнении переспросил Плиний.

— К Везувию, я это ясно видел, я взобрался на тот гребень и все ясно видел; но я и слышал, загрохотало у самого Везувия, и в тот же момент я явственно различил, как над Стабиями, Помпеей и Геркуланумом поднялось облако не то дыма, не то пыли... После я узнал, что там от подземных толчков рухнули храмы, здания, стены: то было землетрясение.

— И долго продолжалось? Скоро все кончилось?

— Скорей, чем я успел это рассказать.

Плиний задумался. «По направлению к Везувию... волны шли так, к востоку, — говорил он сам с собою. — Понтифекс максимус близок к истине, это Вапор, это его работа».

— А пламя было? — спросил он снова жреца.

— Пламени я не видал, — отвечал тот.

— А что происходило тогда здесь, на форуме Вулкана? — допрашивал Плиний.

¹ 63 год христианской эры.

— Здесь как будто осела земля, и работа скважин уменьшилась: я думал, что Вулкан потушил свой горн, но опять его скоро раздул, — отвечал жрец.

Тогда Плиний спросил жреца, есть ли у него вода. Получив утвердительный ответ, он попросил его принести воды. Жрец ушел с форума Вулкана, ибо здесь почва была горячая и тут нельзя было сохранять воду.

Все ждали, что намерен делать ученый муж.

— Ты хочешь испытать природу? — спросил Агриппа.

— Да... Она иногда говорит явственно, — в раздумье ответил Плиний.

Вскоре жрец притащил на своих плечах огромную глиняную амфору, до половины наполненную водой. Плиний крепко заколотил горлышко амфоры деревянной втулкой и сказал, обращаясь к жрецу:

— Я приношу этот сосуд на алтарь божества, которому ты служишь.

Жрец молчал в недоумении.

— А кто же мне за него заплатит? — спросил он потом.

— Я начальник римского флота Плиний, которого знает верховный служитель Сераписа, понтифекс максимус, — отвечал ученый.

Потом с помощью своего племянника и братьев Диомедов он вдвинул амфору в глубину горячей расщелины и засыпал землею и камнями.

Все отошли в сторону и ждали, что будет дальше.

Вскоре последовал сильный взрыв. Вверх полетели камни и осколки амфоры.

«Неужели он пробьет отверстие в Везувии? — говорил Плиний сам с собою. — Но он давно потух, быть может столетия, тысячелетия... А для Вapopa необходим выход, и он найдет его: для него нет ничего невозможного... Что-то будет! Что-то будет!...»

Потом, немного помолчав, он отправился к молодым Диомедам.

— Пусть Помпея готовится ко всему. Скажите отцу, чтоб он предупредил власти города. Под покровом земли идет глухая работа и подходит к концу. Пятнадцать лет назад я наблюдал здесь то же явление и не ошибся. Боги предупреждают смертных. Но теперь готовится что-то иное, может быть, более страшное. Пусть городская стража бодрствует день и ночь: если бедствие не застанет врасплох, то еще можно будет спастись. Скажите Помпее, что устами Плиния говорит божество — Знание.

Прошла неделя. В пещере Циклопов назначено было собрание верующих. Собрания эти всегда происходили по ночам.

На этот раз ночь была особенно темная, какие бывают только на юге. Но тем ярче горели звезды на темном, безоблачном небе. В эту ночь в гору, к пещере Циклопов, поднимались три путника. Трудно было различить в темноте их фигуры.

— Ты не устала? — послышался в темноте тихий голос, почти шепот.

— Нет, я не устала, — отвечал женский, скорее детский голос.

— Но ты так тяжело дышишь.

— Это ничего.

— Не лучше ли, я возьму тебя на руки?

— О, добрый господин! Я этого не заслужила.

— Но я боюсь, что ты не дойдешь, еще далеко.

— О! если б мой отец был на краю света, там, где Атлант подпирает собою свод небесный, я и то бы дошла.

— Но тебе не предстоит идти до Атланта, ты скоро увидишь отца, — проговорил третий мужественный голос.

Если б, однако, наши путники могли взглядеться в темноту, они увидели бы, как какие-то тени, словно привидения, закутанные в плащи, быстро прятались за камни при их приближении.

— Клянусь Парками, вот не ожидал! — прошептала одна из этих теней.

— А что? Кто тебя напугал?

— Напугал! Меня сам Орк с Горгонами не испугает! А разве ты не слыхал?

— Слышал, какая-то девочка.

— Тебе бы все девочки! Я слышал голоса сыновей Диомеда.

— Что ты, клянусь Фуриями! Что они хотят делать с этой девочкой?

— Не в девочке дело, а они идут туда.

— И с девочкой? Н-ну... А еще кажутся такими скромниками...

— Молчи, ком грязи! Идет еще кто-то.

Первые, пришедшие к пещере Циклопов, были действительно сыновья Диомеда, а с ними юная Кратилла. Они вели ее на свидание с отцом.

Вход в пещеру, по обыкновению, сторожил Кардо. Последовали обычные с обеих сторон приветствия.

— Вы сегодня раньше всех пришли, — заметил Кардо.

— Да мы и хотели прийти до начала собрания, — отвечал Квинт. — А Зено здесь?

— Он там. Бедняга очень скучает.

— О чем, Кардо? — спросил Курций.

— О мраморе соскучился: когда перед ним нет глыбы мрамора и резца, он сам не свой. Каждую ночь он пробирается в город, чтоб бродить между храмов и если не видеть, то хоть руками ощупывать статуи. Как посмотришь на него, точно сумасшедший. Но теперь он немного успокоился: старик Кассий привез ему тихонько большую глыбу каррарского мрамора и резцы, и он теперь мастерит чудесную штуку.

— Что же именно? — спросил Квинт.

— Крест, а на кресте Того, пригвожденного, Которому нет имени.

— Где же отец? — жалобно прошептала Кратилла. — Я хочу его видеть, хочу обнять! О боги, дайте мне силу!

Пришедшие молча вступили в пещеру. Потайной фонарик, принесенный ими, тускло освещал мрачные переходы жилища невидимых циклопов.

Вскоре из-за угловатых уступов пещеры показался более яркий свет, чем свет фонаря. Около этого света вошедшие увидели белоснежную голову, наклонившуюся над какою-то темной массой.

— Отец! — тихо вскрикнула Кратилла.

Белоснежная голова поднялась, и сидевший моментально, не то в испуге, не то в безумной радости, вскочил на ноги.

— Кратилла! Дитя мое!

Смеясь и плача, дочь очутилась в объятиях отца. Они вместе плакали, обнимали друг друга.

— О, мой отец! Мой милый, дорогой отец!

— Кратилла, счастье мое! Кто мне дал тебя!.. Дитя мое! Это Он возвратил мне тебя, Он!

— Кто Он, добрый Квинт? Курций?

— Нет, Он, Тот, Которого ты не знаешь, дитя мое, но я Его знаю: Он во сне являлся мне и утешал меня... Он говорил мне: «Иго Мое благо и бремя Мое легко есть...» О, моя крошка!

— Но кто Он, кто?

— Я тебе покажу Его, ты Его увидишь.

— А мама? Бедная мама!

— Он и маму возвратит нам.

Это был какой-то бессвязный лепет, прерываемый объятиями и слезами.

— Как же ты попала сюда, моя крошечка милая? — спросил Зено, с невыразимой нежностью глядя золотистую головку дочери.

— Меня привели сюда добрые господа, Квинт и Курций. Братья Диомеды стояли в стороне, безмолвно любуясь трогательной сценой.

— Но где они тебя нашли?

— Их отец купил меня на рынке, я их рабыня.

— Моя крошка — рабыня! О боги! О Бог Единый.

— Но они добры ко мне, добры как братья!

В этот момент глаза Кратиллы упали на темную массу, над которою отец ее сидел; когда Диомеды ввели ее в пещеру, свет канделябра падал на эту массу, и из нее явственно выделялись черты прелестного женского личика.

— Отец, это я? Это ты меня лепишь! — воскликнула юная гречанка.

— Тебя, моя крошка: я хотел воспроизвести твои милые черты, я так тосковал по тебе, — говорил отец, невольно сравнивая свою неоконченную работу с живым оригиналом. — А ты несколько возмужала, моя девочка.

— Да, отец, я выросла, мне ведь четырнадцатый год уж пошел.

— О да... Как время летит.

В это время пещера стала наполняться вновь пришедшими, и Зено с дочерью отошли в более темный угол.

Вошел и старик Авенир. Около него толпились многие пастухи, рыбаки, рабы.

— Он говорил в тот день, когда я Его видел, — обратился старик к окружающим его, остановясь среди пещеры, — «приходите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я упокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, как Я кроток и смирен сердцем, и тогда найдете покой душам вашим: иго Мое благо и бремя Мое легко есть». Он зовет к себе бедных, угнетенных, рабов, несчастных...

В этот момент под сводами пещеры пронесся резкий крик совы.

— Скрывайтесь! Скрывайтесь! — раздались голоса. — Нас предали.

В одно мгновение огонь в пещере погас, и все бросились в глубину подземелья.

— Уходите правой продушиной, правой! — слышался чей-то голос в темноте.

— Держись за меня, Кратилла!

— Квинт, помоги отцу Авениру!

Голоса смолкли. Слышались только глухой гул шагов, шуршание о камни ног, а вскоре и все заглохло. Но зато слышались шаги с другой стороны подземелья, со входной, и показался свет от факелов. В пещеру вбежали вооруженные воины.

— А, мыши попрятались в норы! — раздался грубый голос. — Но, клянусь Геркулесом, им негде скрыться, не провалятся же они в пропасть горы, к циклопам! Ищите их по всем скважинам.

Воины бросились вглубь пещеры. Факелы в темноте казались летающими огоньками.

— Ба-ба! Да у них тут и свечники, точно в храме.

— Только потушены, видно, что сейчас, и светильни еще не остыли.

— Ба, а это что такое? Статуя лежит!

— Это какая-то богиня, еще недоделанная.

— Должно быть, Венера или Юнона.

— Что ты! Слишком молода для Венеры.

— Ну, так Психея, а то просто нимфа, да какая хорошенькая!

— Не трогай ее, Кассий! Вон недавно Каска вздумал было, — дурак, клянусь Меркурием, дурак, — вздумал было заглянуть в глаза великой Изиде, так она дунула ему в лицо огнем и всю ему рожу обожгла. Не подходите к ней.

— Кто ж это ее сделал здесь?

Между тем в глубине пещеры слышался шум, раздавались голоса, словно там шла борьба.

И эти воины бросились туда, оставив недолепленное изображение Кратиллы. Голоса их то глухо, то гулко перекликались в мрачном лабиринте циклопов.

— Уноси скорей Кратиллу! — послышался голос Квинта Диомеда. — Она, кажется, вывихнула ногу.

Голоса то стихали, то опять гулко отдавались под сводами.

— Так умри же, собака! — глухо прозвучал чей-то голос.

— Ай, ловите его! Он убил центуриона!

— Проклятие, клянусь Гарпиями!.. Кто убил?

— Догоняй его, Фурка! Брось в ноги копье!

— Поднимите центуриона! Он еще дышит, удержите кровь.

— Кладите на плащ!.. Голову поддержите!

Из-за неровных уступов пещеры при тусклом сиянии факелов показалась печальная процессия: это помпейские воины

несли на плаще своего центуриона, пораженного мечом в самое сердце.

— Кто его убил?

— Кто-то плечистый, высокий, лицо которого не могли рассмотреть: он словно провалился сквозь землю.

XVII

Через день назначены были похороны убитого центуриона. Похороны должны были иметь общественный, особенно торжественный характер. Центурион был жертвою насилия, и притом погиб при исполнении священных обязанностей общественной службы. Кроме того, он принадлежал к знатному роду Скавров и был сыном того Кастриция Скавра, великолепный колумбарий которого сохранился и поныне, почти напротив виллы Диомеда. До настоящего времени на базисе и на уступах этой гробницы путешественники видят сохранившиеся мраморные барельефы с изображением боя гладиаторов и могут прочесть уцелевшую надпись: «Кастрицию Скавру, сыну Авла, из племени мененийского, дуумвиру, заведовавшему юстициею, декурионы отвели это место для сооружения ему гробницы, назначили две тысячи сестерций на похороны и положили воздвигнуть ему конную статую на форуме». Убитого сына его, центуриона Деция, также было положено хоронить на общественный счет.

Это был еще очень молодой человек, но на него уже возлагались большие надежды. Он быстро шел по службе и мог надеяться занять впоследствии почетную должность отца: стать дуумвиром Помпеи. Мать его, вдова Кастриция Скавра, Плацидия, души не чаяла в своем красавце сыне, а юные помпеянки украдкой заглядывались на его статную фигуру и на симпатичное лицо.

Теперь, в ожидании похорон, он лежал в своем родовом доме, на *via Abundantia*, одетый в парадное платье центуриона, с миртовым венком в голове. На бледное лицо его, еще не тронутое разрушением, а как бы уснувшее и глубоко задумчивое, падал колеблющийся свет канделябр с висячими бронзовыми светильнями, и когда пламя светильни колебалось от легкого предрассветного ветерка, и на лицо мертвеца падали легкие тени, то казалось, что по лицу этому скользила таинственная улыбка, а длинные ресницы закрытых глаз, казалось, вздрагивали.

Около него стояла мать, убитая горем, и маленькая десятилетняя сестренка, все ожидавшая, что серьезный и задумчивый брат ее вот-вот откроет глаза. Мать не плакала, слишком много слез выплакала она за эти два дня.

Только что начало светать, и похороны должны были начаться скоро, до восхода солнца. Этого требовал религиозный обычай. Аврора, покровительница молодости, вставая с своего пурпурного ложа, должна была принять молодого центуриона прямо с костра в свои горячие объятия и вместе с дымом всеожжения унести его в небесные обители.

Рабы и рабыни оставались в вестибюле, а у входа стояли два воина из подчиненных умершего.

— Вот так и вижу широкие плечи проклятого убийцы, — тихо говорил один из них, Фурка, — а лица так и не разглядел. Он стоял спиной ко мне, а руку с мечом занес вот так, через правое плечо нашего бедного центуриона, который схватил было девчонку за волосы, рыжие, клянусь Плутоном, да как взмахнет, как перегнется весь, так и всадил ему под левый сосок по самую рукоять! Я было за ним вдогонку, а он схватил в охапку эту девчонку да вперед, а там еще вижу, дальше, белая как снег голова, я пускаю ему в затылок копье... Проклятье! Кто-то выбивает у меня факел, кругом мрак, и я наскочил на скалу.

Звезды гасли одна за другою на небе, на востоке отделялась от горизонта светлая полоса, очертания гор становились явственнее. В это время от храма Весты замелькали огоньки, в темноте неясно выступили белые колонны храма; огоньки надвигались все ближе и ближе, задвигались белые фигуры, словно сошедшие с пьедесталов мраморные статуи. Послышались заунывное пение и тихий протяжный плач флейт.

Это от храма Весты двигалась процессия жрецов, весталок и плакальщиц. Унылый свет факелов боролся с бледным утренним светом. От двигавшейся массы падали, дрожа и колеблясь, неясные тени, фантастическими образами перебегая по домам и портикам.

Процессия все ближе и ближе. Вот уже факелы жрецов и весталок бросают красноватый свет на печальный дом Скавра, на блестящие шлемы воинов, пришедших отдать последнюю честь рано погибшему товарищу. Бледные, точно мертвые, лица весталок, полуприкрытые покрывалами пасмурные лица жрецов, горестные крики, донесшиеся из дома, — все это так не гармонировало с зарождающимся утром.

Раздавалось тихое, печальное пение: это префики, плакальщицы, начали свой мрачный гимн смерти. Мрачные слова

соответствовали мрачности напева: что-то безнадежное слышалось и в словах, и в мелодии:

«Мы пришли проводить тебя, смертный, в царство Плутона, в безбрежные области Аида. Иди! Уже ждут тебя мутные волны Флегетона, мертвые, недвижные воды Стикса. Оставь все земное и бrenное, что никогда не повторяется. Тебя ждут тени Данаид, камень Сизифа своим падением увеличит ужас твоего пути в область, откуда никто не возвращается. Долго тень твоя будет блуждать на берегах Ахерона, пока мрачный Харон не возьмет тебя в свою ладью».

Флейты, вторившие этому безнадежному гимну, раздирали душу.

Тогда жрецы и весталки вошли в дом, откуда донесся страшный крик отчаяния: то мать прощалась с сыном, которого уносили из родительского дома. Никогда-никогда не возвратиться ему в это убежище любви и материнской ласки!

Скоро показалось тело центуриона, покрытое пурпуром. Лицо мертвеца увидело занимающуюся зарю, которая еще бессильна была побороть печальный свет факелов. Казалось, бледные губы дрогнули, ресницы зашевелились... Напрасно! То была иллюзия: утренний ветерок шевелил, как бы играя, волосы мертвеца, а по бледному лицу пробежали тени.

Процессия строилась в линию; шествие открывали флейтисты и литаврички, с перевязанными крепом инструментами; они играли погребальный марш, под который когда-то хоронили Сципиона. Далеко по заре разносились заунывные, торжественные звуки. Этой мелодии флейт и литавр вторил печальный, рыдающий хор женских голосов. За литавричками и флейтистами выступал отряд конницы и пехоты с эдилом Пансою во главе. Утренний свет отражался на блестящих шлемах и вооружении воинов. Затем следовала группа лиц с мраморными, бронзовыми и восковыми изображениями почетных предков рода Скавров; среди них, на курчавой голове негра-раба, великана ростом и силача, плавно покачивалась в воздухе прелестная мраморная группа, миниатюрная копия конной статуи отца умершего центуриона, дуумвира Кастриция Скавра. За этой группой выступали жрецы и весталки с длинными тонкими факелами в руках, зажженными от священного неугасимого огня Весты в храме этой богини.

За ними — носилки с телом центуриона. Ярким кровавым пятном горел пурпур покрывала среди общей мрачной картины. За носилками шли мать покойного и маленькая сестра Летиция. Мать, положив правую руку на пурпур, покрывавший ноги ее мертвого сына, левую прижимала к сердцу, го-

товому разорваться. Она переживала всю жизнь безвременно погибшего сына, от колыбели до этих последних носилок с пурпуром. Ясные глазки Летиции с испугом глядели на неподвижную фигуру брата, уходившего от нее в неведомый мир. Родственники покойного и толпа помпеян двигались сплошною стеною за печальной процессией.

Шествие, миновав колоннады Халцидики Евмахии, которая, во главе своих рабынь, усыпала последний путь молодого центуриона цветущими розами и цветками кипариса, выступило на форум. Как величаво и гордо высилась среди колоннад форума конная мраморная статуя Кастриция Скавра, отца того, которого под звуки печальной мелодии, знакомой Риму еще с похорон великого Сципиона, выносили теперь на площадь, которую так красила чудная статуя мраморного всадника!

Раздирающий душу крик вырвался из груди несчастной матери, когда в глаза ей бросилась величавая фигура ее мраморного мужа и отца того, мертвое лицо которого напоминало этот холодный мрамор. Евмахия, вся заплаканная, чутким женским сердцем угадала скорбь покинутой жены и матери и поспешила поддержать ее слабеющие силы. Весталки, забыв свою роль женщин не от мира сего, плакали, как простые женщины.

У подножия статуи бывшего дуумвира носилки с телом центуриона на минуту остановились: это мертвый сын прощался с тенью отца, холодный мрамор которого пережил его некогда горячее сердце.

— Смотрите! Статуя плачет! Мрамор плачет! — послышался чей-то испуганный женский голос.

Это были капли росы, скопившиеся на мраморном лице всадника и принятые за слезы.

Проследовав затем через весь форум и миновав в конце его храм Юпитера, колоссальная статуя которого так безучастно смотрела своими мраморными неподвижными очами на проносимого мимо нее мертвеца и на сопровождавших его таких же смертных, будущих мертвецов, печальная процессия повернула влево, в улицу Геркуланума, которая через городские ворота вела к помпейскому кладбищу. Проходя мимо статуи верховного бога, мать убитого центуриона невольно подняла на него глаза с выражением немого упрека: она ли не молилась этому безжалостному богу? Она ли не просила за сына?

А заунывная музыка флейт и литавр и вопли плакальщиц продолжали раздирать душу.

Вот и городские ворота пройдены. Молодой центурион покинул свой родной город, чтоб уж никогда-никогда в него не возвращаться, а она, мать, будет снова проходить этими воротами, но уже одна, без него!

А вот, справа, показался обелиск ее мужа, богатый колумбарий славного дуумвира Кастриция Скавра, и рядом с ним выглянул угол мрачного костра, сложенного из сухих пиний и увитого гирляндами цветов... Это его брачное ложе, осененное группой задумчивых кипарисов.

Ярко блеснул в утреннем воздухе пурпур покрывала, и все взоры обратились туда: это поднимали на костер тело Деция. Факелы уже не освещают его бледного лица, бросая красноватый отблеск на сосредоточенные лица жрецов и весталок; а в его задумчивое лицо, обращенное к небу, смотрится уже розоватая Аврора, все более и более разгонявшая тени наступающего дня.

Поддерживаемая Евмахией и одною из весталок, мать Деция поднялась на ступеньки костра, чтоб в последний раз взглянуть на сына. Занимавшаяся заря не придавала, однако, его бледным щекам своих красок, только утренний ветерок шевелил его волосами. Мать долго и безмолвно смотрела на дорогие ей черты, стараясь запомнить их, унести с собою; другая весталка подняла туда же маленькую Летицию.

Прощание матери и сестры было тем ужаснее, что в нем не было ничего бурного: они молча поцеловали мертвеца, как будто бы он стал для них совсем чужой, и безмолвно сошли с костра. Мать даже оправила на сыне складки пурпурного покрывала. Тогда старший жрец подал ей горящий факел, которым она должна была поджечь костер; но рука ее опустилась, как парализованная, и факел упал на землю. Жрец подал другой факел маленькой Летиции.

— Ты, чистое дитя, должна возжечь высокоочищающий пламень богини Весты, — сказал он, — ты очистишь тень брата от всего земного и бренного.

Девочка приложила факел к пересохшим иглам пиний, которые с треском вспыхнули, и вскоре пламя охватило и стало пожирать пурпур покрывала.

Девочка вскрикнула — она сама подожгла брата! — и бросилась на шею матери.

В то же время начался новый, потрясающий гимн плакальщиц. Они зывали к Эолу, к Эвру и Ноту, чтоб они порывами своими раздули очистительное пламя. «Пошли, о Борея, твое суровое дыхание, холодные вздохи Норда! Пусть дыхание твое оживит пламя смерти и испепелит бренное тело,

в котором заключена пленная душа умершего. Неситесь сюда, горячие вздохи Австра и Афры! Изгоните пленницу из ее холодной тюрьмы, а ты, о светлая Аврора, прими ее в свои пламенные объятия! Дуйте, о ветры живые! Дуйте, раздувайте пламя смерти!»

И пламя трещало и гудело, разгораясь все сильнее и сильнее. С другой стороны восток алел все более и более, и зрителям казалось, что в облаках розоватого дыма душа центуриона, под завывание гимна плакальщиц, уносилась в объятиях Авроры к беспредельному небу.

Скоро от костра и человека осталась только куча горячей золы. Кое-где еще тлели искорки, словно бы там еще таились частицы жизни и шевелилось что-то неумирающее в человеке, но мало-помалу все покрылось серым налетом золы и успокоилось.

Тогда стоявшая недалеко и тихо плакавшая старая няня умершего, самнитянка Нонна, подошла к оставшейся от костра золе, бережно поставила тут же небольшую серебряную урну и около нее маленькую золотую урночку, полную слез, и, медленно разгребая серебряною лопаточкою золу, стала собирать дорогой пепел и ссыпать в урну.

Жрец между тем открыл бронзовую дверь колумбария Скавров и в одну из ниш поставил и урну с прахом покойника, и маленькую урночку со слезами, наплаканными по нем его близкими.

Тут же стоял старый Диомед с женою и дочерью. Мальвия казалась задумчивою: одним поклонником у нее стало меньше. Братья же ее стояли на террасе своей виллы и издали смотрели на происходившее у гробницы дуумвира Кастриция Скавра.

Кто был убийца центуриона — это осталось тайной для Помпеи.

XVIII

По городу между тем ходили разнообразные толки, до фантастических включительно.

Говорили, что в страшной пещере Циклопов, в глубине самого Везувия происходит что-то непостижимое. Собираются какие-то страшилища: не то люди, не то циклопы, и колеблют самое основание таинственной горы; что там по временам слышат какой-то необычайный грохот, словно бы сам Вулкан работает своими ужасными молотами. На форуме

и в тавернах рассказывали, что когда об этих сборищах не то Циклопов, не то Титанов проведаль эдил Панса, то тайно ночью послал туда отряд воинов с центурионом Децием Скавром во главе, но когда воины проникли в адскую пещеру, то на них посыпались камни; а один из воинов, Фурка, клялся будто бы всеми Фуриями и Горгонами, и Гарпиями, что собственными глазами видел, как Титан заколол центуриона Деция Скавра, а когда он, Фурка, стал его мужественно преследовать, то страшный Циклоп задул у него факел, а какая-то золотокудрая нимфа, которую центурион схватил было за косы, с хохотом убежала от них.

Другой же воин рассказывал, что в пещере нашли богиню какую-то, глиняную, и когда Каска, приятель Фурки, нагнулся к ней, то она дунула на него пламенем и обожгла ему все лицо, так что он с испугу теперь пьет без просыпу и постоянно молится Вакху.

Мало того, Тумулус, приятель Синистры, рабыни Диомеда, и правая рука приживала эдила Пансы Какуса, уверял, что когда они, по приказанию эдила и центуриона, подкарауливали в ту ночь, не пройдет ли кто в пещеру Циклопов, то явственно различили голоса сыновей самого Диомеда, пробиравшихся в проклятую пещеру, и с ними была какая-то девочка.

Синистра же по секрету рассказывала своим друзьям, и Тумулосу, и гладиатору Барке, что это была с Диомедами не девочка, а сама кумская Сивилла, старуха-колдунья, которая превратилась в молоденькую гречанку и под именем рабыни Кратиллы поступила в дом к Диомеду и очаровала собою обоих его сыновей, которые теперь в этой ведьме души не чают, что она, эта Сивилла, желая погубить ее, Синистру, и отнять у нее таких красавцев, как Тумулус и Барка, утащила у своей молоденькой госпожи, у Мальвии, драгоценные диадему и ожерелье, подаренные Диомеду самою Юноною, и так отвела всем глаза, что им казалось, будто дворовая их собака человеческим языком обвиняла ее, Синистру, в воровстве. Она же говорила своим приятелям, Тумулосу и Барке, что в ту ночь, когда в пещере Циклопов был убит неизвестно кем центурион Деций Скавр, оба сына Диомеда и Кратилла куда-то пропадали, а наутро Кратилла оказалась больной: говорила, что где-то вывихнула ногу, а старый черт привратник Канис, который всегда заодно с молодыми господами и покрывает их ночные похождения и вакханалии, клялся перед Мальвией, что ее молоденькая рабыня повредила себе ногу дома, когда она убирала с вечера комнату своей

госпожи и, относя сор к сорной яме, оступилась на лестнице. Так говорила и сама эта лгунья и ведьма Сивилла-Кратилла.

Между тем по городу ходили и другие слухи. Говорили, что в пещере Циклопов в ночь убийства центуриона захвачены были какие-то опасные люди, в том числе и убийца центуриона, и что эдил Панса будто бы давно следил за этими людьми, которые не признают ни Юпитера, ни Изиды, ни Венеры, а веруют в какого-то повешенного в Иудее волшебника, воскрешавшего будто бы умерших; что люди эти будут осуждены на казнь и отданы на растерзание привезенным из Египта львам, о чем давно хлопотал добрый эдил, желая доставить гражданам Помпеи прекрасное и благородное зрелище. Но кто именно эти захваченные и сколько их, в городе никто не знал, потому что все это держалось в секрете, пока производилось следствие.

Рассказывали также, что по ночам в Помпее стал появляться какой-то таинственный человек, который словно луна-тик бродит по форуму, в тени колонн, и зачем-то гладит рукою изображения богов и другие статуи и долго на них смотрит.

Между тем в ночь, следовавшую за похоронами убитого неизвестно кем центуриона, совершилось нечто загадочное. В храме Пантеоне, на форуме, недалеко от храма Юпитера, утром нашли колоссальную статую Августа разбитую вдребезги. Август изображен был как бог и владыка вселенной: в руке он держал шар земной. Теперь он лежал разметанный на куски. Земной шар с осколком руки откатился в сторону. Голова расколота, лицо обезображено. Массивное тело его с переломленными руками и ногами лежало ничком. Народ массами толпился около обезображенного и низвергнутого цезаря, трепеща кары богов. Как это случилось, никто не знал.

Но к эдилу явился сторож форума и рассказал следующее.

Ночью, когда он проходил мимо храма Юпитера, он услышал вдруг необычайный грохот, как бы от падения колонны или целого храма. Думая, не начинается ли землетрясение, свидетелем которого он уже был однажды, лет пятнадцать тому назад, он отошел в сторону от храма, на середину форума, чтоб быть в безопасности. Тогда он увидел, что от Пантеона удаляется человек необыкновенного роста и говорит кому-то другому, которого не было видно, может быть, одной из теней Аида: «Таковы их боги, их можно всех разбить, и они сами себя не в силах защитить». Сторож бросился было за этим великаном, но вдруг против храма Меркурия камни форума расступились, и земля поглотила того, кто изрек хулу

на богов. Сторож побежал тогда к Пантеону и с ужасом увидел, что статуя божественного Августа лежит поверженная и разбитая в куски.

Эдил приказал сcribe записать показание сторожа и сам отправился на форум. Там он нашел толпу, которая, при виде власти, начала громко выражать негодование.

— Мы требуем казни виновных! — кричали некоторые. — Где злодеи? Найдены ли они? Где тот, который зарезал центуриона? Кто разбил лик божественного Августа? Кто надругался над нашей святыней? Подайте нам злодеев! Их давно ожидает кровавая арена. Мы должны умиловать богов! Боги давно ждут жертв искупления. Недаром колеблется земля и Вулкан грозит Помпее молотом и клещами.

Эдил старался успокоить расходившуюся толпу, говорил, что виновные в убийстве центуриона находятся уже в руках правосудия и что злодеи, святотатственно коснувшиеся изображения божественного Августа, получают заслуженную кару в когтях у нумидийских львов, которые уже ждут своих жертв в зверинцах амфитеатра.

Он зашел потом в Пантеон, постоял в раздумье перед безобразными кусками мрамора, еще вчера изображавшего великого Августа в образе олимпийца, и, приказав не прикасаться к священным останкам божественного цезаря, отправился в амфитеатр, где в особых казематах уже сидели подозреваемые в убийстве центуриона и других преступлениях.

Подозрение в убийстве центуриона падало, главным образом, на одну личность, никому из властей Помпеи неизвестную и, по-видимому, не принадлежавшую к местным обывателям. Это был уже не молодой субъект, лет за пятьдесят, с черными выразительными глазами и очень умным лицом. Но что особенно бросалось в глаза — это контраст в цвете волос на голове и в бороде. Голова у неизвестного была бела, как пена морская, а между тем в огненного цвета длинной бороде седина чуть-чуть пробивалась местами. Он был схвачен в ночь убийства центуриона в пещере Циклопов и отказался назвать свое имя. На тунике у него и на правой руке оказались следы свежей крови. Это и послужило уликой к обвинению его в убийстве Деция Савра, хотя оружия при нем не было найдено. Он-то и сидел, в числе прочих заключенных, в одном из казематов амфитеатра.

Панса перед формальным допросом решил лично переговорить с этим таинственным субъектом, тем более что он поразил всех своею странною речью и удивительною геройскою неустрашимостью.

Войдя в каземат, где сидел этот таинственный субъект, эдил застал его за странным занятием. На стене, на которую падал свет из небольшого отверстия в каменном своде темницы, отверстия, в которое подавали хлеб и воду заключенным, Панса увидел нечто вроде фрески, нарисованной углем, но еще не конченной: арестант, стоя на коленях, дорисовывал странное изображение, значения которого Панса не мог никак уразуметь. Рисунок был сделан, Панса это сразу увидел, мастерскою рукою. Он изображал небольшую гору, а на ней рядом три креста. К каждому из крестов было прибито по человеку с растянутыми крестообразно руками. Лица их изображали страдание. Но то лицо, которое изображено было на среднем кресте и выражало и скорбь, и умиление, это было удивительное лицо! В нем было что-то выше человеческого, выше всего земного.

— Что это изображает? — спросил пораженный удивлением эдил.

— Искушение мира, — отвечал арестант.

— А этот, в середине, кто?

— Тот, Которого имени я недостойн произнести.

— Так и не произнесешь? — изумился эдил.

— Не произнесу, — был ответ

Панса понял, что другого ответа он не дожидается, и потому прямо приступил к допросу.

— Скажи, кто ты? — спросил он мягко.

— Не знаю, — был ответ.

— Имя твое, по крайней мере?

— Мне имени еще не дано.

— Как не дано! Каждый человек имеет свое имя.

— Я не имею, я без имени.

— Да почему же?

— Потому, что я еще не родился.

Эдил подумал было, что этот человек с ума сошел, но глаза его смотрели так ясно и кротко, хотя решительно.

— Как же ты не родился, когда я тебя вижу и ты уже успел поседеть?

Эдил начал выходить из себя. Ясно, что этот человек смеется над ним.

— Кто ж ты? — спросил он уже с раздражением в голосе.

— Никто, — был ответ.

— Да что ты, несчастный! Ты издеваешься надо мною? Ведь я не циклоп Полифем, и ты не Улисс, который отвечал циклопу, что он никто, οὐδείς. Клянусь Вулканом, я заставляю тебя отвечать!

Арестант молчал. Тогда эдил приступил прямо к делу.

— Тебя взяли в пещере Циклопов, — сказал он. — На тебе кровь от убитого там центуриона. Сознайся, ты убил его?

— Не я.

— Откуда же была на тебе кровь?

— Когда поразили центуриона, я находился близко, и на меня брызнула его кровь.

— А кто его поразил?

— Не знаю.

— Ты лжешь! — закричал эдил.

— Нет, наша религия запрещает лгать.

— А какая твоя религия?

— Моя религия отвергает ваших богов-истуканов.

— Какие же твои боги?

— У меня один Бог, Который сотворил небо и землю, а из земли создал человека.

— Да и наши боги сделали то же.

— Нет, ваши боги из камня, из бронзы и дерева, и ваших богов я сам всю жизнь делал...

— Ты! делал богов!

— Да, делал и разбивал, и могу вновь сделать, но разобью, потому что они мертвые.

Панса задумался. Он теперь положительно был убежден, что кто-нибудь из их шайки разбил ночью статую Августа.

— Сегодня кто-то из ваших разбил ночью в Пантеоне изображение божественного Августа, — сказал он, думая прочесть на лице арестанта, какое впечатление произведет на него это известие.

— Как! разбили эту прекрасную статую! — воскликнул с негодованием странный арестант. — Варвары! Скифы! И они не пощадили этой художественной работы! Они надругались над красотой!

В нем, видимо, проснулся художник-скульптор. Панса смотрел на него с изумлением и ничего не понимал.

— Так тебе жаль этой статуи? — спросил он, совсем сбитый с толку.

— О, как жаль! — воскликнул с жаром удивительный арестант. — Ведь это одна из лучших статуй Помпеи. О варвары! Антропофаги! Не достаёт только, чтоб они разбили изящную статую Евмахии или Купидона, ведь эта работа не уступит резцу великого Праксителя. А пляшущий фавн!.. Да это гордость Помпеи!

Эдил слушал его с ещё более возрастающим изумлением. А странный арестант забыл, казалось, все: и это мрачное под-

земелье, и власть, которая его допрашивала и которая могла послать его прямо в пасть нумидийского льва, все забыл. Он ничего не видел, кроме носившихся в его воображении образов искусства, дивных произведений резца.

— Так разбили, варвары! — повторил он как бы в забытьи. — Не достает, чтоб они опустошили Геркуланум. А там — куда Помпее до Геркуланума — чего стоят одни конные статуи Бальбов, отца и сына! Что за роскошь! Как они посажены на коней! А Орест и Электра, дивные формы которых я по ночам руками осязал и плакал от восторга. А статуя Эсхина? Какая драпировка! Мрамор шевелится в складках хитона, лицо говорит, я слышу его неотразимую речь против Демосфена, *pro соgona!*

Он задумался, а эдил стоял, не шевелясь, боясь прервать его бред, его безумные слова. Он надеялся, что в этом горячем бреду таинственный арестант выдаст себя, проговорится, обмолвится истиной, которая ускользала от хитрого полицейского цербера.

— Да, по целым часам я созерцал их, осязал трепетными руками во мраке ночей, — продолжал говорить сам с собою непостижимый маньяк. — А Минерва! А покоящийся Меркурий!.. И все это в Геркулануме... А я только мог в отчаянии ломать руки, вспоминая о своей студии, о том, что я там покинул... И уж никогда я не буду держать в руках моего резца! Не буду оживотворять холодный мрамор... О, моя Кратилла, моя Аспазия — мои Галатеи!

Вдруг раскаты грома потрясли здание амфитеатра. Несчастный арестант вздрогнул.

— Что это? — спросил он испуганно, заметив эдила, о котором совсем было забыл.

— Это нумидийский лев, который растерзает тебя, если ты не сознаешься во всем, — сказал Панса. — Говори, кто эта Кратилла, о которой ты сейчас упомянул?

Арестант молчал. Опять раздалось ужасное рыканье льва; ему вторили другие.

— Слышишь? Говори, кто Кратилла? — настаивал Панса. — Львы ждут тебя. Говори, сознавайся, кто это, Аспазия?

— Аспазия?.. Прекрасная подруга Перикла, гетера, — с иронией отвечал арестант, к которому опять воротилось самообладание.

— Я знаю ту Аспизию, читал, — сердито сказал Панса. — А Галатея?

— Статуя Пигмалиона! — был ответ.

Эдил со всего размаху ударил по щеке арестанта и вышел, хлопнув дверью. За ним заскрипел железный засов, и все стихло. Только львы потрясали ревом стены амфитеатра.

XIX

Ни Кратилла, ни молодые Диомеды ничего не знали, где Зено и что с ним.

Кратилла помнила только, что во время ночного переполоха в пещере Циклопов она вместе с отцом бросилась вглубь пещеры, к другому, тайному выходу, но в темноте наткнулась на камень, упала и вывихнула себе ногу; что ее тотчас же поднял Курций и понес, а сзади кто-то схватил ее за волосы. Тогда она услышала за собой чей-то угрожающий голос: «Так умри же, собака!» — а вслед затем послышался крик: «Ловите, ловите его! Он убил центуриона». Затем она ничего не помнит. Очнувшись она от обморока уже вне пещеры, на руках у Курция, который молча шел рядом с братом, осторожно прижимая ее к своей груди.

Когда ее принесли к вилле Диомеда, то Квинт тихонько сказал привратнику Канису, чтоб он никому не говорил, что Кратилла была с ними, а сказал бы Мальвии и отцу, засидевшимся в гостях у Голкония Руфа, а также всем рабам и рабыням в доме, что Кратилла вывихнула себе ногу, убирая вечером комнату своей госпожи и сходя в темноте с галереи в нижний ярус дома.

Теперь Кратилла лежала в своей комнате с забинтованною ногою. Когда вечером Курций принес ее сюда, то сейчас же оба брата осторожно вправили ей вывихнутую ступню правой ноги, наложили на нее компресс и забинтовали, предупредив ее о том, чтоб она никому не говорила о посещении вместе с ними пещеры Циклопов и о том, что там происходило, а сказала бы, что вывихнула ногу дома, оступившись в темноте на лестнице.

Она припоминала теперь свое мимолетное свидание с отцом в пещере, его ласки, его объятия, нежные слова. Где же он теперь? Успел ли скрыться от преследователей? Вместе с тем она не могла не думать о своих спасителях, о их нежной заботливости. Никогда, никто в жизни не производил на нее такого впечатления, как эти братья. Ни к кому она до сих пор не чувствовала такой благодарности, такого сердечного влечения, как к ним. Это были какие-то герои, полубоги. И как не похожа на них сестра! Холодная, бессердечная эгоист-

ка, тщеславная и бездушная кокетка, все в ней было ложно, неискренно, во всем фальшь и притворство. И Кратилла старалась думать только о ее братьях. Да если б она и не хотела о них думать, то не могла: они так и стоят перед нею, серьезные, сильные, кроткие и ласковые. Она до сих пор чувствует ту сладкую истому, которая всю ее охватила, когда они с такою нежною заботливостью клали ей компрессы на больную ногу и забинтовывали ее. И кто бы стал так заботиться о простой рабыне, о какой-то несчастной, одинокой девочке! А они на руках вынесли ее из страшной пещеры, когда им, как и ей, угрожала, быть может, смерть, которая действительно и постигла там кого-то.

Вот и теперь она лежит и все думает о них. Они же, чтоб успокоить ее, на другой день ходили узнавать о ее отце, но, к сожалению, ничего не узнали. Что же с ним? Они, впрочем, успокаивали ее, уверяли, что с ним ничего не могло случиться. Потом, на следующий день, рано утром она слышала недалеко какую-то заунывную музыку и печальное, за душу хватающее пение, и братья сказали ей, что это хоронили какого-то центуриона. О да! Она теперь вспомнила, это, вероятно, того, которого кто-то убил в пещере Циклопов в ту страшную ночь, когда она увидела отца и снова потеряла.

Обдумывая все это, припоминая события последних дней, она услышала чьи-то шаги, и сердце ее радостно забилося. Она узнала знакомые шаги. Это должен быть Квинт. Почему-то ей особенно хотелось, чтоб это был именно Квинт, а не Курций. Почему, она и сама не могла дать ответа. Оба брата были с нею одинаково ласковы; Курций, казалось, был даже нежнее с нею, чем старший брат; в ужасную ночь, в пещере циклопов, когда она упала и повредила себе ногу, ее взял на руки именно Курций, а не Квинт, и донес ее, не такую уж и легкую, до самого дома; Квинт был и менее разговорчив с нею, и менее нежен. Но при всем том она всегда больше думала о старшем брате, чем о младшем. Может быть, это было оттого, что старший брат был первый, который возбудил в ней чувство благодарности, а потом и симпатии; он первый там, в мастерской скульптора Руфуса, обратил на себя ее взоры своим великодушием: он снял с ее головы непосильную ношу, тяжелый мрамор группы умирающего гладиатора, он, сын знатного Диомеда, как простой раб, пронес этот мрамор через всю Помпею, на виду всех граждан, тогда как тяжесть эту должна была нести она, Кратилла; он, старший брат, первый заронил в ее сердце чувство, которого она прежде не испытывала, он первый пробудил в ребенке спавшую еще

женщину, хотя сама она не сознавала этого; он первый затронул в ее душе такие струны, присутствия которых она в себе до той поры не подозревала.

Перед нею, действительно, стоял Квинт и, ласково улыбаясь, смотрел на нее.

— Ты сегодня менее бледна, Кратилла, — сказал он, подходя ближе, и взял ее за руку.

Она и не могла быть бледною в этот момент. При самом появлении Квинта легкий румянец разлился по ее бледным щекам. Она прильнула губами к руке молодого стойка и приподнялась на своем узеньком ложе.

— Не вставай, не труди больной ноги, — сказал Квинт, — я вот тут присяду.

И он поместился у ног девушки, примостившись на краю ее узенького ложа.

— Теперь легче ноге? — спросил он.

— Да, сегодня совсем не болит, — отвечала девушка, шевеля забинтованной ногой.

Квинт слегка приподнял простыню, покрывавшую ноги Кратиллы. Маленькие, совсем детские ножки выглянули из-под короткой рубашечки.

— Да, сегодня и красноты не видно, — сказал Квинт, слегка глядя ступни и правой, и левой ноги девушки, — и жару нет.

Какое-то томительно-сладкое чувство разлилось по всему телу девушки. Она откинулась на подушку и закрыла глаза: ей казалось, что у нее кружится голова. Квинт не отнимал руки от ее ног. Он о чем-то задумался.

«Отчего не он снес ее с Везувия, не Квинт?» — невольно подумала Кратилла и открыла глаза.

Квинт сидел молча, глядя куда-то в сторону.

— А об отце все еще ничего не слышно? — спросила девушка.

Молодой стойк как бы очнулся от забытья.

— Нет, пока ничего не узнали, — отвечал он.

Но он только боялся тревожить девушку, боялся испугать ее. Было очень много вероятного в том, что отец ее был схвачен в пещере Циклопов. Не оказалось на лицо и пастуха Кардо, который в ту памятную ночь сторожил вход в пещеру и он же подал сигнал об опасности: крик совы был этот условный сигнал. Квинт видел сестру пастуха, Кардиту, и нашел ее в слезах: она была уверена, что брата ее схватили при самом входе в пещеру. Он не сомневался, что и Зено, и Кардо будут обвинены в убийстве центуриона даже без всяких улик.

Помпейцам нужны были жертвы для их зрелищ, и Панса не задумается отдать львам на растерзание и отца Кратиллы, и молодого красивого пастуха.

В душе Квинта происходила жестокая борьба. Он должен был пожертвовать собой, чтоб спасти невинных.

В это самое время до слуха его и Кратиллы донеслись слова, сказанные поблизости какою-то рабынею: «Кого же взяли?» Они невольно прислушались.

«Пастуха Кардо схватили у самого адского грота, — отвечал голос, в котором узнали голос Синистры. — Мне говорил Тумулюс». — «Так он убил центуриона?» — продолжал спрашивать другой голос. «Нет, не он: его схватили у самого грота, когда центурион был еще жив. Кардо, как видно, был у них часовым». — «Кто ж убил центуриона?» — «Другой, полагают». — «Кто ж он такой?» — «Они и сами не знают, кто он, а он упорно молчит, не говорит своего имени». — «Старый или молодой?» — «Старый: голова бела, как у мраморного бога, и борода огненная».

При этих словах Кратилла вздрогнула и приподнялась. Лицо ее покрылось мертвенною бледностью, зрачки глаз расширились.

— Слышал? — прошептала она. — Это отец!.. О, великая Изида!

И Квинт был бледен не менее ее. Для него наступила решительная, роковая минута.

— Нет, — прошептал он, сжимая до боли руку Кратиллы, — это не отец! Не отец!

Она ничего не понимала: ей казалось, что она бредит.

— Кто же? — спросила она беззвучно.

— Я! — прошептал Квинт, выпуская ее руку. — Я убил центуриона!

— Ты!.. О, великая Изида!

— Да, я! Когда ты упала и вывихнула ногу, я крикнул Курцию, чтоб он унес тебя, а сам хотел защищать твоего отца, у которого не было оружия. В это мгновение центурион настиг вас и схватил тебя за волосы... Ты невинна ни в чем, бедная девочка, и я... я убил центуриона!.. В темноте факел потух, его выбили из рук воина, я потерял твоего отца; в это время его, вероятно, и схватили, приняв за убийцу... Но убил я, я защищал невинность.

— О, боги, — еще с большим ужасом прошептала Кратилла, — ты! спаситель мой! А отец... Боги!

— Я спасу его.

— Как?.. Чем?

— Я скажу, что я убил центуриона, я докажу это, и брат подтвердит.

— Тогда... тогда что же?

— Тогда отца освободят, а меня... — Квинт остановился.

— А тебя?.. Говори! Тебя?..

— Меня поставят на арену, — с горькой улыбкой отвечал Квинт.

— На арену!.. Львам!.. На растерзание!.. О, нет, нет!.. Ни за что!

И девушка в отчаянии и ужасе обвила руками шею Квинта.

— О, нет, нет! Я не отдам тебя! Я... я... о, великие боги!

Она прижималась к нему и вся дрожала. В душе ее вставал ужасный вопрос: «Он или отец? Кто должен погибнуть? Отец или Квинт? Кто ей дороже?»

Она все с большим и большим ужасом и отчаянием прижималась к могучей груди своего спасителя, своего божества.

— Нет, нет! — шептала она. — Подожди, не говори, что ты убил... Не отдавай себя им... О, боги!

— А как же отец? Кардо? Они страдают невинно, — говорил Квинт, тихо отстраняя от себя трепещущую девушку.

— Разве их теперь же отдадут львам? — с новым ужасом спросила она.

— Нет, не теперь... Их будут прежде судить.

— Так подожди... После... Я сама пойду к отцу...

— Зачем, бедное дитя?

— Я хочу быть с ним... Я скажу, что убила центуриона... Дай мне твой меч!

Она соскочила со своей кровати. Рассыпавшиеся золотистые косы всю ее покрыли.

— Дай мне меч... Я пойду к отцу, — говорила она точно в бреду.

Квинт приподнял ее и насильно положил на постель.

— Успокойся, бедное дитя. Еще есть время, — говорил он.

— Так ты не скажешь?

— Пока не скажу, успокойся.

У входа показалась Мальвия. Она с нескрываемой иронией и злостью смотрела на «нежную сцену».

XX

Следствие между тем по поводу убийства центуриона производилось энергично. Одновременно с ним шли также розыски виновных в разрушении статуи божественного Ав-

густа. Арестовано было еще несколько подозрительных личностей.

Однако помпейское население не довольствовалось этим: народ жаждал зрелищ.

Чтобы сколько-нибудь успокоить умы, власти города, по совету эдила, решили дать народу зрелище, хотя на первый раз и не кровавое.

В одно утро жители Помпеи увидели на стенах домов и на колоннах форума написанное красной краскою объявление, которое гласило:

«В последний день календ июля в большом театре Скавра дано будет торжественное представление, трагедия Эсхила «Эдип-царь». Шесты будут подняты и навесы протянуты, а равно произведены будут орошения».

Около объявления стали собираться зрители и выражали свое удовольствие.

— О, клянусь Юпитером! — воскликнул Тумулюс, когда узнал, в чем дело. — Это они хорошо придумали, давно пора, а то в Помпее без зрелищ скучно стало.

— А это все придумал наш благородный эдил Панса, — вмешался в разговор Фурка, — это мне говорил его приживал Какус.

— А все бы лучше звериные травли, — заметил гладиатор Барка. — Это что! Пустяки, забава для детей, ни капли крови не прольется... То ли дело наш брат, гладиатор!

— Правда, клянусь Афродитой! — воскликнул толстяк Саринус, сын Публия, у которого была в Помпее гостиница у двенадцатой башни. — Когда на арене львы работают, тогда моя торговля идет шибко, благодаря милостям Меркурия.

— Подожди, любезный Саринус, будут и львы работать, — успокаивал его Тумулюс, — благородный наш эдил уж сделал запас на этот счет, пища львам будет.

— А что ж это за «Эдип-царь»? — спросила продавщица цветов.

— Это был один такой царь, которого народ изгнал из его города за преступления, а боги ослепили его, — вмешался в разговор площадной скриба, писавший народу ябеды, — так вот этот Эдип и скитался везде, питаясь подаянием, а его водила добрая дочь, Антигона.

— Славная девушка, да наградят ее боги! — вздохнула продавщица цветов. — А каково-то царю питаться подаяниями! Наконец, настал и последний день календ июля.

В этот день с утра все граждане Помпеи готовились к зрелищу. Мальвия в этот день встала раньше обыкновенного:

ей хотелось как можно изысканнее одеться, чтоб затмить всех помпеянок и своим нарядом, и красотой, и привлечь к себе взоры всех мужчин, и молодых и старых. Она вышла в уборную из своего узенького и темного кубикулума и велела Синистре позвать Кратиллу, которая должна была причесать ее и одеть.

Уборная Мальвии выходила на галерею, открывавшую вид на море. Мальвия постояла несколько минут на галерее, любуясь открывавшеюся перед ее глазами картиною: море отливало всеми цветами, но больше всего бирюзою и изумрудами; Капреа, Питеуза и Прохита казались в утренней дымке чем-то волшебным; правый берег залива пестрел роскошными виллами до самого Неаполиса; там, на мысе Яйца Леды¹, утопала в зелени пальм и гигантских алоэ великолепная вилла Лукулла; левее — другой мыс, с могилою Вергилия, скрывавший собою Путеоли; еще левее, по ту сторону залива Байи, ясно вырисовывался мыс Мизена с дворцами и виллами цезарей. При виде этого мыса и вилл Мальвия нахмурила брови: она что-то вспоминала.

— Противный мальчишка, — прошептала она, — совсем перестал бывать... Хорошо, новый Икар! Слишком высоко летаешь: как бы тебе не свалиться в море!

Вошла Кратилла и остановилась у колонны. За это время она как будто возмужала и похудела, но стала еще прелестнее.

— Причеши и одень меня, — сказала ей Мальвия и вошла в уборную.

Явилась и Синистра. Мальвия стала глядеться в зеркало, которое перед ней держала Синистра, взяв его с туалетного столика и вытерев тщательно своею туникой.

— Что, в пыли? — спросила Мальвия. — Ты, Кратилла, совсем здесь не убираешь, — с неудовольствием взглянула она на юную рабыню.

— Я тщательно все убрала, добрая госпожа, — тихо ответила Кратилла.

Как раз перед ее глазами, на пьедестале, покоилась прелестная группа умирающего гладиатора. Сердце ее сжалось смертной тоской: ей казалось, что это умирает Квинт на арене амфитеатра.

Она стала причесывать госпожу. Руки ее дрожали.

— Да не очень взбивай волосы, — сказала Мальвия, — теперь в Риме не носят высоких причесок.

¹ Это тот мыс, на котором стоит теперь Castel dell'Ove (замок Яйца — ныне помещение для военных арестантов).

Ей хотелось, чтоб Кратилла причесала ее так, как сама причесывалась. Позади себя она видела в зеркале, которое держала Синистра, отражение изящной головки своей юной рабыни, и ей хотелось быть похожей на нее — столько грации было в этой простой прическе. Но гордой дочери Диомеда противно было признаться в этом. Она видела томные, как бы усталые глаза Кратиллы, с легкою тенью под ними от тайных слез, и сама, взяв со столика какой-то состав в стеклянной бутылочке, слегка подвела у себя тени под глазами.

— Готово? Теперь подай розы... Только не мни их твоими погаными лапами.

Дрожащими пальчиками Кратилла вдела розы в волосы госпожи.

— Нет, не надо!.. Так я буду похожа на Кардиту, что пасет вон там на Везувии коз, — капризничала дочь Диомеда. — На Антигоне нет цветов, и я не хочу... Аграф с Купидоном приколи на плечо повыше.

— Афродита! Живая Афродита! — лстиво шептала Синистра, закатывая глаза.

— Стяни немножко пояс, дохлая! — сердилась Мальвия. Кратилла исполнила приказание госпожи.

— Да, так лучше, — одобряла Синистра, — таким бюстом и сам Юпитер zalюбуется: точно у Юноны, так и выступает!

— Нет, нет! Слишком выпукло! — не соглашалась Мальвия, невольно сравнивая свой выпуклый бюст с полудетским бюстом Кратиллы. — Разве я кормилица? Распусти пояс.

И Кратилла должна была складками туники смягчить слишком отчетливые выпуклости своей госпожи.

— Теперь булавку со змеей, серьги, кольца... Собирайся и ты со мною в театр, — говорила Мальвия убиравшей ее Кратилле, — и ты, Синистра.

— О, благодарение богам, — воскликнула последняя, — какое счастье!

— Да... Там увидишь своего гладиатора, друга души, — ядовито добавила Мальвия, сделав ударение на слове «своего».

В глазах Синистры блеснули насмешливые искорки: она хорошо знала, что и ее госпожа исподтишка заглядывалась на ее богатыря Барку...

— Ах да! — как бы спохватилась Мальвия. — Эдил Панса говорил мне, что бои гладиаторов и травлю осужденных львами назначают в девятый день до календ сентября...

Кратилла вздрогнула и уронила на мозаичный пол драгоценное кольцо с миниатюрной камеей, изображавшей Ореста и Электру.

— Да ты, негодная тварь, разобьешь каменю! — вскрикнула Мальвия.

Но камень, к счастью, не была разбита. Кратилла стояла бледная, трепещущая. Побелевшие губы ее беззвучно шептали. «В девятый день до календ сентября... О, мой Квинт! О, мой отец!» — колотилось в ее исстрадавшемся сердце.

— Теперь ступайте, готовьтесь к выходу со мной, — приказала Мальвия рабыням.

Скоро рабыни были готовы, и Мальвия вышла с ними на перистиль. Там их уже ждали рабы с носилками, одни для старика Диомеда, другие для матери Мальвии и третьи для самой Мальвии. День был жаркий, а им предстояло пройти весь город почти до ворот Стабий, и потому они велили нести себя на носилках. Носилки Мальвии отличались особым изяществом. Она сидела в легком золоченом кресле с инкрустациями, на вышитой золотой подушке, а полуоткрытые розовые с белой подкладкой и золотыми кистями занавески защищали ее от солнца.

Народ, разряженный и радостный, толпами двигался по направлению к театру. Только и слышно было, что об Антигоне и слепом Эдипе...

— Боги наказали его за то, что он женился на родной матери.

— Но ведь он не знал...

— А сфинкс предупреждал его... Боги поступили правильно.

При выходе на форум, у триумфальной арки, к носилкам Мальвии подошли помпейские франты Флакк и Марк Туллий, а скоро к ним присоединился и знакомый нам преторианец, который запах императорских конюшен предпочитал всем ароматам.

Франты были в широкополых шляпах от солнца.

— Вы уже имеете таблетки на вход? — спросила молодых людей Мальвия, очаровательно улыбаясь и стараясь выказать белизну своих зубов.

— Да, прелестная богиня, — отвечал Флакк, и подал ей медную продолговатую пластинку, — вот моя таблетка.

На пластинке вытеснено было:

Cavea I.
Cuneus III.
Gradus II.
Oedipus rex
Aeschili¹.

¹ Такие театральные билеты, вырытые при раскопках Помпеи, можно видеть в неаполитанском музее.

— Cavea prima, cuneus tertius, gradus secundus, — прочитала вслух дочь Диомеда. — Значит, эта кавеа и этот кунеус против весталок?

— Да, прекрасная Мальвия, — отвечал Туллий, — мы нарочно выбрали эти места. Между молоденькими весталками есть прехорошенькие.

— О, клянусь Пегасом, — воскликнул преторианец, глядя на Кратиллу, которая шла у носилок своей госпожи, — да этот маленький Ганимед с золотой косой годится в весталки!.. Такая очаровательная мордочка!

Мальвия с досады закусила губы, а Кратилла с краскою стыда и негодования отвернулась от любителя конюшен.

— Говорят, мы скоро будем любоваться травлею одного любителя статуй, — сказал Флакк.

— Как любителя статуй? — спросила Мальвия.

— Да мне эдил сказывал, что центуриона убил какой-то чудак: он по ночам ходил ощупывать наших богов и богинь и знает все наши лучшие статуи и их достоинства не хуже Праксителя или Фидии.

— Кто ж он? — спросила Мальвия.

— Он говорит, что он — «никто», *οὐδείς*, как отвечал Улисс циклопу Полифему, которому он горящей головешкой выколол его единственный глаз.

— О, боги! — послышался чей-то стон.

— Посмотрим, что он ответит льву, когда тот спросит: «Ты кто?» — засмеялась Мальвия.

— Благодарение богам, вот наконец и театр! О, Гелиос! Не поражай ты нас своими огненными стрелами! — воскликнул Туллий, глядя на солнце, которое пекло жестоко.

XXI

В Помпее находилось три прекрасных здания для публичных зрелищ: амфитеатр, помещавшийся в конце города, в том углу, который образовался поворотом городских стен от ворот Нуцериянских к воротам Сарна; Большой театр, или театр Скавра, и Малый, или Одеон.

Представление «Эдипа-царя» назначено было в Большом театре, который находился на возвышении между форумом Триангуляре и улицею Стабий, рядом с Одеоном.

Большой театр представлял собою здание весьма внушительных размеров. Плиний Младший, упоминая впоследствии в своих сочинениях о театре Скавра, говорит, что в нем могло

помещаться до восьмидесяти тысяч зрителей, размеры, о которых наш век и понятия не имеет! Только римляне способны были на такие поразительные сооружения!

Театр Скавра представлял собою открытое сверху и обнесенное портиками здание, которое разделялось, как и все театры, на две части: одну половину, меньшую, занимала сцена с местами для музыкантов у самого помоста, и постсцениум — то, что у нас называется кулисами. Под помостом находились механические приспособления, посредством которых производили гром или с помощью которых выходили из-под земли тени, привидения, адские духи и т. д. Боги же Олимпа спускались на сцену в колесницах или на искусственных облаках. Занавес не опускался сверху, как в современных театрах, а поднимался снизу, от помоста. Сцена, или помост, называлась у них «пульпитум» и была сделана несколько наклонно к стороне зрителей.

Места для зрителей шли полукругом, уступом, в виде амфитеатра; ближайший к сцене полукруг, без уступов, ровный, назывался оркестрою и предназначался для почетных лиц, для сенаторов, патрициев и т. п., которые помещались в своих собственных креслах с мягкими подушками, приносимых рабами, или на почетных двухместных сиденьях, называемых «бизеллиум»; право сидеть на бизеллиуме давалось городом, и это отличие считалось очень важным, как о том упомянуто на гробнице одного августала в Помпее. Эти бизеллиумы до сих пор можно видеть в неаполитанском музее; они очень изящно украшены бронзовыми фигурами, барельефными бюстами и красивыми инкрустациями.

За оркестрою уже начинались каменные полукруглые сиденья, уступами, амфитеатром. Этот амфитеатр разделялся проходами на несколько конических отделений, называемых кунеями. По обеим же сторонам оркестры находились возвышенные места, ближе к сцене, которые назывались подиумами: правые из них назначены были для дуумвиров, заведовавших представлениями, левые — для весталок. Для женщин же вообще отведены были места на самом верху амфитеатра, за низкою железною решеткой.

Когда Диомед с женою и дочерью в сопровождении Флакка, Туллия и преторианца вошли в театр, то почти все места были уже заняты. Сам Диомед, как почетное лицо, прошел в оркестру, где рабы уже поставили для него кресло недалеко от кресел Марка Лукреция, Корнелия Руфа и киника Авла Порка. Мальвия с матерью и рабынями поднялась в женское отделение, в так называемое «сумма кавеа», а молодые люди заняли свои места в первой кавее, сейчас же

позади оркестры, во втором ряду, против подиума, на котором уже восседало несколько весталок. Действительно, между строгими лицами старых служительниц неугасимого огня Весты виднелись и юные миловидные личики молоденьких весталок, скромный вид которых, потупленные глазки и девственность еще более возвышали их красоту.

Эдил Панса и Голконий Руф явились после других. Они, обменявшись приветствиями с Диомедом и другими знакомыми, прошли на подиум, где стояли статуи Нерона и Агриппины.

Шесты с велями, занавесами, были подняты, и в отверстие — театр был без потолка — виднелась только та часть голубого неба, до которой еще не поднялось жаркое июльское солнце.

Заиграла музыка. На сцену вышел протагониста в огромной маске с широко раскрытым ртом. Но едва он сделал жест рукою, чтоб заговорить, как вдруг пошатнулся... Все здание театра, казалось, дрогнуло, и земля застонала...

— Землетрясение! Землетрясение! — слышались женские голоса. — О боги!

Все вскочили с мест и бросились к выходам. Снова оглушительный удар под землею...

Началась страшная давка, крики, стоны. Все бежали, падали, теснились в вомиториях, стараясь скорее выбраться на площадь, подальше от дрогнувших стен зданий.

Но удары больше не повторялись.

— Это Вулкан только пошутил, — заметил киник, вытирая тогою пот, струившийся по его жирному лицу, — то ли было пятнадцать лет назад!

— Однако меня порядком помяли, — едва переводя дух, говорил Диомед, успокоенный тем, что увидел жену и дочь в безопасности.

Дамы Диомеда отделались только испугом, но Мальвия сердилась, что ей в суматохе помяли прическу. В это время явились Синистра и Кратилла, которые отыскивали в толпе носилки своих господ. Теперь носилки следовали за ними.

Панса, отдавая направо и налево приказания, неожиданно очутился около Диомеда и окружавшей его группы.

Но вдруг он остановился, видимо, пораженный чем-то. В это время Кратилла поправляла прическу своей молодой госпожи.

— Кто эта девушка? — спросил Панса Диомеда, не спуская глаз с Кратиллы.

— Это рабыня моей дочери, — отвечал Диомед.

— А где ты ее приобрел, достойный Аррий? — допрашивал эдил.

— В порте, на невольничьем рынке.
— А давно?
— Несколько недель назад.
— Одну купил, или с нею еще кто был?
— Помнится, был там еще бородатый скиф, которого купил наш славный навмарх, благородный Плиний.

— А у этого скифа не седая голова?

— Нет, он, помнится, молодой малый.

Панса продолжал вглядываться в Кратиллу. «Удивительно, удивительно! — бормотал он. — Клянусь Афродитой, это она».

— Да что это благородный эдил так заглядывается на мою рабыню? — шутя спросил Диомед. — Разве Купидон пустил в тебя стрелой из ее глазок? Ведь это капризный божок, и нас, стариков, подстреливает.

— Нет, не то, благородный Аррий, — серьезно сказал эдил. — Отойдем-ка в сторону, мне нужно серьезно с тобой поговорить.

Они отошли за колонну портика.

— Это дело пока секретное, друг Аррий, — заговорил Панса, — но тебе, почтенному гражданину Помпеи, я могу доверить государственную тайну, которая еще не вполне раскрыта следствием. Ты, конечно, знаешь о трагической смерти нашего достойного центуриона Деция Скавра?

— О да! Таинственная, загадочная смерть! — покачал головою Диомед.

— Ведь его убили в этом проклятом гроте Циклопов, когда он с командой, по моему приказанию, должен был захватить в этом гроте скопище заговорщиков, за которыми я давно следил. Так представь себе, достойный Аррий, когда это скопище, заслышав приближение моих воинов, бросилось спасаться, вдруг преследовавшие их люди наткнулись там, в глубине грота, на глиняный бюст, еще не конченный, но поразительной художественной работы.

— Но зачем же туда попал этот бюст и притом не конченный? — спросил Диомед.

— В этом-то и вопрос, друг Аррий, — отвечал Панса. — Да тут всё вопросы, вопрос на вопросе! Но представь себе, мой друг, этот бюст, — клянусь всеми богами! — это бюст с твоей рыжеволосой рабыни.

— Как! Вон с той Кратиллы, что охорашивает мою Мальвию?

— С нее, положительно с нее! Я ведь, ты знаешь сам, не профан по части искусства: Фидия и Праксителя отличу

от какого-нибудь Кодра, да и Руфуса нашего не смешаю с Клитоном. Я знаю толк и в скульптуре, и в живописи.

— Еще бы! Такого мецената и знатока, как наш благородный Кустус Панса, и в Риме поискать с фонарем Диогена. Ну?

— Так вот, я и нашел оригинал таинственного бюста в твоей рабыне!

— Чудеса, чудеса, — качал головою Диомед. — Все таинственно!

— Да это еще не все, — продолжал Панса. — В том проклятом гроте Циклопов захватили в ту ночь, недалеко от убитого центуриона, какую-то странную неизвестную личность. На этом неизвестном оказались следы крови, свежей крови, конечно, от несчастного Деция. Но этот негодяй упорно отрицает свою виновность.

— Кто ж он таков? — спросил Диомед.

— В том-то и вся задача! — с досадой произнес эдил. — Не говорит, мерзавец: я, говорит, «никто», как Улисс. У него, слышишь ли, имени еще нет, он еще не родился!

— Да он просто дурачит правосудие! — рассердился и Диомед.

— Нет, он говорит, что «не родился еще водою и духом». Это какое-то иносказание. Он, видимо, принадлежит к секте этих новеньких: отрицает наших богов, говорит, что сам их делал из мрамора...

— Скульптор, значит?

— Да, тут, кажется, и есть кончик нитки, по которому я и думаю добраться до клубка, как Тезей с помощью Ариадниной нити добрался до Минотавра. Я надеюсь, что твоя рыженькая рабыня будет моей Ариадной. Это он с нее сделал бюст.

— Но где? Когда? — удивился Диомед. — Кратилла не отлучается никуда.

— Ну, не говори этого, друг Диомед, — возразил Панса. — Эта секта удивительная, просто поражает своими тайнами! Представь себе! Эту рыженькую косу видели тогда в гроте Циклопов.

— Ну, могли и не ее видеть, разве она одна рыжая в Помпее?

— Так-то так, друг Аррий, но клянусь Прозерпиной, еще неразгаданная тайна. Слушай: когда мои воины, спрятавшись в темноте около тропинок, ведущих к гроту, поджидали, когда заговорщики соберутся все, то они видели, как по одной тропинке пробирались в гору три тени, и хотя они тихо между собой разговаривали, однако воины мои расслышали голоса, и чьи бы ты думал, друг Аррий?

— Не знаю... не догадываюсь, все это какие-то непостижимые тайны, — недоумевал Диомед.

— Голоса твоих сыновей! — шепотом произнес Панса.

— Что ты, благородный эдил! Быть не может. Впрочем, мои сыновья могли идти и не к гроту, мало ли куда молодежь ходит по вечерам!

— Согласен, друг Аррий, но воины слышали тогда и третий голос, женский; так не этот ли Ганимед был с ними и не его ли рыжую косу видели в гроте? Все это вопросы.

— Чудеса, чудеса, — качал головою Диомед.

— Но в чем я теперь убежден положительно, — продолжал эдил, — так это в том, что найденный в пещере бюст слеплен с этой твоей Психей и лепил его тот, которого захватили в гроте. Он — скульптор. Я на этом стою. Он в каком-то экстазе перечислил мне все лучшие статуи и группы Помпей и Геркуланума и говорил, что он по ночам любовался ими, осязал их, плакал над ними.

Диомед, казалось, что-то вспомнил. Он ударил себя по лбу.

— Постой, благородный Панса, — сказал он, оживляясь. — Весной как-то моя цикада, Мальвия, заказала скульптору Руфусу мраморную копию умирающего гладиатора, знаешь?

— Еще бы не знать! Лучшее украшение дворца цезаря, и что за резец... Ну?

— Так несколько недель тому назад мы с Мальвией и отправились к Руфусу узнать, готов ли гладиатор. С нами была и эта, только что тогда купленная, рабыня. Когда мы вошли в магазин скульптора и Кратилла увидела гладиатора, она бросилась к нему и стала целовать мрамор, плакать и говорить, что это работа ее отца, скульптора Зено. И тогда нам Руфус объяснил, что он как-то купил себе раба для черных скульптурных работ, а раб этот оказался замечательным скульптором. Он-то и сделал для моей цикады прелестную копию умирающего гладиатора и на мраморе вырезал свое имя: *Zeno fecit*. А потом вдруг исчез, словно в воду канул.

— О, теперь для меня горизонт несколько проясняется, — сказал в раздумье эдил. — Надо их свести на очную ставку, это непременно. Посмотрим... А теперь извини, друг Аррий, я должен на время лишить твою прелестную дочь ее таинственной рабыни: я должен ее арестовать и допросить. Позволишь?

— О, прошу, это мой долг, долг гражданина и верноподданного, — поклонился Диомед.

— В таком случае, клянусь Ариадной, я доберусь до Минотавра! — воскликнул Панса.

— Прости мне, прелестная Мальвия, — сказал он, подходя к дочери Диомеда. — Я, к сожалению, должен лишить тебя на время твоей юной рабыни, вот этой, — он указал на Кратиллу, — она мне нужна по одному делу.

Кратилла вся помертвела, а Синистра бросила на нее злобный, торжествующий взгляд.

— Я повинуюсь закону, благородный эдил! — грациозно наклонила голову Мальвия. — А жаль, что суровый Вулкан помешал нашим развлечениям.

— Развлечения от нас не уйдут, да еще какие! — любезно поклонился эдил.

Потом, подозревая Тумулюса и Фурку, которые стояли поблизости, он тихо сказал им:

— Возьмите вон ту рыженькую рабыню Диомеда и отведите ко мне в дом. Не допускайте ее ни с кем говорить.

Скоро Кратиллу увели с площади. Бедняжка заливалась горькими слезами.

XXII

В тот же день к вечеру тяжелая дверь каземата «Колумбарий живых» скрипнула на ржавых петлях, и на пороге показался эдил Панса.

«Колумбарием живых» назывался один из казематов амфитеатра, в котором обыкновенно ожидали своей участи несчастные, приговоренные к растерзанию на арене дикими зверями. В таком колумбарии помещался тот таинственный субъект, захваченный в пещере Циклопов, который упорно отказывался выдать свое имя.

Эдил вошел в каземат не один. За ним Тумулюс и Фурка внесли что-то продолговатое и, по-видимому, тяжелое, напоминавшее человеческую фигуру, завернутое в черное покрывало, и бережно положив на каменный уступ у стены, молча удалились.

Панса застал арестанта на коленях в позе молящегося. При виде эдила, арестант поднялся и с удивлением посмотрел на то, что было закутано черным покрывалом.

— Ну что, одумался? — спросил Панса. — Теперь все расскажешь?

— Мне нечего рассказывать, — отвечал арестант.

— А если тебя уличат?

— Уличить меня не в чем.

Тогда эдил подошел к тому, что было закутано черным покрывалом, и сдернул покрывало.

— Смотри, что это такое... Узнаешь? — спросил Панса. Это был бюст Кратиллы, найденный в пещере Циклопов. Арестант подошел к нему и стал смотреть на него с грубоким умилением.

— Узнаешь?.. — повторил Панса.

— Узнаю, это моя работа.

— А с кого эти черты леплены?

— С оригинала.

— А кто этот оригинал?

— Он был в моем сердце и в нем останется до могилы.

— А если я покажу тебе этот оригинал? — сказал эдил.

Арестант вздрогнул, но молчал.

— Этот оригинал назвал мне по имени убийцу центуриона, — продолжал Панса.

— И, конечно, не меня, — слабо улыбнулся арестант.

— Нет, именно тебя.

— Не может быть, он не мог меня назвать.

Панса понял, что сделал ошибочный ход: он не обдумал своих вопросов. Он старался поправить свои ходы, и снова неудачно. Он был плохой знаток человеческой души.

— Желаете ты, чтоб оригинал был спасен от когтей львов? — спросил он после небольшого молчания.

— Кто же не пожелал бы спасти от смерти невинного человека, тем более безгрешное дитя? — в свою очередь спросил арестант.

— Так скажи, кто убийца?

— Не знаю, — был ответ.

— В таком случае, она погибнет, — глухо сказал эдил.

— Кто она? — с испугом спросил арестант.

— Твоя дочь, Кратилла!

— О, Боже всемогущий, спаси ее!

Полагая, что достаточно подготовил почву для признания преступника и сознания в совершенном убийстве, эдил приотворил дверь темницы и крикнул: «Введите свидетельницу!»

Через минуту на пороге показалась Кратилла. Она, видимо, хотела броситься к отцу на шею, но стояла, не шевелясь.

— Дитя мое! Плоть моя! — с рыданием проговорил несчастный. — И ты здесь!

Он рванулся к ней и с страстной нежностью обнял ее. Девушка со стоном прижалась к нему:

— Отец мой! Отец!

Панса глядел на эту сцену, и у него дрогнули мускулы лица и губы. Но он победил свою минутную слабость, так хотелось

ему угодить своим гражданам и найти жертву, хотя бы невинную, для своих прекрасных нумидийских львов.

— Сознайся, что ты убил центуриона, и тогда дочь твоя будет спасена, — сказал он, приблизившись к несчастным узникам.

Арестант с невыразимой нежностью взглянул на дочь. Он решился.

— Да! Я убил его! — сказал он твердым голосом.

Кратилла с криком бросилась к нему на шею.

— Неправда! Неправда! Я убила центуриона! — хрипло прокричала несчастная, глядя прямо в глаза эдилу. — Я за-резала его!

Панса в изумлении отступил.

— Когда он схватил меня за волосы, я поразила его мечом прямо в сердце, — продолжала Кратилла торопливо, как бы боясь, чтоб ее не остановили.

И отец, и эдил были одинаково поражены. Эта девочка — убийца! Но первый скоро опомнился.

— Нет, она, бедная, только желает спасти меня, — сказал он, подавленный любовью и мужеством ребенка.

«Спаси меня» — эти слова отца как-то болезненно отозвались в сердце девушки. Его ли только, отца ли, желает она спасти? А пошла бы она на верную смерть, если бы за того не трепетала? Не ошибается ли отец? Не ошибается ли она сама? Кто вызвал в ее душе решение принять на себя убийство: отец или тот, другой? Эти вопросы, точно молния, ворвались в ее сознание. Но они не остановили ее, они еще больше укрепили ее в ее решении.

— Нет, не спасти тебя желаю, отец, а только хочу сказать правду: я убила центуриона, — твердила она, глядя на эдила пылающими решимостью глазами.

Панса, по-видимому, сбит был с толку. Для его ординарной, несложной солдатской души не могли быть понятны тонкие, сложные душевные мотивы, которые преобразили ребенка в героя. Ему и в голову не могла прийти мысль, да она и не уложилась бы в его первобытном, так сказать, прямолинейном мозгу, мысль принять на себя постороннее убийство, взвалить на себя чужую вину, да притом такую, которая пахнет ареной, собственной кровью, когтями нумидийских львов. Ясно, что отец и дочь вместе совершили это убийство.

— Но как же ты убила его? — спросил он как-то растерянно. — Откуда ты взяла меч?

— У меня был свой меч под туникой, — отвечала девушка.

— Но зачем и как ты попала в грот Циклопов?

— Я пришла туда на свидание с отцом.

— А кто тебя привел туда?

— Сама пришла.

— Что же было дальше?

— Когда они, эти воины, ворвались в грот, мы с отцом бросились бежать, чтобы скрыться от них... В это время кто-то схватил меня за волосы, я не знаю, кто это был: центурион, или другой кто; я обернулась и ударила его мечом в сердце... Потом я услышала, что убит центурион... Я его убила!

— Неправда! неправда! — вскричал Зено, который все время, как его дочь говорила, стоял растерянный, подавленный.

И это она, его крошка Кратилла! Это она затмила собою славу той героини его родной Греции, той Леайны, которая, чтоб не выдать чужой тайны, откусила себе язык!

— Неправда! неправда! — повторял он в умилении. — Я убил центуриона, а она невинна.

Тяжелая дверь «Колумбария живых» скрипнула, приотворилась, и на пороге показался Тумулос.

— Ты что? — спросил удивленный эдил.

— Убийца центуриона, благородный эдил, — отвечал воин.

— Кто? где?

— Здесь, благородный эдил, требует, чтоб его впустили к тебе.

Новый убийца. Эдил совсем сбит с толку. Он растерянно глядел то на Тумулоса, стоявшего в виде молчаливой статуи Марса, то на Зено, еще более растерянного, то на Кратиллу, у которой разом сбежал с лица румянец нервного возбуждения.

— Введи его, — сказал наконец эдил.

Через мгновение в каземат вошел Квинт, старший сын Диомеда.

Эдил с суеверным страхом отступил назад. Уж не конец ли мира? То земля колеблется в основании, то эти непостижимые явления... Разом трое убийц центуриона.

Взгляд, которым обменялись Кратилла с Квинтом, невозможно передать. Ни одно божество, которому молилась в своей жизни юная гречанка, не видело на себе подобного взгляда: умиление, беспредельная любовь, нежность и глубокое отчаяние — вот что выражал этот взгляд, этот молитвенный экстаз.

— А-а, — сказал наконец эдил, — сын Марка Аррия Диомеда!

— Да! Я убийца центуриона Деция Скавра! Вот меч, которым я поразил его, — сказал Квинт, подавая свой меч эдилу. — Они, — он указал на Зено и Кратиллу, — невинны.

— Эй, почтеннейший сcribe! Прочитай-ка, что гласит эта красная надпись на стене?

— А что дашь, благородный служитель Марса?

— Добрую кружку фалернского.

— Ого-го, мы и простого везувианского не прочь пропустить малую толику.

— Идет! Читай же!

— Ну, открой заслонки твоих ушей, слушай.

— Я не осел, мои уши не завешаны.

— Ладно! Слушай: «Странник! На пути отсюда к двенадцатой башне Саринус, сын Публия, содержит гостиницу. Здравствуй!»¹.

— Э, да это нам как раз по пути! Шествуем, товарищи!

— Клянусь Селеной, которая теперь смотрит на нас с высокого неба, сам Вакх нам покровительствует! Идем к старику Саринусу.

Это были наши старые знакомые, Тумулюс, Фурка и Каска, которые были сегодня свободны от службы и гуляли. Дорогой они увидели крупную надпись на стене, освещенной полною луной, и, не умея читать, обратились к проходившему мимо уличному адвокату, сcribe, всем известному в Помпее под именем Перо (стило). Сcribe прочел.

— Ну, Золотое Перо, идем же с нами, — сказал Тумулюс.

— О, клянусь Юпитером! К алтарю Вакха я готов и окарач ползти.

Приятель отправились к толстяку Саринусу.

— Ну, что у вас нового, благородные воины? — спросил сcribe. — Говорят, вы наловили хорошей дичи для нумидийских львов.

— Да, клянусь Селеной, будет охота, только не на зверей, а на благородных патрициев, — сказал Каска.

— Прикуси-ка язык, жареная рожь! — остановил его Тумулюс. — Изида уже поджарила тебя, так эдил Панса дожарит твою морду за болтовню.

— Да я что! Вся Помпея об этом говорит, — оправдывался Каска.

— А нам служба велит молчать, — настаивал Тумулюс.

¹ Эта надпись сохранилась на стене в Помпее до настоящего времени.

— Ну-ну, полно, приятели! Клянусь кадуцеем Меркурия, на форуме только и говорю, что и сыновья славного Диомеда попались, да еще как, в первую ставку!

— А вот и храм Саринуса, — сказал Фурка.

Гостиница Саринуса была любимым сборищем помпейской черни, рыбаков, матросов и гладиаторов.

Когда наши приятели вошли в приют толстяка Саринуса, то там уже было немало посетителей: иные сидели за отдельными столиками, пили и болтали, другие играли в кости. Шум стоял немалый. Другие посетители помещались в комнатах, выходивших в общий вестибулум.

Вдруг в одной из таких комнаток послышался женский смех. Тумулюс насторожил уши: ему, кажется, знаком этот зазорный смех.

— Клянусь палицей Геркулеса! Один из львов будет моей добычей, — донесся оттуда зычный голос.

— Это, должно быть, тот, который поломает кости моему господину, спесивому Квинту, — отвечал на это женский голос.

Тумулюс при этих словах побагровел от злости и бросился к комнатке, откуда доносились голоса. Увидев, что там, он так и застыл на месте. Он увидел Синистру на коленях у гладиатора Барки.

— А, негодная шкура! Так-то ты! Под двумя ходишь в упряжи! — зарычал он. — Вот я тебе пощупаю косы и ребра.

— Попробуй, медная башка! — огрызнулся гладиатор, спуская с колен свою даму. — Ты сюда вошел на своих копытах, а отсюда тебя выволокут, как падаль.

— А! Клянусь волосами Медузы, я вырву гриву у твоей Гарпии!

И Тумулюс бросился с кулаками на изменившую ему красавицу, которая нахально смотрела на него, как бы говоря: «Cras tibi, hodie illi»¹.

Но гладиатор заслонил свою даму, и противники схватились. Тумулюс схватил за горло Барку так сильно, что тот посинел и зашатался, но тотчас же сильным ударом коленки в живот заставил воина разжать руки. Тогда они схватились руками и оба грохнулись на пол, давя друг друга и извиваясь, как два огромных червя. Скоро, однако, гладиатор очутился наверху, но в этот момент Фурка, подросевший на помощь к товарищу, ударом кулака в висок так оглушил его, что Барка зашатался и дал возможность противнику вывернуться и снова вцепиться руками в его шею. Фурка между тем продолжал

¹ «Вчера тебе, сегодня ему».

бить гладиатора в темя, опуская тяжелый кулак на курчавую голову, словно молот на наковальню.

Тогда вблизи послышался крик: «Гладиатора бьют!» — и на валявшийся и катавшийся на полу клубок из человеческих тел набросился новый боец, приятель Барки, гладиатор Кверкус. Каска, не принимавший до сих пор участия в битве, бросился помогать товарищам и, вцепившись одной рукой в волосы Кверкуса, другою наносил ему тяжеловесные удары прямо в лицо.

— Quos ego! sed motos praestat componere fluctus!¹ — раздался над борцами голос сcribes, а сам Саринус, при помощи рабов, окатил дерущихся водою из огромного водоноса. — Quos ego! — кричал scriba.

Озадаченные неожиданностью, борцы выпустили друг друга из смертельных объятий и медленно поднимались с пола, тяжело дыша и изрыгая проклятия.

— И все это из-за общего огорода? Стыдитесь, благородные граждане! — говорил scriba. — Клянусь подошвой моих сандалий, да в этот огород свободно входи и осел, и кабан, и рогатый олень, на всех хватит места... стоит ли из-за нее драться!

— Ха-ха-ха! — засмеялся старый рыбак, знавший Синистру еще ребенком. — Она такая, что одного ласкает, другому мигает, а третьему втрое обещает.

Под общий взрыв хохота доступная всем красавица исчезла, как тень.

— Ура! — иронически воскликнул scriba.

— Nunc est bibendum!
Nunc pede libero
Pulsanda tellus!²

— Bravo! — подхватил хозяин, потирая руки. — Благородный юрист прав. На чей счет ставить новую амфору блестящей влаги из гроздьев Везувия? — спросил хозяин.

— На счет победителей... «Vae victis!»³ — воскликнул неугомонный scriba.

— А кто победители? — спросил опять Саринус.

— Все победители!

¹ Эта фраза из «Энеиды» Виргилия, когда Нептун, рассерженный волнением моря, кричит ветрам: «Вот я вас! Только дайте волны успокоить...» (лат.) («Энеида», I, 135.)

² Известный стих Горация: «Нынче надо пить! Нынче надо плясать свободными ногами!..» (лат.)

³ Историческая фраза Бренна, предводителя галлов: «Горе побежденным!»

— Браво, браво! — воскликнули обе стороны, и воины и гладиаторы. — Подавай новую амфору!

Амфора тотчас же принесена была рабами, и кружки налиты.

— Здоровье благородного Тумулуса и его друзей! — воскликнул Барка, поднимая кружку.

— Браво! — поддержал гладиатора Фурка. — Здоровье доблестных гладиаторов, Барки и Кверкуса! Ур-ра!

Недавние враги чокались, обнимались и пили.

— Клянусь мечом Марса, — воскликнул Барка, — стоило ли ссориться из-за этой паскуды!

— Верно сказано, — подтвердил сcribe, — такие, как Синистра, на форуме за сестерций пара.

Потом, обратясь к стоявшему в позе Юпитера хозяину, уличный адвокат патетически воскликнул:

— Quousque tandem abutere, Sarine, patientia nostra.

Это знаменитое обращение Цицерона к Катилине знали все римляне. Услышав его из уст пьяного сcribe, Саринус расхохотался.

— Чем бедный Саринус, сын Публия, провинился перед новым Марком Туллем Цицероном? — спросил он, подходя к столу.

— А тем, что твои рабы оставляют мой кубок сухим, и я испытываю муки Тантала, — отвечал сcribe.

Саринус тотчас же приказал наполнить его кубок.

— А скажи, благородный меч Марса, ты ближе к власти, — обратился значительно подвыпивший Барка к Тумулусу, — увидим ли мы, наконец, нумидийских красавцев?

— Это львов-то? — спросил Тумулус заплетающимся языком. — Скоро, друг Барка! А каких птичек мы для них наловили!.. Клянусь Юноной, на таких и богине не приходилось охотиться!

— Так это правда?

— Правда, друг Барка... Патриции... красавцы... да еще одна птичка!.. Ну, эту я бы лучше посадил в золотую клетку, чем отдавать в лапы такому грубияну, как нумидийский лев.

— Ай-ай! А кто такая красавица?

— Да уж почище твоей шкуры, Синистры! — вдруг обозлившись, крикнул Тумулус и бросился с кулаками на гладиатора.

— Стой, стой! — закричал сcribe и, став против ошеломленного его возгласом Тумулуса, продекламировал известный стих Горация, которым он предостерегает Рим («корабль») от новых волнений:

— O navis! referent in mare te novi
Fluctus? — O, quid agis?
Fortiter occupa portum!..¹

— Убирайся ты к черту с твоими законами, ябеда! — крикнул на него Тумулюс. — Ты не в Базилике, а в таверне с приятелями.

— Да это не законы, а стихи Горация.

— Ну его к черту, твоего Горация! — говорил совсем пьяный Тумулюс. — Друг Барка! Поцелуй меня... Клянусь Юпитером, она, лярва, не стоит, чтоб из-за нее ссорились!

И недавние враги стали обниматься.

— Так птичка, говоришь? — бормотал гладиатор. — Так я же не дам ее льву!

— Не давай, друг Барка, не давай! Она... она — девочка... рыженькая... лилия... А этот молодой Диомед, у! красавец... Аполлон... Он убил нашего центуриона... ловко пронизал насквозь... Дурак Фурка видел... и промахнулся... Друг Фурка! Ты дурак?.. Аполлон... красавец... а его задерет лев, задерет...

XXIV

О необычных событиях, следовавших один за другим в Помпее, слух скоро достиг и до Мизена, разумеется, с вариантами, несколько увеличившими таинственность того, что на самом деле произошло.

Слух этот побудил Плиния лично отправиться в Помпею, чтоб там, на месте, обстоятельнее разведать о землетрясении, так неожиданно помешавшем исполнению трагедии Эсхила «Эдип-царь» — событие, которым ученый муж очень интересовался и которого ожидал, а равно подробнее узнать о несчастьи, постигшем семейство Диомеда, в лице молодых стойков, к уму и характеру которых добрый старик давно чувствовал невольное влечение. Само собою разумеется, что юный племянник вызвался сопровождать дядю: известие о том, что друзья его заключены в «Колумбарий живых», не могло не потрясти его.

Плиний велел снарядить лодку, и они отправились. Агриппа не поехал с ними, потому что уже несколько недель находился в ПUTEОЛИ для пользования чудодейственными ван-

¹ «О, корабль! неужели тебя опять уносят в море новые волны? О, что ты делаешь! Крепче держись в порте!..» (лат.).

нами при храме Сераписа. Кормчим на лодке оставался все тот же молчаливый великан скиф, который уже имел собственное имя: имя это было Перун. Часто слыша от него это восклицание и предполагая, что это имя какого-либо скифского божества, матросы стали звать его в шутку Перуном, и это мифическое имя так за ним и осталось. Но Перун теперь был уже не совсем немым скифом. Юный Плиний, которому молчаливый и кроткий варвар очень полюбился, охотно занялся его образованием. Он каждый день занимался с ним по несколько часов, наглядно объяснял ему по-латыни разные обиходные вещи, заставлял его заучивать самые необходимые латинские слова, например — «море», «вода», «лодка», «небо», «ветер» и т. д. Дикарь охотно усваивал себе римские названия, и только постоянно путался в слове «mare», говоря по-скифски «море» — «more».

Утро было пасмурное, когда они вышли из мизенского порта. Небо, казалось, сливалось с морем, над которым нависла серая пелена. Эта пелена заволокла и побережье, и причудливые очертания гор, и прелестные острова Прохиту, Питеузу и Капрею. Везувий и Сомма закрылись тучами, которые особенно клубились над вершиной Везувия и казались чем-то живым, дышащим. Помпея также пряталась в серой мгле.

Плиний с помощью нескольких слов и жестов объяснил Перуну, чтоб он направил лодку не в главную гавань Помпеи, а значительно левее и ближе, к небольшому каменному молу, мыском выходившему в море как раз против виллы Диомеда. Они подошли к небольшой калитке, ведущей в сад виллы, и постучали бронзовой ручкой, приделанной к двери калитки. На стук поспешил выйти привратник Канис. Не отходивший от него лохматый Минос залаял было, но увидав юного Плиния, очень обрадовался ему и выразил эту радость энергичным маханием облезлого, кудлатого, несколько промоченного хвоста.

Канис узнал почетного гостя и молча поклонился. По лицу старика видно было, что у него на душе горе, но он мужественно переносил его.

— Дома господин? — спросил Плиний-старший.

— Дома, благородный патриций, — отвечал раб, но взглянув в задумчивые и грустные глаза молодого Плиния, старик заплакал, безнадежно махнув рукой.

Минос, подняв кверху морду, тихо и жалобно завывал.

Раб провел гостей мимо зеленой беседки и писцины под портик, где стояла статуя Минервы. Знакомые, некогда до-

рогие для юного Плиния места! Теперь они потеряли для него прежнее очарование, в них не было уже души, иллюзии рассеялись как дым...

Оттуда разными переходами и портиками они прошли прямо в экседру, в уютную, одну из лучших комнат в доме, окруженную выходившими в нее небольшими комнатками.

Юный Плиний невольно оглянулся кругом. Куда же делось прежнее очарование? А ведь все то же, что было и прежде. Вот круглый мраморный, из белого паросского мрамора, стол, украшенный десятью головами тигров. Из пастей их тихо струится прозрачная вода и стекают в водоем фонтана. Вот мраморные барельефы с изображением Вулкана, стоящего при наковальне. Вот статуя крылатой женщины, которая держит в одной руке бабочку, а в другой факел. Она готовится зажечь огонь на жертвеннике. Вот голый Геркулес с накинута на плечо львиной шкурой и со своею суковатой палицей. Вот фавны с факелами, вазами и тирсами. Вот заяц грызет яблоко... Маски фавнов и женщин... Все, все знакомое! Но как полиняли краски всего этого!.. В душе его они полиняли и остались только в воспоминании, да и то не те, нет! Все это был обман, самообольщение, иллюзии...

Вошел Аррий. Как он постарел и осунулся за эти дни! Глаза потеряли блеск, выражение. Бодрая фигура старика ссутулилась. Он заплакал, увидав гостей.

— Я узнал о постигшем тебя несчастье, добрый Аррий, — сказал Плиний, идя к нему навстречу, — и приехал к тебе посоветоваться, нельзя ли как-нибудь помочь горю.

— Боги да наградят тебя, великодушный муж, но чем помочь? Собственное сознание, упорное сознание! — с отчаянием махнул рукой убитый горем отец.

— Но сознание уменьшает вину, смягчает судей, — заметил Плиний.

— Да он и не желает смягчения, он идет прямо на смерть, ищет смерти.

— Это порыв молодости, сенат должен принять и это во внимание.

— Тщетно!.. И представь, о, праведные боги, оба сына заодно твердят. «Я убил центуриона!» — говорит Квинт. «Я убил Деция Скавра!» — говорит Курций.

— Все это еще не беда, добрый Аррий, кроме сената у нас есть цезарь, а божественный Тит милостив, — успокаивал Плиний.

— Милостив, да, но только к римлянам, а они перестали быть римлянами! — с горечью произнес Диомед.

— Как перестали быть римлянами! — удивился Плиний.

— Мы, говорят, не римляне, не рабы цезаря; мы, говорят, рабы Того, Который на небесах.

Плиний задумчиво покачал головой. Он давно уже понял, что в умы человечества заронено какое-то могучее учение, что это огненное учение, как огонь на форуме Вулкана, пробивает себе пути везде, проникает в камни, в мрамор, подтачивает могущество Рима. Страшное, неотразимое завоевание мира тем еще страшнее, что оно мирное, кроткое, завоевание любовью, жертвою за других, за всех...

— Когда ж они примкнули к этому учению? — спросил он, когда эти тревожные мысли пронесли в его уме.

— Я сам не знаю, — беспомощно отвечал старик, — полагаю, что еще в Риме, где я надеялся видеть их преторианцами, опорой трона цезарей и римских орлов. Уже оттуда они воротились совсем другими, я не узнавал в них своих сыновей... Здесь, как оказывается, они нашли таких же, и вот в одно из своих собраний в пещере Циклопов они и убили центуриона, посланного эдилом, чтоб изловить шайку заговорщиков. И представь себе, благородный навмарх, ты, быть может, помнишь ту юную пленницу, которую я купил на рынке для моей дочери?

— Да, помню, жалкая такая девочка, — сказал Плиний.

— Оказывается, что и она была в ту ночь в пещере Циклопов и теперь утверждает на следствии, что не сыновья мои, не Квинт убил центуриона, а будто она.

— Эта девочка!

— Да, но она, видимо, хочет снять обвинение с Квинта и принять на себя.

— Какой героизм! — невольно воскликнул Плиний. — Что за учение! И она, конечно, его последовательница?

— По всей видимости; да и отец ее тоже.

— А разве отец нашелся? — удивился Плиний.

— Да, в той же пещере Циклопов... И представь — вечные боги! что за удивительное учение! — воскликнул Диомед, — этот отец юной рабыни утверждает на следствии, будто он, один он виновен в убийстве Деция Скавра!

— Изумительно, изумительно! — задумчиво повторял Плиний.

В это время между колоннами портика, куда выходила дверь экседры, мелькнула знакомая юному Плинию фигура. Это была Мальвия. Она, видимо, узнала своего бывшего друга, «друга души»; она быстро окинула его взглядом; она была бледнее обыкновенного, но так же кокетливо одета; но она не поклонилась молодому человеку...

«Жаба... жаба! — невольно прошептал он в душе, вспомнив отвратительное видение в пещере кумской Сивиллы. — И я любил это недостойное существо!.. Жаба жаба!..»

— Во всяком случае, друг Аррий, не следует предаваться отчаянию, — проговорил Плиний-старший после минутного молчания. — Я переговорю с дуумвиром юстиции, с декурионами, с эдилом Пансою, а равно с почтенными сенаторами. Я постараюсь убедить их рассмотреть это дело не рутинно, но по существу. Надо принять во внимание не один проступок, а его источник. Источник этот глубок, его не исчерпать ходячим законом. Надо взглянуть на дело поглубже. Возникает что-то новое, и с этим новым надо обращаться осторожно: старого нельзя применять к новому. Мне говорил почтенный Голконий Руф о некоторых догматах нового учения. Над ними нельзя не задуматься, есть в них присутствие глубочайшей мудрости. Вот хоть бы на этот раз: за смерть — смерть. Праведные боги! Да этот закон, по самой своей логике, заведет нас в ужасающие дебри. За смерть — смерть! Да это чудовищно. Один убил другого, тот, кто убил, есть убийца, убийце положена смерть, к смерти его присуждает сенат, и сенат является убийцей! По логике, и сенату смерть! Да где ж мы остановимся! Мне Голконий Руф сообщил один их догмат: кто извлекает из ножен меч, от меча погибнет. Какая глубина!

— Да, да, — как бы спохватился Диомед, — вот и мой Квинт твердит то же на следствии: я, говорит, извлек меч, я и должен погибнуть от меча.

— Он это говорит? — с удивлением спросил Плиний.

— Да, на этом стоит.

— Удивительно! удивительно!.. Нет, это необыкновенные люди, и к ним обыкновенный закон неприменим, нет, неприменим, — повторял Плиний. — Вот что, друг Аррий, — продолжал он, воодушевляясь, — я переговорю еще с моим другом, с Помпонианом, он живет здесь, в Стабиях. Это большой ум. И какой оратор! Это Цицерон наших дней. Я уговорю его защищать твоих сыновей в сенате. Красноречие — великая сила. Что же может быть сильнее слова человеческого! Не будь речей Цицерона, Веррес продолжал бы свои злодеяния. Не прогреми слово Цицерона, Катилина неспроверг бы государство. Красноречие Цицерона карало преступление и спасало осужденную уже невинность. Помпониан придет на помощь твоим сыновьям. Будем надеяться. Кстати же, мне донесли, что Помпониан вчера воротился из Греции, куда ездил по поручению сената.

— О, вечные боги! А я было потерял уже всякую надежду! — с горестью воскликнул Диомед. — Ведь над ними тяготеет еще одно тяжкое подозрение.

— Какое? — спросил Плиний.

— Вскоре после похорон Деция Скавра кто-то ночью в Пантеоне святотатственно низверг с пьедестала и разбил изображение божественного Августа.

— Да? И об этом не слыхал. Кого же подозревают?

— Да все этих же непостижимых людей.

— А что говорят по этому поводу твои сыновья?

— Они говорят, что, не признавая в лице цезаря божества, все-таки считают варварством уничтожение и даже порчу художественных произведений.

— О, в них сказался дух римлян! — с гордостью воскликнул ученый римлянин. — Я за это уважаю и греков, хотя не могу не повторить с бессмертным Вергилием Мароном: «Timeo danaos et dona ferentes».

Снова между колоннами портика мелькнула фигура Мальвии в сопровождении Синистры. На этот раз дочь Диомеда наклоном головы издала приветствовала своего бывшего друга; зато взгляд рабыни ясно говорил: «Уже благосклонность богини обращена на других смертных, но ты не из числа их».

XXV

Между тем разосланные Плинием, от имени сената и народа римского, мандаты о розыске по невольничьим рынкам отца и матери Кратиллы возымели свое действие.

След Аспазии, матери Кратиллы, отыскался в Смирне. Когда на невольничьем рынке этого города, по приказанию местного проконсула, оглашено было сенатское повеление, то в тот же день явился в преторию один торговец невольниками, который заявил, что невольницу, приметы которой были описаны в сенатском повелении, он сам приторговывал на смирнском рынке несколько месяцев тому назад, но что его перебил в цене декурион острова Патмос, он же и начальник тамошних мест заключения. Этот декурион и увез невольницу с собою.

Как раз в это время в Смирне находился Помпониан, друг Плиния, который, по поручению сената, ревизовал места заключения в Эфесе, Антиохии и Смирне, где с особенной силой распространялось новое вероучение и где тюрьмы, особенно в Коринфе, были переполнены последователями этого нового учения. Так как Помпониан из Смирны должен

был отправиться на Патмос, где также была устроена тюрьма для этого рода преступников и где заключен был один из самых сильных и популярных проповедников нового учения, то смирнский проконсул и сообщил Помпониану полученные им от работорговца сведения о разыскиваемой по повелению сената неизвестной невольнице.

На другой день Помпониан и действительно отплыл к острову Патмос при благоприятном ветре. Прибыв на Патмос, Помпониан стороной навел справки о разыскиваемой невольнице и узнал, что такая именно была привезена несколько месяцев тому назад на остров, но где она теперь находится, у декуриона ли, или отправлена куда в другое место, никто не мог сказать. Всего вероятнее, что она уже не на Патмосе, потому что остров этот очень маленький, и ее бы непременно видели, как видят прочих рабов и рабынь декуриона, но ее давно нигде не видать. Когда же она увезена с острова и куда, опять-таки никто не знал.

Тогда Помпониан обратился к самому декуриону. Его звали Кай Геллий. Это был мужчина лет шестидесяти, с совершенно лысой, гладкой, как стекло, головой, плотный, с узенькими глазками, чувственным ртом и жирным подбородком. Объяснив ему о поручении, возложенном на него сенатом, Помпониан объяснил, что, в силу другого приказа правительства, он обязан разыскать одну невольницу, которая, по полученным им в Смирне сведениям, куплена им, декурионом, и, вероятно, находится у него. К этому Помпониан присовокупил, что так как разыскиваемая рабыня составляет по закону собственность ее владельца, то декурион, отдавая ее по требованию сената, получит за нее следующую ему покупную плату.

Требование Помпониана, видимо, смутило декуриона. Ему, очевидно, не хотелось расставаться с красивой рабыней. Но повеление сената ставило его в невозможность удержаться за собою дорогую добычу, и Кай Геллий должен был повиноваться.

Несколько путаясь в словах, декурион объявил, что пленница, гречанка, которую зовут Аспазией, действительно куплена им в Смирне, но что с самого прибытия в его дом она стала оказывать ему неповиновение, отказывалась от поручаемых ей работ, грубила и т. п. Сначала он, как ее законный господин и повелитель, прибегал к угрозам, но и это не помогло. Тогда он стал подвергать ее легким наказаниям, но и тут она выказала строптивость своего характера, и он, наконец, вынужден был подвергнуть ее заточению вместе с другими преступниками.

Помпониан выслушал декуриона молча и потом спросил про одного из заключенных в темнице острова Патмос, которого считают очень опасным проповедником нового учения, не признающего ни олимпийских божеств, ни римских законов.

— Благородный Помпониан разумеет, вероятно, того старика, который называет себя рабом божием Иоанном, — отвечал декурион. — Он давно заключен на Патмосе, еще по повелению прежних императоров, и я наблюдаю за ним очень тщательно. Впрочем, благородный Помпониан сам видит, куда же уйти с нашего острова? Это небольшой камень, выступивший из пучины морской, голая скала, на которой и скрыться негде. А кругом безбрежное море, неизмеримое царство великого Нептуна. Как же уйти отсюда старику? Да он же притом необыкновенно кроток и добр: почти всю свою пищу отдает другим заключенным. И удивляюсь даже, чем он и живет, а между тем он бодр. В последнее время он все что-то пишет: для этого он выпросил у меня несколько свитков папируса. В инструкции у меня не сказано, чтобы заключенным не позволять писать, и я не запрещаю ему этого, тем более что без моего ведома он никуда не может послать своих писаний. Что он пишет, я не знаю, потому что не понимаю его родного языка: он ведь иудей, хотя хорошо говорит и по-римски, и по-гречески, и уверяет, что знание всех языков дано будто бы ему каким-то духом, который сошел с неба в виде огненных языков мне кажется, что старик этот несколько помешан в рассудке.

Помпониан спросил у декуриона список заключенных и тщательно просмотрел его. Затем он, в сопровождении Кая Геллия, отправился лично обозревать казематы. Все оказалось, по-видимому, в исправности, и Помпониан, отпустив декуриона, остался в тюрьме, чтобы поговорить с некоторыми заключенными, которые, он это знал по опыту, стеснялись бы говорить вполне откровенно в присутствии самого Кая Геллия. Он оставил при себе только писца. Тут же находился и сторож с ключами от казематов.

Помпониан велел вести себя к каземату, в котором находилась Аспазия. Он нашел ее в небольшой землянке, узенькое с железною решеткою окошечко которой выходило на море. При входе Помпониана узница испуганно поднялась с колен, она, видимо, молилась, и положила на себя крестное знамение. Это была еще молодая, очень красивая женщина, с правильными классическими чертами лица. Как на античных статуях, у нее был низенький лоб и прямой, почти без перегиба между бровями, лоб.

— Здравствуй, добрая женщина! — сказал Помпониан входя. — Я вхожу к тебе с вестью о свободе: ты более не раба Кая Геллия.

Аспазия, казалось, ничего не понимала. Она стояла растерянно, но уже не испуганная: честное лицо вошедшего к ней старика, доброе выражение кротких глаз и ласковый голос сразу победили робость узницы.

— По воле сената и народа римского, ты, Аспазия, жена скульптора Зено, сейчас же выходишь из твоей темницы и, быть может, скоро соединишься с мужем и дочерью, — сказал Помпониан, желая ободрить узницу.

При упоминание о муже и дочери мгновенная радость осветила лицо Аспазии.

— Где же они, благородный римлянин? — порывисто спросила она.

— Я теперь не могу сказать тебе этого, но надейся, боги возвратят тебе, что было у тебя отнято по воле злого рока, — отвечал Помпониан.

— Но ваши боги — не мои боги, — тихо сказала гречанка, — и они не возвратят мне того, что не в их власти.

— Ты этого не можешь знать, смертная: все совершится так, как предназначили бессмертные боги, а их воля неведома смертным... Готовься же в путь и ничего не бойся! Тебя охраняет всевидящее око сената и народа римского.

И Помпониан оставил потрясенную до глубины души Аспазию.

От нее он велел провести себя к иудею Иоанну, который значился в списке под номером первым.

Помпониан нашел этого узника в круглой угловой башне, о гранитный фундамент которой с шумом ударяло море. В узкое, длинное окошко, которое служило в то же время и бойницею, видна была бесконечная морская даль. С прибоем моря сливались крики чаек.

Узник сидел на грубо обтесанной каменной плите, покрытой козьей шкурой, и что-то писал на разложенной у него на коленях узкой полосе папируса. Это был старик лет под семьдесят, с прекрасными, глубоко задумчивыми черными глазами и таким кротким выражением лица, о котором можно было сказать, что это — олицетворение благости и всепрощения.

Помпониан остановился смущенный, точно перед каким видением, чувствуя, что не может произнести слова.

— Мир тебе, — тихо сказал узник, встав с камня. — Кто ты и откуда пришел?

— Я римлянин, — отвечал Помпониан как-то робко, словно бы тот, перед кем он стоял, был его судья. — Я здесь по повелению сената и народа римского.

— Мне жаль тебя, римлянин, — с грустью сказал узник.

Помпониан не знал, что отвечать. Он сам не понимал, что с ним; чувствовал только, что потерял все свое самообладание.

— Мне жаль тебя, — повторил узник. — Скоро придет час, когда горы упадут на вас и огненные реки затопят вас. Ужели мало дано вам власти на земле, не вся ли вселенная у ног ваших? А вы разоряете последнее гнездо птицы, отнимаете у горлицы ее птенцов... Мало вам Карфагена и Египта, мало вам Пергама и Пальмиры! Все моря несут вам дань, все народы трепещут от вашего имени, а вам и этого мало!.. Бедные вы, бедные!

В глубоком смущении стоял Помпониан перед этим непостижимым узником и чувствовал, что он прав: в первый раз римлянин почувствовал, что не все то добро, что совершил Рим, что не в силе вечная правда.

— Жаль мне тебя, римлянин, — в третий раз повторил узник. — Но ты мне не сказал, зачем ты пришел в мое жилище.

Только теперь Помпониан мог несколько осилить свое смущение, чтоб отвечать.

— По повелению сената и народа римского и по приказу наварха римского флота Плиния...

— Наварха Плиния? — перебил его узник. — А ты знаешь его?

— Да, он мой друг и начальник, — отвечал Помпониан.

— Я тоже знаю Плиния, — сказал узник, — он был здесь у меня. Когда после разрушения Иерусалима Титом римские войска возвращались в Италию, буря занесла корабль, на котором находился Плиний, к острову Патмос. Тогда я видел Плиния и говорил с ним. Ему многое дано от Бога, не один талант дан ему, и он не зарыл его в землю. Бог открыл ему некоторые тайны бытия, что скрыл от многих премудрых и сильных; но он часто избирает даже безумных мира, дабы посрамить мудрых, и немощных мира избирает, дабы посрамить сильных, и незнатное и уничиженное, ничего не значащее избирает, дабы разрушить значащее. Когда Плиний был здесь, остров Патмос и другие острова Архипелага постигло землетрясение: то Творец мира поколебал основы земли, дабы показать гнев свой за разорение святого града. Плиний объяснял это таинственными силами природы, которые он не все может постигнуть. Но как смертному постиг-

нуть непостижимое, если сам дух, носящийся во вселенной, не вдунет в душу смертного уразумения непостижимого? Скажи же Плинию, когда увидишь его: я, Иоанн, раб Бога живого, слышал это дуновение духа вселенной. Поведай Плинию мои слова: скоро наступит час, когда горы упадут на головы безумных и гордых и огненные реки затопят их!

Помпониан чувствовал, что в словах говорившего звучит глубокая вера во что-то для него непостижимое; но как язычник он не мог отрешиться от тех понятий, которые всосал с молоком матери. В том, о чем ему говорил теперь узник, он видел только непостижимые для него проявления гнева Вулкана, но уже это верование мало удовлетворяло его ум, особенно после частых бесед с Плинием о таинственных силах природы, которые так поглощали пылкий дух римского ученого. Где же было какому-нибудь Каю Геллию, декуриону, понять своего узника, говорившего так загадочно!

Помпониан, сознавая в глубине души, что не может поддерживать разговора в том направлении, какое дал ему узник, и что сам не в состоянии постигнуть его мировоззрения, поспешил переменить разговор и спросил старика, не нужно ли ему чего, но и тут получил загадочный ответ.

— Чего же еще нужно ворону, у которого есть гнездо, хотя и чужое, когда Тому, без Которого ничего бы не было, что есть, негде было голову преклонить? — отвечал старик.

Тогда Помпониан снова спросил, доволен ли он своими стражами и начальником темницы и не жестоко ли с ним обращаются, и опять-таки получил странный ответ:

— Какого же обращения ждать тем, которые сами шли на то, чтобы их камнями побивали!

В глубоком раздумье Помпониан вышел из темничной башни и, сделав необходимые распоряжения в силу данного ему сенатом повеления, на другой же день отплыл в Помпею.

С ним на корабле была и Аспазия, мать Кратиллы.

XXVI

Простившись с Диомедом и пожелав ему мужественно переносить испытание, насланное на его семью неисповедимою волею богов, оба Плиния вышли к морю тою же дорогою, какою и вошли в жилище Диомеда.

Взглянув на беседку, обвитую виноградною зеленью, Плиний-младший что-то вспомнил, и краска залила его смуглые щеки, это была краска стыда и негодования. Он невольно

сравнивал себя с молодыми Диомедами, и чувство презрения к самому себе острою болью шевельнулось в его душе. В тех он видел героев, мужественных борцов за что-то, для него даже непостижимое. Ценою жизни они покупали себе право служить чему-то великому, во что они верили... А сам он? Жалкая жертва постыдного увлечения! Но увлечение прошло, от него осталась только горечь, какой-то смутный осадок в душе. А где же дело, где достойный человека подвиг? И юноше страстно захотелось совершить великий подвиг. Но какой? Где его искать? В чем? Мысли в нем путались, скрещивались, и он не находил выхода. Он в это время готов был на самый безумный поступок, готов был погубить себя, отдать себя в жертву этому неведомому делу. Юноша в порыве увлечения не подозревал, что его ждет другой подвиг, более славный, чем тот, за который должны погибнуть его друзья. Он не подозревал, что ожидавший его подвиг ведет к бессмертию: в то время, когда от друзей его, от героев дня, не останется и горсти золы, их временную славу переживут его будущие дела, его бессмертные творения. И когда от Диомедов и их подвигов сохранятся только безобразная груда камней, полуразрушенные колонны, разбитые мраморы да отпечатки тел в застывшей лаве, когда будущие поколения, посещая вырытые из пепла Везувия развалины виллы Диомеда, только тут узнают о том, что существовал когда-то такой Диомед, и грустно покачают головой при виде в неаполитанском музее отпечатка в застывшей лаве полной девственной груди Мальвины, оставившей в душе его только горечь и чувство презрения, его имя, имя Плиния Младшего, и отпечатки в делах его и творениях его великого ума переживут столетия и тысячелетия, пока стоит эта земля и над нею светит солнце.

Небо прояснилось, когда они вышли к морю, и в сизой дымке дали так прелестно вырисовывались очертания Капреи, Питеузы и Прохиты, а Везувий весь сверкал зеленью виноградников, облитую дождем, и казался спокойным, как вечность, как эта небесная синева.

Скиф Перун и четыре матроса ждали их в лодке. Плиний велел плыть к Стабиям, где у Помпониана была вила, террасою и портиком выходившая в море. Они достигли Стабий скоро.

Помпониан с террасы увидел приставшую к небольшому молу лодку с адмиральским значком и поспешил навстречу своему вельможному другу. Они обнялись.

— Благоприятствовали ли боги твоему далекому путешествию? — спросил Плиний, глядя в обветренное и загорелое лицо Помпониана.

— Вполне, благородный друг, — отвечал этот последний, — сначала от Смирны и Патмоса бог Эол посылал мне в помощь Нота и Эвра до самой Сциллы и Харибды, а оттуда подул на мой корабль жаркий Афер и до самых Стабий надувал мои паруса. А как тебя боги миловали?

— Парки милостивы и ко мне, — отвечал Плиний, — правда, старшая из них что-то иногда слишком туго натягивает нить моей жизни... туго прядет... как бы не оборвала...

— А что? — обеспокоился Помпониан.

— Да все одышка мучит, слишком уж я тучен.

— О, это ничего: переполняешь желудок знаниями, ученостью...

— И устрицами из Лукринского озера да фалернским, — улыбнулся ученый.

— А что твой Тит Ливий, юный философ? — обратился Помпониан к младшему Плинию.

— О! юноша заводит теперь знакомство обширное: Манефон, Геродот, Диодор Сицилийский — вот его друзья, — отвечал Плиний-старший за племянника.

Юноша же угрюмо молчал. Его преследовала мысль о героических подвигах, о самопожертвовании во имя какого-то великого дела. Молодые Диомеды не выходили у него из головы. Давно ли он беседовал с ними, спорил? А теперь они — герои; он же — ничтожество, которого не удостоивает вниманием даже такая презренная и пустая девчонка, как Мальвия.

— А я тебе привез от иудея Иоанна, что заточен на острове Патмосе, — сказал Помпониан Плинию-старшему, когда они вззошли на террасу, — и привет, и предостережение.

— Да? Он еще здравствует?

— Вполне бодрый старик... Но какой мрачный взгляд на жизнь, на будущее.

— Это великий ум, — сказал в раздумье Плиний, — такие умы совершают перевороты в верованиях человечества, я уже вижу начало изменения мира: в этих людях несокрушимая сила, которая совершает победы, творит чудеса... Я много с ним говорил, когда, во время следования нашего флота из Сирии с победоносными войсками божественного Тита к Италии, буря прибила мой корабль к Патмосу. Этот старик прозревает будущее, и многое уже сбывается, на что он намекал своим образным, иносказательным языком.

— Признаюсь, благородный друг, — сказал Помпониан, — я был подавлен его речью: мне казалось, что образы моих богов, величавые лики Олимпа бледнеют перед его не-

постижимым Богом. Я не мог говорить с ним, точно он был моим судьей, а я подсудимым, виновным в прародительском грехе.

— Так что он велел передать мне? — спросил Плиний.

— Он велел сказать тебе, «скоро наступит час, когда горы упадут на вас и огненные реки затопят вас».

Плиний с непонятым волнением поглядел на расстилавшееся перед ним море. После небольшого дождя и тумана оно сверкало теперь, как растопленная бирюзовая масса с золотом, изумрудами и серебром. Острова так спокойно, величаво выходили из этого таинственного моря... И Плинию представилось, что они готовы погрузиться в бирюзовую бездну, а Везувий, который, казалось, улыбался своею роскошною зеленью, вдруг превратится в гигантский огненный горн и изрыгнет из себя огненные реки. Ведь не даром же Диодор Сицилийский говорит, что эти горы когда-то клочкотали растопленной лавой и затопили огненными реками все окрестности до самого Неаполиса. А таинственные слова главного жреца, верховного понтифекса храма Сераписа? А это движение подземных волн от Кум и форума Вулкана к Везувию?

— Да, — сказал он после небольшого раздумья, — ум этого старца на Патмосе непостижимый ум, не от мира сего. И я провижу то же, что он провидит, но только я иду тут ощупью, хватаюсь, как утопающий за соломинку, за жалкие факты, за скудные знания.

— А кстати, — прервал его размышления Помпониан, — я исполнил и одно из твоих приказаний, не касавшееся меня лично и возложенного на меня сенатом поручения.

— Какое приказание? — спросил Плиний, как бы очнувшись.

— Я нашел и привез пленницу гречанку, которая, по твоему мандату, разыскивалась по всем невольничьим рынкам Средиземного моря.

— Как! Это Аспасию, жену скульптора Зено и мать Кратиллы?

— Не знаю последних, друг, ни Зено, ни Кратиллы, но это та Аспазия, которую ты искал. Она сама мне говорила, что муж ее грек Зено, скульптор из Мемфиса, уроженец острова Книд, а дочь — тринадцатилетняя Кратилла.

— Но где ты ее нашел?

— На острове Патмос, в темнице.

— На Патмосе? В темнице?

— Да. Ее в Смирне на рынке купил декурион Патмоса, а так как она, я догадываюсь из ее умолчаний, не хотела

разделять ложа своего господина, то он и заключил ее в темницу.

— Какой негодяй! — воскликнул Плиний. — А кто там декурионом теперь?

— Кай Геллий. Я сделаю сенату представление об удалении его от должности, — сказал Помпониан, — я нашел у него и упущения по службе.

Мысли Плиния обратились теперь к другому предмету. Отысканная мать Кратиллы напомнила ему о той страшной драме, которая разразилась над семейством Диомеда и в которой не последнюю роль играют муж и дочь Аспазии, ничего о них не знавшей.

Плиний рассказал Помпониану о том, что случилось на днях в Помпее. Помпониан, давно отбывший в Грецию и в Малую Азию, ничего этого не знал.

— Только Аспазии не следует пока говорить, что ее муж и дочь находятся в «Колумбарии живых», это убьет ее, бедную, — сказал Помпониан.

— Само собою разумеется, она до поры до времени ничего этого не должна знать, — согласился Плиний.

Затем Плиний сообщил своему другу мысль о защите перед судом несчастных жертв.

— Жестоко было бы отдать их на растерзание диким зверям, а между тем все они, геройски стоя друг за друга, упорно настаивают на том, что все они: и оба сына Диомеда, и Зено, и его дочь виновны в убийстве центуриона. Это чудовищно, но в то же время это мужество, достойное лучших времен римской республики; что Муций Сцевола перед этой девочкой, Кратиллой... Что Брут перед сыновьями Диомеда!

Острым ножом резали эти слова сердце юного Плиния. А сам он, что за ничтожество! Он прислонился к колонне террасы и угрюмо смотрел на расстилавшееся перед ним море... И зачем он не был с ними? Зачем не разделяет их завидной участи? И злоба закипела в его сердце против Мальвии: она была его Омфалой, она заставляла его прятать у ее ног, когда его должны были ожидать подвиги... «Жаба! жаба!»

Кружившиеся у берега чайки жалобным криком еще более надрывали его душу.

Нет, он не должен безучастно относиться к судьбе своих друзей героев. Он должен действовать, он должен разделить их участь. Но как?

Ах, эти чайки, это постылое море!..

Но что ему делать? Боги, научите! Но эти боги так же бездушны, как эти прибрежные камни, о которые с пеною

разбивается море. Они отвернулись от этих богов, а он? Он еще верит в Нептуна, трезубца которого никто не видал...

И их ожидает геройская смерть на арене... Вся Помпея, Геркуланум, Стабии, Нола, Неаполис, ПUTEОЛИ, вся Кампания будет глядеть на них, гордиться ими, трепетать за них, рукоплескать им, а он — ничтожество! — он будет сидеть на своем месте, в первой кавее, и смотреть, как умирают его друзья, его руководители.

Нет, он бросится к ним на арену, он рядом с ними пойдет на страшных нумидийских львов, и небо задрожит от рукоплесканий всего амфитеатра!.. И она будет видеть это... она! — бездушная жаба...

Юноша стоял и не замечал, как по щекам его текли слезы. Он смутно слышал равномерные удары прибрежных волн о камни, жалобные крики чаек и чью-то тихую, заунывную песню. То пел скиф, сидя на камне и опустив голову на руки: он вспомнил, вероятно, свою далекую, за синими морями, за высокими горами, родину.

XXVII

День суда наконец был назначен.

С утра на форуме было необыкновенное движение. Народ, продавцы, адвокаты, патриции, сенаторы — все двигались или стояли группами, говорили, спорили, доказывали, отрицали. У всех на устах были имена Диомедов, юной Кратиллы, скульптора Зено. Часто слышались имена Помпониана, Плиния, эдила Пансы. Иные говорили о предстоящих боях гладиаторов, о нумидийских львах. Предлагались и принимались пари то за осуждение Диомедов и Кратиллы, то за оправдание. Кто держал пари за торжество на арене Барки, кто Кверкуса, кто за других гладиаторов. Группы особенно теснились то вокруг конной статуи дуумвира Кастриция Скавра, отца убитого центуриона, то у перистилия Базилики, из-за колонн которой, на пьедестале, виднелась статуя Фемиды с повязкой на глазах и с весами в одной руке, а в другой с мечом. Мраморная голова ее была украшена лавровым венком, а на весах лежал букет из свежих роз и темного кипариса, положенный туда Плацидиею, матерью центуриона, — эмблема цветущей молодости и молчаливой, как кипарис, смерти!

Наконец, к Базилике пришла группа жрецов. Они поднялись на ступени перистилия и, вступив в храм правосудия, остановились перед изображением богини правого суда. Все

последовали за жрецами. Говор и шум затихли. Тишина нарушилась только однообразным прибоем морских волн о береговые камни да криком чаек.

В этой тишине вдруг раздался протяжный, торжественный хор жрецов. Они пели молитвенный гимн Фемиде:

— Фемида всесильная,
Богиня великая,
Премудрая, правая!
Пред взором божественным,
Сокрытым для смертного
Покровом таинственным,
Равны одинаково
В твоём правосудии
Богатые, нищие,
Рабы и невольники;
И старость, и молодость,
Краса, безобразие —
Все никнет пред властью
Твоею божественной!
Весы правосудия
Для всех одинаковы,
И меч твой карающий
Разит лишь преступника,
А правого милует.
О мать премудрая!
Внемли же молениям
Тебе предстоящих,
Просвети судящих
Светом правосудия,
Да меч твой карающий
Не разит невинного,
А разит преступника!
Слава всемогущей, слава!
Слава прозорливой, слава!

— Слава Фемиде, слава! — загремела вся Базилика.

— Слава богине, слава! — откликнулся форум.

— Слава Единому Богу, слава! — раздался чей-то глухой голос, от которого многие вздрогнули.

По окончании гимна жрецы удалились, и власти и публика стали занимать места. Пройдя через открытый атриум храма, окруженный двадцатью восемью ионическими колоннами, на которые солнце бросало скольльзящие лучи, как бы для того, чтоб отражать их на слепой богине, дуумвиры и сенаторы взошли на назначенное для судей возвышение и заняли каждый свое место. Декурионы Авл Церий и Марк Церриний поместились на почетных бизеллиумах, и так как Марк Церриний был старик низенького роста, а бизеллиум довольно высок, то служитель храма поставил у бизеллиума довольно высокое подножие, с помощью которого важный старик и

взобрался на свое богатое седалище. Весталки поместились около декурионов. Тут же был и эдил Панса.

Остальная публика разместилась против судебного трибунала. Более видные места заняты были Марком Голконием Руфом, Марком Лукрецием, Корнелием Руфом и киником Авлом Порком. Далее виднелись: сестра эдила Пансы, ее дочь Либелла, молодые шалопаи-сибараты Флакк и друг его Марк Туллий, а равно и щеголь преторианец Кней Авидий. У одной из колонн можно было видеть старика Диомеда, сидевшего с глубоко опущенною головой, и его красавицу дочь Мальвию, лицо которой было завешено легким покрывалом. Матери подсудимых не видно было среди публики.

Немного погодя пришел Плиний вместе с Помпонианом и племянником. Им указали на почетные места среди публики, но Помпониан не сел в ожидании привода подсудимых.

Базилика была переполнена. Вся Помпея, казалось, собралась присутствовать при процессе, обещавшем так много интересного. Некоторые явились и из Геркуланума, из Стабий и из Неаполиса. Процесс был необыкновенный, в нем замешаны были какие-то новые люди, которые не признавали богов. Притом имя Диомеда, популярное во всей счастливой Кампании, возбуждало общий интерес. Всем хотелось видеть этих новых людей, в числе которых называли сыновей Диомеда, молодых красавцев атлетического сложения.

В числе зрителей можно было заметить и гигантов Барку и Кверкуса, и других гладиаторов, которым скоро предстояла отличная работа: или победить со славою и получить щедрую награду и пальмовый венок, или со славою пасть. Мертвым не стыдно! И смерть на постели и сполариум¹ всех равняют.

Толстяк Саринус, сын Публия, поглядывая издали на весталок, тихонько потирал руки от восторга: после процесса сколько в гостинице перебивает посетителей, сколько амфор вина будет опорожнено!

— Ведут... ведут! — прошел шепот в задних рядах публики, наполнявшей перистиль Базилики.

Послышалось звяканье железа, и толпа в перистиле расступилась. По гранитным ступеням поднимался Квинт Диомед. Руки его продеты были в железные наручни, прикрепленные к цепи, обвивавшей его стройный могучий стан. По бокам его шли с копьями наперевес Тумулюс и Фурка. Лицо молодого Диомеда было спокойное, строгое, но бледное. Глаза, казалось, не хо-

¹ Место, куда уносили с арены амфитеатра убитых в бою гладиаторов или растерзанных дикими зверями.

тели видеть то, что им открывалось в судилище, и смотрели в пространство. От поясницы его тянулась цепь дальше до наручней, в которые закованы были руки его брата и которые тоже прикреплялись к цепи, обхватывавшей его стан. За ним на такой же цепи, на ее продолжении, следовал, окованный ею и в наручнях, Зено, серебристая голова которого так ярко обрисовывалась среди колонн перистиля. Цепь и наручни не пощадили и юной Кратиллы. Она следовала за отцом. Маленькие ручки ее беззащитно глядели из широких ржавых железных браслетов, обвивавших ее пухленькие кисти. Стройный стан ее также обвивала цепь. При виде ее детского личика вся толпа ахнула, точно вздохнула тяжелым, подавленным вздохом. За нею следом неуклюже выступал низенький, коренастый и с копною черных волос на голове Кардо, за которым шла, не скованная цепью, плачущая сестра его, стройная и смуглая красавица Кардита. Шествие замыкали стражи с копьями, Каска со следами ожога на лице и другие.

Подсудимых ввели в середину атриума.

Диомед испуганно поднял голову при звуке цепей, как бы проснувшись от забытья, и глаза его остановились на лице старшего сына, потом перенеслись на младшего. Губы его дернулись судорогой. Сыновья не глядели на него. Они, казалось, видели перед собою только мраморный истукан правосудия с повязкой на глазах и лавровым венком на голове. Заметно было, как под легким покрывалом побледнело лицо Мальвии, и она поднесла платок к глазам. Младший Плиний дрожал, как в лихорадке.

К арестантам подошел центурион, заменивший убитого Деция Скавра, и, проведя их через атриум, поставил так, что лица их видны были и с судейской трибуны, и со стороны публики.

Как странно, неестественно было видеть на цепи Кратиллу!

Помпониан, что-то говоривший Диомеду, отошел от него и направился к арестантам. Он несколько секунд тихо говорил что-то Квинту, но тот молча качал головой. Тогда Помпониан приблизился к Кратилле, осторожно поправил наручни на ее нежных ручках, передвинул цепь, неловко давившую ее хрупкий стан, и тоже что-то сказал ей. Но она с любовью взглянула на отца и на Квинта, грустно улыбнулась и, как и Квинт, покачала своей золотистой головкой.

Одна молоденькая весталка, глядя на нее, утирала слезы.

Помпониан отошел. Тогда с трибуны раздался голос. Этот глухой голос принадлежал Попидию Цельсину, дуумвиру юстиции.

— Квинт и Курций, сыновья Марка Аррия Диомеда, магистра пригорода Август-Феликс, и раб книдянин, скульптор из Мемфиса, Зено, и дочь книдянина Зено, Кратилла! Вас, в силу вашего собственного сознания, обвиняют законы Рима и всей вселенной, *urbis et orbis*, в убиении в ночь на пятое число нон июля в гроте Циклопов центуриона города Помпеи, благородного Деция Скавра, сына дуумвира Кастриция Скавра, сына Авла, при исполнении им возложенного на него декурионами и эдилом города Помпеи важного государственного поручения. И все же вы, в том числе пастух Кардо, сын Галла, обвиняетесь в противозаконной принадлежности к тайной секте, отвергающей божества, которыми созданы и управляются мир и вся вселенная, к секте, кощунствующей над священными изображениями богов и цезарей, не признающей властей, попирающей законы. И за то закон присуждает всех вас к смертной казни через растерзание, на арене амфитеатра, дикими зверями!

Ропот удовольствия, смешанного с ужасом, волною прошел по всей Базилике и перенесся на самый форум, откуда послышались возгласы: «Слава Фемиде! Слава жрецу, дуумвиру Попидию Цельсину!»

Старший Диомед упал головой на руки. Мальвия рыдала. Курций рванулся было к отцу, но почувствовав, что он прикован к цепи вместе с прочими, беспомощно опустил голову. Кратилла тоже потянулась было обнять отца, но железные наручни не позволили ей этого сделать.

— О, великие боги! — послышался стон молоденькой весталки.

— Почтенные отцы декурионы, дуумвиры, сенаторы, прошу слова! — раздался звучный голос Помпониана.

— Говори, достойный Помпониан, — отвечал Попидий Цельсин, наклоня седую голову.

XXVIII

Помпониан выступил вперед. Проходя мимо изображения Фемиды, он склонился перед ним, как бы моля о помощи, и потом вззошел на небольшое возвышение в виде жертвенника, с бронзовыми рострами на углах. Окинув взором все собрание и поклонившись в сторону трибуны, он начал взволнованным голосом:

— *Patres conscripti* и вы, граждане Помпеи! Перед вами стоят осужденные, которых Фемида, устами жреца своего,

приговаривает к лютой казни: к растерзанию дикими зверями. Одни из них обвиняются, в силу только личного сознания, в убийении центуриона Деция Скавра. Я повторяю: они обвиняются единственно только в силу личного сознания. Следствием факт убийства именно ими или кем-либо из них не подтверждается. Опираясь на факты, добытые самым тщательным образом, следствие может сказать только: мы не знаем, кто убийца. Один, и то единственный свидетель показывает, что при тусклом свете факела он увидел, как кто-то, заметьте, кто-то, лица которого он не видел, а заметил только широкие плечи и затылок, как этот кто-то поразил центуриона и скрылся во мраке, потому что кто-то другой — опять кто-то! — выбил из его рук факел. Раньше этого два свидетеля слышали, как кто-то во мраке пещеры кому-то крикнул: «Уноси скорей Кратилу, она, кажется, вывихнула ногу!» И вслед за тем в шуме голосов послышался чей-то голос: «Так умирай же, собака!» Вот все свидетельские показания о самом факте убийения: «кто-то крикнул», «кто-то поразил», «послышался чей-то голос» — вот все, что дает нам следствие. Кто поразил центуриона, остается неизвестным. Идем далее по этому лабиринту, в котором ни следствие, ни я не видим ни проблеска света, ни спасительной нити Ариадны. Один свидетель, воин центуриона Фурка, на первоначальном дознании показывал и клялся всеми Фуриями и Горгонами, что он видел, как «титан заколол» центуриона, и когда он, свидетель, стал преследовать его, то титан будто бы задул у него факел, а какая-то золотокудрая нимфа, которую центурион схватил было за волосы, с хохотом убежала от него.

В толпе зрителей послышался сдержанный смех. Фурка, который стоял со своим блестящим копьем в виде теламона около арестантов, стыдливо потупился.

— Итак, — продолжал Помпониан, голос которого крепчал все более и более, — до сих пор мы знаем только, что кто-то крикнул, кто-то поразил, кто-то убежал, а с другой стороны, мы видим даже не человека, убийцу центуриона, а титана, которые давно уже перестал показываться смертным и удостоили только почтенного Фурку милостивым лицемерием.

Дружный смех публики сопровождал слова оратора. Даже плакавшая дотоле молоденькая весталка улыбнулась. А Тумулос, косо посмотрев на Фурку, процедил сквозь зубы: «Дурак! Уж лучше бы молчал».

— Единственный, добытый следствием факт, факт, по-видимому, подавляющий своей тяжестью, — это кровь на плаще и на шее подсудимого Зено, которого схватили тогда в гроте Цик-

лопов. Но, во-первых, при Зено не нашли никаких следов оружия. Мало того, никакого окровавленного оружия не нашли тогда во всей пещере, как ни тщательно были розыски. Предполагали, что Зено бросил оружие, как только поразил центуриона или когда его схватили. Во-вторых, Зено отрицал сначала свою причастность в убиении центуриона. На следствии он показал только, что когда он убегал от преследования воинов в гроте Циклопов, то слышал, как у него за спиной кто-то — опять кто-то! — крикнул: «Так умри как собака», и почувствовал, что в тот момент на него брызнуло что-то горячее, оказавшееся потом кровью, и, как мы знаем теперь, кровью центуриона. Если же впоследствии Зено утверждал, и теперь утверждает, что он, единственно он, а не кто иной, убил центуриона, то об этом странном обороте дела я скажу в свое время.

Оратор остановился, чтоб перейти к самым поразительным перипетиям следственного процесса.

— Зено в страшном Колумбарии смерти, который, со свойственною людям жестокостью, называют «Колумбарием жизни», то есть заживо погребенных, предназначенных на растерзание львами, — продолжал Помпониан с видимым содроганием, — он последовательно и логически отрицает свое участие в убийстве. Вдруг стражи вносят в Колумбарий нечто похожее на человеческое тело и кладут. Это что-то, похожее на мертвое или только находящееся в обмороке человеческое тело, завернуто черным покрывалом. Зено в изумлении, уж не дочь ли его? Он потерял ее в гроте Циклопов. Уж не убита ли она? «А если тебя уличат в убийстве?» — спрашивает его следователь. «Кто?» Тогда следователь сдергивает покрывало с этого чего-то, и Зено видит слепленную им в гроте Циклопов статую своей дочери. «Узнаешь?» — спрашивают его. «Узнаю — моя работа». — «А где оригинал?» — «Не знаю». — «А если я покажу его тебе? Он назвал по имени убийцу центуриона: убийца — это ты!» Зено отвечал, что этого быть не может. «Так скажи, кто убийца?» — «Не знаю». Тогда ему, отцу, говорят: «Пусть же она погибнет!» — «Кто она?» — «Твоя дочь Кратилла!» Вечные боги! Какой отец не затрепетал бы при этих словах!

В толпе послышался ропот.

— Это бесчеловечно! — пронесся шепот негодования среди весталок.

Краска стыда и злобы покрыла щеки эдила Пансы.

А Помпониан продолжал:

— Тогда следователь приказывает стражам ввести кого-то в Колумбарий смерти. Входит Кратилла, вот этот прелестный, невинный ребенок, что вы видите на цепи!

Слышится ропот сожаления. Многие привстают, чтоб лучше рассмотреть то маленькое очаровательное существо, на которое указал оратор.

— Она входит в Колумбарий! — продолжал Помпониан почти шепотом. Базилика, казалось, замерла, слушая его. — «Дитя мое, и ты здесь, здесь! В обители смерти!» А издали доносится глухое рычание львов, он, ее отец, слышит это. Ему говорят, что признанием он спасет дочь... Спасет свое дитя от когтей нумидийских львов!.. Спасет этого невинного ребенка! «Да, я убил центуриона! — говорит он. — Пусть меня терзают страшные когти, но пусть не тронут ее чистого, девственного, детского тельца!» — «Неправда, отец, — говорит она, это дитя. — Я убила центуриона!» Она думает этим спасти отца, она, эта слабая, хрупкая крошка! Как повязка не спадает с очей богини, чтобы видеть это дивное существо!.. — с силою страсти воскликнул Помпониан. — Фемида, великая богиня, взгляни на нее! Освети ее твоим божественным взором! — Помпониан протянул руки к изображению богини правосудия.

— О! на богине повязка шевелится! Она хочет взглянуть! — с ужасом проговорил чей-то женский голос.

Нет, мраморное божество оставалось по-прежнему холодным, неподвижным. Но эффект обращения к статуе был поразителен. Многие все еще ждали, что вот-вот мраморные члены богини дрогнут, повязка спадет с ее глаз, она заговорит...

Нет, мертво кругом, напрасно все ждут... Слышно только усиленное дыхание взволнованных, испуганных людей да прибой моря...

Помпониан опустил руки.

— Божество не слышит нас, оно мраморное! — сказал он наконец. — Итак, двое заявляют, что она убила центуриона. Но вот является третий!.. Вам известно, что Кратилла была рабыней Диомедов. Морские пираты разлучила ее с отцом и с матерью, и она привезена была в Помпею, где благородный Аррий Диомед и купил ее для своей дочери. В семье Диомедов несчастная случайно узнала, что отец, тоже проданный в Помпее в рабство, скрывается в гроте Циклопов. Об этом говорят ей сыновья Диомеда, в сердцах которых невинность и горе юной рабыни возбудили сострадание. Она умоляет их свести ее к отцу. Они великодушно исполняют ее просьбу. Но в гроте Циклопов их ожидала засада, подосланная благородным эдилом Пансою. Здесь разыгрывается та кровавая сцена, о которой вы уже слышали: кто-то убил центуриона Деция Скавра. Старший сын Аррия Диомеда, мужественный Квинт, вдруг узнает от своего отца, что Кратилла арестована и посажена в «Колумбарий жи-

вых». Арестована она была по следующему поводу. После неудавшегося, по случаю землетрясения, представления в театре Скавра «Эдипа-царя», когда зрители, в том числе и семейство Диомеда, вместе с рабами и рабынями выбежали на форум Триангуляра, благородный эдил увидел там Кратиллу, и его поразило необычайное сходство ее с тою глиняною статуей, которая найдена была в гроте Циклопов в ночь убийства центуриона. Он узнал, что оригиналом для этой статуи служила юная рабыня Диомеда. Это и была Кратилла. Имея в виду, что Зено упорно отрицал свою виновность в убийении центуриона, благородный эдил надеялся вынудить у него сознание с помощью очной ставки с дочерью. Потому он и приказал арестовать Кратиллу и отправил ее в Колумбарий. Тогда-то мужественный Квинт отважился на великодушный подвиг. Он является в Колумбарий и говорит следователю: «Я убийца центуриона Деция Скавра; вот меч, которым я поразил его, защищая невинное дитя от насилия; судите меня, а Зено и его дочь неповинны в этом убийстве».

Ропот одобрения пронесся волною по собранию. На него смотрели как на героя, на Атланта, взвалившего на плечи мировую тяжесть. Женщины любовались мужественной красотой и атлетическим сложением героя. Старик Диомед и Мальвия плакали. Юный Плиний с такою силой сжимал руки, что пальцы хрустели. Хорошенькая весталка призывала в душе на героя благословение богов.

— Итак, — продолжал оратор, — вы видите, что уже трое признали себя, скорее, мужественно назвали себя убийцами центуриона. Они знали, что, взводя на себя это преступление, они шли на верную смерть. В то время, когда они выдавали себя за убийц, они слышали, как за стенами, там же, в амфитеатре, страшно рычали ужасные нумидийские львы, их палачи! И в это время является четвертый, который говорит, что он один убил центуриона! Он стоит теперь перед нами, в цепях. Вот он, это младший сын благородного Диомеда. Что же это? Безумие? Что побуждало всех их искать смерти за других? За других! Вот где объяснение всему... Вам, — продолжал Помпоний, глубоко передохнув, — может быть, не всем известно, что в Иудее, не более сорока—пятидесяти лет тому назад, явился кто-то, называвший Себя Сыном Божиим. И действительно, в Нем было все божественное. Он исцелял больных, Он воскрешал умерших! Кротость и доброта Его были неисчерпаемы, милосердие без конца. Он никого не обвинил во всю свою жизнь, даже истинно преступных. Он проповедовал только любовь к ближним, ко всему человечеству. Он говорил, что истинная любовь та,

когда из любви к другим умирают за других, для их блага. В истинах, которые Он проповедовал, океан божественной премудрости. Вся Иудея пошла за Ним, как за своим царем, а Он одно повторял, что пришел умереть для спасения всего человечества, умереть за других, за всех, чтобы всех спасти. Тогда нашлись злые люди, которые позавидовали Его славе, Его могуществу и обвинили Его в том, будто Он не признает нашего божественного цезаря, а себя считает царем иудейским. Римский наместник в Иудее, Пилат Понтиус, боясь, гнева цезаря, отдал Его на суд обвинителей, и Его распяли на кресте. Но учение Его не умерло с Ним на кресте. Его последователи пронесли это учение по всему миру. Учение это — страдать и умирать за других. Благородные граждане! Что же может быть выше этого учения, божественнее! Вспомните нашего бессмертного героя, Муция Сцеволу, в лагере Порсены: он пошел умереть за других, за весь Рим! Вспомните другого героя, Курция: для спасения Рима он бросился в разверзшуюся пропасть, и земля поглотила его! Благородные граждане! Перед вами стоят эти бесстрашные Курции и Муции, готовые ринуться в пасти львов. Вглядитесь в их черты, это герои древнего Рима, они жаждут умереть друг за друга: юная, нежная Кратилла за отца, он — за дочь, новый Курций — за брата, Квинт — за всех. Их обвиняют в том, что, они последователи нового учения. Да, они настолько последователи его, что хотят умереть для спасения других. Вот их вина. Но они не отреклись от веры предков, от нашей веры. Для того чтобы стать членом новой веры, нужно исполнить обряд крещения водою и духом, обряд омовения и очищения себя от старых верований. Но они не крещены, они все еще наши — наши дети, наши братья. Умереть за других — это ли вина, это ли преступление? Сами хотят умереть...

— Ну и пусть умрут! — глухо раздался по собранию чей-то голос. — Нам же будет повеселее на арене сражаться.

Это говорил Барка, гладиатор. Некоторые голоса из толпы поддержали его: «Пусть умрут».

Эти возгласы бессмысленной жестокости взорвали оратора.

— Что же ты молчишь, великая богиня! — патетически обратился он к изображению Фемиды. — Сорви с глаз повязку, взгляни на новых героев! Освети божественным светом твоих очей это невинное дитя, столь же чистое и непорочное, как само божество. Нет, ты ничего не слышишь, ничего не видишь, ты слепа! Пусть слепа Фортуна, она рассыпает свои блага чаще всего недостойным. Ее колесо мчится в пространстве без цели, без смысла. Но ты, ты не должна быть слепою! Это жрецы твои завязали тебе глаза, чтоб ты не видела, что они творят.

— Это хула на божество! — раздался голос дуумвира юстиции.

— Смерть им! Смерть! — застонала разъяренная толпа.

— На арену их!.. Мы давно не видим зрелищ!

В это время сквозь толпу пробирался какой-то старик. В руках его был длинный посох с крестом у рукоятки. Он быстро подошел к статуе Фемиды.

— Вот ваши боги! — воскликнул он, ударив посохом прямо в грудь богини.

Изображение Фемиды вдруг зашаталось на пьедестале и опрокинулось навзничь, разбившись на куски.

Ужас охватил собрание...

Повергнувший с пьедестала изображение Фемиды был Авенир, тот старик, на детской головке которого покоилась когда-то рука Спасителя.

XXIX

Наконец, давно ожидаемые объявления появились на видных местах Помпей.

«По случаю предстоящего торжества праздника Вулкана, в девятый день до календ сентября, в амфитеатре будет дано всенародное зрелище: бои гладиаторов под руководством славного ланисты Аквило; после них звериные травли: против нумидийских львов будут поставлены два государственных преступника, во все продолжение зрелища будут разливаемы благоухания и будут разбиты велярии».

Праздная толпа теснилась около объявлений, читая и перечитывая их и изъявляя свою радость.

— Старик Аквило ставит своих гладиаторов; эти не ударят в грязь лицом, — говорил знакомый уже нам толстяк Саринус, сын Публия, содержатель гостиницы у двенадцатой городской башни.

— А кто из гладиаторов будет сражаться? — спросил его сcribe, тоже наш знакомый площадной адвокат, прозванный Пером.

— Они все у меня на радостях гуляли: Барка, Урсус, Апер...

— А Кверкус и Мурена будут сражаться?

— Как же! И Парвус, и Орион, и Сутор.

— Как жаль бедного Квинта! Клянусь, Флорой! такого красавца еще не видела Помпея! — говорила продавщица цветов.

— Сам виноват, — отозвался трактирщик, — клянусь Вакхом, таких мне не жаль. Связался с этими новенькими, что вынесли свою веру из Иудеи, а что в них толку! — вина не пьют, постытся...

— А богов наших разрушают, что хуже всего, — отозвалась цветочница.

— Да, кто бы подумал? Тогда вон вдребезги разбили изображение божественного Августа в Пантеоне, — заметил скриба. — А еще сторож говорил, что тот, что совершил это святотатство, сквозь землю провалился. А оказалось, на вот, он и нашу матушку Фемиду раскокал, как пустую амфору.

— А разве это он же, этот старик с крестом?

— Он самый, тогда же и сознался... А, клянусь Фемидой, как сухожильный Помпониан говорил тогда! Ну суший Марк Туллий...

— Который это? Что пари держит за Мурену? — спросил трактирщик.

Скриба неудержимо залился каким-то фальцетом.

— Клянусь Минервой! — сказал он, захлебываясь от смеху. — Эти трактирщики самый необразованный народ! Принять шалопая Марка Туллия за великого Цицерона! О!

— Да кто вас знает! — обиделся трактирщик, толстяк Саринус. — Может, и твой Цицерон, как и ты сам, ходил в разодранной тоге и стоптанных сандалиях.

— Ах ты простота! — презрительно сказал скриба, помахивая своими лохмотьями. — Я — киник, зачем мне дорогие одежды? Я философ...

— Философ дырявый!

— Да, дырявый, а все же философ и юрист... А то на! Стоптанные сандалии у великого Марка Туллия... Да ты знаешь виллу Цицерона, что за Геркуланумскими воротами, почти рядом с виллой Диомеда?

— Знаю, богатая вила, клянусь Ганимедом!

— То-то же! Она, моего Цицерона! А другая вила у него в ПUTEОЛЯХ! А-то на! — стоптанные сандалии у Цицерона! Да за это невежество, за это неуважение к отечественной славе ты, Саринус, сын Публия, обязан поставить мне, gratia, амфору фалернского!

— Ну! ну! будет с тебя и кружки кислого везувианского.

— О чем вы тут спорите, достойные граждане? — раздался позади пискливый голос.

— А! почтенный приживал, нахлебник благородного эдила, Какус! Здравствуй! — воскликнул скриба.

— Здравствуй, помпейский Диоген! А отчего ты не с фонарем?

— Разбил, больше мне его не нужно.

— Что так, почтенный Перо?

— Нашел человека, нечего искать его с фонарем при свете Гелиоса.

— В самом деле нашел?

— Нашел, и благословляю Фортуну... Ах, вот кому бы нужен фонарь — это Фортуне; а то, слепая, не знает, кому давать.

— Тебе бы, надо полагать? — лукаво спросил Саринус.

— Не мне, а вот благородному Какусу, лучшему приживалу из приживал.

— За что ему? — удивлялся трактирщик.

— Он и есть тот человек, которого я нашел днем с фонарем, — отвечал сcribe.

Приживал самодовольно улыбнулся.

— А знаешь что, Золотое Перо? — сказал он. — Пойдем к этому почтенному толстяку, в его храм у двенадцатой башни, и пусть он будет нашим Ганимедом.

— Отлично сказано! — воскликнул Саринус. — Фалернского или хиосского?

— Хиосского, — наклонил голову приживал.

— Отлично сказано, Какус! Клянусь Аполлоном и музами, к тебе относится знаменитый стих Флакка к Меценату:

Maecenas, atavis edite regibus!..

— Это нашего Флакка, который равнодушен к племяннице благородного эдила, к Либелле? — спросил Саринус.

— О, невежество! Наш Флакк! — воскликнул патетически сcribe. — Наш Флакк умеет только любовные записочки писать, а то великий Гораций Флакк, который сказал о себе:

Exegi monumentum aere perennius!

— Как! сам себе поставил монумент? — наивно спросил Саринус.

— Да, — отвечал сcribe, лукаво косясь на приживала.

— Из какого же материала? Что прочнее меди? — удивился трактирщик.

— Твой лоб! — отвечал сcribe.

— Клянусь богами, он всегда острит на мой счет! — безобидно рассмеялся трактирщик.

— А оттого, что ты лучший гражданин Помпеи!.. У тебя всегда есть напиток богов, — отвечал сcribe, хлопая толстяка по

животу. — Идем же к тебе, будь нашим Ганимедом, и да прядут парки твою нить долго-долго, пока существует на свете вино!

И все трое направились к двенадцатой башне.

Скриба был в духе. Он сыпал остротами и цитатами из поэтов римских и ораторов. В молодости он получил прекрасное образование в Риме, у лучших ораторов, и подавал большие надежды. Риторы, учившие его красноречию, не иначе называли молодого Коракса, как «наш будущий Цицерон». Но, как часто бывает с талантливыми натурами, недовольными окружающей средой, Коракс начал запивать: до этого довела его, главным образом, несчастная любовь. Коракс глубоко привязался к одной римской девушке, которая и ему отвечала взаимностью, но скоро блестящий преторианец, с животными инстинктами, богатый Прискус, перебил скромного Коракса: девушка увлеклась преторианцем. Коракс бросил Рим и перебрался в Помпею.

С горя он начал пить и скоро сделался уличным адвокатом, скрибой.

Он продолжал дорогою болтать и сыпать цитатами.

— Ну, Ганимед, смотри же, хиосского, — приставал он к Саринусу. — Я его давно не пивал после Рима... Эх, — махнул он рукой, — а сегодня я залью свое горе: благородный Какус заставляет меня воскликнуть с бессмертным Персеем:

Nunc, Macrine, diem numera meliore lapillo!

И я его отмечу, как велит бессмертный Персей!

— Это тот Персей, что отрубил голову Медузе? — спросил любознательный трактирщик.

— Тот самый, — ответил скриба.

— Этот Персей с отрубленной головой Медузы есть у Марка Голкония Руфа, — продолжал Саринус, — прекрасная группа. А кто же был Макринус?

— Это был муж злой Медузы, которая постоянно его грызла.

— Точно моя супруга... Вот бы мне этого Персея! — пробормотал Саринус.

Скоро они достигли гостиницы у двенадцатой башни. Там уже было немало гостей: гладиаторы Барка, Кверкус, Парвус, Орион, Урсус, Апер, Мурена и Сутор пировали за отдельным столом. Им прислуживала, помыкая рабами, почтенная супруга Саринуса, прекрасная Тонитра, вполне оправдывавшая свое название¹: коротенькая, круглая, почти безволосая, с усами умирающего гладиатора над верхнею

¹ Tonitra (лат.) значит «гром».

губою, только с черными, она гремела на рабов, точно Jupiter Топпанс.

— Ты все шляешься, дармоед! — загремела она на мужа. — А я тут с ног сбилась!.. Клянусь Юпитером, я несчастная женщина!

— Но я привел гостей, дорогая Тонитра! — бормотал несчастный Саринус. — Благородный Какус, приживал нашего славного эдила, велит подать хиосского; а ты знаешь, оно оплатится хорошо.

— А, почетный ритор! — воскликнул гладиатор Сутор, увидев скрибу.

Сутор был невысокого роста гладиатор, но плечистый и мускулистый: мускулы его рук и ног, когда он дрался на арене голый, лишь «с поясом стыдливости», напоминали собой переплетенные канаты. Он был тоже, как и скриба Коракс, из неудачников. Он был когда-то юным преторианцем, но, пойманный товарищами в игре на фальшивых костях, был изгнан из среды преторианцев, промотался и поступил в гладиаторы к известному ланисте Аквилу, получившему гладиаторское воспитание в Капуе, где обучалось гладиаторскому искусству в одно время до 40 000 бестиариев, или гладиаторов¹.

— Ты что ж, помпейский Демосфен, не сразился тогда со старым Эксином из Стабий, когда он защищал в Базилике эту рыженькую сильфиду? — сказал он, подходя к скрибе и трепля его по плечу.

— Не хотел, брат Сутор, — отвечал скриба, — жаль было девочки.

— А как бы весело было смотреть, когда бы нумидийский четвероногий Сутор с гривой трюсил это хорошенькое, хрупкое тельце.

— Опомнись, зверь, тебе бы все кровь да кровь!

— Нет, сознайся, приятель, — подсмеивался Сутор, — опустил щит перед Помпонианом? Струсил перед львом, помпейский заяц?

— Замолчи, несчастный! — патетически воскликнул скриба. — «Ne sutor supra crepidam!» Сапожник! не рассуждай о том, что выше сапога². А ты скажи лучше, с кем ты состязаясь на арене?

¹ Об этом упоминает Цицерон.

² Это игра слов. Известно, что Аппелес, поправивший на своей картине башмак по указанию сапожника, на замечание того же критика — поправить бедро на рисунке, отвечал: «Ne sutor supra crepidam».

— Еще не знаю, как решит наш свирепый ланиста, — отвечал Сутор, — а мне хотелось бы отправить в сполиариум вон того кабана.

— Апера, что с клыками?

— Нет!.. Вот нашел!.. Это невинная свинья... А вон того с женскими бедрами.

— Это Барку с торсом Афины?

— Его самого.

— За что же такая немилость к плебею?

— А за то, что красавицу Синистру отбил у меня.

— А-ха-ха-ха! — рассмеялся скриба. — Разве можно отбить у кого городской колодец, куда каждый помпеец лезет со своим ведром!

— А все же я хотел бы отправить его на берега Ахерона! Клянусь веслом и лодкой Харона, он этого стоит!

— О чем вы спорите тут, Перо и Меч? — спросил Какус, подходя к Кораксу и Сутору.

— О том, любезнейший Какус, — отвечал Коракс, — кто раньше, после арены, услышит грохот падающего камня Сизифа, Сутор или Барка.

— А что? — не понял иносказания приживал.

— Да вот Сутор хочет отправить Барку с арены прямо в область Аида.

— А если он тебя? — обратился приживал к Сутору.

— Эх! — махнул тот рукой. — Помнишь, — обратился он к Кораксу, — что говорит Гораций другу своему Левконою:

«*Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi
Finem Di dederint, Leuconoe, nec babylonius
Tentaris numeros!..*»¹

И Сутор грустно засмеялся.

— Будем пить! — сказал он, садясь за стол.

XXX

На другой день в гладиаторской школе бывшего эдила Авла Свевия Церия происходило распределение ролей к предстоявшим боям на арене амфитеатра в честь Вулкана.

Этой школой заведовал старый гладиатор, теперь уже не выступавший на арене, известный всей Помпее Аквилло. Ста-

¹ «Не пытайтесь узнать, да и не стоит, какой мне, какой тебе конец пошлют боги, Левконой. Не допрашивай и вавилонские числа» (лат.). Horat. L. I, 12.

рику было уже далеко за семьдесят, но для своих лет он казался еще бодрым. Это был худощавый старик с белыми, как морская пена, волосами на голове и черными густыми бровями. На лице его и на теле сохранился не один рубец от старых ран, полученных когда-то на аренах Капуи и Рима. В Капуе этот ланиста и получил свое гладиаторское воспитание, где еще живы были традиции времен Спартака, а некоторые особенно ловкие гладиаторские удары так и назывались «ударами Спартака». Широкие скулы, сильно развитые челюсти и плоский затылок достаточно говорили о звериных качествах опытного ланисты.

Гладиаторы Авла Церия были собраны в саду, примыкавшем к дому бывшего эдила и обнесенном каменной стеною. Посреди сада находилось нечто вроде арены, небольшая площадка, усыпанная песком.

Ученики старого ланисты весело между собой болтали, хвастаясь друг перед другом кто железными мускулами, кто крепостью ног, кто быстротою движений.

— Ну-ну, не хвастайся, Кверкус, твои мускулы, я вижу, несколько одрябли, — ворчал старый ланиста, ощупывая руки и голые икры своего ученика, — ты перестаешь быть дубом (кверкус — quercus — дуб).

— Это от любви к прекрасной Синистре, — с насмешкой заметил тонкий и гибкий, как выюн, Мурена.

Барка и Сутор презрительно пожали плечами.

— С каким же оружием ты меня выпустишь на арену? — спросил ланисту Кверкус.

— Тебя? С эллинским цестом, — отвечал ланиста.

— Клянусь Геркулесом! — вскричал обиженный гладиатор. — Я не греческий илот, чтоб мне на арене махать дубиной.

— А Геркулес чем же побивал львов, как не дубинкой? — заметил хладнокровно ланиста. — Ты же сам клянешься Геркулесом. Да и сам великий Спартак говаривал бывало: «Дубинка — вернее меча».

Кверкус должен был повиноваться такому авторитету.

— А ты будешь ретиарием, выюн! — ударил ланиста по плечу Мурену, который, обвинив своими гибкими членами неповоротливого Урсуса, силился опрокинуть его на песок.

Урсус, рыча, как настоящий медведь, грохнулся наземь. Мурена поднялся весь красный, но веселый.

— Да, — повторил ланиста, трепля его по плечу, — ты будешь ретиарием: с трезубцем Нептуна и с сетью nereид ты выступишь против меча и щита. Ты гибок и увертлив.

— А кто против меня? — спросил Мурена.

— Карбониус, из школы эдила Пансы.

— О! Тому бычачьему лбу несдобровать! — воскликнул Мурена. — Старая Парка уж надорвала его толстую нитку.

— Не хвались, выюн, боги этого не любят, — проворчал старый ланиста.

— А я давно наметил себе Ориона, — сказал Урсус, подходя к ланисте, — мы с ним уж условились в гостях у толстяка Саринуса.

— А в чем ваше условие? — спросил старый ученик из школы Спартака.

— А вот в чем: если он меня убьет, то поступит сюда, на мое место, а то, говорит, у Пансы дурно кормят, да и ланиста у них просто выскочка из Рима.

Косвенная лесть, видимо, понравилась старому гладиатору из Капуи.

— Куда Риму до Капуи! — сказал он. — Только из Капуи и выходят настоящие бестиарии. Я когда-то в молодости, в присутствии божественного цезаря Калигулы, имел дело со львом: я его угостил ударом Спартака, прямо в глаз, а когда он заметался, я ему всадил меч в сердце. Вот следы его когтей.

И старый ланиста показал на левой икре шрам от глубокой раны.

— Ну, Урсус, а если ты его отправишь в сполиариум? — заинтересовались товарищи оригинальным условием гладиаторов. — Тогда что ж, — спросил лукаво Сутор, — ты на его место поступишь в школу эдила Пансы?

— Нет, — добродушно возразил простоватый Урсус, — как только его зацепят крючком, чтоб тащить в сполиариум, я беру себе его великолепный щит, который подарила ему одна матрона. Ах, что за щит! Легкий, прочный, а на нем изображен Гектор, прощающийся с Андромахой. Что за щит!

— А ты мне не сказал, кто же мой противник? — спросил ланисту Кверкус.

— Выбирай любого, — ответил старый профессор резни.

— Так я померяюсь отвагой и силой с Апером, — сказал Кверкус. — Надо же отплатить ему за старое: он мне самой подлой, самой бабьей уверткой пропорол ляжку у самого скромного места, так что мне стыдно перед женщинами, спрашивают, что это...

Добродушное признание Кверкуса встречено было дружным хохотом.

— Ну, а вы как, детки? — обратился ланиста к Барке и Сутору.

— Да как? — отвечал уклончиво последний. — Для нас нет противников у Пансы.

— Как нет, а Парвус, а Мета?

— Все это мелочь, не твои ученики: нам с ними стыдно тягаться.

Ланиста опять был польщен.

— Как же, детки? Не из Рима же и не из Капуи выпи-сывать вам равных борцов, — развел руками старый Акви-ло. — Да и не успеем.

— Ну, так мы друг с другом, я с Баркой, — сказал Су-тор.

— Как же так? Клянусь Гермесом! Из своего же улья да мед таскать.

— Нет, старый наставник, не так, — успокаивал старика бывший преторианец, — мы хотим показать Помпее, да и всей Кампании, какие у тебя ученики, пусть знают, каковы гладиаторы, воспитанные славным Аквилу в традициях вели-кого Спартака.

Старик совсем растаял от довольно грубой лести.

— Вот ловушка, клянусь Гермесом! — почесал старик свой плоский затылок. — А если который из вас, того... в сполиариум попадет?

— Тогда уж у него никогда зубы не будут болеть! — злобно рассмеялся Барка, намекая на то, что Сутор иногда жаловался на зубную боль.

— Н-ну! кто-то боится вперед за свой левый бок, — от-вечал Сутор, играя словами, потому что «левый бок», «левая сторона» (*sinistra*) намекала на легкомысленную рабыню Ди-омеда, к которой Барка был равнодушен.

— Хорошо, согласен. Только чтоб не осрамить памяти великого Спартака! — торжественно произнес старый лани-ста. — А то тень его и в Элизии содрогнется.

— Не содрогнется, — успокоил его Сутор.

Затем ланиста стал в позу оратора.

— А теперь слушайте старого гладиатора, — сказал он, подняв руку. — Вы уже достаточно знаете от меня, что тре-буется от истинного гладиатора. Клянусь Гермесом, сковав-шим первый меч! В борьбе на арене не всегда берет перевес сила: победителем всегда остается хладнокровие. Это — мать гладиаторского искусства. При хладнокровии глаза гладиатора все видят, ничего не пропускают, а это очень важно. Но у этой матери, у хладнокровия, должны быть достойные дети: тер-пение, ловкость и увертка. Слушай, Вьюн обратился он к Мурене, — и вы все слушайте: ты не нападай на врага, а

только вызывай его, дразни ожиданием удара, но сам терпи и жди. Пусть он ждет удара, волнуется, утомляется... Ты доведи его до иступления, до ярости, до слепоты, ты истомь его измором, пусть он, доведенный тобою до бешенства, бросается на тебя, и, клянусь тенью Спартака, он погибнет, он ослепнет от желания поразить тебя, а ты хладнокровно выискивай дорогу к его сердцу, ты все увертывайся: увертываться легче, чем нападать. Я так и льва поразил: он на меня кинулся, а не я на него, я его только ждал. Сделай противника смешным для зрителей: всякий промах смешон и всякий промах придает ему ярость и отнимает ловкость. Раз засмеялись зрители — он погиб. Когда выйдешь на арену, забудь, где ты, не думай о публике, а следи за движениями противника: твой первый удар поразит и его, и публику, неожиданность возвышает цену всему; кто подавал надежды и обманул на волос — теряет все, кто не обещал многого и ошеломил неожиданностью — выигрывает все. Да удар направляй вернее, в этом половина удачи: цестом поражай висок или правую руку, меч вонзай в ребра, ближе к сердцу.

— А ты знаешь, как скифы ловят диких лошадей в степи? — вдруг неожиданно обратился ланиста к Мурене.

— Нет, не видал, — улыбнулся тот, — я не был в Скифии.

— А вот как... Это говорил нам старый, очень старый гладиатор в Капуе, который был родом скиф. Его вывели из Скифии римские воины, которые отвозили Овидия в изгнание.

— А кто этот Овидий? — спросили гладиаторы.

— Поэт был такой, еще при цезаре Августе, — отвечал ланиста, сам плохой знаток в истории литературы.

— Да что им говорить об Овидии! — заметил Сутор. — Все равно ничего не поймут. Говори лучше, как скифы ловят диких лошадей.

— Да, — спохватился ланиста, — скиф берет длинную волосяную веревку с петлей на конце и так ловко бросает издали эту петлю, что она сразу обхватывает шею намеченного им коня, и тогда дикое животное во власти скифа. Так и ты бросай свою сеть, — обратился он к Мурене.

— Клянусь Вулканом! — воскликнул Мурена. — Я так захлестну моей сетью этого быка, Карбониуса, как ни один скиф не захлестывал дикого коня.

— Не хвались, Вьюн, не седи богов, — останавливал его ланиста, — боги очень ревнивы к славе смертных, они не простят тебе похвалы.

Наконец, настал давно ожидаемый день праздника Вулкана.

Но он наступал медленно. Утренний свет, казалось, боролся с туманом, клубившимся над морем и застилавшим Везувий до самой вершины.

Но вот первые лучи пронизали в одном месте завесу, и туман, как бы испугавшись, стал редеть и таять в воздухе. Вершина Везувия осветилась улыбкой: это была ясная, тихая улыбка, что-то успокаивающее. И зелень виноградников и пиний получали новые, ласкающие краски.

Только замечалось что-то странное. Помпониан, выйдя на террасу, увидел, что море как бы тяжело дышало из глубины. А между тем в воздухе было тихо, так тихо, как это бывает иногда тихою, сонною ночью. Отчего же море вздымалось? Разве это доходило сюда дыхание далекого океана, оттуда, из-за столбов Геркулеса? И крик чаек был какой-то беспокойный.

Но воздух был до того прозрачен, что Помпониану казалось, будто Питеуза и Прохита приблизились к нему; правее, от сверкавшего под первыми лучами солнца Неаполиса явственно отделялась роскошная вилла Лукулла с гигантскими алоэ и пальмами.

Помпониан повернул лицо к Помпее и остановился, очарованный. Город Вулкана весь, казалось, трепетал от счастья, от счастья полноты жизни. Он просыпался для радостного дня, для наслаждений. Массивные его стены, увенчанные башнями, ослепительный мрамор колонн и портиков, то там то сям выделявшиеся на общем фоне очертания статуй, триумфальные арки форума, исполинская статуя Юпитера, как бы благосклонно принимавшая приветствие солнца, — все это было до того прекрасно, что античная душа Помпониана, казалось, таяла от умиления.

Шум пробуждавшегося города заставил его, однако, вспомнить, что должно было совершиться в этот чудный день, под этим голубым, ласкающим небом. Он вспомнил, что ожидало в этот день его несчастного подзащитного, мужественного Квинта. Защитительная речь Помпониана не спасла бедного сына Диомеда: народ жаждал крови.

А между тем тот, о ком он думал, спал крепким сном молодости, плотно завернувшись в свою длинную тогу. Он видел себя не в Колумбарии живых, а в Риме, на форуме, перед самым Капитолием. Священным восходом (*clivus sacer*)

спускалась к форуму процессия с первосвященниками и весталками. Процессия все ближе и ближе. От весталок отделяется одна, вся закутанная, такая стройная, нежная, и подходит к нему. Это Кратилла...

Его разбудило рычание львов. Сегодня они что-то особенно беспокойны. Их уже второй день не кормят, чтобы они были свирепее...

Квинт вспомнил, что он должен был служить им пищу. Он оглянулся. Его товарищ по заключению, старик Авенир, стоял на коленях перед стеною, на которой углем нарисованы были три креста с пригвожденными на них человеческими телами, и молился. Это был трогательный рисунок, сделанный рукою Зено.

Старик услышал, что молодой человек проснулся, и подошел к нему. Львы продолжали так страшно рычать, что, казалось, стены амфитеатра дрожали.

Старик положил руку на голову Квинта, который, поднявшись с своего жесткого ложа, молча сидел на земле, припоминая свой сон.

— Мужайся, сын мой, — сказал кротко Авенир, — мы приближаемся к вратам вечной жизни, вечного упокоения, нас ждут неземные радости... О! Сколько блаженства в сознании, что я скоро увижу Того, Чья рука когда-то покоилась на моей детской голове... И ты скоро Его увидишь.

Между тем извне уже доносились шум и говор толпы и неясные возгласы. Так как зрелища в Помпее начинались очень рано, почти вскоре после восхода солнца, то народ уже толпами стремился к амфитеатру, чтоб занять более удобные места.

Рыбаки, погонщики мулов, каменщики, пастухи и прочий плебс пробирался через все сорок ворот, называвшихся воми-ториями, наверх, позади верхней кавей (*summa cavea*). На самую вышку поднимались женщины, которых железная решетка отделяла от прочей публики. Верхняя кавей — для мужчин, имела восемнадцать рядов или уступов, а средняя (*media cavea*), предназначенная для торгующего сословия, воинов, учителей и учащихся, была о двенадцати уступах. Нижняя, ближайшая к арене, предназначалась для властей, жрецов, весталок и почетных граждан.

Когда представители богатой молодежи Флакк, Марк Туллий и преторианец Кней Авидий вступили на один из уступов нижней кавей, амфитеатр почти был уже полон.

— Видишь наверху, в женской кавее, прелестную золотистую головку? — обратился Марк Туллий к Кнею Ави-

дию. — Клянусь Афродитой, это Кратилла, которую защищал старый Помпониан.

— О, клянусь Марсом! У старика не дурен вкус! — прищелкнул языком преторианец.

— Да, жаль было бы эту хорошенькую Психею видеть в когтях у невежественного льва, — заметил Флакк. — А та, рядом с ней, кто?.. Очень красивая женщина.

— Это ее мать; ее разыскал где-то, по приказу этой ученой бабы, Плиния, его друг, старый Помпониан.

— Наш эдил с ног сбился, — засмеялся преторианец, — угодить хочет, чтоб попасть в декурионы.

— А жаль все-таки этого Квинта: хоть он бука и гордец стал, а все же мы когда-то были с ним дружны, пока он не попал в Рим и не заразился этой новой верой, — сказал Флакк, ища кого-то глазами.

— Да, и Мальвию жаль, — добавил Туллий, — она уж не та вострушка теперь, не стреляет глазками, как Купидон стрелами, во всякого мужчину.

— Н-ну! Я заметил, что такие стрелки никогда не выйдут замуж, — заметил преторианец, — с ними наш брат любит позабавиться, а брать такого стрелка в жены — это заранее жди себе оленьих рогов.

— А! Вон и Курций явился... Смотрите, какой он бледный, как лихорадочно горят его глаза, — скороговоркою прошептал Флакк.

— Да, приятное ожидание, клянусь богами, — заметил Туллий, — ждать и видеть, как африканское чудовище растерзает любимого брата, это ужасно!

— Квинт может и победить врага, — заметил в свою очередь преторианец, — в Риме он учился фехтовальному искусству у лучшего ланисты.

— Но чем ему сражаться со львом? — спросил Туллий.

— У него будет меч.

— Какой? Откуда?

— Мне эдил рассказывал, что, из уважения к просьбе отца, Квинту позволяют выйти на арену с мечом.

— О, плохое утешение! — заметил Флакк. — Для льва достаточно одного прыжка, чтоб меч оказался бесполезным. В прошлом году здесь был такой случай: на арену выступил Атлант, гладиатор из галлов, слава римских гладиаторов; у него было копье; он мужественно ждал льва, но едва лев был выпущен из-за решетки, как сделал несколько шагов и прилег к арене, точно кошка, собирающаяся броситься на воробья; не успел Атлант глазом мигнуть, как чудовище,

сделав страшный скачок, в один миг сорвало череп у своего противника.

Курций, поднявшись на двенадцатый уступ нижней кавен, не глядя ни на кого, точно вокруг него была пустыня, опустив глаза, поместился как раз против железной решетки, из-за которой лев должен был выйти на арену. Когда того его несколько распахнулась, из-за нее выглянула блестящая рукоятка меча.

— А, вон и Голконий Руф с Марком Лукрецием! — заметил Флакк.

Вошедшие заняли почетные места, ближе к сцене и к парапету.

— Весталки! — шепнул преторианец.

— А, клянусь Афродитой, между ними я не вижу той хорошенькой! — громко сказал Туллий

Одна старая весталка оглянулась на этот возглас. Строгое лицо ее говорило: «Нахал!»

— Она, верно, не любит кровавых зрелищ, — пояснил Флакк, — я ее знал девочкой.

— А кто она? — спросил преторианец.

— Люцинда, дочь сенатора Вара; ее жених в прошлом году погиб в лазурном гроте Сирен, что на Капрее, — отвечал Флакк. — Она и пошла в весталки.

Публика в верхних кавеях начала уже выражать нетерпение, как вдруг раздалась торжественная музыка.

— Идут! Идут гладиаторы! — пронесся рокот по амфитеатру.

Показалось шествие. Жрецы меча и крови выходили на арену попарно, сообразно распределению их кровавых ролей, и медленно двигались эллипсоидом вдоль всего парапета, так чтобы зрители могли рассмотреть их вооружение, наружность и боевые «статьи»: сложение, мускулы, стройность или пластичность движений. Зрители должны были заранее предугадывать, кто будет победителем в кровавой игре и кому отдать свои симпатии, за кого держать пари и кого в уме своем приговорить к смерти.

— Клянусь Геркулесом! — воскликнул преторианец. — Это хоть бы и в Риме, какие молодцы! Это кто смотрит таким Ахиллом в шлеме со звездой?

— Это Барка, любимец наших матрон, — отвечал Флакк.

— Неудивительно: какие формы!

— Жеребьячи, — усмехнулся Туллий.

Женская кавая жужжала, как пчелиный улей. У матрон и у девушек разгорались щеки, блестели глаза.

— Кто это с таким блестящим щитом? — спросила сестра Голкония Руфа, старая дева, все еще ожидавшая Ги-менея.

— Это Орион, — сказала ей на ухо сестра эдила, мать хорошенькой Либеллы, сидевшей рядом с матерью, — этот щит ему подарила Лавиния, супруга Авла Порка.

— Это киника-то?.. Не удивляюсь... от такого мужа...

Тот, о ком говорили дамы, поднял глаза к женской кавее и встретился со взглядом Лавинии, которая вспыхнула и потупилась.

— А он в нее послал стрелу Купидона, — шепнула старая дева, — бесстыдница, хоть бы уж не при всех...

— Ах, мама! Какой молоденький, — воскликнула Либелла и вся покраснела. — О, боги!

— Этот юноша — Мурена, дитя мое, — отвечала мать. — Авл Церий очень дорожит этим молодым гладиатором: он весь как ртуть, ловок, увертлив и ускользает от противника, как выюн; старый ланиста Аквило и называет его «выюном».

— А чем же он будет сражаться, мама?

— Видишь, у него трезубец и сеть?

— Да, а зачем сеть?

— Чтоб запутывать противника и разить трезубцем.

— Но ведь его противник с мечом... Боги! Какой страшный меч!

— А кто Гектором у Ахиллеса-Барки? — спросил преторианец. — Такой коренастый?

— Это твой единоконюшник, преторианец, — отвечал Флакк.

— Не может быть!

— Это верно. Он из дома Манлиев, но лишен был патрицианской чести и выступил на арену под псевдонимом Сутора.

И Сутор, и Барка по временам бросали взгляды наверх, в женское отделение. Они искали Синистру. Она выглянула из-за спины Лавинии, жены киника, встретилась со взглядом Барки и незаметно разжала ладонь; там что-то блеснуло. Барка догадался, что это был заколдованный талисман, данный Синистре кумскою Сивиллою, талисман неуязвимости в бою: стоило на него взглянуть, хоть издали, и меч противника теряет всякую силу.

Но от Сутора не ускользнул этот немой обмен взглядов Синистры и Барки. Злоба Сутора не знала границ: он жаждал крови.

Эдил Панса и бывший эдил Авл Церий зорко следили за проходившими по арене гладиаторами. Когда весь круг был обойден последними, они остановились в ряд лицом к дуумвирам и декурионам.

Панса подал знак, и затрубил рог. Тогда от ряда гладиаторов отделились два Геркулеса с щестами. Они были совсем нагие, и только широкие пояса прикрывали среднюю часть торсов. Войдя на середину арены, они поклонились дуумвирам и весталкам и остановились, опершись на свои гигантские палицы, утолщенные на концах. Они совершенно напоминали собой Геркулеса, точно две статуи этого полубога.

Это были Кверкус от Авла Церия и Апер от Пансы. Оба они были одного роста и, казалось, одинаково мускулисты, только ноги у Апера были менее мясисты, и он казался подвижнее Кверкуса. Зато волосатая грудь последнего делала его более страшным.

— Этот волосатый человек ужасен, — сказала сестра Пансы.

— Но, боги, как он прекрасен своею мощью, плечами! — прошептала старая дева, закатывая свои тусклые зрачки.

Эдитор боя подал знак. Противники разошлись и потом тотчас же начали сходитьсь, зорко наблюдая друг за другом. Но вдруг Кверкус сделал скачок. Еще мгновение, и его щест упал бы на курчавую голову противника, как молот на наковальню; но Апер быстро уклонился от удара, и когда Кверкус, увлекаемый тяжестью щеста и инерциею своего напряженного вперед тела, подался вслед за размахом щеста, Апер так ударил его по левому плечу, что тот упал на одно колено.

— Ловкий удар! — прошептал Флакк.

Но в одно мгновение Кверкус поднялся и пустил щестом в грудь противника. Апер зашатался, отступил назад и едва удержался на ногах. Но лишь противник его нагнулся за своим щестом, как его поразил страшный удар в спину. Кверкус упал ничком.

— О боги! Он убит! — испуганно вскрикнула Либелла.

Толпа аплодировала: «Апер! Апер!»

— Проклятие! — скрежетал зубами старый ланиста Аквилло, перевесившись через парапет и пожирая борцов глазами. — Клянусь богами! Он опозорил мою седую голову, поторопился.

Но старый ланиста ошибся.

— Он опять на ногах, смотрите!.. Он наступает! — воскликнул Флакк.

Оба противника подняли щесты над головами и начали сближаться. Они, видимо, шли на смерть, ни один череп не может выдержать отвесного удара щестом.

— О боги! Как прекрасен Кверкус! — задыхалась старая дева.

Противники остановились как вкопанные. Они следили друг за другом. Они уже перестали быть людьми. Но вот они оба расставили ноги для более крепкого устоя. Верхний корпус каждого подался несколько вперед.

— Клянусь Геркулесом, Кверкус хитрит, — тихо проговорил Флакк. — Я знаю его удар. Десять сестерций за Кверкуса...

Оба щеста сверкнули в воздухе, послышался удар дерева об дерево, и щест Апера выпал из его рук. Но едва он нагнулся, чтоб схватить его, как щест противника моментально поразил его в затылок. Череп Апера глухо треснул...

— Череп треснул! Он убит! Клянусь богами, кончено!

— Упал, как зарезанный вол! Habet, habet!¹

— Habet! — крикнул эдил глухим голосом.

Он еще надеялся, что его любимец Апер оправится. Ноги гладиатора конвульсивно вздрагивали и руки рыли песок арены, уже окрашенный кровью, хлынувшей из ушей несчастного борца.

— Унесите его, — сказал Панса, — он оправится, сдайте его врачу.

Служители подняли массивное тело.

— Он мертв, благородный эдил, — сказал один из них.

Тело унесли. Амфитеатр замер на мгновение. Кровавый бой еще не ожесточил зрителей, не довел еще до жажды крови и крови: казалось, мало было первой жертвы; совесть еще не залита кровью.

Кверкус отошел от окровавленного места с видом собаки, которую палкой отогнали от лакомого куска.

— Удар Спартака! — шепнул ему через парапет старый ланиста. — Ты не осрамил моих седин.

Кверкус молча прошел в триклиний, где победителей ожидало угощение.

— Ты проиграл пари, — сказал небрежно Флакк Тулию.

— Клянусь Горгонами, — тихо проговорил последний, — кто бы мог подумать, что Апер будет побежден! Проклятие! Туда ему и дорога!

¹ «Довольно, довольно!» (лат.) — этим криком останавливали бой гладиаторов.

— Утешься, друг, — успокаивал его приятель, — я угощу тебя такими устрицами и такими муренами, каких и у Лукулла не было.

По знаку эдителя снова заиграла музыка. Публика вся превратилась в зрение.

— Теперь кто? — спросил преторианец.

— Карбониус от Авла Церия и Мурена от Кустуса Пансы, — отвечал Флакк, отмечая что-то золотым тонким стилем на навоощенной дощечке. — Ты за кого?

— Дай мне взглянуть в них, оценить статьи борцов.

От группы гладиаторов отделились Карбониус и Мурена, которые в такт под музыку выступили на середину арены и молча поклонились дуумвирам и весталкам.

Противники разошлись в разные стороны и, медленно кругообразно поворачиваясь, давали возможность зрителям рассмотреть свое сложение, мускулистость и пластичность движений.

Мурена был высок, тонок и гибок. При малейшем движении каждый мускул его стройного голого тела говорил о подвижности и силе. Карбониус, одного с ним роста, но плечистый, с мускулами, которые напоминали мускулы гранитных теломонов¹ в храме Юпитера, скорее готов был идти в отцы стройному Мурене, чем в противники.

Борцы отступили друг от друга на значительное расстояние и остановились. Карбониус обнажил громадный меч и рукояткою его ударил по щиту, который издал глухой звук. Мурена подобрал длинную сетку, которая была перекинута через левое плечо. Из сетки образовалось нечто вроде петли аркана скифов. Он расправил петлю концом трезубца. При каждом движении тела борцов лоснились, как полированный гранит, от покрывавшей их мази.

С верхней, женской, кавей лихорадочно следили за борцами две пары женских глаз: прелестные глаза молодой девушки и глаза старухи под нависшими седыми бровями.

— Боги, — прошептала девушка, — да разве же могут устоять против меча эти тонкие иглы трезубца!

— Так угодно богам, — сердито посмотрела на нее старуха.

Противники начали осторожно сходитьсь, зорко следя друг за другом. Карбониус держал меч наготове, прикрывая щитом лицо и голову. Он хорошо знал употребление опасной

¹ Теломоны — те же кариатиды, только мужчины, а кариатиды — женщины.

сетки, она сразу могла опутать его голову или руку с мечом. Он бросил взгляд к тому месту женской кавей, где сидела страшная старуха, и торжествующе улыбнулся, будучи вполне уверен в победе. В это мгновение в воздухе взвилась сетка и опутала собою щит Карбониуса. Последний сделал прыжок, и, не уклонись Мурена в сторону, острие меча противника вонзилось бы ему в грудь. Но Мурена, пользуясь промахом противника, с такой силою и ловкостью потянул свою сеть, что рука его, державшая щит, разогнулась, щит соскользнул с руки и был унесен вместе с сетью. Карбониус вскрикнул от злобы.

— Мурена! Мурена! — послышались одобрительные возгласы.

— О боги! — подняв глаза к голубому небу, которое глядело на арену из-за велярия, прошептала девушка, сидевшая недалеко от страшной старухи.

— Пятнадцать сестерций за Мурену! — воскликнул Флакк.

— Столько же за Карбониуса, — отвечал преторианец.

И было за что. Щит, запутавшийся в сетке Мурены, отнимал у него возможность действовать этим опасным оружием, а на один трезубец плоха была надежда против огромного меча. Мурена стал убегать, на бегу выпутывая щит из сети. Карбониус гнался за ним, настигая все более и более и держа меч наготове.

При повороте Карбониус настиг противника. Едва Мурена повернулся и успел отбросить далеко освобожденный из сети щит, как меч противника поразил его в левую ляжку; кровь обагрила арену.

В верхней кавее послышался слабый крик женщины: «О, боги!...»

Но Мурена не упал. С ловкостью раненого тигра он отскочил вбок, быстро собрал сетку, и когда торжествующий противник при криках разгоряченной толпы «Карбониус! Карбониус!» шел с окровавленным мечом прямо на врага, думая нанести последний удар прямо в грудь, Мурена бросил сеть в лицо врага. Ловко брошенная, она сразу опутала голову и правую руку Карбониуса.

— О, тень Спартака! — радостно прошептал старый ланиста. — Петля скифа сделала свое дело!

Карбониус метался в сетке, стараясь мечом разрезать ее, но Мурена кружился около него как вихрь, все более и более опутывая сетью барахтавшегося противника.

В верхних рядах послышался смех.

— Мурена поймал акулу! — Браво, Мурена!

Смех в подобных случаях — проявление рокового для гладиатора настроения публики. Гладиатор, оказавшийся смешным на арене, не будет пощажен зрителями, ему уж не ждать снисхождения.

Мурена между тем стал наносить запутавшемуся противнику удар за ударом, и хотя тонкие иглы трезубца не могли сразу поразить насмерть, однако, поражаемый ударами трезубца, Карбониус упал.

Амфитеатр разразился рукоплесканиями по адресу молодого бойца.

— Мурена! Мурена!

Мурена наступил ногою на упавшего врага и стал обводить глазами амфитеатр. Он ждал, что решит общий голос, какой будет приговор публики: щадить ли поверженного борца или добить окончательно. Несчастный Карбониус также поднял голову: он ждал сострадания, пощады. Жалобный взор его молил о милосердии.

— Habet! — проговорил дуумвир состязаний.

— Non habet! — заревела озверевшая толпа. — Non habet!

Мурена обвел глазами амфитеатр. Со всех сторон он увидел одно и то же: зрители привстали с мест и, вытянув вниз, по направлению к упавшему и попираемому ногою гладиатору правые руки с торчащим книзу большим пальцем, требовали смерти. Даже женские руки тянулись книзу с этим ужасным жестом. Это был смертный приговор¹. Торчавшие книзу пальцы ясно выражали кровавую волю народа: торчавший книзу большой палец — это символ вонзаемого в тело меча.

Мурена исполнил волю народа. Он вонзил три иглы тридента в правый висок поверженного противника. Смерть была мгновенна, и только по ногам умирающего и по обгаренным кровью икрам прошла конвульсивная дрожь.

Страшный крик неизвестной женщины огласил верхний ярус амфитеатра.

— О мой сын! Мой сын, безжалостные боги!

Это был вопль страшной старухи: убитый гладиатор был ее единственный сын.

¹ Это был общеримский обычай: если зрители не желали щадить жизнь побежденного гладиатора, то делали именно этот жест, рука с опущенным книзу большим пальцем.

— Боги сегодня не милостивы к нашему эдилу, — заметил Флакк, когда крючок зацепил мертвое тело Карбониуса, чтоб оттащить его в сполиариум, — второго из его гладиаторов принимает Стикс в свои мутные волны.

— Зато к тебе милостивы боги, — ехидно заметил Марк Туллий, — ты за один день разбогател.

— Чтоб угощать моих друзей лучшими устрицами и лучшим хиосским, — снисходительно улыбнулся Флакк.

Солнце между тем поднялось уже высоко и в отверстие, не закрытое велярием, бросало на северные уступы амфитеатра и на арену золотистый свет, отчего кровь Карбониуса, не впитываемая влажным песком арены, сверкала, как разорванные и брошенные куски пурпура. С севера глядела в это отверстие и вершина Везувия: он был ясен и спокоен, как вечность, его виноградники, казалось, улыбались чудному летнему дню.

В амфитеатре становилось душно. Разгоряченная жестоким зрелищем и видом крови публика дышала тяжело. Говор был страстный, возбужденный.

— *Sparsiones!* — кивнул головой дуумвир эдилу Пансе.

Это означало, что надо было распорядиться орошением амфитеатра освежающими благовониями. Эдитор подал знак служителям.

В это время послышалось как бы из-под земли рычание льва. Его подхватили другие, и воздух задрожал от ужасного концерта.

— Вечные боги! Как это страшно! — вздрогнула юная Либелла.

— Они соскучились ждать, — заметила сестра Голкония Руфа.

— Нет, дорогая Фульгенция, это они ревут с голоду, — сказала сестра Пансы. — Брат уже второй день не велит давать им корму, чтоб они стали кровожаднее.

Снова раздались торжественные звуки музыки.

— Кому теперь? — спросил Кней Авидий.

— Ориону и Урсусу по расписанию, — отвечал Флакк, взглянув на свою навощенную дощечку.

— Урсус от кого?

— От Авла Церия, это тот, что с блестящим щитом.

— Клянусь Юпитером! У него настоящий щит Ахилла, который сковал для него Гефест, — заметил Марк Туллий.

— А ты разве видел этот щит? — спросил удивленный преторианец.

Марк Туллий весело рассмеялся.

— Клянусь Аполлоном, — сказал он, дружески трепля по плечу преторианца, — вы, служители Марса, мало, я вижу, знакомы с музами.

— Я императорские конюшни предпочитаю всяким музам, — гордо отвечал преторианец.

— Вижу, вижу, благородный Кней Авидий: у вас в конюшнях, вероятно, не очень популярен слепой певец «гнева Ахиллеса, Пелеева сына».

— А кто был этот слепой певец?

— Гляди, гляди! Они скоро начнут.

Новые борцы обошли арену и остановились против дуум-виров. Орион поднял глаза к женской кавее.

— Видишь, он ищет глазами Лавинию, — шепнула сестра Пансы сестре Голкония Руфа.

— Нашел, нашел, — прошептала старая дева, — она слегка наклонила голову.

— И побледнел даже, — заметила сестра Пансы.

Интерес к бою возрастал все более и более. Публика, казалось, пьянела с каждой новой жертвой. Инстинкт жестокости просыпался в каждом, ведь и помпейцы были те же римляне, служители железа и крови. Кто-то теперь падет? Чья очередь? Этого ли с широкой колесом грудью и медвежьими лапами, или того мускулистого и плотного, с орлиным носом и с блестящим щитом?

Противники начали сходитьсь. Движения их были осторожны, оба, видимо, изучали друг друга. Вот они на расстоянии удара. Орион нерешительно ожидал первого нападения, инстинктивно чувствуя, что, помимо тысячи глаз, на него с тревогой глядят еще особо два женских глаза, столь ему знакомые. Выжидал удара и Урсус: он помнил наставление старого ланисты.

Орион не вынес устремленных на него глаз Лавинии и сделал прыжок в сторону противника. Но меч его ударился о массивный щит Урсуса и скользнул вкось. Урсус немного отступил.

— И этот из школы Спартака, — прошептал Флакк, — он дразнит противника.

Орион снова нападает. В это время мечи противников скрестились, лязгнула сталь, и Урсус упал на одно колено.

— В голову! В голову! — не вытерпел кто-то в рядах воинов, в третьей кавее.

Орион занес меч над головой врага, но снова сталь ударила в щит и отскочила. Отскочил и сам Орион: меч Урсуса пропорол ему левую руку выше локтя.

— Пятнадцать сестерций за Урсуса! — вскричал Флакк. — Кто идет?

И Марк Туллий, и Кней Авидий молчали.

— Орион, держи щит выше, он метит в лицо! — крикнули с верхнего яруса.

Панса поднял глаза, он узнал голос Каски.

— Орион горячится... Ах, какой удар!.. Но Урсус отразил его!.. Боги, как это прекрасно! — словно в забытьи бормотал Флакк.

Кровь лила из раны Ориона, но он продолжал наступать на противника. Сталь то визжала, скрещаясь со сталью, то ударялась о щиты. Уже блестящий щит Ориона был забрызган кровью. Кровь Ориона окрасила и песок арены. Но эта кровь и погубила его противника: Урсус, защищаясь и нападая, наступил на кровь, поскользнулся и упал.

Амфитеатр дрогнул сверху до низу.

Падая навзничь, Урсус открыл противнику грудь, и меч Ориона моментально вонзился пониже левого сосца противника по самую рукоятку. Урсус распластался, раскинув руки накрест. Тускнеющие глаза его еще успели увидеть голубое небо, вершину Везувия и пролетевшего над отверстием амфитеатра белого голубя.

— Habet! — сказал эдитор.

Толпа молчала — она была довольна кровавой развязкой. Старый ланиста рвал на себе волосы. Прекрасный щит Ориона, по условию, не достался бедному Урсусу, которого, по знаку Пансы, служители поволокли в сполниариум. Тело его оставляло за собою кровавый след на песке.

— Переменить песок, выровнять арену, — распорядился эдил.

— Спарсионес! — пробормотал старик-дуумвир, изнемогая от жары и усталости.

На арену выступила четвертая, последняя пара борцов. Это были Барка и Сутор.

Оба эти гладиатора были любимцами помпейской публики. На стороне Барки были все женские сердца: его рост, статность, красота Аполлона и мускулистость Геркулеса привлекали взоры всей женской галереи, все талисманы красавиц и некрасавиц помпеянок были тайно направлены на него, ради его спасения и ради его победы. Знакомая нам Синистра также не спускала с него огненных глаз,

хотя милосердное сердце ее открывалось при случае и для других мужчин Помпеи, Геркуланума и Стабий; Барка бросил на нее мимолетный взгляд и стал в позу Мелеагра на охоте.

Мужчины больше любили Сутора за его остроумие и мужество. Арена не раз обогрелась кровью его противников, а в метании диска он был непобедим.

Выступив вперед, оба гладиатора по обычаю поклонились дуумвирам и весталкам. При этом Сутор, взглянув на императорское место, где стояла статуя Тита с державным шаром в руке, опустился на одно колено и громко воскликнул:

— Ave, Caesar!

Потом, показав рукою на стоявшего рядом с ним и озадаченного этою выходкою Барку, присовокупил:

— Sed moriturus te non salutat¹.

Этой неожиданной выходкой он давал понять публике, что сам он приветствует изображение императора, но что тот, кто должен погибнуть от его, Сутора, руки, этот Барка не приветствует цезаря.

Амфитеатр, мужская половина, разразился аплодисментами. Сам старик-дуумвир Попидий Цельсин рассмеялся и закашлялся старческим кашлем.

— Преторианский выкидыш! — со злобой проворчал растерявшийся красавец.

Противники отошли на середину арены. На головах их ярко блестели шлемы, все же остальное тело, исключая пояски на торсах, было обнажено. Гладиаторы стали в позицию, причем Барка, боясь нанесения ран в лицо, для спасения своей красоты опустил забрало.

— Нарцисс! — рассмеялся Сутор. — Заранее прикрыл лицо от стыда!

Взбешенный насмешками, Барка стал наступать. Сутор стоял неподвижно и ждал.

— Как пластичны его движения... Боги, что за мускулы! — шептала в упоении Фульгенция.

— Не знаю, за кого держать пари! — волновался Флакк. — Клянусь Мегерой, оба противника равны!

¹ Обыкновенно в Риме, когда гладиаторы выступали на арену для борьбы со львами и тиграми, т. е. когда шли на верную смерть, то припадали на одно колено перед императорскою ложей и возглашали: «Ave, caesar! Morituri te salutant!» — «Да здравствует цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!»

— И одной школы, — пояснил Марк Туллий — Ох, какой удар!.. Он мог бы быка уложить на месте, но Барка устоял.

— Но он шатается... Удар, видимо, ошеломил его.

— Клянусь Марсом, они достойные противники, — волновался преторианец.

Весь амфитеатр замер. Каждому из зрителей казалось, что это на него нападают, что он отражает удары. Вид борьбы бросал зрителя то в жар, то в холод. Таких энергичных борцов давно не видели.

— Голову, голову береги, Сутор! — совсем забыв, где он, крикнул сверху Фурка.

Меч Барки соскользнул по шлему противника, и Сутор, отшатнувшись в сторону, поразил Барку в плечи. Красавец вскрикнул от ярости и, сделав прыжок вперед мимо противника, нанес Сутору удар в спину. Из зияющей раны брызнула фонтаном кровь.

— Боги! Прямо в лицо!.. Браво, Сутор!

— Забрало хрустнуло... Барке не устоять... *Barka tabescas!*¹

— Смотрите! Смотрите!.. О Юпитер! Они отстранили щиты... Что это?

Задыхаясь и весь дрожа, на арене появился сам ланиста, старый Аквило.

— Не нарушать правил боя!.. Дети, дети мои! — кричал он, протягивая руки.

Оба меча нашли, чего искали, и оба противника упали навзничь, раскинув руки со щитами. Меч Сутора торчал в груди Барки, рукоятка меча Барки, облитая кровью, дрожала в трепетавшей груди Сутора.

— *Ave, caesar...* — лепетал последний коснеющим языком, — *morituri... morituri... te salutant...*

Старый ланиста упал перед трупами на колени и плакал.

— Дети мои, дети! Вы поддержали мою честь... вы не оскорбили тени великого Спартака... вы гордость Помпеи...

— Очистить арену от трупов и освежить песок! — хладнокровно распорядился Панса.

— Спарсионес... О боги! — чуть слышно лепетал дряхлый дуумвир Попидий Цельсин.

Где-то наверху слышались женские истерические рыдания.

¹ «Слабеешь, изнемогаешь Барка!» (лат.) — эта надпись доселе показывается на стене парапета в помпейском амфитеатре.

Теперь очередь была за львами и их жертвами.

Квинт и Авенир слышали из своего «Колумбария» разные перипетии борьбы на арене. То доносились до них звуки музыки, то врывались глухой волной всплески аплодисментов и возгласы торжествующей, обезумевшей толпы. Но ни Авенир, ни Квинт не падали духом. Первый, казалось, радовался тому, что слышал. Этот глухой гул голосов и гулкие аплодисменты заставляли его выше поднимать седую голову, а добрые, кроткие глаза его светились юношеским огнем. Он только крепче прижимал к своей груди изображение креста.

— Слышишь? Слышишь, сын мой, как мы близко от Него? Это Он зовет нас. «Придите ко Мне все страждущие и обремененные, и Я упокою вас... Иго Мое благо и бремя Мое легко есть», — в глубоком умилении бормотал он, прислушиваясь к тому, что происходило на арене.

Квинт мужественно переносил свое положение. Он знал, что его ждет, но он сам шел на это. Его воодушевляла мысль умереть за идею, за тех, которые, в ослеплении неведения, будут рукоплескать его смерти. Смирение и бесстрашие старика затрагивали в его душе глубокие, гордые чувства, чувства римлянина, покорившего весь мир. Пусть его, как того римлянина-героя, поглотит пропасть небытия, но он будет жить, как живет тот. Камня на камне не останется от этого амфитеатра, гордый Рим сровняется с лугами Кампаньи, а он, его идея будет жить. Мрамор выветрится и рассыплется в прах, боги обратятся в щебень для мостовых, мусор от алтарей их разметет ветер, бронзу их ликов съест ржавчина, и над всем этим разрушением будет носиться его созидающая новые миры идея.

Лицо его было полно мужественной красоты. Рука его случайно коснулась меча, висевшего при бедре под тогой, и в нем моментально проснулся гордый римлянин. О, он еще померяется с этим нумидийским чудовищем! Циркус Максимус, что под Палатинским холмом, перед дворцом цезарей, еще не забыл его, Квинта Диомеда. Он еще чувствует на своей голове лавровый венок, возложенный на него при криках всего Рима. Он видит у ног своих страшного фессалийского быка и трупы четырех гладиаторов, пропоротых его могучими рогами, но эти рога и дикая свирепость не спасли его от меча Квинта Диомеда. Вот он, этот меч, поразивший фессалийского тура и жалкого центуриона. Ему еще предстоит кровавая работа.

В это время заскрипела ржавая дверь «Колумбария», и в дверях блеснули медные каски воинов и их копья.

— Авенир-иудей, арена готова для тебя, иди! — провозгласил старший из воинов.

Старик радостно встрепенулся. Восторженно упав на колени, он поднял руки к небу.

— О, Господы! О, какая радость, какое блаженство! Ты первым призываешь меня к Себе! — говорил он, захлебываясь радостными слезами. — Иду к Тебе, иду! Ты опять положишь мне руку на голову, как тогда, давно-давно, у Овчих ворот.

Он торопливо подошел к Квинту и обнял его.

— Сын мой, не говорю тебе — прощай, а до скорого, радостного свидания, — говорил он, обнимая и целуя молодого товарища по заключению. — Мы сегодня же увидимся.

— Где? — спросил дрогнувшим голосом Квинт.

— Там, у Него... Он говорил, что у Его Отца обителей много...

— Иди же, тебя ждет голодный товарищ! — напомнил воин.

— Иду, иду... О, какая радость! — И он в последний раз обнял Квинта.

— Чему радуется этот безумный старик? — спросил один из воинов, поспешая за торопливыми шагами Авенира.

— Он думает, что его ждет там любовница, — насмешливо отвечал другой.

Скоро перед Авениром открылась узкая дверь, и он увидел себя на арене. Он ни на кого не глядел. Он только видел над собою голубое небо, глядевшее на него из-за велярия, и ясную, спокойную вершину Везувия с зеленеющими виноградниками. Вся мысль его, вся восторженная душа была там, высоко, за этою темною лазурью неба.

— Льва, льва скорей! — послышался нетерпеливый ропот толпы.

Авенир обвел глазами амфитеатр и кротко улыбнулся.

— Льва! Льва! — ревела возбужденная чернь.

Авенир поднял руки к высокому небу.

— Владыка неба и земли! — сказал он громко. — Прости им: они не ведают, что творят.

— О! Он насмехается над нами! Смерть ему! — кричали со всех ступеней.

— Посмотри наверх, — сказал Флакк своему другу, — эта хорошенькая гречанка плачет.

— Кратилла?

— Да... Что за очаровательное личико! Клянусь богами, мне жаль ее.

— Льва! Льва! — не унималась толпа.

Лев, по-видимому, упрямился или боялся и не выходил из своего заточения, хотя дверь его клетки была открыта.

Но вот показалась громадная косматая голова, и чудовище с радостным ревом выскочило на арену. Он почуял мнимую свободу. На него пахло зноем африканских степей, ему виделись гигантские пальмы его родной Нумидии, он видел себя в глубине Африки, слышал тяжелые шаги гиппопотама в нильских камышах...

Он сделал несколько гигантских прыжков. Грива на нем встала... Но вдруг он остановился и потянул в себя воздух... Что-то смугило его... Воздух был слишком тяжел. Широкая грудь чудовища бурно вздымалась, и от горячего дыхания его, словно от ветра, разлетался песок на арене. Казалось, что ожидавшая его жертва не существовала для него. Он опять потянул в себя воздух и скорее застонал, чем заревел. Весь амфитеатр застыл от изумления. Голодное чудовище не бросалось на корм.

Лев смотрел испуганно, что-то непонятное никому тревожило его. Он оглядел арену и бросился бежать, как бы ища выхода. Но выхода не было. Он кидался на парапет, обрывался и падал. Он снова поднял морду к небу и как-то жалобно завыл. Словно побитая собака, он, с опущенным хвостом, снова стал бегать по арене, взметая песок метелкообразным хвостом и горячим дыханием.

Как бы устав от бесполезного бега, он бросился в свою клетку и забился там в самый темный угол.

Ропот удивления и негодования прошел по собранию. Панса смотрел растерянно. Один Авенир стоял спокойно, как-то даже печально, молитвенно подняв глаза к небу.

— Что это за лев? — отчетливо послышался чей-то голос. — Это испуганная корова!

— Да, это не лев, клянусь Юпитером!

— Наш эдил купил прирученную кошку! Это позор для Помпеи!

— Нас обманули! Долой эдила Пансу! Pereat! Pereat!

Панса побледнел. Мускулы лица его дрогнули.

— Выпустите другого льва! — крикнул он служителям. — Нубийца на арену, того, что в третьей клетке, нубийца!

Отворилась другая решетчатая дверь. Легким прыжком кошки огромный лев-нубиец сразу очутился на арене. Он был не в клетке, а на свободе. Он пытливо озирался кругом. Ка-

залось, что он боялся стоявшего посреди арены беззащитного человека. Хвост его висел, испуганно поджатый, а не кололся по бокам. И это новое чудовище втягивало в себя воздух и тяжело, бурно дышало. Потом, как бы преследуемый кем, нубиец пустился вдоль арены, бросился на парапет, сорвался, снова ударился бежать, обежал всю арену и как-то беспомощно остановился, ища глазами выхода. Из груди его вырвалось продолжительное жалобное рычание, точно подавленный плач.

Амфитеатр ждет, трепетно ждет. Прелестное личико Кратиллы и испуганно, и благоговейно обращено к небу.

Все ждут, переглядываются, пожимают плечами... Но и этот лев спрятался в клетку.

— Клянусь богами! Этот старик — чародей! — послышался чей-то голос сверху.

— Да! Он заколдовал львов! Смерть ему!

— Смерть! Смерть! — подхватили тысячи голосов.

Амфитеатр стонал. Это была буря, и волны, прорвавшие плотину, уже нечем было остановить.

— Он разбивал наших богов! Смерть ему!

— Он разбил изображение божественного Августа! Он ниспроверг и разбил нашу милостивую Фемиду! Топор ему! Топор ликтора!

Панса, смущенный и бледный, подошел к дуумвирам. За ревом толпы не слышно было, что он говорил им, но Попидий Цельсин наклонил голову, а бескровные губы его что-то прошептали: вероятно, «спарсионес», потому что действительно дышать было нечем, и воздух, казалось, давил физически.

— Спарсионес! — крикнул Панса служителям.

Затем эдил подозвал к себе нового центуриона, заменявшего собою Деция Сква, и отдал какое-то приказание.

Вскоре из боковой двери вышел на арену атлет, нагой от шеи до пояса, с красным, кровавого цвета, коротким передником. На плече у него покоился толстый пучок палок, а из середины их торчал и сверкал белою сталью огромный топор.

Увидев его, Авенир радостно поднял руки к небу.

— О, благодарю тебя, Владыка неба и земли! — громко воскликнул он. — Ты милостиво сподобил меня смерти великого апостола Павла!

И старик, сложив руки, опустился на колени. Он наклонил голову и ждал. Кратилла и ее мать закрыли лица руками.

Амфитеатр замер в ожидании нового зрелища.

— Клянусь богами! — проговорил кто-то. — Этого не заколдуешь.

Ликтор, вынув топор из пука палок и бросив последние на арену, стал в позу, подняв топор над головою. Затем он обвел глазами амфитеатр, как бы приглашая всех полюбоваться его искусством, и остановил свой взор на эдиле.

Панса махнул рукой. Топор сверкнул в воздухе, что-то глухо хряснуло, и седая голова мученика стукнулась о песок арены. Несколько мгновений обезглавленное туловище, конвульсивно вздрагивая, простояло и как бы припало к своей голове, облив ее серебристые седины алою кровью.

Амфитеатр, казалось, вздохнул полною, облегченную грудью. Наверху, упав головою на плечо матери, громко рыдала Кратилла.

— Спарсионес! — в третий или в четвертый раз беззвучно повторил старый дуумвир, требуя орошения амфитеатра благовонными жидкостями.

Действительно, воздух был невыносимо душен, словно перед грозой. Он давил и волновал, это испытывали на себе даже львы, привыкшие к африканскому зною. Но небо и Везувий были ясны и спокойны как никогда...

Приближался уже седьмой час по римскому времяисчислению, по нашему — первый полудни...

XXXV

Квинт, оставшись один в «Колумбарии живых», долго прислушивался, не донесется ли какой-либо звук из амфитеатра. Но все было тихо. Даже музыки не было слышно.

Он все ждал... Ни звука. Но вот послышалось странное, неестественное рычание льва, что-то протяжное и жалобное. Но ни криков, ни рукоплесканий.

Он опять ждет. Опять жалобный стон льва, и снова все тихо.

Совершилось? Но отчего ж не слышно дикой радости, бурных аплодисментов?

Мертвая тишина. Он снова ждет.

И вдруг до него доносится буря голосов. Но это не радость, не дикое торжество. Это, кажется, буря негодования. Крики, глухой стук о каменный помост.

Что случилось? Разве святой старик опять что-нибудь сделал, что вызвало негодование собрания? Но что же лев? Разве не растерзал его? Отчего он так протяжно, совсем, по-видимому, не злобно рычал или выл?

Снова рев льва. Но это, кажется, голос другого льва.

Квинт жил теперь только этими звуками. Смутно проносились перед ним какие-то обрывки прошлого, какие-то бесформенные образы, жизнь в Риме, мрачные катакомбы... Пещера циклопов... Кратилла — это какой-то светлый луч в его жизни... Что-то она, бедное дитя?..

А вот скорбное лицо отца, убитого горем, раздавленного... Матери он не видел с того рокового момента, как попал сюда... Говорят, совсем убита бедная женщина... Мальвия... она плакала тогда, в Базилике... Но Курций, бедный брат!.. Он поклялся разделить его участь.

О, какая буря голосов, грозных, угрожающих! Кому это? Кто вызвал этот взрыв негодования? Конечно, он, бедный старик. Но буря стихла... Совершилось?..

Опять милый образ Кратиллы, светлый луч. Погасший луч?.. Нет, он никогда не погаснет, и если за могилой есть жизнь, иная жизнь — жизнь духа, и там милый образ осветит собою мрачную область Аида...

Снова дверь скрипнула ржавыми петлями, снова блестящие шлемы и копья...

— Квинт, сын благородного Диомеда, тебя ждет арена, а может быть, и слава!..

— Вечные боги! Пошлите ему победу.

Это говорили пришедшие за ним воины. Они стали раздевать его, сняли тогу, тунику. Потом натерли все тело маслом и подвязали пояс. Квинт сам привесил к боку свой меч.

— Мужайся, благородный сын Диомеда! Мы будем желать тебе победы.

— И боги пошлют ему ее, клянусь Беллоной! — сказал добрый воин.

Квинт обнял их как братьев.

Они вышли из Колумбария и прошли крытым проходом до арены. Проходя мимо сполиариума, Квинт почувствовал тяжелый запах свежей крови.

Перед ним открылась арена. Он вступил на нее спокойно, с гордым величием. Опять в нем проснулся римлянин. Он чувствовал, что на него устремлены десятки тысяч глаз, как тогда, там, когда Циркус Максимус вмещал в себе весь Рим, а бешеный фессалийский бык подбрасывал рогами свои жертвы, как клоки сена.

Амфитеатр замер, любясь красотой мужественного тела. Это была дивная статуя, творение величайшего скульптора — Природы. Квинт сам сознавал силу своего обаяния, и это сознание в решительный момент сделало его полубогом.

Он уверенным блестящим взглядом окинул все ярусы амфитеатра. Он увидел Кратиллу, брата; сколько любви светилось в их глазах и сколько затаенной муки!.. Для них, для этих любящих, он должен победить!.. Яркая краска разлилась по его прекрасному лицу, краска непоколебимого мужества.

— Вечные боги! Как он прекрасен! — прошептала в умилении Фульгенция.

«Он само божество!» — повторила в душе юная Либелла.

Квинт ждал своего врага. В руке его сверкал меч.

— Я готов, — гордо сказал он, обращаясь к эдилу.

Панса подал знак, и раздалась боевая музыка, под звуки которой Тит шел на штурм стен Иерусалима.

— Выпустить на арену самого большого льва, Югурту! — крикнул Панса, давая музыкантам знак умолкнуть.

В амфитеатре воцарилась мертвая тишина. Слышно было даже сдержанное, трепетное дыхание многих.

Из роковой двери вышло страшное чудовище и раздалось его громкое рычание. Квинт сделал шаг вперед, желая привлечь внимание зверя. Лев заметил его, весь подобрался, намереваясь, по-видимому, сделать прыжок на свою жертву.

Но в этот момент в рядах амфитеатра произошло какое-то движение, мелькнуло что-то белое, послышался испуганный крик, и это белое, словно птица на крыльях, перелетело через парапет, перескочило через всю арену и с криком бросилось на льва... Чудовище испуганно попятилось назад... Перед ним, разметав белые руки, лежала навзничь Кратилла... Она была без чувств... К ней бросился Квинт... Амфитеатр дрогнул от подземного удара.

— О боги! Небесный огонь!.. Везувий! Везувий! — слышались отчаянные крики в верхних рядах.

— Землетрясение... Извержение пламени! О боги!

Женщины в ужасе поднимали руки по направлению к Везувию. Взоры всего амфитеатра обратились к северу, и все, казалось, оцепенело в невыразимом ужасе. Вершина Везувия разверзлась при ужасающих подземных ударах и выбросила из себя необычайный столб кроваво-красного дыма, который, вырываясь из невидимого жерла в виде исполинского черного ствола, разбивался в высоте на гигантские ветви с прорезавшими их чудовищной величины молниями. Подземный грохот усиливался, дрогнула вся земля, пошатнулись стены амфитеатра и небо, казалось, падало на землю... За подземным грохотом последовал каменный дождь с огнем и горячим

пеплом... Горящий пепел прожигал уже полотно веляриума... Огненные потоки заливали уже виноградники по склону горы...

Люди все забыли — арену, львов, Квинта, распростертое на арене бесчувственное тело прелестной девушки; все бросились к широким выходам, ища спасения. Зрители верхних ступов, стремясь вниз, к vomitorиям, толкали друг друга, спотыкались, падали. Упавших безжалостно давили ногами, стремясь скорее перескочить через препятствия, и сами падали, а по ним ступали другие, давили до смерти, ничего не видя, ничего не сознавая. Страшный подземный грохот невидимых адских сил дополнялся воплями бегущих и давимых людей, криками о помощи, проклятиями, воззваниями к богам, к небу, к безжалостному Орку, изрыгавшему огненные реки. Все vomitorии запружены живыми и мертвыми телами, запружены ближайшие улицы, форум Боариум... Но оставшимся в живых где искать спасения от этого пламенного дождя, от горячего пепла, засыпавшего улицы, площади, дома, храмы?..

И к довершению всего, к довершению отчаяния и ужаса почти моментально наступила ночь, темная, озаряемая лишь молниями, ужасающая ночь среди белого дня!..

Куда бежать?!

XXXVI

Квинт, подняв бесчувственное тело Кратиллы, стал искать выхода. В это время он увидел около себя брата и Аспасию. Они прибежали на арену, им уже не страшны были львы. Ужасного Югурты не было на арене, он исчез куда-то. Слышен был только отчаянный рев заключенных в клетки.

Квинт со своею легкою ношею направился по тому крытому проходу, который из «Колумбария живых» привел его на арену. Брат и Аспазия следовали за ним.

Кратилла открыла глаза.

— Где я? Что со мною? — слабо прошептала она.

— Ты со мною, милое дитя, на руках у Квинта, — отвечал молодой человек, нежно прижимая к груди молодую девушку.

— И я с тобой, дитя мое, твоя мама, — дрожа и целуя головку дочери, проговорила Аспазия.

Дверь в «Колумбарий живых» оказалась настезь, стражи и воины в ужасе покинули свои места и разбежались.

Войдя в свою темницу и наскоро одевшись, Квинт дал Кратилле напиться из глиняной амфоры, в которой ставилась вода для заключенных. Девушка окончательно пришла в себя и оправилась. Она была на ногах.

— Боже! Мы опять в темнице? — с испугом сказала она, озираясь кругом.

— Нет, милое дитя, мы сейчас выйдем отсюда, — отвечал Квинт.

— А где же лев? О Боже! Он не тронул тебя?

— Нет, мы спасены: за нас заступились громы небесные. А где же Авенир?

Все молчали. Тяжело было смущать того, кто сам только сейчас, да и то небесными силами, спасся от верной смерти.

— Его растерзали львы?

— Нет, львы не посмели коснуться святого мужа, — отвечал печально Курций. — Ликтор отсек ему голову топором.

— Бедный! Он так жаждал этого.

Беглецы уже были вне стен амфитеатра. Они вышли из него тою узенькою, никому неизвестною дверью, через которую проводили в темницу приговоренных к растерзанию дикими зверями. И эта дверь стояла настежь, ее страж тоже спасался бегством.

— Что это, уже ночь? — удивилась Кратилла, когда они очутились в узкой улочке, у самой городской стены.

— Нет, милая Кратилла, теперь только что перешло за полдень, но это Бог наслал свой гнев на землю за невинную смерть праведника, — отвечал Квинт.

— Боже! Какие громы! Какие молнии!

Они продолжали идти вдоль городской стены по направлению к морю. Сквозь раскаты подземного грома то там, то в другом месте по городу слышны были смешанные голоса и одинокие вопли. Пепел с шумом спускался из облаков на землю, застилая собою все вокруг. Нашим беглецам приходилось уже пробираться ощупью, держась друг за друга, чтоб не растеряться во мраке среди белого дня.

— Вечные боги! Где же ваш день? — взывал кто-то поблизости, потерявшись в темноте.

Беглецы достигли ворот Стабий и повернули направо, идя почти ощупью и натываясь на невидимых людей, по-видимому, спешивших укрыться вне городских стен, так как в городе от подземных толчков дрожали здания и колонны храмов и портиков.

Вдруг где-то поблизости ночной мрак огласился ревом льва.

— Это Югурта, я узнаю его голос, — с испугом прошептала Аспазия.

— Он теперь не страшен, — успокаивал женщин Квинт, — он бежал с арены, как и мы, и, растерянный, ищет спасения.

Они проходили мимо Одеона и театра Скавра. Подземные удары прекратились, но мрак был еще сильнее, потому что на время погасли молнии, вылетающие из жерла Везувия. Слышно было только, как густой пепел, спускаясь тучами из нависших над городом облаков, с шумом падал на каменный помост театра сквозь открытый перистиль.

— Это, кажется, огонек в мастерской скульптора Руфуса, — заметил Курций.

— Боже, там должен быть отец! — воскликнула Кратилла. — Возьмем его с собой.

Двери мастерской были открыты. Они вошли туда. При слабом свете висячей лампы видны были только белые группы статуй и мраморные боги. Но в мастерской и в магазине ни души, точно все в вымерло.

— Отец! Милый отец! — раздавался голос Кратиллы. Но мраморные боги молчали, пустота безмолвовала. Слышен был только шум падающего в отверстие атриума пепла, словно однообразный шум дождя без ветра. Девушке стало страшно. — Его нет здесь, — шептала она.

Они пошли дальше и скоро повернули по направлению к форуму. Но едва они поравнялись с храмом Эскулапа, жрецы которого с факелами в руках стояли на коленях, воздевая руки и факелы к изображению этого бога, стоявшего в нише атриума, как раздался страшный подземный удар. Колонны перистилия и стены храма дрогнули, статуя Эскулапа зашаталась, наклонилась вперед, и в тот же момент вся мраморная масса божества грохнулась, поразив в голову ближайшего жреца. Раздался крик ужаса.

— О боги! Где же справедливость? Нашего бога повергли в прах!

Это взывали к другим богам растерявшиеся жрецы низвергнутого подземным ударом бога.

— Манетон убит своим богом! Череп его раздавлен мрамором! О Юпитер! Это твои громы... Великий Вулкан, пощади смертных! — вопили обезумевшие от страха жрецы.

В тот же момент из мрачных туч, которые прорезали вырвавшиеся из жерла Везувия молнии, вместе с пеплом посыпались на землю камни, словно громадные градины, производившие страшный треск.

— О Боже! С неба падают камни! — в ужасе проговорила Аспазия.

— В храм! Скорее в храм скрывайтесь, под портики! — говорил Квинт, увлекая за собой Кратиллу.

Статуя Эскулапа лежала на мозаичном полу, разбитая надвое. Его эмблема, змея, также разбита; голова ее валялась около трупa жреца, вокруг которого металась и стонали его товарищи. Юная Гигия, прелестное изображение которой вместе с фиалом и змеею стояло рядом с изображением отца, теперь поверженного, казалось, оплакивала гибель своего отца-бога вместе с его растерявшимися служителями.

— Под каменным дождем нам дальше идти нельзя, — сказал Квинт, обращаясь к брату. — Попробуй под защитою портиков храма дойти до мастерской Руфуса; в его жилище ты найдешь подушки; захвати сюда четыре подушки; мы прикроем ими головы, и быть может, нам удастся дойти до дому.

— Сейчас... Дом скульптора здесь рядом, — сказал Курций, скрываясь во мраке, освещаемом от времени до времени багровыми молниями страшной горы.

Аспазия и Кратилла упали на колени. Они молились. Каменный дождь, то утихая, то усиливаясь, стучал по стенам, колоннам и портикам. То там то здесь слышались крики и вопли.

— Дальше, дальше от статуи Гигии, милая Кратилла, — говорил испуганно Квинт. — Она также может упасть.

— О вечные боги! О Юпитер! За что же такая кара! — стонали жрецы, стоя около своего разбитого божества, жалкие, беспомощные.

Скоро воротился Курций, нагруженный подушками. Пот с него лил градом. Воздух от падающего горячего пепла казался раскаленным.

Беглецы вышли из храма Эскулапа, прикрывая головы подушками; но они старались больше идти под защитою портиков, потому что за храмом Эскулапа тотчас же следовали портики храма Изиды. Между тем каменный дождь на время прекратился, молнии Везувия тоже, казалось, погасли, зато мрак усилился еще более. Это была беспросветная ночь.

— О, какая ужасная ночь! — невольно вырвалось у матери Кратиллы.

— Нет, благородная Аспазия, — сказал Квинт, — это не ночь, а день, судя по времени, до вечера еще очень далеко.

Они подвигались вперед быстро, насколько позволял пепел, которого нападало уже столько, что в нем нога вязла. В темноте слышны были шаги и голоса других бегущих.

— О вечные боги! — где-то вблизи раздавался слабый старческий стон. — Пощадите мои седины, боги Орка... я беспомощен... слабый старик, брошенный рабами...

— Это голос Цельсина! — сказал Квинт, прислушиваясь. — Надо как-нибудь помочь старику.

Они поспешили по направлению стонов и во мраке наткнулись на оставленные среди улицы крытые носилки. В них стонал брошенный рабами дряхлый дуумвир.

— Благородный дуумвир, — сказал Квинт, нагибаясь к носилкам, — мы донесем тебя до твоего дома, он же близко... Бери, брат, с того конца поднимай.

— О, великодушные граждане! — простонал старик. — Боги наградят вас за милосердие к беспомощному старику... Кто вы?

— Мы такие же смертные, как и ты, — отвечал уклончиво Квинт.

— О вечные боги! — вскричал старик. — Я узнаю голос мужественного сына Аррия Диомеда! Ты ли это, Квинт, которого я присудил к растерзанию? Ты ли?

— Да, мы оба с братом здесь.

— О, великодушные юноши! Боги пощадил вас... Позор на мою седую голову...

Скоро достигли дома дуумвира и внесли старика в атриум. Старая матрона с плачем бросилась к Квинту, обнимая его колени.

Братья, вырвавшись из объятий благодарной старухи, поспешили к своим. В темноте кой-где мелькали факелы, жалкое подобие света при абсолютном мраке! Это такие же беглецы, как и наши, искали спасения. Но где спасение, где безопасность в этом аду кромешном? Дома и храмы не спасали, они дрожали от подземных толчков и готовы были рухнуть, а открытые места засыпали горячий пепел и каменный дождь. К довершению всех ужасов Везувий стал выбрасывать из себя кипящую воду, смешанную с пеплом, и шипящие смрадные ручьи ее уже бежали вдоль некоторых улиц, заливая низменные места и подвалы.

Когда наконец наши беглецы достигли главного форума, форума Цивиле, вдруг яркий свет озарил все окружающее: форум с его колоннами и портиками храмов, конную статую дуумвира Кастриция Скавра, гигантское изображение Юпитера на ступенях его храма и бледные, почерневшие лица несчастных обитателей города, не знавших, где искать спасения, и во мраке метавшихся по форуму и среди его колонн с воплями ужаса и отчаяния. В перистиле Хальцидидики около своей

мраморной статуи стояла трепещущая Евмахия, вся в белом: это были две мраморные статуи...

Наши беглецы, озадаченные этим ужасным светом среди еще более ужасающего мрака, обратили взоры к северу. Это роковая гора выбросила из себя ужасный свет: гигантский сноп багрового огня с синими и зелеными клубами выбросил к небу массу раскаленных камней, осветив окрестности и бурное море ужасающим своею зловещею яркостью светом, а по ложбинам роковой горы медленно опускались вниз огненные гигантские змеи, дымясь и шипя, словно живые чудовища... Это медленно катилась вниз с вершины горы огненная лава, зловеще извиваясь в углублениях, точно огненные змеи на исполинской голове Медузы.

Земля дрогнула, опрокидывая с грохотом колонны, портики храмов и статуи их богов.

Квинт увидел, как упала Евмахия рядом с своею статуей. Затем снова настал прежний ужасающий мрак.

Беглецов настигала смерть страшнее той, какая ожидала их на арене амфитеатра.

XXXVII

В этот роковой для Помпей день оба Плиния находились в Мизене. Они знали, что день этот, посвященный празднику Вулкана, над страшной областью которого расположен был этот прелестный и счастливый город, назначен был для кровавого зрелища и что главным действующим лицом в предстоявшей кровавой драме будет старший сын Диомеда. Подобные зрелища всегда возмущали ученого римлянина, а тут они удесятирили его возмущение трагическою смертью такого симпатичного юноши, как Квинт. Младший же Плиний, чувствуя, что он неспособен будет на тот безумный подвиг, на который он, как ему казалось в минуты душевного порыва, готов был решиться, чтоб или геройски умереть вместе с другом, или ценою своей гибели даровать ему победу и жизнь, не мог уже отважиться присутствовать при кровавом деле в качестве простого зрителя и тем бесполезно, бесцельно терзать свою душу и потому тоже остался в Мизене, а чтоб забыться, не думать о том, что в этот день должно совершиться в Помпее, усердно занялся своими любимыми писателями Геродотом, Манетоном, Диодором Сицилийским и Титом Ливием, язык которого и своеобразный слог вместе с его

провинциализмами («patavinitates») очень занимали юного ученого.

Старик Плиний тоже занимался в своем таблинуме. Утро в этот день было роскошное, как мы сказали выше, хотя в атмосфере чувствовалось что-то душное, давящее, удручающее. Посидев у берега моря, где его любимец, скиф Перун, усердно возился около адмиральского катера, где он был кормчим, навмарх заметил, как и Помпониан у себя в Стабиях, что-то странное и непонятное в поведении моря. Оно местами, вблизи берега, как будто вздувалось, точно пухло, а потом, точно испуганное, беспорядочно убегало от берега. Казалось, что какая-то могучая сила встряхивала его из невидимой глубины. Все это казалось непонятным римскому натуралисту, и он с скептической улыбкой говорил себе, глядя на неразгаданные капризы моря:

— Если б я был несколько наивнее и не знал кой-чего из того, что я знаю, то я бы подумал, что это шалости nereид, которых распустил старик Нептун... Нет, это что-то другое... Я готов думать, что это капризы таинственного Вавора, о котором мне говорил верховный жрец храма Сераписа.

И ученый муж поглядел по направлению к ПUTEОЛИ, где виднелись серые окраины кратера форума Вулкана, с которого кое-где поднимались и таяли в воздухе белые струйки сернистого дыма.

— Нет, там все покойно.

Он перенес взоры дальше, туда, к Помпее. Он в последнее время часто думал о Везувии, он чего-то ждал от него. Он вспоминал свидетельство Диодора Сицилийского о том, что когда-то, в незапамятные времена, Везувий извергал пламя. А после Диодора прошло уже сто лет до Плиния. Плиний сам очень хорошо знал, что вся Помпея, весь Геркуланум и Стабии, все их площади и улицы замощены тою же лавою... А потом этот удивительный иудей Иоанн, что на острове Патмос... Он прямо велел передать Плинию: «Горы упадут на вас и огненные реки затопят вас»...

Он посмотрел на роковую гору. Но никогда еще, кажется, Везувий не вставал над Помпеей таким ясным и спокойным, как вечность.

Но ученый римлянин не мог, однако, отогнать от себя какое-то смутное беспокойство. Что-то чуялось в атмосфере — тяжелое, угнетающее.

Воротясь с берега моря, Плиний принял холодную ванну и, позавтракав устрицами и рыбой из Лукринского озера, с возлиянием в честь Бахуса доброго кубка хиосского, полный ко-

зий мех которого привез ему Помпониан прямо с острова Хиос, засел в своем любимом таблинуме. Полулежа на мягком бизеллиуме, обложенный подушками, он просматривал свитки папирусов со своими заметками, записывая тонким калямом некоторые новые наблюдения, как вдруг занавес таблинума осторожно раздвинула чья-то рука и послышался голос:

— Брат, ты не видел, что это там делается над Помпеей?

Это была сестра Плиния, вдова, которая жила у него после смерти мужа, заведывая хозяйством старого холостяка брата, горячо заботившегося о воспитании ее обожаемого сына, младшего Плиния. Это была женщина старая, тучная, как и ее брат, с добрыми карими глазами и характерным профилем римской матроны.

— А что, сестра? — с нахлынувшим разом смутным беспокойством спросил ученый натуралист. — Я сам ожидал сегодня чего-то.

— Даже не знаю, что и сказать: над Везувием или над Соммой, не разберешь, поднимается облако такой огромной величины и такого необычайного вида, что я и сказать не умею. А откуда бы, при таком ясном небе и такой тихой погоде, взяться этому облаку, это ведают только вечные боги.

Плиний торопливо встал и вышел из таблинума. Накинув с помощью раба на плечи легкую тунику, он отправился на ближайшее возвышенное место, с которого удобнее было наблюдать чудесное и непонятное явление. За ним поспешил и его юный племянник.

В величайшем изумлении они остановились и глядели. Там происходило что-то загадочное. Сначала они не могли различить, из Везувия ли выходило это ужасное, чудовищное облако или из Соммы; но скоро стало понятно, что это творится что-то необычайное с Везувием. Чудовищное облако походило на гигантскую пинию: из вершины горы выходил, словно живой, необычайно быстро растущий страшной толщины черный ствол, который, поднимаясь выше, откидывал от себя в разные стороны такие же исполинские ветви.

— Vapor, непостижимый Vapor... это его работа, — бормотал пораженный страшным видением ученый римлянин.

Ужасное облако постоянно меняло цвета: то в нем преобладали белые краски, то черные, то пятнистые, а в самом стволе какими-то брызжащими огненными снопами сверкали молнии.

— Надо ехать... надо ближе видеть это дивное явление природы, — с понятною любознательностью волновался ученый. — Вели сейчас Перуну изготовить легонькую четырехвесельную лодку, — сказал он племяннику. — Я еду туда.

— Но, дядя, не опасно ли это? — спрашивал юноша.

— Без опасности ничто не достигается, а тем более великое... Моя жизнь на исходе, а боги еще не являли мне ничего подобного... Я еду!

Юноша должен был повиноваться.

Через несколько минут Плиний уже плыл к Помпее. Его же племянник остался в Мизене. Трудно и даже невозможно объяснить, что заставило юношу остаться дома тогда, когда на его глазах творилось что-то такое необычайное, что нельзя было не поддаться искушению, особенно в его годы, рассмотреть это странное явление природы поближе. Естественный ли страх пред грозным призраком бушевавших стихий, или боязнь быть невольным свидетелем и безучастным, презренным зрителем кровавой борьбы Квинта с диким чудовищем, борьбы и, конечно, неминуемой ужасной смерти, или, наконец, нежелание встречи, может быть нечаянной, с Мальвией, к которой юноша чувствовал теперь глубокое отвращение, отвращение человека, у которого первую, самую чистую иллюзию его жизни так недостойно разбили, — решить этого мы не беремся. Но случайно или не случайно, а вышло так, что непостижимое Провидение как будто хотело сохранить его для мира, как нечто выдающееся в бесцветной людской ординарности, сохранить будущую знаменитость и живого свидетеля той роковой смерти, какая постигла его великого наставника как будто бы за то именно, что он хотел похитить у грозной природы ее страшные тайны. Впоследствии он сам писал Тациту, просившему его сообщить подробности относительно смерти его знаменитого дяди для передачи потомству, что когда будто бы дядя предложил ему на выбор: ехать с ним или остаться дома, то он отвечал, что охотнее займется делом. «Случилось так, — пояснял он, — что дядя сам задал мне написать что-то».

Плиний отплыл из Мизена с несколькими матросами, с прислуживавшими ему постоянно старым рабом Нумою и писцом. Кормчим был, по обыкновению, его скиф Перун, души не чаявший в своем добром навмархе.

Видение, представлявшееся взорам Плиния, становилось все грознее и грознее. Он следил за ним лихорадочно и с лихорадочною поспешностью, но с полным спокойствием духа, диктовал писцу описание тех необычайных метаморфоз, какие представляло собою страшное наблюдаемое им зрелище. Непроницаемая туча, рассекаемая молниями и снопами искр, уже окутала собою Помпею и Геркуланум. Серый пепел тучами носился над морем и засыпал ладью Плиния. Пепел скоро смешался с кусками пемзы и камнями. Приходилось защищать

головы от этого каменного града. Море страшно бушевало, вздымалось, как живое чудовище, и, казалось, убегало от берега. Оно словно уходило от Помпеи.

Вознамерившись ехать к Диомеду, Плиний вдруг увидел, что этого сделать уже нельзя. Море отодвинулось от стен Помпеи, и пристать было негде, да притом над несчастным городом царила уже беспросветная ночь, когда над Питеузой еще горело яркое солнце.

Плиния охватило раздумье: не воротиться ли, пока еще можно, из этого ада? Но как же не узнать, что там делается, что будет, наконец, дальше, до чего дойдет природа в своей непонятной ярости, на что еще способны эти, точно сорвавшиеся с основ вселенной, ужасные стихии!

— Счастье благоприятствует отваге... За нас Фортуна!.. Вези меня к Помпониану! — крикнул он кормчему.

А в ту сторону, к Стабиям, виден еще был, хотя и слабый, просвет, что-то похожее на мерцание дня среди ужащающего мрака Помпеи и Геркуланума. При этом слабом мерцании чего-то похожего на сумрачный день, сквозь тучи падающего с неба пепла видно было, что население Стабий, объятые паникой, беспорядочными массами стремились к морю, спасая из пожитков что можно, что ценнее и легче, что первое попало под руку, и снося все это на берег, у которого беспомощно колотились в волнах бушующего моря суда и рыбацкие лодки. Казалось, само море обезумело от паники; несмотря на то, что ветер был не береговой, а морской, море гнало седые буруны от берега, не давая возможности судам приблизиться к суше, а ветер гнал эти буруны обратно. Казалось, природа забыла свои вечные законы, законы тяготения и правильного движения, и металась, как безумная...

— Природа! Где же твои законы?.. О вечные боги! — доносился с берега до слуха Плиния отчаянный голос.

Плиний узнал голос своего друга Помпониана. Он велел кормчему править на этот голос — слабый маяк, сигнал, вырвавшийся из глубины души человека, потерявшего веру в вечные законы природы.

Но море так трепало суда, колотившиеся на его обезумевших волнах недалеко от берега, что даже такому опытному кормчему, как понтийский скиф, трудно было провести между ними, не разбив вдребезги, легкое суденышко римского наварха.

Но он провел-таки. С большим трудом удалось матросам вынести на берег своего наварха, который в полумраке не то

дня, не то ночи едва мог различить высокую фигуру своего трепещущего друга.

— О боги! — бросился к нему в объятия Помпониан. — Ты ли это, великодушный друг? Как отважился ты искушать богов в их праведном гневе и решился переплыть через бешеные волны Флегетона в этот мрачный Орк? О, какое доказательство дружбы!

— *Amicus Pomponianus, sed magis amica scientia*, — весело отвечал Плиний перифразом известного изречения древности, обнимая растерявшегося оратора. — Я хочу ближе видеть, что это творит разбушевавшаяся природа.

— О, друг! Природа будто сорвалась с цепи: над нею не властны ни Вулкан, ни Нептун... О вечные боги! Что с вами?

— Это старики шалят после долгой спячки, — шутливо отвечал Плиний, желая видимой беспечностью вселить мужество в растерявшегося друга.

— Нет, это сбываются роковые слова того иудея Иоанна, что на острове Патмос: «Горы упадут на вас и огненные реки затопят вас!» — говорил Помпониан точно во сне... — Вон!..

Он не кончил, он только поднял руку и в невыразимом ужасе показал на Везувий. Вопли огласили весь берег, по которому метались люди. Даже Плиний в ужасе попятился назад... Непроницаемый мрак мгновенно превратился в ослепляющий свет...

Они увидели: Везувий выбросил из себя невероятную массу огня, гигантский сноп пламени, в котором среди багрового огненного моря клубились такие же огненные волны синего и зеленого цвета. Пламя это осветило разом и бурное море, и далекую Питеузу, а по самой горе катились вниз, дымясь багровым дымом, огненные реки, извиваясь, как гигантские змеи... Потрясающий грохот раздался под землей, которая точно запрыгала, опрокидывая колонны и портики зданий... Затем опять наступил беспросветный мрак...

Это был тот момент, когда Квинт и другие беглецы, достигнув форума, были свидетелями этого ужасающего явления и видели, как вместе со своей статуей упала, вероятно мертвая, жрица и строительница Хальцидики — Евмахия.

XXXVIII

Плиний, однако, скоро оправился от своего смущения. Он более других знал силы природы.

— Ну, теперь пока миновала гроза, — сказал он, когда снова наступили мрак и относительная тишина.

— Как миновала? — удивился Помпониан. — А эта тьма крошечная?

— Она рассеется вместе с пеплом и дымом.

— А те ползучие огни на горе, эти багровые ручьи?

— Это просто горят хижины, с испуга брошенные поселянами; догорают и потухнут... Главное то, что сердитый узник вырвался из заточения и теперь он уже безопасен.

— Какой узник? — с удивлением спросил Помпониан.

— Вапор.

Помпониан еще больше удивился. Сам потрясенный почти до потери сознания, он готов был думать, что и Плиний находится в таком же столбняке.

— Боги, что он говорит! — испуганно прошептал он. — Какой узник Вапор, говоришь ты, друг Плиний?

— Просто Вапор.

— Это пар? Простое римское слово?

— Да, простое римское слово: varor, varoris, varori.

Плиний говорил это, по-видимому, шутливо. Помпониан это чувствовал, слышал, хотя не мог в темноте рассмотреть выражение лица своего ученого друга; факелы же, беспорядочно мелькавшие то там то сям по берегу, еще более усиливали общий мрак там, где свет факелов не мог побороть его. Помпониан не знал, что и подумать.

— К чему же тут пар и к чему узник? — спросил он.

— Видишь ли, друг мой, — серьезно заговорил ученый, — этот страшный взрыв и это пламя произошли от неравной борьбы двух стихий: воды и огня. Вода из царства Плутона, говоря языком наших наследственных верований, проникая с моря и из атмосферы, во время дождей, в область Вулкана, в область вечного подземного огня, вступает в борьбу с враждебною ей стихиею, с огнем, но она не может победить своего врага, он слишком могущественен; его нельзя залить, как мы заливаем его на слабом пожаре или у себя на очаге, для этого нужен целый океан, а океан не может весь, разом, проникнуть в царство Вулкана, слишком прочна гранитная и железная кровля его кузницы и плотно притворены ворота его владений. Остаются для Нептуна только щели, скважины в прочной кузнице Вулкана. В эти-то щели и просачивается вода из царства Нептуна, и начинается борьба. Но там, где огонь сильнее и обильнее воды, он превращает последнюю в Вапор. Это-то новое божество, рожденное от отца Огня и матери Воды, страшное, всемогущее божество. Оно чувствует себя узником в царстве Вулкана, и чем уже, теснее его темница, тем ужаснее ярость этого божества, стремяще-

гося на свободу, в пространство вселенной. Понимаешь, мой друг?

— Понимаю, — отвечал Помпониан, с боязнью поглядывая на ручки лавы, огненными змеями медленно сползающие все ниже и ниже с роковой горы.

— Этот взрыв, что напугал всех, и тот огненный фонтан, что взлетел в небо, — продолжал Плиний, — это и был момент освобождения бога Вapopa. Теперь он не страшен, он милостиво разлился в пространстве вселенной.

— Так ты полагаешь, что более страшного взрыва уже нельзя ожидать? — спросил Помпониан.

— Полагаю, что да.

— О вечные боги! Как отрадно это слышать.

— А чтоб окончательно успокоить тебя, мой друг, я знаешь что попрошу у тебя?

— А что? Я готов все сделать для тебя, ты это знаешь.

— Знаю. Так вот что: этот проклятый зловонный пепел, что до сих пор вылетает из кузницы старика Гефеста и забивается в нос и в уши, даже за тунику проникает к самому телу, так надоел мне, что я прошу у тебя ванны.

— С удовольствием, благородный друг.

— А потом ты угостишь меня ужином, я так проголодался.

— Отлично, клянусь богами.

— И мы с тобою, друг, сделаем возлияние новому богу.

— Это Вapору-то, что так напугал нас?

— Да, именно богу Вapору, сыну бога Огня и богини Воды.

Предложение это в значительной степени успокоило Помпониана. Значит, не так велика опасность, если такой знаток природы и ее сил, как Плиний, говорит о страшном явлении так спокойно и уверенно.

Рабы принесли между тем горящие факелы с виллы Помпониана, и друзья вместе со своей свитой отправились в город, напуганное население которого с трепетом ожидало новых бед, возлагая все свои надежды на стоявшие в море суда с мигавшими и качавшимися во мраке огоньками. Но как попасть на суда? Море так бурно, а в темноте оно казалось еще страшнее.

Подвигаясь при свете факелов к вилле Помпониана, друзья увидели идущую к ним навстречу странную фигуру. Она едва передвигала ноги и жалобно стонала. На голове ее виднелось что-то белое, бесформенное.

— О, милое дитя! О, моя Аспазия! — услышал Помпониан знакомый голос.

— Это ты, Зено? — окликнул он.

— О Всемогущий Боже! Это ты, благородный защитник наш?

— Я, добрый Зено! Что с тобой?

Зено, это был наш скульптор, шел пошатываясь. На лице его видны были следы крови. То, что они видели у него на голове, белое, бесформенное, была большая подушка, которою он защищал голову от падавшей с воздуха золы и кусков пемзы.

— Где мое дитя? Где моя жена, которых ты, великодушный оратор, спас от смерти? — были первые слова, которые он произнес, узнав в темноте Помпониана и Плиния.

— А что с ними? Я не видел их, — отвечал Помпониан.

— О Господи! — говорил, часто останавливаясь от усталости, Зено. — Я искал их по всей Помпее... Я знал, что они пошли в амфитеатр на это ужасное зрелище... Я отговаривал их... Сам я не мог идти с ними, я был под стражей за мое прежнее бегство от своего господина, скульптора Руфуса... Они пошли... Кратилла, как безумная, все твердила, что она спасет от льва своего благодетеля, Квинта... Бедное дитя!.. Потом, когда начались эти ужасы, земля трепетала, стены домов трескали и падали, когда среди дня наступила эта страшная ночь и стражи мои разбежались, я также ушел из-под стражи, чтоб найти и спасти мое дитя и жену. Я побежал к амфитеатру... Там было пусто... Мрак, ночь. Одни львы ревут беспомощно в клетках. Я ощупью добрался до сполариума, не найду ли там их трупов... Вдруг Везувий выбросил из себя огненный столб, и при свете этого адского огня я увидел шесть трупов. Один из них обезглавленный, в нем я узнал святого мужа... Это был Авенир, великий праведник.

— Так его обезглавили? — с ужасом спросил Помпониан.

— Обезглавили.

— А другие пять трупов? — спросил Плиний.

— То были гладиаторы.

— А Квинт, сын Диомеда?

— Его там не было, — отвечал Зено.

— Так он, может быть, остался в темнице?

— Нет, и темница оптерта, я ощупью и в «Колумбарий» пробирался, никого там нет.

— Так, вероятно, он дома, у отца?

— О! — Зено заплакал. — Я бегал и туда... Видите кровь на лице? Это от каменного дождя... голову пробило до крови. И там, у Аррия Диомеда, о них ничего не знают... ни

сыновей его нет, ни моих жены и дочери. Я иду их... Они, должно быть, погибли.

— Но где же может быть Квинт? — спросил Помпониан. — Его труп тоже должен бы находиться в сполиариуме.

— Нет его там, — беззвучно повторял Зено, — нет, нет, и моих нет.

— Впрочем, Квинта мог растерзать лев, — заметил Помпониан. — О вечные боги!.. Но должны бы остаться кости!

— Кости! — с горькой усмешкой сказал Плиний. — Кости или на арене, или в клетке льва.

— Но где Курций, Аспазия, Кратилла? — спрашивал Помпониан.

— О Боже великий! — всплеснул руками Зено. — Они погибли... Когда страшные молнии озаряли улицы Помпеи, я видел трупы, засыпанные пеплом. О Боже, для того ли я их нашел, чтобы опять и навсегда лишиться!

Он был безутешен. С трудом уговорили его зайти к Помпониану хоть на час, отдохнуть, собраться с силами.

XXXIX

Везувий между тем продолжал свое разрушительное дело.

Мы оставили Квинта и его спутников на форуме, когда ужасный свет, которым роковая гора озарила Помпею, Геркуланум и Стабии, вдруг почти моментально заменился еще более ужасающим мраком. Кругом, вблизи и вдали, крики испуга и отчаяния возобновились с новою силой.

— О безжалостные боги! Я не знаю, куда идти, мы потеряли путь, — слышался в темноте чей-то отчаянный голос.

Квинт с трудом узнал голос Марка Туллия.

— Нам надо выбраться к морю. Но где Порто-Марина? — это был голос Флакка.

— Она должна быть влево.

— Но я натыкаюсь на колонны, я ничего не вижу, я падаю.

— Опять молния! О Юпитер! Ты спасаешь нас своим божественным огнем. Я вижу, вон храм Венеры, вон Базилика. Идем туда.

— О, какие молнии! Скорей, скорей, пока видно!

Молнии были действительно страшные, ужасающие, яркость которых еще более увеличивала мрак внизу и над го-

родом. Огни этих молний были до того разнообразны и причудливы, до того не похожи на обыкновенные явления земли и небесных светил, что наводили собою еще больший ужас на того, кто имел несчастье их видеть. То казались они лазурными, светящимися во мраке ночи волнами моря, неведомою силою выброшенными из недр горы, то ярко-голубого цвета, то багровыми, как зарево пожара, то сверкали ослепительным пурпуром. При свете их облака дыма, вылетавшего из жерла горы, принимали формы чего-то живого и еще более ужасного. То молнии вдруг мгновенно потухали, и тогда горячий дождь лил с неба целыми потоками, а под землей были слышны глухой гул и клочкотание вместе с воем и свистом подземной бури: это пары и газы искали выхода из своего невидимого заточения и колебали землю. Слышен был грохот падающих колонн, портиков и статуй вместе с человеческими воплями и стенаниями.

Когда Флакк и Туллий достигли ворот Порты-Марины, они при блеске молнии увидели стоявшего под защитой крытого пролета часового. Молния осветила его медный шлем и мужественное лицо. То был Тумулюс.

— О, Тумулюс! И ты не бежишь из этого ада! — воскликнул Туллий.

— Я не получил приказа оставить свой пост, — отвечал воин.

— О, какие теперь приказы, когда сами боги отвернулись от нас! — вскричал Флакк.

— Я римский воин, я умру на своем посту!

Толпа бегущих увлекла с собою молодых друзей.

Город пустел. На улицах и на форумах реже и реже мелькали бледные испуганные тени. Молнии, от времени до времени прорезавшие мрак, освещали то упавшие колонны и статуи, то трупы людей, полузасыпанные пеплом или придавленные капителью полуразрушенного храма. Грохот и колебания земли повторялись чаще и чаще. Скрываться в домах и храмах было так же опасно, как и на открытых местах под горячим или каменным дождем. Вне городских стен, у моря, дальше от ужасной горы, и там не было спасения: горячий пепел достигал и туда, камни падали и на берег, и в море, а подчас несчастных обливала горячая вода, выбрасываемая адской горой. Там, где большинство искало спасения, были вопли, стенания и проклятия.

— О вечные боги! Где же вы! — ломал в отчаянии руки Саринус, видя, как разваливались стены его гостиницы и разбивались одна о другую амфоры с вином.

— Богов нет! Остались только Фурии и Гарпии! — рвала на себе волосы Тонитра, мужественная супруга Саринуса. — О, проклятие! А мы ожидали от этого дня столько благополучия.

Роковая гора не только выбрасывала из себя пламя и горячие потоки воды, смешанной с пеплом, но отрывала от своего жерла и бросала на недостижимую высоту осколки и целые глыбы скал, которые потом с ужасающей силой падали на землю, на дома и храмы, часто разбиваясь на множество осколков, которые метали искры, зажигавшие все, что могло воспламеняться.

Диомед, который оставался дома вместе с женою и дочерью, когда на арене амфитеатра начались бои гладиаторов, ожидая рокового известия о сыне, при начале извержения вышел на террасу, открывавшую вид на Везувий, и с ужасом увидел, что творится в природе что-то неисповедимое. Убитый горем, он приписал это страшное явление гневу богов, гневу на его сына, на новое учение, принесшее столько зла его родному городу, и эта суеверная мысль еще более терзала его измученную душу. Но любовь к сыну превозмогла и страх гнева богов, и тот ужас, который холодил кровь при виде страшной картины извержения: он хотел поскорее узнать, что с Квинтом. В душе его еще теплилась, подобно искре, слабая надежда, что сын его, такой мужественный, вооруженный мечом, может и остаться победителем.

Несмотря на то, что за первыми огненными явлениями гнева богов наступил мрак, Диомед решился идти отыскивать сыновей или, по крайней мере, узнать об участи старшего. Он велел Канису зажечь фонарь, и они вместе отправились к городским воротам. За ними пошел и Минос, верный пес дома Диомеда. Едва они поравнялись с часовым, стоявшим в правом крытом пролете ворот Porta Геркуланума, как столкнулись с Синистрой, которая, рыдая и падая в темноте, искала спасения вне стен несчастного города, на вилле у своих господ. Сначала она даже не понимала ничего, когда с ней заговорили.

— Ты откуда? — спросил ее Диомед, останавливаясь под защитою пролета.

— О, господин! Я была там, — отвечала рабыня, дико озираясь.

— Что ж он? Где? Что с ним?

— О, господин! Милостивый господин! Он убит, убит!..

— О боги, жестокие, адские боги! — схватился за сердце несчастный старик. — Мой сын, мой дорогой Квинт убит!

Рабыня теперь только поняла, о ком ее спрашивали. Она припала губами к ноге своего господина.

— О, прости, прости меня, благородный Диомед! — воскликнула она. — Я не то сказала... Он, молодой наш господин, был жив.

— Был, говоришь, несчастная? А теперь?.. О боги!

— Он был жив, когда началось это... О, господин! Его не тронул лев.

— Не тронул!.. Кто же убил?

— О, господин, прости твою рабыню... Я с ума схожу от страха... я бежала... я задыхалась от пепла... Там камни падают с неба....

— Кто же убит, несчастная!

— Гладиатор... Барка... Сутор...

В эту минуту в пролете ворот показалось новое лицо. И на этом лице был написан ужас. Диомед тотчас же узнал в нем преторианца Кнея Авидия.

— А, благородный Кней! Ты оттуда? — спросил он.

— Оттуда, благородный Аррий, из амфитеатра, — отвечал, едва переводя дух, молодой преторианец.

— А что мой сын, Квинт? Ты видел его?

— Видел... Он мужественно шел на льва... но лев его не тронул...

— О милосердные боги!.. Где же он?

— Я видел его еще на арене, когда началось это... О боги! Как только я еще жив...

— А потом?

— Не знаю... Да, помню... Он, кажется, нагнулся к этой гречанке, к Кратилле, чтоб поднять ее...

— К Кратилле? Чтоб поднять? Откуда?

— Она выбежала на арену, когда лев... О боги! Какой удар! Какие молнии!

Удар подземный заставил дрогнуть ворота, под которыми они стояли, и соседние стены. Молнии осветили зловещим светом кратер горы и тотчас же потухли.

— Когда лев — что? — спрашивал Диомед. — О боги! Опять удар... Ну?

— Лев вышел... шел к Квинту... нет, Квинт шел на льва... В это время на арене появилась эта Кратилла и упала мертвая...

— Мертвая? А Квинт?

— Квинт нагнулся к ней, и тут сейчас началось это...

Шипящий поток быстро мчался с горы, распространяя душливый серный запах. Он несясь прямо к воротам, мимо

мавзолея Кастриция Скавра. Поток виден был издали по вспыхивавшим в нем и горевшим фосфорическим светом огонькам.

— Благородный господин! Надо спастись! — воскликнул старый Канис.

— А сын мой? Оба сына? Что с ними?

— Мы с Миносом пойдем отыскивать их, — сказал верный раб. — Умный пес чутьем укажет мне дорогу.

Диомед сам чувствовал, что было бы безумием ему, едва стоящему на ногах, пускаться в этот ад крошечный. Он безнадежно махнул рукой.

— О вечные боги! За что такая кара? Чем мы заслужили гнев Немезид?

Кней Авидий старался увлечь старика назад.

— Пойдем, благородный муж, я доведу тебя до твоего дома, тут недалеко... Там мы подождем возвращения твоих сыновей.

Возвращения! Это слово целительным бальзамом упало на измученную душу старика. Он согласился, чтоб его отвели домой. Возвращение сыновей... Какая милость богов! Его дети еще могут возвратиться к нему.

Порывом ветра разорвало тучи, и они увидели над жерлом Везувия какие-то багровые фигуры чудовищ, которые, казалось, сталкивались и боролись на воздухе, преследуя друг друга, и то исчезали, то вновь появлялись... Диомеду казалось, что это титаны борются с богами, но за кого? За каких других богов или за смертных?

Приближаясь к своему дому вместе с Кнеем Авидием и Синистрою, осыпaeмый пеплом, Диомед услышал отчаянные вопли дочери, которая звала его. Пепел уже засыпал открытые части их дома, а удушливый запах проникал всюду. Мать Мальвии, потрясенная событиями последних дней, а теперь доведенная до крайнего ужаса грозным явлением бушевавших стихий, судорожно металась на тигровой шкуре своего ложа.

Между тем временами вместе с пеплом падал из невидимых туч горячий дождь, о крышу дома стучали камни, а молнии ослепляли глаза. Надо было искать более безопасного убежища. Таким убежищем оказались просторные подвалы, целая подземная галерея, уставленная по стенам амфорами с вином.

— Что Квинт? Где мой сын? — были первые слова, которые произнесла Ливия, придя понемногу в чувство и увидав мужа.

— Успокойся, боги сохранили его нам, — отвечал Диомед. — Вот свидетель его чудесного спасения, — указал он на Кнея Авидия.

Преторианец подтвердил слова старика.

— О милосердные боги! — заплакала Ливия. — Мой сын! Мое дитя!

Но медлить было нельзя. Жилище Диомеда стояло ближе всех к Везувию, и потоки лавы и горячей воды с пеплом прежде, чем залить Помпею, должны были пройти через загородное жилище Диомеда. Решили тотчас же перебраться в подвальное помещение. Туда были перенесены лампы и зажжены, потому что мрак господствовал везде, и наверху и внизу, только багровые и синие молнии временами озаряли эту беспросветную ночь, ночь среди дня. В это помещение при помощи рабынь перевели Ливию, и мать с дочерью, окруженные рабынями, несколько успокоились.

Между тем везде кругом дело разрушения шло с ужасающей быстротою. Соседние жилища уже заливала горящая лава. Изгнанные из своих домов несчастные жертвы террора природы бежали к морю, чтобы спастись от огня на судах и лодках. Но стоны и вопли неслись и оттуда: иные суда, вследствие бурного волнения моря, не могли приблизиться к берегу, а другие уже были переполнены спасавшимися от верной гибели.

Диомед, несколько успокоенный насчет участи сыновей, просил молодого преторианца помочь ему взять из верхнего отделения дома некоторые сокровища и деньги; но едва они успели захватить кое-что, как со стороны моря, в числе многих голосов и воплей, они услышали, как им показалось, голос Квинта и лай собаки, с которою Канис пошел отыскивать своих молодых господ. Захватив ключ от калитки сада, ведущей к морю, они поспешили туда.

Но в этот момент случилось что-то такое страшное, что действительно могло навести на мысль о последнем дне Земли, о последнем ее моменте.

При оглушающем подземном гуле, при свистящем шипении подземных газов море и весь берег с Везувием так дрогнули, что, казалось, столкнулись в яростной борьбе за то, на чьей стороне должно быть разрушение и смерть. Море поднялось на необычайную высоту и залило собою не только ближайший берег с толпившимися на нем беглецами из несчастного города, но и сад Диомеда, захлестнув волнами его самого и молодого преторианца. Последовал крик сотен утопавших людей, такой крик, какой

не поддается никакому описанию. В то же время Везувий весь осветился багровым пламенем. Несколько огненных снопов, среди которых вылетал и шипел средний, исполинский, красный, как пурпур, сноп, отбросили от себя массы горящих камней, гигантских кусков пламенеющей серы, а от краев кратера полились реки огненной лавы, которые текли, дымясь и шипя, к несчастному городу, осужденному неисповедимым роком на неслыханную гибель. В том месте, где была недавно пещера Циклопов, гора распалась надвое, точно открылась огненная пасть исполинского чудовища, и из этой пасти ринулось вниз целое море огня, целое море расплавленной лавы, которая залила собою весь низ горы, ее подножие и с ужасающим шипением столкнулась, буквально столкнулась с морем: море, казалось, силилось залить это другое, огненное море, и они встретились на пространстве, занимаемом Геркуланумом и северною частью Помпеи. Дом Диомеда стоял как раз на пути этой ужасной встречи моря и огня.

Диомед и Кней Авидий уже испустили дух под тяжестью морской воды, смешанной с пеплом Везувия и мелкими камнями, у самой калитки сада. В тот же момент горы воды, напирая дальше, ворвались волнами в подвал, где скрывалось семейство Диомеда. Несчастные жертвы террора природы, Ливия, Мальвия и пятнадцать рабынь, бросились было к верхнему выходу, но в то же мгновение деревянная дверь под напором тяжелой горячей лавы, уже успевшей добежать до самого моря, упала внутрь, и лава ринулась в подвал. Несчастные жертвы успели только прижаться к стене, как моментально были залиты kloкотавшей лавой, которая, наполнив собою весь подвал, с шумом и свистом потекла дальше и похоронила в своей раскаленной могиле уже бездыханные трупы Диомеда с ключом и деньгами и Кнея Авидия с драгоценною, спасенною им вазою.

Над тем местом, где было жилище Диомеда, продолжал катиться к морю огненный поток, шипя и как бы злобясь на это самое море, которое отходило все дальше и дальше, уступая место более сильному противнику.

Только через семнадцать веков было открыто из-под остывшей лавы жилище Диомеда и там найдено, уже превратившееся в эту самую лаву, все семейство некогда счастливого и богатого Аррия, исключая его сыновей. Одна грудь Мальвии, полная, девственная грудь, отчетливо отпечаталась в лаве, и до сих пор этот отпечаток античной груди показывают посетителям в неаполитанском музее.

Канис, расставшись с своим господином, пошел мужественно по геркуланумской улице, которая должна была вывести его на форум. Со всех сторон ему слышались отчаянные вопли: жена, в темноте или в толпе бегущих разлученная с мужем, напрасно взывала к богам о помощи; дети жалобным криком призывали потерянных родителей. Испуганный рев животных дополнял собою ужасный концерт.

Прикрыв голову толстым войлочным колпаком и капюшонном плаща, Канис стойко боролся с обсыпавшим его пеплом, но камни давали себя чувствовать, и, когда гора выбрасывала этот каменный дождь и он достигал улиц Помпеи, Канис на время прятался или под какой-либо навес, или в брошенный дом. Чаще и чаще попадались ему навстречу или пересекали путь беглецы, освещая себе путь факелами, которые часто гасли от падавшего с неба горячего дождя с пеплом. При свете факелов и молний он видел посиневшие, мертвенные лица. Говору не слышно было, слышны были только стоны и мольбы. Иногда настигали его шипящие газами горячие потоки, и тогда он взбирался на ступени зданий или портиков. Верный Минос, следуя за ним, часто взвизгивал, попадая то под каменный дождь, то в кипящий ручей.

Приближаясь к Венереуму, около дома Гая Саллюстия, Канис, к удивлению, услышал чей-то веселый голос, по всей видимости, человека совершенно пьяного, не сознающего всех ужасов того, что вокруг происходило.

— Ну, вечные боги, будет вам дурачиться! — говорил пьяный голос. — Вы думаете, я вам верю? А наплевать мне на вас, вот что!.. Я пьян... Гораций сказал:

Nunc est bibendum! Nunc pede libero
Pulsanda tellus!..

Тьфу! откуда это пепел?.. Вон и молнии... Это Юпитеришка, старый дурак, ломается... Фу, какая молния... Наплевать... Я одного Вакха почитаю, вот так бог!

Канис узнал голос пьяного скрибы и в ужасе остановился. Пьяница шел куда-то, сильно пошатываясь, а напротив него, едва потухла молния, в темноте сверкнули фосфорическим огнем два страшных глаза. Следовавшая затем молния осветила какое-то чудовище с гривою, которое, сделав прыжок к пьяному, моментально повалило его на мостовую.

— Ах ты подлая тварь! Ты лезешь со мною целоваться, — бормотал пьяный. — Прочь!.. Quousque tandem... О! о! боги!

Чудовищный лев Югурта не тронувший на арене ни Квинта, ни Кратиллы, теперь мучимый голодом, несмотря на все ужасы природы, терзал несчастного пьяницу.

— О боги! о! о-о! — слышалось предсмертное хрипение пожираемого зверем человека под непрерывные раскаты грома.

Канис, к которому с испугом жалась собака, повернул в сторону.

Подходя к гостинице, которая называлась «Taverna Fortunata», недалеко от дома Полибия, он заметил, что Минос как-то заволновался, начал нюхать воздух, лизнул руку своего хозяина и быстро побежал вперед. Вскоре Канис услышал радостный лай верного пса и поспешил по направлению голоса собаки. При свете фонаря он различил четыре фигуры, приближавшиеся к нему, и свою собаку, которая прыгала около них и радостно лаяла. Головы неизвестных были покрыты подушками.

— Кто с тобой, верный Минос? — спрашивал собаку знакомый голос.

Канис узнал голос Квинта.

— О великие боги! Он жив, он спасен! — радостно воскликнул верный раб.

Он бросился целовать одежду своих господ.

— Вечные боги! Они пощадили моих добрых господ, — бормотал он. — О, что за день, что за ужасы! А вот и наша маленькая Кратилла!..

Квинт и Курций обнимали старика. Кратилла прижалась к нему, словно к отцу родному.

— Что отец, мать, сестра? — спрашивал Квинт.

— Они оплакивали тебя, добрый господин... Но теперь, о боги!.. Что это?..

В этот момент произошла та страшная катастрофа, о которой было сказано в предыдущей главе. Океан вступил было в борьбу с Везуviем, но последний, выпустив из своей внутренности через разверзшуюся пещеру Циклопов огненную реку, победил его и отбросил от медленно погребаемого им несчастного города. Вулкан победил Нептуна...

Беглецы оцепенели при виде страшного явления. Ничего подобного они еще не видели, несмотря на все ужасы предшествовавших часов.

— Это в нашей стороне, — сказал Курций, глядя в лицо брата, озаренное багровым светом сбегавшей с горы огненной реки и отражавшее на себе весь ужас картины...

— Да... Это от пещеры Циклопов, — автоматически отвечал старший брат.

— Но боги не допустят до нас этого огненного Флегетона, — успокаивал их старый раб, сам уже изверившийся в милосердии богов Гадеса.

— А эти крики с моря, о Боже правый!

— Море вздымается горой... Смотри! Смотри, как гибнут корабли, как их поглощает морская бездна.

— Но море зальет этот огненный Флегетон, великий Нептун не допустит торжества Вулкана, — говорил старый Канис, хорошо знакомый с историею своих богов. — Наш прекрасный город посвящен великому богу морей, а не свирепому огненному богу Гадеса.

— Вопли людские смолкли, — трепетно заметила Кратилла, прижимаясь к матери.

— Я боюсь, дитя мое, что несчастных поглотило море, — отвечала Аспазия, лаская трепещущую дочь.

Они торопливо пошли по направлению к воротам Геркуланума.

В воздухе стало как будто тише. Дождь из пепла и камней прекратился. Подземные удары не повторялись. Везувий, казалось, устал колебать землю и выбрасывать из себя молнии и громы, а быть может, это было временное затишье, более страшное, чем то, что уже произошло.

Беглецы благополучно достигли ворот Геркуланумских, где уже начинался пригород Август-Феликс, юрисдикция магистра Аррия Диомеда. В воротах стоял тот же часовой, словно статуя, живое олицетворение железного Рима: этот слуга долга не получил приказа оставить свой пост и теперь стоял прямо, мужественно ожидая смерти. В темноте, при слабом мерцании фонаря, блеснул его медный шлем да из-под шлема глядело бледное лицо, бледное, но исполненное непоколебимой твердости.

— Несчастный, спасайся, пока есть время, — сказал Квинт.

— Я не могу оставить свой пост, — отвечал воин, — я не получил приказа... Сейчас проскакал мимо меня сам благородный эдил, но он ничего не сказал, и я должен стоять.

— О Рим, Рим! Скоро придет и твой конец, — мрачно проговорил сын Диомеда.

Пройдя несколько шагов, беглецы наткнулись на труп лошади. Прекрасное животное было еще с признаками жизни. Одним из упавших из грозной тучи камней перешибло круп

благородного коня. Квинт узнал в нем любимую верховую лошадь эдила Пансы. Животное силилось поднять голову, которая тотчас же падала на мостовую.

— Где же сам эдил? — невольно спрашивал Квинт.

Но все, что происходило кругом, было так необычайно, что спутывало всякие представления о добре и зле, о жизни и смерти. Не все ли равно? Ведь погибает вся вселенная. Это настал тот «страшный суд», о котором говорил Авенир, тот последний момент, когда погаснет солнце, и луна ночью не даст своего света, и звезды упадут с неба, как осенние листья с дерева... Солнце уже давно померкло, кругом ужасная, беспросветная ночь... Осеано пох!

Вдруг снова подземные удары потрясли воздух. Послышался грохот падающих зданий, портиков, крики еще не добитых людей. Из горы опять вылетело страшное пламя с горячим пеплом и свистящими в воздухе камнями. Ударом камня разбило и потушило фонарь в руке раба Диомедов.

— О жестокие боги! Вы еще не насытились! — вскричал старый Канис. — Сюда, сюда за мной... Тут вправо просторная экседра, скроемся в ней.

Все бросились за рабом. При блеске молнии он увидел темное отверстие с портиком. Это была знакомая им экседра, еще не разрушенная. Они поспешили в нее, прижимаясь друг к другу. Камни стучали о прочную гранитную крышку, не разрушая ее. Настал опять мрак.

— Вечные боги! Кто со мной погибает? — слышался из глубины экседры чей-то слабый голос, скорее стон умирающего. — Кто вы?

— Такие же смертные, как и ты, — беззвучно отвечал Квинт.

— Я узнаю голос сына Диомеда... О благородный Квинт! Прости меня, умирающего... Я Панса, эдил Помпеи, — продолжал голос невидимого существа.

— Благородный эдил, — сказал Квинт голосом, в котором прозвучала жалость, — мы сейчас видели твоего умирающего коня.

— Бедный конь... Он убит, и я с ним... У меня все погибло... дом разрушен и засыпан пеплом и камнями... Под развалинами его погребены моя сестра и милая Либелла... рабы и воины погибли и разбежались... О, Квинт!

В глубине экседры слышался чей-то могучий вздох с горячим, как из жерла печи, дыханием.

— Кто еще там? — испуганно спросила Кратилла.

Там, в темной глубине, откуда несло чье-то горячее дыхание, зеленым фосфорическим светом блеснули два страшных глаза. Последовал удар грома, и молния, осветив глубь экседры, показала, кто там: там, забившись в самую глубь, прятался от ужасов природы страшный лев Югурта, как робкая собачонка он жался к стене, косматая грива его была вся в крови. Его, по-видимому, не пугали теперь люди, что-то более страшное и могучее, чем люди, поразило всю его силу; эти двуногие, когда он был у них пленником, кормили его... Теперь он не был голоден: он удовлетворил свой двухдневный голод одним из этих двуногих и сейчас испытывал только страх, страх того, что где-то гремело, сверкало и бросало в него камни. Ничего подобного он не испытывал в пустынях родной Нубии... Он, казалось, от людей ждал защиты против этого непонятного, страшного... Все спуталось, законы природы потеряли и смысл, и разумность.

— О Боже! — с ужасом прошептала Кратилла.

Панса лежал с переломленными ногами и стонал. При блеске молнии он закрывал глаза. Кратилла не выдержала этого зрелища и залилась слезами.

Скоро каменный дождь перестал, и беглецы торопились воспользоваться временным затишьем, чтоб успеть дойти до своей виллы. Братья решились взять с собою изувеченного эдила, все еще надеясь спасти его. Но едва хотели положить его на разостланный плащ раба, как больной жалобно застонал.

— Мы хотим тебя отнести в наш дом, благородный эдил, тут недалеко, — сказал Квинт.

— О, — слабо простонал умирающий, — оставьте меня умереть, благородные юноши. Меня поразили боги. Вулкан... тени Гадеса... врата Орка разверзлись...

Он потерял сознание.

Когда беглецы достигли наконец того места, где еще за несколько часов стояла во всей красе роскошная вилла Диомеда, они нашли там только длинное темное возвышение, тянувшееся от того места, где была пещера Циклопов, до самого моря, которое далеко отошло от вновь образовавшегося берега. Роскошной виллы не было и следа. Только кое-где вдоль возвышения вспыхивали и потухали синие огоньки. Это все еще вспыхивала горячая серая остывавшая лава, похоронившая виллу Диомеда и ее обитателей.

Пораженные невыразимым ужасом, беглецы стояли и плакали. Минос жалобно выл.

Чуть-чуть забрезжило утро — первое утро после гибели Помпеи, Геркуланума и Стабий, этих драгоценных перлов античного Рима с богатейшими сокровищами искусств, произведений гениальных мастеров резца и кисти; но свет этого утра был тусклый и печальный, исходивший откуда-то извне и не освещавший собою погребенных под лавою и серым пеплом прекрасных городов. Над ними все еще стояла ночь, и только молнии Везувия да струи горящей лавы, медленно сползавшие вниз с ужасной горы, прорезали от времени до времени эту беспросветную тьму.

Как изменилось все! Море далеко отодвинулось от погибших городов. Целые холмы пепла покрывали печальный берег, усеянный кусками пемзы и камней, из-под которых то там то сям виднелись полузасыпанные пеплом трупы людей и животных. В море недвижно стояли корабли, уцелевшие от гибели в тот момент, когда море, вздымаясь от подземных ударов, хлынуло к подножию Везувия и поглотило тысячи жертв.

Наши беглецы безмолвно шли по берегу, ища пристанища. Ужасный день и еще более ужасная ночь изменили и их, так же, как и вся окрестная природа изменила лицо свое. Лица их были бледные, потемневшие, словно бы присыпанные пеплом Везувия. Усталость и изнеможение видны были в каждом их движении, медленном, неровном. Кратилла, с побледневшим, осунувшимся личиком и потускневшими от слез и бессонницы глазами, опиралась на руку Квинта. Старый раб поддерживал Аспасию. На лице Курция написано было глубокое уныние.

Беглецы, теперь бездомные скитальцы, думали найти убежище у Помпониана и потому направлялись к Стабиям. Но, поравнявшись с тем местом, где стояла вилла Помпониана, террасою выходившая к морю, они не узнали знакомых им мест. Веселенькое, смеющееся обиталище оратора было засыпано пеплом и камнями, и только верхние части белых мраморных колонн перистилия выглядывали из серой массы пепла и камней, словно тени, выходившие из могил. Изменившийся до неузнаваемости берег, усыпанный пеплом, был пустынен и мрачен. Над морем жалобно кричали чайки, потерявшие свои гнезда.

Напротив бывшей виллы Помпониана, недалеко от берега моря, беглецы заметили какую-то бесформенную массу, присыпанную пеплом Везувия. Квинту показалось, что под гру-

дами пепла он различает человеческие фигуры. Да, это были люди.

— Может быть, они еще живы, — сказал он, — нельзя ли им помочь?

Они приблизились. Тучное тело большого, крупного мужчины лежало навзничь. Пепел, казалось, пощадил немного эту жертву Вулкана: лицо его было мало засыпано, так что можно было узнать черты мертвеца.

— Боже! Это Плиний, великодушный Плиний, наш избавитель! — вскричала Кратилла.

Да, это был великий Плиний, Плиний Старший, гордость и слава античного мира. Лицо его не было искажено предсмертными муками. Он казался более спящим, чем мертвым¹.

У ног его был другой труп, более засыпанный пеплом. Он, казалось, сидел, уткнувшись курчавою головою в колени. Он был огромен. В мертвом гиганте нетрудно было узнать скифа, который один не покинул своего благодетеля, когда все другие его бросили, ища спасения от неминуемой смерти.

В то время, когда бездомные скитальцы (в несколько часов бушевавшая стихия наследников богатого Диомеда превратила в бездомных скитальцев!) стояли над трупами Плиния и его верного скифа, не зная, что предпринять, куда идти, где искать убежища, они увидели, что со стороны Суррентума (ныне Сорренто), к тому месту, где они стояли, приближалось судно. Скоро от судна отделилась лодка и направилась к берегу. Когда приехавшие в лодке вышли на берег, Квинт тотчас же узнал между ними Помпониана.

¹ Плиний Младший в знаменитом письме к историку Тациту о смерти своего великого дяди говорит: «Когда снова воссиял свет, тело его найдено было в целости, без малейшего искажения. Одежда его не была повреждена, и он более казался спящим, нежели мертвым» (Lib. I, ep. VI, 16).



Знамения времени

РОМАН
В ДВУХ ЧАСТЯХ

Часть первая

I

«Не знаю, за что меня эти злые люди держат под стражею, как преступника. Говорят, будто я сумасшедший. Какие глупые и злые люди! Они называют сумасшествием мою любовь к России. Да разве любовь к России составляет такую болезнь воли, за которую сажают в дом умалишенных? Не понимаю, ничего не понимаю!.. Что их поражает в этом чувстве? Что в нем находят они преступного и опасного?.. Да и что им за дело, что я могу летать и видеть то, чего они не видят? Летает же ворон везде и видит, как в траве змея извивается и как в глухой степи один человек убивает другого, а другие этого не видят. Ведь летала же какая-то птица к Гейне, и эту птицу мог видеть один Гейне, тогда как другие ее не видели. Отчего ж мне не летать, когда я могу это делать? Отчего мне не пользоваться этой способностью, которой другие не имеют? А они эту-то способность и называют моим пунктом помешательства. Да ведь это мучительно, это обидно, это ужасно! Зачем называют помешательством такую способность в человеке, которой другие не имеют? Они-то и есть сумасшедшие, эти жалкие, подлые люди, понимающие так ограниченно. Ведь они и Галилея называли сумасшедшим за то, что он имел способность видеть то, чего другие не видели. Он видел, что Земля вертится вокруг Солнца, а они не видели — и за это сочли сумасшедшим, за это засадили в тюрьму, за это казнили... Да ведь это жестоко! Они и Данте называли сумасшедшим за то, что он видел то, чего они не видели: он видел ад, а они его не видели, он был в аду и описал этот ад, и это описание люди читают до сих пор и восхищаются, и ужасаются... И ведь все, с кем я ни говорю, как-то странно смотрят на меня,жимают плечами, улыбаются, а в стороне, я слышу, говорят тихонько между собою: «Какое странное помешательство»... Я воображаю, каково же было Галилею и Данте слышать то же, что я слышу... Это ужасно! Вот от этого так можно с ума сойти».

Так говорил один больной, сидя на своей койке в доме умалишенных, когда его показывали посетителям. Больной был средних лет мужчина, по-видимому, крепкого сложения, с большими зелеными глазами и сильно развитой лобной костью.

— Когда ж проявилась в вас способность летать? — спросил его один посетитель.

— Я сам не знаю... Вероятно, со способностью думать и чувствовать, только я этого не заметил.

— А когда заметили?

— Когда уже полетел.

— А теперь можете подняться?

— Теперь не могу... я не свободен... Разве вы можете сосредоточенно думать, когда вам мешают, когда вас мучают? Да теперь ко мне и птица не прилетает...

— Какая птица?

— С которой я летаю и которая говорит со мной.

— Что ж это за птица? Как она называется?

— Я не знаю.

— Какая же она? Большая, маленькая?

— Большая... Вероятно, такая же, какую видел Гейне, когда она к нему летала. Помните?

— Да, помню... У него где-то есть об этом.

— В «Buch der Lieder».

— Зачем же вы летаете? Для удовольствия?

— О, нет! Разве для удовольствия Данте сходил в ад?..

Впрочем, в созерцании земли и движения на ней с далекой высоты так много глубокого наслаждения. Я не забуду моего первого полета... Мы пролетали выше гор и лесов, и казались леса темно-зелеными нивами, а реки и озера казались клочками голубого неба, брошенными на землю, и когда перебегал по ним ветер, очарование исчезало, и казалось, что на эти голубые клочки неба кто-то набросал битых стекол, и в этих стеклах отражалось холодное солнце... Там ведь оно такое холодное... И пролетали мы над городами, и высокие шпицы церквей казались такими маленькими, и все представлялось в таких уменьшенных, ничтожных и странных размерах, в странных формах и положениях, к которым не привык глаз: виднелись только вершины деревьев, а стволов и корней не было видно; виднелись крыши домов, виднелись только вершины гор, ландшафты были уже не те, какие видны с земли, а такие, каких никогда не рисовал ни один художник, к каким не привык глаз, свывшийся с иною перспективою, с иным освещением, с иными изломами линий и положениями фигур.

Люди казались такими малыми, жалкими беззащитными существами... И чем выше поднимались мы над землею, тем дороже становилась мне эта земля, тем более меня тянуло к ней.

— И вам не было страшно? — спрашивал посетитель, заинтересованный странною речью безумца.

— Нет... Меня тянуло все дальше и дальше.

— И долго вы летали?

— Несколько лет, и эти годы казались мне часами.

— Где же вы летали?

— Я был везде: и носился над океанами, видел, как жалкие корабли, в виде обугленных щепок, бьются с валами, я пролетал над пустынями Африки, куда не заходила нога ни Ливингстона, ни Гранта, ни Беккера... Но сердце тянуло меня домой, на родину, в Россию... Когда мы пролетали низко над землею, до нас доносились земные звуки, и пение птиц, и говор людской, и детский плач, и вздохи взрослых, и рыдания несчастных, и колокольный звон, то радостный, то глухой, погребальный. Но когда мы поднимались выше, земля казалась беззвучною, мертвою, и все в пространстве было беззвучно, и мертвая тишина ничем не нарушалась, кроме тихого шума от полета моей птицы... Мы летели все выше и выше, и мне казалось, что мы уже были за пределами тяготения к земле, и мне казалось, что за этими пределами уже нет возврата на землю, что, потеряв силу земного тяготения, мы или останемся вечно в пространстве, скитаясь вечно между блуждающими планетами, или нас притянет к себе другой мир, неведомый, далекий, невидимый землею. И страшно мне стало глядеть в далекое пространство, где под нами, далеко-далеко, болтался громадный шар, и казалось мне, что этот шар уже не земля, а мертвое тело, которое я видел там, под тем пасмурным небом, качающееся на веревке, хотя веревки я и не видел, за которую повешена земля-преступник, а там я видел и веревку, и его самого, повешенного, с головою в белом мешке, склоненною на левое плечо...

— Какого повешенного вы видели? — спросил изумленный посетитель.

— Да его, этого высокого, худого...

— Это-то, кажется, и было причиною его помешательства, — шепнул посетителю смотритель.

— Что же такое?

— Казнь... знаете?

— Какой же это повешенный? — спросил посетитель, обращаясь к больному. — Где вы его видели?

Больной закрыл глаза, как бы силясь припомнить что-то далекое, давно забытое.

— Мы летели, — начал он после продолжительного молчания, — по серому, туманному небу, и под моими ногами я не видел ни земли, ни солнца, а только сплошное серое пространство, и страшно мне стало, что я потерял землю, что до меня уже не дойдет ни свет солнца, ни звуки земные... Слышу, до меня доносятся какие-то неясные подобию звуков, что-то смешанное, неопределенное, не то далекий шум волн, мерно перекатывающих через рифы, не то трение облаков одно о другое и их спор между собою в воздушном пространстве... мне все тогда могло казаться... И вот я слышу, звуки становятся определеннее — то были земные звуки, — я так привык к ним, мое ухо могло их отличать даже в планетном пространстве... Мы летели тихо, как бы боясь упасть в бездну, и вот звуки как бы стали видимы, как бы стали отделяться от серого пространства в каких-то неясных очертаниях — понимаете вы это?.. Я стал вглядываться, и мои глаза начали различать не звуки, не их очертание, потому что звуковые очертания невидимы, хотя и они имеют иногда определенные формы, а я начал видеть предметы, неясные, неопределенные, как звуки, и чем долее мы летели, тем яснее очерчивались образы этих предметов: то были высокие шпицы церквей, а там уже выделялись и очертания земного горизонта, очертания серого леса, неясные очертания домов, улиц, площадей, рек и каналов... Под нами из облака выступал город, хотя из-за облака не выступало солнце, которого я ждал, чтобы рассеять эти чары.

«Что это за город?» спросил я птицу.

«Смотри — и узнаешь», — отвечала она, шумя крыльями.

Я смотрел, и видел город, большой, раскидистый, и слышал, ясно различал звуки жизни. Мы опускались все ниже и ниже над городом, и я уже видел людей, видел движение экипажей, слышал и стук их и неясный гул от говора людского... Все люди шли, бежали и ехали куда-то по одному направлению... Их были тысячи, десятки тысяч... Понеслись и мы за этими движущимися массами, и там, где мы остановились, увидел я высокий черный столб с черною перекладиною, так ярко очерчивавшиеся на сером полотне неба, и мои глаза различили на этом столбе конец веревки и блоки, и кольца, и тихо-тихо качалась веревка, и показалась она такою тяжелою, что как бы желала оторваться от столба и упасть на землю, в черную грязь, замешенную человеческими нога-

ми... И волновались живые массы народа вокруг этого черного столба; рядом с ним стоял другой черный столб, без перекладины и без веревки, и вокруг этого столба чернелось возвышение, с черным полом, с черными перилами и черными ступеньками, взводившими на это черное возвышение. И у подножия этого возвышения ходили взад и вперед две человеческие фигуры, высокие, сильные, и лица у этих фигур были свежие, молодые, здоровые. Тут же стояли другие фигуры с серьезными лицами, а вокруг всего этого, вокруг этих черных столбов и серьезных фигур, обвилились кольцом, как стеною, люди с оружием в руках, и казалась строгою, холодной, как камень, эта живая людская стена, сквозь которую могла пробиться только смерть, а далее от этой живой стены, через интервал, стояла другая живая стена конных людей; и эти люди, как и кони под ними, равнодушно смотрели и на других людей, и на серое небо, и на черные столбы, и на тяжелую веревку, и на черное возвышение, с черными перилами и черными ступеньками... А масса народа все прибывала к этому месту, тысячи живых существ все теснее и теснее облегали тот страшный круг с черными столбами, куда могла пробраться только смерть: то была ее тесно замкнутая аудитория с черною кафедрою для профессора... И слышу я, где-то недалеко пробило семь часов, и глухо заволновались народные массы; и слышу я шепот тысячи уст: «Едет, едет, едет...» Кто же это едет? Кого с таким напряженным вниманием ждут эти тысячи? И вглядываюсь я в серую туманную даль, что повисла над тысячами людских голов, и все эти головы обратились туда же, куда обратилась и моя голова, ища того, кто едет, и туда же обратились, не обращая голов, глаза тех людей, которые стройным и тяжелым, живым, но неподвижным кольцом обвилились вокруг черных столбов и вокруг аудитории смерти. И вижу я неясно очерченные на сером полотне неба головы в шишаках, высоко поднявшиеся над головами народа, и двигаются, покачиваясь, эти головы в шишаках, как солнце, с востока на запад, а над этими головами качается, в неопределенной форме, выступая из серого воздуха, что-то тоже похожее на голову, а там оттеняется что-то похожее на человеческие плечи, а лица человеческого не видно... Все ближе и ближе эти головы в шишаках, все ближе и ближе подвигается, качаясь, и та одинокая голова, или что-то такое, что я принимал за голову, возвышающееся над всею массою и над головами в шишаках. И вот я ясно различаю человеческую голову над всей этой массой других голов, хотя лица у этой головы не различаю; и все качается эта голова, и качаются

плечи, и около плеч я вижу какие-то столбики, и различаю что-то вроде ремней, которыми плечи пристегнуты к столбикам... И вот все явственнее и явственнее обозначаются очертания того, что двигалось в середине голов в шишаках — и одинокая, сидящая человеческая фигура в чем-то сером или темном, в чем-то бесцветном, как это небо, и высокая колесница под этой одинокой человеческой фигурой, и возница, и лошади. И вижу я лицо у возницы, но лица у той одинокой фигуры не вижу...

Что же это?.. И узнаю я, что это лицо смотрит туда, куда из массы уже никто не смотрит, — смотрит на восток, назад, на пройденный путь, что этому лицу нечего смотреть вперед: ему надо прощаться с предметами, которые уже пройдены, ему надо оглянуться назад, на пройденную и быстро удаляющуюся жизнь и на воспоминания, которые, как эти массы народные, теснятся перед его глазами, идут за ним, провожают его до самого черного столба с перекладиною... И над этой головой пролетела какая-то птица, бледно окрашенная бесцветным колоритом серого неба, голубь ли то сизый, ворон ли черный, и как бы в лицо, обращенное назад, заглянула эта птица... И стали тесниться мне в голову вопросы, — вспомнил ли он, как, может быть, в детстве он следил глазами за такою же птицей, и что вызвало в душе его это воспоминание, и что он думает, и что он чувствует?..

И вот высокая колесница у самых черных столбов повернулась туда, куда смотрел он, а он повернулся сюда к нам, и показалось в сером воздухе его белое лицо, белое и бледное, и все увидели это лицо, а оно увидело не нас, которых было так много, а два черных столба и перекладину, и тяжелую веревку с блоками и кольцами... То было лицо молодое, истомленное чем-то... А на груди черная доска, и на доске что-то белым написано...

И взошла на колесницу другая фигура, и отвязала ремни, которыми прикреплялись его руки к столбикам, и оба они вместе сошли с колесницы на землю... И тогда подошли к нему те две человеческие фигуры, высокие, сильные, и коснулись его рук, и все трое по ступенькам взошли на черное возвышение с перилами, и стали они там все трое, он, такой худой, бледный, хрупкий...

Он стоял и не глядел на массы народа, его обступившие, но зато все эти массы глядели на него, — и я на него глядел, не стараясь даже понять, что он чувствует и что он думает... А он, может быть, думал, что он не он, что он не тот, которого когда-то, маленького и невинного, мать держала на ко-

леньях и ласкала и думала о том, что ждет ее сына, что ему на роду написано... А ему было на роду написано то, чего никто из людей не мог прочитать...

Тогда взошел на возвышение еще кто-то, а в руках у него были бумаги, и стал он читать то, что тому, которому он читал, было на роду написано, и читал он долго, долго... А тот, кому он читал, стоял и слушал, но может быть, и не слушал... Но его усталая голова, видимо, падает на левое плечо, и волосы падают на лоб, и поправляет он иногда эти падающие волосы, и переносит падающую голову с левого плеча к правому, а голова снова клонится... Я слышу, он кашляет, а тот все читает, все читает...

И вот все прочитано. Тот, кто читал, сходит с возвышения, а он начинает кланяться народу на все четыре стороны, и кланяется даже в ту сторону, где на перекладине висит веревка, и когда он кланяется, волосы падают ему на лоб, и он отводит их рукою ото лба, и опять кланяется... И народ что-то шепчет ему на поклоны... Должно быть, корит его за вину великую... И мать, думаю, там где-либо в глуши, за тысячи верст, где он родился и бегал маленькими ногами, цепляясь за ее платье, проклинает его за его вину великую.

Тогда всходит на возвышение еще один человек, в черном платье, в каких обыкновенно отпевают покойников. Тот, которому читали бумагу, подходит к нему, наклоняет голову и становится на колени, а тот, что в черном платье, наклоняется над ним и что-то тихо говорит ему, вероятно то, чего никто из нас никому не пересказывает...

Фу, как мучительно было ждать, как судорожно дышалось в это время!.. Хоть бы скорей уж!

И вот он опять кланяется на все четыре стороны, кланяется и веревке, а тот, что был в черном, сходит с возвышения и уносит с собой последний звук человеческого голоса, который слышал тот, кому этот сошедший с возвышения говорил то, чего из нас никто никому не пересказывает...

Тогда всходит на возвышение еще одна фигура с белым мешком и вынимает из этого мешка саван и белую повязку для глаз — и завязывает ему глаза... Это он будет играть в жмурки со смертью... Поймает или не поймает он эту смерть? Поймает, непременно поймает!.. Он уже не видит ни веревки, ни нас, ни этих масс народа, которые, затаив дыхание, смотрят на него, ни этого серого пасмурного неба, ни того яркого неба, под которым он бегал в детстве, ни человеческих глаз, ни той птицы, которая опять пролетела над толпой и как бы хотела заглянуть ему в глаза — ничего и никогда не увидит!

Даже уж этой повязки не видит он, которая закрыла от него такой прекрасный и такой скорбный мир Божий... Но он еще слышит и свое собственное дыхание, и шуршание ленточек от повязки на затылке, и безмолвное глухое движение толпы, и звуки смертной похоронной, раздирающей музыки... Он только слышит!.. И слышит он, как снимают с него черную доску, на которой что-то написано белыми буквами, и как снимают с него верхнюю одежду... И он чихает... чихает!.. Хороший знак...

Но как долго надевают на него смертную рубашку — парусинный саван с капюшоном для головы! Как путается его усталая голова в грубых складках савана... Его руки — ослабевшие, вялые — не входят в длинные рукава, путаются в них, но он сам поднимает над головой руки, сам вдевает их в эти рукава, и на него опустилась рубашка, и опустилась низко-низко, — до самых ног...

Вот он и в саване, хотя живой и понимающий это... А мы все на него смотрим, и все на него смотрят, только он уж не смотрит на нас. Но он все еще слышит: слышит, как длинные рукава савана завязывают вместе с руками у него за спиной, и встряхивают его, затягивая рукава... И вот сводят его с возвышения, и он не видит ступенек, по которым надо идти, и ноги его ощупывают эти ступеньки, и эти же ноги сводят его в последний раз на землю, и эти же ноги подводят его к тому черному столбу с перекладиной, на котором висела веревка с блоками и кольцами, и эти же ноги, хотя путаясь и не попадая куда следует, взводят его по другим ступенькам, под самую веревку, а за ним всходят и те две фигуры с молодыми лицами. И вот опускают веревку, и он слышит и осязает, как веревка шуршит у него по затылку, задевает его плечи... А он все стоит, все ждет, все слушает, — и мы ждем...

И вот расправили петлю на веревке и вдели в эту петлю голову... он все стоит и ждет... Нас бьет лихорадка, но мы тоже ждем...

Сказав это, больной замолчал. У него сильно тряслась голова. Присутствующие не смели прервать этого тяжелого молчания, пока больной сам не взглянул на них какими-то странными глазами.

— Что же было дальше?

Больной молчал.

— Что же, вы кончили?

— Кончил, — отвечал тот. — Дальше ничего не было.

— Вы остановились на том, как ему надели на шею веревку.

— Да, недели... помню, помню, — говорил он, как бы опять погружаясь в воспоминание. — Он стоит с веревкой на шее... Мы ждем... Вдруг из-под ног его выбивается какая-то подставка, и он опустился, упал, но, как бы боясь упасть в пропасть, он конвульсивно поджимает под себя ноги — петля затягивается... Его тянут выше по блоку, — встряхивают... Встряска в теле... Вольты тела по воздуху — точь-в-точь как на коньках, по льду, катаются живые люди и круги делают... Ноги сжимаются и разжимаются... Каблуки бьют один по другому... Ноги расходятся, вытягиваются... Вольт за вольтом — все меньше и меньше размахи... Но в голове, склоненной на бок, еще заметна дрожь... И качания все делаются медленнее, ровнее, спокойнее... спокойнее...

И долго я смотрел, как на сером фоне неба висела и качалась эта белая длинная фигура, с головою на левое плечо... Но качания все тише, тише... Я вижу только белую фигуру в мешке, но веревки не вижу... И представляется мне, что этот мертвец в саване — висит на воздухе, как казалось мне, висит земля в пространстве, когда я смотрел на нее из бесконечной дали, и земля казалась мне тоже мертвою, беззвучною...

Но вот подъезжает к этой белой висящей фигуре всадник и смотрит на нее — есть ли признаки жизни в том, что висит в этом белом мешке, или оно умерло... Мне казалось, что оно не умерло, что оно висит и чувствует свое положение, как чувствовал я в том далеком планетном пространстве свою отчужденность от всего мира, что оно думает глубокую-глубокую думу, оттого и не шелохнется, что оно ждет чего-то... Но чего ему ждать?

Из-за масс народа между двух черных столбов на сером небе обрисовывается телега... Ближе, ближе — вижу лошадь, телегу, на телеге стоит что-то длинное, покрытое рогожей... Останавливается телега около белой висящей фигуры, снимается рогожа — и я вижу гроб... Так вот чего ждал он!

Снимают гроб и ставят на землю под белой висящей фигурой... Спускают по блоку эту белую фигуру, распускают петлю, вынимают его из петли... и двое берут его — один за ноги, другой за голову, а он гнется, как не туго набитый мешок, — и думаю я, что они его уронят, ушибут, но они бережно кладут его в гроб, накрывают крышкой, заколачивают крышку, ставят на телегу, покрывают рогожей и куда-то увозят... Должно быть, к матери.

И хлынули назад массы народа... Пошел и я... А там и солнце проглянуло, такое теплое, яркое, веселое... И не хотелось мне оставаться на земле, где так много зла, грехов и

скорби, и я вновь полетел в планетное пространство... Но земля тянула меня к себе, злая, скорбная — но дорогая...

Вот и теперь на сером фоне неба качается перед моими глазами в белом мешке что-то тяжелое, гибкое... Каблуки прижаты один к другому... Подошвы видны, такие потертые... А много они ходили по земле? Теперь не ходят уж... И корова не ходит давно... С коровы сняли шкуру, сделали ему подошвы... Смешно!.. Зачем убивали корову? Она тоже хотела жить, по траве ходить... Как все это странно... Нет, что-нибудь да не так...

Больной замолчал и, положив локти на колени и подперев голову руками, закрыл глаза. «Странно, очень странно», — говорил он сам с собой.

— На этом он, кажется, и помешался, — говорил потом наблюдатель, — а то, что ему кажется, будто он летает, было уже последствием помешательства.

— Да, странное помешательство... Что же, бывает он неспокоен?

— Нет, он тих, только иногда раздражается. В иное время он говорит, как совершенно здоровый человек.

— Но почему же именно кажется ему, что он летает?

— Вероятно, в болезненном состоянии он думал что-нибудь подобное. Иногда из его слов можно догадаться, что вид казни произвел на него такое сильное потрясение, что голова его не выдержала. По крайней мере, с этого дня начался период летания.

— Но он сам ведь сейчас говорил, что на место казни он попал с облаков, — возражал посетитель.

— Да, но прежде он связнее рассказывал это обстоятельство, и знавшие его говорят, что до того времени в нем незаметно было признаков помешательства.

— Что же он еще говорит?

— Ему все больше кажется, что все, что он прежде видел и слышал, все, что читал и что произвело на него сильное впечатление, все то, по его словам, он видел во время летания.

В это время больной открыл глаза и прямо посмотрел на посетителя.

— Вас, вероятно, интересуют сумасшедшие, и вы пришли посмотреть на меня? — спросил он его с совершенно осмысленной улыбкой, приподнимаясь с койки.

— Нет, я здесь совершенно случайно, — отвечал тот, потому что вопрос больного несколько озадачил его.

— Вероятно, так же, как и я... Только меня не выпускают отсюда, а вас выпустят?

Посетитель не знал, что ему отвечать.

— Я думаю, что вас и меня выпустят, когда не будет никакого препятствия, — сказал он, поглядывая на зрителя.

— Да какие же могут быть препятствия?

— Я не знаю.

Зрителя куда-то позвали — и посетитель остался один с больным.

— Велите меня выпустить отсюда, — вдруг обратился он умоляющим голосом к посетителю.

— Я не имею здесь власти, — отвечал посетитель.

— Выпустите меня, спасите меня, я сойду с ума, — говорил больной, падая на колени, — я ничего не сделал... Я не буду больше говорить о России, я не буду любить ее... Пощадите меня.

II

Волга. Пароходная пристань с отвратительными въездами и съездами. Пароход готовится отчалить. На берегу гам и пыль. На пароходе гам и дым. На берегу, сверх того, раздавался нестерпимый бабий вой, так что можно было подумать, будто пароходная пристань устроена на кладбище, на котором десятка два баб опускали в могилу своих мужей. Одна из этих баб, уткнувшись носом в котомку, выла как бы по заказу, с правильными метрическими повышениями и понижениями здорового, ревучего голоса. Другая стояла по колени в воде и, протягивая руки к пароходу, выплакивала какие-то причитания звонким голосом. Третья рыдала отрывочно каким-то надорванным голосом. У четвертой на руках заливался завернутый в лохмотья ребенок, и заливался не потому, что ему лично было горько, а вследствие того закона, по которому соловей начинает свистать, когда застучат тарелками и ножами.

— Партию солдат куда-то посылают.

— Да, вижу.

— Почему же ты улыбаешься?

— Так, весело.

— Станный ты человек... нашел чему радоваться.

— А что?

— Да тяжело все это видеть.

— Вот какую новость сказал... А знаешь, я хочу предложить русским статистикам новую, оригинальную работу.

— Какую?

— Говорят, что наука признает поступательный ход человечества к лучшему.

— Ну, не все это признают: старые люди говорят, будто прежде было лучше, а чем дальше, тем тяжелее жить людям.

— История этого не говорит.

— Какую же ты работу хочешь предложить статистикам?

— А вот какую: статистика нового времени пришла к замечательным результатам. Она знает величину средней жизни людей того или другого города или государства, а нравственная статистика может даже весьма точно определить, сколько в будущем году будет совершено преступлений в таком-то месте или городе, и определить даже род преступлений.

— Что ж из этого?

— Да то, что статистике не мешало бы высчитывать, сколько ведер, бочек, гектолитров, галлонов или штофов...

— Выпивается вина?..

— Нет не вина, а сколько штофов хоть бы проливается слез средним числом на человека по каждому государству, по городам и сословиям, возрастам, положениям в обществе.

— Ну, уж ты выдумашь! Да это и невозможно.

— Для науки и современного человека все возможно. Ведь, метеорология высчитывает же, сколько за лето и за зиму выпадает дождя и снега на квадратную сажень, так наука может высчитывать и количество выпавших слез на каждую квадратную сажень, что ли.

— Для чего же это?

— Да чтоб видеть, лучше ли становится жить человечеству или хуже.

— Ну, это философский вопрос вроде тех, которые задавал себе Кифа Мокиевич.

Этот странный разговор вели между собой два пассажира, из которых одному было лет за двадцать, а другому лет за тридцать. Младший был красивый брюнет с длинными волосами. У старшего светлые волосы были острижены гладко, зато бороде дан свободный рост. Оба они сидели на палубе и курили, спокойно ожидая отплытия парохода.

К ним подошел солдатик с котомкою за плечами. Котомку эту он старался подпихнуть под скамейку.

— Куда вас, кавалер, отправляют? — спросил солдатика старший из двух пассажиров.

Солдатик поглядел на вопрошающего и замахал рукой на бабу, которая выла, стоя в воде.

Пассажир повторил вопрос.

— Нас-то, — отвечал солдатик, — под Кукань.

- А где эта Кукань?
- А кто ее знает, Кукань-ту эту... Слышали, что за самой за Сибирью будет.
- А что вы там будете делать под Куканью?
- Знамо что — стражаться.
- С кем же?
- Да с этой самой Куканью.
- А за что?
- Бунтует, слышно, так и прет на нашу армию.
- Он снова замахал на бабу, которая выла в воде.
- Хозяйка тоже... жалко... Куда бредешь, дура! — крикнул он, когда баба потянулась к нему.
- А тебе жаль ее?
- Нешто... не собака чать — человек тоже называется, хотя и баба.
- Ты не бывал еще под Куканью?
- Нету, под Куканью не бывал, а в Киеве бывал и пещеры видал... Страшно.
- А Кукани не боишься?
- Как не бояться: там, рассказывают, за Куканью сам аглич спрятался и из-под воды стреляет: ты в него из пушки, а он из-под воды только пузыри пускает — дышит, значит. Продувной народец! Как ты его там возьмешь, под водой-то.
- Супоня, ступай к перекличке! — закричал другой солдатик, и Супоня отошел от наших пассажиров.
- Подмостки сняты, капитан, ходя по трапу, дал знать кому-то о чем-то свистком, и пароход двинулся.
- На пароходе и на берегу поднялись руки и начали креститься, иные руки махали платками, да так отчаянно, как бы желая выразить: «Отвяжитесь вы совсем с вашим пароходом». Бабий вой на берегу усилился до того, что забравшаяся на крышу конторки собака тоже начала выть, подняв морду к небу и как бы стараясь выговорить: «На кого ты меня, кормилец, покинул!» Почти все пассажиры столпились на той стороне палубы, которая обращена была к пристани, и с таким вниманием смотрели на эту с каждым взмахом пароходного колеса удалявшуюся от них пристань, как будто никогда ее в жизни не видели. Свойство человеческой природы именно таково, что он едва ли не с одинаковым любопытством рассматривает предметы и явления, никогда им невиданные, и такие, которые он видит в последний раз: оттого умершего человека, когда на него накладывают гробовую крышку, мы рассматриваем едва ли не с большим вниманием, чем тогда, когда он был жив и мы видели его каждый день.

Бабий плач становился все менее и менее слышен, хотя это не доказывало, что он прекратился: как ни крепки были бабьи легкие, однако издаваемые этими легкими вопли не могли доноситься до парохода и пропадали в пространстве, как и вой собаки, поместившейся на конторке, хотя все еще видно было, что морда этого расстроенного животного обращена была к небу.

— То Кубань, а то Кукань... Как же ты, земляк любезный, этого не сообразишь?

— Да ты, кавалер, что-нибудь не так толкуешь.

— Не так!.. Пойми ты, милый человек, что Кукань — Кукань и есть, так и прозывается, а Кубань и есть Кубань — это особ статья, а Киев сам по себе... Понял?

— Ну, понял.

— Кубань — это, значит, земля такая есть, как примерно Анапа или Туречина, а Кукань — это вода, море такое, а в этом море под водою аглич сидит.

— Под водою! Что ты врешь?

— Пес врет, а я не вру.

— Ну, кавалер?

— Вот его, аглича-то проклятого, только и распознаешь в воде по пузырям: где пузыри из моря поднимаются, там и есть он, туда и стреляй.

— Как же он под водой-то живет, — не рыба чать?

— Не рыба, а хуже рыбы... Корабли у него такие есть.

Это солдатик, которого называли Супоней, толковал уже с каким-то земляком о Кукани.

— Вот она какова, Кукань-то, — ораторствовал Супоня.

— Что ж ты супротив этой самой Кукани поделаешь?

— Что поделаешь!.. Велит начальство — и возьмем Кукань.

— Да как же ты, кавалер, воду-то возьмешь? Ну, хоть бы, к примеру, Волгу или Каму — как ее возьмешь?

— Эх ты, голова, голова! Сказано, мужик необразованный. Пойми ты меня: ведь Кукань-то не одна, а две. Во что!

— Как две?

— Да две и есть: одна Кукань — Кукань-море, другая Кукань — Кукань-земля. То вода, а то земля. Так и две Москвы, а не одна: то Москва-город, а то Москва-река. Понял?

— Понял.

— Ну, Кукань-то мы и возьмем.

— А на кой ее пес, Кукань-ту?

— Для порядку... Порядки, знаешь, чтобы заводить там — станова, примерно, исправников, чтобы народ не баловался.

Мужик почесал в затылке.

— Ну, знамо, аглич, опосля всего эвтово, носу туда не покажет, — заметил он в раздумье.

— Вестимо, не покажет.

Два пассажира, о которых мы прежде говорили, при последних словах собеседников значительно переглянулись.

Разглагольствования солдата с земляком, видимо, интересовали их. Супоня, кажется, был, что называется, в ударе.

Мужик, довольный беседой с кавалером, продолжал философствовать, потому что перед отъездом выпил винца.

— А теперь скажи мне, земляк, на кой пес вы все воюете?

— Эх ты, лапоты! У тебя все на кой пес!.. А на кой пес ты пашешь?

— Ни-ни, кавалер! Тут пса не поминай, грех... Пахота-то для хлебушки, а хлебушко-то святой, от Бога.

— То-то от Бога. А война рази не от Бога?

— Вестимо, все от Бога.

— Ну, так и не мели пустого... а то на-кось — на кой пес!.. Этак я и тебе загадку загану: на кой пес ты оброк платишь?

Мужик снова почесал в затылке, не зная что отвечать.

— Для отечествия, звать... это велено.

— Ну, и война для отечествия. Сойдутся это две войски, одна войска и говорит другой: берегись, стрелять буду! Ну, и начнется сражение... А ка бы не отечествие, так и войны не было бы.

— А коли бы Кукань на нас напала?

— Кукань — это уж совсем иное дело: сказано, покорить Кукань, — ну, и воюй! А без войны нельзя, — на что ж будут тогда енералы да полковники?

— То-то, и я так мекаю.

Тут в разговор их вмешалось третье лицо, шустрый мешанин, из городских крикунов, что называется чуйка.

— Дело ты говоришь, господин кавалер, — заметил чуйка.

Супоня самодовольно кивнул головой.

— Об Кукани ты там как хошь думай, а без войны можно обойтись, — продолжал чуйка.

— Как же ты обойдешься, коли там аглич?

— Да так и обойдусь.

— Ну-ка, попробуй. Зачем же сказано — «христолюбивое воинство»?

— А для блезиру сказано.

— Нет, не для блезиру.

— Ну, ин быть по-твоему... Только я во что думаю, кавалер. Возьмем, к примеру, такое дело: живут на свете две земли — рассейская и аглицкая. Понимаешь?

— Понимаю... А Кукань-ту куда денешь?

— Погоди с Куканью-то, успеешь. Ну, так живут две земли — рассейская и аглицкая. Будь ты, к примеру, самая эта аглицкая земля, а я Расея.. Вот и захотели мы воевать друг с дружкой — ты супротив меня, а я супротив тебя. Ладно?

— Ладно... Только уж лучше я буду Расеей, — заметил Супоня.

— Ну, ин будь ты Расея... Ладно... Я тебя в ухо, ты меня в другое, особливо коли подпимши.

— Это что и говорить

— Ладно. Слушай же дальше, кавалер любезный. Захотел я оттягать у тебя шинель, к примеру.

— Ну, брат, дудки! Шинель казенная.

— Да ты слушай! Я к примеру... Захотел я это твою шинель взять, ты и говоришь: «Нет, шалишь, мол! Пойдем по начальству... в полицию тебя»... Не будь суда и расправы, я бы у тебя шинель-то отнял, коли я тебя сильнее.

— Это точно, что так.

— Ну, так и война.

— А где ж ты найдешь суд аглицкой земле? Ее в полицию не потащишь...

— Да ты слушай! Вот у меня сусед — Филатка, столяр, настоящий аглич, все бы шел на меня войной, все бы кур моих гонять ему... Так шалишь!.. Два раза уж сажал его на съезжую — и перестал воевать. А то, может, и до смертоубийства дошло бы, коли все бы воевать да и воевать, как вы воюете. Заместо того, чтобы воевать, пусть бы лучше рассудились...

— А кто судьей-то будет?

Этот вопрос озадачил чуйку. Он не нашелся, что отвечать.

— Ну, — приставал Супоня, — ты скажи мне, кто судьей-то будет?

— Да ты постой, — возражал чуйка, — вот, примерно, Филатка столяр на меня войной идет...

— Что мне твой Филатка! Плевать на него!.. А как ты с Куканью-то сладишь?

— Как слажу? Что Кукань, что Филатка, все едино.

— Да и кто судить-то будет — хоть бы куканского царя?

— Другие цари.

— А он скажет: «Не боюсь я других царей» — и ну пушками жарить в других царей-то.

— Это ты дело говоришь, кавалер, — вмешался снова мужичок, — у нас вот есть Микита, кузнец, всему миру поперек горла стал и начальства не боится, что твоя Кукань: знать, говорит, никого не хочу!

Солнце между тем так сильно начало бить жаркими лучами в открытую палубу парохода, что два упомянутые нами в начале этого повествования пассажира не могли более оставаться на солнце и отправились в каюту второго класса.

— Не правда ли, хороша Кукань, — заметил младший.

— Да и Микита с Филаткой недурны, — добавил старший, — только на этот смешной разговор я смотрю серьезно и, признаюсь, вижу в нем «знамения времени».

— Ну, ты во всем видишь эти знамения.

— Да, во многом.

— Отчего ж я не вижу?

— Не привык, да и близорук порядком.

— Что же ты выводим из этого разговора?

— Утешительного не много: хотя чуйка прав, но и солдатик прав со своей точки зрения... Филатку-столяра еще можно запугать съезжей, а хоть бы Наполеона не запугаешь ничем, кроме миллиона штыков с заряженными с казенной части ружьями.

— Но ведь теперь все говорят о всеобщем разоружении.

— Знаю, что говорят. Читал даже, как Наполеон на днях по этому предмету объяснился с таким господином, которого он же убил.

— Как, с мертвецом.?

— Да, с мертвецом.

— С кем же это?

— С капиталом.

— С каким капитаном?

— Не с капитаном, а с капиталом... Капитал — понимаешь, деньги... Он держал речь к капиталу, движение которого он же сам, главным образом, задерживает и убивает во всей Европе то опасением войн, то непроизводительной тратой на войско...

— Я этого случая не читал.

— Да, это очень трогательно и картинно... Иные газеты пишут, что Наполеон в Труа, 11 августа, говорил с капитаном, вот как и тебе послышалось, и все интересовались, что это за капитан, — уж не капитан ли Копейкин, чего доброго?

— В самом деле?

— В самом деле... Оказывается, что Наполеон, в проезд через Труа, произнес миролюбивую речь и даже обратился к капитану со следующими словами: «Отважься! Будущность принадлежит тебе. Опасные времена миновались!»

Сказав эти слова, старший из пассажиров взял со стола газету (они находились уже в каюте) и показал ее младшему, говоря:

— Смотри, вот этот разговор Наполеона с капитаном Копейкиным.

— Да, правда, — заметил младший, улыбаясь.

— А знаешь, — вдруг спросил старший, — что это напоминает мне?

— А что?

— Речь гробовщика в Гамлете.

— К кому речь, к Гамлету?

— Нет, к Офелии, когда он копал ей могилу.

— Но ведь он с ней не говорил...

— Мог говорить, и он должен был сказать: «Офелия, отважься! Будущность принадлежит тебе. Опасные времена миновали!.. Ты, утонувши раз, в другой раз уже не утонешь».

— Да это хоть и остроумно, но несправедливо.

— Несправедливо!.. Так что же, по-твоему, Филатка-столяр так и перестанет соседских кур загонять, а Микита кузнец смирится?

— Смирятся... Теперь чем дальше, тем больше сознают все гибельность войн...

— Да и гибельность холеры сознают все, а что толку?

— Война не холера: война в нашей власти, как и мир.

— В нашей... А если в нашей, так отчего бы нам не отменить поход этих солдатиков под Кукань?

— Я говорю в общем, а не об этом случае.

— Да и я говорю в общем. В частности же, пожалуй, и идет трактат о непринятии в войска разрывных пуль, а в общем все флоты снабжаются панцирными судами, мониторами, разрушительными таранами, пушками чудовищных размеров, такими, что скоро из Лондона станут стрелять в Париж, а из Парижа в Вену... Э! Все вздор! Ничто от нас не зависит... Над нами тяготеет это проклятое «ананке» и будет тяготеть вечно, если мы...

Он остановился.

— Если мы что? — спросил младший.

— Ничего... Если даже будет это если, то и то ничего не будет.

— Почему же?

- А вот я сейчас докажу.
- Посмотрим.
- Смотри.

III

Старший из пассажиров, сказав эти слова своему младшему товарищу, обвел глазами каюту парохода, в которой они находились. Почти вся каюта была занята пассажирами. На самом видном месте, посреди каюты, за расставленным столом сидело четыре субъекта. Они заняты были игрою в карты. По временам слышались фразы вроде следующих:

- Дам не бьют.
- Какие дамы — иных и бьют.
- А вы короля-то по усам, по усам!
- Я не бунтовщик, чтобы королей бить.
- Бац! Акулину Прохоровну в рыло...
- Ха-ха-ха!
- Человек, водки!
- Дуй ее...
- Король сам шост.
- Туз сам черт.
- Ха-ха-ха!

Иные из пассажиров пили чай, другие просто валялись, растянувшись на койках, и смотрели то на играющих в карты, то на пьющих чай. В углу каюты, на соседних койках, лежали двое студентов и беседовали о том, что прежде в университете занимались более естественными науками, а теперь настали совсем другие времена: студенты уже менее заняты исследованиями и наблюдениями, а более ударяются в практические науки и более думают о том, как составить себе будущность. Они рассказывали друг другу разные анекдоты про своих профессоров, которые стали практичны не менее студентов, и для примера, своим слушателям хлопочут более о теплых местечках, чем о научном усовершенствовании.

Пароход шел довольно ровно, по временам только как бы вздрагивая, а колеса парохода, роя воду, своим ровным, однообразным шумом вторили такому же ровному журчанию, в звуки которого сливались голоса разговаривающих кучек и пар... И что это за кучки, что за пары, что за разговоры: кто про что, кто во что... Недалеко от двери каюты, за маленьким столиком, сидели два собеседника и пили чай, облокотившись на столик. Длиннополые сюртуки и некото-

рые наружные признаки обличали в них купеческих приказчиков.

— Вот сидишь это себе, думаешь, да ажно чудно станет, — говорил один в раздумье.

— Что тебе чудно так?

— Да что, Сеня: сидишь это словно в трактире, сидишь себе прохлаждаешься, а сам едешь... Ни лошади под тобой, ни паруса не нужно, ни гребли, а тебя само везет.

— Везет, брат... Такие нынче времена.

— Времена-то времена, да смотри, чай, они последние...

— Кто?

— Времена-то.

— Ты это почем с пуда брехать стал?

— Почем с пуда!.. Не брешу, а люди гуторят.

— Верь ты дуракам-то!

— Чего дуракам... Нешто все дураки?

— Знамо, дураки — вот-те и сказ.

— Да с чего им дураками быть?..

— А с чего не быть, да быть... Ты мне, душевный человек, вот что скажи: с какой стати времена-то последними станут?.. Нешто такие последние-то времена по писанию?

— Вестимо нет...

— То-то же и оно-то.

— Да и я так думаю.

— Ну и думай да чай попивай.

В стороне от всех прочих пассажиров, за третьим столиком, сидел бледный молодой человек, лет под тридцать, в красной куртке и с сумочкой через плечо. Перед ним лежала книга, которую он читал, по-видимому, с большим вниманием, иногда улыбаясь, иногда качая головой.

— Подойдем вон к тому господину, что читает, — сказал старший из упомянутых нами выше пассажиров, — он читает серьезную книгу, я видел.

— Это красная-то куртка?

— Да.

— А что он читает?

— Спенсера. Он теперь ведь в большом ходу у нас.

Они подошли к красной куртке и заговорили с ней по поводу книги, которую куртка читала.

— Вы куда же теперь? — спросил старший пассажир.

— В Нижний, по торговым делам отца.

— Вы купец?

— Купец.

— Что же, вам Спенсер нравится?

Красная куртка улыбнулась.

— Спенсер тятеньке не нравится, — сказал он, как-то странно глядя на вопрошающих.

Те поняли иронию в его ответе.

— Отчего же Спенсер не нравится вашему батюшке?

— А Чернышевский нравится вашей маменьке? — в свою очередь, спросила куртка.

— Нет, моя мать старого закала.

— Мм... А мой тятенка — сам кузнец, других закаливает, да притом он старой веры, и я сам раскольник.

Собеседники его вытаращили глаза от удивления.

— Вы раскольник!.. Не может быть!

— Раскольник.

— И читаете Спенсера?

— И читаю Спенсера... Вас это удивляет?

— Нет... да... как-то странно.

— Вы, вероятно, думали встретить во мне купеческого сына, безобразника, который по трактирам зеркала бьет, лишь бы его нраву не препятствовали, да?

— Нет... Но все как-то странно: раскольник — и читаете Спенсера.

— Я читаю не только Спенсера, но и Мошотта, и Ренана... А Ренана и мой батюшка, виноват, тятенька любит. Да и что ж тут удивительного?

— Удивительно то, как это трепухое и сугубое аллилуйя может вязаться с Мошоттом и Спенсером.

— Привычка и... расчет... дело коммерческое.

— И много между купечеством таких, как вы?

— Кажется, есть немало.

Старший из собеседующих пассажиров улыбнулся.

— Вы что улыбаетесь? — спросила куртка.

— Так... В вас и в ваших словах я опять вижу «знамения времени».

Красная куртка, в свою очередь, улыбнулась.

— А вы чему? — спросил тот.

— Словам моего батюшки и вашим: мой отец говорит, что «знамение времени» — деньги.

— А вы?

— Я... я люблю, видите, Спенсера, а тятенька не любит.

— Признаюсь, вы загадочный человек, и я вас не понимаю.

— Не читали.

— Кого?

— Меня.

— Как вас?

— Да, меня, и оттого не понимаете.

— Да вас прочитать-то трудно: вы писаны на незнакомом мне языке.

— Нет, просто на русском, и издан, с дозволения цензуры, «товариществом общественной пользы».

— Так позвольте мне прочитать вас.

— Читайте: обертку и эпиграф прочли — разворачивайте дальше... Однако, не напиться ли и нам чаю?

— Пожалуй.

Чай был подан. Разговор продолжался. Красная куртка все более и более заинтересовывала наших пассажиров, которые находили в ней редкую начитанность и оригинальный взгляд на вещи. Разговор, как и следовало ожидать, вертелся около современных вопросов и личных убеждений каждого из беседовавших.

— И ваш батюшка не преследует ваших убеждений? — спросил младший пассажир красную куртку.

— Он не знает, что ему преследовать.

— Как?

— Очень просто: он не умеет меня читать... А если иную страничку и прочитает, тотчас же пускает в ход красный цензорский карандаш.

— Запрещает?

— Перечеркивает: печатать-де не дозволяется.

— Что ж вы?

— Ничего: перечеркнутую страницу я пускаю в ход в рукописи, или перепечатаваю тайно, в вольной типографии или на ручном типографском станке.

— И вам не тяжело постоянно прятаться со своими убеждениями?

— Не легко... Но будто и вы высказываете вашим маменькам и вашим папенькам все, что вы думаете?

— Нет, не все.

— То-то же... А у нас с батюшкой есть общая точка соприкосновения.

— Какая же?

— Политико-экономическая — понятие о труде и капитале.

— Какие же ваши понятия?

— На этот раз мы оба держимся теории Дарвина.

— Какой же именно?

— Да обеих вместе! Во-первых, наступай другому на мозоль, чтоб тебе не наступил другой, пожирай другого, чтоб

другой тебя не пожрал, души, да не задушен будешь, не давай никому сморкаться в твой платок.

— А вторая теория?

— Вторая — родительница первой: борись за существование — и для этого крупные виды должны пожирать виды мелкие и бессильные разновидности. Эта теория применяется и государствами.

Старший из пассажиров не мог удержаться, чтоб не воскликнуть:

— Это подлые, животные, лакейские теории! И вы живете по ним?

— Живем... Мы работаем и копим деньги... И почему ж эти теории подлы?

— Помилуйте! Это животные теории, животное иначе не может ничего съесть, как ограбивши другое животное или укравши у него.

— Но это оттого, что животные не сознают необходимости труда, животные не работают, пока их не заставят.

— Животное иначе не защитит себя, как убивши или ранивши другое в борьбе за существование. И человек должен бить, ранить или убивать других, чтоб существовать?

— Да, бьет, ранит и убивает, иногда медленно, иногда быстро.

— Бьет, ранит, убивает!.. Но должен ли?

— Должен по необходимости, чтоб существовать.

— По необходимости! Да по необходимости он и ворует. А честно ли это?

— Нечестно.

— Так зачем же в понятия девятнадцатого века переносить понятия девятого или тринадцатого веков? Ну, чем вы отличаетесь от дикаря, от собаки, от носорога, следуя этим теориям?

— Да мы ничем и не отличаемся от них, а делаем то, что делает дикарь, собака, носорог, только не так грубо, как они делают, а под благовидными предлогами, политично.

— И вы читаете после этого Спенсера?

— Читаю.

— И согласны с ним?

— Согласен.

— Ну, вот и поди, и бейся как рыба об лед!.. Эх, какая тоска! Как глупо и подло устроена человеческая жизнь!.. Ведь вы сожалеете о подлых греках, которые охотились на илотов, как на лисиц, и презираете их?

— Презираю.

— Вы презираете средневекового барона, который захватил все соседнее население и соседние земли и, укрепившись в своем замке, обирал всех и каждого, кого мог осилить?

— Да, и его презираю.

— Вы не оправдали бы теперь помещиков, если бы они опять возвратили крепостное право и наложили свою руку на миллионы крестьян?

— Не оправдал бы... Это было бы варварство, насилие.

— А разве капитал не насилие? Разве вы, капиталист, не тот же негодяй в замке?

— Ну, вы ходите, я вижу, в старых сапогах Прудона, — заметила красная куртка, улыбаясь.

— Что ж! Лучше ходить в старых сапогах Прудона, чем с нагайкой Держиморды.

В это время от стола играющих в карты донеслись к собеседникам фразы:

— Нынче уж не те времена!

— Держи карман!

— Тех же щей да пожиже влей.

Красная куртка, лукаво подмигнув на играющих, тихонько подсказал:

— Слышите?

— Что ж, слышу, — отвечал горячо старший пассажир, — эти жидкие щи...

— Кто? Я... Согласен, — заметила куртка, — а мой тятенька щи густые... Видите ли, — добавила куртка серьезно, — то, что видела во сне героиня в романе Чернышевского, так и останется сном.

— Что роман Чернышевского! Это для нас уже старье, мы дожили до иных понятий... Может быть, Чернышевский тоже дожил до них теперь, может быть, он ушел еще дальше нас — мы не знаем... Он об этом молчит, и, может быть, будет несчастнее даже Бонивара, шильонского узника, и не оставит своих записок... Я говорю о том, что я знаю, что я передумал... Ведь вы согласны, что убивать людей подло и преступно.

— Подло и преступно, да и невыгодно, не практично.

— А сечь людей — тоже варварство?

— Варварство.

— А принудительный труд на другого — варварство?

— Варварство.

— Ну, так слушайте же... Было время, когда более сильные и более влиятельные люди имели право убивать менее сильных и менее влиятельных, как, например, рабов, невольников, а родители детей. Не правда ли, это гадко?

— Гадко.

— Ведь гадко и то, что существовала прежде кровавая месть, хоть бы по «русской правде»: если убьет муж мужа, то этого убившего должен убить сын или брат убитого. Умно?

— Глупо, правда.

— Но когда у людей отнимали право убивать рабов, у родителей — право убивать детей, согласитесь, был ропот, и недовольные говорили: «Как! У нас отнимать право на жизнь и смерть раба, на жизнь и смерть детей! Что ж после этого будет? Зачем же нам было и приобретать рабов, когда они становятся такими же, как и мы, господами?.. Это несправедливо, это грабеж!» Но был ли это, по нашим понятиям, действительно грабеж?

— Нет, — говорила красная куртка, — что ж из этого? Зачем вы повторяете старье, что всем известно?

— А затем, чтоб от известных величин перейти к неизвестным. Слушайте дальше. Было время, когда имевшие право сечь других — секли этих других. Справедливо ли было отнимать у них это право? Разве это не был грабеж? Разве они не приобрели это право, может быть, таким же потом и кровью, как вы приобретаете свой капитал? И все-таки у них его отняли.

— Так и капиталы следует отнять? — спросила куртка. — Кто ж тогда станет работать, когда он не имеет права располагать результатами своего труда?

— Эх! — воскликнул противник. — Это возражение давно испошилось. Да ведь и рабы были результатом труда, и право розги — результат труда, одни работали и приобретали право убивать или сечь других, а другие, может быть, и больше работали, только не приобретали этого права. Так и теперь: одни работают и приобретают право есть сладко и жить в довольстве, а другие работают и приобретают право на голод или крайнюю нужду.

— Значит, или не умеют работать, или работают глупее тех, которые вырабатывают себе больше.

— Но от этого человечеству не легче! В результате все же выходит, что девятнадцатый век превращается в тринадцатый, только вместо замков с голодными подданными воздвигнуты капиталы и заводы с голодными рабочими.

— Я против этого не спору, — сказала красная куртка задумчиво (если только красные куртки могут задумываться), — но что же делать?

— Проклятое «что делать!» Надо же человечеству что-нибудь сделать, чтобы выйти из этого адского положения. Неужели же люди осуждены на вечное рабство?

— Может быть.

— Нет, не может быть! Если бы это было так, то все были бы рабами. А так как некоторым можно быть и не рабами, то, значит, можно и всем быть не рабами, это прямой логический вывод, это, наконец, математическая истина, вроде той, что если две величины порознь равны третьей, то они все равны между собою.

— Оно так-то так, — возразила куртка, — но полное равенство только и возможно — знаете где?

— А где?

— В математике... А в жизни нет величин равных между собою, положительно нет, это тоже математическая истина.

— Но должно же быть равенство прав.

— Эх, — снова возразила красная куртка, — равенство прав! Поймите вы — в природе нет абсолютного равенства, а потому не может и не должно быть равенства прав.

— Как! Вы даже это защищаете!

— Даже это — но не защищаю, а доказываю. Равенство прав немыслимо, хоть и говорят, что оно есть, как, например, равенство перед законом. Все это вздор, все это условные знаки, которых никто не применяет к делу, да и применить нельзя. Как вы примените закон вменяемости преступления хоть бы ко мне и к идиоту? Меня будут судить так, а идиота иначе. Да и какое может быть равенство между мною и идиотом, между Бисмарком и лентяем лаццарони, считающим галок на храме Петра?

Когда красная куртка сказала это, старший из пассажиров, говоривших с этою курткой, обратившись к младшему своему товарищу, спросил:

— Ты все слышал, что мы говорили?

— Все, — отвечал тот.

— И видел то, что я тебе хотел показать?

— Видел, но все-таки не скажу, чтоб все было безнадежно.

— В чем дело? — вмешалась красная куртка.

— Да то, — отвечал старший пассажир, — что мы спорили о том, есть ли под носом у алжирского бея шишка или нет. Он доказывал, что есть, а я — что нет.

— Выражайтесь, пожалуйста, без аллегорий, я не понимаю вас, — сказала куртка.

— Дело в том, что я не верю в наше время, а он верит. Я этому времени придаю слишком мало цены, и чтобы доказать ему, что девятнадцатый век не далеко ушел от девятого в основных человеческих понятиях, я случайно наткнулся на вас и увидел, что вы не верите даже в то, во что верили в восемнадцатом веке.

— Изверился, — отвечала куртка, — да и тятенька не велит... Однако позвольте узнать, по крайней мере, с кем я имею удовольствие говорить.

— Мы вас должны просить о том же, — отвечали два собеседника.

И они начали знакомиться.

Отчего же автор не познакомит с ними своих читателей? Да так, из осторожности. Так как они говорили о предметах не совсем скромного свойства и говорили не зная, что их слова могут быть подслушаны и переданы по принадлежности, то автор и скрыл их фамилии, пока они были на пароходе.

IV

Старший из пассажиров, который доказывал, будто Наполеон в Труа разговаривал с капитаном Копейкиным, назывался Григорием Борисовичем Стожаровым. Беззубая старушка, гречанка-Парка, навязала на свой гребень куделю и стала прясть нитку Гришенькиной жизни после полуночи 10 декабря 1835 года. В этот же день в дневнике отца Гришеньки, отставного штабс-капитана Бориса Григорьевича Стожарова, было написано:

«Ныне родился у меня сын, появление коего на свет было преждевременное, из чего я заключаю, что его ожидает отменное счастье и громкая будущность, ибо все недоноски, яко Наполеон и Цезарь, были великими людьми и много славных и памяти достойных дел совершили. Причиною преждевременного рождения сына моего был маловажный, паче же достойный смеха случай. Хотя Катюша была уже на сносях, однако родов ранее святок не ожидала. Случай же таков был: услышала она утром звон дорожного колокольца и, думая, что это я возвратился из города, куда я ездил в уездный суд по делу о перепахании моей новины разбойником Харламовым, — подбежала к окну. Каково же было ее удивление, смешанное с ужасом, когда на дворе она увидела толпу людей с топорами, а впереди всех человека, едущего на другом человеке верхом, и у сего последнего человека висящий на шее почтовый колоколец... Она думала встретить меня — и вместо меня узрела оседланного человека, у коего под бороною, как у лошади под дугою, звенел колокольчик. И Катюше представилось, что то убийцы, что меня уже нет в живых, хотя в испуге своем не могла решить, какую роль в сей страшной трагедии играл колокольчик под бороною оседланного чело-

века. Сие зрелище таким ужасом исполнило Катюшину душу, что она как стояла, так и грохнулась об пол... Оказалось, что то была проделка нашего Ивана Лазаревича, станового, моего приятеля и однополчанина. Подъезжая к деревне, он поймал моих мужиков на рубке моего леса, и потому, в знак наказания и посмеяния, оседлав старосту и подвесив ему на шею колоколец, он въехал на оном верхом ко мне на двор, желая доставить нам сюрприз и развлечение в нашей деревенской скуке. Но сей сюрприз едва не кончился смертью Катюши. Однако, благодаря Бога, в ночь она разрешилась от бремени, и сей смешной случай, быть может, послужит появлением на свет великого человека. Давно замечено мудрецами, что великие события бывают от малых причин — дай-то Господи».

Маленькому Грише впоследствии втолковали, что он будет великим человеком. Сначала он величие свое полагал в том, что, подобно становому, ездил верхом на деревенских мальчишках, а для поддержания мнения о своей геройской храбрости, купался под мельничными колесами. Чтобы быть похожим на Цезаря, Гриша переходил вброд речку Гремячку, которую называл Рубиконом. С Наполеоном он думал сравняться тем, что выбрал на гумне самое высокое одонье, которое назвал египетскою пирамидою, и, взобравшись на это одонье, декламировал к собиравшимся около него деревенским мальчишкам: «Солдаты! Сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид». Потом, подрастая и бросая детские игры с деревенскими мальчишками, он полюбил чтение и непременно старался выискивать жизнеописания великих людей. Над особенно замечательными чертами из жизни этих людей он останавливался с любовью и в себе самом старался отыскать подобие великим людям.

Поступив в гимназию, он учился прекрасно и был превосходным товарищем. При блестящих дарованиях он был крайне самолюбив, но самолюбив глубоко скрытно. Он не мог перенести мысли, что товарищи или учителя могут подумать, что он чего-либо не знает, и потому он не только учил все, что было в программе его курса, но и страстно любил чтение. Многосторонностью знаний и оригинальностью мнений он приводил в изумление всех, перед кем ему приходилось случайно высказываться. Он обыкновенно считал себя оскорбленным, когда во время классов учитель спрашивал его о таких обыкновенных предметах, которые могли знать и прочие его товарищи. Аналитическая сторона его способностей развивалась в нем очень рано. Когда учитель геометрии, объясняя воспитанникам терминологию своего предмета, говорил, на-

пример, что «аксиома есть истина, которая не требует доказательств», Стожаров требовал логического доказательства истины этих слов и часто затруднял своим вопросом учителя. Когда товарищи его твердили, что «два катета больше гипотенузы», Стожаров доказывал им совершенно противное и тем ставил их в полное недоумение.

В гимназии же он пережил несколько месяцев глубокого нравственного страдания, когда прочитал «Записки доктора Крупова», где этот доктор весьма остроумно доказывает, что все люди одержимы сумасшествием, только в различной степени, и что человечество, периодами, страдает известного рода повальным безумством, эпидемическою мономаниею. И представлялась ему вся работа человечества безумными выходками мономанов. «Разве не мономан Наполеон, — думал он, — который верил в какую-то свою счастливую звезду?» И когда ему на экзамене пришлось говорить о Наполеоне, он долго не хотел отвечать.

— Определите значение его в истории нашего времени, — спрашивал учитель Стожарова.

Стожаров молчал.

— Говорите же, — настаивали ассистенты.

— Разве могут иметь органическую связь с каким бы то ни было временем действия сумасшедшего? — отвечал Стожаров.

— Какого сумасшедшего? — спрашивали с удивлением учителя.

— Да Наполеона, которого считают гением... Это был сумасшедший, — мало того, это был человек, одержимый бешенством, и его следовало посадить на цепь.

— За что же?

— Он верил в какое-то свое призвание и для этого убивал сотни тысяч людей... Как убийцу-мономана, невольного в своих действиях, его следовало приковать к стене, а его называли великим.

И он сам себе казался сумасшедшим, и все действия свои он считал поступками мономана, слова и дела которого не должны быть вменяемы ему ни в похвалу, ни в порицание, как не должны быть вменяемы человеку в осуждение ни цвет его волос, ни форма ногтей.

Поступив в университет, Стожаров продолжал работать лихорадочно, хотя никак не мог решиться избрать какую-либо специальность. Ничто не удовлетворяло его, все ему хотелось чего-то большего, совершеннейшего. На вопросы, которые задавала ему его неутомимая мысль, он не находил ответа ни в

лекциях профессоров, ни в доступных ему книгах. Он думал найти ответы на неотвязчивые вопросы в тех таинственных книгах публичной библиотеки, которые по каталогам, безусловно считались запрещенными, но когда удалось ему добраться и до этих книг, жажда его не удовлетворилась. «Все это не то, не то, — твердил он, возвращаясь в свою квартиру, — и этот источник не напоил меня, и в нем вода мутная — и я по-прежнему хочу пить, я во что бы то ни стало должен удовлетворить эту дьявольскую жажду».

В числе нескольких студентов, начавших писать к выпуску диссертации на предложенные университетом темы, или на медали, писал и Стожаров. В этой диссертации он высказал все свои сомнения, наставил в ней таких вопросов, на которые не могли отвечать все факультеты вместе, и все это были, по выражению Гейне, «вопросы проклятые».

После рассмотрения советом университета всех поданных диссертаций, Стожаров заговорил о них с одним из профессоров.

— Скажите, пожалуйста, господин профессор, какие диссертации удостоились медалей? — спросил он.

Профессор назвал имена студентов.

— А вы писали на тему? — спросил, в свою очередь, профессор.

— Нет, — отвечал Стожаров, потому что в пакете, при котором представлена была в совет его диссертация, в котором, по заведенному порядку, должен быть выставлен его эпиграф и фамилия автора, именно фамилии своей Стожаров и не выставил, понимая, что под такую диссертацией опасно подписывать свое имя.

— А я думал, уж не ваша ли это диссертация, — заметил профессор.

— Какая? — спросил Стожаров, в полной уверенности, что о его-то диссертации и идет речь.

— Да с эпиграфом известной фразы Галилея: «И все-таки вертится».

— А что?

— Ее сожгли, — отвечал профессор.

— Что ж, плоха была?

— О нет, далеко не плоха: в ней замечательная начитанность, логика, такая веская и не ломкая, что против нее, как против пушки, не устоишь, и казуистика ловкая, но...

— За что же ее сожгли?

— Да за то, за что в прежние времена сжигали на кострах самих авторов подобных сочинений.

Стожарова передернули эти слова профессора.

— В наше время, — продолжал профессор, — автора такого сочинения посадили бы в крепость.

— Кто же автор? — спросил Стожаров.

— В пакете не оказалось его фамилии, но я думаю, что автор — вы.

— А если бы и я?

— В таком случае вы должны молчать об этом, и я бы советовал вам переменить ваши мнения...

— Мнения не грязное белье, которое можно сменить, — отвечал Стожаров.

— Ну, так я вам предрекаю — вы погибнете...

Около этого времени Стожаров сблизился с одной девушкой и полюбил ее. Девушка также горячо к нему привязалась. Но капризная воля Стожарова не позволила ему установить правильных отношений к этой девушке, и он как-то странно разошелся с нею, боясь, что эти отношения установятся на общепринятых, рутинных началах. Рутину он считал перво-родным грехом человека. Рутин, по его мнению, а не древо познания добра и зла была причиною изгнания Адама из рая. Рутин и сечет человека, и морит его голодом, и подвергает его унижениям. Рутин сделала его рабом, рутин надела ему цепи на руки и на ноги. Рутинию жил человек более семи тысяч лет и до сих пор бьется из-за куска хлеба, когда этого хлеба могло быть столь же достаточно для питания людей, как достаточно воздуха для их дыхания.

— Так вы действительно любите меня? — спросил он девушку.

— Действительно люблю.

— И я вас люблю много, очень много... Но вы без меня можете жить?

— Нет, не могу.

— А прежде могли жить без меня, когда меня не знали?

— Могла, потому именно, что вас не знала... Но тогда я не жила.

— Так... Это мне и казалось... кажется даже... Не можете ли вы жить без пищи и воздуха?

— Станный вопрос! Конечно, не могу.

— И даже не зная еще меня, не могли жить без пищи и воздуха, то есть без дыхания?

— Да.

— А без меня жили?

— Жила.

— Так, следовательно, и можете жить без меня.

— Какой вы странный!

— Правда, странный. Но вы меня какого полюбили? Именно странного?

— Да, странного: другого бы я не полюбила.

— Помню, помню: вы именно за то и полюбили меня, что я не похож на других... А если я стану похож на других, вы меня разлюбите?

— Нет... То уже будете не вы.

— Правда. Так этот странный человек вас спрашивает в полной уверенности, что вы поймете его: есть такие люди, которым не хватает пищи и свободы для дыхания?

— Есть.

— А у вас есть и то и другое?

— Есть... Какой вы странный.

— Да, странный... но позвольте: имеете ли вы право есть в то время, когда другим есть нечего?

— Имею, хотя...

— Хотя вам и жаль их — да?

— Да.

— И вы бы хотели помочь им?

— Хотела бы.

— Чем же?

— Я не знаю... Я возьму у маменьки...

— А своего у вас ничего нет?

— Ничего... Ах, какой вы странный!

— Да, странный... Но что же вы дадите есть тем, кому есть нечего?

— Я буду работать для них.

— Прекрасно... Но вот что оказывается: когда мы женимся, мы тогда должны уже будем работать на детей.

— Ах, какой вы!.. Ну, что ж?

— А то, что мы прежде должны поработать на других.

— Что же дальше?

— Дальше... Мы должны расстаться.

Девушка испугалась, не понимая, что с ним.

— До свидания, — сказал он, — я должен идти работать.

Девушка ударилась в слезы. Он крепко сжал ее руку, сказав:

— Не забывайте меня, а я... я буду следить за вами.

И ушел.

Мать девушки, случайно слышавшая этот разговор молодых людей, восклицала в удивлении: «Да это какой-то сумасшедший! И пошел работать — на кого же? — на хамов!..»

Вот какие нынче молодые люди!.. Мой жених сам купил пятьдесят душ хамов, чтоб они на меня работали, а этот сам пошел на них работать, да и Вареньку заставляет... Ну, времечко! Тьфу, прости Господи!»

По окончании курса в университете со степенью кандидата, Стожаров бросился в Европу — поглядеть, что там, найдет ли он там разрешение своих неугомонных вопросов и действительно ли там история выработала лучшие отношения между людьми как в нравственной, так и в материальной жизни, чем те, которые он видел в России. Он исколесил пешком почти всю Европу, слушал лекции в разных университетах, приглядывался ко всему, изучал все, сравнивал, сопоставлял, анализировал. Но и в Европе он видел почти все то же, что возмущало его в России: то же неравенство и обидность отношений между людьми, то же высокомерие одних и холопство других, ту же скаредность богача и забитость и бесправность бедного. На лекциях слышал то же, что читал в книгах, зато в книгах не находил тех мерзостей, какие видел сам, на месте, в жизни.

— Ну что, — спрашивали его знакомые по возвращении из Европы, — какое впечатление произвела на вас тамошняя жизнь?

— Разумеется, скверное.

— Чем же?

— Да там то же, что и у вас в Кинешме: городничий дерет нос перед обручником, а обручник для него же делает кадки к огурцам и унижается, чтоб городничий позволил ему набить на кадку обруч.

— А в Лондоне?

— В Лондоне меня чуть не вытолкали в шею из одного кафе за то, что я похвалил речь Брайта, произнесенную за рабочих.

— А рабочие что?

— А рабочие приколотили меня за то, что я не выпил за здоровье какого-то пьяного боксера.

— А Париж?

— Да все та же Кинешма: свой исправник, свои чиновники, острог, оброк, лакеи да нищие, только нищих больше, чем в Кинешме, и называют их не «божьими людьми», а пролетариями.

Но слыша за границей всеобщую ругань на Россию и на русских, он воротился на родину с таким тяжелым чувством, что не знал, за что приняться. После того что он видел в Европе, Россия показалась ему еще безотраднее и безнадеж-

нее, и взглянувши попристальнее на русские города вроде Кинешмы, он скоро перестал говорить, что в Кинешме и в Лондоне одни и те же порядки, а приглядевшись и прислушавшись к тому, что делалось и говорилось в России, он на некоторое время окончательно упал духом, и только благодаря живучести своей природы оправился духом и пришел к убеждению, что надо же во что бы то ни стало действовать, чтоб было лучше. Но и к этому убеждению он пришел не раньше, как побывавши во всех концах России, прошедши сквозь огонь и воду, и медные трубы.

Огнем была для него литературная деятельность, и сквозь этот огонь прошел он в ту именно пору, когда «Современник» был в высшей поре развития своих сил и когда в «Русском Слове» только что начал раздаваться резкий голос Писарева; Добролюбова только что похоронили. Но когда над этою журналистикой стряслась беда неожиданная, — Стожаров из огня бросился в воду, в самый омут. Он перебрался в глушь и там думал найти применение своих теорий, которые, ему казалось, он выстрадал; но и в глуши ему сказали почти то же, что когда-то сказал ему профессор.

Все это до того его мучило, что он готов был опять бежать из России — и бежал из провинции опять в Петербург.

— Ну, что вы нашли там? — спрашивали его друзья.

— Скверно и в жизни, как и в литературе, — отвечал он.

Когда перегорели эти первые молодые силы и порывы, Стожаров понял, что дело современных «великих людей», о которых он мечтал еще с детства, вследствие того, что отец предрек ему величие, так как мать родила его недоноском оттого, что становому вздумалось поехать верхом на их старосте, — состоит не в том, в чем состояло дело тех великих людей, которым история приписывала величие иногда по ошибке, иногда же в силу того, почему для мелкого воришки закоренелый убийца и негодяй кажется великим человеком. Проходя из детства к возмужалости, он на дороге столкнулся с пьедестала многих великих людей, которых прежде считал таковыми, и в своей памяти отвел им самое нужное место, тот бросовый уголок, в котором помещался старостин племянник Ларька, угодивший в Сибирь за конокрадство и убийство. Зато на этой же дороге он встретил действительно великих людей, и понял, что величие их следует мерить не всегда тем аршином, которым мерил Плутарх.

Исходной точкой жизни Стожарова с той поры стала польза, если и не в широких размерах, не в общечелове-

ческих видах, то хоть самая узенькая, хоть бы такая, которая принесла бы счастье и спасение Ларьке, укравшему у его отца пегого иноходца, на котором маленький Гриша иногда переходил через Рубикон.

Полагаю, что этих сведений о Стожарове будет достаточно на первый раз.

Я сказал, что со Стожаровым находился другой пассажир, молодой человек, хотя Стожаров в обращении с ним, называл его «Надей», что всех приводило в недоумение, и некоторые из пассажиров предположили даже, что это переряженная девушка, вроде девицы Пустовой или Инны Горобец в романе Ключникова «Марево». «Ты, Надя, болтаешь вздор» или «Ты, Надя, еще не видала этого», — говорил иногда Стожаров этому молодому человеку. Некоторые даже полагали, что это агенты какой-нибудь революционной ассоциации или польского жонда. Ехавший на пароходе столоначальник одной дворянской опеки, решил даже донести своему исправнику, что так и так, мол, в Поволжье сеются ковы и что разъезжает-де какая-то Надя в панталонах и сюртуке... Меня самого заинтересовала эта личность, и за сведениями о ней я обратился к Музе, к моей старой знакомой. Хотя мне и совестно сознаться, что я знаком с этой женщиной, знакомство с которой в наше время не делает чести порядочному человеку, однако я все-таки иногда пользуюсь услугами этой женщины. Читатели, вероятно, догадываются, что я говорю о той женщине легкого поведения, которая находилась в связи со всеми сочинителями, начиная от слепого и старого Гомера и кончая безбородыми писателями-мальчишками. Эта греческая старушка — большая сплетница, но зато она все знает, все слышит и все видит и для того; чтобы все знать, употребляет иногда непозволительные средства, как-то: подслушивание, подглядывание, похищение чужих документов, карманничество и прочее. Иных своих любовников она возвеличила и прославила, других сделала нищими, третьих посадила в остроги, в крепости, где иногда и посещает их тихонько.

— Муза! — сказал я, обращаясь к старушке (с нею все обращаются фамильярно, на «ты»).

— Что, голубчик? — отвечала она.

— Узнай, пожалуйста, кто этот молодой человек, с длинными волосами?

— Хорошо, дружок, — отвечала старушка, вздохнув, — так когда-то, бывало, спрашивал меня старик Гомер: «Муза, поведай мне о том-то», «Муза, скажи мне о том многоопытном муже» — это об Одиссее — и я все, бывало, рас-

скажу ему, все поведаю... О-о-охо! Времена-то нынче уж не те...

Но все-таки старушка побежала к тому месту, где сидели разговаривавшие пассажиры, которые приняли ее за монашенку, собиравшую на монастырь, постояла около них и вернулась ко мне с бумажником, который она утащила из кармана младшего из пассажиров.

— Украла-таки! — сказал я.

— Взяла на минуточку, голубчик... опять положу.

Я развернул бумажник. В нем находилось удостоверение, выданное от инспектора одного из университетов, что студент Павел Серпоров отпущен к родным на вакационное время.

— Так это студент Серпоров?

— Да, мой друг.

Муза стала копаться в бумажнике Серпорова и вынула оттуда листок розовой бумажки.

— На, прочти это, голубчик, — сказала она мне, подавая листок.

Я прочел следующее:

«Хотя ты обещал писать мне, мой дорогой Павел, однако вот уже два месяца, как ты уехал к родным, и от тебя нет ни одной строчки. Где ты, что с тобой, отчего это странное молчание — все это такие вопросы, которые мучают меня днем и ночью, которые задаются помимо моей воли, стоят передо мною, как страшные привидения, где бы я ни была, что бы ни делала, о чем бы ни думала. Уже одна разлука с тобой казалась мне непереживаемой — и я должна была пережить ее, и пережила, удивляясь только живучести человека, который не только живет под обухом, под обрушившимися на него горами, под пытками, но и под тяжестью таких мук, которые в состоянии задавить все, что только есть самого сильного на земле... А меня эти муки не задавили, я все вынесла, я только похудела, сосредоточившись в себе самой и сосредоточенно работая. Но оказалось, что всякая, даже самая тяжелая мука может увеличиваться до бесконечности, а за ней следуют новые муки, еще тяжелейшие. Ведь это все равно, что человека измученного, избитого, несчастного повесить, со всеми муками ожиданий и предварительных приготовлений, зарыть это повешенное, умершее тело, а потом вырыть на другой день, оживить или полуживить для того только, чтоб оно могло чувствовать всю силу страданий, а там снова вдевать его шею, уже потертую веревками, во вчерашнюю петлю, снова затягивать эту петлю медленно, чтобы качалось и корчилось в конвульсиях повешенное тело, а там опять вынимать

из петли и готовить к петле, и опять вешать, и опять вызывать в теле предсмертные подергивания... И так день за днем, час за часом — да когда же конец!

Но не подумай, мой милый, что я малодушно и сразу отдалась моим мукам. Я старалась не думать о тебе, не вспоминать твоих слов, милых, обаятельных, твоих ласк, жгучих и мучительных. Всю жизнь моего сердца я силою перетянула в мою голову, в мой мозг — я работала до отупения, читала до боли глаз и головы, писала до судорог в пальцах, я приготовилась к экзаменам и уверена, что выдержу их блистательно, но все мое тело думало о тебе, мои разбитые нервы с какой-то болезненной дрожью тянулись за тобой — и по ночам, в бессоннице, меня обступали мои муки, мои думы, мои палачи лютые, и начиналось это вешание и вынимание моей шеи из петли, и это зарывание моего разбитого тела в могилу, а там новая раскопка могилы, новое захлестывание петли за шею, новое вздергивание повешенного, новая агония и смерть, а там опять то же, то же, то же!

Я встречалась с твоими товарищами и спрашивала о тебе — они тоже ничего не знают.

Скоро начнутся лекции в университете. Я жду тебя. Я хочу, чтобы ты видел, как я буду сдавать мои экзамены, и похвалил бы меня. Иди ко мне, не мучь меня больше; право, весь запас моих сил истощился.

Твоя В».

Вот все, что я мог узнать о втором из наших пассажиров, о младшем, именно о студенте Серпороеве.

— Отчего же Стожаров называет его «Надей»? — спросил я Музу.

— Да в шутку, друг мой; видишь ли, Стожаров не надеется, чтобы Россия была лучше, пока в ней остаются многие старые порядки, старые люди и старые предрассудки, а потому думает, что изменить Россию к лучшему предназначено было молодому поколению, которое он и называет «надеждою» России. Оттого и Серпороева он называет «Надей»... О-о-охо! Все это так было во все времена: так, бывало, старик Геродот называл надеждою Греции маленького Фукидида, который, уткнувшись носом в колени своего отца, разливаясь-плакал, когда мой милый Геродотинька читал свою историю... И все-то это прошло, все миновало, а люди все бьются из-за того, чтобы лучше жить на свете, чтобы меньше их били, чтобы меньше лилось слез... А слезы все льются, и старые по-прежнему называют младших «Наденьками...» Вот и мои соотечественники, греки, плачут от турецкого ятагана и

бьются с турками, а что дальше будет, скоро ли перестанут люди резаться, скоро ли поумнеют люди — этого даже я не знаю.

Сказав это, она взяла из рук моих бумажник Серпороева и незаметно опять положила его в карман студента.

Третий из пассажиров, которого мы, по наружным признакам, называли «красной курткой» и который читал Спенсера, был сын богатого купца раскольника, Василий Парменович Гриднев. Он получил образование в одном из высших учебных заведений, много ездил по России и за границей по торговым делам отца, много читал и передумал едва ли не больше, чем многие из передовой молодежи, потому что приобретенные им знания и усвоенные им, по лучшим современным учителям, убеждения — встретились с другого рода знаниями и с другого рода убеждениями старика отца. В этой борьбе двух поколений — отживающего и только что начинающего жить на Руси, в сопоставлении тенденций «Домостроя» с доктринами Прудона, Молешотта и Дарвина — окрепло в молодом Гридневе то, что засело в его голове прочно и оперлось на прочный фундамент, и пошатнулось то, что росло в нем беспочвенно и могло шататься.

— Нет, батюшка, как хотите, а от этого я не отступлюсь, — говорил молодой Гриднев, отстаивая свои убеждения.

— Смотри, Василий, чтобы я от тебя не отступился.

— Как хотите, батюшка; для вас дорога Макрида-начетчица, для меня дороги Бокль и Спенсер.

— Не груби, Василий!

— Я не грублю вам, я только не хочу быть похожим на тех купеческих сынков, которые верят Макриде-начетчице, а между тем проматывают отцовские деньги на цыганок да бьют зеркала по трактирам; я веду ваши дела хорошо.

— Да, ты не мот, а вольнодумец.

— Что ж мне делать, батюшка, когда я знаю то, чего вы не знаете.

— Что ж это ты такое знаешь, чего я не знаю?.. Говори.

— Разом всего этого объяснить нельзя, батюшка, а вы перечитайте все, что я перечитал, тогда не то скажете.

— Плевать я хотел на все твои книги! Да и тебе бы не знаться с ними, — пусть бы уж дворяне, от нечего делать, читали их... А по-моему, так все эти книги — в огонь...

— А по-моему, батюшка, так все ваши книги в огонь...

Отец вскочил со стула и поднял палку.

— Я тебя убью, щенок, за такие слова!

— Не убивайте, батюшка, — я лучше так уйду от вас, я найду себе работу везде, а вас не стану огорчать.

Старик испугался. Сын был его лучший советник и делец.

— То-то же! Моя плоть и кровь, да меня же и кусает.

Сын молчал, собираясь уйти.

— Оставайся, — сказал старик, — только смотри, чтоб до матери не дошли твои речи, а то нам обоим будет худо.

«Уж и что это за сердце золотое у моего Васюшки, — говорит своим приятельницам, богомольным кумушкам, мать Гриднева, — уж такого сердца я отродясь не видала, — мухи не обидит, — не то что отец: тот, коли что не по нем, так и с Господом-Богом норовит зуб за зуб, только кулаки сжимает да на киоту поглядывает, словно бы он не просит, а грозит. А этот — ровно девушка красная: нищий идет — ничего наградит, приказчик провинится — приказчика выгородит, и со мной такой ласковый да тихий. Ни буйства за ним, ни озорства: живет у нас он, словно свечечка восковая перед Господом-Богом в киоте теплится. Все бы он книжки читал, только та беда, что книжки-то он читает все новые да незнакомые. А когда мать Макрида придет да заговорит о чудесах угодников Божиих да как люди в скитах святою жизнью подвизаются, он, Васюшка-то, слушает, слушает это, словно бы и с сокрушением, и с воздыханием — а там, глядь, и улыбнется тихонько, да такую какую-то усмешкою, ровно он тебя этою самою усмешкою за сердце ущипнет али у него у самого сердце от боли перевернется...»

— У Гриднева не сын, а черт, — говорят кулаки-купчики.

— А что? — спрашивают другие.

— Да тих больно и укладчив: без мыла в душу влезет.

— И то правда: говорит с тобой, словно у тебя в душе побывал да все конурки там высмотрел, все твои мысли руками перебрал, да перенюхал, да перещупал... Такой окаянный!

— А дело знает.

— Что и говорить! Дело-то знает, да Бога, говорят, не знает. Оттого, когда он таперича говорит с тобой да душу твою руками переминает, так это у него из глаз точно змея выглядывает... Вот какие ныне купцы-то бывают!

V

Пароход между тем двигался все дальше и дальше, вверх по Волге, с приличною русскому пароходу скоростью. Колеса его продолжали ревностно загребать воду, не зная усталости

и не требуя за труд свой никакого вознаграждения. Машина дышала тяжело, как бы силясь сказать глазевшим на нее мужичкам: «Что, любо вам смотреть, как я за всех за вас работаю на барщине. Кланяйтесь же мне в ножки: без меня вы бы тянули на своих плечах эту махину до гробовой доски...»

А мужик ее же ругает:

— Ишь она, окаянная, как пыхтит!

— Она! — говорит Супоня укоризненно. — Эх ты, мужик!

— А что? — спрашивает мужик.

— А то, что не она пыхтит, а он.

— Ой ли?

— То-то же! Кабы не он — не пошла бы.

— Кто ж он?

— Сам дедушка.

— Водяной?

— Како водяной!.. Сам... Оттого и пыхтит, — умаялся сердечный.

— Что ты говоришь, паря?

— Дело говорю! А то поди-ко на! — окаянная... Даст он тебе за это слово.

— Я ево, паря, не ругал, — я машину.

— А в машине кто ж сидит, коли не он? Все он!.. Времена ныне не те: прежде вон его в кувшины сажали, а ныне на барщине заставляют работать...

— Уж и подлинно времена!

— Скоро заставят его улицы мести, оброк платить.

— Что ты, кавалер! Вот кабы за нас... А кто ж землю будет пахать?

— Он же, все он... машинами, знать... А его в машину посадят, она и будет работать... Уж ныне все машинами...

— Ну, времена!.. А что ж мы-то будем делать, коли все он?

— Мы-то? Знамо — воевать да добро наживать.

— Ну, уж этого, кавалер, не моги... Нам-то для че воевать?

— Сказано, для отечества.

Мужик почесал в затылке. Разглагольствования Супони о явлениях нашего времени, видимо, были ему не по сердцу.

— Так ты баишь — времена? — спросил он, глядя куда-то в сторону.

— Времена, — сказал Супоня и плюнул.

А пароход между тем шел все дальше и дальше. По обеим сторонам Волги проходили мимо него то высокие изломы по-

крытых зеленью гор, то серо-желтые обрывы, то песчаные отмели левобережья с тальником, осинником и ветлянником. Картины все скромные, однообразные, хотя в этом однообразии нельзя было не видеть грандиозной размашистости, с которою невидимый художник набрасывал на эти картины то неуклюжие обрывы, по которым можно проследить все наслоения земной коры, то высокие курганы, то искривленный и цепляющийся за обрывы дубняк, то синюю безбрежную даль, такую раскидистую, что вот так и кажется, будто художник-природа, создавая ее, сказал всему окружающему: «Сторонись дальше все, на чем может остановиться глаз человеческий! Сторонитесь дальше горы и пригорки, лес и курган и вы, жалкие избенки бедного народа! Я хочу, чтоб вышла только ширь и даль, небо и земная гладь, такая гладь, чтобы тоска хватала за сердце, глядя на нее»... И тоска действительно хватала за сердце при взгляде на эту гладь заволжскую, над которой только белый лунь плавал в воздухе, расправив свои крылья в виде креста надмогильного. А там из-за пригорков выбегали по временам скромные деревеньки с искривленными и закоптелыми избенками, с неуклюжими клетями и клетушками, с белоголовыми и босоногими ребятишками, бегавшими по берегу реки, которая служила им и их отцам кормилицею и поилицею, а нередко и могилою. Иногда посередине реки показывался плот, едва заметный над поверхностью воды и двигавшийся так медленно, что, казалось, нужны целые годы, чтоб он дошел от Ветлуги или Камы до Астрахани, и на этом плоту виднелись фигуры, не то люди, не то воротовые столбы и кокорник. А там опять откуда-нибудь выползала на берег, съезжившаяся в междугорье, серая деревенька, с серыми, двигавшимися по ней людьми, с серыми крышами, с зеленеющими вокруг озимыми и с одиноким искривленным крестом на отшибе, обозначавшим, что под ним тлеют кости бурлака, двадцать лет топтавшего своими размочалившимися лаптями и исцарапанными об острые камни ногами бесконечный бечевник Волги-матушки от Астрахани до Рыбинска, и на двадцать первый год умершего под тяжелой лямкой и похороненного, как говорится, без попа без савана, без воску без ладану горемыками-товарищами, завернувшими покойника Ванюху в непутящую рогожину и понесшими вдове Ванюхи и малым детушкам-сироткам паспорт батюшкин, батюшкино благословение да в тряпиче десять полтин с полтиною... И тянутся мимо парохода эти грустные картины долго, долго, и надрывается сердце, глядя на них, и невольно приходят на мысль слова, наваянные поэту этими самыми картинами:

«Эти бедные селенья,
Эта бедная природа,
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!»

Иногда задымится вдали пароходная труба... Дым все ближе, ближе... Видна черная точка с носящимся над нею облачком дыма... Черная точка увеличивается, очертания делаются явственнее. Точка становится пароходом, и видно, как неустанные бурлаки нового времени, пароходные колеса, загребают и пенят воду... И проносится пароход мимо, всколыхнув поверхность реки и как бы силясь сказать встречному пароходу: «Некогда мне, мой друг, с тобою поздороваться... Люди гонят меня, люди спешат жить — ведь так мало дано им этого наслаждения, а надо успеть и то сделать, и другое увидеть, и над третьим поплакать... Прощай же, до свидания!..»

— Фу! Да какая же тоска глядеть на все это! — говорил Стожаров, показываясь на палубе парохода и оглядывая Волгу с берегами.

— На что? — спрашивал Серпоров.

— Да вот на эти жалкие картины, на эту пустынность, на эту бедность.

— Что, верно, Некрасова припомнил:

«Словно как мать над сыновней могилой,
Стонет кулик над равниной унылой,
Пахарь ли песню вдали запоет,
Грустная песня за сердце берет.
Лес ли начнется — сосна да осина;
Не весела ты, родная картина!»

— Нет, не то... А вот пустынность эта душит меня... Вместо богатых городов, которые должны бы встречаться на каждом десятке верст, вместо богатства и довольства, вместо кипучей деятельности, как в любой местности Западной Европы, хотя бы на Рейне, я вижу только эти раскиданные по берегу хижинки, напоминающие шалаши диких, эту глушь, это безлюдье... Точно мы и не начинали жить... От города до города сотни верст, да и какие города!.. Скучно!

— Времена, все времена — прах бы их побрал! — ворчал мужичок, проходя мимо Стожарова и тоже оглядывая Волгу с берегами.

— Вот и он о временах толкует, — сказал Серпоров, указывая на мужика.

— Слышу, — отвечал Стожаров, — только он ругает их, кажется, за что-то, а сам того не замечает, дуралей, что ходит

в сапогах и ситцевой рубашке и едет на пароходе, тогда как отец его, наверное, из лаптей и поскони не вылезал и по Волге ездил бечевой.

Проходя далее по палубе, они увидели, что пожилой мужик, довольно почтенной наружности, сидя под тентом и опершись спиной о стенку рубки, читал какую-то небольшую книжку. Чтение, по-видимому, поглощало все его внимание.

— Посмотри, — заметил Серпоров Стожарову, — с каким усердием рыжая борода что-то читает: должно быть, сказку о семи Семионах.

— Не думаю... Скорей о чудесах Тихона или Митрофания.

— А любопытно, однако, посмотреть.

Они подошли и уселись недалеко от рыжей бороды. Борода продолжала читать шепотом, но так, что некоторые слова можно было расслышать. Эти слова были: «уездные собрания» и «не позже сентября»... «губернские гласные» и т. п.

Стожарова сильно заинтересовала рыжая борода и он старался заговорить с ней. Скоро они свели разговор на книгу, которую читала борода.

— Что это у вас за книга? — спросил Стожаров.

— Да это, батюшка, земское положение у меня, — отвечала борода.

— Положение о земских учреждениях?

— Оно самое.

— Что же вы читаете?

— Да вот купил... надоть прочесть все, пообзнакомиться... А без того в собрании как в темном лесу.

— В каком собрании?

— Да хоть бы в уездном, али губернском.

— Вы разве гласный?

— Гласный, батюшка, и в уезде гласный, и в губернии гласный... Трудненько это, да нечего делать: надо сполнять мирскую волю — тягота-то общая. Оно бы и ничего, пожалуй, когда б мы были грамотные, а то... боязно.

— Да ведь вы же грамотны, читаете.

— Какая наша грамота? Стыдно и признаться, как ее, этой грамоты-то, добился я.

— А что?

— Да то, батюшка, что надо мной стряслась такая пословица, что и сказать нельзя.

— Какая же это пословица?

— Старинная... Слыхали вы, может, присловье: «Яйца курицу не учат»?

— Слыхал.

— То-то и я с детства его слыхивал, от родителей — царство им небесное — узнал, и верил этому присловию... А ныне все выходит наоборот — времена не те настали: все то старое ни к чему стало не пригодно.

— В чем же дело?

— Да то, что ноне яйца курицу учат... Я сам, родимый, эта курица.

— Я не совсем понимаю вас, — сказал Стожаров, не зная, к чему клонит борода.

— Я вам растолкую... Вы говорите, я грамотный? Так я вам на это скажу, что грамота мне с большим стыдом далась.

— Что же, вы плохо понимали?

— Видите ли, прожил я свой век темным человеком и дела свои вел без грамоты. Бог меня достатком не обидел, семья моя рабочая, так я и в торги пускался, и бумажные дела доводилось иметь. А где бумага, там рукоприкладство. В старину-то мы, бывало, коли рукоприкладство давать, так и дашь руку доброму человеку, он за тебя и распишется. Случалось и так, что дадут тебе в руку перо, и велят поставить крест под бумагой. Ну, с трудом, кое-как, а поставишь. А что это за рукоприкладство? Твой ли это крест, мой ли — кто его узнает? Крест у всех один. Вот и выискался добрый человек, научил меня подписывать: Пармен Прокофьев Ногин. Я и подписывался, и слыл я за грамотного. А как вышли эти земские порядки и мир меня выбрал гласным, я и очутился в собрании как в темном лесу, и всякая-то бумага казалась тебе зверем лютым, — а закон, да уставы, да положения еще страшней того... Пришлось на старости лет за указку садиться. Ну, и стал я тогда курицей.

— Как же это?

— Да вот как, слушайте. Есть у меня паренек махонький, Кузя, внучек. Вострой такой малец. Как земские-то порядки пошли, открыли это у нас земскую школу. Учат не учителя, а учительницы, барышни. Уж такие мастерицы своего дела, что и сказать нельзя. Паренек мой ходил в эту самую школу, учился хорошо, читал бойко и писать умеет. Я и заставлял его читать при себе, так всякие книжки, какую ни дай, сразу и уразумел. И дивился я моему пареньку. Вот он и говорит: «Дедушка!» — «Что?» — гово-

рю. «Дай я тебя поучу, — говорит, — книжки читать». Засмеялся я — чудно мне стало, как это клоп такой станет дедушку учить. Даже стыдно стало. «Как же ты, — говорю, — постреленок учить меня станешь? Не с указкой же мне сидеть под старость». — «У нас, — говорит, — дедушка, без указок учат». — «А как же?» — говорю. «Пальцем», — говорит. «Ну, говорю, а сечь дедушку будешь, коли что не уразумею?» — «Нет, — говорит, — у нас не секут»... Ну, и начали мы учиться. Посажу я это Кузьку к себе на колени, возьмет он азбуку и показывает мне пальчишком-то своим, что как называется. Я и говорю: «Нет уж, Кузя, знать мне не суждено грамотным быть — память слаба становится». — «Нет, — говорит, — дедушка, попробуем... А коли выучу тебя, — говорит, — что дашь?» — «Не выучишь, — говорю, — молодое деревцо легко принимается, а старый пень, как ни поливай, на новом месте не зацветет». Стоит паренек на своем — выучу да выучу. «Учи», — говорю. «А что дашь?» — пристаёт. «На пряники, — говорю, — дам». — «На пряники мне, — говорит, — и мамка даст, а ты что, дедушка, дашь?» — «Ну, — говорю, — что хошь, то и дам». — «Отдай меня в гимназию», — говорит. Вот каков постреленок! Куда захотел! «А Кузькину мать, — говорю, — знаешь?» — «Знаю», — говорит. «То-то же!» — говорю и пригрозил ему.

— За что же, когда мальчик хочет учиться? — спросил Стожаров.

— Так-то так, учение свет, не учение тьма, да нашему-то брату крестьянину нужна грамота, а не гимназия. Прежде хлеб, а там и мед, а за медом погонишься, в голоде насыдишься.

— Ну, так как же ваше учение?

— Так и пошло: сидит это у меня учитель на коленях, в бороде моей копается и учит... Стыдно спервоначала было, никого к себе в светлицу не пускал, когда учились, а там привык. Правду говорил Кузька: грамота далась мне, и вот я теперь сам читаю положение. Вот вам и пословица!

— Какая пословица?

— Да говорят: «Русская пословица век не сломится». А на мне вон сломилась.

— Да, правда ваша: не всякая пословица к делу идет.

— И я тож говорю теперь: думал, что яйца курицу не учат, ан вышло наоборот — учат! Наши внуки стали нас учить; вот они времена-то!

«И этот говорит о временах», — подумал Стожаров и улыбнулся. Ему тотчас же припомнились «Отцы и дети» Тургенева и целая литература трактатов о них. «И тут, — думал он, — та же история, и тут отцы и дети, и тут те же нигилисты и их противники, та же борьба молодого со старым, и у них свои Чернышевские, Добролюбовы, Писаревы, свои Тургеневы, даже свои Аскоченские и Всеволоды Крестовские, — все тут есть, что есть и у нас, и борьба классицизма с реализмом, и отрицание искусства, и предпочтение хорошо сшитых сапог Байрону...»

— А как идут дела вашего земства? — спросил Стожаров после раздумья.

— Идут помаленьку.

— А налогами не тяготитесь?

— Тяжеленько бывает, да что делать, коли налоги идут на доброе дело? Только дай Бог, чтобы все было на пользу, а уж мы поприжмемся.

— С дворянами-то ладите ли вы? Не гнут ли они на свою сторону?

— Кто же себе враг? Вестимо, всякий гнет на свой бок, без этого нельзя. А ладить — отчего не ладить. Да есть и меж благородными такие, что наши выгоды блюдут, хоть и круто им приходится от иных дворян за это. Вот и в прошлом году у нас такой случай был.

— Какой случай?

— А вот какой. Есть у нас один гласный, из чиновников он, а не из помещиков, — так всякий тебе раз у него война либо с председателем, либо с другими дворянами. В прошлое-то собрание такую кашу заварили, что и до сих пор не расхлебают. А все из-за двух только слов — смешно оно даже.

— Из-за каких же слов?

— Да все из-за *узкого* да из-за *русского*.

— Как это «из-за *узкого* да из-за *русского*»? Я не понимаю.

— Вот как, батюшка. Эта история занятная и смеху подобная. Этот-то гласный из чиновников, что наши выгоды блюдет, дока говорить — за словом в карман не полезет. Язык точно бритва — не режет, так до чиста бреет, а бывает так, что и до крови порежет. Вот этим-то языком своим да несутерпчивостью он и не угоди председателю: председатель-то его осаживает, а тот свое режет. Тот говорит — замолчи, а этот говорит — не замолчу. Ну, так у них завсегда война и велась. Председатель и говорит ему:

«Вы, — говорит, — крестьян бунтуете». — «Нет, — говорит, — не бунтую». — «Нет, бунтуете! Вы, — говорит, — восстанавливаете одно сословие против другого». — «Нет, — говорит гласный, — я никогда не восстанавливал одного сословия против другого». — «Вы, — говорит председатель, — так действуете, что восстанавливаете». — «Нет, — говорит гласный, — так понимать мои действия могут только *узкие, тупые умы*». Ну, ладно. Сказал он эти слова и сел. Мы ничего. Председатель тоже ничего. А говорил это гласный не по памяти, а по бумаге: раньше, значит, у него это заявление было написано. Прочитавши заявление, он и подал его председателю, а тот велел приобщить его к журналу... Ладно!.. Слушайте же, что из этого вышло. Собираемся мы на другой день в собрание. Сидим, ждем, что будет. Председатель и говорит гласному, что заявление-то накануне подал: «Вы, — говорит, — милостивый государь, оскорбили вчера весь русский народ». — «Чем, — говорит гласный, — я оскорбил весь русский народ». — «А тем, — говорит, — что вы всех русских назвали тупыми умами». — «Неправда, — говорит гласный, — никогда я этого не говорил». — «Нет, говорили: все собрание слышало». — «Как же я сказал?» — спрашивает гласный. «Вы сказали: так понимать мои действия могут только *русские тупые умы*». — «Я этого не сказал, — говорит гласный. — Я сказал — *узкие тупые умы*», а не *русские*». — «Нет, — говорит председатель, — вы сказали *русские*, а не *узкие*, это все слышали». — «Я очень хорошо слышал, как он говорил, — говорит другой гласный, — я сидел позади его и слышал, что он сказал *узкие*, а если б он сказал *русские*, я бы остановил его». — «Я слышал, что он сказал *русские*», — говорит третий гласный. «И я своими собственными ушами слышал, что он сказал *русские тупые умы*», — говорит четвертый гласный. «А я слышал явственно, что он сказал *узкие*», — говорит пятый. Ну, и пошла история. Тот говорит *узкие*, этот — *русские*, просто, я вам скажу, ума помрачение! Один говорит, что, дескать, такого и слова нет — *узкие умы*, что так по-русски и сказать-де нельзя, потому-де, что можно сказать *узкие сапоги*, *узкий ситец*, а *узкий ум* — эдак-де нельзя сказать. Другой говорит, что он непременно сказал *русские тупые умы*, а не *узкие*, что-де это оскорбление России, русского народа, что так-де мог сказать только поляк и что самый-де гласный этот из поляков, что-де и фамилия его польская... А гласный-то этот, я вам скажу, чиновник-то, из поповичей, оттого

и фамилия его смахивает на польскую... Ну, так вот все и загалдели — «русский», «узкий», «русский», «узкий»!.. И разделилось все собрание на две части: одна-то часть за «узких», другая за «русских», и те, что говорили, будто тот гласный сказал «русские тупые умы», написали протест, чтобы-де такого вредного гласного исключить из собрания. Соблазн вышел такой, что и рассказать нельзя! У меня даже, я вам скажу, голова кругом пошла: сижу да все про себя твержу: «русские», «узкие», «русские», «узкие», и смех, и горе! И вспомнилась мне тут наша мужицкая сказка. Идет мужик в синем кафтане и красных сапогах, а ворона летит и кричит: синь кафтан! Мужiku послышалось: «Скинь кафтан»! Он взял да и скинул. Далее ворона кричит: красны сапоги! Мужiku послышалось — «крадены сапоги», он взял да и сапоги скинул. Так-то и нам послышалось «скинь кафтан» — мы взяли да и скинули кафтан и сапоги. Он-то говорит: «Узкие тупые умы», а нам слышится — «русские тупые умы». Вот из-за этого самого и вышла вся беда. Когда шум-то поутих маленько, гласный и говорит: — «А посмотри, господин председатель, мое заявление: там ясно написано — «узкие тупые умы». А председатель ему на это, посмотревши в заявление: тут-де написано по подчищенному: «узкие», а видно-де, что было написано: «русские». Кто же это, говорит гласный, подчистил? Я-де вам вчера в руки передал мое заявление, а там было написано не по подчищенному — «узкие». Да я-де и не мог написать «русские тупые умы», потому-де, что это самое я в прошлом году написал шефу жандармов, а у него-де вы можете справиться в канцелярии — правду ли я говорю... Так кто же это подчистку сделал?.. Это, говорит, подлог, преступление... И пошла, и пошла писать! Мне индо моторошно стало, в ушах шум: сижу, да все про себя твержу: «синь кафтан», «скинь кафтан», «крадены сапоги», «русские», «узкие», «синь кафтан», «русские сапоги», «крадены сапоги»!..

— Чем же это дело кончилось? — спросил Стожаров.

— Дошло до губернатора. Губернатор уже насили, слышь, размотал этот клубок, а то бы он никогда не размотался. «Вы, — говорит, — господа, будете спорить об «узких» да об «русских», а смет и раскладок не рассмотрите. Так сделайте прежде дело, а там и спорьте: «узкие» и «русские» не уйдут от вас». Тут мне пришла на память побасенка. В одном городе случился пожар. Один квартальный и кричит другому: «Велите, батюшка, подать пожарную кишку». Другой ему на это: у нас-де нет пожарной кишки, а есть по-

жарный рукав. Тот говорит: «Нет, кишка!» Этот: «Нет, рукав!» — «Нет, кишка!» — «Нет, рукав!» Пока они таким манером спорили, город весь сгорел...

А пароход шел все дальше и дальше, оставляя за собою и высокие изломы покрытых зеленью гор, и сероватые обрывы, и песчаные отмели левобережья с тальником, осинником и ветлянником, и серые деревеньки с серыми избенками и серыми людьми, и неподвижно стоящий на середине реки плот, и торчащий на отшибе одинокий крест с лежащими под ним сухими костями Ванюхи-бурлака.

VI

На пологом берегу волжского левобережья лежит богатое торговое село Варгуны. Оно заселено недавно, в прошлом только столетии, выходцами из других центральных губерний, но уже успело шагнуть далеко вперед, благодаря счастливым условиям местности и предприимчивости колонистов (мы разумеем не немецких колонистов, а русских), и в настоящее время далеко оставило за собою те города нашей метрополии — старинные, бедные, богатые только воспоминаниями старины, которые как бы заснули в своей неподвижности. Впрочем, и неудивительно шагать впереди всего там, где это все спит непробудно, как в сказочном сонном царстве, где даже галки спят на колокольнях, будучи пробуждаемы к жизни только звоном старинных, некогда звонких, но потом разбитых временем и человеческою рукою колоколов. Варгуны, может быть, потому и стали передовиком в ряду других селений и городов, что, по общему историческому закону, все колонии идут дальше своих метрополий, как ушла вперед колония старой Англии — Северо-Американская республика, как ушла вперед наша Новороссия, как некогда колонии древней Греции оставили далеко за собой позади свою метрополию. Варгуны, как и все наше Заволжье, — русская колония, и оттого Заволжье показывает признаки жизни более, чем метрополия, и оттого метрополия нередко завидует своим колониям и ворчит на них, как ворчат старики на живую молодежь, у которой ноги не отходили еще, глаза не отглядели и спину не ломит.

«Вот и тут повторение истории отцов и детей», — думал Стожаров, который вместе с некоторыми другими пассажирами сошел с парохода и входил в Варгуны с пристани, где

остановился пароход. Серпоров между тем что-то замешкался около пароходной конторки, желая отправить в Петербург какое-то письмо.

В это время на возвышенном берегу, у пристани, шумела толпа мальчиков. Стожаров тотчас же догадался, что это были школьники.

— Девкины ученики! Девкины ученики! — кричала одна группа мальчиков другой.

— Двухвосткины ученики, двухвосткины ученики! — кричала другая группа первой.

— Вас в школе девка шить учит, — кричала первая группа.

— А вы в школе блины печете, — отвечала ей другая.

Эти перебранки двух групп заинтересовали Стожарова, тем более что он не мог понять значения выражений «девкины ученики» и «двухвосткины ученики». Но он догадывался, что в этой детской шалости проявляется борьба двух направлений, но каких — он не мог догадаться. Поэтому Стожаров остановился, чтоб прислушаться к дальнейшему спору.

— Вы чем дышите? — спрашивали некоторые из мальчиков той группы, которую называли «девкиными учениками».

— Носом, — отвечали из другой группы.

— Ртом, — говорили другие.

— У-у! Они дышат ртом и носом! — кричали «девкины ученики». — А мы дышим воздухом... А из чего состоит воздух? — спрашивали они.

— А что такое жезл Ааронов? — спрашивали, в свою очередь, «двухвосткины ученики», которые, по-видимому, не могли ничего отвечать на вопрос о воздухе и думали поразить своих противников богословским вопросом.

— Вас секут жезлом Аарона — вот что такое жезл Ааронов, — отвечали «девкины ученики».

В это время к Стожарову подошел и Серпоров, который шел с пристани вместе с гласным Ногиним.

— Ты что тут делаешь? — спросил Серпоров товарища.

— Да вот смотрю на борьбу двух направлений в молодом поколении, — отвечал тот.

— Ба! Да тут и мой Кузька! Ты что тут балуешь, постреленок? — спросил Ногин, подходя к одному из «девкиных учеников».

— Я, дедушка ничего, — отвечал мальчик.

— То-то ничего... а домой что нейдешь?

— Да вон они все задирают.

— Кто они?

— Двухвосткины ученики.

— Скажите мне, пожалуйста, — вмешался Стожаров, — что это за «двухвосткины ученики» и почему они называют этих «девкиными учениками»?

— Да это у нас, извольте видеть, две школы: в одной-то, в земской школе, где вот и мой Кузька учится, учительницей барышня, так их и называют «девкиными учениками», а другая-то школа казенная. В земской-то школе ребяташек балуют, не секут, а в казенной-то посекивают. Вот когда эти пострелята сойдутся — и пошла война: наши-то земские хвалятся, что их лучше учат, а тем обидно это — ну и бранят их «девкиными учениками».

— Да у них, дедушка, ничему не учат, — вмешался Кузя, — они не знают, что такое воздух, что такое вода.

— У них, дедушка, по казенному-то учат, так дважды два выходит не четыре, — заговорили другие мальчики, обступая Ногина.

— Да оно по казенному-то, может, и не четыре, — заметил Стожаров, улыбаясь.

— Нет, четыре, и по казенному и по земскому, — спорил Кузя.

— Уж ты мне, постреленок, все знаешь, — заметил на это Ногин ласково.

— Знаю, дедушка, а казенные-то ничего не знают, а только ругаются.

— У них, дедушка, у земских-то, Бог сотворил мир не в шесть дней, — говорили, в свою очередь, казенные, обступая старика.

— А во сколько?

— Может, в шесть тысяч, а может — в шестьдесят тысяч лет... это неправда.

— Нет, правда!

— Нет, не правда! Это вам стриженная девка наговорила, а в книжке этого нет.

«Вот и тут стриженная девка, — думал Стожаров, — и тут рутинеры бранят и эту девку, и все, что учится не по их программе, и тут, как и везде, задор и смелость выпадают на долю невежества, которое знает, какого цвета был хвост у Алкивиадовой собаки, а не знает, чем она дышит и что такое воздух. И тут классицизм и реализм в лице Кузи и его противников».

Мальчики между тем продолжали спорить.

— А на сколько колен была разделена земля израильская? — спрашивали казенные.

— На двенадцать, — отвечал Кузя, — а вот вы не знаете, на сколько уездов разделена наша губерния.

Казенные действительно не знали, потому что до этого они еще «не прошли географии».

— А кто был отец Ганнибала? — спрашивали, в свою очередь, казенные.

Озадаченные этим вопросом, земские не нашлись сразу, потому что в их школе обращали преимущественное внимание на реальные, практические познания, тогда как в казенной школе преобладал классицизм и знание древностей. Но Кузя, ободряемый присутствием дедушки, нашелся скорее других.

— На что нам отец Ганнибала, — сказал он, — его по батюшке никто не называет. А вот вы не знаете, кто у нас председатель земской управы, и кто мировой судья, и какая в нашей губернии торговля, и какая почва, и что такое акция.

— Ай да Кузя! — невольно заметил Стожаров. — А ты знаешь, что такое акция, и кто председатель управы, и что такое гласный?

— Знаю, дяденька, — бойко отвечал мальчик, — акцию я видел у дедушки, и председателя знаю как зовут, а гласный — вот дедушка гласный.

— А отца Ганнибала не хочешь знать?

— Не хочу... А они учатся только тому, что никому не нужно...

Стожарову и радостно, и грустно было смотреть на эту молодежь, которая напоминала ему его собственное детство, когда он переходил через Рубикон или на копне сена воображал, что на него, как на Наполеона, действительно смотрят сорок веков. Что-то выработают, думал он, эти молодые силы, которых ожидает суровая борьба в жизни, неудачи, разочарование? Или в двадцать-тридцать лет жизнь выработает лучшие формы, и будет легче жить, легче дышаться? Нет, думал он, слишком поздно началась эта выработка лучшего, слишком мало еще сделано для этого лучшего, чтобы можно было думать, что в двадцать-тридцать лет воздух очистится, когда еще и не начинали чистить конюшни царя Авгия, заражающие воздух. А где Геркулес, который взял бы на себя эту работу, где предвестники того, что будет лучше? Бедная Россия...

— Ты что замечтался? — спросил его Серпоров.

— Так, Надя.

— Нет, не так — я тебя знаю.

— Да грустно стало глядеть на эту молодую жизнь, которой так же не выбиться из тисков, как и мы не выбились.

— Выбьемся, мы на том давно порешили.

— Нет, как морские октоподы будут цепляться за нас и за них неблагоприятные исторические условия, в которых мы пеленались и выросли, и будут они биться как рыба об лед и скоро состарятся не от лет, а от забот и нужды, от этих же самых исторических условий, и когда к старости станут подводить итоги жизни, то увидят, что и в гроб они должны лечь с недоимкой.

В это время мальчики закричали: «Вон Варвара Григорьевна!» — и опрометью бросились туда, где они увидели эту Варвару Григорьевну.

Стожаров и Серпороев поглядели по тому направлению, куда побежали мальчики, и увидели девушку, которая проходила через улицу. Она была одета во что-то темное, а в руках держала папку, по-видимому, с нотами.

Мальчики с восторгом окружили ее, беспрестанно и в перегонку болтая:

— Варвара Григорьевна! Кто был отец у Ганнибала?

— Варвара Григорьевна! Казенные не знают, какая у нас почва, на сколько уездов разделена наша губерния.

— Варвара Григорьевна! Казенные говорят, что они дышат носом, а не воздухом.

— А в вас, кажется, хвастовство развивается, — заметила девушка, улыбаясь.

— Нет, Варвара Григорьевна, — болтал Кузя, — они на нас нападают, а сами не знают ничего — только и хвалятся Ганнибалом да коленами иудейскими.

— Что ж вы нейдете домой? — говорила девушка.

— Мы, Варвара Григорьевна, пойдем в луга собирать вам бабочек, жучков, цветы и всякую травку, а вы нам скажете, как все это зовут и для чего оно, — говорили мальчики, прыгая около учительницы.

И мальчики и девушка скрылись за углом.

— Кто эта Варвара Григорьевна? — спросил Стожаров гласного.

— Да это ж и есть ихняя учительница, — души в ней не чают ребятенки, — отвечал старик.

— Что же она, здешняя или приезжая?

— Приезжая.

— И давно она здесь?

— Года два будет, как приехала.

— А любят ее здесь.

— Сначала-то крутенько ей было — косо на нее смотрел народ, и на смех ее поднимали, и языки ребята на улице показывали, и «стрижкой» обзывали — упрекали все, что, знать, не за доброе дело ей косу урезали. У нас, у мужиков, знамо дело, коли у девки косу обрезали, значит, вела себя не чисто, житье ей было у нас жалкое, не приведи Бог. А там взъелись на нее наши дьячки, за то больше, что хлеб у них отнимала, мальчонков учить к себе брала. И стали дьячки ей пакостить, мальчишек на нее напущали, ворота дегтем мазали, на заборе, у ее ворот, мелом всякую скверну писали, так что срам было мимо пройти. Натерпелась-таки голубушка, а на своем поставила, и под конец, все обошлось к благополучию, только извелась ни на что, бедная.

— Хорошо благополучие, — говорил Стожаров как бы сам с собой, — поставить-то она поставила на своем, а здоровья-то не воротит, коли извелась, как вы говорите. Э! И немало у нас таких надломленных, а иные и совсем погибли. А кто виноват? Наше историческое лакействование и тупоголовие. Разве не те же варгунинские дьячки накинудись на русскую девушку, когда она хотела променять постель наложницы и дом терпимости на училище? Разве не эти же самые варгунинские дьячки, в Москве и в Петербурге, да и по всей России, поднимали на смех женщину, когда она требовала себе работы, чтоб не быть поставленной в необходимость телом своим зарабатывать себе кусок хлеба. Разве литературные ребята не показывали ей языка на улице и не упрекали стрижкой, как будто желание найти честную работу доказывало, что она ведет себя «не чисто»? Наши литературные дьячки марали у этих бедных женщин не ворота, а честь, и не дегтем, а типографскими чернилами, и вместо того, чтобы писать на заборах «всякую скверну», писали ее на страницах журналов, на столбцах газет...

— А я на это смотрю более извинительно, — заметил Серпороев. — Явления эти — общий исторический закон, и дьячки, пишущие на заборах, такая же историческая необходимость, или, вернее, — такой же естественный закон, как и то, что у ребенка с болью режутся зубы.

— Оно правда, коли хотите, — вставил свое слово гласный, — без врагов ни человек не проживет, ни дело не делается.

— Оттого что жизнь без борьбы не мыслима, — добавил Серпороев.

— Да без подлецов-то она должна быть мыслима, голубчик Надя, — говорил Стожаров по-прежнему задумчиво, —

по-твоему и карманник, и всякий мелкий воришка — историческая необходимость.

— А что ж! Оно и то правда.

— Э! Надя! Полно говорить не умно.

— Как?

— Не умно... Я не хочу сказать — глупо. Почему ж ты думаешь, что подлецы — историческая необходимость!

— А оттого, что они до сих пор были и будут, — значит, они историческая необходимость или такой же закон природы, как и то, что бывают ясные дни и пасмурные, как бывают умные люди и дураки.

— Все же это, друг мой, не закон, а явление, которое может быть и не быть.

— По-моему, напротив, когда явление обще и постоянно, то оно возводится в закон.

— Нет, Надя, что может быть и может не быть, то уже не закон. Если до сих пор женщину варгуниевские дьячки позорят за то, что она ищет работы, то скоро придет то время, когда ее будут позорить за то, что она ничего не сделала.

— В нашем-то быту, у мужиков, оно так и бывает, — снова вмешался старик гласный. — Коли девка не умеет работать, так ее и замуж не возьмут.

— У вас-то так, да у нас не так, — отвечал Стожаров, — у нас коли мужчина беден, так продает себя богатой невесте, а коли невеста да хорошенькая, так продаст себя богатому и старому мужчине. У нас кто-нибудь из двух становится паразитом — или муж, или жена.

В это время они проходили мимо кабака, около которого собрался народ, и в толпе раздавались пьяные голоса.

— К дьяволу ее окаянную, чтоб ей пусто было, — говорил пьяный голос.

— Не давай, паря, руки — дело нечисто, — говорил другой.

— А для че не дать, дурова ты голова, — говорил третий, — чугунок — железная дорога — знатная, брат, штука, сама и возит и носит.

— Ну ее ко псу, чугунок-то вашу.

— Не давай, паря, руки, закабалить господам.

— Ой ли?

— Право закабалить.

— Слышь ты, робя, две копейки с десятины содрать норовят.

— Полтину сдерут.

Старик Ногин и его спутники подошли к мужикам. Поздоровались. Многие мужики знали близко гласного.

— Об чем, братцы, шумите? — спросил Ногин.

— Да все об чугунке, дядя Пармен Прокофьич.

— А что?

— Да провал бы ее побрал: не хотим руки давать.

— Не давай, братцы, — говорили пьяные голоса.

— Не дадим, едят ее собаки, чугунку-то вашу.

— Да в чем, братцы, дело? — спрашивал Ногин в недоумении.

— Чать слышал, дядя, к нам чугунку хотят вести.

— Слышал — дело хорошее.

Мужики стали чесаться в затылке. Ногину они верили.

— Да с нас, дядя, деньги брать будут, а нам дать нечего, — говорили мужики.

— За что деньги?

— На чугунку эту, а денег у нас нету — и недоимок-то по горло.

— Кто ж вам сказал, что деньги надо давать?

— А Иван Алексеич.

— Он и баит: не давай, паря, руки. Пиши, что чугунки, говорит, нам не надить.

— В разор, говорит, разорит вас чугунка эта.

— На работу, баит, сгонят, как на барщину.

— Вон, слышь, говорит: где чугунка, там и голод. Проведете, баит, чугунку, и у вас будет голод.

— Скот, баит, весь поколеет от чугунки.

— Работать, баит, никто не станет — все уйдут на чугунку.

— Бабы наши, слышь, срамницами станут.

— А я уж свою, дядя, бил за чугунку ту.

— Кого?

— Молодуху-то.

— Да за что, паря?

— Чтоб не срамила, не ходила на чугунку.

— Земля, слышь, от чугунки отощает.

Подвыпившие мужики были, как видно, в азарте. Какой-то Иван Алексеевич, соседний помещик, противник предполагаемой к Заволжью железной дороги, натолковал крестьянам, что чугунка будет для них гибелью, что на постройку чугунки будут брать с мужиков деньги, что эта чугунка закрепостит их снова, а бабы перестанут работать, что, наконец, последствием железной дороги будут неурожаи, бегство баб от мужей, усиление рекрутчины и нашествие неприятеля.

— Языцы, слышь, придут по чугушке и нас в полон возьмут.

— Немцы все в руки заберут.

— Шалишь, — кричал рыжий мужик с всклоченной бородой, — я своей Аксютке все ребра переломал, как про чугушку прослышал: пуцай не балует баба с немцами.

— Изведем, братцы, немцев.

Шум, на минуту утихший при приближении старика Ногина, опять возобновился.

Старик Ногин, справедливо полагая, что с пьяными мужиками было бы бесполезно толковать, оставил их и пошел со своими спутниками дальше.

— Что это за история? — спросил Стожаров. — За что мужики баб бьют?

— За чугушку, батюшка. Да и немцев грозят извести. Сами слышали и, чать, догадались.

— Да, догадываюсь, из какого болота гнилью потянуло.

— Вот так оно и везде; значит, и тут явились свои дьячки, что по заборам пишут, — прибавил Серпоров.

— Так, по-твоему, и это закон исторической необходимости.

— Закон: дарвиновская борьба за существование. Ведь ты же вчера подсмеивался над «Делом», что литературная партия, поддерживающая его, хотя и отошала, как тощая фараонова корова, однако, подобно этой корове, хотела бы пожрать другую партию, тучную корову, да только ни силы не хватает, ни знаний, ни умишка. А все из-за чего? Из-за существования. Так и этот Иван Алексеич мутит мужиков по закону Дарвина, что делают и варгунинские дьячки, занимаясь сочинением памфлетов на заборах.

— Да полно, Надя, повторять старые и общие места. Я все это давно знаю. Знаю, почему варгунинские дьячки мажут дегтем ворота в квартире честной девушки, знаю, почему нищенствующая духом партия «Дела» пишет дегтем свои рецензии на талантливейшие литературные явления нашего времени, а сама печатает такие вещи, которых никто не читает. Все знаю, Надя, да от этого никому не легче. А как сделать, чтоб дьячки не пачкали дегтем то, что не следует пачкать?

— Этого нельзя сделать.

— Нет, не говори этого, Надя, задача нашего времени именно в том и заключается, чтобы доказать, что то, что мы по своему невежеству считаем законами исторической необходимости, — не более как налипшая на нас и на нашу мысль вековая пыль, что все это — кандалы, в которые мы сами

себя заковали. Я глубоко убежден, что человечество добьется того, что в нем не будет подлецов, как теперь в Европе нет людоедов, что дьячки перестанут писать на заборах, что воровать будет не выгодно и не для чего, и в литературе не будет неприличной ругани из-за того, что я пишу в одном журнале, а не в другом.

— Этого не будет.

— Нет, Надя, клянусь тебе всемогуществом человеческой мысли, что будет.

— Но это не так скоро.

— Не спорю, Надя, не скоро, но будет: придет пора, когда Супоня перестанет говорить, что без войны жить нельзя, когда за военные доблести будут сажать в острог, а дьячки, писавшие дегтем на заборах, готовы будут слизать этот деготь, да будет уже поздно.

— Но как этого добиться?

— Добьемся.

— Я не верю тебе, не верю ни в твои слова, ни в твою веру: вера нашего времени, как и моя, не должна идти дальше того, где наука и опыт не сказали своего последнего слова. Да и тут я боюсь верить, потому что и наука ошибается, и опыты нас обманывают. Ведь наука же говорила когда-то, что солнце вертится вокруг земли. Да и мало ли было принятых наукою нелепостей? Сама же наука сталкивает с пьедестала то, чему она прежде поклонялась как истине.

— Надя! Надя! Ты говоришь, как гимназист пятого класса, который при переходе в шестой класс теряет веру во все, даже в то, что ему следует учиться, и даже в то, что дважды два четыре.

— Пожалуй и так. Наше поколение пошло дальше вас и ваших нигилистов, дальше Базаровых, Кирсановых и Лопуховых. Ваши нигилисты не верили авторитету западной науки, а верили Зайцеву, Ткачеву, Шелгунову и какому-то Гдб., а мы даже Ткачеву и Шелгунову не верим: это — охрипшие жрецы того каменного идола, которому они сами, из усердия, нос отшибли. Они теперь запели другие кондаки и каноны, да их уж никто не слушает: их песенка спета, как ни была нескладна эта песенка. Все это уже стало старым и негодным тряпьем для молодого русского поколения, и оно с ленивой усмешкой перелистывает всю эту ветошь, хотя печатавшуюся в 67-м и 68 году.

— Ну, Надя, я не ожидал, чтоб молодое поколение выходило из себя.

— Я не выхожу из себя: если молодое поколение ставит философов отживающего нигилизма на одну доску с Лазарем

Барановичем, то это не значит, что оно выходит из себя. Ну, скажи откровенно, кто в нашей литературе больше всех *ругался*, в буквальном смысле этого слова, кто всегда выходил из себя? «Домашняя беседа» да ваши литературные нигилисты.

— Почему же *наши*? — спросил Стожаров.

— Потому что ты сам участвовал в их журнале.

— Ну, что ж, участвовал, когда в журнале все группировалось около Писарева, а потом, когда Писарев ушел оттуда, и я их покинул.

— Вот так их покинуло и все молодое поколение, — отвечал Серпоров и, встряхнув своими длинными черными волосами, добавил как бы нехотя: — Ваше время нашему времени не указ.

— Кого же вы слушаете, чему вы веруете, кого и что вы читаете? Что не старье и не ветошь для вас, для самого молодого поколения? — спросил Стожаров, насмешливо глядя в глаза своему спутнику.

— Мы что читаем, и кого слушаем, и чему верим?

— Да, желал бы я знать.

— Изволь. Мы читаем положение о земских учреждениях, судебные уставы да европейские учебники, и слушаем Ногина гласного, когда он толкует своим избирателям о том, что пора вносить земские сборы.

— Только-то?

— Только-то.

— А во что вы веруете?

— В себя да в свои силы.

— Ну, плоха же ваша вера: она не лучше фетишизма, нигилизма, зайцевизма, шелгунизма, аскаченства и секты скопцов и прыгунов.

— Не думаю, — отвечал несколько обиженным тоном Серпоров, — это вы и ваши товарищи по перу принадлежали к литературному скопчеству.

— Полно, Надя, что нам спорить? Я не о том начал говорить. И без того слишком много скорбных явлений в жизни, чтоб еще прибавлять число их, так сказать, расколом в их дружной работе на общую пользу. Пусть ворчит брюзгливая старость и умственное бессилие, слишком святы наши цели и слишком много впереди дела, чтоб левой рукой ломать то, что создает правая.

— Мы ломаем только то, что негодно и вредно. Это ломаем мы и правой, и левой рукой.

— А что ж вы создаете?

— Мы *учимся* создавать, готовим материалы, подготов-
ляем почву.

— Э! Надя моя милая! И мы то же думали.

— Что ж вы думали?

— А вот что: мы тоже *учимся*, как и вы, только у нас
есть уже определенная программа. Не знаю, учитесь ли вы
тому же.

— А чему бы, например?

— Во-первых, учитесь ли вы тому, чтоб сделать мужика
не голодным?

— Учимся.

— Во-вторых, учитесь ли вы тому, чтоб не было кругом
нас вот этой нищеты, — он указал на развалившуюся избуш-
ку, — чтоб кругом нас не лились слезы несчастных — учи-
тесь?

— Учимся и этому. Вот наши цели: мы хотим, чтоб Карп
не бил Сидора, чтоб и у Сидора были такие же одонья хлеба,
как и у Карпа, чтоб Сидора за Карпа не секли на сходке,
чтоб Сидора не отдавали в рекруты не в очередь, чтоб Карп
не покупал коты Авдотье на деньги, заработанные Сидором,
чтоб собаки Карпа не кусали за ляшки Сидора, чтоб Карп не
бил баклуши, когда Сидор заработался до чахотки, чтоб кор-
мить Карпа, и его жену, и его свояченицу, и его же золовку,
и его батрака, и его собак, которые Сидору покусали ляшки.

— Так, так, Надя, — говорил Стожаров ласково, — если
б молодое поколение не этому училось, я бы его и не любил.

В это время Стожаров и Серпоров подошли к дому глас-
ного Ногина, который в начале их последнего спора, указав
им издали на свое жилище и попросив зайти к нему, поспешил
вперед, чтобы, как он выражался, встретить дорогих гостей
«не распояской».

VII

В Варгунах продолжало слышаться шипение парохода, ко-
торый все еще стоял у пристани и распускал по берегу бело-
ватые клубы дыма и паров. Слышалось гроханье дров о
палубу, доносились с берега щебетание и перебранки тор-
говок, которые показывали такую продовольственную ре-
вность, что, казалось, готовы были закармливать и опоить всех
проходивших мимо них пассажиров и что если б этих торговых
посадить председателями тех земских управ, где в прошлом
году голодал народ, то голодных бы не было и в помине.

Вправо от Варгунов берег Волги, более высокий, чем влево от этого села, образовал большую ложбину, в которой весною обыкновенно играют быстрые ручьи мутной воды, а летом выползает из земли высокая трава. Бока ложбины поросли кустарником, а от вершины ее тянулся небольшой лесок, из которого по временам доносилось карканье ворон и частое постукивание дятла о сухую кору старой, загнивающей березы. Все окрестные картины, которые можно было окинуть глазом, не были настолько привлекательны, чтоб внимание могло на них особо остановиться: ни резких изломов в береговых очертаниях гор, ни далекой живописной перспективы, ни темной зелени леса, — только и видна была не совсем голубая и не совсем серая поверхность Волги да за плоскою горою голубое небо.

Такие картины способны скорее нагнать тоску или грустное раздумье, чем другое чувство, которое толкает человека к лихорадочной деятельности при виде иных картин природы, иных изломов гор и берегов.

По ложбине и по лесу с карканьем вороны и однообразным постукиванием дятла перемежаются другие звуки, как отголоски жизни, которая одинаково заявляет свои требования как при этой однообразной обстановке, так и при других, роскошных картинах природы. По ложбине и по лесу раздаются веселые детские голоса, и в детских возгласах нетрудно различить фразы:

— Варвара Григорьевна! Мы вам поймали живую медведку.

— Варвара Григорьевна! Велите Крапову не мучить бабочку.

— Варвара Григорьевна! Казенные ученики поймали ежа и выдергивают у него колючки.

— Нет, они секут его розгами.

Молодая учительница, к которой обращались эти возгласы, сидела под развесистым дубом на разостланном пледе. Рядом с ней лежала на траве, опершись локтями на плед учительницы и обхватив ладонями подбородок, другая девушка, которая время от времени заглядывала в развернутую перед ней книгу или продолжала задумчиво глядеть вниз, на лежащую перед ее глазами ложбину и на дымчато-голубую поверхность Волги. На лице первой, болезненно бледном и истомленном, лежало какое-то тихое спокойствие, даже, по-видимому, апатия, но большие серые глаза обнаруживали, что в этом болезненном существе много внутренней силы, и если жизнь, которая, как видно, неласково задела ее своею тяже-

лою рукою и надломила несколько ее упругую волю, то запас внутренней силы еще не тронут, и эти глаза упрямо могут глядеть в лицо самой суровой жизненной правде. Другая девушка, как видно, только еще начинала жить, хотя все ее смелое личико выражало, что существо это жадно ищет жизни, но только еще само не знает, на что потратятся и живая мысль, и избыток восприимчивости, и до болезненности отзывчивое сердце.

— Варя, — говорила задумчиво эта последняя девушка, — ты слышишь, как природа стареется?

— Нет, не слышу, — отвечала первая.

— Вслушайся, милая, вдумайся и ты услышишь. Я слышу и сердцем, и ушами, как она стареется, — вот каждая травка, каждый лист на дереве — все слышу, и мое сердце сжимается при этих звуках.

— Что ж, душа моя, значит ты слышишь, как старушка-природа кашляет? — спросила учительница, улыбаясь.

— Не смейся, Варя. Кашля природы я не слышу, а старческие звуки, звуки отходящей жизни слышу, ясно слышу. Разве это те звуки, которые мы с тобой слышали здесь весной? Разве тот шелест листьев, разве так старчески, лихорадочно лепетали тогда листья осины, как теперь — слышишь? А этот сухой шорох травы? А это карканье скучающей вороны?

— Правда твоя, Мариночка, осень близка.

— То-то же, Варя! Я слышу шепот какого-то разбитого, надтреснувшего голоса в природе, точно у моей бабушки. Мне плакать хочется.

— Об чем, дурочка?

— Сама не знаю... Этот старческий шепот листьев, это усталое стуканье дятла... что он не улетел с другими птицами туда, где так хорошо, так полно жизни.

Молодая учительница, как бы не слушая своей подруги, тихо продекламировала:

— И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябание.

А ты слышишь, Марина?

— Слышу, как пароход шипит... И он тоже улетает туда, где лучше, где больше жизни.

И Марина, припав к коленям учительницы, заплакала.

— О чем ты, бедненькая?

Та молчала и продолжала всхлипывать.

— Бедное, бедное дитя! — сказала учительница с участием, — ждут тебя в жизни и великие радости и великое горе.

А детские голоса продолжали раздаваться по лесу. Звуки в природе, и без того однообразной, действительно отдавались чем-то мертвенным, отживающим, точно и в самом деле наступила ее старость, хотя спокойная, тихая, безболезненная. Небо точно отошло дальше от земли и увело с собою солнце, которое хотя и продолжало греть из далекой синевы, однако уже не оживляло земли, а только сушило и поблекшую траву, и желтеющие листья, и сероватые осины ложбины. Высоко в воздухе тянулась вереница гусей, которые тоже, кажется, улетали туда, где лучше, где не было старческой сухоты в природе. Где-то в стороне полевой сверчок тянул свою однообразную песню, от которой тоже веяло отживающим летом.

— Хоть бы убежать куда-нибудь от этой тоски, от этой песни, от этих мест, — может быть, легче б стало, — говорила Марина, не поднимая головы.

— Куда же бежать и зачем?

— Я не знаю. Только так я не могу жить.

— И я когда-то говорила то же и то же чувствовала... И бежала... сюда... в Варгуны...

Марина подняла голову и быстро взглянула в лицо подруге.

— И что ж, Варя? — спросила она, затаив дыхание.

— Ничего, как видишь — счастлива...

Не в голосе, не в словах, а где-то там глубоко, в груди говорившей эти слова, слышалось что-то другое, не то, что говорилось, и точно там в груди надо было искать другого смысла сказанных слов. Марина угадала это.

— Так и тебе, Варя, тяжело — тебе, свободной, действующей? — спросила она робко.

— Да, мне, свободной, действующей — не... совсем хорошо...

И та и другая замолчали, как будто к чему прислушиваясь со вниманием, не то к монотонной, наводящей тоску песне полевого сверчка, не то к мерному постукиванию дятла, не то к другим, более тонким звукам отживающего лета.

— Я не могу читать этих книг. Они с ума меня сведут, — говорила Марина, отталкивая лежащую около нее книгу.

— Почему же?

— Это проклятые книги! Злые, подлые...

— Которые именно?.. Что с тобой? Какие именно книги злые и подлые?

— Вот все эти... Они только рисуют перед вами счастье, заманивают вас, заставляют желать счастья, а не дают его;

ни одна из этих подлых книг не даст счастья... Я брошу их читать... Я лучше хочу быть дикаркой, нашей Офроськой, которая мечтает как о счастье, когда я подарю ей мое лиловое старенькое платье.

— А ты, дурочка, думала, что книги дадут счастье?

— Думала, и имею полное право думать, — горячилась Марина.

— Напрасно, счастье дают нам не книги, а жизнь, да мы сами его должны выискать.

— Жизнь! Жизнь!.. Отчего ж ни тебе, ни мне не дала его эта глупая жизнь?

— Не умели искать.

— Э! Варя! Варя!.. Я и писателей всех ненавижу.

— За что же такая немилость?

— Они все подлецы или идиоты.

— Марина! Что ты! Помилуй, — ты уж, кажется, начала превращаться в Офроську.

— Милая Варя! Прости меня... А все же писатели подлецы — виновата... не честные, не добросовестные люди. Они сами наверняка убеждены, что мы, женщины, не выйдем из неволи, не будем никогда действовать, а уверяют, что можем. Они этим увлекают только нас, мучают нас, а сами ничего не могут сделать для нас. Согласись, Варинька, что это подло. Зачем уж и уверять нас? Уж говорили бы прямо, что ничего для нас нельзя сделать, а то только дразнят обещаниями. Мне при этом даже гадкая мысль приходит в голову.

— Какая?

— Они пишут так затем, чтоб завлечь нас читать свои подлые, пустые книжонки, чтоб товар их скорее покупался... Ах, Варя! Ведь это все равно, что в Гостином дворе зазывают покупателей, или вон там на пристани торговли кричат: «Пирог горячи! Купи, барин!» А пироги вовсе не горячи.

— Нет, Мариночка, я с тобой не согласна, — говорила учительница, взяв с земли книгу и закрывая ее, — в тебе говорит возбужденная, но неудовлетворенная жажда жизни. В этом возбуждении ты говоришь против себя, против своего сердца. Тяжко было бы человечеству, если б у него не было этих подлых, как ты называешь, книжек. Человечество осуждено было бы на вечное рабство и на вечное невежество, когда б у него в распоряжении не было печатного или писаного слова, хотя бы слово это было и не совсем свободно, хотя бы насилие и налагало на него свою тяжелую руку. Печатное слово — это такая сила, которая победит мир. Печатное слово — единственный защитник правых, обижаемых, слабых и

бедных. Печатное слово — это новая стихия, при помощи которой только и может устроиться мир и рай сойдет на землю.

— Варя моя милая! — говорила Марина, снова закрывая лицо руками. — Но это же слово приносит на землю и ад со всеми его ужасами.

— Каким образом?

— Да ведь я же говорила, что слово и книга только дают понять счастье, а самого счастья не дают. Эти писатели только обманывают и нас и себя. Все лучшие из них — жалкие, бедные, хотя и честные мечтатели. Они дают то, чего сами не имеют, что сами желали бы иметь. Поверь мне, Варя, ни один из них не может быть счастлив.

— Отчего же ты так думаешь, милая?

— Оттого, что иначе не умею думать. Они, эти писатели, сами желали бы получить то, что сулят миру, — и свободу, и счастье, и абсолютную правду, и равенство, и дренажирование слезных железок...

— Что? Что? Как ты говоришь?

— Дренажирование слезных железок... Ну, как бы тебе сказать проще? Ну, просто, как говорят поэты: они хотят осушить слезы всего человечества, а так как этих слез столько же льется, сколько воды находится в белорусских болотах, то эту воду и хотели бы писатели дренажировать.

— Понимаю. Ты выражаешься, точно член вольного экономического общества.

Марина засмеялась самым наивным, самым детским смехом, откинула назад волосы и вскочила на ноги.

— На чем бишь я остановилась, Варя? — спросила она весело.

— На дренаже глаз человечества.

Марина опять засмеялась.

— Какая ты злая, Варюша. Ну, да хорошо. А только я все-таки говорю, что ненавижу и писателей, и их книги.

— Бедненькие! Они будут плакать....

— Варя! Душечка! Не смейся надо мной... Я говорю серьезно. Разве они не дразнили нас «женским вопросом», «женским трудом», даже теперь «женским университетом» стали глаза колоть.

— И что ж из этого?

— Да то, милая, что они только болтают, а ничего не сделали. Над нами же смеются, нас же корят, когда мы вздуваем учиться и искать работы. Я все это в этих же книжках читала.

При последних словах Марины по лицу учительницы прошла тень, и темные брови ее как бы придвинулись ближе одна к другой, а глаза стали и больше, и светлее.

— Что ж, может быть, они и правы, что корят нас за труд, за желание действовать самостоятельно, за дерзкую решимость не подчиняться деспотизму семьи, мужа, мужчины. Может быть, и я сделала ошибку, что пошла в учительницы, а не в ключницы к человеку, которого назвала бы мужем.

— И ты сожалеешь об этом, беденькая? — спросила Марина каким-то испуганным голосом.

— Не знаю, милая... Я ничего не знаю.

— Ах, что же я могу знать, когда ты ничего не знаешь! — воскликнула Марина с отчаянием в голосе.

— Я знаю только то, что дожила «до сомнения». Прежде мне все казалось ясным, определенным, а теперь я во всем сомневаюсь — и тяжело это сомнение.

— В чем же, Варя?

— Да хоть бы в том, что, может быть, и правы те, которые и в литературе, и в жизни бросают в женщину грязью за то, что она ищет свободы, равноправия и возможности действовать. Может быть, правы даже наши дьячки, которые пачкали дегтем ворота, где я живу.

— Почему же? Ах, если б ты знала, как это мучит меня.

И она начала обнимать и целовать учительницу.

— Теперь эти противные дьячки не смеют и глаз на тебя поднять, — говорила она, ласкаясь.

— А может быть, они и правы были.

— Что ты! Что ты, Варя!

— Ты слыхала о «положительной философии» Огюста Конта? — спросила учительница.

— Слыхала, но не читала.

— Он признается одним из величайших гениев в человечестве.

— Ну, что ж из того?

— А то, что и он говорит о роли женщины в человечестве то же, что говорят наши дьячки, пачкающие заборы.

— Не может быть! В отношении к женщине французы вообще самый дикий и грубый народ, хоть их и называют ошибочно образцом вежливости и деликатности в обращении с женщиной. Я ведь помню, Варя, что и Прудон отводит женщине место только в кухне и у корыта с бельем... Ах да! Так что же, Огюст Конт?

— Вот что говорит он — я помню наизусть его слова: «Роль женщины состоит в том, чтобы действовать на муж-

чину облагораживающим образом, употребляя для этого его душевные страсти, и воспитывать детей, которые до четырнадцати лет, когда начинается собственно научное образование, находятся в полном попечении матери».

— Но ведь ты же, Варя, и воспитываешь детей, даже учишь их, — перебила ее Марина.

— Не своих, а чужих.

— Тем лучше, тем больше чести.

— Так-то так, только слушай дальше: «Чтоб женщина могла удобнее исполнять эти обязанности, она решительно устранена от всяких других. Ей нет надобности трудиться для своего пропитания: она пользуется содержанием от своего мужа или от родственников мужеского пола, если же их нет — от государства».

— Ну уж! — сказала Марина и надула губки. — Значит, нам всегда надо жить подачкой — и платье проси, и ботинки проси у папаши да у мужа, а книжек они нам вовсе не дадут, как мне сначала не давали.

— Но ведь это говорит Огюст Конт, — заметила учительница, улыбаясь, — а его и Милль, и Льюис называют новейшим светилом человечества.

— Противный! — снова заговорила Марина, топнув ножкой. — Ведь я же тебе говорила, Варя, что все писатели — гадкие, противные, а книги их — подлые. Оно и правда.

— Но как тебе это понравится? — говорила учительница, любясь капризами своей младшей подруги.

— Что такое, Варя? — спросила Марина с сияющим лицом.

— Да все слова того же Конта. Она, то есть женщина, говорит он, не должна иметь никакой управляющей власти даже в домашнем быту, ни собственности. Ее законные права на наследство остаются за ней единственно для того, чтоб ее чувству долга мог представиться случай удовлетворить себя добровольной уступкой их. *Приданого не должно быть, чтоб руки женщины нельзя было искать по корыстным побуждениям.*

— Ах, это хорошо, — говорила Марина весело, — так он все-таки милый, этот Огюст Конт. Но, может быть, у него жена была глупенькая.

— Не думаю. Его возлюбленную Клотильду, в которую он влюбился первый раз в жизни на сорок шестом году, называют «замечательною женщиной». Ну как же, после этого, душа моя, винить наши литературные огарки, что они чадят на женщину,

когда такое светило человечества, как Конт, дает в ее распоряжение только детскую и детские пеленки, но отнюдь не школу, в которую я сунулась наперекор нашим варгунинским Контам.

— Все они, эти мужчины, противные! Я всех их ненавижу! — болтала Марина скороговоркой. — Они все варвары, людоеды, деспоты.

— И твой отец? — шутливо заметила учительница.

— Нет, папаша славный. Только он не мужчина.

— Почему же?

— Мужчина у нас мамаша, а он только и распоряжается в детской, и то тихонько от мамаш. Она у нас такой Прудон, что даже папаше дает читать книги по своему выбору.

Сказав это, Марина вспыхнула, и прибавила с досадой:

— Какая я злая! Какая гадкая сплетница!

Между тем пароход, стоявший на пристани, отсвистав положенное число сигналов и отзвонив в колокольчик столько, сколько следовало, перестал шипеть и скоро пробежал мимо ложбины, на которой сидела учительница с Мариной. Скоро исчез и дымный хвост, как бы нехотя оторвавшийся от паровой трубы, и только на поверхности Волги видна была зыбь, постепенно утихающая.

— Улетел, — сказала Марина задумчиво, — и хоть бы меня взял с собою.

— Да, улетел, и даже дыму своего на долю нам не оставил: все разлетелось — и дым, и пар... Да, это похоже...

— Что похоже, Варя? — спросила Марина.

— Сила, которая толкнула пароход и повела его куда-то, сказала только дымом и паром... Но и дым и пар исчезли, сделав свое дело, и следа не оставили... А куда они толкнули пароход, что с ним будет там, куда они его толкнули, не станет ли он на мель, не разобьется ли, — им, дыму и пару, этой силе, которая толкнула его, и горя мало... Они исчезли без следа... Так и он... Так и та сила, которая меня толкнула — где она?.. Тоже исчезла без следа, и ей горя мало, что со мной. Как этот самолетский пароход, я быстро мчалась вперед, и много было на этом пароходе пассажиров, и лоцман, казалось, был на нем, и капитан, тоже, думалось мне, хороший моряк. И впереди, казалось, так много жизни, честного труда и так много счастья. И вез этот пароход целый груз верований, надежд... Ты знаешь, Марина, кто я? — вдруг, как бы очнувшись, спросила учительница свою подругу.

Этот вопрос, так неожиданно и прямо поставленный, озадачил молодую девушку, и она с недоумением посмотрела на учительницу. Последняя повторила вопрос.

— Говори же, кто я, — настаивала она.

— Я... не знаю, Варя... ты... я не знаю как сказать... ты — новая женщина, — отвечала та запинаясь.

— А! Понимаю: старая история, хотя новая песня — «новые люди» — «новые женщины».

— Что ж, Варя?..

— Ничего... Das ist eine alte Geschichte, — говорил один капризный немец, который тоже всю жизнь искал «новых немцев» и «новых немок», и, не найдя, сам их сделал... Теперь эти сделанные им «новые немцы» хотят весь мир покорить, да чуть ли уж и не покорили... Нет, душа моя, я не «новая женщина», а старая: «новые» еще не родились.

— Когда же они народятся?

— Не знаю... Думаю, что не скоро. «Новые люди», и в том числе «новые женщины» народятся только тогда, когда «живые восстанут против умерших», чего так боится один француз, гениальный сумасшедший.

— Варя! — с каким-то детским испугом спрашивала ее молодая девушка. — Что с тобой? Что ты говоришь? Ты какая-то странная. Я не пойму тебя: какие живые восстанут против умерших?

— Так и понимай буквально: когда «живые восстанут против умерших», то есть когда я восстану против тени моей матери и моего отца, когда все живые восстанут против всех мертвецов, когда начнется общий бунт не против государей, не против правительств — все это вздор, — а против мертвецов, когда мы восстанем на них, на их память, на их гробы и тени, на все то, что они оставили нам по себе, на то, что они говорили, на то, что они сделали, на все, что осталось после них и на земле, и в памяти нашей, и в книгах, написанных ими, и в их заветаниях духовных.

Когда она говорила эти слова, лицо ее, и без того бледное, покрылось еще большею, болезненною, мертвою бледностью. Большие светлые глаза как бы полиняли и точно отодвинулись один от другого, и она говорила каждое слово как бы прибивая его к чему-то плотно, крепко, чтоб слово, как гвоздь, не проскользнуло мимо цели, а впилось бы в предмет, вьелось в него. Самые звуки голоса ее, пониженного на целую ноту, как бы обрывались и падали: что-то горькое слышалось в этом голосе.

Марина, слушая ее, тоже побледнела и как-то растерянно глядела ей в глаза.

— Варя! Варя! Мне страшно... Я не узнаю тебя, — говорила она испуганно.

— Да, думаю, и он не узнал бы меня, — отвечала учительница каким-то странным шепотом.

— Кто он, Варя?

— Тот, который всему этому научил меня, кто разом и создал меня, и разрушил. Он говорил, что нам, чтобы быть счастливыми, надо восстать против мертвых, что мертвецы отняли наше счастье, мертвецы заедают нашу жизнь, и мы должны пойти против нашего прошедшего, против всего того, чему учили нас с детства, что мы вычитали в книгах. Он говорил, что надо вытравить из нас молоко наших матерей, которое вошло в наши соки, в нашу кровь, в наши кости. Он говорил, что мы должны забыть наше детство и на колыбельные песни смотреть, как на ее проклятие, которое испортило всю нашу жизнь. Он говорил, что от родителей мы наследовали наши ошибки, и ошибки эти держат нас в неволе, в невежестве, в бедности, держат уже несколько тысяч лет и будут держать до тех пор, пока мы не восстанем против мертвых, против истории, против наших понятий, чтобы создать и новую жизнь, и новых людей, и новые понятия. Тогда только, уверял он, перестанут литься человеческие слезы.

— Кто же он такой, Варя? Учитель твой? — спросила Марина с детским любопытством.

— Учитель... Да, учитель... мой убийца.

— Где же он?

— Не знаю... Как дым и пары того парохода, что сейчас ушел, он исчез, а мне сказал: «Иди, иди, иди». Я и пошла. Я помчалась на всех парах, как пароход, и...

Она остановилась.

— Что же и? — спрашивала ее Марина.

— Ничего, я так... Я говорю глупости, — сказала учительница, как бы спохватившись и оглядываясь кругом.

Марина, однако, была бледна и с боязнью глядела на нее.

— Ты нездорова, Варенька? — говорила она, ласкаясь.

— Нет, ничего, — отвечала та, — однако ты не сказала мне кто я?

— Ну, будет об этом. Ты опять...

— Нет, я покойна... Кто же я?

— Бунтовщица, — сказала Марина улыбаясь, — бунтуешь против мертвых.

— И против живых варгунинских дьячков, прибавь к этому. Нет, душа моя, я не бунтовщица, а то, что ты сейчас видела.

— Где?

— На Волге.

— Кто же ты, Варя?

— Я — самолетский паромод: пары толкнули меня вперед, и я долго неслась с полным грузом надежд и стремлений, пока в Варгунах не села на мель. А где пары, которые дали мне ход, не знаю: может быть, в Англии, а может быть, и в могиле.

Она говорила это не то шутя, не то скорбно. Между тем из лесу выбежали дети и прервали их разговор. Каждый из мальчиков нес что-нибудь для своей любимой учительницы. Все образцы местной флоры были в руках этих юных деревенских натуралистов, и каждый из них старался показать наставнице какую-нибудь найденную им диковинку. У других мальчуганов, в руках и в шапках, была разнообразная коллекция насекомых. Кузя Ногин отыскал где-то на ветле старое гнездо ремеза и был счастлив своей находкой, так как гнездо ремезиное, по народному преданию, служит каким-то чарующим талисманом от всех болезней. Вася Латаев притащил огромного двурогого жука и говорил, что он так зол, как «казенный ученик», потому что жук ущипнул его за палец. Мальчики рассказали, что они имели в лесу баталию с казенными учениками и обратили их в бегство за то, что «казенные» разложили костер и медленным огнем жгли на нем живых лягушек.

При этом наставница объяснила своим питомцам названия и свойства каждой принесенной ими травки и каждого найденного насекомого. Любознательный Кузя Ногин не упустил случая, при этой импровизированной лекции из естественной истории, обратиться к учительнице с вопросом, который, по-видимому, не давал ему покоя, особенно же при постоянных ученых диспутах с казенными учениками.

— А что, Варвара Григорьевна, нужнее знать, — спросил он, — колена иудейские, Ганнибалова отца или «попову собаку»? — Так он называл одну мохнатую, черно-оранжевую личинку ночной бабочки.

— Колена иудейские и отец Ганнибала сами по себе, а «попова собака» сама по себе, — отвечала она улыбаясь, — не мешает знать и то, и другое.

— А что важнее — десятичные дроби или персидские войны? — спросил он снова.

— Что-что? Десятичные дроби или персидские войны? Какие ты глупости спрашиваешь.

И наставница и Марина рассмеялись. Любознательный Кузя сам устыдился своего вопроса.

— Вот он говорит, — и Кузя указал на другого мальчика, выше его ростом, — что дроби важнее персидских войн, потому что без персидских войн можно прожить, а без дробей нельзя.

— Пусть будет по-вашему, — сказала учительница.

— И пшеница важнее греческого языка, — как бы про себя заметил Кузя, — из пшеницы делают муку и булки и пшеницей торгуют, а из греческого и латинского языка ничего не выйдет.

— Да ты что-то сегодня в философском настроении, — заметила шутя учительница, — верно, подрался с казенными.

— Подрался... Они все смеются над нами.

Вообще наставнице нелегко было удовлетворять любознательности всех своих воспитанников, которые иногда обращались к ней с такими вопросами, что отвечать на них обстоятельно не было никакой возможности. Любознательность мальчиков поддерживалась тем соревнованием, которое возбуждалось в них от постоянных диспутов с «казенными», и эти диспуты были такого рода, что земским школьникам приходилось во что бы то ни стало отстаивать преимущества реальных знаний перед прочими. Иногда диспуты доходили до того, что «казенные» кричали: «Ваша земская школа — свинья!» Тогда раздраженные земские называли, в свою очередь, их ганнибалова отца свиньей, и начиналась драка. Вот почему мальчики забрасывали вопросами свою наставницу, которая называла свои экскурсии с воспитанниками по лесу учением в «детском саду» и не могла не сознать, что ее роль труднее роли г-жи Люгемиль, устроившей в Петербурге «детский сад». Там дети гораздо развитее и подготовленнее, чем в Варгунах, где деревенским мальчикам приходилось объяснять самые обыкновенные вещи, и объяснения эти были весьма трудны: надо было выбивать из головы ученика ошибочные понятия и предрассудки и вкладывать новые, что требовало и времени, и немалых усилий.

VIII

Старик Ногин встретил своих гостей, Стожарова и Серпороева, у ворот своего дома. Он радушно просил их войти в светлицу, где он, бывало, поучался грамоте от своего маленького внука Кузи. И двор, и дом Ногина изобличали и зажиточность, и умелую домовитость хозяина. Везде довольство, простое крестьянское довольство и порядок. Чистый просторный двор, хорошие и прочные амбары и клетки, высокие заборы и навесы для хозяйственных принадлежностей. Все кругом смотрело исправностью, потому что за всем дозорил глаз хозяина: и новые прочные телеги, и колеса на них

прочные, с шинами и толстыми ободьями, и оси прочные такие, что, кажется, и излому не знают, и дуги расписные и тоже прочные, вековые.

И дом у Ногина знатный, теплый, просторный, не то что избенка соседа-горемыки, у которого и воробьи зимой не ночуют под крышей, потому что холодно, а крыша жидкая, дырявая, и дождями насквозь пробитая и ветрами иссушенная, у которого и голуби не сидят на наличниках, потому что наличники эти пообломаны, а летят эти голуби и воробьи к старику Ногину, у которого и на дворе есть что поклевать голодной птице, и под теплой крышей можно укрыться в непогоду, и за прочными, широкими наличниками можно детенышей вывести. В светлице и чистый пол усыпан песочком, и широкий стол накрыт цветною скатертью, и видны в светлице следы грамотности — и синяя чернильница с намоченными в ней перьями, и несколько книжек, должно быть учебники Кузи, и массивный псалтырь с шелковой закладкой, и несколько номеров «Друга народа», и «Красное яичко» Погодина, и недавно купленное положение о земских учреждениях, а на стене, в рамках, фотографические карточки «братьев-славян» Палацкого и Ригра.

Стожаров и Серпоров были удивлены, увидев эти карточки у мужика в избе, даже у такого зажиточного мужика, как Ногин.

— Вы знаете этих господ? — спросил Стожаров, показывая на карточки.

— Знать не знаю, батюшка, а слышал об них много. Как не слышать о братьях-славянах! Тоже, чать, сродни нам, русским, маленько, да только, слышь, в загоне у немцев, по пословице: «Бедные родичи в наймах у попovichа», — сказал старик шутливо.

— Где же вы их достали? — спросил Серпоров.

— Сын из Москвы привез — сам их видел.

Скоро на столе появился шипящий самовар, и молодуха-сноха проворно, но без суеты стала угощать гостей чаем, тогда как другая сноха готовила для них и печеное, и вареное, и жареное. Старику хотелось угодить приезжим, в одном из которых он видел серьезного наблюдателя крестьянского житья-бытья и новых порядков земства. Как представителю и крестьянства и земства, ему предстояла роль явиться выразителем и того и другого перед людьми, которые, как видно, успели уже присмотреться и к крестьянским, и к земским порядкам в других губерниях, знают, у кого и на каком пальце мозоль, кто на какое ухо тугонек. Недаром гладко стрижен-

ный из них, у которого голова была словно точеная, частенько вынимал из кармана записную книжку и записывал в ней — и сколько мужик соли дает за зиму своей скотинке, и сколько сох идет в общественную запашку, и во сколько лет передел земли бывает, и что с души приходится в земский сбор и в казенный. А коли к слову придется, так тотчас, словно по писанному скажет, сколько мужику остается к лету от зимнего извоза и сколько он лаптей изобьет, отправляясь на заработки, что проест и что семье принесет.

«А точеная-то голова, как видно, не клином уродилась, — думал про себя старик, — из молодых да ранний».

Старик не мог не заметить, что «точеная голова», как он в уме своим называл Стожарова, особенно напирала на вопросы об общественных запашках: нет-нет да и свернет на мирскую запашку или на мирские капиталы. Когда старик поинтересовался узнать, почему его гость все гнет на мирскую сторону, Стожаров сказал, указывая на избенку соседа-горемыки:

— Это, по-вашему, изба?

— Какая изба! — отвечал Ногин. — Только слава, что изба, а в ней и мыши не живут.

— А у вас живут? — спросила точеная голова.

— Живут аспидовы... полны закрома.

— Значит, есть что жрать... А черные тараканы водятся?

— Водятся, батюшка.

— То-то же, а у соседа, верно, и тараканов нет — все к вам перебрались. А отчего? От того, что там есть нечего, а у вас есть что.

— Знамо, — говорил старик в раздумье, — недаром примета есть насчет тараканов.

— Так коли вы жили бы миром, и пахали бы миром, и деньгу делили по миру, так и у вашего соседа были бы тараканы, — заметила точеная голова.

— Как же это, батюшка, — чтоб и моя денга была мирская, и изба моя мирская?

— Мирская, как церковь... Мир — сильный человек и мог бы быть богатым человеком — коли бы захотел.

Старик задумался при этих словах, и гости свели разговор на другое.

Когда Ногин жаловался, что у них нынешним летом жнецы брали за десятину целковых до двадцати, так что, по выражению старика, «мужики стали дороже господ», гости значительно переглянулись и улыбнулись.

— Да мужики и всегда были бы дороже господ, коли бы захотели, — заметила точеная голова как бы нехотя.

— А кто цену на нас набивать-то будет? — спросил Ногин.

— Цену спрос набивает, да пустой рынок: вышел мужик на базар наниматься — дешев стал, а не вышел — дорог.

— А коли мужик есть хочет, да на шее недоимка — как не выйдешь на базар?

— А стачка на что? — спросил Серпоров.

— Стачка, батюшка, на земле лежит, да «не буду» кричит.

— А немая стачка?

— Немого кто ж и услышит?

— Да нынешним летом, вы же сами говорите, без стачки стачка вышла. Так и всегда: упрись рабочий, постой на своем хоть один базарный день, если б ему даже пришлось и голодать, тогда не устоит наемщик, даст цену, какую ни заломил жнец — ведь хлеб-то в поле ждать не станет, высыплется из колосьев на землю или поляжет, и в зоб к птице пойдет зерно, а не в амбары, — говорил настойчиво Стожаров, — вот вам и немая стачка, без стачки стачка. А я вам все-таки говорю, что только миром будет силен мужик и миром осилит всякую силу.

«К чему это гнет точеная голова, — думал про себя старик, — и понять не могу».

А точеная голова, как бы лавируя разговором и уклоняясь от прямого слова, свел речь на земство и на его распорядки.

— А что, Пармен Прокофьевич, — закинул он снова удочку, — разжевал ли мужик, что такое земство?

— Как, батюшка, не разжевать — разжевал. На этот счет мужик дока.

— Что ж он говорит?

— Да говорит, к примеру, что старые порядки на ассигнации ходили, а земские порядки на серебро пошли. Вот что говорит мужик.

— Как же это?

— Мужик по глупости говорит, что с новыми порядками и начальников прибыло, и повинностей прибыло: все, говорит, нашему брату на кости.

— Зато помещики с костей долой, — заметил Серпоров.

— Помещики-то с костей, а посредники да гласные, слышь, на кости, — оно и выходит вдвое: козла из огорода выгнали, а капуста все-таки не наша, слышь.

— А как он смотрит на гласных? — спросил Стожаров.

— Косо смотрит.

— Отчего же? Ведь крестьяне сами их избирают.

— Выбирать-то выбирают, да насчет этого самого выбора вот что крикуны говорят:

Кума! А, кума!
Выбирай сама:
На какой веревке тебя повесить:
На мочальной аль пеньковой?

— Однако у вас не без сатириков, — заметил Стожаров, и зашагал быстрыми шагами по светлице, — так и говорят? — спросил он, останавливаясь.

— Так и говорят.

Стожаров вынул было из кармана записную книжку, но как бы спохватившись, опять спрятал ее в карман и машинально остановился перед портретами Ригра и Палацкого.

— Да, любопытно, очень любопытно, — говорил он, — так земские порядки «на серебро ходят»? Один помещик с костей, а «новые помещики» на кости?

— Значит, есть и «новые помещики» у мужиков, как у нас есть «новые люди», — заметил, смеясь, Серпоров.

— Должно быть, что так, — говорил Стожаров задумчиво, продолжая стоять перед Ригром и Палацким, — козла выгнали из огорода, а капуста все-таки не наша.

— Зато выборное начало.

— Да, кума, кума — выбирай сама.

Старик Ногин в это время выкладывал что-то на счетах.

— Выходит, что мужики говорят правду: повинностей-то прибавилось немало, — сказал он, отодвигая счета.

— Однако, — возразил Стожаров, — крестьянин не может же не сознавать, что при новых порядках, по крайней мере, личность его более обеспечена, да и имущество тоже, как ни тяжелы поборы.

— Это что и говорить: мужик сам видит, что спина его от тычков отвывает маленько, а коли и берут с него много, так берут, по крайности, по закону. Да у нас что! У нас сторона богатая — хлеба и мужику довольно, и птице вдоволь поклевать: есть что продать, есть на что купить, есть чем и земству угодить. А вот я бывал за Волгой, где земля-то хуже родит, так там тяжеленько. Знал я там одного недоимочного мужика, так говорит: «Коли б у меня была корова, повел бы на базар продать да недоимку заплатил, а жену и детей не поведешь на базар, — потому продавать ноне людей не велено». Вот после этого и кори земство, будто у него мосты дурны да по дорогам проезду нет: не по мостам мы ездим да не по дорогам, а по мужичьим спинам да ребрам. Спина у

мужика худа и ребра счетом считай — оттого и тряско по ним ездить. А затянись-ко у мужика спина сальцем да нарасти жирок на ребрах, так и езда будет куды какая ровная да гладкая, словно по чугунке. Вот и чугунка, пожалуй, мужичьи спины маленько заденет.

В это время к окну светлицы, у которого сидел Серпоров, подошел молодой крестьянский парень, еще, как видно, не вышедший из отроческих лет. За плечами у него была небольшая котомка из холщовой сумки, перевязанной веревкой. В руках толстая палка. На ногах лапти, сильно потертые и загрязненные, а через плечо перекинут серый зипун. Лицо парня было не по летам серьезно и худо, а небольшие карие глаза глядели зорко и смело.

— Дома Пармен Прокофьич? — спросил парень, не снимая шапки.

— А ты к нему по какому делу, молодец? — спросил Ногин, подходя к окну.

— Ему самому и дело мое скажу, — отвечал парень, не трогаясь с места.

— Я и есть Пармен Прокофьев.

Парень снял шапку, встряхнул волосами и опять ее надел.

— Я к вам, батюшка Пармен Прокофьич: поговорить мне с вами надоть, — сказал он и поглядел на Серпорову.

— Подь в светлицу, тут и поговорим.

Парень вошел и поклонился сначала Ногину, а потом его гостям.

— За каким-таким делом я тебе понадобился, молодец? — спросил Ногин.

— Дело мое небольшое, Пармен Прокофьич... Купец Гриднев мне сказывал, что ваши ребята в Москву поедут. Так он послал меня к вашей милости.

— А который Гриднев, старый аль молодой?

— Молодой, Василий Парменыч.

— А!.. Мои ребята точно в Москву едут.

— Так Василий Парменыч велел мне с ними до Москвы съехать.

— А по какому делу тебе он в Москву велел ехать?

— Не он велел — я сам еду.

— По ремеслу какому, аль внаймы?

Парень замаялся было, но, посмотрев на Стожарова и Серпорова, смело сказал:

— Я иду в Москву учиться разным наукам.

— А каким-таким наукам?

— Разным... Наук-то много.

— Грамоте, значит?

— Нет, грамоту я знаю.

— Что же? Арихметике, что ль?

— И ее знаю.

— Чему ж еще? — спросил старик, все более и более удивляясь.

Стожаров и Серпорове также смотрели на парня с удивлением.

— Али Ломоносовым захотел быть? — спросил старик, припоминая, что он слышал о крестьянском мальчике, о котором толкуют в России около полутора ста лет как о необычайном явлении.

— Нет, Пармен Прокофьич, теперь у нас в России Ломоносовым никого не удивишь, хоть бы ты и в обозе с рыбою приехал в Москву учиться... Теперь таких много: крестьянский сын уж и в гимназии сидит, и университетские лекции слушает. Не я первый, не я и последний.

Стожаров и Серпорове с любопытством подошли к парню. В голосе, которым говорил этот деревенский малый, и в словах его слышалась уверенность, а смелость, с которою он держал себя, давала понять, что этот детина выработал себе и то, и другое упорною волею и нелегкою борьбою с обстоятельствами. Такая смелость в парне могла явиться только или вследствие того, что ему было слишком худо жить и, как он себя не веде, хуже не будет, а следовательно, ему уже терять нечего, или вследствие уверенности, что всякую беду руками развести можно.

— У кого вы учились? — спросил его Стожаров.

— Сперва у бабушки-начетчицы да Макриды-странницы, а потом моим учителем было матернее да бабушкино проклятье.

— Так вы из раскольникьего семейства?

— Да, родился я в старой вере, и меня маленького лес-товкой секли, когда я не трегубил аллилуйи.

— Что ж вы намерены теперь с собою делать?

— В скит я не хочу идти и Макридиным архиереем не буду, а хочу искать правды не там, где ее наши отцы искали.

Ногин попросил своего странного гостя присесть отдохнуть, так как он, вероятно, устал с дороги. Парень поставил свою палку у порога, отвязал котомку и, поглядывая на свои лапти, сказал, горько улыбаясь:

— Вот в этих-то лаптях я и буду правду искать.

— Что ж, — заметил Стожаров, — в сапогах-то ее давно ищут, да что-то не находят, а быть может, правда сама в лаптях ходит.

— Нет, господа, — сказал, со своей стороны, старик Ногин, — правда, поди, босиком и нагишом бегают. Сам Христос босиком ходил.

— Тепло было ходить по святой земле, а у нас, на грешной стороне, иную пору и в валенках холодно, — говорил парень, укладывая свою котомку в угол.

Затем он сел на близстоящий стул и рукавом рубахи обтер свое бледное лицо, по которому катились капли пота.

— Что, паренек, устал чать? — говорил старик ласково.

— Устал, дядюшка: сегодня много прошел.

— А издалека ты сам?

— С Тарлыка.

— Путина не малая. А как зовут тебя?

— Матвеем Таволгиным.

Ни Стожаров, ни Серпороев никак не могли сразу понять, к какой категории людей современной России принадлежит эта загадочная личность. Они видели только, что характер юноши вырабатывался хотя и под тяжелыми условиями жизни, однако условия эти были далеко не те, среди которых они сами проходили жизнь и научились думать. Вот уже вторую загадочную личность встречают они и не могут дать себе отчета, что это за люди, — исключения ли это из общего правила, возможные во всяком обществе, разновидности ли того закала людей, к которым принадлежали они сами, или просто аномальные явления. Молодой Гриднев и этот парень окончательно сбивали их с толку. Оба выросшие в самой, по-видимому, сердцевине России и в таком обществе, которое менее всего податливо в деле анализа, они в своих отношениях к общепринятым, ходячим понятиям доходили чуть ли не до ригоризма. Обоих, как видно, в детстве секли лестовкой за сугубую аллилуйю, над обоими, вместо колыбельной песни матери, раздавалось гнусавое распевание псалмов Макриды-странницы, оба долго дышали затхлым воздухом раскольниковых молелен, — и вот у обоих нетерпеливое и раздражительное отношение к тому, над чем отцы их и особенно матери дрожали, как над своими железными сундуками. Таволгин представлялся еще более загадочным субъектом. Крестьянский мальчик, выросший где-то в глуши и порывающийся со своими оборванными лаптями дойти до правды, по-видимому, считает тот путь к знанию, которым шел Ломоносов, неподходящим ему и как бы чутьем угадывает, что для Ломоносовых время прошло. С проклятием матери и бабушки он идет куда-то и, по-видимому, он идет не наобум, не куда глаза глядят, как прежде ходили неуживчивые нату-

ры — в разбой так в разбой, на Волгу, в лес, в скит, — так в самую трущобу скитную, чтоб потом выйти или атаманом разбойников, или коноводом раскола и вожакom народных масс во время внутренних смут государства.

Этот парень идти в скит не хочет и раскольничьим архиереем быть не желает. Что же такое засело ему в голову, что ведет его из трущобы на свет Божий, на простор? Жажда знаний, жажда деятельности, как во всякой богатой порывистой натуре, или просто желание вырваться из оута, из тарлыцкого заволжского захолустья, из скитских трущоб? Нет, что-то другое засело в голову этому выродку старины, и, как видно, немало он думал над тем, на что решился, и немало выстрадал, чтоб решиться. Он знает, он слышал от кого-то, что крестьянский сын и в гимназии сидит как свой человек, и в университет пронесли лапти крестьянского сына, и это ему кажется делом обыкновенным. «Не я первый, не я последний», говорит он.

А какие отношения этого загадочного парня к Гридневу, который еще так недавно поразил Стожарова и Серпороева чем-то таким, чего они до него не видели? Гриднев, саркастически отзывающийся о самых, по-видимому, лучших приобретениях ума человеческого, недоверчиво относящийся к добытым наукою истинам — этот Гриднев толкает парня по дороге, с которой, по-видимому, сам своротил в сторону.

Все эти мысли и вопросы невольно вставали в уме Стожарова по мере того, как он слушал и вглядывался в Таволгина.

— Что же вы знаете? — спросил он сидевшего перед ним парня.

— Я знаю, что я ничего не знаю, — сказал тот, не глядя на собеседника.

— Нет, этот ответ доказывает, напротив, что вы что-то знаете, — заметил Серпоров, подходя к нему ближе и глядя на него с нетерпеливым любопытством.

— Я знаю все, что знает Макрида-странница: сон Богородицы, стихи о пустыне, хождение Богородицы по мукам и лондонский сборник Кельсиева, который я вслух читал и бабушке, и Макриде.

— А где вы достали этот сборник? — спросили его.

— А где вы доставали «Колокол»? — спросил он в свою очередь.

И Стожаров, и Серпоров невольно отступили от странного лапотника. Им пришло в голову, что их дурачит какой-нибудь надевший на себя лапти, серый зипун и пестрядину

рубаху, или что под этим костюмом скрывается их же брат «мертвоборец», то есть один из живых, который, по теории Огюста Конта, «восстал против умерших», как и они восстали.

— Кто же вы? — спросил Стожаров с недоверием.

— Крестьянин Матвей Таволгин, — отвечал тот спокойно.

— А знает ли Макрида-странница то, что вы знаете, как знаете вы то, что она знает? — спросил Стожаров, тоже играя словами и подделяваясь под тон собеседника.

— Да, она знает что я знаю, и за то-то меня и проклинали мать и бабка, — отвечал он.

Старик Ногин, молча слушавший этот странный и не вполне понятный для него разговор, громко вздыхал и как бы про себя шептал: «Ну, времена настали! И не думал, что доживу до этого... Знать, пришла пора нам, старикам, ложиться в могилу, а то, смотри, заживо отпоют».

Со своей стороны, Стожаров, глядя на молодого крестьянина и с лихорадочным любопытством слушая его резкие ответы, думал с каким-то тяжелым подавляющим чувством: «Неужели же и эта жертва времени — как тот странный больной, которого я видел в доме умалишенных? Чем же это кончится? Уж и без того слишком много жертв, а что выйдет из этого — никто не знает. Нелегко же, верно, живется людям, когда жизнь съедает такие, по-видимому, кряжевые натуры. Ведь и в самом деле сойдешь с ума, когда условия жизни хуже, чем в старину кнутья, бьют человека все по нервам да по нервам, когда проклятые нравственные встряски не хуже помогают сотрясению мозга, как и битье обухом по голове. И неужели же даже из этого ничего не выйдет?»

Один студент Серпоров думал уверенно, глядя на молодого крестьянина: «В воздухе пахнет... В воздухе пахнет... И в Кинешме, я чую, веет наш дух, и в Варгунах веет, и на Тарлыке веет... Посмотрим, какие они меры примут против того, что в воздухе носится... Посмотрим».

В то же время и молодой крестьянин, глядя на свои обшмыганные лаптишки, думал: «Сторонитесь, сапоги! Лапти идут... Лаптей много идет, сапогам места не будет...»

В это время в светлицу влетел маленький Кузя и еще за порогом кричал: «Дедушка! Дедушка! А каких ты мне книжек привез из губернии?»

— Фу ты пропасть: ребятенки уж и пряников не просят, а все им книжки подай... Ну, времена! — сказал старик, глядя, как его внучек, испуганный гостями, убежал из светлицы.

Почти за восемнадцать лет до того дня, когда мы встречаемся в Варгунах со Стожаровым, Серпороевым и Таволгиным, на речке Тарлыке стояла деревенька, почти вся заросшая лесом. В бедной избенке, в которой жила благочестивая старица Гликерия с дочерью Маврушею, родился маленький раскольник от матери Мавры и отца Кирика, раздавленного на Волге беляною за несколько месяцев до рождения сына. Молитвовал маленького раскольника и крестил в новой кадочке странник Варсанофий, проходивший на Урал из Австрии, из Белой Криницы. Маленькому раскольнику дали имя Матвей.

От самого раннего детства у маленького Матюши оставалось воспоминание, как мать и бабушка часто вспоминали отца Варсанофия, который говорил, что где-то в чужих землях уже родился антихрист и кладет свою печать с «числом звериным» на людские правые рученьки, пониже плеч широких, а повыше локтей, и что для прикрытия печати антихристовой люди, особенно женщины, которые охотнее мужчин предаются антихристу, выдумали особое одеяние: ходят с голыми плечами и голыми локтями, а только «число звериное» прикрывают широким лентием, в виде коротеньких рукавов. Еще помнил маленький Матюша, что над его колыбелью, которую заменяло старое лукошко из-под курицы-наседки, раздавалась не колыбельная песня, а песня об «алилуевой жене», и что наводила на него страшную тоску эта песня даже впоследствии, когда маленький раскольник начинал уже бегать. В долгие зимние вечера, когда избенку заносило снегом, старая, слепая бабушка, сидя за веретеном и вздыхая о том, что пришли последние времена, пела, бывало, дребезжащим, разбитым голосом:

Как родился Христос в Вифлееме,
Как крестился Наш Спас в Иордане,
Антихристы-жиды Его замечали,
Замечали Его, устигали:
Злой смерти Его предать хотели.
И кидался Христос во келью,
К алилуевой жене милосердой.
Алилуева жена печку топит,
На руках своего младенца держит.
Как возговорит к ней Христос Владыка:
Ох ты гой еси, алилуева жена милосерда,
Кидай ты свое детище в печь, во пламя,
Принимай Меня, Царя небесного, на белые руки.

И страшно становится маленькому Моте от слов и от голоса этой песни, и боится он даже прижаться к своей матери,

которая представляется ему «аллилуевой женой», и думает Мотя, что вот-вот его бросят «в печь, во пламя», и готов бежать из избенки в лес, в поле... А веретено все жужжит, а страшные слова все дребезжат в старом, пересыхающем горле седой бабушки, слепые глаза которой бессмысленно смотрят куда-то в невидимую даль, вероятно, в далекое прошлое, может быть, такое же безотрадное, как и настоящее.

— Мавра! Кто там воет под окошком? — вдруг спрашивает старуха, прерывая свою страшную песню.

— Ветер воет, матушка, а може, и нечистый дух, прости Господи: страшно ему, окаянному, войти в святую горенку — он и воет, — отвечает Мавра, крестясь.

И еще страшнее становится в святой бедной горенке, когда умолкает разбитый голос старухи. Слышно, как нечистый дух стучит костлявою, промерзшею рукою в дверь сеней или шелестит камышовую ставню у окошка, и воет, воет... Вот треснуло что-то в самой горенке, и ужас охватывает маленького раскольника, и готов он закричать, и кричать боится... Опять треск... Это трещит лучина... А ветер все воет, все воет.

Старуха вздыхает бессильным вздохом, качает задумчиво седую головой, и снова из ее старческого горла, много говорившего на своем веку и много кашлявшего, выходят протяжные, тоскливые звуки и безнадёжные слова «стиха пустынножительского»:

О прекрасная пустыня,
Любимая моя другиня!
Пришли тебя зажигати,
Со мною тебя, мати, разлучати.
Огню ты, мати, преда шися,
Ты со мною ныне растаешися.
Душевное мое спасение,
Плотское мое оскорбление.

И кажется маленькому Моте, напряженно слушающему эту песню и силящемуся понять ее страшные слова, что «мати пустыня» такая же старая, высокая, страшная старуха, как старица Гликерия, только еще старше ее, еще страшнее. И рисуется в пылом, болезненно настроенном воображении мальчика, как жгут эту страшную, косматую старуху «пустыню», и жаль ему этой пустыни, потому что бабушка называет ее «прекрасною пустынею», «любимою другинею», и хотелось бы, чтоб скорей «приходили» эти неведомые люди, о коих говорит старуха в песне, и взяли бы страшную «пустыню».

А там опять слышится хриплый вопрос старухи:

— Мавра! Который год, как Карпушеньку посудиною раздавило?

— Пятый годок, матушка, пошел, — отвечает Мавра, — вот и Моте уж пять годков минуло.

— А я все забываю... Память слаба стала — о-о-хо-хо! — вздыхает старуха и крестится. — А ему все нет угомону — все воет, все плачет, словно душа грешная в рай просится.

Мавра тоже крестится и плачет, и Мотя плачет, потому что ему кажется, будто какая-то «душа» плачет под окном и в теплую горенку просится. А Мавре кажется, что это стонет под окном душенька ее мужа Карпа, задавленного на Волге беляною без покаяния.

Помнил Мотя и другие долгие вечера, когда в их избенку приходила Макрида-странница и приносила с собой бережно запрятанные под понявой, точно зловредный и всеубивающий яд, какие-то старинные, засаленные книжки. Садилась Макрида в переднем углу под образами и жалобно, протяжно читала в книжке что-то, глубоко поражавшее воображение Моти и, по-видимому, болезненно действовавшее даже на его бабушку и на мать. Долго читался какой-то «стих преболезненного воспоминания», слово за словом выходило из уст Макриды, и из слов вырастали какие-то страшные картины, и точно мраком наполнялась избушка, и лучина будто притгужала, и точно издали откуда-то в избушку неслись таинственные образы:

По грехам нашим, на нашу страну
Попусти Бог такову беду:
Облак темный всюду осени,
Небо и воздух мраком потемни,
Солнце с небеси скры своя лучи
И луна в нощи светлость помрачи,
Но и звезды вся потемниша зрак,
И дневный свет приложися в мрак.
Тогда твари вся ужаснушася,
Но и бездны вся содругнушася,
Егда адский зверь ее разреши,
От заклеп твердых нагло исскочи,
О коль яростно испусти свой яд
В кафолический красный вертоград!
Зело злобно враг тогда возреве,
Кофоликов род мучити повел,
Святых пастырей вскоре истреби,
Увы жалости! — огнем попали.
Четы иканов уловляхуся,
Злым наказанием умерщвляхуся,
Всюду вернии закалаеми,
Аки класове пожинаеми.
Тогда вернии горце плакаху,
Зело жалостно Богу взываху.

Заунывное чтение тянется мучительно долго. И молятся одинокие молеельщики в избушке, и слышны только вздохи трех женщин да гнусавый речитатив Макриды-странницы, которая, покачиваясь из стороны, в сторону, молит кого-то неведомого о том, чтоб он сократил «время лютости», чтоб защитил кого-то «от мучительства злого», от «адского змия», — и этот змий, кажется, уже близко, близко. И читает Макрида-странница, как «лютый зверь вся древесия поपालил» и весь сад-вертоград погубил, и охает она, покачиваясь в переднем углу, и охают вслед за нею слушательницы:

Ох, увы, увы! Благодестие!
Увы, древнее правоверие!
Кто лучи твоя вскоре потемни?
Кто блистания тако измени?
Десяторожный зверь сие погуби,
Седмиглавый змий тако учини.

Оханья становятся тем страшнее, что мальчику видится «десяторожный зверь», и рисует его воображение «седмиглавого змия» и все те ужасы, о которых читает Макрида. И видит он, как «церкви Божия разрушаются», как пастыри «попленены» и жалом змия умертвлены. И слышит он горестный плач людской и сокрушение и в «еретичестве потопление». И видит он, как какие-то люди по дубравам и полям скитаются, «от зверей лютых уловляются», из «отечества изгоняются».

И стонут, и плачут молеельщики, и все страшнее становится мальчику. А Макрида все читает, все покачивается и точно зверь завывает, причитывает:

Окрылись, душе, крылы твердости,
Растерзай, душе, мрежи прелести,
Ты пари, душе, в части темные,
От мирских сует удаленные.

Не выносит больше напуганное детское воображение, когда Макрида, припав головой к столу, восклицает:

Изливай, душе, реки слезные!

Мальчик вскрикивает и бросается к матери, а бабушка стучит костылем и хрипло говорит:

— Мотька! Нишкни! А то десятирожный зверь тебя съест.

В такой суровой и невеселой обстановке рос и развивался маленький Мотя Таволгин. В избенке своей он видел пасмурные лица матери и слепой бабушки. Весь детский поэтический

мир его наполнен был страшными видениями вроде блуждающей грешной души, или «аллилуевой жены», которая бросила в огонь своего младенца, или какой-то неведомой ему «пустыни», о которой вздыхала слепая бабушка и которую приходили какие-то злые люди жечь, или, наконец, в виде «десяторожного зверя» и «седмглавого змия». Мирозозрение его сначала не шло дальше мирозозрения «стиха о голубиной книге», по которому Ерусалим-град всем городам отец, Окиян-море всем морям отец, Иордан-река всем рекам мати, кит-рыба всем рыбам отец, когда кит-рыба восколыбнется, весь белый свет восколышется. Он знал только, что зверь индрик всем зверям отец, что живет он во святой горе и детей плодит во святой горе, и когда индрик-зверь возыграется, все святые горы восколыхаются. Еще он знал, что какая-то стратим-птица всем птицам мати и что живет она на Синем море, и детей плодит на Синем море, и когда стратим-птица вострепенется, все Сине-море восколышется.

Когда сильно развитое воображение мальчика заставляло его обращаться с вопросами к матери или к бабушке о том, что такое, например, солнышко ясное, или отчего месяц такой скучный и бледный и что такое ветер, ему отвечали, что солнце красное от лица Божия, зори ясные от риз Божиих, млад светел месяц от грудей Божиих, ночи темные от дум Божиих, буен ветер от воздыханьица, дробен дождик от слез Его, народ Божий от Адамия.

Не знал Мотя детских игр и детских радостей, да для игр не было у него и сверстников, потому что избенка их стояла на отшибке, где-то на юру под лесом, и Мотя один летом бегал около избушки, и когда стал более понимать слышанное им от матери и бабушки, то ближайший лесок представлялся ему «прекрасною пустынею», которую он прежде считал страшною старухою, и эту пустыню населяло его свободное от всяких практических знаний жизни воображение то «старцами пустыниками», то «аллилуевыми женами», то «десяторожными зверями», то «змиями седмглавыми». Детские игры его состояли в пустынножительском подвижничестве, и маленький Мотя рыл себе на полянке норку и заползал в нее, считая эту норку кельей пустытника, а полянку скитом суровым, и ждал он, сидя в своей норке, где он «спасался», что придет к нему «аллилуева жена» и он не велит ей бросать в огонь своего ребенка.

— Мотя! — спросит, бывало, его мать, когда мальчик возвращался в избенку. — Ты где пропадал?

— В старца Варсанофия играл, мама, — отвечает, бывало, мальчик.

— А хочешь быть старцем-пустынником? — спросит бабушка Гликерия, глядя внука по голове.

— Хочу быть старцем, — отвечает.

— Будет подвижником малец, сподоби только его, Господи, — скажет старуха, а мать жалостно посмотрит на свое единое детище.

Гордые виды на подвижничество Моти заставили бабушку позаботиться том, чтобы научить внука четью-петью церковному и уставному писанию, чтобы мог он и святые книги списывать, и киноварью заставки разрисовывать. Для этого отдали Мотю в науку к сестре Аполинарии, которая была великая начетчица и святых книг писательница. И быстро пошло учение Моти: грамота ему в науку пошла, и скоро Мотя стал книгочеем и писателем изрядным.

Старик Гриднев, ради церковного строения наезжавший иногда к сестре Аполинарии, заметил там Мотю, видел его работу, обратил внимание на бойкость и смышленость мальчика и взял его к себе, обещая матери и бабушке, что из Матвея выйдет светоч веры правой.

Дом старика и богача Гриднева столько же отличался благочестием и богатством духовным, сколько его сундуки славились богатством материальным. Матвей Таволгин в этом доме был общим любимцем, но особенно полюбился он молодому Гридневу за живость ума и способность передразнивать Макриду-странницу. Матвей Таволгин сам не заметил, когда проявилась в нем эта способность, однако это обстоятельство помогло сближению с молодым Гридневым, и между ними заключен был тайный союз. Мотя жил в комнате молодого Гриднева в качестве казачка, прислуживал ему во всем, ездил с ним, когда Василий куда-либо отправлялся по делам отца, и вообще был с ним неразлучен. Старуха Гриднева любила слушать, когда Мотя, сидя около ее постели и подгорюнившись, пел ей ужасоподобный стих о «плаче души», и пел так, что Гридниха надрываясь плакала и повторяла за Мотей:

Вечор я со другом сидела,
Поутру мое тело водой моют,
Водой моют, во гроб кладут,
Мою душу на суд ведут...

Любила она слушать и другой стих о том, как по морю по синему, по хвалынскому, там шли-пробегали черед корабли, и во тех во корабликах святые ангелы сидят, а навстречу им сам Иисус Христос; стал он у ангелов выпрашивать и выпытывать: святые ангелы, где вы хаживали, где гуливали, что слышивали, что виживали?

— И где это, Мотюшка, ты эвтим святым стихам научился? — спрашивает бывало Гридниха.

— От Бога мне сие, матушка, — говорит Мотя, а самому между тем хочется урваться в комнату молодого Гриднева, чтобы там у него послушаться других любимых им стихов, которые ему читал тихонько молодой Гриднев, и потом в уме своем декламировать:

Волга! Волга! Весной многоводною
Ты не так затопляешь поля,
Как великою скорбью народною
Переполнена наша земля...

Беспокойное, до болезненности раздраженное раскольничьим мистицизмом воображение мальчика создавало для него целый новый мир и новую деятельность, но уже не на основании раскольничьей мистической литературы, а на основании литературы иного сорта, с которою его тайно знакомил молодой Гриднев, и Мотя, как прежде в тарлыцком лесу искал подвижничества, вырывал себе скиток маленький и ждал «аллилуевой жены», так теперь мечтал об ином подвижничестве, думал о том, как он сделается мучеником слова, и, вместо «аллилуевой жены», ждал, что придет к нему другая жена, и он скажет ей: «Зачем ты бросаешь в тюрьмы детей своих, зачем надеваешь на них цепи, изнуряешь их непосильною работою, убиваешь ссылкой?»

А тут между тем его зовет к себе старик Гриднев, который сидит с попом, оба подвыпивши, и Гриднев велит Моте петь стих «в угоду батюшке». И Мотя поет раскольничий стих, любимый стариком:

Кто Бога боится, тот в церковь не ходит,
С попами, дяками хлеб-соли не водит,
К Богу с покаянием часто прибегает:
Стой-ка с покаянием перед святым Спасом,
Обрадован будешь архангельским гласом,
Ляг-ка с рабой Божией, с Христовой любовью,
Причастит тя ангел Христовою кровью.

— Это бес во образе отрока, — говорит поп, вслушиваясь в пение Моти, — о таком кощунстве я донесу владыке.

— А наплевать мне и на твой донос, и на тебя, — отвечает старик Гриднев.

И вырвется оттуда Мотя к молодому Гридневу, и долго сидят они по ночам и тихонько от всех читают тайно закупаемые Василием в Москве и в Петербурге книги, о которых ничего не знает старик, и долго после такого чтения не спится Моте, а наутро он пристает к Гридневу:

— Учите меня, Василий Парменович, — я хочу учиться, я хочу учиться, я хочу все знать,

— Учись, читай — в книгах все есть... А как послужишь у нас в приказчиках, заработаешь денег, тогда ступай хоть в университет.

— А что, разве в университет мужичат принимают?

— Принимают, лишь бы экзамен выдержал.

— Когда ж я буду приказчиком? Когда у меня будут деньги?

— Скоро. Только учись. А в университете и сорокалетние учатся.

И Матвей, так сказать, глотает книги и жадно всему учится. Время между тем идет. Старик Гриднев уже думает давать Матвею поручения по торговым делам, но старуха Гридниха не может с ним расстаться.

— Я тебя никуда не пушу, Матвей, — говорит старуха, — кто ж мне без тебя будет читать святые книги, кто мне будет петь стих о «грешной душе» или «как шел старец по дорожке»?

Не вытерпел Матвей. У него отнимали его счастье, его жизнь, его заветные мечты.

— Да эту ерунду вам и мать Макрида прочитает, — проговорил он, трясаясь всем телом, бледный и едва держась на ногах.

— Что! Что! Ты что сказал, окаянный? Богохульствуешь?.. Пармен! А, Пармен! — кричала старуха, задыхаясь. — Поди сюда! Погляди на беса полуденного, на аспида и василиска...

Понял Матвей, что сказал лишнее, да было уже поздно: назад слова не возьмешь — так тому и быть!

Вошел старик. Матвей стоял бледный, безмолвный.

— Отогрели мы с тобой, Пармен, змею за пазухой... Вот он, змей десятирожный — глумится над святыми книгами, говорит, что все это ерунда.

Изумился старик Гриднев. Посмотрел на Матвея и спрашивает:

— Ты что сказал? Повтори.

Отпираться от своих слов казалось молодому упрямцу и пошло, и глупо. Он подумал немного и сказал:

— Я сказал, что лучше хочу дело делать, чем петь ерунду об «аллилуевой жене».

— Ерунду?.. Так это, по-твоему, ерунда? — сказал он, указывая на одну старую раскольничью рукопись, лежавшую у постели старухи.

— Ерунда.

— Так все наши старые книги ерунда?

— Да, вредная ерунда.

— Так я тебя убью, гадюка, коли он не убивает! — вскричала старуха, бросаясь на него с палкой, и упала на пол.

Таволгин бежал без оглядки, и бежал не только из спальни Гриднихи, но и из самого дому Гриднева. Он сразу понял, что там ему уже оставаться нельзя было — все прорвалось разом, все разоблачилось. А старик Гриднев не мог забывать обиду: он готов был бы за обиду убить своего любимого сына. В экстазе своего безумного упрямства он сам иногда говорил себе: «Если б, упаси Бог, меня сам Пармен Гриднев обидел, я б и его убил, как собаку».

Таволгин знал эту деспотическую волю — и бежал на Тарлык, продав в городе свое приказчиье одеяние и купив крестьянское.

Тяжело было ему возвращаться в убогую конуру, в которой он родился, а еще тяжелее было думать, что все его мечты об учении, об университете, о подвижничестве во имя идеи свободы, добра и правды разом рухнули... «У собаки есть надежда, у кошки есть надежда, у этой грязи есть надежда, что она высохнет, у Волги есть надежда, что она до моря добежит, море увидит — а у меня нет никакой надежды, ни на что, ни на кого, ни даже на себя», — думал он, пробираясь вдоль берега Волги, чтобы идти на родину.

В первое время им овладело такое глубокое отчаяние, что он хотел было с крутого берега броситься в Волгу, но случайно наступил ногою на кость, поднял эту кость и задумался:

«Вот и я таким же буду, и всякий будет наступать на мою кость, как я наступил на эту... Будь это человек или собака да будь они живы, они не дали бы наступить на себя, и собака бы укусила того, кто на нее наступил бы. А теперь я наступил на нее, и она не кусает меня... А если это человек, он оттолкнул бы мою ногу, а теперь нет, не толкнет, не сможет... Я не хочу, чтоб на меня наступала всякая нога, хоть бы то была нога Гриднева! Я не хочу, чтоб и рука его до меня дотрагивалась... Я не хочу валяться вот такой костью, я хочу жить — и буду жить».

Тяжелая встреча ожидала его дома, а еще более тяжелы были его проводы из дому, потому что он долго не мог там оставаться. Молодой Гриднев, узнав о несчастии своего любимца, поспешил выслать ему денег и написал утешительное письмо, обещая пристроить его или в Москве, или в Петербурге.

Но Таволгин хотел одного — учиться. Жажда учения стала его неотходным мучителем и не давала ему покоя ни днем, ни ночью.

— Матвей! Ты что перестал молиться? — говорила слепая старуха бабушка, ощупывая сухою рукою его лицо, ощущая под пальцами впадины на его щеках, осязая ввалившиеся глаза, — ты не молишься, и дьявол сушит твоё тело, высасывает кровь из сердца, съедает твои молодые щеки... Молись вслух, голосно...

— Молюсь тихо, не голосно, — отвечал Матвей, не зная что сказать.

Но Матвей не мог долго держать в тайне свою историю со стариком Гридневым. Вести об отступничестве молодого раскольника дошли до Тарлыка, и он, зная, что его ждет домашний ад, решил и из дому бежать.

— Проклят! Проклят! Проклят! — хрипела старуха, стараясь схватить его, но, не видя, где он стоит, махала в воздухе своими сухими руками, как бы загребая этот воздух или стараясь уловить что-то невидимое, как какую-либо нечистую силу.

— Не проклинай его, матушка, — говорила со стоном Мавра, — не он виноват, а виновата моя утроба — она его породила... Прокляни мою утробу, матушка, а его не проклинай.

— Проклята буди и утроба твоя, и чадо твоё, — металась старуха, цепляясь за стол, за стены, и потом опустилась в изнеможении на пол.

— Мать моя, не кляни его — кляни злых людей, что его испортили, — стонала Мавра.

— Клянущу, клянущу и их, клянущу и очи их, и уста их, и руки их, и ноги их, и души их проклятые клянущу, и детей их, и матерей их, и могилы отцов их клянущу! Чтоб могилы их звери лютые разрыли! Чтоб их кости птицы разнесли по всем четырем ветрам!..

Так бесновалась старуха, силясь подняться с полу, и опять падала, вновь силилась встать. Мавра старалась ее поднять, но старуха и ее отталкивала.

— Поддай мне сюда твоё отродье! Я вырву у него его проклятый язык и отдам псу смердящему, — хрипела старуха. И Мавра, и Матвей молчали.

— Где он, окаанный? — продолжала говорить слепая почти шепотом. — Нагни ко мне его проклятую голову.

Та молчала. Матвей стоял бледный как полотно.

— Где он? Где аспид?

— Я тут, — глухо сказал Матвей.

Услышав его голос, старуха рванулась на полу, быстро на четвереньках подползла к внуку и цеплялась за его ноги. Матвей оттолкнул ее ногой. Мать кинулась к нему и обхватила его руками — он и ее оттолкнул.

— Прочь, бесноватые! Вы погубили меня, — сказал он с силою и рванулся было к двери.

— Так будь же и от матери проклят, еретик окаянный! — вскричала Мавра.

— Не выпускай его, Мавра! Запирай двери да запали избу — все сгорим тут... Может, Бог простит наши души окаянные.

И старуха поднялась с полу и ощупью пошла к двери, которая была отворена.

А на дворе в это время так жарко светило солнце и такая спокойная жизнь отражалась и на зеленой рожице, где маленький Мотя устраивал себе скиток и ждал в нем «аллилуйной жены», и на яблоне, посаженной Мотею под окном избенки.

Когда старуха шла к двери, в нее влетел белый голубь и, усевшись на плече у слепой, носиком своим тянулся ко рту старухи, которая кормила его зернами из своего рта.

— А! И ты лезешь ко мне, чтоб я тебя кормила, окаянный! Я и его выкормила, змею подколодную... Так и ты такой же будешь?..

В бешеном порыве слепая схватила сидевшего у нее на плече и тянувшегося к ее рту голубя и разорвала его надвое. Разорванная птица билась на полу в смертной агонии.

Матвей выбежал из этого ужасного дома и остановился потом в недоумении. Куда идти?.. Что делать? Весь мир казался ему такою страшною пустыней, населенною такими страшными чудовищами, что даже при одном воспоминании о них волосы становились стоймя на голове, и звери дубравные казались кроткими голубями, которых разрывали чудовища-люди.

Вслед за ним из избенки выбежала Мавра и бросилась сыну в ноги.

— Прости меня, дитяtko мое горькое, не я тебя кляла-проклинала, а горяшко мое лютое помutilo головушку бедную, и сердечушко мое не ведало, что говорили уста мои окаянные, тебя проклинаячи. Прости меня, соколик ясный! Не губи ты душеньку свою, а я беру назад свое проклятьe, и замолю мои слова грешные.

Матвей молча поднял мать и собирался идти.

— Куда ты, цветик мой лазоревый? Погоди, я погляжу на тебя, — говорила Мавра.

— Прощай, матушка, — говорил, в свою очередь, Матвей, — не поминай меня лихом.

Мать обхватывала его руками и причитала:

— На кого ж ты меня горькую покидаешь, для чего ты меня в могилу темную без времени посылаешь? Кто без тебя закроет глаза мои мертвые, кто по душе моей грешной помолится! Дитяtko мое горемычнoе, ягодка моя садовая!..

— Прощай, матушка, — повторил Матвей, направляясь к стeгaм.

Мать опрометью бросилась в избу и вскоре воротилась оттуда с зипуном, котомкой и шапкой. Затем, догнав сына, она упала ничком наземь, как бы на молитву, и горько плакала. Взяв щепоть земли, она завернула ее в тряпочку, навязала к себе на крест и потом, сняв с себя этот крест, надела его на сына.

— Возьми с собою... Это крест святой и родная земля... Маленькими ногами ты бегал по ней... Возьми ее, Мотя, — с нею тосковать не будешь.

Она надела на него крест и перекрестила.

Оглянулся Матвей на родимую избушку и увидел: у дверей стояла слепая старуха и грозила кому-то клюкой в воздухе. Что-то было страшное и фантастическое в этой дикой фигуре: поднятые кверху руки, из которых одна грозила клюкой чему-то невидимому, седые растрепавшиеся волосы и страшное, страшное, искаженное гневом и старостью лицо...

Матвей отвернулся, взял котомку и пошел по направлению к западу. Мать стояла как вкопанная, пока не очнулась.

Х

Стоном стонет земское училище в Варгунах. Все мальчишки собрались в классы, но классы еще не начинались. Надо было чем-нибудь занять незанятое время, потому что молодость больше всего боится бездействия и неподвижности, и о ней, как и о природе, можно сказать: *horror vacui*.

Школьники затеяли игры. Весьма справедливо замечают, что в детских играх отчасти выражаются потребности и направление общества в данное время. В Риме дети играли в патрициев, рабов и гладиаторов. В средние века, во времена инквизиции и во времена рыцарства, дети или жгли на кострах еретиков-кукол, или ломали на турнирах палочки, воображая,

что ломают копья. В России дети очень долго любили играть в разбойников, а одно время игра в солдатики вытеснила всякие другие игры. Этою игрою развлекались даже большие.

В варгунинском земском училище школьники играли «в земство», «в мировых судей» и «в сочинителей». Игравшие в земство составили нечто вроде сходки, и один из мальчиков ораторствовал, призывая других строить в классе железную дорогу. Игравшие в мировых судей разбирали одну претензию гласным порядком, причем мирового судью обвиняли в том, что он потворствует обвиняемому Андрюшке Ряполову за то, что этот последний дал мировому судье взятку — подарил чижику. «Сочинитель», неизвестно почему, сидя за учительским столиком и марая тетрадку, по временам закатывал глаза под лоб и что-то, по-видимому, декламировал.

— Отдуйте мирового судью, — говорили некоторые мальчики.

— Пускай он отдаст Ряполову чижику, а потом судит, — кричали другие.

— Судья! Судья! Отдай чижику!

Когда «сочинитель» встал, чтобы пройти по классу, один «земский» подставил ему ногу, и сочинитель упал на пол. «Сочинитель» бросился на «земского» и также повалил его на пол.

Кузя Ногин между тем громогласно объявил всем, что к ним приехали «настоящие сочинители, которые книжки печатают».

Один из мальчиков старался изобразить из себя учительницу, Варвару Григорьевну. Собрав со столов целую кучу книг и положив их перед собою, он сел около двери и поглядывал на всех задумчиво-грустно, иногда встряхивая головою, как будто длинные пряди волос падают ему на лицо и мешают читать.

— Дети! Дети! Полно вам шалить, — говорил он, — теперь не то время настало — крестьянские дети должны показать, что в них сила и надежда России, а все остальное гниет, и на него нет надежды...

Речь оратора-учительницы была прервана тем, что у него на голове очутился бумажный колпак, а книги его посыпались на пол.

Наконец один из мальчиков, вбежав в класс, закричал: «Идет! Идет!» — и вся ватага шалунов бросилась по местам, и скорее всех уткнулся носом в книгу «мировой судья», которому хотелось в одно и то же время быть и «мировым судьей», и незаконным владельцем чужого чижики.

Вошла учительница. Она была все такая же бледная и такая же задумчивая, какою мы ее видели накануне, в лож-

бине на берегу Волги. Видно даже было по глазам, что она сейчас плакала, потому что, входя в класс, не успела даже спрятать платка, которым утирала слезы. Мальчики заметили это и еще больше присмирели. Они привыкли видеть свою учительницу грустной и, по-видимому, тоскующею о чем-то, и в это время она была еще добрее с ними, казалась еще более внимательною.

— Варвара Григорьевна, о чем вы плачете? — спрашивал ее Кузя Ногин, подходя к ней и сам едва удерживая слезы. — Вам кого жаль?

Этого вопроса не могла вынести девушка и, закрыв лицо руками заплакала.

«Кого мне жаль? Боже мой! — думала она. — Да мне жаль моего прошлого, моей потраченной жизни, моих разбитых надежд. Кого жаль? О чем я плачу? Я плачу о самой себе, плачу о бедной женщине...»

Она положила голову на стол и, ничего не помня, что около нее, плакала, горько плакала. Некоторые из мальчиков также утирали слезы, а другие бросились к ней и силились поднять ее голову.

— Не плачьте, Варвара Григорьевна! Мы вас любим, мы не будем шалить, — стараясь заглянуть ей в глаза, упрашивал маленький Ногин.

Даже «мировой судья» в душе своей решил возвратиться чижика Ряполову, лишь бы Варвара Григорьевна не плакала.

Но она скоро овладела собой, подняла голову, откинула от лица волосы и ласково, с улыбкой посмотрела на всех. Дети также повеселели.

— Теперь давайте учиться... У меня голова болела, а теперь ничего, — сказала учительница и принялась за свое педагогическое дело.

Учение шло живо, весело. Учительница умела заставить своих слушателей быть внимательными, благодаря хорошему методу преподавания, умела возбудить в них соревнование, — и класс казался таким же оживленным, как и тогда, когда мальчики играли «в земство», «в мировых судей» и «в сочинителей», только теперь учительница совмещала в себе одной и «земство», и «мировой институт», и литературу, и все внимание мальчиков было приковано к ней одной.

Она писала что-то на доске, окруженная толпою своих маленьких питомцев, которые цеплялись ей за платье, хватали за руки и вообще показывали живейшее любопытство к тому, что она писала и объясняла, когда в классную комнату вошел старик Ногин.

— Позвольте нам, матушка-барышня Варвара Григорьевна, послушать вашего учения и полюбоваться, как вы тут с ними управляетесь, — сказал он, кланяясь учительнице.

Кузя, увидав дедушку, бросился было к нему, чтоб уцепиться за кушак, но счел более благоразумным остановиться и потупиться.

— С кем вы, Пармен Прокофьевич? — спросила учительница.

— Два приезжие барина хотят полюбоваться вашей школой — много наслышаны... Так не откажите, матушка-барышня.

— Очень рада, Пармен Прокофьевич... Только у меня такой базар тут...

— Ничего, ничего, Варвара Григорьевна: оставайтесь так с детишками — это-то нам и любо, и глядеть на вас с ними весело, так что сам бы, кажись, на старости в школу пошел.

Кузя не вытерпел и уцепился за кушак дедушки. Потом бросился к учительнице.

— Варвара Григорьевна! Это к нам сочинители идут, — лепетал он, увиваясь около нее.

— Какие сочинители?

Старик Ногин вышел и тотчас же появился на пороге со Стожаровым и Серпоровым.

— Позвольте надеяться, сударыня, что вы извините нас за наше, может быть, бестактное посещение вашей школы. Мы не из пустого любопытства врываемся к вам непрошеными гостями, хотя для вас наше посещение и может показаться бесцельным. Я вам должен объяснить, сударыня...

Стожаров, видимо, путался и не знал, что сказать. Лицо его то вспыхивало, то бледнело. Лицо учительницы также покрыто было мертвою бледностью, и чтобы не упасть, она ухватила руку за стол.

— Я изучаю экономическое состояние народа... его быт... Голос Стожарова дрожал, язык не слушался.

— Земское дело... надежда России... ваша школа считается счастливым исключением... Я... Стожаров...

Девушка, по-видимому, овладела собой раньше, чем Стожаров, и сказала не без волнения:

— Очень приятно... Мы, кажется, были с вами знакомы когда-то, но вы меня не узнали, господин Стожаров... Я Бармитинова, бывшая ваша ученица.

— Варвара Григорьевна! — сказал с усилием Стожаров. — Как вы... изменились.

— Да время много прошло...

Ни Серпороев, ни старик Ногин ничего не понимали, что происходило между Стожаровым и учительницей, да и они говорили так бессвязно, так были взволнованы, что видно было только их смущение и то, что они когда-то были знакомы и что учительница была ученицей Стожарова.

Действительно, это была та Варенька Бармитинова, в семействе которой, в Петербурге, Стожаров бывал еще студентом. Это была та самая Варенька, которой, на ее признание в любви к Стожарову, этот последний, хотя тоже любил ее горячо, отвечал, что она может жить без него, что только без пищи и воздуха она не может существовать, а без него, без Стожарова, может, что есть люди, которым не достает пищи и воздуха, и что когда есть такие несчастные, то они, Стожаров и Варенька, не имеют права любить друг друга, особенно когда другим есть нечего, что, наконец, они, Стожаров и Варенька, не имеют даже права есть, когда голодают другие и когда ни Стожаров, ни Варенька ничего не сделали для того, чтобы накормить этих голодных, — и в заключение просил ее поработать и на себя и на других, а потом уже подумать и о любви.

Десять лет влюбленные не виделись. Все эти десять лет Стожаров мыкался по белу свету, слушал лекции в разных университетах Европы, работал в заграничных журналах русских эмигрантов, помогая им, как ему казалось, «с другого берега» очищать в России гниль и плесень, которая мешала русскому развитию, писал в «Колоколе» жгучие памфлеты против внутренних врагов своего отечества, против обскурантизма и татарщины в общественном быту и строе своей родины, потом, сознавая, что работать для России можно только в России, он сказал Герцену, Бакунину и Огареву, что они уже «отзвонили», а потому им пора и «с колокольной долой», — и воротился в Россию, с горьким сознанием, что хотя Лондон и Париж лучше Кинешмы, однако и в Париже и в Лондоне, как и в Кинешме, одинаково плачут обиженные, одинаково голодают голодные и едва ли не в равной степени сила материальная и подлость душат силу интеллектуальную и честность со свободой совести. В России он тоже работал чем мог (не топором, не иглой, не рубанком, не сохой даже и не плугом, а все тем же, данным ему природою орудием мысли и труда, свободным человеческим словом) и пока мог, а когда оказалось это невозможным, опять стал мыкаться по свету, но уже по России, сознавая, что это мыканье будет не без пользы для России и для него самого. Потом опять работал пером, когда стало можно, а там опять мыкался.

И вот он, в одно из своих мыканий, сталкивается с девушкой, которую любил и, казалось ему, продолжал любить и которую он оттолкнул от себя во имя созданного им афоризма, что «двум подло пользоваться счастьем, когда другие двадцать несчастливы».

Варенька, хотя не мыкалась, подобно Стожарову, однако прошла слишком много тяжких испытаний, так много, что со стороны природы и людей казалось бы подлостью взваливать на слабую спину женщины такую непосильную ношу, какую выносила эта девушка, опять-таки в силу принятого ею на веру от дорогого ей человека афоризма, что «подло есть, когда другие голодают», и что «подло быть счастливым, когда в массе сомнительно счастливых насчитывается до *тысячи процентов* несомненно несчастливых». Желая выполнить завет любимого ей человека, она тоже махнула рукой на свое личное счастье и пошла на тяжкий труд, чтоб этот тысячный процент несчастных уменьшить хотя до девятисот девяноста девяти — все же одним меньше, все же она может сказать любимому человеку, что и она «не бесполезный поденщик во имя счастья человечества».

Таким образом, через десять лет после разлуки со Стожаровым мы встречаем эту девушку учительницей в земской школе в Варгунах.

Стожаров, обещавший при разлуке «следить за нею», как он выразился, скоро потерял ее из виду, потому что ни из Лондона, ни из Гейдельберга, ни из Парижа, ни из Женевы даже, где бродил Стожаров целые годы, не совсем удобно было следить за тем, что делалось не только в Варгунах, но и в Петербурге. Воротившись же в Россию и не найдя своей Вареньки в Петербурге, он постарался выкинуть ее из головы, хотя не мог выкинуть «из-под левого подреберья», как он выражался.

Встреча их в Варгунах была тем более поразительна, что была больше чем неожиданна. Вот почему Стожаров на первое время лишился употребления языка, потому что чувствовал, что у него при виде Бармитиновой стало что-то не ладно не только под левым подреберьем, но и под черепом, где, по-видимому, сидевший на троне самодержец, как ему казалось, до сих пор охулки на руку не клал, управляя своим царством даже деспотически строго. Не менее его была смущена и Бармитинова. В присутствии Ногина и Серпороева, под взглядами любопытных детских глаз им приходилось говорить о предметах лично до них не относящихся, толковать об общественных, земских и педагогических вопросах, кото-

рые в данный момент хотелось бы им отодвинуть на самый дальний план перспективы их личной мысли. Приходилось притворяться.

— И вы много изменились, Григорий Борисович, — говорила Бармитинова, — какой ветер занес вас из Европы в наши киргизские Варгуны?

— Ветры земские, общественные, народные, как хотите назовите, — отвечал он, — о вашей школе так много говорят, что я хотел лично убедиться в предположении, что «рука женщины спасает отечество».

— А разве рука мужчины губит его? — спросила Бармитинова улыбаясь.

— Нет, и не губит совсем, и не спасает совсем... Как вы решились на это благородное дело, Варвара Григорьевна?

— Так, — продолжала с улыбкой Бармитинова, — мой внутренний голос говорил мне: «Встань, возьми одр твой и работай. Если другой голоден, ты не должна есть, если другой несчастлив, то и ты не имеешь права быть счастливою»... И вот я работаю и, по возможности, на выработанные деньги кормлю голодных.

— Так вам говорил это ваш внутренний голос? — спросил Стожаров, пристально глядя ей в глаза.

— Да, мой внутренний голос.

— И он продолжает вам говорить это?

— Н-да, — отвечала Бармитинова медленно и нерешительно, — продолжает, но он становится менее громким и повелительным.

— Отчего же?

— Мой учитель говорил мне когда-то...

— Какой учитель? — спросил Стожаров с недоумением.

— Один суровый молодой человек, которого любимой фразой было: «Создайте мне умную женщину — и я пересоздам человечество».

Стожаров покраснел, потому что это была когда-то его любимая фраза.

— Так что вам говорил ваш учитель? — спросил он с видимым волнением.

— Мой юный философ, по теории Декарта и Фурье, говорил: «Пускай отныне человеком управляет абсолютное волнение и абсолютное удаление — *le doute absolu et l'ecart absolu*. Чтобы человечество было счастливо, свободно, богато, чтобы оно наконец поумнело и пересоздалось, пусть оно отвергнет все, что выработали до сих пор мир, история, чело-

вечество, наука, философия, все ученые и все публицисты — это первое. Второе — пусть человек начнет идти не тою дорогою, которою все шли до сих пор, пусть все отбросит — и тогда он сам по себе выработает и свое счастье, и свои общественные порядки, не похожие на старые, при которых человечество было так несчастливо, что до сих пор не выбилось из бедности».

Стожаров слушал ее внимательно, и мрачная тень легла на лицо его. И Серпоров и Ногин также слушали ее. Мальчики сидели смирно, стараясь вникнуть в смысл слов своей любимицы.

— Будьте так добры — продолжайте, мы вас слушаем, — сказал Стожаров спокойно.

— Вот я и пошла не той дорогой, по которой до сих пор шла женщина.

— И что же?

— Как видите, иду... Я этим исполнила только первую заповедь моего учителя: пошла проселком, или, скорее, — без дороги.

— А вторая заповедь?

— Вторую только теперь думаю исполнять, и также, кажется, должна буду усомниться в словах самого учителя, как он заповедал мне абсолютно усомниться в истине и в пользе всего, что до сих пор и сказало, и сделало человечество, в том числе и мой уважаемый учитель.

Стожаров молчал, потупя голову, и ничего не возражал. Серпорова также поразили слова девушки, но он не мог спокойно выслушать ее последних слов и заговорил в сильном волнении и скороговоркой:

— Я вполне разделяю ваши убеждения... Вы из *наших*... Извините, я не то хотел сказать... По моему мнению и по мнению всего нашего поколения, «живые должны восстать против умерших»...

— Надя! Не говори чужих фраз, — сказал Стожаров как-то желчно, раздражительно.

Бармитинова быстро на него взглянула, и в ее взгляде выразился вопрос и недоумение. Стожаров понял ее.

— Я называю моего друга Надей, Надеждой — это шутка, — пояснил он ей, — молодое поколение я называю «надеждой» России — оттого и моего молодого друга называю Надей.

— Я не чужие фразы повторяю, — говорил Серпоров с горячностью.

— По крайней мере последняя фраза — чужая.

— Положим, так. Но окончание фразы — я ее не кончил — мое, *наше*... Вот эта фраза: «Живые должны восстать не только против мертвых, но и против живых»...

— Как это?

— Вот как Варвара Григорьевна восстает против твоих заповедей, потому что, вероятно, выработала свои. Это-то и есть абсолютное сомнение.

Не отвечая своему другу, Стожаров только смотрел вопросительно на девушку.

— После, — сказала та тихо, — не теперь... не здесь...

Между тем, во время этого разговора, Кузя Ногин подобрался к своему дедушке, который сидел поодаль, и, уцепившись за его пояс, тихонько нашептывал:

— Он ее не возьмет у нас, дедушка?

— Кто?

— Сочитатель вон энтот.

— Кого возьмет, дурачок?

— Варвару Григорьевну возьмет.

— Зачем ее брать?

— Он ее возьмет... Он, учитель... Вон он какой...

И мальчик сердито смотрел на Стожарова.

— Не балуй, Кузька, — подь учись...

— Экзаменуйте же моих учеников, господин литератор-ревизор, — говорила Бармитинова, обращаясь к Стожарову с улыбкой.

— Нет, если позволите, я надеюсь в другое время познакомиться с вашей школой и с ее успехами, а теперь, в качестве вашего бывшего учителя, хотя не официально, я хотел бы ближе познакомиться с вами и с успехами, которых вы, кажется, сделали не мало.

— Напротив, я ушла назад, по вашей теории.

— В чем же?

— После, после...

— И вы не скучаете вашим делом? — спросил он, желая переменить разговор.

— Спросите вот этот маятник, скучал ли бы он, если бы был живым человеком? — спросила она в свою очередь.

Что-то острое шевельнулось в сердце Стожарова, и он нагнул голову.

— Я одно скажу вам, — процедил он сквозь зубы, не поднимая головы, — я начинаю верить в будущее русской женщины.

— А я, напротив, начинаю терять эту веру, — сказала она.

— Почему же?

— Сами увидите, если соблаговолите познакомиться со мной.

— Однако я мешаю вам заниматься с детьми, — сказал он, как бы очнувшись и оглядывая кругом классную комнату.

Несколько мальчиков обступило старика Нюгина, и некоторые из них показывали ему свои книги и тетрадки.

— Вот это, дедушка, качество предмета, а это признак предмета, — говорил Кузя, во что-то тыча пальцем, — так говорит Варвара Григорьевна...

— А казенные ученики этого не знают, — говорил другой мальчик.

Серпоров подсел к тому мальчику, которого называли «мировым судьей», и оба о чем-то толковали.

— Русские должны прежде всего знать Россию — какие в ней города, реки, какая земля, почва, что растет на ней, и какие водятся звери и птицы, — говорил «мировой судья» как по писанному, причем он косо поглядывал на Ряполова, у которого выманил «чижика», ставшего теперь его мучением.

— Если вам не скучно будет присутствовать при наших занятиях, я начну урок, — сказала девушка, обращаясь к гостям, — угодно послушать?

— Мы вас не смели просить об этом, — отвечал Серпоров.

— В таком случае мы начнем... Что у нас сегодня? — обратилась она к ученикам.

— Диктовка, а потом география, — отвечали мальчики.

— Из чего вы хотите, чтобы я диктовала вам? — снова спросила она.

— «Историю кусочка хлеба», — говорили одни.

— «О великих людях», — предлагали другие.

При словах «великие люди» в памяти Строжарова встала картина далекого детства, когда он на людское величие глядел детски-наивными глазами Плутарха, и так много казалось ему в мире великих людей. Со временем многое, что казалось ему великим, умалилось до крайней малости, а действительное величие находилось в других сферах и в других формах, и далеко не в тех, в каких его старались представить.

Началась диктовка «Истории кусочка хлеба». Мальчики писали весело, охотно, переспрашивали иногда учительницу о том, чего не дослышали или не понимали. Написанное в большей части оказалось правильным. Тогда начался грамматиче-

ский и логический разбор написанного, и урок казался весьма оживленным.

Старик Ногин с умилением смотрел и на учительницу, и на учеников.

— Вам не скучно у нас? — спросила его Бармитинова.

— Помилуйте, сударыня, Варвара Григорьевна: да у вас сидишь, словно в Божьем храме стоишь — все бы слушал. Бог дал счастье нашим внукам, что ноне родились: им и умирать не надоть. А мы-то, грешные, в каку годину смутную росли — вспомнишь как — и верить не хочется. Наши господа говорили, бывало, да и в книжках писали, что мужику грамота — пагуба, что грамотный мужик только-де фальшивые пачпорты пишет... Эх! Молодость наша серая — не тем будь помянута!.. А вот нашим внукам, спасибо, легко будет жить.

— А их внукам еще будет легче, только мы этого не увидим, — заметил Серпоров.

— Дай-то Бог, может, и нас правнуки-то добром вспомнят.

— Нет, Пармен Прокофьич, едва ли это будет, — опять возразил Серпоров, — мы своих дедов не добром вспоминаем, и нас не добром вспомнят.

— Ну, ин будь Божья воля... А уж я теперь на земском собрании весь свой старый голос надорву — как за храмы Божии, так за школы буду стоять: пуцдай на чем ином прочем урезывают, скопидомничают, а на школы клади тысячи, десятки тысяч — все мало! Пуцдай себе оспу прививают насильно, а я скажу: привей грамоту, хоша насильно, да привей — свет увидишь. От оспы лицо будет шадровито, а без грамоты — душа шадровита, — вот что!

Старик, видимо, был тронут. Заговорив, он не мог остановить своей старческой говорливости.

— На-кось! На обеды да на всякую болесь тысячи бросают. А ты дай на школу — Христово дело сделаешь: слепому глаза откроешь, — говорил старик и, обращаясь к учительнице, прибавил: — А вам, барышня-матушка, земной поклон, а вы на наших глупых дьячков не смотрите — за вас ангелы на том свете молятся.

— Благодарю вас, Пармен Прокофьич.

— Не на чем, барышня: не я говорю, а моими глупыми устами добро глаголет, что вы нашим детишкам делаете.

Стожаров находился в каком-то странном нравственном состоянии. Нежданная встреча, нежданные речи Бармитиновой, которую он вспоминал как более или менее избалован-

ную барышню, хотя умненькую, — безвестность о том, как провела эта девушка десять лет, в которые они не виделись, — все это перепутало его мысли, поднимало в голове его целый ряд предположений и догадок, и ни на чем он не мог остановиться. Одно он сознавал, что много в его глазах выросла эта девушка, но через какие медные трубы она прошла, чтоб из барышни выработаться в человека — он не мог знать и не умел отгадать... Чего-то жаль и больно ему стало, и он готов был даже думать, что ему жаль прошлого, того прошлого, когда он не видел, что в любимой им девушке скрыты такие богатые силы, и бросил ее на самоличную борьбу с жизнью, когда рука об руку с ней, с этой девушкой, он сам мог быть вдесятеро сильнее. Он даже боялся, что молодые его фантазии о назначении женщины, может быть, ошибочны, и он напрасно заставляет страдать честное существо, толкая его на черную работу, выводя на такую дорогу, кочковатую, ухабистую, на которой и у самого сильного мужчины подкашивались нередко ноги и кружилась голова.

— Надеюсь, вы навестите меня и вне школы, — сказала Бармитинова Стожарову, провожая своих гостей.

— Когда позволите быть у вас? — спросил он.

— Я всегда рада вас видеть, — отвечала она, — вы создали меня такою, какою видите, — вините себя, если я не удалась, — прибавила она, грустно улыбаясь.

— Вы... редкая девушка, — сказал Стожаров, стараясь подыскать выражение, которого, по-видимому, не подыскал.

— Благодарю... Вы ушли дальше Гамлета, — говорила она глядя ему в глаза.

— Почему же?

— Он выражал свое мнение об Офелии вопросительно: «Офелия! Ты честная девушка?» А вы прямо утверждаете, не зная меня.

— Нет, я вас знаю, потому что понимаю.

— Позволю себе сомневаться в этом: вы отвыкли понимать меня, как я от вас отвыкла... Я не знаю, кто вы.

— Узнавайте, спрашивайте.

— Хорошо, — сказала она шутя, — когда вы придете ко мне, я вас встречу современным вопросом.

— Какой же это современный вопрос?

— «Гамлет! Ты честный мужчина?» — вот «современный женский вопрос».

— Почему же такой должен быть современный женский вопрос?

— А потому, что прошло уже то время, когда только мужчины имели право спрашивать девушку: «Офелия, честная ли ты девушка?» Теперь настали другие времена, и женщина имеет более прав спрашивать мужчину: «Гамлет, честный ли ты мужчина?»

— Да, это хорошо, — вставил свое слово Серпороев, который, по-видимому, не слушал их.

— Но что вы понимаете под словом «честный мужчина», — спросил Стожаров.

— То же, что и под словом «честная девушка»: что бесчестно для девушки, то должно быть бесчестно и для мужчины.

— Да, вы правы, — сказал Стожаров задумчиво.

— Так до свидания, бородатая Офелия, — сказала Бармитинова уже совсем весело, — я вас буду ждать... И вас рада буду видеть у себя, — прибавила она, обращаясь к Серпороеву.

Тот поклонился.

Когда гости вышли, Кузя Ногин подбежал к учительнице и, заглядывая ей в глаза, спрашивал:

— Это был ваш учитель?

— Да, учитель.

— Так он больше вашего знает?

— Да, больше.

Мальчик задумался.

— Нет, — сказал он нерешительно, — это неправда.

Бармитинова улыбнулась, но ничего не отвечала. В ее воображении разом почему-то промелькнула белокурая, немножко золотушная Гретхен... «Любит? Не любит?.. Любит? Не любит?..» Но тут же сейчас губы ее стали шептать: «Ах, пестро, ах, пестро! Ах, пестро!»

XI

Вечером этого самого дня Бармитинова и ее молоденький друг Марина сидели в маленьком палисаднике, который находился при квартире Бармитиновой. На скамейке и на траве валялось несколько книг и газет. Вечер был августовский жаркий, тихий. На небе ни облачка.

— Какая ты сегодня хорошенькая, Варя, — говорила Марина, глядя на нее и играя концом ее пояса, — и глаза такие светлые. Я давно тебя не видела такую веселую.

— Что ж, очень может быть — я рада, — отвечала Бармитинова весело.

— А почему ты рада? Что мне не скажешь?
— Я рада, что у меня... книга пропала...
— Книга пропала? Какая книга?
— Книга... по которой я... училась, — отвечала Бармитинова как-то загадочно.

— Чему ж тут радоваться, Варя, что пропала книга? И какая книга? Как она называется?

Бармитинова, вместо ответа, продекламировала:

Пропала книга! Уж была
Совсем готова — вдруг пропала!
Бог с ней, когда идее зла
Она потворствовать желала!
Читать маранье праздных дур
И дураков мы недосужны,
Не нужно нам плохих брошюр,
Нам нужен хлеб, нам деньги нужны!
Но, может быть, она была
Честна... а так резка, смела...
Две-три страницы роковые...
О, если так, ее мне жаль!
И, может быть, мою печаль
Со мной разделит вся Россия.

Она остановилась и задумалась.

— Что с тобой, Варя? Ты говоришь какими-то загадками... Сказала, что у нее пропала книга, по которой она училась, а потом читает стихи из «Отечественных Записок», где тоже говорится, что «пропала книга»... Ты зачем меня мистифицируешь, Варя? — приставала к ней Марина.

— Я тебя не мистифицирую... я сегодня же видела эту книгу, и нашла, что она пропала... И сегодня же, может быть, увижу ее опять... Я целых десять лет думала, что она цела, а сегодня увидела, что она пропала.

— Да не дразни же меня, Варя! Ведь я уж не маленькая, — говорила Марина недовольным тоном, — ты ведь всегда любишь, как Гейне, выражаться «языком пророков».

— Хорошо, Мариночка, я тебе скажу просто: я сегодня видела книгу, по которой я десять лет училась и которой десять лет не видела. Книга эта называется «Григорий Борисович Стожаров».

— Что ж это такое? Я эту фамилию слышала от тебя... Так это в самом деле книга или человек?

— Была книга, а теперь человек, — отвечала Бармитинова.

Марина совсем надулась.

— Ну, ну! Не сердись, моя маленькая. Я тебе все скажу... Сюда приехал один господин, с которым я была дружна десять лет назад и который имел роковое влияние на всю мою жизнь. Под его влиянием я отказалась от общества, от замужества, от семейных радостей. Под его неотразимой логикой — тогда она казалась мне неотразимой — я стала женщиной-деятелем, то есть современным монахом или, если хочешь, «рыцарем ордена женского труда и женской независимости и равноправности с мужчиной». Такие монахи-рыцари, как тебе известно, существовали везде, как крайнее выражение увлечения известной идеей. Были монахи и рыцари идеи христианства, которые отказывались от мира, от жизни, от семейных радостей, чтобы или служить идее словом, или ратовать за нее мечом. Отсюда отшельники фиваидские пещерские, афонские, а после — крестоносцы, меченосцы, тамплиеры и прочие. Время подобного рыцарства прошло. Теперь настало время социальных движений — и вот опять явились монахи, и в рыцари пошли или такие женщины, как я, которые, отрицая семью, проповедовали свободу женщины и женский труд, и пошли в артели переплетчиц, наборщиц, переводчиц, телеграфисток, в акушерки, в доктора, как Суслова и Кашеварова, в учительницы, как я, нашедшая свой монастырь и свою Фиваиду в земской школе в Варгунах. Современные рыцари — это тоже отрицатели старых порядков, те, которые «восстали против мертвых» и к которым принадлежал мой учитель, моя книга — Стожаров. Поняла теперь?

— Начинаю понимать, — отвечала Марина, и глаза ее блестели усиленным, лихорадочным блеском.

Она порывисто бросилась на шею к Бармитиновой:

— Говори! Говори, Варя, я хочу тебя слушать, — шептала она в волнении.

— Я почти все сказала.

— Нет, не все — только начала, и говори же!

— Так вот, под влиянием Стожарова, я поставила вверх дном всю мою жизнь, я отреклась от всех моих прежних верований, из Иерусалима я пошла в Фиваиду — в Варгуны.

— И он теперь здесь, этот Стожаров?

— Здесь, сегодня был у меня в школе.

— Он к тебе приехал сюда?

— Не думаю... А может быть.

И лицо Бармитиновой покрылось слабым румянцем.

— Почему же ты говоришь, Варя, что книга пропала, когда, напротив, книга нашлась?

— Нет, книга пропала, а, кажется... нашелся человек.

— И ты рада?

— Рада... Рада и потому, что, кажется, помучу его так же, как он меня мучил.

— Чем, Варя?

— А вот чем: я его заставляю молиться на себя, то есть на меня.

— Как это Варя? Я тебя не понимаю... Ты все шутишь со мной.

— Нет, Мариночка, я вовсе не шучу. Он всегда проповедовал, что надо быть последовательным, что человек, изменяющий своим убеждениям, своему знамени, своему слову — подлец.

— Что ж, Варя, разве ты не того же мнения?

— Того же, и вот на этом самом основании я его заставляю молиться на себя по три раза в день.

— Да как же это, говори, Варя, не мучь меня... Разве он так тебя любит?

— Да... по крайней мере, он говорил, что я лучшая девушка, какую он когда-либо знал, и, вероятно, лучшего друга он не найдет никогда. Но он же сказал, что прежде чем нам жениться, мы должны поработать на других, и что мы не имеем права быть счастливыми до тех пор, пока не накормим много голодных, пока не дадим свободу многим заключенным. А иначе, он говорил, мы будем жалкие и подлые люди... Я исполнила его волю.

— И что ж? Теперь женитесь?

— Нет, не женимся... Я ему только напомним, что непоследовательность и отступничество от своих убеждений — подлость.

— А разве он отступился от своих убеждений.

— Не знаю. Может быть, и нет, так тем лучше. Когда он меня обращал в свою религию, то есть звал меня или в современный скит, или в орден рыцарей женского самостоятельного труда, его религией был «позитивизм» Огюста Конта и философия Стюарта Милля.

— Что ж из этого, Варя?

— А то, что я велю ему быть верным своему учителю. Огюст Конт говорит, что молитва современного человека должна относиться к людям же, то есть люди должны поклоняться человечеству «в лице его достойных индивидуальных представителей». Эти люди, которым современный человек должен молиться, могут быть «живые или умершие, но во всяком случае женщины», потому что женщины, по мнению Конта, «как *sexe aimant*, воплощают в себе самый лучший

атрибут человеческой природы, атрибут, который должен регулировать всю нашу жизнь», и что даже все человечество символически представляется в лице женщины.

— Что ж, Варя, это очень любезно со стороны такого великого гения, каким его называют Миль и Льюис, — заметила шутя Марина, — хотя этот же Конт говорит, что женщина не должна даже иметь собственности, а может жить только подачкой от мужчины!

— Правда, правда.

— Но ведь это дико, Варя... В таком случае, после этого мы, женщины, должны молиться на мужчин, а они все такие противные, злые, деспоты, не дают женщине свободы, а сочинители так просто лгунишки: обещают нам и счастье, и свободу, а сами не имеют ни того, ни другого. Ведь это, Варя, все равно, что обещать шкуру не убитого медведя. А ты согласна с противным Контом, Варя?

— Постой. Дай досказать, — не забегай вперед.

— Виновата, Варюшечка, я всегда такая, за это меня и мамаша бранит: говорит, всю жизнь буду торопиться и рвать платья. А вчера я пришла от тебя такая расстроенная, что разбила у мамашы любимую чашку, а папаше нечаянно бороду подожгла, когда давала ему огня закурить папиросу. Потом весь вечер редела... Ах, виновата, милая, — сказала она, спохватившись, — я все перебиваю тебя... Теперь молчу... Говори же.

И она рукой зажала свой рот, а между тем, глаза ясно говорили, что ей смерть хочется болтать.

— Конт говорит, — продолжала Бармитинова, поглядывая на калитку, ведущую на двор, — что если у мужчины нет налицо обожаемой женщины, то он должен обожать хоть умершую, хоть даже просто историческую женщину.

— А я, Варя, знаешь кого так обожала?.. Рахметова из «Что делать?».

— А теперь кого же?

— Никого... Все противные... Только болтают, а никто дела не делает, а женщина страдает...

Она опять спохватилась, что заболталась, и зажала рот рукою.

— Так Конт говорит, — снова продолжала Бармитинова, видимо, занятая другою мыслью, — что мужчины должны молиться каждый своей женщине, и каждый может сочинять свою молитву. «Молитва может быть перемешана отрывками из лучших поэтов»...

Марина опять не утерпела:

— Я бы из Некрасова, — вклеила она, и опять зажала рот, стараясь удержаться от смеха.

— Такие обряды Конт совершал в память своей Клотильды, говорит Милль, — продолжала Бармитинова, — эти молитвенные обряды должны занимать ежедневно два часа «при вставании, в середине рабочих часов и перед сном. Первая молитва, совершаемая на коленях, — самая продолжительная, вторая — самая краткая, и вечерняя должна быть доводима до того момента, когда сон сомкнет наши глаза, так чтоб ее влияние могло отразиться на наших грехах».

— Ну, вот и я всегда так, — вставила свое слово Марина, — когда мне мамаша велит прочесть все молитвы, я непременно засыпаю. И этому Конту твой Стожаров поклонялся? Так он просто дурачок... А я, напротив, ненавижу этого Конта, как всех французов... Что ж ты, Варя, скажешь своему Стожарову?

— Я ему скажу, что Конт требует *вечного постоянства* в чувстве: раз полюбил — и баста. Умер предмет страсти, тогда должно быть «вечное вдовство» — *le veuvage eternel*, потому что тот, кто пережил любимое существо, «должен непрерывно воздавать почитание тому, который, хотя объективно и умер, но живет еще субъективно».

— Что ж, это хорошо, Варя...

В это время на дворе послышался голос Стожарова, который кого-то спрашивал. Бармитинова вспыхнула. За нею вспыхнула и Марина.

— Противный сочинитель, — пробормотала она, и, в одно мгновение поцеловав Бармитинову, взбежала на крылечко, ведущее в квартиру учительницы.

— Куда ты? — кричала ей вслед Бармитинова.

— Домой, поджигать папаше другую половину бороды... Мамаша велела, — прибавила она, исчезая за дверью.

Бармитинова осталась одна. Сердце ее как бы остановилось на минуту, но потом опять заколотилось с утроенною силой, а на языке вертелась неотвязчивая фраза:

Пропала книга! Уж была
Совсем готова — вдруг пропала!

В то же мгновение отворилась калитка палисадника и на пороге показалась фигура Стожарова. Бармитинова встала и пошла к нему навстречу.

— Здравствуйте, Гамлет, — сказала она, улыбаясь и подавая ему руку.

— Здравствуйте, Офелия, — отвечал он, видимо, смущенный.

Она провела его к скамейке и просила садиться. Он повиновался как будто машинально, но молчал. Хозяйка чувствовала на себе всю тягость обязанности начать разговор, но это-то начало и затрудняло ее. Мысль ее перенеслась за десять лет назад, когда слово Стожарова было для нее законом, когда суровый студент читал ей строгие наставления за всякое неудачно сказанное слово, за все, что носило на себе печать «рутины», как он выражался, и это убийственное слово отнимало у нее всякую смелость, и она не знала, как начать. Он понял, кажется, ее затруднительное положение и сказал с улыбкой:

— Начнемте с того, на чем кончили десять лет назад.

Бармитинова вспомнила одну из его последних фраз: «Кто не работал для других, кто не сделал десять других счастливыми, тот подлец», и она спросила его, желая держаться пока на том неопределенном, шутиливом тоне, каким приветствовала его при встрече:

— Гамлет, честная ли девушка Офелия?..

— Нет, пусть Офелия спросит: честен ли Гамлет? — отвечал он, но потом вдруг заговорил искренним, сердечным тоном: — Варвара Григорьевна! Скажите мне откровенно, имею ли я право принимать участие в вашей судьбе, имею ли право спрашивать, что было с вами в продолжение этих десяти лет?

— Имеете, если сами не скажете, что потеряли это право... Вы создали меня такую, какою видите... Этого ли вы желали от русской девушки и оправдала ли я ваши ожидания? И желаете ли вы прочесть историю последних десяти лет моей жизни, мой скорбный лист?

Острой болью отозвались в сердце Стожарова последние слова девушки, и ему стало стыдно за себя, за то, что его юношеские доктрины, в которые он сам веровал, принесли столько страданий существу, которое, может быть, прошло бы по земле счастливо, беззаботно, без тяжелого раздумья, если б не встретилось с ним. Но ведь и он страдал во имя этих же доктрин, ведь и в его жизни лучшие годы съедены этим же раздумьем, исканием современного философского камня — прочного человеческого счастья и человеческой свободы. А он не жалеет о том, что не жил беззаботно, что не хотел брать у жизни только то, что она давала, как это делают маленькие натуры, а хотел взять *что ему* нужно и искал, упорно искал заколдованного камня, и если не нашел самого

камня, то, отыскивая его, нашел немало полезных металлов. Так должен ли он винить себя за то, что он, отняв у девушки счастье лягушки или паразита, дал ей один процент человеческого счастья и, пожалуй, девяносто девять процентов человеческих страданий?

Это мимолетное раздумье следовало тотчас за острой болью в сердце, и Стожаров решил, что он прав, потому что действовал честно, потому что, казалось ему, сделал паразита способным понимать и человеческое горе, и человеческое счастье.

— Скорбный лист... Зачем же скорбный лист? — говорил он медленно, как бы вслушиваясь и вникая в значение произносимых им слов. — Скорбный лист ведется только у постели больного... А вы... Вы были больны десять лет назад.

Она молчала. Совесть Стожарова между тем не молчала и задала ему новый вопрос. «Да имел ли я в самом деле право отнимать у нее то, что называют блаженным неведением!.. Но разве неведение блаженно? Оно глупо и пошло... Мало того, неведение — подлость». И на эти вопросы совести его рассудок отвечал: «Да, имел право, даже больше — это была моя обязанность как честного человека».

— Так вы много страдали? — спросил он, обращаясь к девушке.

— Да... много.

— И вы жалеете о том, что пошли той дорогой, которой идете, а не остались на той, на которой стояли неподвижно, полные блаженного неведения?

— Нет, я не жалею о блаженном неведении, — отвечала она, не поднимая головы, — да и блаженно ли оно, полно?

В глазах Стожарова блеснуло что-то сильное и гордое.

— Вы отвечаете на мою мысль, — сказал он.

— Как? Какими словами?

— Я того мнения, что неведение — не блаженно: неведение — это большое зло в человечестве.

— Да, вы правы, — сказала девушка, — и я не желала бы возврата к неведению... Оно глупо и жалко, я это поняла только тогда, когда мы расстались с вами, — сказала девушка.

— Да?.. В таком случае вы должны были быть счастливы тем, что мы расстались.

— Нет, тогда я не чувствовала счастья. Но я помнила ваши слова, и они спасли меня.

— Так вы вините меня за прошлое?

— За что же? Напротив, я жалею, что вы не руководили мной с самого детства: почва была бы восприимчивее, и брошенное вами доброе семя все бы взошло, а то иные семена упали на засохшую уже почву да на камни и выклеваны птицами. Но что вы делали эти десять лет? — спросила она, глядя ему в глаза.

— Тесал камни для здания будущности, в котором, впрочем, жить не буду.

— Отчего же?

— Не доживу. Медленно строится это здание. Притом до сих пор не решен вопрос, откуда начать его строить, сверху или снизу. Люди традиции утверждают, что надо начинать его строить сверху, с крыши, и оставить совсем без основания.

— Как же оно будет держаться?

— На воздухе.

— Так отчего ж вам самим не построить этого здания, без помощи людей традиции?

— Да мы так и порешили: мы построим свое здание, начав его с фундамента, куда положим цельный, грубый гранит — народ. А они там как хотят со своим зданием: рано ли, поздно ли, к нам же придут погреться и укрыться от дождя, когда их гнилое здание рухнет. Только долго это, вот что скучно.

— А знаете что? — спросила вдруг Бармитинова.

— Не знаю, Варвара Григорьевна, пока не скажете.

— Я ведь видела, как вы камни тесали.

— А! Понимаю, — сказал он, — вы читали, верно, то, что я печатал.

— Да, читала.

— Ну, это вы видели, значит, только пыль от тесания камней да негодные осколки: годные-то камни не всем показываются.

Девушка задумалась. Ее, видимо, занимала какая-то мысль, но она не высказывала ее. Взгляд ее серых лучистых глаз скользил иногда, как бы украдкой, то по лицу собеседника, то по точеной его голове, которую он обнажил, говоря с девушкой. Взгляд этот, видимо, изучал давно знакомое, но почти забытое лицо, и старался разгадать значение каждой складки и морщинки на этом лице, значение несколько кривой улыбки и значение всех теней и полутеней, пробежавших по этому лицу. Стожаров же большею частью, если не задумывался, смотрел прямо в лицо девушки и как будто спрашивал свою память: «То ли это лицо, которое

было тогда, и были ли тогда на этом лице эти тени и полутени, в которых теперь так много глубокого, таинственного смысла?»

— А знали ли вы, что это я писал то, что вы читали? — спросил он.

— Знала. Другого вас нет. Вообще, я следила за вами.

Наконец, она решилась на что-то: это сказал блеск ее глаз, сразу потемневших.

— А вы следили за мной, как обещали? — спросила она.

— Да, следил, пока это было можно... Мне писали, что вы бросили свет и его пустые, вредные приличия, отказались от выездов, которыми наполнена вся жизнь пошлых и бесполезных женщин, и стали учиться. Знал я, что вы вынесли через это много тяжелых сцен от матери, много гадких сплетен от прежних знакомых, но вы поставили на своем, и я был за вас покоен. Потом я оставил Россию. Что было дальше, я не знаю.

— Дальше начались еще худшие муки, но вместе с тем я уже начинала сознать, что победа останется на моей стороне, — говорила девушка, как бы припоминая далекий, смутный сон. — Мать моя скоро умерла, и это было большим ударом в моей жизни. Я осталась одна. Мои опекуны и родственники хотели опять втянуть меня в омут пошлой светской жизни, но я выдержала и эту борьбу. Мне говорили, что я должна танцевать, а я отвечала, что это удовольствие дикарей, и если бы я была бушменка, я бы танцевала, а для человека образованного я считаю это занятие неприличным и допускаю пляску только между пьяными. Мне говорили, что я должна наряжаться, а я отвечала, что наряды считаю воровством, и притом воровством самым подлым, потому что на наряды воруются деньги, зарабатываемые бедным человечеством с помощью пота и крови. Меня хотели выдать замуж за богатого кавалергарда, а я сказала жениху, что, если он своими руками выработает в месяц хоть пятьдесят рублей, тогда я позволю ему свататься. Он не мог выработать ничего. Но так как я ему понравилась, то он целый месяц сидел над переводами, потому что ничего другого не умел делать, а перевод все-таки оказался безграмотным, за него ему ничего не дали в артели переводчиц, и я отказала своему претенденту от дому.

— Мне об этом писали в Гейдельберг, — перебил ее Стожаров, — и я радовался за вас.

— Потом я стала совершеннолетняя, — продолжала Бармитинова, — опека надо мной кончилась, и я могла распола-

гать и собой, и своим имуществом. Я продала все лишние платья, все золотые и серебряные украшения, вещицы, безделушки, и тем дала нескольким бедным девушкам возможность учиться. Но я все еще продолжала жить не своим трудом, а тем, что досталось от матери. Это меня страшно мучило. Я не могла сказать себе самой, что не только сама себя кормлю, но даю есть и другим голодным. Я понимала, что я пока ничем не доказала, что я выше того кавалергарда, который не мог заработать пяти рублей в месяц. Я стала искать себе работы... О, сколько нравственных пыток я вынесла за это время, сколько унижений! И тут только я поняла, как тяжело бедным людям дается каждая корка хлеба, каждый лохмоть, которым они прикрывают свое тело. Я тут только пришла к убеждению, что тех людей, которые тратят на пустяки деньги, не их руками заработанные, а доставшиеся им от других, хотя бы от родителей, следует сажать в острог, ссылая в Сибирь, клеймить общественным позором. В этих убеждениях я дошла до крайности, до фанатической нетерпимости. Я страшно страдала. Но ведь я знала, что, не найдя работы, все же не буду голодна, потому что я искала работы с полным кошельком денег в кармане и с кучей кредитных билетов в моем старом бюро. Но каково же было тем, которые, не найдя работы, не должны есть, которым даже не в чем выйти, чтоб искать работы... Тут только я вполне оценила ваши святые слова, мой добрый учитель.

Она протянула Стожарову руку. Тот молча поцеловал ее.

— Это первая женская рука, которую я целую в жизни, — сказал он, — это первая честная рука, которую я знаю.

— О, теперь много таких рук, — отвечала Бармитинова, — наше время начинает смывать грязь с женской руки.

— Но еще долго не смоет, — заметил Стожаров, — грязь, которая налипала на эту руку веками, веками и смоется... Прежде пусть исчезнут все руки, до сих пор ничего не делавшие, кроме как плохо игравшие плохие вальсы да кадрили да вышивавшие пастушков с собачками, пусть могильный червь съест все мозги в головах как в женских, так и в мужских, которые никогда не задумывались над горькой участью людей голодных, холодных и обиженных; пусть истлеют их сердца, бившиеся только вследствие животных побуждений их животной природы и никогда не болевшие за других, тогда только вновь народившиеся поколения будут иметь право сказать, что смывается вековая грязь и с человеческих рук, и с человеческих мозгов, и с человеческих сердец, и тогда только люди найдут дорогу к счастью и свободе.

Когда он говорил это, лицо его было бледно и побледневшие губы судорожно подергивались. Видно было, что не раз приходилось ему произносить эти современные заклинания, и всякий раз он произносил их с болью, с раздражением. Гладко стриженные волосы на точеной голове как бы шевелились сами собой, а глаза глядели куда-то вдаль, как бы посылая заклинание далекому невидимому врагу.

— Полно... Успокойтесь, Григорий Борисович, — говорила ласково девушка. — Я рада, что могу вас видеть, что вы все такой же, каким я вас давно уважала.

Стожаров силился улыбнуться.

— Простите меня... Я забыл, что я не в Женеве, где я спорил до обмороков, когда мне доказывали, что Россия никогда не будет человеческою страною, что русский народ никогда не будет счастлив... Теперь мне нечего падать в обморок: я с вами, и вы лучшее доказательство того, что русская женщина еще не погибла совсем и что Россия не безнадежно больной человек.

Наконец, он совсем овладел собой и весело прибавил:

— А что, если б старинные люди увидели нас в эту минуту и узнали, что это говорят почти жених и невеста, не выдавшиеся десять лет, ведь они назвали бы нас помешанными, а полиция приняла бы нас за заговорщиков...

— Не бойтесь полиции, — прервала его Бармитинова, — наш становой ко мне равнодушен.

— Ну, так я в опасности тем более, потому что я его соперник... А ведь в самом деле, только у нас в России можно встретить, чтобы жених с невестой, после десятилетней разлуки, говорили об общественных язвах, о спасении народа.

— Правда... Но ведь язвы-то эти слишком больно мучают нас: нам, русским, не до любви пока... Однако, — спохватилась девушка, — что ж я вас чаем не напою? Ведь у нас в Варгунах тоже чай пьют, даже крестьяне.

— Вижу, вижу, как вы шагаете вперед восьмимильными шагами.

В это время в палисадник вбежал весь запыхавшийся и раскрасневшийся Кузя Ногин и, увидев «сочинителя», остановился как вкопанный.

— Ты что, мой милый? Тебе меня нужно? — спросила Бармитинова.

Мальчик переминался с ноги на ногу и, видимо, не решился заговорить при «сочинителе».

— Что же, говори... Уж не поспорил ли о чем с казенными?

— Нет, с дедушкой, — отвечал мальчик.

— О чем же? — спрашивала девушка ласково.

— О потопе да о радуге.

— Ну, что же? Из-за чего спор?

Мальчик взглянул косо на «сочинителя».

— Варвара Григорьевна! — заговорил он. — Была радуга до потопа?

— Была, — отвечала Бармитинова.

— А дедушка говорит, что не была... Он говорит, что Бог ее создал после потопы и сказал, что вот вам радуга, не бойтесь больше потопы.

— А ты что на это отвечал дедушке?

— Я сам сделал радугу, маленькую только... Взял в рот воды, стал спиной к солнцу, и брызнул: радуга и вышла... А дедушка все не верит... говорит, что и ковчег теперь видно на Аравате.

— Нет, дедушка ошибается: я вам это объясняла в классе. Замечаете, дети учат стариков, — сказала она Стожарову, улыбаясь.

Мальчик, не дожидаясь дальнейших объяснений, повернулся и убежал. Слышно было, как он бормотал, бегом убегаю по улице: «Дедушка ошибается... Варвара Григорьевна говорит: дедушка ошибается.... Дети учат стариков»...

— Слышите, бормочет: «Дети учат стариков»... Какой славный ребенок, а все благодаря вам! — сказал Стожаров.

Не успел он кончить, как на крыльцо, ведущее в палисадник из квартиры Бармитиновой, стремглав влетела Марина и, запыхавшись, кричала, не видя, что у хозяйки гость:

— Варя! Варя! Не говорила ли я тебе, что все сочинители противные хвастунишки...

Увидев Стожарова, она точно окаменела на месте, а потом присела, вся сконфуженная и раскрасневшаяся.

— Ну, иди сюда... Что случилось?.. Иди же, сказанного не воротить, — говорила, смеясь, Бармитинова.

Марина робко сошла с крыльца.

— А вот и сочинитель налицо, — продолжала Бармитинова, — рекомендую — Григорий Борисович Стожаров, а это моя Марина — только не Мнишек, — заклятый враг сочинителей.

— Чем же они провинились перед вами, мадемуазель? — спрашивал Стожаров ласково и обращаясь к Марине, как к ребенку.

Марина поглядела на Бармитинову и ничего не отвечала.

— Что же случилось? — спрашивала Бармитинова, — ты влетела точно на пожар... Или еще чашку разбила?

— Нет, Варя, — отвечала она с какой-то неловкостью, — сейчас папаша получил «Отечественные Записки» за июль, и там я прочла стихи какой-то Ольги Лепко... Женщина, Варя! И лицо Марины просияло, глаза заискрились.

— Что ж из того, что «женщина»?

— Да как же, Варя? Стихи называются «женский вопрос». Я их сейчас же почти все выучила наизусть... И вообрази, Варя, там говорится, что бедный ребенок, «женский вопрос», был брошен на улице и плакал, плакал! Никто не хотел взять ребенка, все отворачивались от него... Его поднял какой-то публицист и свез «в литературный приют»... Литераторы, — и Марина косо посмотрела на Стожарова, — сначала лелеяли ребенка на руках, но часто водили в баню, где его часто чесали, стригли, мыли, а из бани он возвращался «в кровь исцарапанный чьей-то рукой»... А потом ребенок умер, понимаешь, Варя, умер!.. Ольга Лепко говорит:

Жажда простора его доконала.

— Душно мне, воздуху, воздуху мало! —

Мальчик кричал перед смертью своей,

Тихо кончаясь в объятьях друзей.

Скоро друзья о малютке забыли,

И не видать никого на могиле.

Вот они какие, Варя, — заключила она, едва переводя дух и косясь на Стожарова.

— Нет, мадемуазель, вы ошибаетесь: не они, а оне, — сказал Стожаров, улыбаясь, — если б оне были похожи на они, или если б оне были все равно, что они (а это по правилам грамматики невозможно), то бедный ребенок, может быть, еще и не умер бы, как не умер его старший братец, «мужской вопрос»... Не так ли, Варвара Григорьевна?..

XII

Прошло несколько дней после посещения Стожаровым и Серпоровым земской школы. Стожаров отлучился из Варгунов, чтобы посетить некоторые деревни для определения «крестьянского бюджета», равно для определения размера крестьянских заработков и сопоставления их с размерами казенных и земских сборов, и в то же время хотел завернуть в губернский город, чтобы захватить там, для своих соображе-

ний, отчеты земских управ, и оттуда опять воротиться в Варгуны.

День был пасмурный, такой, какие бывают иногда, когда бессильное лето тщетно меняется своими растраченными силами с осенью, которая все более и более, как брюзгливая, но характерная старуха, забирает в свои руки хозяйство дома и на всех наводит томящую тоску и уныние. Солнце выглядывает из облаков, пошлет свою теплоту и на широкое поле, и на поблеклую зелень леса, и на смурую Волгу, и опять спрячется, и бессильная теплота его не живет уже ни поля, ни поблеклой зелени леса, ни смурой поверхности Волги. Зашелестит несмелый, какой-то порывчатый ветерок соломенной, дырявою крышею мужика-горемыки, и стихнет, и опять зашуршит соломой, как бы говоря голосом человеческим: «Подожди, бедная избенка, я нанесу на тебя дождя и холода, я промочу тебя до матицы, заморожу морозом цепким, побелю тебя сединою снежною и засыплю вьюгою — метелями»... Уцепится черная крикливая ворона своими цепкими, чешуйчатыми лапками за конек высокого дома, прокаркает как бы на ветер и как бы клича, чтоб воротилось убегающее лето, и неугомонный ветер подбьет ей холоду под крылья, и ворона летит на крест колокольни, и каркает там, глядя куда-то далеко, как бы выискивая с высоты своими зоркими глазами, куда-то прячется тепло и солнце, куда-то девалось приволье весны со свежеею зеленью и каркающим в зелени вороньем, с теплом и молодыми воронятами.

Бармигинова сидит одна в своей квартире, и глаза ее падают то на развернутую перед ней книгу, то на серое небо, клочок которого виднеется в окне и своею смуростью наводит пушную тоску на сердце.

«У этих людей дело прежде чувства, другие ближе себя, не я ближе чем я, чужая рубашка ближе к их телу», — говорила про себя девушка, отрываясь глазами и мыслью и от книги, и от клочка смурого неба.

«Чужая рубашка ближе к телу — разве, впрочем, не такой должен быть девиз современного человека?» — хотелось думать ей это, но почему-то думалось другое, и губы ее шептали: «Бедные, бедные женщины! У нас никогда не достанет этой черствости сердца, этой великости в самозабвении, которое дает такую великость самому делу мужчины...»

А ветерок все силится запеть свою осеннюю песенку, чтобы навести большую тоску на людей со слабою волею, не имеющих внутри себя своего собственного лета, своего жаркого солнца и зелени в живой мысли, в порывистом на дело

сердце. А солнце все украдкой выглядывает из-за туч, и опять прячется, а ворона все каркает на брюзгливую осень, Волга все мхурится и с ворчанием бьется о сыпучие берега.

На дворе зазвучал мелодичный голос Марины, и Бармитинова стала ожидать ее. Марина вошла тихо, с какою-то несвойственной ей солидностью. Глаза ее, видимо, были заплаканы, улыбка не освещала ее живого личика.

— Ты что, Мариночка, такая пасмурная, точно это серое немецкое небо? — спросила ее Бармитинова.

— Я вчера и сегодня много плакала, милая, — отвечала та грустно.

— Что, разве прочитала что-нибудь о женском университете или завидуешь Кашеваровой, или, может быть, целый сервис разбила?

— Нет, Варя, я о Мите плакала.

— А что, разве умер, бедный? — спросила Бармитинова с участием.

— Да уж лучше бы, кажется, умер, чем так мучиться...

— Что-нибудь получили о нем?

— Нет... А вчера папаша разбирал его книги и бумаги и нашел Митины записки, вроде исповеди перед самим собой... Ах, Варя, Варя! Я чуть сама не помешалась, когда папаша читал его исповедь.

— Какая же это исповедь, дружочек?

— Я сама не знаю, что это такое: какие-то записки о себе самом, о том, что он видел, что думал, как страдал... Так вот и видится, так и чувствуется, как он терял рассудок, как он сам брал свой мозг руками и бросал, ему чудилось, под колеса вагона.

— Так это он писал уж во время помешательства или до помешательства?

— Да в записках, кажется, находится весь процесс его постепенного помешательства... Тут есть и то, как он летал, как прилетала к нему птица.

— Так и это есть?

— Есть Варя... Во всех его словах, однако, так много правды, что я бы, кажется, или убила сама себя, или с ума бы тоже сошла, если бы так все чувствовала, как он чувствовал... Точно горячий свинец его слова ложатся на сердце... Нет, Варя, он не сумасшедший, он слишком несчастлив только, он слишком болезненно все чувствовал... Знаешь, Варя, он говорит, что сам вынимал из себя сердце и топтал его ногами, а оно билось, а потом эта птица его клевала...

— Но ведь уж в самых этих словах видна его помешанность, ненормальность рассудка и воли, — говорила Бармитинова, вставая и привлекая к себе Марину, — садись около меня, милая, ты так встревожена, ты так восприимчива, вся в брата.

Марина села, но по временам вздрагивала всем телом.

— Вон какая ты, бедненькая! — говорила ей ласково Бармитинова, обнимая вздрагивавшую девушку, — восприимчивость-то у тебя с братом, видно, одинаковая.

— Нет, Варя, я понимаю его, Митю... Вот ты не слышишь отсюда, как на кладбище могилу кому-то копают, а я слышу шорох лопаты и звук от падения земли в могилу...

— Что ты, Мариночка, опомнись, ты расстроена.

— Нет, я видела сегодня, как там рыли могилу, и теперь все это слышу... Что ж мне делать!.. Я понимаю и Митю, как он бросал свою голову на рельсы под колеса вагонов.

Бармитинова обняла ее и привлекла к себе.

— Полно, полно, — шептала она, — ты опасная девочка, твоя нервность заразительна.

Марина с жаром отвечала на ласки Бармитиновой и расплакалась, как ребенок.

— Вот они, — говорила она сквозь слезы, вынимая из кармана сшитые в тетрадку листики почтовой бумаги и показывая их Бармитиновой, — я взяла показать тебе, Варя... Папаша хочет послать их доктору, а я не хочу... Жаль... Мы ведь с Митей были так дружны, он так любил меня, переписывался со мной и всегда называл меня товарищем по кафедре в будущем женском университете.

Бармитинова взяла тетрадку и долго молча перелистывала ее...

— Как тут не сойти с ума, — говорила она, задумчиво покачивая головой, — когда он не спал по несколько ночей сряду и работал до галлюцинаций, до обмороков? Вот он тут пишет, что остановил часы, чтобы они не напоминали ему о времени и чтоб ему хоть ошибкой могло казаться, что «время остановилось и что ему не придется его мерить ни днями, ни ночами».

— Нет, Варя, это еще не все, — со своей стороны, говорила Марина, — мне он сам признавался, что еще студентом он иногда отдавал все свои деньги бедным товарищам, а потом голодал по несколько дней, чтоб самому испытать то, что испытывают многие.

— Это бы еще ничего, — замечала Бармитинова, перелистывая тетрадку, — но у него, как видно, до болезненности

была развита фантазия, и он, может быть, действительно видел то, чего другие не видят, и чувствовал то, чего менее впечатлительное сердце не может чувствовать... Вот и ты отчасти такая, вся в брата. Я понимаю великих фантастов в истории человечества: на основании своих галлюцинаций они делали великие дела, ставили вверх дном и разрушали все, что до них создавали тысячи и миллионы людей. Все великие люди, все гении, по нашему обыденному аршину — галлюцинаторы, сумасшедшие люди: эти сумасшедшие действительно видели то, чего никто другой не видел. Разве не в припадках падучей болезни и не в галлюцинации Магомет видел то, на чем основал целую религию, последователей которой едва ли не больше, чем последователей Христа?

— Да, Варя! Он был действительно припадочный.

— А Лютер, заработавшийся в монастырской келье над переводом Библии тоже до обмороков, разве не в галлюцинации бросал чернильницей в черта, и все-таки весь средний мир, и его верования, и его порядки, при своем сумасшествии, перевернул наизнанку, хоть и, смешно сказать, бросал в черта чернильницей.

— Чернильное пятно, говорят, и теперь показывают на стене.

— Показывают, оно цело. А Лойола разве не такой же был фантаст и галлюцинатор? Разве своим сумасшествием он не задержал на целые столетия падение римской церкви? А разве Колумб не такой же был сумасшедший, который видел то, чего другие не видели: за тысячи верст разглядел землю, о которой никто до него не знал, и упрямо шел ее отыскивать.

— Бедный, бедный Митя! — говорила Марина, внимательно слушая свою подругу. — Зачем же он погиб?

— А затем, что видел и чувствовал то, чего мы своими слепыми глазами и грубым сердцем ни видеть, ни чувствовать не можем. Гениальность всегда граничит с сумасшествием или с фанатизмом. История указывает на многих великих людей, которые или начали свои великие дела с сумасшествия, или кончили сумасшествием.

— Бедные! Как их жаль, — почти шепотом говорила Марина, — ведь и Гейне, больной, говорят, с ума сошел, и Гоголь умер почти сумасшедшим, даже о Писареве я читала, что и он, после университета, одно время был сумасшедшим.

— Правда, и Огюст Конт сходил с ума лет в тридцать... Для великих сил, для великих умов и великих чувств узка,

как видно, человеческая рамка, и великие силы ломают эту рамку, выходят за пределы человеческой возможности, и нередко погибают сами, или все человечество заставляют плясать по своей дудке.

— Так великие люди все сумасшедшие, Варя?

— Все сумасшедшие с нашей мещанской точки зрения.

— Как это странно.

— Да, для мещанского ума странно.

— А разве, Варя, есть мещанский ум и купеческий?

— Мещанский есть, а купеческого и дворянского нет.

— Что ж это за мещанский ум?

— Знаешь мещанское счастье?

— Знаю — узенькое, пошленькое, тошненькое...

— Верно... ну, и ум мещанский — это умишко узенький, пошленький, тошненький, всегда благонамеренный и всегда осторожный, как у нашего судебного следователя.

Марина рассмеялась.

— Меня, однако, интересует эта тетрадка, — сказала Бармитинова, не выпуская ее из рук, — я бы хотела ее прочитать. Ты мне позволишь оставить ее у себя на время, Мариночка?

— Нет, милая, я боюсь, чтоб ее мамаша не спросила. А если хочешь, прочти ее при мне вслух, я опять охотно прослушаю, хоть, может быть, и разревусь.

— Ну, так отлично: я буду читать ее вслух, а ты слушай. Или ты читай.

— Нет, читай ты, Варя.

— Я не знаю, где у нее и начало, — говорила Бармитинова, развертывая тетрадку.

— Не это ли, — показывала Марина.

Бармитинова, сев в глубину дивана, начала читать:

«Сижу ли я с открытыми глазами, закрою ли их — передо мной все книги, книги. И огромные фолианты, и маленькие томики, книги в старинных с золотом переплетах и в сухой, пожелтевшей коже встают передо мною и не дают мне покоя, не дают забыться ни сном, ни думой. И вижу я в этих книгах давно умерших людей, мысль которых осталась здесь, на земле, тогда как самих мертвецов давно положили в могилы, и давно кости этих мертвецов гниют по кладбищам всего мира: и в монастырских склепах, и в обширной могиле миллионов умерших, на кладбище Лашез, и по уединенным, всеми забытым кладбищам давно не существующих городов, и в уединенных, никому неведомых могилах, и у нас, на скромном Волковом кладбище, на Смоленском.

Вот что осталось после этих людей, живших сердцем и мыслью, страдавших, бившихся за счастье человечества... Их мысль и чувство приковали к пожелтевшим от времени листкам бумаги, их сердце заковали в кожаные переплеты и поставили на полки в публичной библиотеке, и вот я сейчас был там, и мне с полок снимали мертвецов, и я дерзко заглядывал им в глаза, которые уже не блеснут живою мыслью, я тревожил их мозг, их сердце, я качал иногда укоризненно головой, читая то, что, может быть, они писали своею кровью, я смеялся над их устарелыми идеями, и они не могли мне ничего отвечать: они лежат в гробах, а сердцем их и мыслью распоряжаются дежурные в публичной библиотеке. Таскают солдаты, как дрова, на своих плечах, ставят на полки, нумеруют, вносят в каталоги.

Приходит писарь из комиссариата, и вижу, записывает на требовательном билете: «Сочинения Добролюбова».

Вот и он, думаю, хочет своей писарской рукой трепать давно, истлевшее сердце покойника, рыться у него под черепом, давить своею грубою рукою самые больные язвы умершего...

Что ж! Пусть читает, поучается... Пусть слушает, как тот из могилы говорит: «Воздуху, воздуху, воздуху больше!» А воздуху мало, а легкие все болят, а кругом поголовная спячка, воздух все тяжелее и тяжелее становится, и он задохся, не вынес, бросил на полки публичной библиотеки часть своего сердца, часть своих дум и ушел в могилу...

А вот юноша набрал целую гору книг, занял половину стола и сидит не разгибаясь над этими книгами целые дни и вечера, пока не ударит звонок, и матовый свет лампы падает на матово-бледное наклоненное лицо юноши, и бледно, сухо это молодое лицо, как бледны эти белые сухие листы книг, которые он читает неустанно, из которых выписывает... И кашляет этот юноша по временам... Дни проходят, я все замечаю за ним: лицо его все матовее становится...

Скоро, думается мне, и твое сердце поставят на полку, запишут в каталог, и будет твое сердце с полки на полку таскать и солдат, и дежурный, и писарь, и студент, а ты будешь лежать на Волковом, и не будет освещать тебя матовый свет лампы, и не будешь ты вздрагивать при звоне этого колокольчика.

А вот и девушка пришла сюда, где на полках стоят человеческие сердца и головы... Что тебя загнало сюда, на это кладбище человеческой мысли? Нужда, голод, боязнь падения?

Работай, вон и писарь работает... Такое время настало.

А бледный юноша все кашляет над горою книг, а объем записанного им все увеличивается... Скоро, скоро поставят тебя на полку, за проволочную решетку... А может быть, и не поставят: не успеешь оставить на почетном кладбище твою голову и часть твоего сердца, а попадешь на Волковское... Работай же скорей, не успеешь! Пусть надрывается твоя молодая грудь, ведь и у них у всех надрывалась, и у меня надрывается.

Там, в публичной библиотеке, сегодня меня мучили грезы наяву... Тихо, тихо кругом, только слышен шелест листов, шарканье ног по половикам, кашель бледного юноши, иногда шепот да глухой гром экипажей на Невском, звонки вагонов... А тут тихо, как прилично на почетном кладбище... Зачем это дежурный так звякает медными марками по прилавку? Зачем нарушать тишину святого места, великого кладбища?..

Заработался я сегодня там, на общечеловеческом кладбище... Смешно и жалко! Тоже хочу скорее попасть в шкаф, на полку, за проволочную решетку, чтоб и меня таскал по столу писарь, чтобы и надо мной кашлял бледный юноша, чтобы и над моим сердцем сидела наклоненная головка той девушки, что прошуршала платьем, уходя в женское отделение...

Я забылся над книгой, и слышу голоса с полок, словно тихий шепот мертвецов из могил: «Зачем вы выставили напоказ наши сердца и головы? Какое вам дело до того, как мы думали, что мы чувствовали, как мы страдали и как страдалось в наше время? Наше время прошло и не воротится, как и мы не воротимся к вам... Вы не можете и не хотите думать нашей думой, страдать нашим страданием... Вы смеетесь над нами: вы много нового узнали, чего не знали мы. Нам стыдно пред вами: мы не могли вас сделать счастливыми, как ни бились, и вы вправе презирать нас, смеяться над нами, проклинать нас... Мы ваши отцы, деды, предки — вы вправе не уважать нас: мы жили в иное время, у нас были иные птицы, и наши птицы пели иные песни... Но ведь и мы работали, и мы хотели и себе и вам счастья, но мы жили в худшее время: нас за слово на кострах жгли, в цепях морили, а мы все-таки работали, все искали счастья, добра, свободы. Не смейтесь же над нами: вы живете в иное время, и вас не жгут за слово, вам дают только предостережения, а нас без предостережения хватали и сажали...

Опять дежурный библиотекарь, словно лавочник, неосторожно бросает на прилавок медную марку, и я вздрагиваю, и бледный юноша вздрагивает, и солдат, что заснул у двери, просыпается... Его голову не поставят на полку, над ним не будут через сотни лет смеяться другие солдаты, не будут трогать его сердца ни студенческие, ни писарские, ни библиотекарские руки...

Снова тихо кругом, снова я забываюсь над книгой, и снова шепот на полках: «Не трогайте меня, снимите меня с полки, выпустите из-за проволочной решетки, отпустите меня на мое кладбище, к моим костям... Они давно высохли под плитой, на кладбище в Невской лавре... Отпустите меня, не заглядывайте в мое сердце, под мой череп... Мне стыдно, мне хотелось бы сжечь мою печатную память обо мне, о моих делах... Я писал не по убеждению, я лгал, доносил на честных людей из-за куска хлеба, а потом из-за креста, из-за ленты... Зачем же вы меня выставили на позор, на оскорбления, на поругание! Меня простили современники, все, умирая, простили меня, церковь простила, она за меня, за мою память молилась, а вы приковали меня к позорному столбу, вы плюете на меня, вы будете вечно плевать на меня... Отпустите меня, сожгите мою память, пусть она не будет «вечною памятью» позора... Я был голоден, когда написал первое подлое слово, мои ноги зябли в моей холодной конуре, мои пальцы примерзали к карандашу, которым я писал мое первое подлое слово... Меня не накормили, меня не согрели богатые и сильные, они только сказали: напиши злое, нечестное слово, и будешь сыт, мы истопим твою печь, накормим твоих детей... И я написал злое, нечестное слово... Ваше время лучше, у вас больше тепла и света...

Больше!.. Где же больше?.. Опять звякает дежурный своею маркою... И на кладбище нет покоя, и на кладбище не дают прислушаться к тому, что говорят мертвецы... Это звяканье помешало мне дослушать, что говорил шепот с полки... Я пожалуюсь Бычкову на дежурного...»

— Кто этот Бычков, Варя? — спросила вдруг Марина, прерывая чтение Бармитиновой.

— Не знаю, милая: должно быть, начальник публичной библиотеки.

— Ну, читай дальше.

Бармитинова провела рукой по глазам, точно сияясь стряхнуть с себя какие-то грезы, и продолжала чтение:

«Марки чаще и чаще звякают о прилавок, посетители один за другим расходятся, а с Невского все доносится глухой гул от экипажей...

Я читаю, и меня опять мучают грезы, опять обступают меня тени умерших, и я слышу стоны на полках: «Вы скоро уйдете отсюда, а нас оставите во мраке, на всю ночь, в этом великом склепе... Мы устали стоять здесь, дайте и нам воздуха, которым вы дышите, дайте и нам свободы, которой вы наслаждаетесь... Мы жили в другое время, мы не знали свободы, а все же работали для вас... Мы дали вам все, что вы имеете: и знания, и свободу слова, и печать. Мы освободили илотов от греческой неволи, мы освободили негров, когда наши враги, люди власти, продавали их, как убойную скотину. Мы ратовали против невежества средних веков, против деспотизма нового времени. Мы провели для вас железные дороги, дали вам телеграфы, научили вас отстаивать свою свободу словом... Все это мы сделали, все мы вам отдали, и в могилу взяли с собой только саваны, а вы и могилы наши разрушаете, говорите, что мы ничего не сделали для вас, что вам все так же приходится плакать и голодать, как при нас люди плакали и голодали... Зачем же вы приходите сюда смеяться над нами? Это мы сделали для вас дом науки, мы наполнили его всем тем, что лучшего оставило вам после себя человечество... Что же лучшего у вас есть, как не то, что мы вам оставили? Уничтожьте все, что мы для вас сделали, сожгите все книги, разрушьте все наши здания, наши фабрики, наши дороги, и, народив детей, не учите их тому, чему мы вас учили, и они будут дикими зверями, они будут питаться друг другом, они, если вы их не научите языку, который вы от нас наследовали, будут выть по-звериному... Мы работали для вас, мы не спали, и вам теперь легче живется, и вы умнее нас, а ваши дети будут умнее вас... Что же у вас есть лучше того, что мы вам оставили?»... Опять звяканье контрамарок!..

Лучше того, что вы нам оставили, у нас будет то, чего мы сами добьемся ли?

Добьемся!..

Вот другая девушка уходит. Какое прекрасное, невинное, задумчивое лицо. Что она читала? Над чем работала? И ее выгнала сюда нужда, боязнь голода, зависимости? А с кем она пойдет отсюда в эту темень? Бедная, беззащитная красота! Красота, как великий капитал, требует крепкой охраны, прочных замков. Красота, как золото, — великий соблазн, и слабовольный человек, при виде брошенного золота, и не желая сделать преступление, делает его, как и при виде красоты он близок к преступлению...

Работайте, бедные, прекрасные и обиженные природою женщины! Не спите ночи, не жалеете красоты: она-то и дер-

жала вас в рабстве, в цепях... Вас так мало на этих полках, тогда как дети ваши, братья, мужья — тут, на этих полках... Работайте, работайте!..

Утром я работал в том отделении, где бюст Вольтера и портрет кота царевича Алексея Михайловича. Зачем он сюда попал? Этот кот мне мешал работать. Так и чудилось мне, что он говорит: «Как ничтожна человеческая слава!.. Нет у вас для памяти потомства портретов лучших ваших деятелей, а мой портрет вы храните, и будете долго хранить, и будете долго унижать моим портретом память великих людей, которых вы забудете, а меня не забудете».

«отчего нет портретов мышей, которых съедал этот кот? А портреты наставников Алексея Михайловича целы?.. Смешно!.. Новгородцы долго хранили палицу Перуна, и этой палицей сами себя убивали. Жалкие, жалкие люди!»

— Какой это кот, Варя? — спрашивала Марина, прерывая чтение подруги.

— Кот маленького царевича Алексея Михайловича, вероятно, портрет его хранится в публичной библиотеке, — отвечала Бармитинова.

— Смешно... Чем занимаются ученые люди... Вот и я сниму портрет со своего Дарвина.

— С какого Дарвина?

— Мой кот... Его папаша назвал Дарвином, потому что он пожирает мышей в борьбе за существование.

Бармитинова улыбнулась на это и продолжала читать:

«Я перестану ходить в публичную библиотеку. Там меня начинают мучить грезы и видения. Но грезы ли это? Не я ли сам, не моя ли мысль выводит из гробов все эти тени? Я начинаю не доверять моему собственному воображению, потому что оно способно убить мой рассудок.

Когда я зажал уши, чтоб не слышать шепота с полок, чтоб жалобы мертвецов не мешали мне работать и думать, ко мне на плечо кто-то положил руку. Я вздрогнул, оглянулся, но никого не было. Я опять стал думать, и слышу шепот у моего уха:

— Зачем вы меня забыли, когда помните кота Алексея Михайловича?

— А кто ты?

— Я слепой Иринарх Введенский.

— Но ты давно умер.

— Да, давно умер, но не так давно, чтобы можно было меня забыть, а вы меня забыли.

— Зачем же ты пришел сюда?

— Я хочу знать, что случилось с моими учениками, где мои ученики.

— А кто твои ученики?

Он стал мне их называть по именам.

— Этот в Сибири, — говорю я.

— Какой был даровитый юноша, как я много ждал от него... А этот?

— Умер где-то.

— А этот?

— Умер здесь, в Петербурге.

— Все умерли?

— Нет, живут некоторые, но замолчали... Теперь родились новые силы и нового слова от них ждет Россия.

— А меня забыли и моих учеников забываете?

— Забываем... Мы помним только то, что действует: мертвецов мы забываем, нам некогда помнить то, что далеко от нас.

— А что сделали ваши новые силы?

— Спроси у народа, спроси у страны, прислушайся твоим мертвым ухом ко вздоху народа, ко вздоху всей страны, так ли он глубок и тяжел, как был прежде?

— Мое мертвое ухо слышит глубокие вздохи...

Опять бряканье медной контрамарки — мои грезы отлетели от меня...

И снова тихо кругом, и снова я слышу только шорох бумаги, изредка вздох, скрип пера... А там опять шепот на полках: «Работайте, работайте, неустанно работайте! Не верьте отживающим поколениям, которые говорят, что вредна ваша работа, что бесполезно ваше надрывание груди над этою работою, что, сидя над бумагою и книгою, не осушите вы слез, невидимых вам, которые льются у людей и во мраке ночи, и при блеске солнца, что не заглушить вам глубокого вздоха чужой боли и чужого горя... Не верьте — и работайте: осушатся этою работою людские слезы, заглушатся глубокие вздохи чужой боли и чужого горя... Пускай кругом вас царствует и злоба, и равнодушие, и глубокий сон людской, пусть ненавидят вас за вашу работу, смеются над вами, преследуют вас, а вы все работайте, не разгибаясь работайте!.. Работою вы победите мир»...

И мы работаем под этот шепот, и бледный юноша не разгибаясь работает, и писарь работает, и офицер работает, и девушка работает... А чуткое ухо старается прислушаться к звукам другой жизни — и слышится веселый смех людской, доносятся отголоски животной жизни человека не работаю-

щего, не думающего, и отголоски эти заглушаются людскими стонами и хочется спросить, чего больше: людского смеха или людских стонов?..»

Бармитинова прервала чтение и сидела неподвижно, задумчиво, Марина сидела с ней рядом, прижавшись головой к ее плечу и как бы продолжая слушать умолкнувшее чтение.

— Да, это болезнь нашего времени, это же его и сила, — сказала Бармитинова, точно отвечая на свою собственную мысль, — и неужели же умственный труд не победит мир? Неужели же слово человеческое не спасет всего человечества?

— Как страшно, Варя! А если и я с ума сойду?

— Не бойся. Я не думаю, чтоб тебя ожидали такие же страдания, какие довели твоего брата до настоящего его нравственного состояния.

— Бедный Митя!

Бармитинова встала, подошла к окну, как бы желая отогнать от себя давившую ее мысль, но ни смурое небо, ни грязно-серая поверхность Волги не могли дать живительных впечатлений.

— Нет, лучше опять читать, — сказала она, отворачиваясь от окна, — ни там, ни тут не весело.

— И мне, Варя, скучно.

Слезы брызнули из глаз девушки, и она, припав головой к груди Бармитиновой, говорила: «Отчего же так гадко жить людям? И от кого это зависит, Варя, чтоб было лучше?»

— От людей же, милая... Ну, полно, перестань плакать...

— Читай, читай, Варя, тогда я, может быть, буду думать о Мите, когда он еще не был... больной.

Бармитинова опять села в угол дивана и, положив к себе на колени голову Марины и глядя рукою ее волосы, начала снова читать:

«Работать, работать, работать!.. Какое злое, бессмысленное слово... Разве люди мало работали, разве не вся жизнь человечества — бесконечная, семидневная барщина! А что оно выработало, чем себя обеспечило от случайностей нужды, голода? Хочет заработать оброк какому-то невидимому, жестокому помещику, а оброк все не заработан, а недоимка все растет, а барщина все прибавляется.

Разве мало поработало человечество на своем веку с тех пор, как оно очутилось в руках у помещика — нужды и насилия? Разве египтяне не миллионы рабочих голов положили в основание своих пирамид, разве не вырывали они в пустыне глубоких морей и не наполняли их водою по прихоти своих повелителей? Разве не гибли тысячами эти вечные рабочие,

а чего добились? Добились того, что еще крепче железные цепи въедались в их рабочие руки и ноги. Разве в Вавилоне мало работали? А что стало из их работы, занесенной песком вместе с сухими костями рабочих? А мало ли работали римляне, и что вышло из их работы?

И муравьи работают все лето неустанно, а добились ли они своею работою хоть того, чтоб человек и зверь не давили их своею ногою?

И Гудова швея работала неустанно, работала над бесконечною работою до слепоты, и теперь продолжает работать ее дочь и внучка, миллионы швей работают, и слепнут, не заработав себе даже покойной постели на случай смертной болезни. И работает мужик от зари до зари, и печется на солнце его разбитая работою спина, и коченеют руки, когда он в бесконечную зимнюю ночь тащится за обозом и помогает везти чужой хлеб своей заработавшейся пегашке, работает много, не покладая рук, и все не выбьется из недоимки, умирает в числе недоимочных и детей рождает недоимочных. А дети и внуки, и правнуки, в свою очередь, будут работать, работать, работать...

Но есть и такие, которые не работают, но на которых работают эти миллионы... И неужели одни будут вечно работать на других, как до сих пор работали?

И мы все работаем, и этот бледный юноша работает, и эта девушка работает: красота работает на безобразие, гений работает на идиота, миллионы работают на сотни...

Но когда же благодарною будет наша бесконечная работа?

Работа... Подлое слово, позорное слово, и глубоко обижен ею этимологический, логический и исторический смысл: из одного корня с *рабом* выросла *работа*.

Неужели же и *наша* работа бесполезна, и работа бледного юноши бесполезна?

Бармитинова остановилась. Марина спала у нее на коленях.

— Бедная девочка... Наплакалась, заснула...

XIII

Бармитинова не желала потревожить сон своей любимцы и потому, перестав читать, продолжала сидеть неподвижно, иногда поглядывая на клочок серого неба, видневшегося в окне.

Чтение, само собою разумеется, не могло подействовать на нее успокоительно, а, напротив, настраивало воображение так безотрадно, что ей самой хотелось плакать. В ее голове засел гвоздем последний вопрос сумасшедшего: «Неужели же и наша работа бесполезна?» — и, как от кошмара, она хотела отделаться от этого вопроса, но он засел где-то там, глубоко, в нервах, в мозгу, и ей хотелось отвечать отрицанием на этот безотрадный вопрос, но сомнение брало верх, и вопрос снова мучил ее, мучил, как горячая греза. «Может быть, Стожаров разрешил бы этот вопрос», — думалось ей, но Стожарова не было с ней, и ей хотелось бы убежать от этого вопроса или найти ответ на него в ее прежних верованиях.

Ей стало страшно. Ей вдруг представилось, что в этот ужасный нервный век, когда до такой напряженности дошла человеческая мысль, так легко сойти с ума, и что ее самое может вдруг покинуть воля и рассудок, что Стожаров найдет ее безумною... Как гальванический ток пробежала по ней эта мысль, и она вздрогнула.

Марина проснулась.

— Где я? Что со мной? — говорила девушка с испугом.

— Ты у меня, у Вари, на коленях... Ты уснула, бедненькая девочка.

— Да, Варя... А мне казалось, я слушаю... Я видела брата...

— Во сне?

— Нет, кажется, наяву... Он приходил сюда и говорил: «Работайте, работайте»... А когда ты, Варя, сказала ему, что наша работа бесполезна, он сказал: «Надо знать, какая работа»... А потом он улетел, как птица.

— Ты все это, милая, во сне, видела.

— Так разве не все равно, что во сне, что наяву? Ведь я же видела.

— По-моему, не все равно.

— А по-моему, все равно... Когда я о чем-нибудь плачу во сне, так я плачу и после, когда проснусь, непременно доплачу. За это меня мамаша всегда бранит. Вчера я видела во сне, что тебя противный Стожаров увез с собою. Я проснулась, и ну плакать. «Ты о чем?» — спрашивает мамаша, а я не могу удержаться — плачу, плачу. «Верно, во сне что-нибудь видела, — говорит мамаша, — вот полоумная!» А у меня слезы так и льются. Уехала, говорю, и не приедет. А когда выплакалась, легче стало.

— Какой ты, Мариночка, ребенок... Видно, что у тебя не было действительного горя.

— Как не было, Варя? Мало я плачу! Да разве не все равно, какое бы ни было горе: боль ведь одна, и слезы те же.

— Ты права, впрочем... Действительно ли твой брат говорил в публичной библиотеке с умершим Иринархом Введенским или нет, действительно ли к нему летает какая-то птица или нет — для него все равно: он убежден, что говорил с Введенским, он видит птицу, он летает, а этого достаточно было, чтоб страдать и сойти с ума.

Между тем ветер на дворе крепчал все более и более, поверхность Волги из серой превращалась в бурую с беловатыми гривами валов, и тучи гнало по небу от южной половины горизонта к северной с такою быстротою, как будто они старались скорее и без оглядки перебежать это смурое небо, такое печальное и неприветливое, чтоб скрыться за такими же смурыми и неприветливыми горами. Растерявшиеся галки металась по небу и против, и за ветром, как будто и для них была не любя эта картина и они выискивали голубого клочка неба и теплой затишья, и теплого солнца. Но не находилось ни голубого неба, ни теплой затишья, ни теплого солнца — все было унесено ветром за смурые горы правого Заволжья, и осталась только мутная Волга с беловатыми гривами валов да тучи, гнавшиеся одна за другою.

— Слышишь, Варя, пение? Верно, хоронить несут покойника, — говорила Марина, подходя к окну.

— Нет, не слышу, милая... Кого же теперь станут хоронить.

— Я слышу... Какое странное пение...

Бармитинова тоже подошла к окну и прислушалась. Издали откуда-то действительно слышалось пение, которое то наносилось ветром, то относилось вдаль и как бы смолкало.

— Что бы это было такое, я понять не могу... И я слышу пение, но это не песня.

— Это хоронят лето, Варя... Слышишь, ветер плачет: и ему жаль теплого лета.

— Полно, Мариночка! Не давай воли твоей разнузданной фантазии, ты вся в брата.

— Что ж, Варя, разве ты не слышишь сама?

— Слышу, да только не то, что ты...

— А что ж ты слышишь?

В порывах ветра человеческие голоса становились все явственнее и явственнее. Звуки приближались и становились отчетливее. Бармитинова открыла окно на улицу и перегнулась через подоконник.

— Вон кто поет... Я вижу их.

— Кто же Варя?

— Калики перехожие.

— Какие калики?

— Нищие... А какое торжественное пение... Слушай, Мариночка.

По улице действительно шли калики перехожие, которых теперь редко можно встретить в городах. Впереди выступал мальчик лет десяти, с открытою головою, с которой белые волосы беспорядочными прядями падали на его детское загорелое, миловидное личико. В одной руке он держал старую, измятую шляпу, а в другой длинную палку, которая была длиннее всего его детского тела. На изорванной рубашонке крест, через плечо висела сумка, а босые ноги были грязны и черны, как та земля, по которой они ступали. За мальчиком, положив руку на его плечо, шел слепой нищий, по-видимому, весь сосредоточенный на мысли, которая его занимала и присутствие которой отражалось на его лбу, высоком, загорелом и морщинистом. Голова его также не была ничем прикрыта и растрепавшиеся волосы свободно повиновались ветру, который бросал их то на слепые и безжизненные глаза калики, то на виски, то на затылок. Грудь его также была перекрещена белыми суконными тесьмами, на которых висели сумки. За этим вторым каликой шел третий, положив одну руку на его плечо, а другою опираясь на длинную палку. Вся мысль этого последнего, по-видимому, сосредоточена была на спине слепого товарища, потому что глаза его никуда не глядели, между тем как лицо выражало глубокое внимание, с которым он следил за пением товарища и вторил ему сильными, грудными нотами.

Их-то пение принято было Мариною за похоронные напевы, потому что в самой мелодии и манере пения слышалось что-то солидное и торжественное.

И вот в растворенное окно несется странная, тоскливая, но имеющая свою прелесть нищенская кантата, и широкая грудь последнего калики явственно выговаривает:

А есть у богата брата два лютые пса,
Под стольем они, лютые псы, похаживают,
Оброненные крошечки собиравают,
К убогому Лазарю принашивают,
Убогого Лазаря теми крохами пропитывают,
Во гнище его раночки зализывают...

Как колокольчик, звучит свежий голосок маленького нищего и выговаривает те же печальные слова...

— Вот мы все так утешаем себя, как эти нищие, — говорит Бармитинова, горько улыбаясь.

— Чем мы утешаем себя, Варя? — спрашивает Марина, не отрывая глаз от группы калик перехожих.

— За неимением своего куска, нищие рисуют перед богатыми картину блаженства, которое ожидает нищего на том свете... Тяжела была бы и безотраднa жизнь таких, как они, горемык, если б они не улаждали себя созданиями собственной фантазии: у них нет хлеба, зато у них есть будущее, у них нет ни кола, ни двора, зато в их распоряжении целый рай, и сидят они в том раю рядом с «обраи́ем», и вместо тех корок и оброненных крошек, которыми их питали псы, едят они яства сахарные. Только богатые не прельщаются, кажется, картиною рая, которую рисуют нищие, и ни один богач не пошел охотно в нищие... Так и мы себя утешаем песнью о Лазаре.

— Какою песнью, Варя?

— Мало ли у нас песен! Утешаем мы себя и песнью о «женском труде», как калики перехожие утешаются песнью о богатом и убогом Лазаре.

— Ах, да, Варя, твоя правда.

— Утешаем мы себя и песнью о свободе слова, и песнью о поднятии уровня народного образования... Нет у деятелей слова ни кола ни двора, зато весь мир в их распоряжении, нет у них ценза, зато в их распоряжении богатая фантазия, резкое слово, наука, искусство. Вместо власти, вместо чинов, у них есть перо и чернильница, и этим пером и чернильницей они надеются завоевать весь мир, они предписывают уже законы миру. Их могучего слова боятся богатые и сильные, как слушающий Лазаря мужик боится ада. Да, современный ад не тот уже, что был прежде, и он страшнее того ада, о котором поют калики перехожие. Этого ада боится даже Наполеон, которого папа не мог бы запугать ни чистилищем, ни самым адом. Да, новый ад страшнее ада древнего.

— Какой же новый ад, Варя?

— Печатное слово, которое является представителем и науки, и общественного мнения.

А калики перехожие стояли между тем посреди улицы, против окон Бармитиновой, и пели:

Охоч был богач Лазарь пиры пировать,
Охоч был богач Лазарь торгом торговать,
Охоч был богач Лазарь проклажаться,
Охоч был богач Лазарь похваляться...

— Варя! Позови их сюда, послушаем, что они поют, что говорят, — говорила Марина, заинтересованная каликами перехожими.

— Я сама думала об этом.

Бармитинова знаком подозвала маленького нищего, который, оставив слепых, подбежал к окну. Слепые остались среди улицы, как растерянные. Рука переднего слепца, лежавшая на плече мальчика, осталась протянутой и как бы искала чего-то в воздухе. Второй слепец стоял рядом с ним, держась рукою за суму товарища.

— Послушай, милый, позови их сюда... Вы у нас отдохнете, — говорила Бармитинова маленькому поводырю.

Поводырь бросился к слепцам и провел их на двор к Бармитиновой. Со двора их провели в комнату. Маленький поводырь поставил их так у порога, что слепцы могли помолиться по направлению к переднему углу. Они, видимо, прислушивались своим чутким слухом, который заменял им зрение, и с помощью одного слуха как бы старались ориентироваться в неведомой для них местности.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Мир дому сему, — сказали они скороговоркой в один голос.

— Здравствуйте, добрые люди, — отвечала Бармитинова.

— Спаси вас Господь на добром слове, — сказали нищие, видимо, ободренные тем, что услышали женский, ласковый голос.

— Садитесь у меня, отдохните.

— Спасибо вам, матушка... Наши ноги ходьбою да стойбою живут и нас слепых калек кормят.

— Присядьте, вы устали, много ходили.

— До царствия небесного, матушка, дорога не близкая: ногам не устать — и в царствии не бывать... Хоша бы железные на нас лапотки были, и те бы, ходячи к царствию небесному, притоптались... А нашим грешным ногам, матушка, не до устали...

Тем не менее Бармитинова пододвинула к ним стулья и усадила их. Маленький поводырь стоял около старшего из калик, и глаза его с величайшим любопытством останавливались на всем, что находилось в комнате: и на портретах, которые висели на стенах, и на книгах, разбросанных по столу, и на раскрытом рояле, и на безделушках, расставленных на этажерке. Марина также с большим любопытством поглядывала на нищих и на цыпочках подходила к ним то с той, то с другой стороны, заглядывая в их

слепые глаза и перенося потом свое любопытство на мальчика.

— Какой он маленький и худенький, — говорила Марина жалостно, — и ты, мальчик, не боишься собак? — спрашивала она его.

— А у меня палка... Дядя Липат мне выстругал, — отвечал мальчик.

— Собак бояться, матушка, и по миру не ходить, — сказал старший калика наставительно, — а собаки, знамо, нашей братье, нищим, недруги... Собака умна, знает, кто с нее оброк берет, того и не жалуется: ину краюху собака бы, може, съела, а пришел нищий — нищему отдала, потому нашего брата собака и не любит, хлеб у нее, значит, отбиваем...

Больно было Бармитиновой слышать эти слова, потому что она понимала и глубокий, обидный для человечества смысл их, и глубокую, хоть, может быть, невольную, но горькую иронию над людскими порядками.

— Меня в воскресенье собака за лытку укусила и калач отняла, — заговорил мальчик, припоминая трагическое происшествие, как у него собака выброшенный под окном хлеб отнимала, а калач был белый.

— И ты плакал?

— Плакал... больно было... А мне зато дали копеечку.

Слепые сидели молча, опустив головы. Они не знали, чего от них хотят господа, а сидеть, как в гостях, им казалось неловким и стеснительным. Бармитинова тоже не знала, как начать с ними разговор и как перейти к тому, что ее интересовало, а потому и решилась заговорить о пении.

— Вы пели, кажется, про Лазаря? — спросила она.

— Про Лазаря, кормилица.

— А кто вас учил этому пению?

— Учили нас, матушка, наши очи темные да думы горькие... У нужды, матушка-кормилица, и голос звонок, и слово складное: нужда и без очей видит, и без ушей слышит.

— А вы от роду слепые?

— От роду, кормилица: не знаем мы от рождения, какой такой лазоревый и алый цвет, какое оно солнце красное, каковы они ночи темные, не видали мы, матушка, ни лесу зеленого, ни неба голубого... Не знаем мы, сударыня, каково млеко матернее белое, что вскормило нас на житье тяжкое... А матери-то, сказывают, и у нас были.

— А этот мальчик родня вам?

— Чужой, кормилица... Породнила нас нужда горькая да доля сиротская: никто не брал мальчика на прокорм, ну, и взяли мы его к себе, и серую корочкою вскормили да водою студенною вспоили. И стал нам малец вместо глаз наших незрячих: водит он нас малыми ногами до усталости, глядит за нас зрячими глазами на Божье небо да на церкви святые, и коли сказал, что-де «церковь», мы молимся, коли сказал «господа», мы кланяемся, коли видит тучи грозные, мы хоронимся. А допрежь сего, как был он еще помене, мы носили его в суме за плечами, и из сумы он нам дорогу показывал... Ину пору так и уснет в суме.

Жаль стало Марине мальчика, для которого нищенская сума была колыбелью, и она сунула ему в руку серебряную монету, которую отыскала у себя в кармане. Она не могла себе представить, как это можно было вырастить ребенка в суме, чтобы в этой суме он и спал, и играл в свои детские игры. Но какие детские игры могут быть у маленького нищего, для которого весь мир — дырявая сума, а вместо игрушек и лакомств — подайные корки?

— А родом вы откуда? Издалека? — спросила Барминова.

— Издалека, родимая. Пять раз за дорогу приставал наш малец да прихварывал, ну и несем его на руках, пока резвы ноженьки служить ему отказываются. А глазами-то смотри, да дорогу нам показывай... Ину пору уснет, — знамо, дитя малое, — жаль станет, не будим его, а сами среди дороги и останемся, ступить боимся: так, бывало, положим его к стороне, сядем около него и ждем, поколь проснется или силишки наберется... Сухоты-то нам немало с нашими глазами зрячими.

А малец сидит, как будто и не о нем речь, да босыми ногами болтает, благо ноги не достают до полу.

— А сторона у вас богатая, должно быть? — спрашивают нищих.

— Убогая, кормилица, не то что ваша. Земля скудная, да и той мало, так мужику и нечем взяться... Бьется, бьется осень да зиму, а к весне по миру идти так в пору... Хлебушка нет, кору всю на дереве словно зайцы подгрызут, а там и начнет пухнуть народ, и мрет старый и малый. Под ино окошко подойдешь за христовым подаванием, так тебе и скажут: «Може, вам Бог подаст, а нам не дает — не погневайтесь»... Какой тут гнев, коли народ пухнет с голоду? Вот и прослышали мы про вашу сторону богатую и пришли кормиться... Награди вас Господь, народ у вас милостивый, собаками не травит нищую братию.

— А разве есть такие, что и травят?

— Всяко бывает... С голоду человек чего не делает!.. Сытая мать детище собой кормит, а голодная своим детищем кормится, и такие случаи, матушка, бывали.

— Тетка Арина Акульку съела, — вдруг залепетал маленький нищий, по-видимому, вовсе не слушавший разговора, а более занятый рассматриванием монеты, которую ему Марина подарила.

— Ты что говоришь, милый? — спросила удивленная Бармитинова. — Что тетка Арина съела?

— Акульку съела, — отвечал хладнокровно мальчик.

— Какую Акульку? Что это за Акулька?

Мальчик, в свою очередь, посмотрел на нее с удивлением, а потом, болтая босыми ногами, прибавил хладнокровно:

— Акульку... Только волосы остались...

И Бармитинова и Марина, догадываясь о значении слов мальчика, с ужасом вскочили со своих мест.

— Мы с Акулькой купались... А меня тетка Арина не ела, — продолжал мальчик, болтая ногами.

— Что он говорит? Можно ли это?

— Был такой грех, сударыня, — отвечал один из калик, не поднимая опущенной головы, — как настали эти у нас голода, поели все, что Бог послал: и скотинку палую, и мякнку, и кору толченую; так была это у нас вдова горемычная с малыыми ребятишками: идти-то на сторону кормиться не смогла, а дети с голоду пухнут, ну, и скормила же своим детям свою девочку лишнюю... У бедных-то, матушка, женское племя лишнее, а мальчики-то пригодятся.

— Это ужасно! Это невозможно! — вскричали в один голос Бармитинова и Марина.

Они слышали, что голод доводит людей до ужасных преступлений. Они читали даже в газетах, что были случаи, подобные сейчас ими слышанному. Но они не хотели верить этому. А теперь они слышат эти ужасы от очевидцев, и им становится страшно за человечество... Когда же кончится это!..

Между тем маленький нищий, сидя на стуле, болтает ногами, как будто все то страшное, что случилось на его глазах, было самым обыкновенным явлением...

— Я Акульку никогда не бил, — говорил он, запуская руку в свою суму и вытаскивая оттуда бублик, — мы с Акулькой двух галчонков съели...

Эти слова мальчика, говорившего, по-видимому, так беззаботно, как будто речь шла о палке, которую выстругал для

него дядя Липат, навели еще больший ужас на девушек. Бармитинова ходила по комнате с каким-то отчаянием, и не знала даже, продолжать ли ей говорить с людьми, лишенными, по-видимому, всяких человеческих чувств... Где же, думалось ей, эта пресловутая справедливость и разумность законов природы, которые всем заправляют с такой обидной, с такой злобной неравноправностью? Что же делает эта сила, которая управляет паром, электричеством и сумела направить громы Юпитера, по своему усмотрению, то в водосточные, то в помойные ямы? Куда потрачены результаты, добытые наукою, адепты которой тешатся лишь похвальбою да превозносят свои великие открытия, как Кач превозносит свои под-
стаканники?

— Нам надо накормить своих гостей и напоить их чаем, — говорила Варя, приходя в себя от волнения.

Она позвала свою старушку хозяйку и просила ее приготовить для них угощение.

— Доброе дело, барышня, — говорила старушка, — на том свете тебе за это будет райское угощение.

Хозяйка пригласила нищих на свою половину, и они встали, крестясь и благословляя хозяев. Мальчик, подойдя к раскрытому роялю, дотронулся рукою до клавиш и отскочил с испугом, когда клавиши издали звук. Слепые также вздрогнули. Мальчик бросился к ним и уцепился за одного из своих стариков.

— Ой, дядя Липат! Она живая, — говорил он, оглядываясь на рояль.

Марина рассмеялась, подошла к роялю и взяла несколько аккордов.

— Это музыка, — говорил мальчик улыбаясь, — а я думал, она живая.

— Гусли царя Давида, — сказал один из слепцов наставительно.

Нищие вышли, и девушки остались одни.

— Ну что, рада гостям? — спросила Бармитинова свою подругу. — Не трусишь?

— Немножко, Варя.

— То-то же... А еще хочешь быть деятелем.

— Хочу, Варя.

— А нищих боишься, хорош деятель! Вот мы все такие женщины.

— Что ж нам делать, Варя, чтоб ничего не бояться?

— Отгадай сама...

Марина задумалась.

В это время из другой половины квартиры Бармитиновой, куда ушли нищие, раздалось пение:

Среди было теплого лета,
Накануне Вознесения Христова,
Расплакалась нищая братия:
«Гой еси, Христос, Царь Небесный!
На кого Ты нас оставляешь?
На кого Ты нас покидаешь?
Кто нас поить-кормить станет?
Одевати станет, обувати,
От темные ночи охраняти?»

— Это уж, наверное, Кузьминишна заставила их петь: до смерти любит все божественное, — говорила Бармитинова, улыбаясь и прислушиваясь к пению калик переходящих, — затем она и позвала их к себе угощать.

— А что они поют теперь, все про Лазаря?

— Нет, это что-то другое... Слышишь, это они уж о себе поют, о «нищей братии».

Девушки приотворили дверь своей комнаты и стали прислушиваться. Через растворенную дверь доносилось до них пение нищих. Грудные ноты молчаливого слепца покрывали собой все трио, но в этом пении отчетливо выделялись слова, произносимые детским голосом маленького нищего:

Не плачьте, моя меньшая братья,
Нищие люди, убоги!
Будете вы сыты и пьяны,
Будете обуты, одеты,
Будете теплом да обогреты:
Уж я дам вам гору золотую,
Уж я дам вам реку медовую,
Я даю вам сады с виноградом,
Я даю вить вам манну небесную...

— Опять самоуслаждение. Опять богатая фантазия нищего! — говорила Бармитинова грустно. — Все то же, что и у нас: мы утешаем себя женским вопросом, а они тем, что их сам Христос обует, оденет и накормит, мало того, даст им гору золотую, реку медовую, сады с виноградом и манну небесную... Мечтая об этом, они выносливее грызут сухую корку, а иногда древесную кору...

А калики переходящие все поют, а детский голосок отчетливо, голосно выговаривает:

Не давай им горы золотые,
Не давай им реки медовые,
Не давай им садов с виноградом,

Не давай им и манны небесной:
Горы-то им будет не разделить,
С рекой-то им будет не совладать,
Винограду-ту им будет не ошшипать,
Манны-то им будет не пожрать...
Над горою-ту будет убийство,
А над рекою-ту будет кроволитье,
Как узнают то другие, богатые
Да и сильные люди, могущие,
Отоймут у их гору золотую,
Отоймут у их реку да медовую,
Отоймут у их сады да с виноградом,
Отоймут у их да манну небесну...

— Слышишь? — продолжала Бармитинова, — везде одно и то же, везде два лагеря: или нищая братья, или богатые.

В это время из той комнаты, где пели нищие, вышла в сени хозяйка Кузьминишна, и ее морщинистое, сжавшееся лицо разливалось слезами.

— Матушка-барышня, как поют! Уж как жалостливо поют Божьи люди!.. Всю душеньку мою надорвали, сердечушко слезами надсадили, — говорила она, суется без толку и не зная, что ей делать.

А калики перехожие продолжают петь:

Дай ты им слово Христово,
Будут они по миру ходити.

— Слышишь, Мариночка?

— Слышу, Варя.

— Вместо всего, что имеют другие люди, им дается только слово, и словом они должны быть и обуты, и одеты, словом должны быть и сильны... У нас в распоряжении тоже только одно свободное слово, и словом мы должны действовать и самоуслаждать себя надеждою, что этим словом мы победим мир, как нищие самоуслаждают себя верою, что им одним принадлежит рай.

— Так зачем же мы учимся, Варюша? Из чего мы бьемся? Где же прогресс, о котором так много кричат, когда он не может изменить скверного на лучшее, когда вечно одна часть людей должна бедствовать?

Марина говорила это с одушевлением. Большие глаза ее загорелись опасным огнем, а на щеках вспыхнул румянец досады. Это уже был не ребенок, а женщина, человек, в котором проснулись жизненные силы. Бармитинова с улыбкой любовалась ею.

— Варя! Варя! Не мучь меня, не смейся надо мною! — говорила она со страстным увлечением. — Неужели же ты

серьезно говоришь, что наука так же бессильна изменить обидный для нас порядок вещей, как и эти калики перехожие? Так скажи, ради Бога, зачем же тогда наука, чего добиваются ученые, зачем литература преследует свои честные цели, когда все бесполезно? Зачем же все это, зачем?

— Зачем наука?.. Для самоуслаждения, — отвечала Бармитинова, продолжая лукаво улыбаться.

— Как для самоуслаждения? — горячилась Марина, готовая заплакать.

— Для самоуслаждения, — снова отвечала Бармитинова с обидным хладнокровием, — разве наука и литература не тысячи лет повторяют одно и то же, что рабство унижает человечество? А рабство существует, хотя и в более мягких формах, чем прежде, но зато в более обидных. Разве не тысячи лет человеческое слово гремит против насилия? А насилие растет гигантскими шагами: насилие труда, насилие мелких капиталов крупными и т. п. Разве наука и служение слову не в презрении у тех, о которых поют калики перехожие? Разве наука, искусство, литература не продолжают оставаться достоянием преимущественно бедных, то есть не самых бедных, не мужиков, которым даже и учиться-то и некогда и не на что, а достоянием среднего класса, который живет наукою и искусствами, как ремеслом, как нищий живет своим Лазарем.

Марина не могла дальше выносить этого спора. Она схватила Бармитинову за обе руки и, глядя ей прямо в глаза, говорила, чуть не плача:

— А разве не наука дала людям образование? Разве не наука создала для них все удобства — железные дороги, телеграфы... А... да мало ли что дала им наука?

— Что ж, это не мешает им презирать науку... Наука — это плебей, мужик, Аксютка, украшающая барыне голову... Наука — раб: как в Риме патриции учились у рабов, так и теперь наука и литература достояние рабов и калик перехожих. Наука — это портной, сапожник, кузнец, поэт, драматург, повар, конюх, историк, садовник, натуралист, астроном, прачка, одним словом, все работающее, трудящееся для услаждения барина, который должен только пользоваться услугами сапожника, астронома, повара, поэта, а сам ничего не делает, а только управляет поваром, прачкой, историком, конюхом, поэтом... Его назначение управлять.

Марина из женщины опять превратилась в ребенка: она зарыдала и бросилась на шею к Бармитиновой.

— Перестань! Перестань, моя маленькая! Я шучу, — говорила Бармитинова, поднимая голову Марины и держа ее за подбородок. Но та продолжала рыдать безутешно.

— Я не хочу быть конюхом... Я не хочу быть кузнецом, — выплакивала она эти горькие для нее обиды, — я не хочу быть сапожником, а хочу все-таки учиться

XIV

В тот самый момент, когда Марина, поддерживаемая за подбородок Бармитиновой, голосно выплакивала, что она не хочет быть ни сапожником, ни кузнецом, ни конюхом, в сенях показался молодой Гриднев. Представившаяся ему картина, особенно же горькие слезы незнакомой ему девушки и проносимые ею странные слова, что она не желает быть конюхом, изумили его до такой степени, что он совершенно растерялся. Изумление его увеличивалось еще и тем, что в то же время он слышал какое-то странное пение, которое могло раздаваться разве только на торжках, на ярмарках да на церковных папертях по глухим селам... «Убогий Лазарь», «манна небесная», а тут же рядом в отворенную дверь неслись какие-то плаксивые причитания старческого голоса: «Соколики мои... люди Божьи... грехи наши тяжкие... ох, матушка заступница!..

«Барышня не желает быть конюхом... Что с ней? Кто ее принуждает идти в конюхи? И зачем тут кузнецы да конюхи, когда это земская школа? Зачем тут нищие? Зачем тут Лазарь?»

Эти вопросы как бы врасплох захватили Гриднева, и он в первые моменты не мог опомниться. Он остановился в дверях как вкопанный, не смея ни прервать непонятной для него сцены, на которую он наткнулся, ни возвратиться назад.

Наконец, Бармитинова заметила его, и когда он с какой-то нерешительностью поклонился ей, не зная, двигаться ли ему дальше или оставаться на месте, повернула к нему заплаканное лицо Марины, которую продолжала держать за подбородок. Марина вспыхнула, увидев Гриднева, которого она не знала, и, высвободившись из рук Бармитиновой, вся переконфуженная и красная до кончиков ушей, убежала в другую комнату.

— Прошу пожаловать, — говорила Бармитинова смущенному Гридневу, хотя и сама чувствовала смущение после

сцены, невольным свидетелем которой сделался посторонний человек.

Гриднев вошел в комнату. Бармитинова знала его потому, что он, наезжая иногда в Варгуны для покупки хлеба, был представлен ей на одном из концертов, который Бармитинова, с немалыми усилиями, устраивала в Варгунах в пользу беднейших из своих учеников и учениц.

— Извините меня, Варвара Григорьевна, — говорил все еще смущенный Гриднев, — я, может, не во время... Но обо мне некому было доложить вам и я осмелился войти без доклада.

— Помилуйте... Какие доклады здесь, в Варгунах... я очень рада, — говорила она, тоже не совсем еще оправившись от смущения.

— Если позволите, я приду в другой раз... Я помешал вам.

— Нет, нисколько, — говорила Бармитинова и не могла удержаться от улыбки, — вы ничему не помешали, разве только капризу моей юной приятельницы...

И Бармитинова совсем рассмеялась.

— Вы, вероятно, слышали, что мой юный друг не желает быть ни конюхом, ни кузнецом, и вас это удивило, — сказала она весело.

— Да, я слышал что-то подобное.

— Так не удивляйтесь, пожалуйста. Дело в том, что мой юный... но позвольте вас познакомить с нею... Марина! Мариночка! — говорила она, подходя к двери, в которую исчезла Марина. — Иди же сюда.

Марина не выходила.

— Дело в том, — продолжала Бармитинова, — что я сказала ей давно избитую истину, и это привело ее в отчаяние.

— Какая истина, — заметил как-то неопределенно Гриднев, — от иной действительно можно прийти в отчаяние.

— Истина, которую я сказала, очень старая и избитая истина. Я говорила, что наука всегда была демократична, что наука плебей, крепостной крестьянин, который находится в услужении у невежества-помещика, ничего не делающего.

— Да, это истина старая, избитая, но не многие ей верят, — говорил Гриднев с какою-то едва заметною улыбкою.

— Так вот и мой друг не хочет ей верить и оскорбляется тем, что я сказала: наука — чернорабочий, поденщик, конюх, повар, кузнец, астроном, историк и прочее, а невежество — барин, который пользуется оброком, приносимым ему наукою.

Гриднев продолжал смотреть на нее с тою же улыбкою.

— Резко, но справедливо, — сказал он. — Впрочем, вы говорите почти то же, что я третьего дня только прочел в Казани, в «*Indépendance belge*». Недавно один профессор в Женеве, говоря речь при одном официальном торжестве, выразился: «*On accuse notre académie d'être aristocratique, je nie ce fait: la science est toujours démocratique, ce n'est que l'ignorance qui est aristocratique*».

В это самое время в дверях показалась Марина. На глазах ее еще заметны были следы недавней заплаканности, но глаза эти смотрели смело и весело. Растрепавшиеся волосы, которых у нее на голове был целый лес, приведены были в возможный порядок, хотя коса, весившая, по-видимому, несколько фунтов и прикрепленная к затылку разными шпильками, грозила падением. Марина выступила несколько робко, присела несколько по-институтски, хотя она в институте никогда не воспитывалась, а приобрела институтские реверансы от матери, старой институтки.

Гриднев встал и церемонно отрекомендовал сам себя.

— Купец Гриднев, — сказал он, делая несколько заметное ударение на слове «купец».

— Рекомендую... Марина Константиновна Канадеева, — в свою очередь сказала Бармитинова. — Так вот, Марина Константиновна большая поклонница науки и знаний вообще, но не хочет быть ни конюхом, ни кузнецом, — прибавила она, обращаясь к Марине, которая усаживалась несколько в стороне, поближе к роялю.

Усевшись у рояля, Марина с недоверчивостью и украдкой взглядывала иногда на Гриднева, как бы говоря сама с собою: «Купец... Какой он купец?.. Купцы толстые, в длинных сюртуках... А этот худенький, бледный, и говорит по-французски. Варя опять меня мистифицирует»... И она недоверчиво взглядывала на Бармитинову, потом опять на странного купца, и глаза ее капризно сверкнули: «Уж не сочинитель ли и этот?» выразилось в ее огромных глазах.

А Гриднев, поглядывая на нее, думал: «Вот где волоокая Гера... Ишь, буркалы-то какие... До безобразия велики... И как это захолустные Варгуны могли вырастить такие замечательные глаза?»

— Впрочем, я едва ли не разделяю мнение Марины Константиновны насчет значения науки, — сказал он, обращаясь в одно время и к Бармитиновой, и к Марине.

Глаза последней снова сверкнули, только уже не капризно. Однако она ничего не сказала, а лишь повернулась на стуле.

Ей все еще подозревало, что перед нею сидит «противный сочинитель», хотя она очень часто слышала фамилию богатого купца-раскольника Гриднева, равно как и то, что у него образованный и «ученый» сын.

— Какое же ваше мнение? — спросила Бармитинова, предполагая видеть в ответе Гриднева простую любезность.

— Я думаю, что если до сих пор наука была, как вы выражаетесь, плебеем, рабом, чернорабочим у барина, то в будущем только она и будет господином, а все остальное будет ей служить.

— Каким же образом она приобретет эту силу, которой не могла добиться в продолжение тысячелетий, и продолжает оставаться в зависимости от того, чему она служит и что она же возвышает?

— Эту силу она приобретет в соединении с другой силой, которая начинает уже покорять себе царства, но может совсем покорить только с помощью науки, — отвечал Гриднев серьезно, но и задумчиво.

При этом ответе Марина снова повернулась на стуле, но уже прямо лицом к Гридневу. Внимание, с которым она собиралась слушать его, сделало ее глаза еще большими и еще более светлыми. «Да, я теперь только понимаю, что значит волоокая Гера», — подумал Гриднев, увидев эти несоразмерно большие и красивые глаза.

— Какая же это другая сила, которая начинает покорять царства? — спросила Бармитинова с недоумением. — Свобода?

— Что свобода! — сказал Гриднев с каким-то презрением, не по летам брезгливо. — Свобода — тоже устарелое, истрепанное слово... Ее всегда задушить можно, да всякий толкует ее по-своему: и Наполеон говорил, что он воюет с арабами и расстреливает целые отряды их с помощью ружей Шаспо тоже во имя свободы. Свобода — такой чулок, который можно надеть на всякую ногу, и на ногу мирмидона и на ногу циклопа Полифема.

— Какая же это сила, наконец? — спросила Бармитинова, заинтересованная словами молодого купца. — Цивилизация?

— Цивилизация, — говорил Гриднев задумчиво, — это тоже палка о двух концах... Немцы потому и бьют славян одним концом этой палки, что другой конец ее они раньше славян захватили в руки, а славяне тянутся за ней, да не достанут... Во всяком государстве высшие классы цивилизованнее массы народа, оттого народ и пляшет под их дудку.

Марина даже встала со стула от нетерпения и подошла к Гридневу. «Нет, это и не купец, и не сочинитель», — думала она.

— Я уж теперь совсем недоумеваю, о какой силе говорите вы, — сказала Бармитинова.

— Деньги, — отвечал он, — капитал — вот эта сила.

«Купец... — подумала Марина... — Сочинители не такие...»

— Это слово тоже старое, историческое, — сказала Бармитинова, невольно пародируя своего собеседника, — это также палка о двух концах, и до сих пор палка эта, большую частью, обеими концами попадала в руки невежества.

— Я согласен с вами до некоторой степени... Но таково значение капитала, когда мы будем относиться к нему задним числом... Теперь не то: семь тысяч лет капитал был «материей», а только с девятнадцатого века он стал «силой».

— «Stoff und Kraft»? — спросила Бармитинова, играя словами и намекая на известное сочинение.

Гриднев понял игру слов и отвечал:

— Нет, не совсем так. Не «материя» и «сила» в сущности, а, коли хотите, «материя» и «дух», «идея». Теперь капитал — идея, и притом идея глубокая.

— Отчего же мог он так измениться именно в девятнадцатом веке? Почему грубая материя превратилась в идею, как вы говорите? — спросила Бармитинова.

— Благодаря конюхам да кузнецам, — отвечал Гриднев и взглянул с улыбкой на Марину.

— То есть науке? — спросила Бармитинова.

— Да, науке... политической экономии, если хотите, а в сущности, благодаря всей массе приобретенных человечеством знаний. Вы знаете, что в Европе основались новые могущественные монархии?

— Какие — Пруссия? Италия?

— Нет, это старые, отживающие монархии, их время прошло, хотя они еще стоят... А есть новые монархии.

«Ну, все теперь новое, — подумала Марина, — есть «новые люди», «новые женщины», Варенька говорила, что Гейне создал «новых немцев» и «новых немок», которые будто бы покорят весь мир. А этот купец говорит теперь, что есть «новые монархии»... Странно».

— Какие же это новые монархии? — спрашивала Бармитинова. — Где они? В Европе?

— Есть и в Европе, и в Америке... На всем земном шаре. Бармитинова начинала думать, что Гриднев шутит.

— Так назовите мне хоть одну из них, — сказала она.

— Извольте. Вы помните из истории, как основывались первые государства в мире?

— Кажется, помню... Ассирия, Вавилония...

— Именно так. Ассирия, Вавилония и так далее Вы изволите, конечно, помнить, что до основания этих государств первобытные народы жили патриархально, родами, коленами, племенами. Старший в роде был глава и властитель рода. Все были, большею частью, пастухи и звероловы.

— И Нимврод был звероловом, первый из царей, — вмешалась Марина.

— Именно звероловов нам и нужно, — обратился к ней Гриднев. — Нимврод был одним из самых искусных звероловов, и ему удалось покорить себе других, менее искусных звероловов, расширить владения своего рода и сделаться царем. Государство, таким образом, было основано. Другой зверолов, с помощью таких же точно приемов, основал другое государство... С тех пор и началось существование Ассирии и Вавилонии как государств политических. Много было потом подобных же политических государств — греческие государства, Египет, Рим, Карфаген. Все они получали начало от того, что несколько мелких гражданских единиц соединялись насилием или охотой в одно крупное политическое тело, которое и называлось государством, монархией, царством, республикой, как угодно назовите. Государства возникали, развивались, крепили, достигали апогея могущества и славы, воевали с другими государствами и народами, наконец, падали или будучи покоряемы другими свежими народами, или просто падая вследствие зачатков внутреннего гражданского и политического разложения... Такие же государства были и в средние века, и в новые. Такие же государства существуют и теперь. Все это так?

— Так, — отвечала Бармитинова, которую начинало удивлять это изложение системы образования и падения государств, что ей давно известно было из учебников. — Где же ваши государства, новые?

— К ним-то я и подошел теперь.

— А мы их все-таки не видим.

— Виноват, Варвара Григорьевна, но мне необходимо было сделать это отступление, которое могло вам показаться просто педантическим разглагольствованием...

— Нет, это целый ученый трактат, — сказала она шутя.

— Что ж делать, мне хотелось защитить честь кузнецов и конюхов, которые так возмутили Марину Константиновну.

— Нет, меня кузнецы не возмущают, а назвать Гумбольта или Дарвина конюхом обидно, — сказала Марина, решившись в первый раз сказать такую длинную фразу при постороннем мужчине.

— Я об этом и говорю, — отвечал он.

— А вы все-таки не сказали нам о новых государствах.

— Виноват, виноват, простите... Я говорил вам о том, как образовались политические государства... Ныне так же образуются государства, только не политические.

— Какие же эти новые государства? Не мучьте нас.

— Ныне возникают так же государства финансовые, государства капиталов, артели, союзы, товарищества на акциях, на паях. Только основание их кладут уже не звероловы, а кузнецы, портные, сапожники, одним словом, наука в союзе с капиталом, с акционерными компаниями, товариществами и прочее. Как и политические государства, эти новые государства основываются на одинаковых началах: какой-нибудь финансовый зверолов Нимврод, вроде Ротшильда, Перейры или Беринга, к своей крупной финансовой единице присоединяет, на правах товарищества, менее крупные финансовые единицы в виде акционеров, пайщиков; к этому союзу примыкают тысячи других мелких капиталов; область союза расширяется, и таким образом финансовое государство основано. Начало таких государств уже положено.

— Значит, это государства Ротшильдов, Перейра и Берингов?

— Да, пока так почти... Но люди нашего времени ушли много дальше звероловов. Рядом с этими крупными государствами основываются мелкие, именно, компании на акциях, артели, товарищества, союзы просто рабочих сил, и делаются противовесом крупным государствам... Некогда властители государств были деспоты, которые казнили своих подданных по личному произволу. Такие же деспоты и финансовые государи, которые устанавливают курс, ценность денег, товаров и по произволу могут сделать нищими или заставить умереть с голоду целые тысячи народа.

— Да, вы правы... Я понимаю вашу идею... Я понимаю ваши новые государства, — сказала Бармитинова. — Но ведь деньги — это еще более бесчеловечный деспот, чем восточные цари.

— Совершенно согласен с вами... Но тут-то и является спасителем наука: она говорит, что весь шар земной должен сплотиться в акционерные компании, в товарищества, хотя бы члены товарищества и не вносили в общую кассу денег, а

только бы слагались в союз, как рабочие руки, как думающие головы и т. п. Всякий труд, всякое предприятие должно совершаться артелью, товариществом, союзом, компаниею, все, положительно все должно сделаться частями союзов, артелей, товариществ... Этому поможет наука; тогда деспоты-капиталисты невозможны, тогда будет немыслимо ни насилие, ни лишение свободы... Тогда даже невозможна будет бедность на земле.

Бармитинова вздохнула.

— Вы что вздыхаете, Варвара Григорьевна? — спросил Гриднев, которого разговор так оживил, что он казался совершенно не тем человеком, каким он явился к Бармитиновой.

— Я вздыхаю потому, что вы рисуете передо мной тот прекрасный остров, на котором плавал некогда, в воображении конечно, Томас Мур.

— Так, по вашему мнению, я рисую остров Утопию?

— Да, к сожалению, вы гуляете по берегам острова Утопии.

— Так Утопия — остров, Варя? — спросила вдруг Марина.

— Да, остров, милая.

— А я не знала... Я не читала этого; я думала, это просто известное понятие о чем-нибудь несбыточном, как, например, «женский вопрос».

— И вы уверены, что ваши фантазии сбудутся? — спросила Бармитинова, обращаясь к Гридневу.

— Сбудутся, я в этом убежден. В этом меня убеждает наука, а что добыто наукой, то прочно, прочнее всякого капитала. Это уже не фантазии, а научные истины.

— Если даже и так, — заметила Бармитинова, — то все же искусные звероловы, как и всегда, будут притеснять и покорят под свою власть менее искусных звероловов.

— Так было, но так не будет.

— Когда же?

— Когда будет больше таких женщин, как вы.

Бармитинова улыбнулась грустно.

— Не говорите комплименты.

— Нет, Варвара Григорьевна, я гражданин нового государства, а у нас комплименты считаются или лакейством, или нравственным воровством.

— Как?

— Комплиментом воруетса расположение того, кому говорится комплимент... А за воровство у нас изгоняют из государства.

Марина слушала этот спор с большим вниманием. Хотя она молчала, но видно, что в ней боролись разнородные чувства, и вся эта борьба отражалась на ее оживленном лице, которое ничего еще не умело скрыть, что бы ни происходило в сердце, в мозгу, в каждом нерве этого ртутного темперамента, и выдавало ее чувства то внезапным вспыхиванием щек, то такой же вспышкой в глазах, то движением бровей, губ, а больше всего говорили об этой внутренней борьбе ее глаза. Вся подвижная и стремительная, она иногда, видимо, принуждала себя сидеть неподвижно несколько секунд, но это ей было тяжело, и она выдавала себя то резким подергиванием плеч, то нервным сжиманием рук, то неожиданными поворотами головы. Она постоянно вставала и то подходила к Гридневу, как бы намереваясь остановить его, то порывалась к Бармитиновой, то брала с рояля ноты и нетерпеливо шуршала ими.

Она боролась между выбором двух решений: молчать ли ей на все, что ни скажет Гриднев, или вмешаться в спор, потому что афоризмы Гриднева вызывали в ее уме сотни возражений, но она боялась вступить в борьбу.

Наконец она не осилила себя и, как выражалась об ней Бармитинова, «рассыпала жемчуг на серебряное блюдо» — заговорила и задвигалась со свойственной ей подвижностью.

Когда Гриднев сказал, что в их новом государстве за комплименты, как за воровство, изгоняют, она, вскочив со стула, вспыхнула и возразила запальчиво:

— А за грубость и грабеж не изгоняют из вашего нового государства?

Озадаченный этим неожиданным вопросом, и притом с той стороны, откуда он менее ожидал нападения, Гриднев сразу не нашелся что отвечать, и смотрел на Марину с удивлением. Бармитинова тоже глядела на нее с улыбкой. «Ну, теперь посыплется жемчуг на серебряное блюдо», — подумала она.

— За какой грабеж? — спросил Гриднев после минутного молчания.

— А разве капитал не грабеж? — в свою очередь спросила Марина и ухватила рукою за спинку стула, как бы намереваясь защищаться от нападения.

— Нет, Марина Константиновна, капитал не грабеж... Капитал приобретается умом и трудом, а не грабежом.

— Умом и трудом! — возражала Марина с горячностью. — А разве бояре и помещики не трудом и не умом наживали свои богатства и приобретали власть?

— Не всегда, Марина Константиновна, — отвечал Гриднев и при этом улыбался, глядя на нее, — их богатства большею частью или жалованные, или полученные по наследству.

— А вы разве не по наследству от своего батюшки получите ваши богатства? Разве не все купцы, как и помещики, наследуют сундуки своих отцов?.. Уж, пожалуйста, не защищайте ни капиталистов, ни купцов, они все те же бояре, которых вы топчете в грязь, когда у самих ноги в грязи по колена... И вы, купцы, и бояре — все те же помещики! — горячилась Марина.

— Нет, не те же, Марина Константиновна: бояре высасывали соки из народа, и в этих-то соках блаженствовали.

— Ах, Боже мой! — вскричала Марина и даже руками всплеснула так трагически, что Бармитинова захохотала. — А вы в чьих соках блаженствуете? Разве вы не из народа тоже вытянули эти соки? Из народа! Из народа! Вы сосете еще злобнее, чем вампиры и чем это делали прежде помещики... Вы пользуетесь всяким случаем, чтобы сосать народ: у людей голод, народ стонет от бедности, народ пухнет от голоду и мрет, голодные матери едят своих детей, так что остаются от детей только волосы, а вы скупаете хлеб у этого народа, когда ему нужны до зарезу деньги, и перепродаете этот хлеб вдесятеро дороже или отправляете его за границу, когда дома нам есть нечего... Господи! — воскликнула она с каким-то детским отчаянием в голосе. — Кто же больше сосет страну, как не вы? Где же настоящие тучи — сосатели народа, как не в капиталистах, в этих сундучниках?

Марина окончательно выходила из себя. Изумленный Гриднев встал со стула и смотрел на Марину, не сводя с нее глаз. А Бармитинова только любовалась своею любимицей и губы ее невольно шептали: «Ну, посыпался жемчуг...»

— В сундучниках? — спрашивал Гриднев с изумлением. — Это что за слово?

— Сундучники!.. Все купцы, все капиталисты сундучники, сосатели! — говорила Марина со сверкающими глазами, а потом, бросившись к Бармитиновой, наивно сказала: — Ах, Варя, Варя! Сколько я им дерзостей наговорила! Мне даже стыдно...

— Что ж, милая, это ничего, — отвечала Бармитинова с улыбкой. — В их новом государстве дерзости предпочитают любезностям, потому что за любезность тебя выгнали бы из их нового государства, а за дерзость тебя примут в граждане нового государства, — сказала она, обращаясь к Гридневу.

Марина не успокоилась сразу. Видя, что Гриднев, озадаченный потоком ее слов, ничего не отвечает, а только смотрит на нее с улыбкой, и принимая эту улыбку за насмешку, она еще более взволновалась, так что, по своему обыкновению, могла кончить взрывом слез, к чему так привыкла Бармитинова, видя в ней капризного ребенка.

— Варя, — говорила она, держась за Бармитинову, как за прикрытие, — слушай, что я еще наговорю им... Мы недавно с папашей говорили о купцах и капиталистах... Ах, Варя, это такие деспоты, такие Тамерланы!

— Тамерланы? — спрашивал Гриднев, раскрывая глаза от удивления.

— Да! Тамерланы, Тохтамыши, Мамаи, Аттилы! Вот кто такие купцы.

— Помилуйте, Марина Константиновна!

— Нет, не помилую... Не хвалитесь вашими новыми государствами, они хуже старых! Ваши новые государи...

— В наших государствах нет государей, — прервал он ее, — есть директора и президенты компаний.

— Тем хуже! Ваши новые звероловы, Нимроды, ваши директора — Ротшильды, Перейра и Беринги более жестокие деспоты, чем гуннские цари: они одними курсами, то повышением, то понижением их, могут довести до нищеты весь мир... Ведь они делают это, признайтесь?

— Согласен, делают, но....

— Так чего же вам еще? Вы бросаете камнями в помещиков за то, что они имели крестьян, что это была их «живая собственность», как говорил Герцен... Правда, это скверно, но этого уж нет... Притом то было в обычае, по закону. А купцы всех забирают в крепостное право неволей, морят голодом, ведь это хуже и более жестоко... Постойте! Постойте! — сказала она вдруг, как бы спохватившись.

— Что вам угодно?

— Вот что...

Она остановилась и с нерешительностью посмотрела на Бармитинову.

— Ах, Варя! Я не знаю...

— Чего не знаю?

— Как выразиться, Варя... Ну, все равно, как-нибудь... Скажите, господин Гриднев, — обратилась она к нему, как бы атакуя его, — какое мучение больше — когда человека унижают силою или когда он поставлен в такое безвыходное состояние, что должен сам унизиться?

— Я не совсем понимаю вас, — сказал Гриднев.

— Ах, Варя! Я ведь говорила, что не сумею выразиться... — И в голосе ее уже дрожали слезы. Она готова была расплакаться.

— Ну, ну, не приходи в отчаяние, подумай и скажешь, — говорила Бармитинова ласково.

— Нет, не скажу... Я уж знаю, что не скажу... Я такая противная!

— Напротив, я уверен, что вы сумеете, — сказал Гриднев, — вы так хорошо били купцов и звероловов.

Марина обдумывала фразу.

— Вот что, — сказала она, — кому стыднее и горше: бывшему ли крепостному, который приходил к своему барину и просил у него шубы на зиму, будучи уверен, что он имеет право просить этой шубы, или свободному человеку, хотя бы бедному чиновнику, которого нужда заставила бы прийти к вам и просить у вас шубы Христа ради?

— Да, последнему хуже.

— То-то же!.. А капитал всех бедных ставит в такое унижительное положение... Ах, Варя! Варя! Как много скверного на свете, — говорила Марина с каким-то детским простодушием.

— Так вы за монополию бояр и за крепостничество, Марина Константиновна? — спросил Гриднев.

— Нет, не за монополию бояр и не за крепостничество, а против *коалиции* купцов, против новых Тамерланов и Аттил, против новых Нимвродов, которые из звероловов делаются царями... В купцах возникает новое зло нашего века, в них воскресает покойное крепостное право, только в более ужасной форме. Помещики жили потом своих крестьян... фи, Варя! Как я гадко сказала, — вдруг обратилась она к Бармитиновой, — ну, все равно, лишь бы выразить мысль той фразой, какая попалась под руку...

Она замялась.

— Что я говорила, Варя? — спросила она наивно.

— Вы изволили сказать, что помещики жили потом своих крестьян, — отвечал ей Гриднев.

— Ах да! Я выразилась грязно, некрасиво, но верно, — спохватилась Марина, — так помещики пили пот своих крестьян... ах, это еще грязнее!.. Ну все равно... а купцы пьют и пот, и кровь. *Не порицайте же друг друга, вы все одного поля ягоды!*

— Bravo, Мариночка! Иди, я тебя поцелую за это, — сказала Бармитинова, и Марина бросилась к ней целоваться.

— Вот как мы вас отделали, — говорила шутя Бармитинова Гридневу.

А Марина, целуя ее, шептала: «А что, Варя, он рассердится на меня за это?» Но потом, вспомнив, что ей давно пора домой, заторопилась и заспешила уходить.

— Куда ты? — спрашивала Бармитинова.

— Меня мамаша побранит... беда, просто беда!.. Я заставила ее ждать меня обедать.

И, поцеловав Бармитинову, она церемонно присела перед Гридневым и исчезла.

— Какая милая девушка, — сказал Гриднев, когда Марина скрылась за дверью.

— Да, я ее очень люблю, такая богатая головка... Только что-то ждет ее в жизни?

— Она не сестра того Канадеева, который с ума сошел? — спросил Гриднев.

— Да, сестра... Так жаль это бедное семейство.

— А я к вам по делу, Варвара Григорьевна. Заговорился, а о деле не сказал.

— Что вам угодно?

— Могу ли я вас просить принять в вашу школу одного мальчика-сиротку? Он из крестьян, но такой даровитый мальчик. Мне не хотелось бы, чтоб дарование заглохло от недостатка образования. Я сам буду платить за него, а вас бы попросил особенно иногда заняться с ним, подготовить к гимназии...

— Очень рада...

В это время в комнату вбежала хозяйка Кузьминишна, вся сияющая радостью, хотя сухое, как сушеная груша, лицо ее все было заплакано.

— Божьи люди, матушка-барышня, хотят поблагодарить вас за хлеб за соль, — шепелявила она старческой скороговоркой.

— Что ж, Кузьминишна, пусть войдут.

Калики перехожие уже стояли в дверях и, не дожидаясь приглашения, затянули божественную кантату:

Человецы Божии,
Придите послушайте,
Мы про чудную чуду скажем,
Про Агликова сына, про Василия,
Про святителю Николу Чудотворца...

Пение тянулось очень долго, а Кузьминишна стояла у дверей, пригорюнившись, и, слушая калик перехожих, горько плакала...

Весь этот день, по уходе Гриднева и калик перехожих, Бармитинова провела в тяжелом, каком-то безотрадном раздумье. В последнее время ее тихая жизнь в Варгунах, где она считала себя заживо погребенною на пользу других и во имя добра, была возмущена и новыми встречами, и приливом новых, давно не испытываемых ею ощущений. «Погребение себя заживо на пользу других — неужели это разумный акт воли человеческой? — думалось ей. — И неужели погребенный может приносить пользу?.. Странно... Непонятно... Только одна бессмысленная сила может толкнуть живого человека в могилу и сказать ему: ты будешь служить пищею другим существам, червям, которые столь же необходимы в разумной экономии природы, как и ты, существо думающее и чувствующее... Странно, непонятно...»

Память ее воспроизводила перед нею мельчайшие подробности последних дней, все, что она видела, слышала, чувствовала. Пережитые ею ощущения переживались вновь с поразительною живостью, а все, что говорилось ею и другими, вставало перед нею в живых образах, а навеянные на нее мысли и вопросы жизни настойчиво требовали разрешения, ответа, отказа или согласия. То вставал перед ней человек, мыслью о котором она жила целые десять лет, и казалось ей, что под его логикой, как стекло под тяжелым обухом, разбивалась ее собственная логика, а логика эта, по-видимому, была не хрупкая, далеко не ломкая, логика выстраданная, добытая как результат целой жизни, проверенная, как строгие математические истины. То проходили перед нею сцены, созданные ее воображением на основании рассказа калик перехожих о том, как люди голодают, как мать в бессилии голода съедает свое собственное детище, — сцены, возможность которых отвергает и рассудок, и сердце, но которые были, есть и, может быть, будут еще, которые, наконец, встают в воображении живыми, исполненными страшного драматизма, и мучат, как кошмар. То выступали перед ней в каких-то неопределенных образах картины и лица из того, что говорил Гриднев: то дикие звероловы в виде Нимвродов, Тамерланов, Аттил, то акционерные цари в виде Ротшильдов, Берингов, в мантиях из кредитных билетов и акций, то купцы и перекупщики, думающие только о своем собственном счастье, о том, как набить свои сундуки золотом, кредитными билетами и акциями, и которым до других дела нет...

Вообще впечатления последних дней давили Бармитинову и не давали ей ни отвлечься чем-либо посторонним, ни заняться какою-либо работою, как это она делала до сего времени. Пасмурность полуосеннего дня, серые тучи, видимо, одержавшие победу над обессиленным солнцем, ветер, напевавший скучные песни и мутной рябью с белесоватыми валами безобразивший Волгу, по берегу которой так любила гулять Бармитинова, — все это удерживало ее дома, тогда как в другое время она уходила далеко от Варгун и непосредственным соприкосновением с природой восстанавливала свои силы и давала трезвое, не тревожное направление своим мыслям. Классов в этот день также не было, потому что это был праздничный день, и потому никакое внешнее отвлечение не могло вывести ее из мечтательной, но тяжелой созерцательности, и ей казалось, что в это самое время ей всего тяжелее было оставаться самой с собой.

Она села играть, но клавиши рояля как бы заодно с ее думами и с ее нервами вызывали перед ней только те образы, которые были с нею неотходно десять лет, с которыми она сжилась, но которые не могли подействовать успокоительно, и смурные образы ее невеселого прошлого не могли превратиться в образы светлые, радостные. В звуках рояля выражалось только то, что пережито, передумано и перечувствовано в эти десять лет, а она устала уже и от этих дум, и от этих ощущений. Ей казалось, что она стояла уже на рубеже другой жизни, что думы ее должны принять другое направление, что и звуки рояля должны говорить не то, что говорили до сих пор, и потому ей не хотелось оглядываться назад, поворачивать голову к прошлому, когда в будущем виднелось что-то другое, не похожее на прошлое, но что именно — она не могла разглядеть и не могла создать сама образа этого будущего, за неимением руководящих данных.

Она брала книгу, чтобы отдаться чтению, которое до сих пор во многом заменяло ей отсутствие жизни, но мысль ее невольно повторяла:

Пропала книга! Уж была
Совсем готова — вдруг пропала!

То вдруг представлялся ей Стожаров в виде этой пропавшей книги, и видела она двух Стожаровых: один, которого она ближе знала и который казался ей своим, с образом которого она сжилась в продолжение десяти лет, был студент, такой серьезный, с таким бледным, строгим лицом, на котором, кажется, могла появляться только скорбная улыбка, и

который говорил: «Иди, заработай себе право на счастье суровым трудом, долгим, безропотным служением на пользу других; иди — и пусть сердце твое не знает радостей, пусть голос твой никогда не звучит веселым беззаботным смехом, пока я не приду и не скажу тебе, что ты исполнила свою задачу жизни, не развеяла на ветер твои богатые силы, чтобы приготовить себе скучную, томительную, брюзгливую старость, полную сожалений о бесполезно потраченных силах, полную ужаса от сознания, что и эта бесполезная, пустая жизнь должна скоро прекратиться бесследным уничтожением и тебя, и памяти о твоём бесполезном существовании». Другой Стожаров был не тот, которого она знала прежде, — и образ не тот, и речь не та, хотя и этот образ и эта речь воспроизводили что-то далекое, давно любимое, что-то похожее на того сурового студента, памятью о котором жила Бармитинова в течение десяти лет. Этот второй Стожаров был как будто чужим ей, хотя в нём просвечивало давно знакомое ей лицо и в голосе его звучали те же ноты, от которых и прежде сердце ее усиленно билось и которые звучали ей только в воображении в продолжение десяти лет. То же суровое, но только более мужественное лицо, та же кривая улыбка, тот же строгий, редко ласкающий взгляд, но только на лице этом более густые тени налегли, более резкости и определенности в очертаниях этого лица, хотя менее резкости и суровости в слове, в приговоре...

То вдруг на мгновение ее охватывала безотчетная радость, и, вдумываясь в источник этой радости, она невольно мечтала: «Все прошло и не воротится больше, и темные тени моей жизни отошли далеко-далеко, а с этими тенями миновала и томительная неизвестность... Я видела мое солнышко, и тени ночи не закроют его больше от моих глаз...»

Но тут же ей слышался знакомый голос, которому она так привыкла повиноваться: «В наши дни, когда вокруг так много страданий, когда скорбных явлений в жизни не в меру много, любовь — преступление, и отдавать любви хотя бы малейшую частицу сил, нужных для борьбы с драконами, грифонами, минотаврами и другими чудовищами нашего века — подло, недостойно человеческого призвания».

Она сидела задумчиво, забившись в угол дивана, и очнулась только тогда, когда на пороге показался Кузя Ногин. Мальчик был чем-то огорчен, глядел исподлобья, и надутые губы изобличали крайнее недовольство существующим порядком вещей.

— Ты что, милый? — спросила Бармитинова. — Иди ко мне.

Мальчик переминался и сосредоточенно глядел в свой картуз, козырек которого он мял немилосердно.

— Говори же, ты чего боишься?

Мальчик молчал, пыхтел и окончательно сломал козырек. Девушка подошла к нему.

— Тебя обидел кто-нибудь? — спрашивала она. — Верно, опять казенные ученики?

— Нет, они пошли рыбу удить, — отвечал наконец мальчик.

— Кто же обидел тебя?

— Дедушка.

— А за что же он обидел тебя, милый?

— За ухо обидел.

Девушка улыбнулась.

— Так, верно, ты провинился чем-нибудь перед дедушкой, он даром не накажет... Чем же ты провинился, говори.

— Звездами провинился, — отвечал он, еще более надувая губы.

— Как звездами? Какими звездами?

— Звездами, Варвара Григорьевна, планетами провинился.

— Я не понимаю тебя... Говори яснее.

— Дедушка говорит, что звезды попадают, а я говорю нет.

— Как попадают? Куда попадают звезды?

— На землю... Дедушка говорит, что при конце света все звезды упадут на землю, как листья с дерева. А я говорю, что звезды не упадут, они больше земли.

— Так за это тебя дедушка и наказал, бедный мальчик?

— За это... — И Кузя начал опять плакать, и сквозь слезы приговаривал: — Вы нам не говорили, что звезды попадают на землю... Ведь вы нам не говорили этого, Варвара Григорьевна? — спросил он вдруг, заглядывая ей в лицо.

— Не говорила.

— Ну, так дедушка врет.

— Ах, какой ты! Не говори так дерзко.

— Что ж, Варвара Григорьевна! Врет: звезды никогда не попадают на землю — они больше земли, а он говорит, что они как листья с дерева упадут.

— Не говори, что дедушка врет: это нехорошо, это очень дурно так говорить... Дедушка говорит правду.

— А я? — спросил мальчик с удивлением.

— И ты говоришь правду.

Мальчик посмотрел на нее с недоумением.

— Так звезды упадут на землю? — спросил он.

— Упадут... Но это надо понимать иносказательно.

— А что такое иносказательно? — снова спросил он.

Положение учительницы было довольно неловкое: надо было объяснить мальчику, что такое значит иносказание, и в то же время лавировать между двумя уверениями, что звезды и упадут на землю, и не упадут, что падение их надо понимать аллегорически и что падение это невозможно по законам тяготения. Как бы то ни было, Кузя остался доволен объяснениями учительницы, и, убегая от нее, толковал сам с собой, надевая картуз: «Я это растолкую дедушке... Звезды упадут иносказательно, а козырек сломался...»

Оставшись одна, Бармитинова опять было забила в угол дивана, но, увидев на столике тетрадку, оставленную Мариною, взяла ее и стала перелистывать.

Глаза девушки остановились на одной странице, которая приковала ее внимание. Пробегаая ее, она грустно качала головой и говорила вслух сама с собой: «Бедный, бедный!.. Вот начало его помешательства, и какое странное помешательство!»

На странице этой Канадеев писал, видимо, дрожащею рукою и с порывистою скоростью, как бы боясь забыть то, о чем он хотел писать:

«Я начинаю верить видениям, а я отвергал их, как создания больного мозга и разнузданной до болезненности фантазии. Нет, если это и действительно создание больной воли и расстроенных нервов, то уж вовсе не беспричинные создания: их не может отвергать рассудок, потому что они не отвергаются чувствами... Мои видения я вижу глазами, голос их, речь их я слышу моим напряженным слухом, форму видений и их плотность даже я осязаю... Это не видения, не призраки, а такие же существа, как я, живой, думающий, говорящий и чувствующий, такие же предметы, как этот стол, на котором я пишу, на котором сейчас лежала моя усталая, горячая голова.

Видения есть, и они такие же явления природы и ее таинственных сил и законов, как вот эта тускло горящая передо мною свеча, как этот однообразно тикающий маятник часов, как вот этот поющий в трубе полуночный ветер. Но видения эти бывают только тогда, когда человек способен принять их своими физическими чувствами, когда

человек имеет волю видеть их. Глухой не слышит звуков, для него звуки не явления природы, для слепых глаз непонятны оттенки цветов, голос человеческий не может звучать в безвоздушном пространстве... Не всякому дана и способность воспринимать видения. Мне она дана, другим не дана.

Я жду моих видений, и видения придут ко мне, как приходили вчерашнюю ночь.

Вчера ко мне прилетала моя птица... Она прилетала и прежде, но я тогда не был способен видеть ее, слышать ее. Она прилетала ко мне еще тогда, в публичной библиотеке, но я не умел видеть ее: я только слышал веяние ее крыльев, а мне казалось, что то был шепот книг на полках, тихий говор мертвых, когда-то думавших над этими книгами, страдавших над ними и писавших эти книги.

Вчера я думал, много думал о судьбе России, о месте, занимаемом ею в ряду государств земного шара, о значении ее в славянском мире, о ее будущности, и ко мне прилетала моя птица, шумя крыльями. От веяния этих крыльев, как от веяния тихого весеннего ветерка, шевелились мои волосы и сами собой тихо колебались легкие бумаги на моем письменном столе.

— Ты о чем думаешь? — говорила птица, шумя крыльями за моею спиною.

— Я думаю о России, и о многом думаю я, и нет конца моим думам, — отвечал я.

— Зачем же тебе думать о ней, когда не твоим слабым силам помочь ей? — спрашивает она.

— Правда, силы мои слабы, и не этим слабым единичным силам дать полное счастье России, но тогда вынь из-под этого черепа мозг, чтоб не думать мне о ней, вынь из-под этих ребер сердце, чтоб нечему было болеть за Россию, нечем было мне любить ее и ее народ.

И слышал я только шум крыльев птицы, и видел, как от веяния крыльев сама собой перелистывалась книга, лежавшая у меня на столе. Шум постоянно увеличивался, тихое веяние превращалось в ветер, и ветром этим задуло свечу, горевшую у меня на столе. Мне стало страшно во мраке и холодно, но тело мое, казалось, становилось легче и легче, и я, чувствовалось мне, летел куда-то, не видя ни моего стола, ни моей комнаты, не слыша тиканья маятника моих часов, ни шороха бумаги на моем столе...

Я действительно летел... Внизу, далеко под моими ногами брезжились огоньки, и, вглядываясь в них, я узнал, что то

были огни фонарей, как светящиеся точки, расходившиеся по разным линиям, начиная от светлого центра и исчезая у конца радиусов неправильной окружности... Я пролетал над Петербургом, я оставлял его за собою, и он скоро исчез во мраке с его светлыми точками, а под моими ногами уже не видно было ничего, и только надо мною искрились звезды, не имея силы своим слабым светом осветить темную землю... Я ничего не слышал, кроме шума крыльев птицы... Мне стало страшно, мне стало жаль чего-то, мне стало жаль и земли, и России, и Петербурга...

— Куда мы летим? — спросил я.

— Я покажу тебе то, о чем ты думаешь, — отвечала она.

— О чем я думаю, того показать нельзя: думы мои не могут получить ни определенных форм, ни определенных образов.

— Никакие думы не могут быть вне формы и вне образов: без форм и образов немислимы создания ни рук, ни мысли человеческой.

И под нами, и над нами, и за нами была ночь беспроесветная, тьма непроглядная, только вдали перед нами оттенялась от земли светлая полоса: мы летели навстречу утру, и утро шло навстречу нам. И глубоко под нами начали выделяться очертания земли, и предметы становилось явственнее, и видны были очертания деревень, таких жалких, таких бедных, и над серыми избушками вился уже дымок, и из этих серых избушек выползали такие же серые существа, и некоторые из них, глядя на восток, крестились.

— Вот что люблю я! Все, что виднеется подо мною, дорого мне, — говорил я, — всему этому, дорогому мне, я хотел бы счастья, но нет у меня силы дать это счастье всему, что я люблю.

— Данное счастье — не полное счастье, только взятое счастье — полное, прочное счастье, — говорила птица.

Мы летели дальше и выше, и видел я, как выкатывалось солнце из-за горизонта, и когда выкатилось оно, передо мною явственно открылась целая половина земного шара, освещенная утренним солнцем.

— Видишь ты всю эту картину разом? — спросила птица.

— Вижу, — отвечал я, и сердце мое колотилось каким-то великим, никогда не испытанным мною чувством.

— Явственно ли очерчивается перед твоими глазами вся Россия, от пролива Беринга до Кракова и от Вайгача до Арарата?

— Явственно... Я вижу города ее, и реки ее, и озера, леса и горы... Я вижу миллионы живых существ, двигающихся на этом необъятном пространстве.

— Вот что ты любишь, — говорила она... — А видишь ли ты

В убранстве и блеске весь западный край,
Мораву, и Лабу, и дальнюю Саву,
Гремящий и синий Дунай?

Видишь ли ты Прагу?

— Я все вижу, — отвечал я, не удивляясь даже, что птица говорит стихами Хомякова.

— Ты все это любишь, все это дорого тебе, обо всем этом болит твое сердце.

— Все люблю, обо всем болит мое сердце... но это близкое дороже мне, чем то далекое.

И стал я плакать, глядя на все это дорогое мне и близкое, и капали с моего лица слезы в необъятное пространство, над которым носились мы, и видел я мои собственные слезы, как блестели они, подобно бриллиантам, под лучами солнца... Но долетали ли мои слезы до земли, я этого не видел... Я все плакал, и плакал горько давно накопившимися слезами; за слезами я уже не видел потом ни России с ее городами, степями широкими и лесами темными, исчезла из виду и Прага, и синие реки славянские... А я все плакал, все плакал, припав головою к ладоням.

— Не слезы нужны твои тому, что тебе дорого, слез и без того много пролито на всем этом необъятном пространстве, которое ты видел; нужны руки работающие, головы мыслящие, сердце любящее... Любовь без дел мертва, — говорила птица.

Я перестал плакать. Я смотрел на землю, но то, что я видел на ней, и о чем я плакал, я уже не видел.

Мы спускались, казалось, ниже к земле, но земли я не видел.

— Где же земля? — спрашивал я. — Где Россия моя милая?

— Смотри и увидишь.

Я смотрел и видел то, что я люблю, нашу дорогую Россию... Вдали стоял «колосс на глиняных ногах», а у ног его клубились волны моря.

— Вот то, что ты любишь, — говорила птица.

— Да, это северный колосс на глиняных ногах.

И видел я громадное тело гиганта, заслонившее собою целую половину земного полушария. Но гигант стоял твердо,

устойчиво на своих глиняных ногах; эти ноги омывались волнами бурного моря, волны яростно хлестали в подножие гиганта, поднимались выше и выше, но, бессильные, опять возвращались в море, и опять поднимались, опять набегали на громадные ступни гиганта, и не могли размочить глины, не могли поколебать устоя гиганта.

И стал я ближе вглядываться в лицо громадного колосса и видел, что глаза его закрыты... Колосс спал... А бессильные волны продолжали набегать на него и разбивались в брызги, как о гранитный утес. На плечах и на шее у гиганта копошились люди, и казались эти люди пигмеями в сравнении с гигантом, и взбирались эти люди на лицо гиганта, старались поднять его громадные веки и ресницы, чтоб разбудить его, заглянуть ему в глаза... А гигант все спал... Другие пигмеи, мирмидоны и лилипуты старались связать руки спящего гиганта, старались отнять у него из рук огромную дубину, на которую он, сонный, опирался, но сонные пальцы крепко держали палицу, и мирмидоны продолжали лазить по необъятному телу гиганта, забивались к нему в уши, путались в волосах, старались проникнуть в самое сердце... Но и громадное сердце гиганта спало и билось медленно, медленно...

— Что же значит, что у гиганта глиняные ноги? — спрашивал я.

— Гигант, — отвечала птица, — это необъятное всеславянское тело... Голова, сердце, туловище и руки — это Россия, от пролива Беринга до Кракова и от Вайгача до Арарата, а ноги — остальной славянский мир: болгары, сербы, хорваты, чехи... Ноги гиганта только кажутся глиняными, потому что враги славянства слишком много славянской крови пролили на эти ноги, и засохла эта кровь от времени, и потеряли они свой цвет, и оттого глиной кажутся гигантские ноги, запятнанные кровью...

И вглядывался я ближе в гиганта, и казалось мне, что на ногах у него ржавые оковы.

— А что на ногах у гиганта? — спрашиваю я.

— Оковы, залитые славянской кровью, — отвечала она.

— А кто надел оковы на эти огромные ноги?

— Турки, немцы и все враги славянства, они надели оковы на ноги великана.

— Отчего же, — спрашивал я, — гигант не освободит своих ног от оков турецких и от пут немецких?

— Гигант спит, и не чувствует, что его ноги в цепях, не слышит, что ноги эти обливаются славянской кровью... А

проснись он, и оковы порвутся на его ногах, как гнилые нитки, как та паутина, которую разрывает желтый шершень.

— Отчего ж никто не разбудит гиганта? — спрашивал я.

— Будили, но гигант не просыпался, или спросонок сбрасывал в море тех, которые будили его.

— А кто будил его? — спрашиваю.

— Те, над которыми смеются в России, которых называют мечтателями... Но их так много.

— Отчего же не будят его?

— Будят... Но он, просыпаясь на мгновение, равнодушно смотрит на свои ноги, не признавая их своими: это, говорит, не мои ноги, мои в лаптях.

И стало смешно мне и уже не хотелось мне плакать... Мне припомнился тот хохол, который купил себе на ярмарке новые чеботы и уснул, раскинув ноги на дорогу, а с него, с сонного, кто-то снял чеботы, и когда проезжали чумаки и разбудили хохла, предостерегая его, что проедут по его ногам, он, не узнавая спросонок своих босых ног, говорил: «Проезжайте по ногам — это не мои: мои в новых чеботах».

И картина моего видения изменилась...

Не видел я колосса на глиняных ногах, а пролетали мы под жарким солнцем юга, и глядел я с высоты на Лабу, Мораву и дальнюю Саву, на синий гремящий Дунай, и вдали виднелся мне в убранстве и блеске весь западный край. И расстилались под моими ногами прекрасные страны, но нивы их были не вспаханы и не убраны, жалкие стада бродили без призора, и так мало было этих стад. И слышалось мне звяканье цепей, и доносились до меня людские тяжелые вздохи...

— На ком это звякают цепи? — спрашивал я. — Или это жалкие стада ходят в железных путах?

— Нет, — отвечала мне птица, — не стада то ходят в железных путах, а то цепи звякают на людских ногах, то турецкое и немецкое железо перетирает белую кость человеческую.

И стало мне страшно летать над этими прекрасными странами, освещенными жарким солнцем юга. И спрашивал я:

— Чья же белая кость перетирается турецким и немецким железом?

— Белая кость славянская перетирается железом, — отвечала она, — глухое звяканье ржавых цепей — то на ногах болгарских, а звонкие цепи — то новое железо немецкое на сербских, хорватских и чешских ногах.

И снова плакал я горько, слушая музыку ржавых и новых цепей, и опускался ниже к этим несчастным странам, чтобы

видеть их, чтобы поплакать над ними, и жгучие слезы катились по моему лицу, и падали эти слезы и в Лабу, и в Мораву, и в дальнюю Саву, в гремящий и синий Дунай.

И долго носились мы над несчастными славянскими землями, и много слышал я стонов, и долго слушал я, как звякали цепи.

Потом услышал я голос незнакомой мне песни, и столько было мелодии и силы в этом пении, столько чарующей прелести, но слов песни я не слышал.

— Отчего же слов я не слышу? — спрашивал я.

— Вслушайся и услышишь.

Я вслушивался. Песня пелась на знакомом мне языке, но не на русском.

«Ох, бедствия несчастного народа! — пел незнакомый голос. — Каждый его ненавидит, каждый презирает, каждый от себя его гонит, а он стонет в несчастиях. Милый Божел! Ужели правда, что ты за грехи старого деда караешь сына? Много же твоего гнева навлекли отцы на наши головы, когда нас так устроили!.. Вот над одними бешенствует блудный турок, крадет имение и целует девушек, а потом, чтобы известить весь народ, делает из детей наших янычар. Вот других гонит мадьяр, степной кочевник, оскорбляет нашу честь, бьет народ. Вот третьих ученый немец, от рождения старый обманщик, хочет всюду нас придавить, и чтобы его орел-птица более развернула свои черные крылья, сгоняет наших граничар. Только для себя не имеем мы силы, только для себя не имеем славы: знамена наши разодраны, разорены все твердыни... И ты пал, славный Дубровник, алмаз-камень на морском берегу, теперь *рабство* написано на твоём знамени, певцы твои замолчали. Но как у змея, рассеченного натрое, всякая часть бьется, ползет, извивается, пока не умрет, чтобы соединиться с головою, так и народ наш бежит за *слагою*: увидел он денницу, засияла ему уже заря, пробил роковой час — вперед, вперед без отдыху!..

Ударяй, ударяй, о страшное море, в берега славянские, пока на этих берегах живет притеснитель! Далмация, соколиное гнездо! Вот я вижу все твое приморье, Задар, чудный шебеник до Склиша, все до славного Дубровника, моей отчизны. Отовсюду повис над ним мрак, а сквозь него горная вила так вопит, что гора трясется и говорит, бедная: «Здесь сошлись два брата, лица у обоих одинаковые, черные очи, усы до плеч, могучие груди, сильная рука, та же душа, тот же прекрасный язык, а когда бы подружились — чудо! Один хорват, а другой серб, друг друга не хотят они знать. По-

знайте друг друга, познайте, несчастные, пока вам удобное время... Вы братья, дети матери одной, одно вас кормило молоко. Что вас ныне разделяет? Вера? Но Божья вера не должна производить раздора. Закон? Но вы все под чужеземцем... Соединитесь же, обнимитесь, братья... В тот час побледнеет притеснитель... Когда бы славяне были согласны, то это был бы наисильнейший народ».¹

И слушал я эту песню, и надеждою билось мое сердце, что вот-вот проснется гигант и распадутся цепи на его окровавленных ногах, и стоны не будут больше раздаваться ни на Лабѣ, ни на Мораве, ни на дальней Саве.

— Кто это поет? — спрашивал я.

— Это поет один из тех, что плачут и своими, и чужими слезами, что болят и своим, и народным сердцем, — отвечала птица.

— А имя его?

— Славянин граф Медо-Пучич, — отвечала она, шумя крыльями и унося меня на дальний запад.

И летели мы низко-низко над землею, и слышал я другой голос, как стон из могилы... «Сто раз я говорил, а теперь уж кричу к вам, о разъединенные славяне! Будемте целым, а не частицами, будемте всем, или ничем!..» — сто-
нал кто-то.

— Кто это стонет? — спрашивал я, прислушиваясь к словам.

— Мертвец стонет, — отвечала она.

— Где же он?

— В могиле... Это стонет славянский пророк, это Коллар.

— А слышит ли его спящий гигант?

— Слышит... Но глубок его сон...»

На этом месте чтение Бармитиновой было прервано приходом Кузьминишны, которая объявила, что барышне давно пора кушать. Бармитинова очнулась, как от глубокого сна.

XVI

Наступивший затем вечер застал Бармитинову все в том же нравственном состоянии, в каком она находилась весь этот день. К разнообразным впечатлениям, которые как бы давили ее своею тяжестью весь день, прибавилось еще какое-то ощу-

¹ Стихотворение одного из южных славян, графа Медо-Пучича, Сербия. В. Ламанского, стр. 19—20.

щение боли в сердце, точно она чувствовала, что вместе с сумасшедшим Канадеевым и она летает над землею и боится упасть в пропасть, точно она в самом деле слышит, как люди стонут в неволе и как на их закованных и потертых до кости ногах трется железо об железо. Она чувствовала, что нервы ее сильно возбуждены чтением, но она все-таки хотела продолжать это чтение.

Кузьмнишна, видя ее задумчивость, увивалась около нее, как около калик переходящих, и со старческой болтливостью, охая и вздыхая, пересказывала ей все мудреные истины и аскетические афоризмы, которые она узнала от нищих и на которые смотрела как на вдохновение свыше. Но Бармитинова не слушала ее. Болезненные бредни сумасшедшего возбуждали в ее уме целый ряд вопросов такого безотрадного свойства, что весь мир казался ей поставленным в безвыходное положение, из которого не мог вывести его ни ум человеческий, ни наука, ни вся коллективная деятельность человечества. Ее личное страдание исчезло, как капля в море, в страданиях миллионов таких же, как она, существ, и думающих честно, и чувствующих глубоко; но при всем том, хотя эта капля ее личных страданий тонула в море страданий масс, ей не было легче от того, и она болела сердцем и за себя, и за эти массы. Ей казалось, что все человечество в различной степени страдает органическим недостатком, который мешает ему быть счастливым, мало того — мешает ему быть сытым и одетым, огражденным от обид и оскорблений. «Или мало пищи дает земля, что не все люди на ней могут быть сыты? — думалось ей. — Где же те завоевания ума человеческого, которыми гордится человек девятнадцатого века, когда в этом девятнадцатом веке так же трудно достается человеку кусок хлеба, как он доставался и в девятом? Что же сделала наука, гордая своими победами, когда она не могла завоевать человеку право есть, когда он хочет?»

Эти вопросы вызвали перед ней образ Стожарова, который, казалось, говорил: «Подлое, подлое человечество! Какое оно имеет право есть, когда одна половина его бьется из-за куска хлеба и не может добыть его? Какое оно имеет право быть счастливым, когда в сердце его есть несчастные? Какое имеет право Европа ходить без цепей, когда она не могла или не хотела снять цепи с ног болгарина или серба, когда на ее глазах продолжает свирепствовать блудный турок и на Дунае, и на Кандии и продолжает ковать цепи и на серба, и на грека?»

И жаль ей стало этого Стожарова, как и всех тех, которые, жертвуя своим личным счастьем, покоем и довольством для счастья, покоя и довольства других, бьются во имя идеи добра и правды, а добро и правда все в загоне, и счастье человеческое по-прежнему продолжает быть философским камнем, только одному представляется оно в виде куска хлеба, другому — в виде безнедоимочной уплаты податей, третьему — в виде отсутствия турецкого насилия. И жаль ей было и себя, и всех «людей бессонных», как их называет Хомяков, которые всю жизнь свою и все свои радости убивают на отыскание философского камня, а философский камень все не отыскан, и для многих все продолжает оставаться недостижимым то кусок хлеба, то безнедоимочная уплата податей, то отсутствие турецкого насилия, хотя эти же «бессонные люди» дали человечеству и железные дороги, и телеграфы, и нарезные пушки, да только не дали — ни достаточно хлеба, ни достаточно свободы.

Между тем, как ни старалась она заслонить свое личное горе размашистою, грубо набросанною ее воображением картиною общечеловеческого горя, личное брало верх над общим, субъективное побеждало объективное, свои собственные слезы оказались горше слез славянских и греческих, и эти слезы закапали сквозь белые длинные пальцы, которыми девушка, наклонившись над столом, закрыла опечаленное лицо. Барминова плакала... Ей вспомнилось ее детство, годы учения, первые наслаждения развивающейся и крепнувшей мысли, первое ознакомление с произведениями ума человеческого и, наконец, знакомство со Стожаровым. Вспомнилась ей его суровая, жесткая фраза о женщине: «Я презираю женщину, потому что она не помогает мужчине бороться против зла, которым заполонено человечество... Женщина — это вечный торгаш на рынке невольников: или набивает себе цену и продает себя, пока молода, или продает на этом же рынке более молодых женщин, когда сама состарится»... И горько плакалось ей при воспоминании об этой жестокой фразе молодого ригориста. Ей казалось, что он и теперь презирает женщину за ее отсталость, за ее пошлость, за непродуктивность и ее мысли, и ее бесполезных рук. Ей страшно было, что он и ее презирает вместе с прочими, оттого и уехал от нее для каких-то земских дел.

И горячие слезы пробивались сквозь ее белые длинные пальцы и падали на стол, за которым в последние два года так много и думалось, и плакалось. Все тело ее вздрагивало от этого плача безотрадного, а губы шептали: «Где же вы-

ход? Где же счастье? Где спасение для женщины, когда ее и из спальни выгоняют, как наложницу, в которой не нуждаются?..»

В это время в сенях слышались шаги, и голос, который девушка узнала бы в сотне других голосов, спросил:

— Можно войти?

— Можно, можно, — быстро отвечала она, поднимая голову и стараясь, конечно тщательно, уничтожить на вспыхнувшем лице следы слез.

То был голос Стожарова. В одно мгновение на пороге показалась его точеная голова.

— Я являюсь, чтобы дать вам отчет в моих наблюдениях над земскими школами, — говорил он, — вы одни умели повести дело хорошо, а в других местах земские школы идут хуже чем худо.

— Я очень рада, — сказала Бармитинова весело, но стараясь так встать к свету, чтобы Стожаров не видел ее заплаканного лица и покрасневших глаз.

Но Стожаров увидел...

— Что это? — сказал он ласково, держа девушку за руку. — Великий Песталоцци плачет? Что с вами? О чем плачет великий Песталоцци?

— Нет, — отвечала девушка, пряча глаза, — это плачет не Песталоцци, а новая женщина.

— Новая женщина... прекрасно сказано, вы действительно новая женщина, каких у нас еще мало... Я к неновым женщинам присмотрелся... брр!... Но о чем вы плачете! Такие женщины, как вы, не плачут по пустому, и не розовое платье с бантиками выдавило эти слезы из ваших глаз, а что-нибудь очень едкое, отчего, вероятно, и мужчина заплачет... Что же такое?

Бармитинова не находила ответа. Ей было и стыдно, и радостно. Добрый голос Стожарова звучал точно голос старой няни, которая когда-то так любила маленькую Варю и которая своей лаской вызывала у Вари такие обильные слезы, но только не жгучие, не горькие слезы, а такие, после которых так сладко спалось и так весело было потом проснуться. И турецкие цепи на ногах у греков, и немецкий ошейник на славянах, человеческое бесхлебье, и тоскующая песня Медо-Пучича, которую слышал безумный Канадеев, и замогильный стон Коллара — все это прозвучало в добром голосе Стожарова, но уже не вызывало в сердце девушки едких болей, а только вызвало новые обильные слезы, как вызывала их когда-то ласка няни... Девушка опять заплакала

и опять закрыла глаза длинными белыми пальцами. У Стожарова и сердце, и голос как будто упали...

— Варвара Григорьевна! Варенька! Что с вами? — говорил он упавшим голосом. — Об чем эти слезы?

Девушка продолжала плакать.

— Или я должен уйти? — спрашивал Стожаров в недоумении.

— Нет, нет, — говорила девушка, — это... ничего... это... нервы... женщина плачет... Ведь и новые женщины умеют плакать так же, как неновые.

Она силилась улыбнуться. Она отняла руки от лица, взглянула в лицо Стожарова, который стоял бледный и безмолвный, и опять заплакала.

— Но смею ли я спрашивать о причине этих слез? — говорил Стожаров как-то растерянно.

— Смеете... Я вам сама скажу... Дайте только выплакаться...

— Но я не хочу, чтобы вы плакали... Я не могу видеть ваших слез, они падают мне на совесть... на мозг.

— Вы в них не виноваты... Виновата мать, которая родила меня, виновата голова моя, научившаяся думать, виновато все, но не вы.

Говоря это, она подошла к нему и взяла его за обе руки...

— Тогда я не умела *так* плакать, как теперь плачу, когда еще не знала вас, — говорила она, — но тогда я не умела и думать *так*, как теперь, и *так* чувствовать.

— О чем же вы плакали, говорите мне.

— Я плакала... обо *всем*... Иначе я не умею выразиться.

— Я понимаю вас, — сказал Стожаров, — и я когда-то плакал обо *всем*, когда был моложе... Я плакал, когда думал, что есть голодные на свете, плакал и тогда, когда слышал, как цепи звенят у кого-либо на ногах, одним словом, плакал оттого, что, как говорят поэты, весь мир хотел обнять, накормить, напоить, одеть и осчастливить.

— А теперь? — спросила Бармитинова с лукавой улыбкой, махая платком на свое заплаканное лицо.

— Теперь?.. Теперь у меня нервы стали разумнее и живут в ладу с мозгом... Теперь я не плачу, — сказал Стожаров задумчиво.

— И мир не хотите обнимать?

— Нет, в нем слишком много дураков и негодяев, и потому я с целым миром уж не обнимаюсь, боясь обнять и негодяя, и того, кому не нужны мои объятья.

— Так вы зачерствели?

— Зачерствел... Теперь, когда я вижу голодного, я просто даю ему кусок хлеба, а на цепи я поливаю кислоты, чтоб железо скорей ржавело и распадалось.

— А когда видите слезы, вот как мои, например?

— Я узнаю причину слез и, смотря по обстоятельствам, действую, но не плачу... А вы часто плачете? — вдруг спросил он, глядя прямо в глаза девушке.

— Иногда плачу.

— И обо мне плакали?

— Плакала.

— Когда? В начале нашей разлуки или после?

— И в начале плакала, и после плакала.

— И вам не стыдно это говорить мне?

— Не стыдно.

— Вы меня любите?

— Люблю.

— И больше никого не любили?

— Никого.

— Почему же?

— Потому, что считаю подлостью менять чувства, как и убеждения.

— Отлично, экзамен кончен. Я вам ставлю пять с плюсом.

— Очень вам благодарна, господин профессор, — сказала девушка, ласково глядя на Стожарова, — но позвольте и вас проэкзаменовать. Я не признаю превосходства мужчины перед женщиной и должна узнать, стоите ли вы того, чтобы экзаменовать меня.

— Узнавайте, — сказал Стожаров и наклонил голову в знак покорности.

— Вы обо мне плакали? — спросила Бармитинова.

— Плакал.

Девушка вспыхнула.

— И не хотели прийти ко мне? — спросила она, между тем как голос ее начал обрываться.

— Хотел, но не позволял себе.

— И вам не стыдно говорить, что вы плакали обо мне?

— Теперь не стыдно, потому что теперь я не плачу, а тогда не было стыдно потому, что плакал.

— И вы любите меня?

— Люблю.

— И никого больше меня не любили?

— Нет, любил и люблю.

Румянец мгновенно сбежал с лица девушки.

— Кого же? — спросила она чуть слышно.

— Дело, которому я отдал всю мою жизнь и которому хочу отдать все, что есть у меня самого дорогого!

— Что же это такое, что для вас дороже всего, кроме дела? — спросила она.

— Вы... в вас я нашел доказательство того, что я не ошибался в женщине: она еще может встать и выйти из унижения.

— Так вы меня хотите бросить в воду, как тот сумасшедший царь, который бросил перстень в море, или как Стенька Разин, который бросил в Волгу свою возлюбленную? — спросила Бармитинова весело.

— Нет, я брошу вас в пасть чудовища, как некогда бросили в море пророка Иону, и, как он, вы выйдете из пасти чудовища невредимой, и, как он, станете провозвестником начала новой жизни для женщины.

— Какое же это чудовище? — спросила девушка с любопытством. — Уж конечно не кит?

— Не кит, но страшнее кита... Вы его видели, но испугались, потому что меня не было с вами... А вместе со мной вы не испугаетесь этого чудовища.

— Я начинаю догадываться, — сказала она, и яркая краска опять разлилась по ее лицу.

Стожаров, который в начале этого разговора сел на диван рядом с девушкой, снова встал и начал ходить большими шагами по комнате и, по-видимому, не обращал никакого внимания ни на картины, которые висели по стенам, ни на письменный стол, на котором лежали книги и разные безделушки, украшающие письменный стол женщины (женских письменных столов так же мало на свете, как мужских корсетов), ни на рояль, на котором лежали развернутые ноты, ни на саму обительницу этой комнаты. Между тем Бармитинова следила за ним глазами, но не прерывала его молчания.

— Хотите ли вы быть моей женой? — вдруг спросил он, останавливаясь перед девушкой.

Она ничего не отвечала, только грудь ее сильно поднималась, она сама слышала, как билось ее сердце так сильно, что, казалось ей, и он мог слышать это биение.

— Хотите ли вы разделить со мною жизнь? — снова спросил он.

— Не знаю... Может быть, я не имею на это права, — отвечала она медленно, не поднимая головы.

— Отчего же? — спросил он тревожно.

— Я сомневаюсь, имею ли я право быть счастливою, когда другие несчастливы... Не будет ли это подло, — говорила она с расстановкой.

Стожаров подошел к ней и взял ее за руку.

— Тот, кто носил в сердце и в мысли десять лет эти слова, кто по словам этим расположил всю свою жизнь, — имеет право быть счастливым, — сказал он серьезно, но ласково. — Так вы пойдете со мной куда я вас поведу?

— Пойду, хоть в пасть чудовища... Если я шла за вами десять лет, не видя вас, то с вами вместе я пойду бесстрашно, и уже не буду плакать, — сказала она стыдливо.

— И будете помогать мне, будете работать со мной?

— Буду... Я уже забыла свое барство и умею быть усердным работником.

— Наше дело будет новое... не легкое, — сказал Стожаров.

— Я готова на все... Какое же это новое дело? — спросила она.

— Я вас познакомлю с ним, но только не теперь.

— Отчего же? Я хочу теперь знать, — говорила она настойчиво, — говорите мне, какое это дело?

— Вы знакомы с главными стремлениями современного общества? Знаете социальные доктрины?

— Кажется, знаю, — отвечала она задумчиво, — знаю и то, что эти порывы современного общества все еще не дали ему ни счастья, ни покоя, ни обеспеченного куска хлеба, ни свободы.

— К сожалению, правда, — сказал он грустно, — но люди искали счастья не там, где его нужно искать.

— И вы его искали? — спросила она.

— Искал... и в Европе искал, и в России искал... Шатался я везде, все испытывал, ко всему присматривался, был я и членом рабочих ассоциаций в Западной Европе, был и в среде людей, которые считают кровавые революции единственным путем к обновлению застоявшегося и вредного порядка вещей... Жил и в русских коммунах. Но все это не то, что нужно человечеству: все это — напрасные порывы к несозванному идеалу. Коммуна, какова она у нас в России, годится только для бедняка-студента, для гимназиста, для бедной, желающей работать, а не продавать свое тело, девушки-гимназистки, учительницы, сигналистки, телеграфистки. Она годна, пожалуй, и для горемыки чиновника, но это — не народная форма общины, и народ ее не поймет. Вы хорошо помните роман Чернышевского

«Что делать?» — спросил вдруг Стожаров, как бы вспоминая что-то.

— Да, помню... Этот роман многих девушек спас от падения и, мне кажется, не правы те, которые считают его безнравственным, — отвечала она, — весь вывод его — похвала труду, и если другие вывели дурное заключение из чтения этого романа и погибли, как стараются это доказать противники Чернышевского, так это потому, что эти другие — глупы и погибли бы, если б даже и не читали Чернышевского.

— Это ваше мнение?

— Да, мое... Я сама училась жить и думать по «Что делать?» и, как видите, не пошла «дорогой обычною».

— Я согласен с вами, — сказал Стожаров, — но, признаюсь вам, я заглянул дальше той черты, где кончается учение Чернышевского, и нахожу, что идеалы его узки и односторонни. Он очертил для своих идеалов очень ограниченный кружок, и доктрины его в применении к жизни не пошли дальше устройства магазинов и швейных. Такие магазины я видел, и все они очень неудачно вели свои дела и лопнули.

— Отчего же?

— Оттого, что устройство этих магазинов сочинено в кабинете, а не взято из жизни... Надо было действительно потереться по швейным да видеть всю изнанку этого дела, чтоб создавать рабочие ассоциации для женщин... Да притом не модные магазины нужны русскому народу... Я знаю, что ему нужно, и мы с вами начнем это дело.

— А если и вы так же увлекаетесь, как увлекался Чернышевский? Что, если и ваши идеалы, как идеалы Чернышевского, через пять лет окажутся и устарелыми, и узкими, и односторонними? Да и можете ли вы безопасно проводить в народ ваши новые доктрины, которых я, признаюсь, не понимаю еще? Что, если вас, как подстрекателя народа и подозрительного господина, схватит наш варгунинский становой, претендент на мою руку и сердце? — спрашивала Бармитинова.

— Эй! Не говорите мне этого! Не относитесь так легко к тому, что выстрадал я годами тяжелых сомнений, годами мучительной борьбы и с людской глупостью, и с людскою злобою, — говорил он, по-видимому, глубоко огорченный ее недоверием, — не заговоры я составляю и не революций ищу я, потому что и то и другое считаю непростительными ошибками людей... А! Какое подлое, звериное учение, которому так долго верили люди девятнадцатого века!

— Какое учение? — спросила она. — Какое звериное учение?

— Разве вы не знаете? — сказал он, и глаза его засверкали. — Говорят, что только то здание прочно, цемент которого замешан кровью человеческой. Разве это не звериная доктрина? Звериная! Положительно звериная! Моя доктрина иного рода: все, что забрызгано человеческой кровью, — погибнет бесследно. Все, что сделано тайно, заговором, — подло. Заговор даже против моих здешних врагов, даже против врагов человечества — подлость, воровство. Ведь вы не решитесь украсть у человека ничего, даже той вещи, которую он украл у вас? Не согласитесь?

— Да, не соглашусь... Я скорее обличу вора, а не перекраду украденного.

— Так говорит и моя доктрина, и я готов проповедовать ее и на площадях, и в церкви, и меня не сочтут ни подстрекателем народа, ни заговорщиком, — говорил Стожаров с более и более возрастающею силою.

— Ах Григорий Борисович! — возражала девушка. — Я не сомневаюсь в честности ваших доктрин, но...

— Что же но? Доканчивайте, не мучьте меня! — говорил Стожаров с какою-то неудержимою страстностью в голосе. — Для меня это вопрос жизни и смерти... Неужели от вас я встречу то же возмутительное возражение, которое бросали мне в глаза брюссельские вожаки рабочих ассоциаций: «Вы идете дальше отца Анфантена, но упадете ближе его»... Проклятое возражение! Говорите же вы, досказывайте, что кроется под вашим но?

— Успокойтесь, пожалуйста, Григорий Борисович! — говорила девушка ласково, взяв его за руку. — Не волнуйтесь, не падайте духом... Я не скажу вам того, что вы слышали от брюссельских вождей... Я решаюсь только спросить вас: уверены ли вы, что ваши честные доктрины, ложно понятые массою, не сделаются чем-то вроде палицы Перуна, которою глупые новгородцы сами себя убивали?

— Но помилуйте вы меня! — отвечал Стожаров с тем же увлечением. — Мои доктрины слишком просты, чтоб их можно было перетолковать... Я хочу только, чтоб у всех был кусок хлеба... Что ж тут непонятного?

— Да, это понятно. Но как это сделать?

— Я хочу доказать и докажу, — продолжал он, не слушая возражения, — что применение людьми дарвиновской теории о пожирании мелких особей крупными так же возмутительно, как проповедование людоедства в Европе... Понятно вам это?

— Понятно, однако...

— Я хочу, — продолжал он, — чтобы результаты, добытые наукою и кровью миллионов людей, не обращались на головы этих же бедных людей...

— Я слушаю вас, я не возражаю вам, — говорила девушка покорно.

— Нет, вы говорите мне о палице Перуна...

— Я сказала, может быть, неосторожно, потому что не знаю вашего учения, но вы можете быть уверены, что я сумею быть вашим прозелитом, как была им десять лет.

— Десять лет! — сказал он в каком-то раздумье. — В эти десять лет тяжелой внутренней борьбы и тяжелыми муками сердца я выстрадал мои настоящие верования... Десять лет я, буквально, бродил по миру, выискивал, не найду ли уголка, где бы человеку жилось хорошо, где бы рядом с развратом избытка не томился голодом и неизвестностью о завтрашнем дне горемыка пролетарий, где бы сила не давила все слабое и беззащитное, где бы не лились слезы забитого и загнанного. В десять лет я исколесил всю Россию и всю Европу, выискивая этого счастливого уголка, и не нашел его. Десять лет я изучал все социальные теории, все трактаты честных тружеников человечества о возможности лучшего устройства человеческого общества, изучал я всевозможные системы экономистов, перебивал во всех общинах Западной Европы, во всех ассоциациях, приглядывался к устройству артелей, жил и голодал в наших петербургских коммунах, — и отовсюду выносил тяжелое убеждение в том, что или наука бесполезно трудится над выработкой истинной теории добытия человеческого счастья, потому что счастье это — логический абсурд, или земля слишком тесна и слишком бедна, чтобы накормить досыта живущих на ней людей и одеть дрожащее от холода тело этих несчастных. Но при таком страшном, унижительном для человечества убеждении я не мог долго оставаться: это было не убеждение, а ужас возможности такого убеждения, и я отвергал его всецело и сердцем моим, и мыслью моею... И я опять бродил по свету, опять искал выхода, не для себя, а для тех, для кого действительно не было выхода из этого ада, который люди сами устроили себе на земле, которою они же распоряжаются.

Он замолчал и как бы забыл, что говорит не сам с собой.

— И что ж, нашли этот выход? — спросила девушка тихо и робко.

Стожаров как бы очнулся от тяжелого забытья и выпрямился.

— Как странно все это, — сказал он, не отвечая на вопрос Бармитиновой.

— Что странно? — спросила она, боясь даже этим вопросом встревожить своего собеседника, потому что не могла не видеть той болезненной возбужденности, в которой он находился.

— Странно, что нашему веку выпало на долю выносить на своих плечах ошибки наших отцов и вытаскивать из пропасти всех, кого эти ошибки толкнули в эту пропасть, — сказал он с большим против прежнего спокойствием. — Впрочем, что ж тут странного? Это так естественно, что человек всегда хватается за больное место. Ведь уж положительно невозможно, чтобы дела продолжали идти дальше так же скверно, как шли до сих пор. Всему есть мера. Мы должны во чтобы то ни стало добиться, чтобы дела шли лучше.

Он снова остановился и задумался. Бармитинова не прерывала этого молчания.

— Что это, однако, — сказал он, вдруг спохватившись, — я пришел к вам свататься, а между тем говорю речь, которую приличнее было бы сказать брюссельским рабочим, моим старым приятелям. Простите меня, добрая Варвара Григорьевна, вы видите, что человек, долго носивший в себе заветные убеждения, становится каким-то мономаном. Я думаю, я кажусь вам странным?..

— Нет, — отвечала девушка с полной откровенностью, — таким я знала вас давно и таким опять нашла, когда уже думала, что совсем потеряла. Напротив, я рада, что вы все тот же.

— Тот же! — сказал Стожаров с грустной улыбкой. — Вглянитесь в мою голову, на ней слишком много серебра... Эти десять лет прошли не даром. Скоро совсем побелеет эта беспокойная удалая головушка.

— Что ж, — отвечала девушка, — вы будете еще красивее... Впрочем, и меня время сильно задело своим размашистым крылом. Разве я прежняя? — спрашивала она, стыдливо опуская глаза, в которых было света больше, чем в прежнее время.

— Прежняя... Только лучше прежней... Что-то глубокое, бездонное в глазах, чего я теперь понять не умею... А прежде понимал.

— Я вижу, старый студент льстит... Разве вы не видите, что я стала старою девой? — сказала девушка весело.

— А вам сколько теперь лет? — спросил Стожаров.

— Двадцать пять.

— О! Так я перед вами Мафусаил.

— Да и я не моложе Сары.

— Однако мы женимся? — спросил вдруг Стожаров, взяв девушку за руку.

— Женимся, — отвечала девушка, доверчиво глядя ему в глаза.

— Когда же?

— Ах да! — вдруг спохватилась она. — А что же будет с моей школой, что будет с моими Телемахами?

— О Телемахах мы поговорим после... Теперь весь вопрос в Пенелопе и в Одиссее. Одиссей воротился к своей Пенелопе, и она может на время отложить окончание своей ткани.

— Но мне так жаль будет расставаться со школой, где и думалось так много, и плакалось много.

— Я вам дам другую школу, вместо свадебной корзинки, — сказал Стожаров, — можете там думать сколько угодно, но только не плакать.

— Где же эта школа?

— В новом государстве, которое мы с вами должны основать.

— Как! Новое государство? И мы будем в нем Ромулом и Ремом?

— Нет, мы, скорее, будем волчицей, которая воспитает наше новое государство.

— А варвары не разрушат наше государство?

— Нет, мы просветим всех варваров, и они станут нашими союзниками.

Бармитиновой и радостно, и грустно было слушать эти речи человека, памяти о котором она не изменяла в течение десяти лет, которому посвящены были лучшие движения ее сердца, самые высокие и благородные побуждения ее ума, которого она любила, наконец, тем сосредоточеннее, чем более сосредоточивалась в себе самой, чем полнее было ее самозаключение и отчуждение от всех радостей жизни, хотя нередко пошлых и недостойных человека, но все же пополняющих и пустоту времени, и пустоту сердца. А ее сердце и ее мысль были полны только им, памятью о нем и завещанным им делом. И вот после десятилетней разлуки он остается все тем же холодным и сдержанным, и, как тогда, у него на первом плане его фантазия, а не она, не ее привязанность. Хоть бы одно ласковое слово, хоть бы одно сердечное движение — для нее собственно, а не для какого-то призрака, которым он жил целые десять лет... Какой-то червяк возился в ее сердце...

— Вы как попали сюда, в эту глушь? — спросила она, взглянув ему в глаза, как бы рассеянно перенося свой взгляд от одного угла комнаты до другого и на дороге нечаянно встречая глаза Стожарова. — Вы кого собственно искали — меня или хорошую земскую школу?

— Хорошую земскую школу, а не вас, — отвечал он серьезно, желая поймать на дороге взгляд девушки, скользнувший по его лицу каким-то будто холодным светом и вновь убежавший вдаль.

— И случайно наткнулись на меня? — спросила она, продолжая прятать глаза, боясь, чтобы Стожаров в глубине их не прочитал что-либо недозволенное для него.

— Нет, не случайно, — отвечал он, — меня привела к вам волшебница Медея.

— Но ведь я не овца, господин Ясон, — возразила она и вскинула на него свои большие глаза, — на мне нет золотой шерсти.

— А все же меня привела к вам волшебница Медея.

— Где вы ее встретили?

— В разных русских газетах... Она теперь вооружена пером и сторожит сокровища русского народа, а безобразные чудовища прокалывает этим орудием насквозь. Она и на вас мне указала пером.

— Как на чудовище?

— Нет, как на золотое руно, — отвечал Стожаров, вскидывая головой, будто на ней были длинные волосы.

— Я не понимаю вас, — сказала девушка, опять задумываясь, — вы говорите загадками, точно сивилла.

— Что ж делать! Привык к этому языку по независимым от редакции обстоятельствам! — заметил он с улыбкою.

— Кто же эта Медея? Я все-таки не понимаю, — сказала девушка почти с раздражением.

— Современное ее имя — «благодетельная гласность», — отвечал Стожаров. — Эта госпожа поведала, что в Варгунах есть золотое руно: эта ваша земская школа и вы, — я и приехал взглянуть на школу и на вас. А не будь в Варгунах образцовой земской школы, Ясон и не приехал бы в эту Колхиду.

— И ко мне не приехали бы? — спросила девушка, стараясь сдержать дыхание.

— И к вам не приехал бы, потому что не будь вы тем, что вы теперь, вы были бы обыкновенною «барышнею», какими хоть пруд пруди, какими у нас, как гатью, запружено

всякое движение мысли и общественного развития, а к такой барышне я бы не поехал.

— То было бы уж, конечно, не золотое руно? — спросила девушка, и глаза ее перенесли из угла на серьезное лицо Стожарова и как бы принесли из этого угла теплые лучи света и бросили их на темный облик Стожарова и на его точеную голову.

— Нет, то была бы просто... паршивая овца, — сказал он с усилием.

Девушка засмеялась, и бледное лицо ее осветилось, как будто на него навели маленький фонарик.

Стожаров оглянулся и увидел, как через порог переступала Кузьминишна с чайным прибором и набожно шептала, но так, что шепот ее был слышен: «О-о-хо-хо! Кабы-то старые времена воротились, може б, таких Божьих людей поболе было, а то ишь ты на! — новые все времена, пусто бы им было!..»

Кузьминишна была большая меломанка, и калики переходящие своим пением растревожили ее старчески дремавшие нервы на целый день.

Часть вторая

I

Стоит тихое, теплое, ясное сентябрьское утро, какие бывают только в начале осени, когда после нескольких смурых дней солнце как бы само радуется, что ему удалось еще хоть раз выглянуть из-за серых сплошных туч на землю и посмотреть еще хоть раз и на увядающую чахнувшую зелень, которую оно когда-то растило, лелеяло, да только все-таки не уберегло от старости, и на людей, которые копошатся на земле со своими радостями и печалью, со своими нуждами и заботами, со своими маленькими человеческими грешками и такими же маленькими человеческими добродетельками, — посмотреть и на эту Волгу, кому матушку родимую, кому мачеху сварливую, с ее желтыми берегами и сыпучими песками, с ее тальником, ветлянником и осинником, что дрожит, как сердце пугливое, — посмотреть и на степь широкую, размашистую, над которой когда-то плакал лунь сивый, расправляя свои широкие крылья в виде креста надмогильного.

Радостно бывает людям в такой полулетний-полуосенний день, хотя и самое чувство радости выражается в такие дни как-то неопределенно, незаконченно, и радость эта как бы не в силах подавить другое чувство, с такими неопределенными и незаконченными ощущениями, за которыми могут брызнуть слезы.

На варгунинской пристани опять стоит пароход, отправляющийся вверх по Волге, и своим присутствием оживляет и пристань, и весь прилежащий к ней берег. Видно, что приход парохода разбудил мирно и тихо работавший человеческий муравейник, и люди спешат жить, торопятся ускорить биение пульса и сердца, чтобы успеть и нарадоваться, и настрадаться, и в волю потом наплакаться, когда все эти лихорадочные дни останутся далеко позади, а пульсу и сердцу останется биться так недолго, чтоб потом совсем замолкнуть.

С такими чувствами и мыслями стояла у самого спуска к пристани Бармитинова, кого-то поджидая, а около нее Мари-

на, стоя на коленях, поднимала с земли камешки и бросала их в Волгу, приговаривая:

— Одна умная женщина бросит в воду камень, а десять глупых мужчин бросятся за ним, чтоб вытащить...

С другой стороны к пристани подходили Стожаров и Серпоров. У обоих было по пледу, по дорожному мешку и по зонтику. Серпоров спокойно смотрел на суетню пристани, тогда как на бледном лице Стожарова отражалось какое-то не то грустное, не то раздражительное раздумье. Суетня этой пристани и все живое на ней и около нее представлялось исполненным глубокого, но безотрадного смысла.

«Родная природа... Теплое благотворное солнце... Зеркальная поверхность Волги, отражающая, глубокое бирюзовое небо... Радостно плещущая на солнышке рыбка, наслаждающаяся жизнью, — думал Стожаров, глядя куда-то вдаль, тогда как лицо его нервно подергивалось. — ...Ах, вы, художники! Все бы вам искусство для искусства... Все-то у вас наслаждается жизнью... То-то наслаждается!.. Улыбка расцветает на всех лицах под этим живительным солнцем... Только расцветает!.. А взгляделись бы вы поближе во все это улыбающееся в природе, вдумались бы попристальнее вашим размягченным от идеализации мозгом в смысл этой жизни — не то бы сказали... они только и пишут про природу да любовь да художественно очерчивают характеры, и эту развалившуюся избушку, и эту изрытую водороенами и грязную до безобразия пристань изобразят художественно... Вон и баба улыбается художественно, гармонично с природой, протягивая руку с булкой, чтоб эту булку купил неосторожный пассажир: это нужда улыбается, битье из-за копейки растягивает мускулы лица в художественную улыбку... Взяв булку, пассажир бросил бабе пятак: надула баба пассажира, надул пассажир бабу... Булка не стоит пятака, пятак не стоит булки; бабу надул мучник-купец — дал ей муки не за ту цену, какой она стоила, бабу надул печник, слепив ей печь не за ту цену, какой печь стоила, бабу надули на дровах, а баба надула пассажира своей булкой, а он надул ее своим пятаком, потому что пятак этот не даст бабе того, чего бы она желала достать на пятак... Круговой обман, вынужденный этою улыбающеюся жизнью, подлость, узаконенная и этим благотворным солнцем, и историческою необходимостью... Вон и носильщик спешит жить, торопится ускорить биение пульса и сердца, и вот на свою потертую спину взвалил ящик, который способен раздавить его, если б носильщика не поддерживала упругая энергия нужды, что вот-де, во что бы то ни стало надо на

целую полтину в день наломать себе бока, натрудить спину, намозолить закоряжевшие руки... Вон и нищенка наслаждается жизнью, художественно испытывает на себе благотворное влияние природы, пережевывая кусок черствого калача, который ей дали Христа-ради после того, как кусок этот художественно испестрили мухи, наслаждаясь жизнью под лучами благотворного солнца... Вон и группа жнецов и косарей так живописно расположилась под обрывом, где, пережевывая здоровыми челюстями ломти грубого хлеба и запивая его водой из Волги, косари и жнецы боятся вполне утолять свой здоровый голод, чтобы не проесть заработанных денег, которыми они должны утолить не менее здоровый голод оставшегося дома семейства... И благотворное солнце печет их открытые, запыленные маковки, грубит и без того грубые, коричнево-серые лица и грубые, потертые, как их измочаленные лапти, здоровые руки, желтит и без того желтые, всклооченные, художественно нечесанные и никогда не глаженные бороды, которые чешутся только буйными ветрами да гладятся иногда старостинными, такими же буйными, несутерпчивыми руками. Вон и та молодуха, что воеет словно собака-выжлятник, припав бесталанной головой к поленнице дров, тоже воеет художественно и наслаждается жизнью, потому что жнецы сказали ей, что муж ее, ушедший на заработки, косил двенадцать ден чужую нивушку, а на тринадцатый денек ему на той нивушке смертушка приключилась... Вон рыбка радостно плещется на солнышке, наслаждается жизнью, художественно выныривая на зеркальную поверхность Волги, когда эта рыбка, может, три дня голодала, а теперь изо всех рыбьих силов и со всею рыбьею смысленностью и хитростью хочет поймать летающую над водой козявку, которая тоже другой денек голодает, тогда как всего жития козявкина десять — пятнадцать денечков, а может, и менее... Вон и белоглазая галка наслаждается жизнью, отгоняя такую же, как и она сама, только робкую и слабенькую, белоглазую же галушку от кучки лошадиного помета, освещенного теплым солнышком благодатного неба, и эта последняя, бесталанная галушка, оттертая от роскошного пира жизни попрыгивает на своих сухих костяных ножках вокруг да около пирующего богача-галки и так завистливо смотрит на нее, точно хочет выговорить своими маленькими костяными губками: «Бывают же на свете такие счастливцы, у которых впереди целый ком лошадиного помета, а у меня ни помета, ни сердечного покоя — ничего, ничего, кроме нужды безотходной да горя нерасхлебанного... Эх, какое обидное неравенство прав

и богатств, какая невыносимая тоска у меня на сердце!..» Все-то бьется из-за куска хлеба или из-за кома лошадиного помета, и везде-то нужда как у человека, так и у птицы, и везде-то труд непосильный, неблагоприятный»...

Так думал и чувствовал Стожаров, подходя со своим товарищем к пристани и видя в суете всего живого свой собственный смысл и своеобразное, нерадостное значение... «Художники все! Психологи! — ворчал про себя Стожаров. — Им бы только описать прелесть природы, изобразить микроскопическую тонину чувств и ощущений, а нет чтобы посмотреть, что ест вон та рыжая борода и во что обошелся ему ломоть этого хлеба, испеченного еще в каменный период и добытого из земли с таким же трудом, с каким добываются только комья золота в Сибири... Эх, много же ты двинула человечество вперед, паршивая наука!» Он сам сознавал, что безобразно богохульствует, браня науку, когда не она тут виновата, но не мог удержаться, потому что ум его был не в меру возбужден излишним анализом скорбных явлений, и упрямая голова готова была даже корить природу, зачем она не даст законов поумнее да помягче для человека.

— Вот идет противный сочинитель, — сказала вдруг Марина, заметив Стожарова и перестав бросать в Волгу камешки.

При этом имени Бармитинова встрепенулась и вытянулась, как будто по спине у нее провели концом холодного железа.

— Где? — спросила она.

— Вон на яру пыль поднимает своими сапожищами, точно моя корова Забава Путятишна.

— Ты за что его не любишь, Мариночка? — спросила Бармитинова, вглядываясь в небрежную, несколько сутуловатую фигуру Стожарова.

— За то, что он сочинитель, а все сочинители хвастают тем, что стоят за женщин, только женщинам от этого не легче.

Как мячик, пущенный искусной рукой, скатился с крутого берега Кузя Ногин и очутился перед Бармитиновой.

— Я, Варвара Григорьевна, равновесие и центростремительную силу учил на заборе! — говорил он запыхавшись.

— Как на заборе? — спросила Бармитинова, не понимая, что болтает мальчик.

— На заборе, Варвара Григорьевна... Я ходил по забору и нагибался, и центр тяжести у меня изменялся... Я только раз упал.

— Что же, все понял?

— Все... Теперь я знаю, отчего моя бабушка с палкой ходит, — говорил он весело.

— А отчего? — заметила шутя Марина. — Чтоб грозить тебе палкой, когда ты шалишь?

— Нет, она гнется вперед, и палкой подпирает центр тяжести, а я и дедушка ходим без палки.

К ним приблизились Стожаров и Серпоров, из которых первый вовсе не пылил ногами, подобно принадлежащей Марине корове по имени Забава Путятишна, а напротив, пылил Серпоров, который имел привычку ходить как бы скользя ногами по паркету. Бармитинова, глядя на серьезное, хотя спокойное внешне лицо Стожарова, сделалась еще грустнее, хотя силилась победить себя. Марина, видя ее грустною, не скрывала уже своей неприязненности к «противному сочинителю» и часто, без всякого повода, отворачивалась от него, а иногда нетерпеливо и капризно подергивала плечом, как это делают избалованные дети. Кузя Ногин подбежал к ним, как к давно знакомым, и заболтал о том, что он «учил равновесие на заборе», что у его бабушки центр тяжести не там, где у дедушки. Серпоров он схватил за плед и уверял, что это шаль, что такую шаль он видел на жене судебного следователя.

— А сочинять меня научите, когда я приеду к вам в Петербург? — приставал он к Серпорову.

— Научу, — отвечал тот, забавляясь живостью мальчика.

— И книжки печатать научите?

— Научу.

— А как их печатают? А как сочиняют?..

Серпоров с трудом мог удовлетворить его неутомное любопытство.

— А что выше: сочинитель или губернатор? — спросил он наконец, так что Бармитинова принуждена была сказать ему, чтоб он перестал говорить глупости.

— А вам выпал хороший день для дороги, — заметила она, обращаясь к Стожарову.

— Да, Варвара Григорьевна, — отвечал он, — но какой-то день выпадет на мой возврат сюда?

Она грустно улыбнулась. Марина капризно отвернулась и тихонько пробормотала:

— У, противный!..

— А вы в Петербург? — спросила Бармитинова Серпорова.

— В Петербург... Лекции уж, вероятно, начались, а я тут заболтался в Поволжье, — отвечал он.

Стожаров, заметив, что Марина поглядывает на него неприязненно, вздумал подразнить ее.

— А в каком положении теперь женский вопрос? — спросил он ее.

Марина вспыхнула. Глаза ее сверкнули и расширились, и она поглядела на него, как кошка, готовая броситься на воровья.

— А ваш мужской вопрос в каком положении? — отвечала она вопросом, и при этом голос ее дрожал и губы дрожали.

— Такого вопроса нет, — сказал Стожаров, — есть только женский.

— Так вам лучше знать, в каком он положении, — возразила Марина, — вы его сами убивали.

— Чем мы его убивали? — спросил Стожаров.

— Вашими насмешками... Это подло.

Серпоров с удивлением смотрел на эту девушку, которую видел в первый раз.

— Что ж, — сказал он, обращаясь как бы к Стожарову, — когда нет мужского вопроса, так не должно быть и женского, в противном случае это будет дико.

— По-моему, не дико, — заметила Бармитинова, — есть вопросы разные: восточный, славянский, которые следует решить... Для мужчин уж все решено, оттого и нет мужского вопроса, а в вопросе о женщинах еще ничего не решено: следует ли их держать взаперти и на цепях, как диких зверей, или выпустить на свободу, дозволить ли им учиться, как дозволено крестьянским мальчикам, или женщины не должны ничего знать, кроме специальности мыть детские пеленки и штопать мужские чулки, все это вопросы... Имеют ли право женщины стричь волосы и ходить без железных обручей, имеют ли они право не прокалывать ушей для серег и кто им дозволил не прокалывать носы свои, чтоб вдевать туда кольца, как вдеваются медведям и диким женщинам, все ведь это вопросы, все это части великого женского вопроса.

— Ах, Варя, какая ты умная! Умнее всех мужчин, — болтала радостно Марина и бросилась целовать ее.

Кузя также сиял от радости, что его учительница такая умная.

С парохода кто-то кланялся Стожарову, но в толпе нельзя было различить, кто это. Кузя, который видел лучше всех, решил, что это тот богатый купец, у которого красная куртка и «змеючие глаза», как он выражался. Оказалось, что это был молодой Гриднев.

— Чей товар? — кричал суетливый бешмет к рыжей бороде, которая шла по берегу впереди нагруженных телег.

— Гридневский, — отвечала рыжая борода.

В это время пароходный звонок быстро зазвенел, как бы захлебываясь от скорости. Бармитинова вся вздрогнула при этом звуке и вопросительно посмотрела на Стожарова.

— Пойдемте на пароход, — сказал Стожаров, — а иначе мы можем опоздать... Пароход, как и история, не ждет тех, которые не поспевают.

— Не бойтесь, — заметил шутя Серпороев, — у нас в России и пароход и история медленно поспедают... Тише едешь...

— Да, черт знает, когда доедешь! — прервал его Стожаров.

На пароход их встретил молодой Гриднев, который отдавал разные приказания своим приказчикам и в то же время торговался с капитаном другого парохода, буксирного, относительно транспортирования партии пшеницы и сала к петербургскому порту по последнему рейсу. Приказания приказчикам он отдавал быстро, хотя тихим, ласковым голосом и как бы заикаясь, а письменные приказы давал на клочках бумаги, которые тут же вырывал из своей записной книжки. Слышалось — рубли, пуды, сало, пшеница, дорого, Балаково, Самара, Марсель, Лондон, перевод, курс, варранты, коносаменты, лаж, ажиотаж, рубль на рубль...

— А вы все хлопчете о рублях, — сказал ему Стожаров, здороваясь как со старым знакомым.

— Да, о рублях, о чем же больше? — отвечал Гриднев, пересыпая из горсти в горсть зерна пшеницы, которую ему показывал приказчик. — Кто о делах земства, о народном образовании, о свободе, о счастье человечества, о Бокле и Спенсере, а мы о рублях... В рублях теперь все: и счастье человечества, и Бокль, и Спенсер, и свобода, и народное образование, и земские дела... А пшеница недурна, — заключил он, обращаясь к приказчику и высыпая ему горсть пшеницы на черствую ладонь. — А пансионера-то моего вы уж, пожалуйста, не оставьте, Варвара Григорьевна, — говорил он Бармитиновой, вторично с ней раскланиваясь.

— Куда вы теперь? — спросил его Серпороев, которому Гриднев, как казалось, очень понравился трезвостью своей головы и разнообразной кипучей деятельностью.

— В Москву, Петербург, — отвечал тот, записывая что-то в своей книжке, — а оттуда заверну по дороге в Гамбург, в Амстердам, в Лондон.

— По дороге! — воскликнул наивно Кузя Ногин, который тут же вертелся и вслушивался с любопытством во всякое

слово. — Разве Лондон по дороге в Москву? Лондон — столица Англии, а Гамбург — вольный город...

— Bravo! — сказал Серпоров. — Вот так земский ученик!

Все с удивлением и с улыбкой посмотрели на живого мальчика, а Стожаров и Гриднев молча поклонились Бармитиновой, которая вспыхнула и погрозила Кузе пальцем, но любовно и ласково. Марина вспыхнула еще больше Бармитиновой и проворчала себе под нос:

— Ну уж, противные!..

— У меня все по дороге, мой милый, — сказал Гриднев Кузе, а потом, обращаясь к Стожарову, добавил: — Мой старик ребячится, не хочет иметь прямых сношений с лондонскими банкирами и заграничными торговыми домами, так я еду сам устроить это дело.

— Но ведь вы хотели в Нижний? — заметил Серпоров.

— В Нижнем я уж был несколько дней назад.

Пароход между тем продолжал пополняться пассажирами все больше и больше. Разводимые пары шумели все неистовее, как будто шипением хотели показать, что тесно им под ярмом, которое надела на них рука человеческая, что хочется им вырваться на свободу, которую отняли у них люди для своих нужд, а себе все-таки не добились свободы. Кузя приглядывался к парам и к отверстию, из которого они выходили, и казалось ему, что там, внутри парохода, тяжело дышит что-то живое, сильное, таинственное, что задыхается оно в жарких котлах и в разгоряченных трубах, и жаль ему стало невидимой силы.

— Задыхается он там, Варвара Григорьевна? — спросил мальчик, подходя к Бармитиновой и показывая на пароходную трубу.

— Кто задыхается?

— Пар задыхается... Ему нечем дышать.

Бармитинова улыбнулась, но не вполне поняла мальчика. Зато поняла его Марина, которой тоже казалось и слышалось, что внутри парохода сидит живое существо, и стонет оно, и не стало у него в груди воздуха для дыхания, стало ей жаль этого скованного Прометея, и радовалась она, когда тонкая струя паров, с шипом и свистом вырываясь на свободу, исчезала в воздухе... «Вырвался, вырвался», — думала Марина, и вздрагивала при мысли, что он «весь вырвется» и пароход взлетит на воздух, и она сама погибнет бесследно, и будет о ней плакать папаша... «Нет не вырвется, — думала она снова. — Человек хитрее его»...

— Тебе жаль его, Кузя? — спрашивала она мальчика, показывая на трубу.

— Жаль, барышня... Выпустить бы его, — отвечал мальчик.

Они понимали друг друга с полуслова.

Бармитинова между тем думала свою думу. Не о паре думала она, не о том, что эту великую силу люди лишили свободы для своей свободы, запрягли в железный хомут, сковали железными обручами, вдавили в железные котлы и гоняют из котла в котел, из трубы в трубу, а думала она о том, что эта таинственная сила опять уносит с собой то, что ей дорого, что она ждала десять лет, что выстрадала она, казалось ей, целыми годами тоски и одиночества.

— Боюсь я покидать тебя, Варя, — шепнул ей Стожаров, — дрогнуло мое сердце...

А ее сердце дрогнуло еще больше, но она ничего не сказала... «Прежде дело, а там... сердце, — подумала она, — прочнее будет счастье»...

II

В это время раздался последний пароходный сигнал. Все бросились — кто на пароход, кто на берег. Между тем маленький Кузя, воспользовавшись общей суматохой, перелез на самый борт парохода, около колес, которые уже начали вертеться, пробирался по карнизу борта и перебранивался со своими врагами, казенными учениками, стоявшими на берегу.

— Кузька! Упадешь! — кричали мальчики.

— Не упаду... А вы бы упали... Вы знаете, что я делаю? — болтал он, пробираясь по карнизу.

— А что?

— Законы равновесия делаю... Законы тяготения... А вы о них не слыхали... У! У! У!..

В одно мгновение послышался крик испуга на берегу и на пароходе и раздался всплеск воды, как бы кто бросил в нее тяжелый камень. Над водой всплыл намокший картуз, показались барахтающиеся детские руки, волосы, хотя самой головы не было видно, и тотчас же и руки и волосы скрылись под водою.

— Упал, упал в воду, — слышались голоса... — Утонул...

— Кто утонул? Кто упал? Мальчик упал!..

В то же мгновение от толпы отделилась высокая фигура парня, который вскочил на скамейку, стоявшую у борта, на-

гнулся, как бы рассматривая, где ему лучше и вернее утонуть, и со всего размаху кинулся в Волгу, под самые колеса парохода.

На берегу и на пароходе снова раздался крик ужаса:

— Упал! Другой упал!..

На пароходе послышалась команда:

— Задний ход!.. Стой!

Стожаров видел, кто упал в воду. Это был Кузя Ногин. Стожаров успел узнать и того, кто бросился потом в воду. Это был Матвей Таволгин. Стожаров стремительно подбежал к борту парохода и перегнулся через борт. За ним стремительно бросилась Бармитинова. Несколько мгновений Стожаров стоял в нерешимости, глядя на воду, и все глядели вниз, на воду; но поверхность воды была безответна...

— Утонули! Утонули! — слышался ропот толпы. Поверхность воды сравнивалась...

Стожаров лихорадочно сбросил с себя пальто и, прежде чем толпа могла опомниться, прежде чем Бармитинова поняла, что он делает, он судорожно сжал ее руку и, сказав отрывисто: «Две жизни, две больших силы погибло... Прощай, не забывай меня, Варя...» — бросился в воду. Снова крик ужаса в толпе:

— Третий упал! Утонул!..

Бармитинова без чувств повалилась на палубу парохода.

Пропал и третий... Поверхность Волги снова сравнялась и унесла даже пену, которая образовалась от падения в воду Стожарова.

На пароходе и на берегу мертвое, злоеющее молчание. Такое молчание в людях бывает только тогда, когда люди или ждут страшного несчастья — что вот-вот оно грянет на них — или когда это несчастье только что разразилось над ними и они еще не успели опомниться, прийти в себя, чтоб понять всю силу удара или почувствовать всю глубину своего несчастья.

В этом злоеющем молчании все глядели, боясь дышать и шелохнуться, на гладкую поверхность воды, под которою исчезли три живых существа и которая струилась тихо и спокойно, точно не сделала никакого ужасного преступления против законов жизни... Только пароход шипел как-то глухо, нерешительно, как бы не зная, что ему делать, да из воды выходило дыхание человеческое в виде пузырей, да солнце светило своим ровным, безучастным светом, как бы желая сказать, что в этот самый момент оно видит на земле и не такие несчастья против законов жизни, какие видим мы своим близоруким человеческим глазом.

Но вот, много ниже парохода, из воды показалась мокрая, всклоченная голова.

— Вот он! — раздались голоса на берегу и на пароходе.

— Это не он, — говорили другие голоса.

Это был Матвей Таволгин, который, подержавшись несколько секунд на воде, тяжело дыша и как бы вздрагивая, опять скрылся под водою.

С парохода и с берега спускались лодки, бросались канаты, доски...

Из-под воды вынырнула другая голова...

— Вот он! — снова раздались голоса.

— Нет, и это не он, — отвечали другие голоса.

Это был действительно не он, не тот, который утонул. Это была точеная голова Стожарова.

— Я близорук... Под водой не вижу, — говорил Стожаров, снова исчезая под водой.

— Лодки скорей! Невод бросайте... ниже... ниже! — кричал Гриднев, вскакивая в лодку. — Ищите баграми, да легче, осторожнее!..

В воду опускались багры и напрасно искали утопленника. Снимая шапки и крестясь, в воду забросили невод...

Но из-под воды никто не показывался... И страшною, безжалостною казалась эта вода, страшными и злыми казались люди, которые боролись с ее бессмысленными силами, и такое же страшное, безучастное, безжалостное светилось над всею этою картиною солнце, которое как бы говорило: «Жалкие, жалкие люди!.. Я вижу, как пропадают миллионы людей, как льется реками кровь человеческая, как исчезают целые миры у меня на глазах, мне все равно... А вы бьетесь из-за того, что пропал атом из этой вселенной, утонул червяк, прекратилось одно дыхание... Бросьте все это, жалкие, голодные люди!..»

— Все трое утонули, — слышались голоса, — ах, какое горе!.. Какое великое горе!..

Но в это мгновение на поверхности воды показалась мокрая, всклоченная голова. Это была голова Таволгина.

— Мотя! Ты утонешь, — как-то резко, испуганно крикнул Гриднев, — хватайся за багор...

Таволгин ничего не отвечал, только слышно было его тяжелое дыхание да всплески воды. Руки его были под водой, и он как будто силился что-то приподнять из воды... и приподнял. То была маленькая голова утопленника...

— Вытащил! Вытащил!.. Помогите ему, он сам тонет! — кричали голоса.

Из-под воды показалась и точеная голова Стожарова.

— Нашли!.. Вытащили!.. — кричали голоса, заглушая хриплое шипение парохода.

Из лодки подхватили утопавших. За борт лодки уцепился и Стожаров, весь синий, страшный, страшно осунувшийся. Все трое были уже в лодке: два живых и один мертвый. Тело мальчика тотчас же взяли на руки матросы и начали трясти его, как мешок, из которого высыпают овес.

— Не кладите наземь — не оживет, умрет... Кладите на простыню... давайте простыню... давай рогожу!.. — слышались разнообразные голоса.

На дне лодки, которая причалила к берегу, лежали Стожаров и Таволгин, оба едва дышащие, посиневшие от холода. Маленькое, худенькое, легонькое тело Кузи снесли бережно на берег и бережно положили на простыню, которую держали четыре здоровых матроса. Затем вывели из лодки Стожарова и Таволгина, которые шли, шатаясь и дрожа всем телом. Около них и около утопленника, которого мерно и ровно качали на простыне, столпилось все, что было на берегу, а баба, которая выла под пленницей, стала выть еще больше около маленького трупа. Пароход зашипел как-то решительно и делал по воде вольт, чтобы подойти к пристани и взять матросов и пассажиров. У самого борта парохода стояла Бармитинова, которая было упала в обморок, когда увидела падение в воду Стожарова, но теперь пришла в себя и стояла такая бледная и сосредоточенная на одном пункте: пункт этот был — маленькое качавшееся на простыне тело и безмолвно стоявший около него Стожаров. Около нее стояла Марина, такая же бледная, испуганная, дрожащая точно осинový лист.

А солнце между тем по-прежнему продолжало безучастно смотреть и на качавшийся на простыне маленький труп, и на воющую около него бабу, и на Волгу, которая еще так недавно сделала преступление, но продолжала по-прежнему спокойно и по-прежнему бессмысленно катить свои холодные воды.

В то время, когда пароход, сделав оборот, пристал к конторке и находившиеся на берегу пассажиры вместе с матросами, предавшими труп маленького утопленника другим качальщикам, снова перебрались на палубу парохода, на спуске, ведущем к Волге, показалась женщина, которая стремительно бежала к пристани, между тем как ноги ее, по-видимому, подкашивались, а руки были протянуты вперед, как будто она старалась схватить ими какой-то призрак, быстро от нее убежавший.

В толпе слышались голоса: «Мать! Мать!» — и все головы оборотились к женщине, бежавшей с протянутыми вперед руками.

Увидев на белой простыне мерно покачиваемое тело маленького утопленника, женщина еще стремительнее ринулась вперед, еще более вытянула руки и как сноп повалилась на землю...

— Упала! Упала! — раздались голоса, и некоторые из стоявших около трупа бросились поднимать упавшую.

На спуске, ведущем к Волге, показалось другое лицо, которое так же стремительно бежало, как и та женщина, которая упала. Это был старик, растрепанная голова которого не была ничем прикрыта, а правая рука как-то судорожно творила крестное знамение.

Он видел, как на белой простыне покачивалось маленькое мертвое тело, как народ смотрел на это покачивание, видел, как маленькие товарищи того, которого качали, молча смотрели в мертвое лицо утопленника, иногда обращавшееся к ним, видел, как упала бежавшая перед ним женщина, но... он не упал, а только еще судорожнее стал креститься и еще стремительнее двигал своими старыми ногами.

Пароход между тем, дав сигнальный свисток, отчалил от варгунинской пристани, оставив там и мерно покачиваемое на белой простыне мертвое тело маленького утопленника, и столпившийся около него народ, и лежавшую на земле женщину, которую называли матерью утопленника, и бежавшего поглядеть на труп старика, и Бармитинову с Мариной, которые стояли у конторки и с заплаканными глазами провожали постепенно удалявшийся от них пароход с длинным дымным хвостом. На палубе парохода не видно уже было ни Гриднева со свитою приказчиков, ни Стожарова, ни Таволгина; виднелась только темная фигура тучной Макриды-странницы, сидевшей на лавочке, да беспорядочно сновали по пароходу другие пассажиры, из которых каждый думал о маленьком утопленнике, пока другие интересы не вытеснили из их памяти его бледное, посиневшее лицо и его мокрые светло-русые волосы, трепавшиеся на белой простыне.

В каюте парохода Гриднев и Серпороев хлопотали около промокших и продрогших Стожарова и Таволгина. Пароходные служители натирали их вином с уксусом, чтобы предотвратить дурные последствия их невольного купания в сентябрьской воде. Таволгин казался очень истомленным и сосредоточенно молчал, пока его натирали. На груди у него болтался медный крест и тут же было привязано что-то мягкое, завернутое в тряпицу.

— Что это у тебя, Мотя? — спросил Гриднев, ощупывая эту подвеску. — Должно быть, талисман?

— Талисман, — отвечал Таволгин, и судорожно схватился за подвеску, желая ее оторвать от креста.

— Ты что делаешь с ней? Срываешь?

— Крепко уцепилась, проклятая, — говорил Таволгин, сисясь зубами перегрызть таинственную подвеску, — не пускает от себя, хочет душить меня и на чужой стороне.

— Да что это такое? Что ты говоришь? — спрашивал Гриднев.

— Это земля... тарлыцкий чернозем с суглинком, — отвечал тот, перегрызая подвеску.

— Какой суглинок? — допытывался удивленный Гриднев.

— Тарлыцкий... с Тарлыка... родная земляца...

— Зачем она тебе, Мотя?

— Мать привесила... чтоб и в могилу пойти с тарлыцким суглинком... чтоб не тосковать...

— А! Понимаю, — сказал Гриднев. — Материнское благословение, навеки нерушимое...

— Да, нерушимое... навеки... я его рушу...

И он, оторвав подвеску, развязывал ее дрожащими руками.

— Вот она... земля еси... они еще смеются... Чернозем с суглинком... Только пшеницу родит, гирку родит, саксонку родит, перерод родит, самарку родит... а людей... не родит... зверей родит, — говорил он как будто в забытьи, рассматривая землю, которая мокрым комочком лежала у него на ладони.

— Земля хорошая, жирная, родит такую пшеницу, что в Лондоне не налюбуются, а в Америке завидуют ей... Мука хорошая из нее выходит, булки превосходные и английские лорды едят эти булки из тарлыцкой пшеницы, и Спенсер их ест, и Дарвин и Льюис кушают продукты этой земли, — говорил Гриднев, рассматривая землю и как-то странно улыбаясь.

— Земля-то хорошая, тучная, — заметил Стожаров, молчавший до того времени. — Да вот он говорит, что хорошую гирку родит эта земля, только хороших людей не родит... А та земля, что гирки не родит, родит хороших людей — вот вам и задача.

— Зато рубли родит, — отвечал шутя Гриднев.

— Вам бы все рубли только, эх вы! — отозвался Стожаров и, махнув рукой, отвернулся.

— А что рубли? Рубли хорошие люди, — снова заметил Гриднев.

— Э! Хорошие!.. Эти рубли всегда родили знаете что? — спросил Стожаров, быстро поворачиваясь на своей койке.

— А что? Благосостояние и свободу?

— Нет, палку да цепь... Вот что родят ваши рубли... Это исторические палачи человечества и его тюремщики... У кого деньги да сила, у того в руках палка и цепь, у того и ключи от тюрьмы.

— Помилуйте! Это старая, избитая истина, но все же истина историческая, что торговля возвышала все государства... Финикия, Карфаген, Венецианская республика, теперь Англия, Америка, — говорил Гриднев, садясь между Стожаровым и Таволгиным.

— Э, все это из Кайданахи... лакейские понятия... Торговля, свобода, благосостояние... все это фразы, которыми до сих пор морочили людей, потому что люди были глупы... Это палач хвалит мягкость, шелковистость своего кнута... Это тюремщик восхваляет свободу тюрьмы и мелодичный, малиновый звон цепей... Приближается то время, когда вашей пресловутой торговли совсем не будет, и люди будут вспоминать о ней как о временах рабства, людоедства.

Стожаров говорил злобно, желчно, что бывало с ним всегда, когда затрагивались его кровные, мучительные для него самого убеждения.

— Что же будет, если торговли не будет? — спрашивал изумленный Гриднев.

— А будет то, чего вы не понимаете и понять не можете, — отвечал Стожаров. — А вот он поймет, — сказал он, показывая на Таволгина, который продолжал рассматривать землю, лежавшую у него на ладони.

— Говорите; может быть, и я пойму, — настаивал Гриднев.

— Не поймете... Родитесь в другой раз да не на сундуке с деньгами; подышите свободой, а не окисью металлов, тогда, может быть, поймете, — отвечал Стожаров, по-прежнему резко.

Гриднев вскочил и стал тревожно ходить по каюте. Таволгин все глядел на землю, лежавшую у него на ладони.

— Ты родишь гирку... и Макриду родила, и меня родила... а счастья и свободы не умеешь родить... Посеять некому, взрастить некому, собрать некому... Проклятый суглинок!.. Чтоб не тосковал... Чтоб эта земляная насыпь давила меня везде, чтоб эта цепь терла мои ноги до белой кости и вдали от Тарлыка, вдали от родины... Родина... жалкое, жалкое слово... И у зверя есть родина — берлога... И у змеи есть родина — нора... И у меня есть родина — Тарлык... Да, задрожит сердце злобой, тебя вспоминая, — говорил Таволгин сам с собою.

— Он бредит?.. У него жар? — беспокойно спрашивал Гриднев.

— Не жар, — отвечал Стожаров, — правду он говорит, а вам всякая правда кажется бредом больного.

Таволгин приподнялся с койки и, отворив окошко каюты, швырнул в Волгу землю, лежавшую на его ладони.

— Плыви на родимую сторону, родимая земляца, — говорил он, заглядывая в окошко, — да не отравляй никого... Рыба отравится моею родною землею... рыба околеет... а я... я не околею... Я буду жить... я хочу жить.

Гриднев продолжал тревожно ходить по каюте, поглядывая то на Стожарова, то на Таволгина, который снова лег на койку и закрыл лицо руками. Серпороев также лежал с закрытыми глазами. А пароход шел все дальше, по временам вздрагивая и как бы наклоняясь на бок, а вода шумела, загретаемая колесами, которые работали неустанно, точно те «люди бессонные», о которых говорит Хомяков, хотя ни пароходные колеса, ни «бессонные люди» ни от кого не получают и не желают получать ни рублей и никакой другой вещественной платы за свою неустанную работу, за свои бессонные ночи, за то, наконец, что они спящих людей везут на себе вперед, везут в неведомую страну счастья, которого сами не имеют.

Сверху между тем доносились в каюту неясные, смешанные звуки, и нестройное топание десятков ног по палубе, и визгливое, режущее поскрипывание рулевой цепи, которою управляется пароход («И тут цепь правит, — думалось Стожарову, при поскрипывании рулевой цепи, — все цепь, везде цепь»), и тяжелое дыхание машины, которая своими поршнями, колесами, шестернями да рычагами отбивала человеческую барщину, и сигнальные свистки молчаливого загорелого капитана-немца...

Под эти звуки, под шум пароходных колес и плескание воды колесами, под это режущее поскрипывание рулевой цепи и под это тяжелое дыхание запыхавшейся машины каждый из пассажиров думал свою думу и прислушивался к ощущениям своего сердца.

Стожарову под эти звуки представлялась громадная цепь, заржавевшая от времени, которая обвивала весь шар земной, и встряхивалась эта цепь чьею-то невидимой, но сильной рукою, и звенела глухо каким-то старым, ржавым, хриплым звяканьем... А к кольцам этой ржавой цепи тянутся другие, мелкие, менее ржавые цепи, и звякают эти новые цепи звонче и веселее, чем та старая цепь... Веселое звяканье цепей!.. Очень веселое... И ходит на этих цепях все, что живет и

движется на земле, и он, Стожаров, ходит на этой звонкой цепи, как пароход на рулевой, и пароход ходит на одной из этих звонких цепей, и Гриднев на ней ходит, и тот брюссельский приятель Стожарова, бледногубый ткач Мишель, что зарезал своего жестокого фабриканта, все ходит на этой цепи, как тот «кот ученый» где-то там «у лукоморья», где «цепь золотая» на зеленом дубе и где «кот ученый все ходит по цепи кругом»... И Варя ходит на этой цепи, и тот живой мальчик, Кузя... Нет, теперь уж он не ходит, сорвался с цепи, убежал... теперь на белой простыне качается...

Серпороеву под эти звуки представлялась обширная аудитория со скамьями амфитеатром... Из этих скамей глядит много, много живых, обращенных на одно лицо глаз, и все эти молодые лица полны жизни, полны дум и отваги... А тот, на которого глядят они, все читает, все читает, и слово, читаемое им, брызжет ключом, как живая вода, и падает эта живая вода на молодые сердца, на молодую мысль, и оживает мысль и сердце, и рвется мысль и сердце на свободу, в жизнь, в пыл жизненной борьбы... И вырвались мысль и сердце на волю... И, вместо живой воды, эта жизнь брызжет на молодую мысль и молодые сердца мертвой водой, не так, как в сказке, где прежде брызжут мертвой, а потом живой водой, а в жизни наоборот: сначала брызнут живой водой, а потом мертвой... И умирают молодые сердца и молодая мысль... Но Серпороев все видит эту аудиторию амфитеатром, все прислушивается к всплескам живой воды, и не слышит, как плещутся пароходные колеса в Волге, как задыхается от тяжелой работы машина, как визжит и побрякивает рулевая цепь... Лекции давно начались, аудитория давно полна... Как медленно вертятся пароходные колеса, как лениво загребают они воду, как бесконечно длинна Волга от Астрахани и Саратова до Нижнего... «А Варя ждет меня; Варя тоскует по мне, и я тоскую по Варе...» А пароход все вздрагивает, а рулевая цепь все взвизгивает да позвякивает... «Когда-то экзамены? Когда-то я кончу курс, окунусь в деятельную, кипучую жизнь, стану деятелем?..» — «Не торопись окунуться в меня, — шепчет невидимое чудовище из омута жизни, — в моем омуте мертвая вода... в моем омуте ждет тебя тяжкий труд, на который способны только великие, избранные натуры... А ты способен ли? Сознаешь ли в себе силу богатыря Вернигоры?»... — «Сознаю», — думает Серпороев, и просит у жизни, просит, чтоб к нему ближе пододвинули его могилу...

Таволгину, лежавшему с закрытыми глазами, представлялись другие картины и сцены, то тяжелые, давящие и безот-

радные, то полные чарующей, все захватывающей силы и неотразимого обаяния... Мелькает перед ним страшный образ слепой бабушки с поднятою к небу клюкою в костлявой руке... Слышится воющий под окном ветер... Чудовищный образ «пустыни» с дубравными зверями и «аллилуева жена» с младенцем на руках... Все это туманные, гнетущие воспоминания детства... Старый Гриднев, змеиный хрип старой Гриднихи, бросающейся на Мотю, чтоб задушить его, Тарлык... Горсть родной земли, что умеет родить пшеницу, а не умеет родить ни хороших людей, ни людского счастья... А впереди неведомые, но обаятельные страны, целый мир знаний... Наука со всеми ее неизведанными им чудесами, силами и чарами... Голова Таволгина горит... Он боится, что его опять увезут на Тарлык, заставят киноварью писать виньетки к раскольничьим книгам. Он горячечно рвется вперед, готов броситься под колеса парохода, чтоб помогать им быстрее загрести волжскую воду, лишь бы уйти от Макриды-странницы... А Макрида сидит на палубе и знает, видела своими заплывшими жиром глазами, как «безбожный Мотыка» бросался в Волгу душу человеческую спасать, а свою душеньку навеки погубил, видела, как молодой Гриднев, по милосердию своему, окаянного Мотыку в господские каюты увел, за то-де, что окаянный Мотыка душу христианскую от потопления спасал... И дрожит у Мотыки живучее, кипучее, непокойное сердце, и, подобно Серпороеву, он ищет броситься головой в омут, у жизни просит, чтоб поближе к нему придвинули его могилу темную.

И Гриднев, ошеломленный словами Стожарова, тоже много и тревожно думал под визгливое и режущее поскрипывание рулевой цепи, под нестройное топанье ног на палубе и под тяжелое дыхание машины, отбывавшей человеческую барщину. Он думал, что прочно установились его понятия о жизни, что понятны ему его дела и думы и побуждения человеческие; что знает он, к чему ведет человечество наука; он видел Европу и ее порядки, много читал, много передумал... Он видел, казалось ему, какую роль должен играть капитал в будущей истории человечества, каково значение торговли... Он считал себя человеком умным, современным, которому тесно жить в России, который жаждет других порядков... И вдруг какой-то залетный проходимец говорит ему, что он глуп, что он даже не может понять того, что ему этот проходимец намерен сказать... Какое обидное положение!.. Что он? Откуда он? Откуда такой язык? Таких людей и такого языка он не встречал ни в литературе, ни в жизни. Кто ж он такой?.. И он, кажется, не один? Где ж родились

эти новые силы и что они внесут в жизнь, что создадут, что разрушат?

— Почему же вы думаете, что я не пойму вас? — настойчиво спрашивал Гриднев, подходя снова к Стожарову и садясь к нему на койку.

— Потому же, почему вас не понимает ваш батюшка, — отвечал Стожаров.

— Но ведь между мной и моим отцом большая разница, — возразил Гриднев, который начинал уже раздражаться, чувствуя, что он остается далеко назади у этого проходимца.

— Такая же, какая между мною и вами, — хладнокровно говорил Стожаров, все еще прислушиваясь к визгливому поскрипыванию рулевой цепи.

— Не может быть! — горячился Гриднев.

— Очень может быть.

— Но ведь и вы и я идем за веком.

— Да... но только не рядом: вы — за веком, а я — перед веком, — процедил Стожаров.

— Вы, кажется, рисуетесь, — говорил Гриднев недовольным голосом, не имея уже сил скрыть своего раздражения.

— Ну, так не смотрите на меня, если я, по вашему мнению, рисуюсь.

— Но почему же вы так говорите?

— Потому что мы разной с вами веры: вы — старой — я не говорю раскольник, а просто старовер, и такими, как вы, староверами полна не только Россия, но и Германия, Франция, Англия и Америка, — я — новой веры.

— Какая же ваша вера? — горячился Гриднев.

— Православная, — отвечал Стожаров.

Гриднев весь вспыхнул, но успел пересилить себя и только закусил губу.

— Вы говорите как новейший оракул, — сказал он, — но мне кажется, что предсказаниям девицы Ленорман могут верить только бабы, а я не думаю, чтоб вы принимали меня за бабу.

— Нет, я принимаю вас за мечтательную уездную барышню, — отвечал Стожаров с улыбкой.

— Почему же? — спрашивал Гриднев, подозревая, не подсмеиваются ли над ним.

— Уездная барышня верит в силу и обаяние аксельбантов, в усы и шпоры, а вы верите в силу капитала, в обаяние рубля и торговли, — говорил Стожаров, играя своей записной книжкой, в которую он вписал что-то и держал потом в руках, — какая же разница между вами и уездной барышней?

Слова Стожарова не могли не поразить Гриднева. Вот уже несколько раз в последнее время он слышит такие отзывы о значении капитала; теперь разрушают его понятия о значении торговли в истории человечества, и он не мог не задуматься над словами Стожарова, от которых веяло чем-то таким, чего он прежде не слышал. Что же это такое? Что это за люди, которые говорят так?

— Но ведь я могу купить вас и вашу свободу, — говорил Гриднев, — вот где сила капитала.

— Эх! Да ведь и собака может укусить меня, и вор может украсть у меня вот эти сапоги или вот этот платок, а разве в этой силе надежда человечества? Нет, в чем-нибудь другом надо искать спасения, а не в капитале и не в торговле.

Гриднев был окончательно сбит и озадачен.

— Ну, так я лучше хочу быть собакой и кусать других, только чтоб другие меня не кусали и не лишали свободы, — возражал он, весь красный и сверкая глазами.

— Однако выгодно ли это? А если собаку посадят на цепь. Да притом, вы не можете купить не только меня, потому что на это неостанет не только всех ваших капиталов, но если вы себя заложите, и батюшку, и матушку, то и тогда не купите меня, да и не меня, а и свою судомойку не купите, потому что теперь торговля людьми ограничена в Европе... Теперь ни покупать, ни продавать людей нельзя, а скоро и ничего нельзя будет ни продавать, ни покупать.

— Как! Это безумные афоризмы, и я не думаю, чтоб вы сами верили тому, что говорите, — защищался Гриднев, чувствуя, что под его ногами исчезает почва.

— Нет, это не безумные афоризмы, и я глубоко верю тому, что говорю. Я глубоко убежден, что придет время, когда торговля чем бы то ни было будет также запрещена, как теперь мало-помалу начинают запрещать азартные и всякие, даже коммерческие, игры, потому что и торговля игра в принципе.

— В принципе?

— Да, в принципе... Вдумайтесь, взгляните повнимательнее в нравственные и экономические основания купли и продажи и вы, если вы честный человек или просто человек с логикой, убедитесь, что основания купли и продажи, как и основания азартной игры, как и основания грабежа, одни и те же, что все это наследие, оставшееся человечеству от диких его предков.

— Но политическая экономия санкционирует законы торговли, следовательно, законы эти освящены не обычаем, так как обычай может быть дик, а наукой, — возражал Гриднев.

— Эй! Не говорите мне о политической экономии как науке!.. И собак учат плясать — это тоже будет наука... Политическая экономия излагает только процесс болезни в общественной жизни человечества и подмечает симптомы этой болезни... На Адама Смита, на Мальтуса, Сея, Рикардо, Бастиа, Рошера, на Кобдена Брайта и на Стюарта Милля я смотрю как на гениальных психиатров человечества...

Стожаров, говоря это, был бледен как полотно. Спор задевал его глубокие, выстраданные, целыми годами наболевшие убеждения, и он, не разбирая ничего, опять начинал бросать грязью и булыжниками во все, что подвертывалось ему в споре, во все, что считается даже неприкосновенным, как святыня.

Лицо Гриднева было тоже необыкновенно бледно.

— Вы говорите фразы, — возражал он, — дикие фразы! Где же в торговле грабеж, когда это — простая и добровольная мена продуктов или товаров на знаки или мена труда на деньги.

— Мена! Да еще добровольная!.. То-то вы складно умеете говорить старые, жалкие слова, да им скоро никто не станет верить. Добровольная купля — это то же, что добровольная война, добровольный арест, добровольная тюрьма, это то же, что веселая тоска, квадратный круг, светлый мрак, это то же, наконец, что сапоги всмятку, нос на прыще, нога на мозоли...

— Довольно нелепых сравнений, говорите дело, — остановил его Гриднев.

— Дело? Извольте. Вы что обыкновенно покупаете?

— Хлеб, сало, семя...

— Нет, нет! Говорите языком теории... Вы что покупаете?

— Что мне нужно или чего у меня нет.

— Так. А что продаете?

— Что мне не нужно или что у меня лишнее.

— Так... Понимаете ли вы теперь всю глубину безнравственности того действия, которое называют продажей, то есть вообще торговлей? — спросил Стожаров, поднимаясь на койке. — Вы сами сказали себе приговор.

— Какой? Я не понимаю.

— Так понимайте же. Вы покупаете то, что вам нужно, а продаете то, что другому нужно, а вам не нужно. Отчего же то, что вам не нужно, вы не отдаете нуждающемуся даром, а хотите взять с нуждающегося барыш? Но это, впрочем, другой вопрос, нравственный, не экономический. А вот и экономический: вы обыкновенно купив товар, ищете продать его тому, кто наиболее в нем нуждается. Вы не продадите его

тому, кто в нем мало нуждается, а тому, кому непременно нужно иметь этот товар. Вы, следовательно, ищете случая заставить, принудить нуждающегося купить то, что вам лично не нужно. Тут уже в принципе чистое насилие, грабеж, а иногда обман, когда вы продаете товар по цене, не соответствующей его внутренней стоимости... Скажите же положите руку на сердце, честные ли это действия, не только как действия, но и в самом принципе? Когда я захотел бы купить у вас вот эту цепочку, — Стожаров показал на цепочку от часов, висевшую на груди Гриднева, — ведь вы бы непременно старались продать ее мне по возможности дороже, то есть взять с меня то, чего бы я не хотел вам дать. Согласитесь, ведь это безнравственное действие, не правда ли? Ведь это не честное желание, взять у меня то, чего я не хотел бы вам дать и даю только по нужде. Ведь это хуже, чем обыграть меня в карты. Ростовщичество считается теперь подлостью, грабежом, вообще безнравственным делом, которое преследуется законом. А торговля — тоже ростовщичество, только в более широких размерах, но она считается у нас пока делом честным... Я говорю «пока»: скоро купцов не будет, и слово это останется в историческом словаре академии наук.

III

Бледный и безмолвный сидел Гриднев, слушая невеселые речи Стожарова, такие речи, каких он ни от кого до сих пор не слышал. Все его душевные верования в великое значение торговли, в будущую силу акций, в союз капитала с наукою, союз, который, по его мнению, должен был изменить лицо земного шара, дать людям тщетно искомое ими счастье и изменить все человеческие отношения, союз, который должен был все человечество превратить в одну семью, все члены которой одинаково будут довольны и сыты, одинаково богаты и счастливы, одинаково свободны и никем не обижаемы, — все это разбивалось вдребезги словами Стожарова, как пересохший ком глины тяжелым обухом... Зачем же он работает, если прав? Для чего копить рубли и миллионы рублей, когда самое копление их, за счет благосостояния других людей, рисуют теперь перед ним как дело бесчестное, безнравственное? А он еще сегодня называл себя «купцом» с большою гордостью, чем бы мог назвать себя князем и владыкою людей... Купец, негоциант, коммерсант, банкир — все эти слова будут стоять в систематическом и историческом словаре будущей

общечеловеческой академии рядом со словами «добрый молодец» в разбойничьих песнях его родного Поволжья, рядом со словами «понизовая вольница», Стенька Разин, атаман Заметаев, Пугачев... Ведь и слова «фискал», «мытарь», «ярыжка» означали некогда почетные звания и должности: «мытари» собирали «мыто», казенную подать и пошлыны, «фискалы» заведовали «фиском», государственною казною, были чем-то вроде лордов казначейства, «ярыжки» были чиновники... А теперь все эти слова позорны, имеют предосудительное значение... То же будет, если верить Стожарову, и со словами и понятиями «купец», «банкир», «негоциант»... Купец, копилка, скопидом...

«Зачем же накопление денег я поставил целью моей жизни, когда не в деньгах счастье и свобода человечества, когда наши потомки будут презирать нас за нашу деятельность и история будет клеймить нас позором, как клеймит Омара, сжегшего для высоких, по его мнению, целей александрийскую библиотеку, как клеймит римских императоров, поедавших соловьиные языки и верблюжьи пятки? — думал Гриднев, слушая Стожарова. Но нет, он говорит безумные афоризмы, он так же помешан на всем новом и будущем, как Макрида-странница и мои родители помешаны на прошедшем и на всем старом, отжившем... А если он прав? Если за него станет будущее, как за нас стоит прошедшее?.. Будущее умнее и правее прошедшего, *все* будущее честнее *всего* прошедшего... В будущем еще может быть счастье человечества, а в прошедшем его не было... Да, будущее сильнее прошедшего, как живое сильнее мертвого... Он, может быть, и прав... и я негодяй, я «добрый молодец», я, может быть, грабитель... Одним словом, я купец?..»

Тяжело было для него сомнение в его заветных верованиях, а это сомнение брошено в его голову и в его восприимчивое сердце словами Стожарова. Если это верование и не поколебалось, то на него уже была накинута тень, а в основание верования подсыпаны черви, которые и должны его подтачивать, пока червоточина не проберется до самой сердцевины, не подьест корни и молодые поросли.

Он оглянулся и увидел за собой Таволгина. Матвей, выбросив за окно каюты горсть родной земли, долго лежал с закрытыми глазами, отдаваясь своему бреду и разъедающим думам. Резкие слова Стожарова вывели его из забытья, и он стал вслушиваться в их смысл, который так же резал его по сердцу, как и проклятия слепой бабушки... Что это такое? Неужели этот учит Гриднева и Гриднев молчит, когда он не молчал даже перед отцом? Что ж, разве этот ушел еще дальше,

чем молодой Гриднев? Ничьи слова так глубоко не потрясали молодого раскольника, как слова Стожарова, потому что до сих пор он никого не видал, кроме Гриднева, который по своему научил его и думать и чувствовать, который один помогал его развитию и у которого он в первый раз прочел книги, возбуждавшие в нем ненависть к расколу и жажду знаний. Теперь он видел перед собой человека, у которого, по его мнению, пятка стояла там, где лежала голова Гриднева, и он слушал его почти с таким же ужасом, с каким в детстве слушал страшное чтение Макриды о семиглавом змие и десятирожном звере, хотя там от ужаса маленький Мотя желал бы бежать, лишь бы не слушать чтения Макриды, тогда как теперь ужас, возбужденный словами Стожарова, приковывал все его внимание и тянул его к Стожарову, как страшные глаза удава тянут в пасть этого чудовища врасплох застигнутую птичку.

— Ты что, Мотя? — спросил Гриднев, увидев его за собою.

Матвей молчал и с какой-то болезненностью глядел на Стожарова.

— Мотя! Ты, верно, болен? Ты такой бледный... Что с тобой? — продолжал Гриднев.

— Я боюсь, — отвечал тот, продолжая глядеть на Стожарова.

— Чего боишься?

— Его проклянут, — отвечал он.

— Кого? Кто проклянет?

— Вот его проклянут, как меня прокляла бабушка, — сказал он и указал на Стожарова.

— За что меня проклянут? — спросил Стожаров с удивлением.

— Я посмеялся над старыми раскольниковыми книгами, и меня прокляли за это, — отвечал Матвей. — А вы смеетесь над всем... Вы все бросаете в Волгу, как я бросил родимую землю.

— Нет, — отвечал Стожаров с улыбкой, — я не над всем смеюсь... не все бросаю в Волгу... Я — не Базаров... Базаров слишком глуп... нет, узок... ограничен... Вы знаете Базарова?

— Знаю, кажется... Это тот, что все лягушек резал и все отрицал?

— Да. Вы его читали?

— Василий Парменыч читал мне его.

— Так я не над всем смеюсь, — сказал Стожаров, — я, напротив, над многим плачу, хотя слезы мои не похожи на слезы других людей... Я не Базаров, я ничего не отрицаю...

— Как ничего? — спросил удивленный Гриднев.

— Положительно ничего... Я все утверждаю... Только невежество и сомнение все отрицают... А знание и уверенность, напротив, все утверждают, — отвечал он, глядя на Таволгина, лицо которого по-прежнему было бледно и тревожно.

— Но вы отрицаете торговлю, — возражал Гриднев.

— Нет, не отрицаю... Я, напротив, положительно утверждаю, что торговля — дело безнравственное, бесчестное... Где же тут отрицание?

— Но так утверждал и Базаров, — снова возражал Гриднев, — так утверждают все нигилисты.

— Нет, не так... Вчитайтесь, вдумайтесь в то, что написано, и вы не то скажете, — отвечал Стожаров как-то лениво.

— Я ничего не скажу другого, кроме того, что говорил до сих пор... Вы, как бы вам сказать... вы тот же нигилист, как и Базаров, только... пережаренный... передержанный... Так, так, слово найдено: вы передержанный нигилист, — горчился Гриднев.

— Ничего, слово хорошее, только не ко мне оно относится, — отвечал Стожаров по-прежнему лениво.

— Кто же вы? И в каком отношении стоите вы к нигилизму?

— Мы... перешагнули через него... ушли дальше нигилизма...

— Но вы все-таки продукт нигилизма?

— Знание не может быть продуктом невежества...

— Разве нигилизм и невежество — синонимы?

— Нет... Я только хочу сказать, что утверждение не может быть продуктом отрицания, потому что одно из другого не вытекает... А я утверждаю.

— Но ведь и Макрида утверждает... и моя матушка утверждает, что град Иерусалим стоит на пупе земли. Значит, и они ушли дальше нигилистов?

— Нет. Я утверждаю то, чего отрицать нельзя. Мои утверждения исходят из математических истин.

— На основании каких же математических истин вы утверждаете, что торговля — дело безнравственное? — спросил Гриднев.

— Просто на основании первых правил арифметики.

— Странно... Вы, кажется, шутите, и с вами нельзя говорить.

Гриднев говорил с раздражением. Он встал и направился к выходу из каюты. Таволгин, стоявший молча, схватил его за руку.

— Не уходите, — говорил он отрывисто.

— Ты что? Чего тебе надо? — спросил изумленный Гриднев.

— Не уходите... Послушайте его.

— Кого?

— Его, — Таволгин указал на Стожарова. — Он или дьявол, или святой человек.

— Дьявол... Но теперь люди стали умнее дьявола.

— Да, только люди зато и злее дьявола... А он, — Таволгин опять указал на Стожарова, — добрый, он бросился в Волгу... недаром же... Дьявол ведь не кинется спасти душу.

Таволгин говорил торопливо, тревожно. Гриднев остановился, Стожаров подошел к ним и, поглядев пристально на Таволгина, обратился к Гридневу.

— И вам не стыдно душить такой добрый народ? — спросил он Гриднева.

Гриднев опять вспыхнул.

— Ради того, что вам дорого на земле, что для вас свято, не сердитесь на меня, — говорил Стожаров ласково и взял Гриднева за руку, — в вас много хорошего... Я знаю все, что вы сделали для этого юноши... Вы благородный человек... Выслушайте меня...

— Так вы не шутите? — спросил Гриднев.

— Э! До шуток ли мне!.. Эти шулки съедают мою жизнь, как окись железо... Я не нахожу нигде покоя с моими шулками. Я боюсь, что вы не поймете моих страданий и осудите меня.

Голос Стожарова звучал какой-то тоскливой, скорбной нотой. Такая же скорбная тень легла на лицо его. Гриднев видел, что так не шутят люди.

— Мне жаль вас, хоть я не вполне понимаю ваши страдания, — сказал он.

— А народа вам не жаль? — спросил Стожаров.

— Какого народа?

— Русского... какого хотите, только бедного, голодного, обижаемого вами.

— Но чем я его обижаю?

— Вашими понятиями и вашими действиями... Сколько прошлый год принес вам барышей на хлебе? Скажите мне, припомните.

Гриднев задумался.

— Мы с отцом заработали в этот год на хлебе двести тысяч, — сказал он, подумав.

— Двести тысяч! Это ужасно!.. Это — несколько сот убийств! — воскликнул Стожаров, всплеснув руками.

— Каких убийств? Вы в бреду... Вы больны... Вы простудились, бросаясь в Волгу спасать утопающего, и вот у вас теперь горячка... Вам нужен доктор, — говорил Гриднев.

— Бред... горячка... доктор... Да, у меня бред, у меня горячка, когда я вижу около себя честного человека, умного, развитого, а этот человек без всякой жалости убил несколько сот людей и... даже не понимает своего зверства... Не сердитесь на меня, думайте, что мои слова — бред больного, — говорил Стожаров.

— Да я так и смотрю на вас.

— Ну и смотрите, только выслушайте... больные скорей скажут правду, чем здоровые... А умирающие почти никогда не лгут...

— Но могут бредить... горячечные даже дерутся, — заметил Гриднев с улыбкой.

— На двести тысяч рублей ограбить бедный народ в один год ведь — это своего рода пугачевщина! — говорил Стожаров, как бы не замечая Гриднева и не слушая его возражения. — Вы куда отправили свой хлеб?

— В Англию, — отвечал Гриднев.

— В Англию! А ведь в России в это время голодный народ ел древесную кору и... «молотые избы»!

— Как «молотые избы»?

— Да, «молотые избы» вместо хлеба... Разве вы не читали?

— Не читал.

— Напрасно... Может быть, вместо Англии, вы бы отправили часть своего хлеба туда, где народ ел молотые избы.

— Мне это было бы невыгодно... Я имею дело с иностранными рынками, — возразил Гриднев.

— Да! С иностранными рынками! А на дороге к иностранным рынкам давите своими обозами голодный народ, грызущий кору да избы, потому что вам это... выгодно!..

— Кто ж самому себе враг?

— Кто?.. Честный человек! А всякий подлец — друг самому себе.

— А вы себе враг?

— Враг, — отвечал Стожаров.

— Что ж вы себя не бьете или в острог не сажаете?

— Бью, и очень больно, когда сознаю свои вины... А может быть, и в острог себя посажу, когда... — Стожаров остановился.

— Что — когда?... Когда посадят? — спросил Гриднев с иронией в голосе.

— Нет, сажают в острог и негодяев, и честных людей, против их воли — это не то... А я бы сам себя посадил, если бы...

Стожаров опять остановился.

— Что «если бы»? — спросил Гриднев. — Если бы украл что или убили кого?

— Да, если бы сделался похожим на вас... стал бы со спины народа сдирать по двести тысяч рублей в год... торговать бы стал, наживаться...

Гриднев засмеялся.

— На вас нельзя сердиться, — сказал он, — вы мономан.

— Да, я мономан... Я помешался на добре, на счастье человечества, на том, чтоб кормить голодных... А вы... вы холодный, рассудительный, расчетливый убийца... Бросьте ваше проклятое ремесло: не заводите ваших контор ни в Лондоне, ни в Амстердаме — там и без вас много этих разбойничьих притонов, откуда атаманы шаек рассылают своих добрых молодцев по всем большим дорогам, по рынкам, по биржам и пристаням, чтоб грабить народ... Верьте мне, что настанут другие времена, и не будет вам места между людьми... А если уж вы так вьелись в ваше ремесло, если ни на что больше неспособны, то заведите ваши конторы в наших голодных губерниях — все же меньше убьете народа...

В дверях каюты показалась темная широкая фигура. Это была фигура Макриды-странницы, которая, крестясь, пытая и шепча какие-то таинственные слова, проползла мимо дверки, ведущей в женское отделение, и загородила собой дверь, ведущую в отделение пассажиров мужчин. Ожиревшее лицо ее, казалось, обито было деревянным маслом. Мышиные глазки зорко и пытливо перебегали с предмета на предмет, как бы боясь, что всякий, увидев эти глазки, наплюет в них. Тонкие злые губы, которым всего приличнее было бы шептать проклятья, шептали какие-то молитвенные слова.

Пароходный служитель, выскочив из служительской каютки, старался заслонить от ее глаз каюту, как бы опасаясь, чтобы такая посетительница злым глазом своим не навела болезни на его пассажиров.

— Это, матушка, мужская каюта, — говорил он, семеня ногами.

— Для меня, родненький, все едино: что мужчина, что женщина, — отвечала Макрида.

— Да господ не одемши, — продолжал служитель.

— Я, мой родненький, господ не вижу... вижу единые души христианские, — снова отвечала Макрида.

— Да вон иной, матушка, в рубашке, иной, може, и тово-с, не в порядке... так женскому полу конфузно...

— Я, мой родненький, плотскими моими очами ничего не вижу, ни тебя не вижу, ни мужской плоти не вижу... А вижу я моими духовными очами единые души христианские, без рубашки и без плоти, мой родненький, — продолжала Макрида, запуская в каюту свои заплывшие жиром духовные очи.

— А как же вы, матушка, сюда дверь-то нашли, коли ничего не видите? — спрашивал смело служитель, ободряемый улыбками пассажиров.

— Духовными очами нашла, — отвечала Макрида.

— А ногами какими сюда затесалась, тоже, чай, духовными? — вдруг спросил сильно выпивший барин, подходя к ней.

— Духовными, батюшка-голубчик, духовными, — отвечала она, нисколько не оробев, но только стараясь прятать от барина свои духовные очи, — у меня ничего плотского нету, голубчик, все духовное.

— А меня видишь плотскими бесстыжими глазами своими? — спросил снова выпивший барин с запальчивостью.

— Не вижу, мой родненький, не вижу... У меня все духовное...

— И пузо духовное?.. Ишь, отрастила!..

— Пуза у меня нет, батюшка... Чрево...

— Тоже, чай, духовное?

Макрида начала пятиться назад...

— Отпусти ему, Господи, не видит бо, — шептала она.

— А ты видишь вот это духовными очами?.. Кулак видишь?

Он поднял кулак. Макрида пятилась. Служитель двусмысленно ухмылялся, глядя на кулак, как на старого знакомого, с которым некогда хлеб-соль важивали... Другие пассажиры нетерпеливо пожимали плечами.

— Ну, ну! Я шучу, — сказал барин, смеясь пьяным смехом. — А у тебя душа, чай, уж в пятки ушла?

Служитель не выдержал такой веселой сцены и прыснул, уткнув нос в полотенце, которое было перекинута у него через плечо.

— Пятки-то у тебя, чай, тоже духовные? — допытывался пьяный, довольный своими остротами.

В это время другой служитель подал ему на подносе водку.

— А водку видишь духовными очами? — приставал пьяный.

Он взял рюмку, выпил, крикнул и, махнув рукой, вышел из каюты, бормоча:

— А дураки-то ее слушают развесив уши.

После его выхода Макрида приободрилась и, поводя мышинными глазками по каюте, пододвинулась вперед.

— Истинно бо, глаголет писание, — говорила она как бы сама с собою, — ведай себе, человече, на ком худое платье — то пьяница, или наг ходит — то пьяница, кричит кто или вопит — то пьяница, кто убился или сам ногу, или руку переломил, или голову сломил — то пьяница, кто душегубство сотворил — то пьяница, кто в грязи уваялся или убился, кто до смерти сам зарезался — то пьяница, негоден Богу и человеку пьяница, только единому дьяволу... О-о-хо! Немощи наши!

Она вошла в каюту и направилась к Гридневу, которого давно высмотрела.

— Здравствуйте, батюшка Василий Парменыч, — говорила она, кланяясь Гридневу. — Как вас Господь Бог милует?

— Спасибо, матушка. Я здоров.

— Слава Господу, слава Его святым угодникам... А как драгоценное здоровье родителей ваших?

— И они здоровы.

— Благодарение Создателю... Святой жизни родители ваши... За то и на земле Господь им дал богатства тленные, и в будущей жизни уготовлены для них богатства нетленные.

Гриднева покорило при этих словах, потому что они тотчас же напомнили ему разговор со Стожаровым, и ему стало стыдно.

«Уготовать-то уготовали, да как!» — думалось ему, и глаза его не могли подняться на Стожарова, который отошел от него и сел около Серпороева, с любопытством разглядывавшего Макриду. Таволгин тоже отошел в сторону и глядел в окно каюты на Волгу. Ему вспомнились давнишние посещения Макридою их хижины, ее чтения, завывания ветра около их избенки, рассказы матери об отце, задавленном беляною на этой самой Волге... «Неужели и моей могилой будет эта страшная река? — думалось ему. — А Стожаров прав... Везде-то слезы людские, голод, холод... Везде-то неправда, и везде-то люди друг дружку поедают...»

Мышинные глазки Макриды выглядели и Таволгина.

— Здравствуй, Мотюшка, — сказала она.

— Здравствуйте, — отвечал Матвей отрывисто.

— Видела я, батюшка, как ты душу христианскую спасал... Бог тебе простит за это единую четь седмицы твоих погрешений, — сказала она набожно.

— А сколько это выйдет: единая четь седмицы? — спросил вдруг Матвей, оборачиваясь к Макриде.

— Единая четь седмицы?.. Не ведаю, батюшка: не все словеса писания открыты нашему разуму, — отвечала она, и глаза ее попрыгали куда-то, точно мыши по норкам.

Макрида в душе ненавидела Таволгина, но боялась высказать это, видя, что молодой Гриднев принимает в нем участие. Она от старой Гриднихи узнала, какое окаянство учинил в их доме змееныш Мотька, знала, что он отшатнулся от старой веры, сообщила об этом родным Матвея, которые и проклинали его. Она могла догадаться, что такой как Мотька-змееныш, не побоявшийся старого и грозного Гриднева, может сильно ужалить ее, немощную рабу Божью, и потому она, льстясь к молодому Гридневу, которого тоже подозревала в отщепенстве, увивалась и около его любимца.

— А вы Мотюшку, знать, к себе в приказчики берете, Василий Парменыч? — спросила она Гриднева, и глаза ее, точно мыши, опять выюркнули из норок и забежали по каюте.

— Нет, он едет вот с ними.

Гриднев указал на Стожарова и Серпороева.

— Тоже, видно, по торговле? — спросила она снова.

— Нет, учиться... Они его в университет везут.

— О-о-хо-хо! Куда Мотюшка залетел... Прилучается ласточка к орлиному гнездышку, — говорила она, качая головой.

— Что ж, в орлы выйдет, высоко летать станет, — отвечал шутя Гриднев.

— И нас, серых утиц, бить будет, и наши перышки по чисту полю пустит.

— Зачем же?

— Как, батюшка, зачем? Уж такова орлу линия.

Глаза ее злобно сверкнули, и опять, словно мыши, попрыгали по норкам.

— А коли серых утиц орел не бьет, так стервятинкой, батюшка, кормится, — добавила она скромно и вздохнула.

— А вы теперь куда едете? — спросил ее Гриднев.

— По свету мычусь да грехи мои тяжкие занашиваю, словно ризу ветхую треплю... Истреплется риза греховная, легче в могилу будет ложиться.

Она замолчала и как-то нерешительно топталась на месте. Ее занимала какая-то тайная мысль.

— Мотюшка! А, Мотюшка! — снова говорила она.
— Что вы?
— Материнское-то благословение везешь в гнездышко орлиное?
— Везу.
— А бабушкино?
— И оно со мной.
— То-то же. Орлом-то станешь, налетай на Тарлык. Могилу-то материну да бабкину люди покажут.

За дверью каюты послышался голос пьяного пассажира, который декламировал:

Замерзают быстры реки,
Лезут в шубы человеки...

Макрида встрепенулась и заметалась, словно гусь на гололеде. Пьяный отворил дверь и расставил руки, увидев опять Макриду.

— А! Ты здесь! — сказал он.
— Здесь, кормилец, — сказала она робко.
— А я думал, что тебя черти взяли. Аль таких и они не берут?

Макрида перекрестилась.

— А покажи мне, где у тебя духовные очи? — спрашивал пьяный.

— Они невидимы, родимый.

— То-то! А то я б тебе их выколол. Человек! Водки...

Пьяный сел к столу, Макрида невидимо скрылась.

— А! Улепетнула духовными ногами... Так-то лучше... В Москве вам, шлюхам, вод, а у нас на Волге не вод...

Пьяный весело посмотрел на остальных пассажиров.

Стожаров, Серпоров, Гриднев и Таволгин вышли на палубу.

На палубе между тем уже ораторствовала Макрида в кругу собравшихся около нее толстогрудых и глуполицых баб и космато-бородатых мужиков, кои поглупее, и, шевеля коротенькими, толстыми, точно покусанными пчелами, пальцами на своем широком животе, закованном в железный обруч, вещала:

— И вхожу я, мать моя, в оную келию, и навстречу мне некий व्यюнош с лентием на плече, зело благообразен, и рече ми оный व्यюнош: «Зачем, мати Макрида,ходишь ты в сию келию? В евтой самой кельи мужск пол, овии токмо в рубашках, овии же в единых точию штанах». И отвечаю я тому व्यюношу: для меня все едино, что мужск пол, что женск, потому-де плотькими моими очами я ничего не вижу, ни муж-

ской плоти не вижу, а гляжу я-де духовными очами и вижу-де единые души человеческие без рубашки и без плоти... И поклонился мне тот выюнош и отыде на страну. И гляжу я, мать моя, духовными очами в оную келью и вижу все мужский пол, овии в одеждах, овии токмо в рубашках, овии же точно в единых брюках, гляжу, касатки мои, и ничего не вижу, а вижу токмо единые души человеческие.

— Врет чернохвостая лисица, — заметил про себя пеговолосый мужичонка, слушавший Макриду, — штаны видит, а человека не видит.

Сказал, сплюнул и отошел. Макрида продолжала:

— И бысть мне, касатушки мои, видение дивное и ужасу подобное. Подходит это ко мне дьявол во образе пьяницы...

Бабы ахнули и начали креститься. Пеговолосый мужичонка опять подошел.

— У дьявола того глаза огненные, а из роту, мать моя, пышет сера горящая и жупел с винищем... По серному-то духу, мать моя, я и узнала, что это дьявол, враг рода человеческого. Но я, касатка моя, не испужалась. И вопрошает меня дьявол: «А как ты, голубушка, сюда затесалась?» И отвечаю я, говорю: духовными ногами, говорю, пришла... У меня, говорю, ничево плоцково нету, а все духовное. «А меня, — говорит дьявол, — какими очами видишь?» — «Духовными», — говорю. «Счастлив, — говорит дьявол, — твой бог, Макрида, что у тебя духовные очи, а то б я тебе, — говорит, — давно их исткнул». — «Аминь, аминь, — говорю я, — рассыпся», а сама крещусь... Он и рассыпался. Остался один токмо выюнош с лентием на плече.

— Это половой-то с полотенцем на плече, — заметил Таволгин Гридневу, которые слышали, как за пароходной трубой разглагольствовала Макрида.

— Да и лентие-то у этого выюноши очень грязное, — со своей стороны заметил Гриднев.

— Все врет чернохвостая, — проговорил снова пеговолосый мужичонка, слушавший Макриду.

— Ноне, слышь, только бабам дьяволы показываются, — заметил другой голос.

— Знамо, времена не те ноне... Ноне воля, земщина... Ину пору и дьяволу бока намнем, оттого и носа мужикам не кажет.

— Вестимо времена... все времена...

— Это што и говорить... ноне того...

— Што тово?

— Да ничево.

— То-то...

— Эх, жисть мужицкая!

— А коли б у меня не были духовные очи, он бы мне, окаянный, выколол мои глазыньки, — говорила между тем Макрида, заканчивая свою повесть о видении в мужской каюте.

— А у меня, мать Макрида, какие глаза? — спрашивала курносая веснушчатая бабенка с телячьими глазами.

— У тебя, касатка моя, плоцкие глаза, — отвечала Макрида.

— Так мне бы он выколол?

— Выколол бы, мать моя.

— А у меня, матушка, какие? — спрашивала другая молодуха, острая и смешливая.

— У тебя бесстыжие, — заметил пеговолосый мужичонка и отошел.

— И у тебя плоцкие, выколет и тебе, — отвечала наставительно Макрида.

Стожаров, слушая все это, как-то отчаянно махнул рукой и, проходя к самому носу парохода, твердил задумчиво:

— Бедный, бедный народ! До чего тебя изуродовали, до чего довела тебя твоя горькая доля... Долго нам еще придется возиться с тобой, и долго будут жать тебя голод да холод да нужда в три погибели».

IV

Далеко, очень далеко от широкого поволжского раздолья, где теперь мыкается Стожаров и где он с таким отчаянием махнул рукой на горькую долю русского человека, лежит родина Григория Борисовича.

На пологом возвышении, заросшем липами и старыми ветлами, стоит небольшой деревянный, почерневший от времени дом, с таким же почерневшим фронтончиком на четырех деревянных колоннах, из-за которых виднеются окна, как бы безмолвно стерегущие и старые липы с ветлами, и покатый спуск к речке Гремячке, с берегами, поросшими местами темным ольховником и зеленью, вечно перешептывающеюся с высоким тростником, осокою, и водяною мельницею, колеса которой, видимые из окон дома, казалось, особенно при ярком солнце пересыпали полные ковши бриллиантов, темно-зеленую полосу леса под противоположную меловую горою, и эту меловую гору, и синюю бесконечную даль над горою.

На старом, почерневшем доме, и на боках и на крыше, видны белые заплаты, которые как-то странно, но красиво бросаются в глаза из-за пожелтевшей зелени старых лип, точно светлые шевроны на рукаве старого солдата, который донашивает их до могилы. На старых ветлах из-за редкой поблеклой зелени выделяются, точно темные комья, такие же, как дом, старые грачиные и вороньи гнезда, в которые давно когда-то забиралась маленькая рука Гриши Стожарова, росшего среди шума леса и птичьего говора. Каждую весну старые ветлы оживают, покрываются зеленью, гнезда наполняются птицами, а лес и вся окрестность стоном стонет от птичьего говора; только русой головки Гриши уже не видно среди этой зелени, не видно его маленькой руки, продирающейся в грачиные гнезда, не слышно его звонкого голоса среди птичьего говора и весеннего неугомона. Гриша учится, Гриша редко наезжает в Оболонье, а там и совсем не стало видно Гриши, который совсем забыл Оболонье, забыл птичий говор и весенний неугомон природы, забыл старые липы и ветлы с грачиными и вороньими гнездами, забыл свою любимую речку Гремячку, где он, бывало, пробираясь меж темным ольховником, прислушивался, как зеленая осока перешептывается с высокими скрипучими камышами. Забыл он и мельничные колеса, которые на его глазах полными ковшами пересыпали бриллианты в реку. Забыл Гриша и стариков своих, которые в нем души не чаяли. Гриша стал Григорием Борисовичем Стожаровым. У Стожарова в душе начался свой говор и неугомон. Стожаров забыл тихое Оболонье и бродит по России и по Европе, отыскивая счастье человеческое, подобно тому, как один древний чудака, все вследствие того же неугомона, искал человека днем при свете фонаря.

Почернела от времени и мельница на Гремячке, а несколько раз возобновлявшиеся колеса все продолжали вертеться и шуметь, все пересыпали бриллианты из одного места в другое. Шум колес доносился до старого дома. На заре слышно даже было, как по укатанной плотине гремели крестьянские телеги, отправлявшиеся в поле.

В старом доме, где родился Стожаров, также все постарело: и люди, и предметы. Тихо было всегда в этом доме, потому что, после детства Гриши, уже никогда в нем не слышно было живительного детского лепета и беганья. Старика Стожаровы жили скромно и уединенно, так что только изредка обычная тишина дома нарушалась наездом кой-каких соседей, но и эта, как бы нечаянно забравшаяся в старый дом, шумливая жизнь скоро опять улетала из старого дома. И сте-

ны дома, и мебель, и литографии на стенах — все обветшало и как бы обесцвело. Обветшали и обесцветели и лица стариков. Обветшал и бой стенных часов, некогда звонкий, голосистый, веселый, а теперь тихий, медленный, точно задумчивый и нерешительный, как походка стариков, все думающих о своем бродячем сыне, все прислушивающихся к внешним звукам, не нанесут ли эти звуки знакомого голоса их любимого, единственного сына.

А сына все нет, все нет. Наносятся внешние звуки в тихий старый дом, но то или звуки неугомонной весны, или завывания снежной зимы с метелями, или шутливое, однообразное битье воды об мельничные колеса, а знакомого голоса все не наносит в старый дом внешняя законная жизнь, проходящая мимо старого дома и его старых, тоскующих по сыне обитателей, хотя задевает и этот дом, и его обитателей.

В окна старого дома заглядывает утреннее сентябрьское солнце, которое поднялось уже довольно высоко, так что свет его, врывавшийся в тихие комнаты через позеленевшие стекла, с обветшалых стен перешел уже на старый, давно потертый крашеный пол и лежал на нем длинными параллелограммами. Эти светлые параллелограммы бросало солнце и в угольную комнату старого дома, в которой находились старики Стожаровы.

У письменного стола, на котором лежат бумаги, несколько книг, в порядке сложенных, и счеты, сидит Борис Григорьевич и сквозь очки, положенные не на переносицу, а на середину сухого, несколько орлиного носа, внимательно читает газету, отодвинув ее на такое расстояние от глаз, что, казалось, не читал, что там написано, а только рассматривал цвет бумаги. Морщинистое лицо старика сосредоточено, по-видимому, на том, что он видел на бумаге сквозь свои очки, и светло-русые, нависшие брови иногда хмурились, как будто бумага, рассматриваемая им, передавала не то, что хотелось бы видеть на ней старику. Белый лоб гораздо покойнее всего лица, а правая рука иногда как бы нехотя мяла поля газеты, но не рвала их потому, что они слишком тонки и беззащитны. Белая, гладко обстриженная голова, по-видимому, уже давно потеряла все наружные признаки, по которым можно было бы судить, черные ли были на ней волосы в молодости, русые ли или совершенно светлые. Изжелта белые усы упрямо торчат вниз, как торчали они сорок лет назад, тогда еще не белые, а только обожженные порохом, когда Стожаров и обедал и спал на пушечном лафете и когда спорил об заклад с товарищами по турецкой кампании, что повесит свой любимый кисет с табаком на воротах Цареграда, как Олег повесил там свой боевой щит, и проиграл заклад.

В стороне от него, в старом, высоком и глубоком кожаном кресле, вся облитая лучами солнца, сидит старушка и вяжет, не замечая, как старый кот катает по комнате ее клубок, то перебрасывая его из цепкой лапки в другую, то подкрадываясь к нему со всеми предосторожностями, предписываемыми кошачьими законами на предмет изловления мышей и зазевавшихся воробьев. Голова старушки ничем не покрыта, но белизна волос заставила бы подумать, что старушка в чепчике, так белы эти мягкие волосы. Нос старушки также вооружен очками, круглыми и большими, как две лупы, но она не смотрит в эти очки, а только по временам серые, некогда бойкие и светлые, а теперь полинявшие глаза, не стесняясь присутствием на носу очков, взглядывают то на читающего старика, то на окно, в которое виднеются и старые липы с ветлами, и темный ольховник с камышом и резучей осокой у берега Гремячки, и мельница с неугомонными колесами, и дорога, теряющаяся в синей дали. Губы старушки иногда шепчут какие-то слова, и в этих словах слышится то имя Гриши, то счет каких-то дней, месяцев, лет...

Шуршание газетного листа заставляет кота припадать к полу, принимать нужные предосторожности, как бы в ожидании приближающегося неприятеля, но потом опять все внимание отдается клубку, и опять идут военные маневры по полу...

Под окном раздается стрекотание сороки, и кот и старушка вздрагивают, но только последняя, вздохнув, шепчет с неудовольствием: «Лгунья», и опять погружается в счет петель, дней, месяцев, лет...

Стрекотание сороки опять сбивает ее со счету...

— Поганая сорока! Уж не болтала бы попусту, лгунья эдакая! — шепчет старушка, и опять считает.

Кот прислушивается, но речь не к нему относится, и он опять весь отдается клубку и своим, ему одному известным думам.

— Вот скоро и осень на дворе, а его все нет, — снова говорит старушка, уже громко, и, минуя очки, взглядывает на окно, а потом на старика.

Брови старика хмурятся, газетный лист резко шумит в его костлявой руке, белые усы падают как будто еще ниже, но старик молчит.

В окно глядят липы и ветлы, и темный ольховник, и шумливый камыш над рекою, и синяя даль, и солнце, которое как бы хочет сказать старушке: «Вы его не видите, а я вижу его точеную голову, вечно занятую, вечно думающую... он видим

был для меня и тогда, когда бродил далеко от родины, когда расстилалось над ним голубое небо юга, и сердце его болело не за вас, старые забытые люди, а за весь несчастный мир Божий... Зачем же вы только о нем думаете, когда перед вами целый мир, и эта проходящая мимо вас жизнь, и эта незанимающая вас зелень, и эта синяя даль!..»

— А у меня уж и четвертая дюжина шерстяных чулок для него готова на зиму, а он все не едет, — опять заговаривает старушка, стараясь вызвать на разговор старика, и поглядывает на него искоса.

Старик тоже отводит глаза от газеты и через плечо смотрит на старушку.

— Ведь он у нас, матушка, не о четырех ногах, что ты ему четыре дюжины одних шерстяных чулок навязала, — говорит старик, и снова смотрит сквозь очки на газету.

— Кто ж говорит, что о четырех...

Кот, по-видимому, обрадованный началом разговора, бросил клубок и стал тереться у подола платья старушки. Даже как будто на него наводило тоску это тоскливое ожидание сына.

Опять тихо в комнате. Опять шуршит газетная бумага да с губ старушки срывается шепот: счет ли петель, или счет дней, месяцев и лет, проведенных ею в ожидании любимого сына. А липы да ветлы все глядят в окно, у которого сидит старушка, темный ольховник стоит не шелохнется, синяя даль все синее и синее становится, а проезжая дорога тянется как будто все дальше и дальше... Но никого не видно на этой дороге.

А сорока все стрекочет под окном и только пущую тоску наводит на старушку.

— А еще вешуньей называется, подлая пустомеля! — ворчит старушка и через очки, словно через забор в чужой огород, смотрит и на сороку, и на старые липы, и на синюю даль, и на дорогу, на которой никого не видно.

— Ты с кем ругаешься? — спрашивает старик.

— Да вот, сорока... все попусту мелет... только сердце надрывает.

Старушка вздохнула, а брови старика опять нахмурились, белые усы точно еще более упали книзу.

— Вот какие нынче молодые люди, сыновья-то какие... и знать не хотят родителей, — снова заговаривает старушка. — Нет, мы не такие были в молодости...

Старик круто поворачивается.

— А что вы в молодости делали, позвольте спросить? — заговорил он. — Танцевали да амуров вышивали?

— Все ж лучше, чем забывать старуху мать и отца... Амуры амурами, а родителей помнили.

— Не одни родители у него, матушка, на уме... У него дело.

Старику хотелось верить, что сын забывает их для великого дела, оттого так и говорил; а между тем у самого щемило на сердце: все ему хотелось посмотреть на Григория, пожить с ним, посмотреть поближе на его деятельность.

— Нынче не те времена, матушка.

— Уж хоть бы ты глаз мне не колол своими временами! — говорила старушка с сердцем. — Дались ему времена... Точно мы сами не жили... Ведь, чай, тоже были времена и тогда.

— Времена временам рознь, матушка! В наши-то времена молодежь пила, плясала да воевала, на лафетах и жила, и спала, а ваша сестра танцевала да амуров вышивала. Теперь не то.

— Что ж, теперь уж, по-вашему, никто и не танцует, и не пьет, и военных теперь никого нет? Уж будто и амуров теперь барышни не вышивают?

— Вышивать-то вышивают, матушка, которые поглупее.

— А умные-то что делают?

— Учатся, работают, поступают на должности, докторами делаются...

— Учились и в наше время не хуже теперешнего... А что докторами-то не были, так это женщине, а особенно девушке, неприлично... Да и мужчины все те же остались.

— Те же да не те же, матушка... Мы вон думали все о пушках да о турках да на лошадях гарцевали...

Старик закашлялся. Он вспомнил, как он, молодым офицером, гарцевал на сером в яблоках перед окнами Катюши, полнолицей и ясноглазой девушки, которая теперь поглядывала на него через очки своими потухшими глазами.

— А теперь что же? — волновалась сморщенная, выцветшая и сгорбившаяся Катюша.

— Теперь, матушка, молодежь думает не о лошадях, а о народе заботится, как бы его просветить.

— Хамов как ни просвещай, они все хамами останутся.

Уж слишком доела старушку тоска о сыне, оттого она и выражается старчески сердито о хамах; а в сущности, хамы знали ее как добрую, сердобольную старушку. Накипевшая на сердце боль требовала исхода. Горе волновало ее до забвения справедливости, до забвения даже чулка, который она вязала для своего сына со священной добросовестностью, и она спускала петли, путалась в счете, грозила в окно пальцем

сороке «лгунье», погрозила даже на воробья, весело чирикавшего под окном. Подбородок ее, заострившийся от старости, ее губы, ввалившиеся от беззубья, дрожали как в лихорадке, голова и руки также дрожали.

— Нынешняя молодежь, матушка, пишет, литературой занимается, рабочий вопрос вон разрабатывает, женский вопрос, народные школы, земство, политика, братья славяне... Много дела нынешней молодежи...

— Все лихие болезни выдумывают, — ворчала старушка, вполне, впрочем, уверенная, что из всей молодежи только один ее Гриша не выдумывает лихих болезней, а забыл мать просто по молодости, по неопытности.

— Нам, матушка, стыдно вспомнить наши времена, — продолжал старик увлекаясь, — вино да карты, женщины да лошади, на мужика смотрели как на соху или на борону, за гончую по два тягла давали... А теперь вон почитай.

И старик ткнул пальцем в газету.

— Еще читать меня заставишь, учиться... будет, поучилась, начиталась в молодости...

— Тут Григорий пишет, потому и говорю.

— Гриша?.. Ах ты господи!.. Покажи, покажи...

И старушка сползла с кресла, запуталась в вязанье, споткнулась на клубок, прижала хвост коту, обругала его, подошла к столу и поправила очки.

— Покажи, где Гриша...

Старик показал пальцем на подпись.

— Так, так... Григорий Стожаров... Батюшка мой, голубчик!

И старушка набожно поцеловала то место, где было напечатано «Григорий Стожаров».

— Что ж он пишет, Борюшка? О чем?

— Пишет, что не любит свою старуху мать, что никогда к ней не придет, что теперь, слышь, не такие времена, чтоб матерей любить...

Старик засмеялся и через очки поглядел на жену. Старушка взяла его за ухо.

— Вот тебе, вот тебе, старый лгун! Не лги, не лги!

И старик и старушка закашлялись. Кот встрепенулся и отчаянно начал прыгать по стульям и по окнам.

— Григорий пишет еще, чтоб ты ему чулок не вязала, — продолжал старик тешиться.

— Полно врать-то, Борюшка! Утешь ты меня... Что ж он и правду, что ли, о славянах там о ваших пишет, или о мужиках?

— О мужиках, Катюша, да о земских делах... Остро так пишет.

— Еще б не остро... Не в кого ему дураком-то быть, разве в мать простушку да необразованную.

Старушка поднесла газету к губам и снова поцеловала подпись сына.

— Как мелко-то напечатано... Глазки бы он свои, голубчик, не испортил... Он и маленьким близорук немножко был, какую-то там звезду на небе все не мог усмотреть.

Старушка бережно положила газету на стол и снова поместилась в своем кожаном кресле. Увлекаемый общим весельем, кот взобрался ей на колени и все старался своим пушистым хвостом сбить очки с носа старушки.

И солнце, казалось, веселее и приветливее заглядывало в комнату, и синяя даль казалась приветливою, оживали и старые липы под окнами, и темный ольховник, и порыжевший камыш с зеленою осокою над речкой, все оживало и улыбалось полинялому, но повеселевшему взгляду старушки, и даже сорока казалась не обманщицей, а наивною болтуньей, от которой вовсе не зависел проезд дорогого сына.

— Вот бы приехал к нам, пожил с нами, посмотрел бы на своих бывших мужиков, коли он их так любит, занялся бы хозяйством... Вон ты уж стар... где тебе за всем усмотреть?

— Усмотрю.

— Ну, служить бы стал...

— Где, матушка, ты ему место припасла?

— Ну, в земстве там, что ли, посредником, мировым судьей...

— А ты его, матушка, сама, чай, в короли бы прочила? — спросил старик улыбаясь.

— Отчего ж и не в короли? Не глупей бы был других немецких да турецких.

Старик сам готов был прочить сына в короли, и в полководцы, и в законодатели, но молчал об этом.

— Нет, матушка, не захочет он ни по земству служить, ни в мировые судьи не пойдет.

— Отчего ж бы и не пойти?

— Не такой он, вижу я это... Что-то другое он замышляет.

— Что ж это может быть такое, Борюшка?

— Уж это, матушка, его дело... Дурного он не выдумает.

Старик догадывался, хотя смутно, на основании того, что он знал о сыне, что Григории ищет чего-то другого, чего ему не может дать ни земство, ни мировые судьи. Не ради дол-

жности мирового судьи, которую он мог всегда получить, потому что имел и ценз, и образование, исколесил он всю Россию и Европу, не ради того, чтоб разбирать подравшихся да проворовавшихся мужиков (на что станет и всякого судебного следователя, и всякого честного станового), учился он почти до тридцати пяти лет и работал на лионских, брюссельских и бирмингемских фабриках и заводах зауряд с простыми поденщиками, жил годами в рабочих ассоциациях Германии и Англии, пахал землю в Мекленбурге вместе с мекленбургскими тагленерами... Нет, старик чуял, что сын его дальше пошел, чем шли знакомые ему деятели, что он выискивал других путей для отыскания счастья человеческого.

— Все-таки приехал бы к нам, рассказал бы все, — говорила старушка задумчиво.

— Может, и приедет.

Старик не верит сам в возможность того, что говорит, но упорно ждет сына, ждет еще упорнее жены, потому что даже с ней не разделяет своих тайных дум, своих ожиданий и мучительных сомнений.

Опять тихо в старом доме. Опять далекое солнце, следившее за их сыном в години блужданий его по белому свету, как бы хочет сказать старикам: «Зачем так ограничены ваши желания, бедные, забытые люди? Зачем только его, вашего сына, ждете вы, зачем в него одного положили вы вашу жизнь, ваши думы? Ведь мир так велик: желайте большего, и большее дастся вам. Кто многого ищет, многое находит. А кто ищет малое, единое — тот и это малое, единое теряет...»

А старики не слушают солнца и думают только о сыне, потому что старикам не о чем больше думать, потому что старость всегда бедна, всегда, как нищий, носится с одной сумой, да и эту последнюю суму теряет, или ее отнимает жизнь и люди.

— Пора бы уж и жениться ему, — снова заговаривает старушка, поглядывая то на старика, то на синюю даль, в которой теряется проезжая дорога. — Мы ему хорошую невесту нашли... Я бы его деток нянчила.

— Не те нынче времена, матушка, чтобы жениться, — снова возражает старик, а сам в душе желает того, что и жена, только признаться не хочет.

— Опять ты со своими временами! Все у него времена!.. Да разве уж в эти времена никому и не жениться? — волновалась старушка.

— Отчего не жениться людям праздным. А они — воины века, матушка.

— Так что ж, по-твоему, воинам и болтаться весь век бобылями?

— И пусть болтаются... Они на войне, а на войне жена руки свяжет, а детки свяжут и руки, и ноги.

— Господи ты мой! — воскликнула старушка в отчаянии, так что испугала кота. — Что ж это за времена такие проклятые! Не люби мать, не почитай родителей, не женись... Да так и род людской переведется.

— Кто Богу служит — не женись, кто веку служит — также не женись. Вот как, мать моя.

Старушка всплеснула руками.

— Да откуда ты, мой голубчик, всего этого набрался, скажи на милость?

— От Григория.

— Точно Григорий с ним вместе в лошадки играл и учился вместе, как слушаешь.

— Не вместе я учился с ним, а учился у него, Катюша... Вот что.

— Да ты, я вижу, Борюшка, совсем с ума спятил! Уж не хочешь ли в другой раз в молодежь записаться?

— Записался бы, Катюша, да нас с тобою молодежь не возьмет... Ей нас не нужно.

Старушка только вздохнула. Как бес шевельнулась в ней память о молодости, и в уме ее невольно сложилась фраза: «А когда-то и я нужна была молодежи... Полнолицая, ясноглазая Катя... Ах, как давно, как давно это было!..»

— Ну, крась волосы, отпусти бороду, коли хочешь записаться в молодежь, — ворчала старушка, — я уж одна свой век доживу... Где нам отсталым! Это вы все передовые люди...

— Что ж, матушка, и впрямь досадно, что не вовремя родился.

— Так, так! Ропщи теперь на Бога, старый греховодник.

— И буду роптать... Потому даром мы небо коптили, ничего не делали.

— Что ж, кайся теперь, что и на мне женился.

— Я не каюсь, матушка, а жаль только, что на своем веку мы ничего не сделали... В наше время все только собак гоняли, и вон теперь за нас и отдувайся наши дети. Так-то, Катюша.

— А что ж бы ты сделал? Какие такие дела творить бы стал?..

— Да много, матушка, дела... Вон народ голодает, груб, безграмотен, там вон славяне упрекают нас, что мы ничего для них не сделали... А мы собак гоняли да на мужиках с колокольцами ездили.

— Ах ты Господи! Вот пристал!.. Ну и поди целуйся со своими мужиками да славянами... Все эти мужчины, и старый и малый, все на одну стать — непутные какие-то, все бы им до старости ветрогонничать... легковверные какие-то: всему-то верят, всему-то радуются, старое время ни во что не ставят, а все только «наше время» да «наше время», будто только и света, что в окне, а свое время забыли.

— Да вспомнить-то его, Катюша, нечем, кроме худого.

— А теперь, скажешь, хорошо?

— Хорошо, Катя.

Старушка даже перевернулась в кресле, спустила петлю, дала шлепка ластившемуся к ней коту, проворчав: «Ты тоже, чай, передовой... за наше время... все б тебе по крышам лазить!» — и стала тревожно глядеть в окно.

— Хоть бы одним глазком из могилы поглядеть после, что-то сделают наши дети, наши внуки, — продолжал старик, которого годы как бы вовсе не состарили, хотя и разбили его древнее тело.

— Ну и поглядишь, когда меня похоронишь, — отвечала старушка, не глядя на мужа.

— Поглядеть бы, — продолжал старик, — как это вот через наше Оболонье пройдет железная дорога... вагоны эти, локомотивы... дым... Станцию тут у нас бы, вон там, где гумна...

— Разорит нас эта железная дорога, — продолжала старушка.

— Славяне по ней поедут, — продолжал свое старик.

— Хоть бы провалились все эти славяне!.. В наше время никаких этих славян не было и лучше жилось, дети родителей почитали, — твердила свое старушка.

Женщина почти всегда и везде была консервативна, особенно пожилая и старуха. В молодости ей все равно, к какому бы лагерю ни принадлежать, под каким бы знаменем ни стоять, лишь бы ее любили, поклонялись ее красоте, и она всегда охотнее шла за тем знаменем, под которым могла найти больше поклонников. С летами жизнь, попримавшая ее, поистрепавшая ее красоту, как бы выбрасывает ее за борт корабля жизни, тогда как мужчина и в старости действует, принимает участие в общечеловеческой работе и оттого менее окисляется. Женщина же непременно окисляется и враждебно относится ко всему живому, потому что между этими живыми ей одной нет места, одна она там лишняя. Оттого мужчина бывает молод и в семьдесят лет, тогда как старуха — никогда.

Так было, впрочем, до сих пор. А что будет дальше, то будет, без сомнения, лучше.

— Мужик наш будет богат, — мечтал старик.

— Опять хамы!.. Ну, времечко!..

Старушка от волнения оборвала нитку.

— Немцы нас не будут презирать, — продолжал мечтать старик.

— Ну, чего еще? Женишься в другой раз на славянке... Тошно даже слушать тебя.

— По железной дороге к нам приедет Григорий, — говорил старик.

— Вот одно умное слово сказал... Да когда это будет?

— Когда ты, матушка, сорок сороков дюжин чулок успеешь навязать.

При этих словах старушка опять впала в раздумье. Ей в самом деле представилась железная дорога, идущая через Оболонье, хотя она никогда не видала, что такое железная дорога, что такое рельсы, вагоны. Ей виделось только выглядывающее из вагона дорогое лицо, и из непроглядной синей дали она узнавала это лицо между тысячами лиц, различала своими старческими глазами каждую морщинку на этом лице... И вот оно все ближе, ближе... Вагоны останавливаются там, у самых гуменников, позади избы Савелия, и из вагона выходит Гриша, такой бледный, такой задумчивый... А старушка тут же, у самого вагона, доплелась-таки старыми, развинченными ногами до Гриши, и Гриша узнает свою старуху мать, не глядит даже на отца, а только глядит на нее, глядит и проливает радостные слезы... «Как я давно не видал вас, маменька», — говорит он и обнимает ее, ведет под руки, а со стариком отцом даже забыл поздороваться, так обрадовался матери!

— Я бы в Воронеж тогда съездила, — говорит старушка, очнувшись от своих грез...

— Когда это, матушка? — спрашивает старик.

— Да когда у нас железная-то дорога будет.

— А!.. Всякому свое... Кому дело, а ей Воронеж.

— А тебе бы чего? — снова вскидывается старушка на мужа. — К славянам своим, чай, поехал?

— Отчего ж и не поехать, коли можно?

— То-то можно! Да к лицу ли тебе славяне-то придутся?

— К лицу, матушка.

— А мне сдается, как к корове седло.

И опять тихо в старом доме. Все те же лица, да старые ветлы глядят в позеленелые от времени и непогод окна, все то же слышится осторожное, нерешительное постукивание маятника, то же сентябрьское солнце рисует на крашеном, потертом полу светлые четырехугольники, которые уже из

параллелограммов обратились в квадраты, то же ожидание радости томит старых, забытых жизнью людей.

А в стороне от них жизнь бьет кипучим ключом... Как из омута какого бездонного она поднимает вопрос за вопросом, да вопросы все жизненные, неотложные, «проклятые» вопросы, как их называет Гейне, вопросы прямые и резкие до цинизма... И люди спешат решить эти вопросы, чтоб до могилы ничего не осталось нерешенным, и в числе этих людей мыкается тот, кого ждут в Оболонье старые, забытые люди...

V

В комнату, в которой сидели и тосковали о сыне старики Стожаровы, вошло или, вернее, вкатилось еще одно очень старое существо, не шаркающее, а, так сказать, шамкающее ногами. Существо это, впрочем, шамкало и языком, как шамкало ногами. Это была очень старая, очень сухая и очень маленькая старушонка. Лицо ее, пересеченное морщинами в таких направлениях, в каких едва ли может быть пересечен до невозможности старый человеческий образ, выражало положительную доброту, которой старость придавала какое-то умиляющее спокойствие. Глаза старушонки слабо выглядывали из-под каких-то навесов, образовавшихся из складок повисшей под бровями старой, пересохшей кожи. Маленькая, узенькая голова ее почти совершенно лишена была естественного прикрытия, хотя тем не менее жиденькие волосенки, кое-где пощаженные всесокрушающим временем, не были седые, а казались только выцветшими и принадлежащими как будто другой человеческой голове, не той, на которую они случайно попали. При всем том движения этого, по-видимому, не в меру зажившегося на земле существа были довольно живы и юрки, как и самое шарканье ног и языка было быстро не по летам, только казалось, что, шамкая по полу довольно быстро, существо это всегда готово было упасть и не ушибиться, так сухо и бесплотно казалось это перестаревшееся тело. Одета она была в темное ситцевое платье, сверху которого еще надета была черная ватная кацавейка.

Это была старая няня Аверьяниха, выносившая на руках Гришу Стожарова и еще не более как двадцать пять лет назад умевшая лазить по деревьям, когда ее питомец забирался слишком высоко на какую-нибудь старую липу, увлекаемый жаждой достать вороньи яйца.

Аверьяниха, неслышно вкатившись своим бесплотным телом в комнату, делала своими костлявыми, такими же, как

и все ее тело, бесплотными руками какие-то телеграфические знаки Стожаровой. Стожаров, сидевший спиной ко входной двери, не видел этих знаков. Аверьяниха показывала рукой на окно, а потом как бы на потолок, и при этом на лице ее выражалась как будто радость, но в таких формах, в каких могла разве проявиться радость на застывшем лице мертвеца, лежащего в гробу, если б только лежащие в гробу лица могли когда-либо проявлять что-нибудь похожее на радость.

Старушка Стожарова встрепелулась и с несвойственной ее летам живостью подбежала к Аверьянихе.

— Что? — спросила она шепотом, между тем как руки ее тряслись и не могли сложиться ни на груди, ни у пояса.

— Пыль, матушка, Катерина Митревна, — в свою очередь отвечала шамкающим шепотом Аверьяниха.

Стожарова точно окаменела на месте, только голова ее затряслась и заходила из стороны в сторону.

— Ох, держи меня... темно, — простонала она.

— У меня у самой, матушка, подкатилось, — бормотала Аверьяниха, силясь поддержать барыню. — Как увидела эту пыль, голубушку, руки и ноги подкосились... А она-то, матушка, пыль-то, клубом, клубом...

— Веди меня... показывай, — говорила Стожарова, все еще как бы вне сознания.

— Так и валит, так и валит, матушка, клубом пыль-то. А мое сердечушко так и закатилось...

— Ох, это он...

Старика Стожарова тоже будто что подняло на ноги.

— Кто он? — спросил он порывисто.

— А она-то клубом, клубом, матушка.

— Да кто она? — спросил уже с сердцем старик, недоумевая, что случилось с обеими старухами.

— Пыль, батюшка-барин, так и клубится, так и клубится.

— Что ж что пыль?

— А ничего, родной мой...

Старик начинал догадываться в чем дело, но старался скрыть свою безмерную радость, которая на первых порах проявилась каким-то испугом.

— Верно, Григорий едет? — спросил он, и в старческом голосе оказалась как бы трещина.

— Пыль, батюшка-барин, по дороге... Сама видела с подвалки.

— Пойдем... покажи, — снова проговорила старуха Стожарова с усилием.

Аверьяниха повела ее к выходу. Оставшись один, Борис Григорьевич заметался. Он хотел отворить свой письменный стол, но руки его тряслись и не попадали на ключ. Ощупав ключ, он вертел его не в ту сторону, в которую следовало, и с дрожью в голосе шептал: «Вот и он пожаловал... вспомнил пенаты... А глупые старухи совсем растерялись...» И он силился засмеяться, но смех выходил беззвучный. Дрожащие руки наконец отперли стол и ухватились за лежавшую в нем зрительную трубу. «Посмотрим, посмотрим, — шептал он и поспешил вслед за растерявшейся женой и старой нянькой. — Посмотрим, кто-то раньше увидит».

Старик совсем растерялся, хотя психологически не хотел этого показывать «глупым старухам». Старух он нагнал на узенькой лестнице, ведущей на чердак старого дома, откуда Аверьяниха, как с наблюдательного пункта, отчасти по приказанию барыни, отчасти по влечению своего собственного старого, но все еще бывшего сердца, сторожила каждый день приезд своего вскормленника. Старухи помогали одна другой взбираться на лестницу и взаимно друг другу мешали.

— Ну-ка, ну-ка, правду ли говорит казанская татарская княжна Суюмбека, — говорил он, следуя за старухами.

— Какая татарская княжна? — спрашивала его жена.

— Суюмбека, матушка... Она ведь с высокой башни наблюдала, как Грозный Казань брал.

— Ох, Борюшка! Тебе бы все шутки, а у меня в глазах потемнело.

Наконец они были на чердаке у слухового окна и глядели вдаль на дорогу.

— Ну что, видите? — спрашивал старик.

— Пыль, Борюшка, по дороге, — отвечала Стожарова.

— Ишь как клубится, голубушка, — говорила Аверьяниха, приглядываясь вдаль своими старыми глазами.

— Дайте, я посмотрю на Грозного, осударь Иван Васильича.

Старик наводил свою зрительную трубу по указанному направлению, но дрожащие руки отказывались служить ему. Труба ходила ходуном и показывала то куст пеклена, то мельничное колесо, то собаку, стоящую на мельничной плотине и лающую на ветер, то клочок голубого неба...

— Покажи мне его, голубчика, — приставала старуха-жена.

— Постой, Катюша... Дай самому взглянуть, — отвечал он.

Пыль поднималась все ближе и ближе к спуску на мельницу, а дрожащие от волнения руки старика все не могли навести фокус трубы на искомый предмет.

— Вот он с горки спускается, голубчик, — бормотала Аверьяниха, у которой зрение, несмотря на старость, было лучше, чем у господ.

— А видишь ты его самого, Аверьяновна? — спрашивала Стожарова.

— Нет, матушка, будто колеса вижу, а его, золотого, не вижу.

Наконец старик навел свою трубу. «Не может быть, — шептал он, — не туда направил... нет, так, так...»

— Видишь, Борюшка? Что видишь? Говори, не мучь меня, — спрашивала нагибаясь, к его плечу, взволнованная мать.

— Вижу, матушка.

— Его? Сокровище наше?

— Нет, снопы.

У старух и руки опустились. С горки действительно спускалась телега со снопами. У старика точно что порвалось в сердце, но он и тут победил себя.

— А может, он, наш золотой, уж проехал, а снопы после подоспели, — утешала их и себя Аверьяновна.

— Нет, Аверьяновна, не быть этому... не видеть уж мне моего солнышка, — говорила опечаленная мать.

— Чтой-то, матушка! Какие еще ваши годы: поживете, увидите, — настаивала Аверьяниха.

— Эх ты, княжна татарская! — говорил Стожаров. — Обмануло тебя твое сердце.

— Чем, батюшка, обмануло?

— Да вот, снопы приняла за Григория.

— На все Господь, батюшка-барин, — отвечала покорно старая няня.

— Оно-то так, а все-таки ты прозеваешь и не увидишь, как Григорий Казань возьмет в полон.

— Помилуй Бог от такой беды, — набожно сказала няня.

Старик махнул рукой и пошел с чердака. За ним поплелись и опечаленные старушки.

— Экое горе, — шептала Аверьяниха, — снопы, а не барин наш золотой.

И опять в старом доме потянулась прежняя однообразная жизнь, полная тоски и ожиданий. Каждый день Аверьяниха лазила на чердак и наблюдала оттуда всех проезжавших по большой дороге, но уже не решалась тревожить господ из-за всякого вставшего в отдалении облачка пыли, а только в раз-

думье шептала сама с собой: «А може, и это снопы, а не он, золотой наш». Старушка Стожарова начала новую дюжину чулок для своего любимца и каждый день сквозь окно бранилась с сорокой, то грозя ей пальцем, то называя ее лгуньей, пустомелей и неблагодарной птицей. В неблагодарности она упрекала сороку за то, что бросала ей иногда за окно кусок говядины в надежде, что сорока-вещунья напрочит ей приезд сына, но неблагодарная сорока уносила говядину, снова появлялась под окном, снова стрекотала, а молодой Стожаров все не приезжал. Старик Стожаров продолжал читать газеты и те немногие книги, которые у него имелись, в том числе книгу доктора Бока «Будьте здоровы», а по временам вносил свои наблюдения в дневник, который он вел с первой холеры, то есть с тридцатого года, и из которого можно было видеть, каким метаморфозам подвергало время убеждения этого человека, у которого был природный светлый ум и довольно наблюдательности. В иной день он отправлялся на деревню к мужикам потолковать о работах и непременно заводил разговор о новых временах, о новых помещичьих, земских и крестьянских порядках.

На ту пору воротились оболоньевские мужики Лодыга и Артемка из Петербурга, куда они ходили искать своего счастья, подобно тому, как их молодой барин искал этого счастья, впрочем, не своего личного, а вообще человеческого счастья по Европе и по всей России. Лодыга и Артемка пробыли в Петербурге несколько лет и воротились теперь — один с небольшим запасом деньжонок и горькой опытности, другой — с большим запасом столичной лакейской цивилизации и развращенности. И того и другого тянуло в Петербург недовольство существовавшим порядком вещей, и хотя тот и другой искали счастья, но Артемка видел его далеко не в том, в чем находил его Лодыга. И того и другого на родине глодала нужда, и того и другого давили неласковые обстоятельства и бесталантность, которые давили и других мужиков; но другие смирялись перед нуждой и несли на своих плечах столько тяжести, сколько могли поднять и протащить до первого упаду. А Лодыгу и Артемку эта непосильная тягота выдавила из обычной колеи, и они решились на то, на что обыкновенно решаются сказочные горемыки: пошли искать черта, чтобы продать ему свою душу. Характеры обоих мужиков были разные, но одинаково несутерпчивые: если Лодыгу называли огнивым кремнем, то Артемку положительно можно было назвать порохом.

По поводу прихода Лодыги и Артемки старик Стожаров застал на деревне большую суматоху. Оба пришельца были

героями дня, только Лодыгу разиня рот слушали мужики и по временам охали, а Артемка был фокусом внимания баб и девок.

Увидев старого барина, Лодыга подошел к нему и снял шапку. Старик обрадовался, узнав одного из своих прежних забияк, которого, впрочем, любил за смешиленость.

— Здорово, Лаврентий, — сказал старик, вглядываясь в загоревшее лицо Лодыги. — Давно ли прибыл к нам?

— Утресь только Бог привел... Не успел еще поклониться и вашей милости, барин.

— А Артемий не с тобой?

— С нами, сударь... И Артемка домой захотел.

Подошел и Артемка. За ними надвинулись к барину все оболоньевские мужики, бабы, девки и ребятишки.

— Ну что, Лаврентий, хорошо ли житье на стороне? — спрашивал старик.

— Хорошо, барин, там, где нас нет, а еще того лучше, где людей нет, — отвечал Лодыга, тряхнув косматою головой.

— Отчего ж так?

— Где люди, барин, там и нужда, а нужда-то в Питере не по крышам ходит, а по людям.

— Так ты, значит, не рад, что ходил?

— Не от радости ходил, а от бездоля... А радость-то в Питере и на фунты не продают, дорога очень.

— Это точно, что такого товару и в милютинских лавках не найдешь... Арбуз еще можно купить, а радость не купишь, — заметил со своей стороны Артемка, охорашиваясь и поглядывая на баб.

— А тычки там почему на базаре ходят? — спросил один оболоньевский остряк.

— Тычков, брат, ноне нигде не продают и даром не дают. Евтот товар выводится, потому времена не те, — отвечал Артемка.

— А у нас на тычки урожай, по-старому.

— Однако заработали ли вы что-нибудь? — спросил Стожаров. — Или с пустыми руками воротились?

— Нету, барин, како с пустыми! Что было на руках мозолей, так из Питера принесли на кажинный мозоль по десятку... Не было, кажись, мозолей на спине, так в Питере нажили... Диви бы сердце, кажись, сердцем ни воду не таскал, ни дрова не рубил, а и на сердце мозоли, да такие болючие, барин, — говорил Лодыга. — Тяжела она, денежка медная, что крещеному народу достается, а кажись, в ней и весу нисколько... У нас что, наша сторона благодатная, а там чего мы нагляделись, так инда сердце кровью обливается.

— Что ж вы там видели? — спросил Стожаров.

— Всего видели, барин, и наслышались вдоволь... Что нашего брата, рабочего, приходит туда кажинный год, что мрет его там — и сказать нельзя. Везут это туда нашего брата вагонами, полны вагоны, а назад-то воротится малая часть, все съест нужда да голод да болезни разные... Кажись, изо всей России слезы туда, как реки в море, стекаются...

— Не одни, дядя Лаврен, мужицкие, а и господских не мало, — заметил Артемка.

— Оно и то правда, да наши-то слезы, парень, покрупнее господских и потяжелее их будут.

Старик Стожаров, сидя на завалинке, молча слушал жалобы Лодыги на крестьянскую нужду. Он и прежде подметил эту черту за Лодыгой, а теперь она, кажется, высказывалась в нем еще резче; потому что действительно мужик потерялся на стороне и видел много такой нужды, о какой в их местности и понятия не имели. В Петербурге Лодыга видел рабочий люд из самых бедных местностей России. От этого наплывающего каждый год в столицу народа Лодыга узнал, каково живется в других местах, бедных, безземельных. Он видел, как гнилая горячка косили рабочий народ сотнями, потому что этот народ образом жизни своей поставлен в такие условия, которые дают менее возможности уберечь себя от этих болезней: чтобы заработать себе кусок хлеба, он нередко вынужден работать даже в ущерб своему здоровью.

Вот отчего Лодыга положительно уверял, что мужицкие слезы покрупнее и потяжелее барских.

— Не говори этого, Лаврентий, — заметил Стожаров на последние слова Лодыги, — крупны и тяжелы тоже и господские слезы.

— Оно правда, батюшка Борис Григорьевич, бывают и господские крупненьки, что и говорить, да счет-то не ровен: на сотню-другую мужицких, може, одна господская приходится.

Артемка при этом не утерпел, чтоб не потешить баб и девок. Обратив к ним свое веселое, загорелое лицо и скорчив гримасу, он шепотом сказал им: «Мужицка-то слезища во какая, — он сжал свой кулак и приложил к щеке, — а барская-то слезинка вокенькая», — и он показал на кончик ногтя. Бабы и девки захихикали и потупились.

— Теперь-то чем мужику не житье? Теперь он вольный, — заметил добродушно старик Стожаров.

— Что воля, батюшка Борис Григорьевич! И пес волен бегать по улице и брехать на кого душенька забажает, а что

тут проку?.. Все перед куском-то хвостом виляет, — снова возразил кремень Лодыга.

Артемка стал показывать пальцем, как собака хвостом виляет, и снова насмешил баб и девок.

— Странно, — говорил старик Стожаров задумчиво, как будто около него и не было крестьян, — и мой Григорий то же пишет в своих статьях... Так всем не хорошо, говоришь ты, Лаврентий? — спросил он, обращаясь к Лодыге.

— Не знаю, барин. Може, кому и хорошо жить на свете, а я говорю, что видел сам да от люден слышал... Нашему брату мужику маотно жить.

— Чем же вы недовольны?

— Мы, батюшка Борис Григорьевич, всем довольны, и вашей милостью довольны.

— Это что и говорить, — заметили другие мужики, — у нас барин добрый.

— Да я вам теперь не барин, — возразил старик, — вы сами по себе, а я сам по себе... И у вас земство, и у нас земство; и у вас посредник, и у нас посредник.

— Оно точно, все как следовать, — снова начал Лодыга, — да не того мы от земства чаяли... Выбирайте, слышишь, гласных, они-де будут ваши антиресы блюсти. Какие мол, такие, антиресы? Да чтоб меньше, говорит, налогов было. Вот мы и выбрали. А налогов-то больше — вот по самую как есть шейку завалили налогами.

— Уж так-то, милый, блюдут, что и-и-и! — отозвался какой-то другой мужик.

— Знамо, блюдет кот сало, так и ноги масляны, — заметил оболоньевский остряк, по прозвищу Кулик.

Старик Стожаров в душе сам сознавал, что положение крестьянина туго идет к улучшению, что, выбившись из барщины, он все еще должен тяжким трудом завоевывать себе право на существование, а существование все-таки незавидное, воля все-таки не вытянула его из нужды. С реформами потребностей явилось больше, повинности стали сложнее: мужик плати и на содержание крестьянских учреждений, содержи и посредников, и земские управы, и мировых судей, а у мужика остались все те же две руки и две ноги да вдобавок десять глоток, которые он должен заткнуть хлебом.

Стожаров заговорил о новых судьях.

— Оно-то так, батюшка Борис Григорьевич, новый суд дело хорошее, и разбойника не выпустит на волю за грешные денежки, как выпускал старый суд, и правого в обиду не даст; да нам-то, барин, круто приходится, — говорил Лодыга.

— Чем же?

— Судья-то тебя судит, а ты-то его и корми, и обувай, и одевай.

— А как же, дядя Лаврен, — возразил Артемка, — конь тебя возит, ты и корми за это коня; кто же даром служить будет?

Артемка, однако, соскучившись серьезным разговором, отошел к бабам и начал им плести про Питер.

— Сидишь это в трактире, чаи распиваешь, а тебе какой ни на есть паренек газету читает... Пьешь это и слушаешь.

— Об чем же, Артемушка, читают?

— Обо всем, и об Напалионе, и об Гусевом переулке, просвещение там всякое... теперича без евтово нельзя... образование такое.

— А много там трактиров, дядя Артем? — спросил один парень.

— Много! В кажинном тебе доме трактир, харчевня, кофейня, кондитерска, это господские кабаки, клубы там разные, тоже на манер кабаков, везде водка...

— Ой ли! Так, поди, дядя, все спились?

— Без евтово, парень, нельзя: образование такое пошло.

— И бабы пьют? — спросила одна баба, охотница до выпивки.

— Там баб нету, тетка: все барышни да мамзели.

— Ой ли! А кто ж родит ребят?

— Мамзели родят... А отчего мамзели родят? Оттого, что есть хотят... Идет это по прешпекту мамзель голодная — там все мамзели голодные, потому дорого все, — навстречу ей кавалер: «Хочешь, — говорит, — мамзель, есть?» — «Хочу, — говорит, — кавалер, давно не ела». — «А родить, — говорит, — хочешь?» — «Не хочу», — говорит... Кавалер и уйдет, а мамзель голодает... Голодает день, голодает другой, опять идет по прешпекту и опять ей кавалер попадает: «Хочешь, — говорит, — мамзель, есть?» — «Хочу», — говорит. — «А родить согласна?» — говорит. «Согласна...» Ну, поест — и родит.

Бабы и девки пришли в ужас от того, что им наплел Артемка.

— А кто ж, Артемушка, детей там кормит? — спросила одна сердобольная молодуха.

— Птица кормит.

— Что ты врешь? Не слушайте его, бабы, он врет.

— Ин не слушайте, коли вру.

— Говори, говори, дядя Артем, — приставали парни.

— Есть там большущий-пребольшущий дом — все Оболонье поместится в нем, а на доме там птица... Сидит это птица, распустила крылья, а утробу ее разрывают, маленькие пичужки кровь ее пьют — тем и питаются.

— Кто ж еври пичужки, дядя?

— Мамзельские дети.

— Ну, городок! — говорили бабы.

— А кабаков-то, кабаков-то что! — дивились парни.

— Что кабаки! Кабаки плевое дело... Образование там главное — вот что...

Бабы и парни решительно не понимали, к чему Артемка речь клонит.

— Там все грамотные, — продолжал Артемка, — коли ты неграмотный, тебе в глаза наплюют.

— Что ты?

— Пра! Грамота теперича первое дело.

— А ты ноне уж рази грамотный, дядя Артем? — спрашивали его.

— А без грамоты, ты думаешь, я бы произошел все?

— Хто ж тебя научил?

— Господа научили и книжек надавали.

— Чудное это дело, — говорила одна старая женщина, слушая Артемку, — грамоте учат эти господа, книжки дают, а коли девка с голоду помирает да честь забывает, так ей куска хлеба не дадут эти господа.

— Эх ты, тетка Маланья! — отозвался Артемка. — Господа господам розь... Те, что нас мужиков грамоте учат, сами ину пору голодают, а что за мамзелями гоняются — книжек не читают, а просто с жиру бесятся.

— А что толку-то в грамоте, рази она мужику хлеб даст? — опять спросила тетка Маланья.

— Знамо даст! Кто учен, тот умен, а умный человек не токмо хлеба, но и богатство наживет. А коли будем богатые, нам всем будет хорошо.

— И мамзелям хорошо будет? — спросили другие бабы.

— И мамзелям, и вам хорошо будет, — смеясь, отвечал Артемка.

— Жди!..

— Чаво жди! Сказано будет, и будет. И Артемке хорошо будет, и тетке Маланье не худо.

— А когда оно будет?

— Когда все будут грамотные.

— И тетка Маланья? — спросил один паренек.

— И тетка Маланья, — отвечал Артемка, лукаво подмигивая бабе.

Тетка Маланья плюнула и отошла.

— Пришла свинья из Питера, вся истыкана, — сказала она и вызвала общий хохот.

Другая часть оболоньевцев, скучившаяся около старого барина, также толковала о современных вопросах, но только рассматривала их не с той точки зрения, на которую поставил своих слушателей Артемка.

Бывают такие периоды в истории человеческих обществ, когда во всякую жизнь, по-видимому, самую изолированную, невольно врываются вопросы самого жгучего свойства, и о чем бы ни заходила речь, вопросы эти так или иначе задаются сами собой и всякого втянут в их разрешение.

Периоды эти бывают в переходные эпохи гражданских обществ, и в такой именно период живем мы и невольно подчиняемся беспокойным требованиям времени. В такие эпохи литературное произведение, не касающееся общественных жгучих вопросов современности, останется незамеченным. Одно и то же настроение охватывает разом все классы общества, одинаково не дает спать и Наполеону, и Артемке. Тетка Маланья, заговорив о том, что сегодня у нее хлеба перекисли, от дрожжей непременно перейдет к общественным вопросам, волнующим Оболюне и ее окрестности, и факт перекипания хлебов непременно поставит в зависимость от общественных явлений, потому что, по настоянию мирового посредника, все крестьяне были заняты молотьбою для пополнения общественных запасных магазинов, и бабы, работавшие вместе с мужиками, не успели заготовить ни хорошего хмелю, ни хороших дрожжей.

Оттого тетка Маланья так была в этот день «грустно настроена», так устала от «мучительных дум» по неудавшимся хлебам, что нервно слушала вранье Артемки, накидывалась на него и даже выразила бесчеловечное желание, чтобы всем толстым животы были распороты.

Из старого дома пришел мальчик звать барина. Старик тотчас же поднялся и ушел. Крестьяне остались продолжать свои толки о том, что каждого занимало.

VI

Дома старик Стожаров застал какого-то молодого человека. Он был одет довольно порядочно, хотя загоревшее лицо и загрубелые руки его изобличали, что он или долго палился

под солнцем, как только могут палиться крестьяне, привыкшие и к томительному жару и к трескучему морозу, или исполнял такую грубую работу, которая не соответствовала его костюму. Он сидел на крыльце, положив голову на руки, и когда при появлении старика поднял эту голову, глаза его сверкнули каким-то странным огнем, хотя глаза были, по-видимому, из таких, которые называются стоячими и которые редко отражают то, что делается внутри человека. Волосы были черны как смоль, и хотя острижены были гладко, однако показывали, что до них давно не касались ни гребенка, ни щетка. Реденькая, такая же смоляная, как и голова, борода и широкие скулы напоминали облик не русский, не европейский. Такие облики встречаются только на востоке да иногда в южной России и Поволжье.

— С кем имею честь говорить? — спросил Стожаров.

— Караманов, — отвечал молодой человек.

— Прошу пожаловать в комнату.

Караманов слегка поклонился. Старик вошел в дом, Караманов за ним.

— Вы не родственник Льва Семеновича Караманова? — спросил старик.

Молодой человек вскинул на старика свои стоячие глаза и минуту медлил.

— Да, к несчастью, я сын этого негодяя, — отвечал он.

В глазах старика выразилось недоумение и что-то похожее на испуг. Он слишком ясно расслышал слово «негодяй», что не мог не поверить своему старому слуху. Стожаров знал, впрочем, Караманова не совсем с хорошей стороны и, пожалуй, сам думал об нем как о негодяе, но слышать такой жесткий отзыв сына об отце ему казалось невероятным. Он был неподготовлен к этому. Он был захвачен врасплох. Он действительно не знал, что ему думать и что сказать.

— Что же... угодно вам? — спросил старик, отступая от Караманова.

— Мне все говорили, что вы честный человек... Это такое редкое явление между людьми, что я пришел посмотреть на вас, — отвечал Караманов, не спуская со старика своих стоячих, как бы застывших в орбитах глаз.

Старик молчал.

— Я знал вашего сына, — продолжал Караманов.

— Как, вы знали Григория? — спросил старик, оживленный одним напоминанием о любимом сыне.

— Да, я знаю его.

— Где же вы его видели? — интересовался старик.

— В Петербурге... Я жил с ним... Мы работали с ним вместе... А где он теперь?

— Я сам не знаю, — отвечал старик грустно. Он надеялся от Караманова узнать что-либо о сыне. — Так и вы его давно не видели? — спросил он.

— Больше года.

— Больше года... Это так недавно... А я его больше десяти лет не вижу, — сказал старик еще более грустно.

— Он скоро должен быть у вас, — сказал Караманов уверенно.

— Но как вы это можете знать? — живо спросил старик, видя в словах Караманова смутную надежду на то, на что он сам не надеялся.

— Мне писали... Он кончает свою работу и приедет к вам, — отвечал Караманов.

— Какую работу?.. Я ничего не знаю... Я только читал кое-что в журналах и газетах, что писал мой Григорий, — говорил старик взволнованным голосом. — Какая его работа?

Караманов улыбнулся как-то странно, одной стороной губ, как улыбаются собаки, не решившие еще в уме своем, кусать ли им того, кто стоит перед ними, или вилять хвостом.

— Мы оба взяли с ним по очень трудной работе, — сказал он, продолжая улыбаться по-собачьи и перенося свой застывший взгляд от Стожарова на окно, за которым виднелись старые липы и ветлы. — Мы оба, с вашим сыном, ищем ринезмов в языке современного человечества.

— Каких ринезмов? — спросил старик с удивлением.

— Юсов, которые Востоков открыл в славянских языках...

— Юсов!.. Извините, батюшка, я ничего не понимаю, — говорил старик, теряясь от загадочных слов незнакомца, который выдавал себя за человека, близкого его дорогому сыну.

— Мы с Григорием Борисовичем задали себе по задаче: он — найти между людьми прочное счастье, личное и общественное, и узнать, на какой почве может произрастать этот редкий плод и может ли даже расти. Вот он и ищет, — сказал Караманов, и собачья улыбка сбежала с его спокойного лица.

Старик задумался. Растерянность его не уменьшалась, а увеличилась, кажется; но он все-таки искал нить Ариадны, которая вывела бы его из этого лабиринта недоумений.

— А вы? — спросил он Караманова. — Вы что ищете?

— Я положил себе найти честного человека, — отвечал Караманов. — А не найду, так хоть узнаю, каким молоком

следует кормить детей, чтоб из них вырастали честные люди... Только не молоком женщин...

— И что ж, нашли? — спрашивал старик, начинавший уже опасаться, не с больным ли он имеет дело.

— Нет, не нашел, — отвечал Караманов, — женское молоко, значит, не имеет тех элементов, которые влили бы честность в кровь и в мозг человека...

Старик начинал думать, что его дурачит молодой человек. «Нынешние молодые люди издеваются над старостью, — думал он. — Может быть, и Григорий вышел таким же разбойником...» Старику стало и грустно, и горько. В нем заговорило чувство более живое, чем скорбь, и более глубокое, чем досада.

— По-вашему, молодой человек, выходит, что у меня или мать, или кормилица была не женщина, а какое-нибудь животное, потому что вам сказали, будто я честный человек, — сказал старик после некоторого раздумья, — а честь, по-вашему, дает не молоко женщины.

— Поэтому я и пришел убедиться лично, действительно ли вы честный человек, — отвечал Караманов спокойно.

Старик вынес и эти слова. Он надеялся узнать что-нибудь о сыне.

— А сын мой честный человек? — спросил он.

— Сын ваш больше умный человек, чем честный, но он положительно не подлец...

— Я не понимаю вас, — сказал старик.

— После поймете... Ваш сын вам скажет, кто я и кто он.

Старик опять задумался. Он готов был слушать даже дерзости, лишь бы узнать что-либо о сыне. Слова незнакомца казались ему заносчивостью молодости.

— В одной старой книжке есть следующий рассказ, молодой человек, — сказал он, не глядя на незнакомца. — Некто сказал философу Эмпедоклу: «Пятьдесят лет живу я на свете, тридцать лет ищу везде умных людей и нигде не нахожу их». — «Друг мой, — отвечал ему философ, — умных находят только умные».

— Какой же вывод из этого допотопного анекдота? — спросил Караманов.

— А тот, молодой человек, что честных тоже находят только честные, — отвечал старик с улыбкой.

Караманов засмеялся.

— Это хорошо, — сказал он. — Но ведь не все *similia similibus*... Свинья скорей находит, где растут трюфели, чем человек.

— Зато свинья и не берется разыскивать честных людей, а знает только, где трюфели и где помойная яма, — возразил старик.

— Это положительно честная черта, — сказал Караманов. — Вы ругаете человека прямо в глаза — это честно. А мой отец говорит, что, когда ты режешь человека и он уже хрипит у тебя под ножом, ты и тогда не говори ему правды, а скажи: «Как мне жаль тебя, бедный... Успокой, Господи, твою душу в селении праведных».

Старик начинал сердиться.

— Так вы пожаловали ко мне затем, чтобы узнать, каким молоком меня выкормили: женским или животным? — спросил он с раздражением в голосе.

— Нет, я пришел к вам искать работы, — отвечал Караманов.

— Какой работы?

— Какая у вас есть... Конечно, крестьянская.

— Я опять не понимаю вас, — сказал старик.

— И не зачем... Вам сын ваш растолкует меня.

— Зачем же Григория приплетать сюда, батюшка?

— Ваш сын сказал мне, что я всегда найду у его отца приют... А я приюта не хочу, я ищу работы.

— А что же ваш батюшка не дал вам работы?

— Батюшка махнул на меня рукой, а я на него обеими... Батюшка учил меня грабить на большой дороге.

— Хоть убей меня, я ничего не понимаю, — говорил старик с отчаянием.

— И не трудитесь.

— Так что ж вы не ищите себе других занятий, где-нибудь на другом месте?

— Искал, да честной работы нигде не нашел... Везде надо быть бесчестным, чтоб ужиться... Везде надо подделываться, а я не хочу и не умею.

Старик не находил слов. В голове у него стучало, сердце сильно билось. Он опустился на первый попавшийся стул.

— Что ж вы, молодой человек, службою не займетесь? — сказал он, не зная, продолжать ли ему этот разговор.

— Службой!.. Моя совесть не собачий хвост, чтобы ею вилять перед начальником.

— А литература?

— Я не индейка, чтобы вечно прятать голову, когда грозит опасность, а выставлять наружу только свой хвост.

— Ну, хоть бы по земским учреждениям, — продолжал старик.

— Пусть другие лазят по чужим карманам, — отвечал Караманов по-прежнему спокойно.

Старик с сердцем плюнул. Ему казалось, что он видит пред собою какое-то чудовище.

— Так чего ж вы хотите? — спросил он, все более и более раздражаясь.

— Пахать землю.

— Что ж, вы хотите снять у меня участок?

— Нет. На съем нужны деньги, а у меня нет ни гроша, есть только две руки да две ноги.

Старик хотел было сказать ему: «У тебя, молодой человек, не две, а четыре ноги», но удержался, вспомнив, что его послал к нему Григорий.

— Так оцените мои руки и мои ноги, головы тут не нужно, — продолжал Караманов.

— Как же их ценить?

— Да так же, как вы цените поденщика... Почем теперь мужик работает в день?

— Теперь цены высокие.

— Ну, тем лучше для меня и тем хуже для вас... Так вы меня берете?

— Как же это, я не соображу.

— Что ж тут соображать? Дело ясное. Хотите меня взять в батраки?

— Но ведь вы, молодой человек, дворянин, сын богатого помещика... Как же вам идти в батраки?

— Вы, я вижу, не можете отрешиться от старинных предрассудков. Вас пугает то, что я дворянин. Эка важность! Кто знает, может быть, ваши оболоньевские мужики — прямые потомки древних дворян, а вот вы все же, не стыдясь, заставляли их пахать вашу землю и молотить.

— Но отчего бы вам не избрать другого занятия, более благородного? — говорил старик.

— А разве хлебопашество подлое занятие? Чем оно неблагородное?

— Так-то так, всякое занятие благородно, — отвечал старик.

— Ну нет, не всякое занятие благородно, — снова возразило чудовище, — благородных-то очень мало... Там, где неблагородные условия жизни, где неблагородные отношения людей между собою, там и занятие неблагородно. Что бы, кажется, могло быть честнее занятия литературой, наукой? Тут прямое служение идее правды, добра и общечеловеческой пользе; служение науке и свободному слову, святое

служение, казалось бы. А выходит наоборот. По мнению, например, «Русского Вестника», всякий, кто участвует в «Деле», в «Отечественных Записках», во «Всемирном труде», в «Вестнике Европы», в «Искре», в «Голосе», — вредный человек. Так?

— Так, — отвечал старик, совершенно сбитый с толку «чудовищем».

— По мнению же «Дела», всякий, кто пишет в «Русском Вестнике», в «Отечественных записках», во «Всемирном труде», в «Голосе», в «Вестнике Европы», больше чем подлец и преступник, больше чем злодей, хуже чем вор, глупее чем идиот... «Вестник Европы» видит негодяев и идиотов в других журналах. «Искра» специально занималась старанием убедить всю читающую Россию, что русская литература — навоз. Другие говорят, что навоз именно и есть покойная «Искра» и что все писатели воруют четвертаки... Так где же тут честное занятие, когда сама литература разоблачает свою продажность?

Старик невольно сознавал, что собеседник его прав, но по странному свойству человеческой натуры недоверчиво относиться ко всему новому, непривычному собеседник этот казался ему еще более безобразным чудовищем.

— Так, так, — говорил старик, и уже начинал со страхом смотреть на Караманова.

— А что может быть честнее занятия, как служба отечеству? — продолжал Караманов, упорно глядя на старика своими стоячими глазами. — Так нет, и тут исподлили святое дело. Честно только пахать землю. Если мой сосед Карп будет пахать чернозем, а я суглинок, если у Карпа уродится, а у меня не уродится хлеб, я не назову за это Карпа подлецом. А когда я писал в журнале Шульгина, меня журнал Хана называл разбойником; когда же стал писать в журнале Хана, то журнал Шульгина назвал меня самоубийцею... Так вы меня берете в свои батраки? — вдруг спросил он, спохватившись, что со стариком и не следовало так распространяться.

Вопрос снова поставил старика в затруднительное положение. Такое упорство в понятиях и такая эксцентричность не казались ему нормальными. Он сознавал, что молодой человек чем-то болен. Но чем? Болезнью воли? Болезнью рассудка? Но нет, его логика не имеет ничего фальшивого, только во всем какое-то требование крайности. Чем же он болен? Старику вдруг пришло на мысль, что современные люди все немножко больны, ненормальны, все равно как болен его сын, как болен этот Караманов, и что они «больны

временем», как бывают иные больны чахоткой, геморроем, а эти больны теми идеями века, которые носятся в атмосфере и невидимо проникают во все умы.

— Вы, молодой человек, больны, — сказал он, глядя в стоячие глаза Караманова.

Караманов улыбнулся.

— Чем? — спросил он, и стоячие глаза как будто помутнились какой-то новой мыслью.

— Вы больны... временем, — отвечал старик с расстановкою.

— Как «временем»?

— Так просто, новым временем...

— Это журналом-то Киркора? Нет, благодарю покорно! «Новым временем» и «Вестью» болен мой почтенный родитель, крупный землевладелец, а я здоров.

— Нет, вы больны, — настаивал старик, — больны нашим временем.

— Ну, «Наше время» умерло, — отвечал Караманов с ленивою усмешкою.

— Вы, молодой человек, говорите остроты, я вижу, — заметил старик с неудовольствием.

— Я не виноват. Вы вызвали меня на каламбуры, а я пришел говорить о деле. Так хотите нанять меня?

— Нет, вы лучше так у меня поживите... Может, скоро придет Григорий... Вы поговорите с ним... Может, он вам что посоветует... А покамест живите у меня, — говорил старик нерешительно.

— На чужой счет я жить не стану... Я даже от отца не брал денег, когда был студентом, хоть я его прямой наследник, а половина имения — моя, от матери... Я ему и теперь заплатил за стол и за квартиру.

Слушая эти слова, старик мысленно повторял: «Болен временем... болен временем»...

— Так как же быть? — говорил он, не смея глядеть в стоячие глаза Караманова.

— Очень просто: наймите меня, и я сейчас же отправлюсь с вашими мужиками пар парить или молотить.

Настойчивость Караманова доказывала, что сопротивление невозможно, и старик готов был убедиться в справедливости требований странного молодого человека. Он готов был думать, что это дух времени проявляется в таких необыкновенных формах, тем более что и в литературе, эхо которой иногда доходило до старика в виде некоторых повременных изданий, он замечал те же странные признаки и такие же

удивительные требования, какие предъявлял ему молодой Караманов. В некоторых статьях своего сына он видел тоже что-то похожее на то, что он теперь слышал от сидевшего перед ним «чудовища». Если это было, по его мнению, озорство, то озорство повальное, эпидемическое. Старик видел необходимость покориться, тем более что за спиной этого «чудовища», ему казалось, стоял его Григорий, и грустные глаза сына говорили старику: «Отец, уступи требованиям времени, оно все-сильно, а требования его — закон природы... Не борись с могучей волной этого времени: эта волна — девятый вал, страшный вал, роковой силы которого так боятся матросы... Уступи, отец, а то захлестнет тебя этот вал и выбросит за борт твоей утлой лодки-душегубки, в которой, подобно тебе, разъезжают по свирепому океану жизни все отставшие от великого корабля современного человечества... Покорись, отец, требованиям века, новые идеи *всегда* вытесняют старые идеи, как новое поколение по неизменным законам жизни и смерти *всегда* вытесняет поколение старое, отживающее...»

— Я обижу Григория, если приму вас на таких условиях, — сказал старик после некоторого молчания.

— Нет, сын ваш увидит, что вы понимаете требования века, и ему не стыдно будет сказать, что вы его отец, тогда как мне стыдно носить одну фамилию с негодяем Карамановым.

— Ну, будь по-вашему, — сказал старик с тяжелым вздохом.

— Так назначайте цену, — настаивал Караманов.

— Я плачу летнику тридцать рублей, а годовому рабочему пятьдесят, садовнику восемьдесят...

— Садовником я не могу быть, а простым чернорабочим могу... Так пятьдесят рублей?

— Да, это обыкновенная цена.

— Так я согласен, — сказал Караманов, вставая. — Вот мой паспорт.

Караманов вынул из кармана бумагу и подал ее Стожарову. Это был его кандидатский диплом.

— Зачем же это? — говорил старик, рассматривая диплом. — Так вы кандидат прав?

— Да, я кандидат науки, которая научает, как строить тюрьмы. На какую же работу вы меня определите? — спросил он потом.

— Выбирайте сами, — отвечал старик, уже окончательно покорившийся «требованиям века» и сыну, который выглядел из-за спины Караманова.

— Так я пойду к приказчику, он назначит мне работу, — сказал Караманов и встал, чтобы идти.

— Куда же вы? Откушайте вместе с нами... Теперь самая обеденная пора.

— А разве ваша прислуга и ваши рабочие вместе с вами обедают? — спросил Караманов.

Старика удивил этот вопрос...

— Нет... но... — Он не знал, что отвечать.

— Если ваши люди обедают отдельно от вас, то я пойду к ним, там мое место, — сказал Караманов, намереваясь уйти.

— Как же это?.. Не годится... неловко... Нет, откушайте с нами...

Старик встал, подошел к Караманову и взял его за руку.

— Вы меня, старика, совсем сбили с толку... Я не пушду вас, — говорил он. — Что же скажут люди, что скажет Григорий, что я его друга послал обедать на кухню?

— Сын ваш поблагодарит вас за это, — отвечал Караманов.

— Да как же это? Я не могу, — говорил старик, которого эта история совсем утомила и разбила морально.

— А коли не можете, так позовите обедать с собой всю вашу прислугу, тогда и я с вами останусь.

— Что же это такое будет?.. Так разве и сын мой будет обедать на кухне?

— Может быть, если за последние полтора года доразвился до этого.

— Ну, делайте как хотите, — сказал старик и махнул рукой.

Караманов поклонился и пошел к двери. Но потом остановился.

— Я забыл спросить вас, — сказал он, — на ваших харчах нанимаются у вас рабочие или на своих?

— На моих.

— Ну, так я прямо пойду на кухню... Я сегодня еще не ел ничего.

Молодой человек вышел, а старик так и остался на месте с разведенными руками.

Караманов прошел прямо на кухню. Там уже никого не было из рабочих, а оставалась одна стряпка Грушка, которая, стирая со стола, ворчала на кого-то...

— Ишь, проклятые!.. Не долго вам лакать мое молоко... Вон как солнышко-то низко ходит... Зимой-то все околеете... Ишь, ишь, мерзавки!

Стряпка Грушка ссорилась с мухами, которые были ее смертельными врагами...

— Не досадно было б, коли б только воровали, а то, ишь ты, все загадят, заплюют да и сами-то потонут в молоке да в масле, а вон Аверьяниха все пилит, мух-де господам не подавай к столу... Как их не подашь, коли сами в блюдо садятся? — ворчала она.

— Здравствуй, тетка, — сказал Караманов, входя в кухню.

— Здравствуйте... Вам кого? — спросила Грушка.

— Тебя, тетка... Прошу любить да жаловать.

Грушка никак не могла понять, зачем она ему понадобилась.

— Вы к барину? — спросила она его.

— Нет, теперь к тебе.

— Почто, кормилец?

— Да вот я нанялся к вашему барину, — отвечал он.

— В лакеи, что ль?

— Нет, в рабочие.

— А! В работники, значит... А я думала, в лакеи, вон одежа-то у вас барская.

— Изношу эту, куплю мужичью.

— Это можно... Вон у нас умер один мужичок, так после него продают дешево.

— Ладно, куплю... А давно ваши ребята пообедали?

— Давно, кормилец.

— Так, чай, не все поели?

— Где все поесть! В печи остатки.

— Так покорми меня, тетушка: я смерть как есть хочу.

— Изволь, кормилец.

Грушка бросилась к печи, потом к столу, потом к полкам, обругала своих врагов мух: «Ишь, окаянные! Все бы им воровать чужое добро, а нет чтоб самим добыть», потом снова кинулась к печи, к столу, достала ложки, ножик, поставила миску, соль... Караманов сел на лавку и машинально следил своими стоячими, будто усталыми глазами за движениями стряпки. «Вот где теперь потечет моя жизнь, — думал он, — вести беседу с этою теткой, жить жизнью, сердцем и мыслью батрака, войти в батрацкие интересы, отрешиться от всего мира, который вне батрачества, убить в себе потребности, которые развивают в человеке образование, богатство, знания, из крупного землевладельца, кандидата прав и литератора выродиться в поденщика и узкими интересами поденщика заглушить в себе все высокие человеческие интересы, одним словом — буквально влезть в шкуру народа, чтоб понять этот

народ и слиться с ним, отдать свое барское, белое, изнеженное тело посконной рубахе и сермяге, облечь узкую дворянскую ногу в онучу и лапоть, чтоб на себе самом почувствовать всю прелесть онучи и силу лаптя, вот мое призвание... А они назовут это юродством, факирством! Пусть называют... Я не Рахметов, который спал на гвоздях для измерения величия своей силы и для закала своего тела и своего духа до великой могучести... Я не буду спать на гвоздях, потому что это, по меньшей мере, не логично и пахнет веригами и монашеским бесцельным самобичеванием... Я буду работать и думать с народом, чтоб научиться спасти этот народ... Да, там везде подлость, где действовали Рахметовы... Там не было у них почвы, а мы должны почву приготовить...»

— А вы чьих будете? — спросила стряпка.

— Мы были карамановские, а теперь ничьи, — отвечал Караманов.

— А! Карамановски... Знаю... Барин-то у вас лих, сказывали.

— Дьявол... А ваш?

— Наш-то?.. Наш ничаво.

— А ты чья была, тетка?

— Ихня, стожаровска.

Обед был готов, и Караманов принялся за еду.

— Вот и видно лакея, — заметила стряпка.

— А что, тетка?

— Не помолясь ешь.

— Точно, тетка, это по-лакейски.

— То-то я вижу, что вы не мужик.

— Хочу быть мужиком.

— Эх добра захотел!.. Аль надоело тарелки барски лизать?

— Да, тетка, надоело лакействовать.

В это время в кухню вбежал казачок и, остановившись у порога, с изумлением смотрел на «чудного барина», который, как он успел узнать от господ, «из бар пошел в мужики». Грушка накинулась на него.

— Ты чаво зенки-то выпучил? — спросила она ворчливо, потому что не любила казачка наравне с мухами. Казачок имел обыкновение пугать ее, влетая в кухню с приказаниями, точно на пожар, и заставляя ее иногда ронять из рук горшки, проливать молоко, обжигаться при пробе кушанья...

— Сам барин идет, — отвечал казачок, продолжая бессмысленными от изумления и отчасти испуганными глазами смотреть на Караманова.

— Что ты мелешь со сна? Куды он идет? — спрашивала Груша, не менее изумленная.

— Сюды идет... к ним...

Казачок показал глазами на Караманова, который усердно насыщался батрацкими щами.

В дверях показался старик Стожаров. Появление его произвело и на Грушку и на казачка необыкновенный эффект, потому что старик никогда не бывал в кухне, и настоящий его приход показался и стряпке и казачку чем-то сверхъестественным, чему могло равняться разве только то, если б стоящая на Гремячке мельница сама сошла со своего места и явилась в кухню молотъ свою белую муку и толочь свое желтое пшено. Казачок отскочил в сторону и таким взглядом глядел на стряпку, как бы хотел сказать: «Ты говорила, что потолок не провалится, а вот и провалился...» Стряпка отошла в другую сторону и, придерживая левой рукой локоть правой руки, которою в то же время поддерживала свой жирный подбородок, стояла пригорюнившись, как бы желая выразить своим тяжелым вздохом таковой упрек мухам непосестным: «Ну, вот теперь сам барин увидит, каково мне маяться-то с вами, аспиды... Барин сам увидит, что заели вы мою головушку бедную... моченьки моей нет с вами... Ишь, ишь, проклятые! Так к миске-то и лезут, словно бы им я щи-то припасала...»

— Как это вам не стыдно, Аркадий Львович? Что вы делаете? — говорил старик, останавливаясь на пороге.

— Щи ем, — отвечал Караманов, — очень вкусные... Не угодно ли попробовать?

Еще более глубокое изумление выразилось на лицах казачка и стряпки. Мельница действительно сошла со своего места и явилась в кухню молотъ свою белую муку и толочь свое желтое пшено. Даже мухи не привлекали внимания стряпки, которая стояла с разинутым ртом, изобличавшим такую сильную степень изумления, что оно чуть ли уже не граничило со столбняком... «Так это барин, — думала она, довольная, впрочем, тем, что похвалили ее щи. — Что уж это нынче делается с господами, и ума не приложу я...»

— В самом деле, должно быть последние времена приходят, — говорил старик, разводя руками.

— Да, последние времена... только для старых порядков, — отвечал Караманов, — ветхий мир должен обновиться и должна на этой бедной земле произрасти новая жизнь... А ведь все, подчиняющееся закону роста, растет не сверху вниз, а снизу вверх... снизу, понимаете?..

Аркадий Львович Караманов, казавшийся старику Стожарову чудовищем, был сын богатога помещика Караманова, имение которого находилось в соседстве с имением Стожаровых.

Развитие Аркадия совершалось между двумя положительно несовместными нравственными влияниями. С одной стороны, отец, для которого абсолютно не существовали никакие нравственные правила, с другой стороны, влияние учителя, одного из студентов московского университета, в продолжение четырех лет приезжавшего на каникулы в имение Караманова, в село Кологривы, к отцу своему, кологривскому священнику Конвокову, и, по приглашению Караманова, учившего его сына Аркадия.

В основании учения Конвокова лежали два нравственные принципа: правда и честь. Под эти два принципа он подводил всю жизнь с ее явлениями и требованиями. Все науки, все знания, по учению его, имели исходной точкой абсолютную правду, а все явления жизни и человеческие отношения должны стремиться к выражению абсолютной честности. В правде и чести, по этому учению, совмещалось все: и польза, и добро, и наслаждение, и свобода. Он учил Аркадия не позволять даже рождаться в себе мысли, которую нельзя было бы высказать громко, при всех. Наконец, он даже и принцип чести подводил под принцип правды — где правда, там и честь, и, таким образом, все счастье человечества, его свободу, его развитие и материальное богатство он учил искать только в правде.

Вот некоторые из афоризмов Аркадия, усвоенные им под влиянием Конвокова:

«Если бы люди не лгали, то никогда бы не плакали, разве только от физических болей да и то несравненно меньше, чем они плачут в настоящее время.

Если бы люди не лгали, то никогда не были бы голодны и бедность на земле не существовала бы: богатый потому богат, что он лгал перед богатым и бедным, добываясь их общего добра, а бедный потому беден, что лгал перед богатым и бедным, а равно перед собой, предаваясь лени, не заботясь о том, о чем должен заботиться человек.

Если бы люди не лгали, то была бы на земле абсолютная свобода: люди, которые лишили других свободы, были лгуны, да и те, которые лишились свободы, лишились ее с помощью лжи... Турецкие султаны всегда лгали, называя себя сынами солнца и братьями луны, и этой ложью закалили в неволю

миллионы людей, а эти миллионы, в свою очередь, лгали, показывая вид, что верят, будто их султаны сыны солнца и братья луны».

Если бы люди не лгали, то никогда не лилась бы даром их кровь рекою, никогда не было бы войн: если бы Наполеон I не лгал перед императором Александром I, то ужасы 12-го года были бы невозможны и Москва не была бы сожжена; если бы Александр Македонский не лгал, называя себя сыном Юпитера-Аммона, то он не облил бы кровью всю Азию и южную Европу.

Если бы мужчины не лгали, то женщина никогда не была бы рабой; ложью и лестью мужчина сделал из нее паразита.

Если бы женщины не лгали, то никогда не были бы такими жалкими и бесполезными существами: желая нравиться и влиять на мужчину, женщина лжет и делом, и словом, даже всем телом своим лжет, и оттого несчастна.

Если бы папа не лгал, он не держал бы в нравственном рабстве целую половину мира.

Если бы купцы не лгали, они не обирали бы бедных.

Если бы убийца не лгал, он никогда не был бы убийцею.

Если бы вор не лгал, он не был бы вором.

Если бы Караманов, отец Аркадия, не лгал, он давно бы сидел в тюрьме.

Если бы вообще люди не лгали, они были бы абсолютно честны, а следовательно, и безгранично счастливы.

А как во власти человека лгать и не лгать, то от человечества зависит его безграничное блаженство на земле».

По всему этому видно, что Конвоков был большой чудак, но Аркадий безмерно любил этого чудака и быстро, в одно лето, усвоил все его афоризмы, потому что они были так просты, так односложны и так тождественны между собою.

Когда, бывало, Караманов-отец говорил со своими крестьянами и уверял их, что он заботится об их благосостоянии, Аркадий не стеснясь говорил отцу в глаза при крестьянах: «Ты лжешь, папаша», или обращаясь к крестьянам говорил: «Не верьте папаше, он вас не любит — он злой», и когда отец наказывал мальчика за эти проступки, упрямый Аркадий никогда не просил прощения, а даже под розгами повторял: «Я сказал правду... ты злой, ты лгун!»

Доктрины Конвокова, без сомнения, не так бы глубоко въелись в характер Аркадия, если б мальчик с самого детства не получил отворачивания к бесчестным и жестоким поступкам отца, который умел оправдать самую крайнюю подлость своих действий и безнравственную парадоксальность понятий о чес-

ти. Караманов-отец держался того правила, что каждый должен заботиться только о себе, и чтобы человеку было хорошо, он может позволять себе все, всякую подлость в отношении к другому, всякую ложь, даже воровство и убийство, а для равновесия должны все так заботиться о себе, то есть должны все оправдывать и все позволять себе, и тогда по закону конкуренции должен выиграть тот, кто всех умнее, хитрее, подлее и деятельнее. По его словам, если бы все люди были одинаково безнравственны — тогда все человечество было бы одинаково счастливо и подлецов бы не было. Одним словом, доктрины его были положительным отрицанием доктрин Конвокса и его нравственных начал, которые, может быть, по закону контрастов, даже еще до влияния на Аркадия учения Конвокса, сами собою развивались в его сыне. «Если я украду у тебя платок из кармана, то и ты непременно должен украсть у меня — и тогда нравственное равновесие не нарушится» — вот девиз Караманова-отца. Но как бы по странной игре природы, по какому-то капризу случая, в сыне развелись диаметрально противоположные понятия и под влиянием Конвокса стали, так сказать, невытравимы в нем на всю жизнь.

Аркадий до того свыкся с крайними понятиями, внушенными ему отчасти природою, отчасти учителем, что отец иначе не смотрел на него как на нравственного уродца и притом самого опасного. Он даже боялся своего сына, который самым наивным образом разоблачал перед всеми не только его неблагоприятные поступки, но даже тайные, тщательно скрываемые, нечистые побуждения сердца.

Приезжает, например, к ним однажды сестра Караманова-отца, старая дева, на долю которой досталось большое имение. Отец Аркадия, который имел виды на ее богатство, всегда в ней заискивал, и на этот раз пенял сестре, что она у него редко бывает, что он так рад ее видеть.

— А разве ты ее теперь любишь, папа? — спросил Аркадий отца.

Отец испугался, справедливо опасаясь, что сын его выдаст.

— Да, люблю, — отвечал отец.

— Когда ты ее полюбил? — снова спросил Аркадий.

— Я всегда ее любил, — отвечал отец, чувствуя приближение скандала.

— Не верьте ему, танте, — сказал Аркадий, обращаясь к тетке.

— Почему же, дружок? — спросила она.

— Потому, милая танте, что в понедельник он называл вас старой потаскушей и желал, чтоб вы скорей умерли...

Скандал вышел полный, а любителя правды жестоко высекли.

В другой раз приехал в Кологривы купец для закупки шерсти. Он уже сторговал большую партию этого товара у Караманова, как вошел Аркадий.

— Не покупайте у него шерсти, — обратился он к купцу. Купца удивили слова мальчика.

— Не слушайте его, — вмешался отец, — он у меня идиотик, Богом убитый.

— А он лун, — продолжал Аркадий, не слушая отца и по-прежнему обращаясь к купцу.

— Что вы говорите!

— Я говорю правду... Не покупайте шерсти... Она в середине невытая...

— Вон отсюда, негодяй! Ты лжешь, — закричал отец.

— Нет, ты лжешь... Ты вчера говорил старосте: «Как мы ловко купчишку паршивого на шерсти надуем».

Героя правды схватили за шиворот и выволокли в другую комнату. Но и «паршивый купчишка» встал, чтобы осмотреть шерсть. Шерсть действительно оказалась не вся мытая.

Матери Аркадий лишился в раннем детстве и потому, не любя отца, он весь сосредоточился в своем собственном детском мире, богатом фантазиями. Ложь, которую он постоянно видел в доме, до того опротивела ему, что он возненавидел все, в чем видел хотя мельчайшую тень неправды, притворства, умалчивания. Когда он был еще более маленьким мальчиком, и когда отец еще смотрел на него как на невинного ребенка, Аркадий нередко говорил отцу: «Сегодня я тебя не люблю... ты гадкий, злой». В другой раз мальчик ласково обращался к отцу: «Ты сегодня, папка, хороший, и я люблю тебя, а вчера ты был противный». Или о себе самом: «Сегодня я был гадкий, злой, точно ты, папка».

Не только старик Стожаров, но и отец Аркадия смотрел на сына как на чудовище. А маленькое чудовище только тем и было странно, что говорило всем правду, как оно ее понимало.

В гимназии товарищи и любили, и боялись Караманова. Сначала смотрели на него как на сплетника, шпиона, фискала и много колотили его, а потом, когда увидели, что он и себя постоянно выдавал, бить перестали, но удалились от него. Он прямо говорил учителю: «Оставьте меня без обеда, я сегодня не знаю урока, я ленился».

Он разоблачал и учителей. Учитель словесности читал своим ученикам, конечно, тайно от начальства, известное письмо Белинского к Гоголю, еще бывшее тогда в большой

моде. Когда вошел в класс директор и учитель на вопрос его, чем они теперь заняты, отвечал, что он объяснял им старинные риторические термины, именно фигуру умолчания, Караманов возразил:

— Нет, Николай Гаврилович, вы нам этого не объясняли.

Учитель и директор смешались. Товарищи с улыбкой взглянули на Караманова, потому что знали его слабость.

— Как так? — спросил директор.

— Николай Гаврилович читал нам письмо Белинского... Он, верно, ошибся.

«Дурак!» — порешили товарищи. А скандал все-таки вышел. Но Караманов был далеко не дурак. Знания его были таковы, что им удивлялись все товарищи, хотя Караманов, по-видимому, не особенно прилежно готовил уроки, зато читал запоем. Изобличенный им учитель, Николай Гаврилович, стал впоследствии лучшим другом Караманова и называл его «абсолютно цельным характером», хотя и предрекал ему, что он добром не кончит. «Из таких, — говорил он, — как Караманов, выходят или светила земли, или величайшие злодеи».

Потом, под влиянием Конвокса, окончательно укрепилось в Караманове то, что было заброшено в него своевольною природою и причудливым складом обстоятельств.

В университете товарищи называли его новым Колумбом, который должен открыть новый свет с неведомыми людьми. В университете же он окончательно разошелся с отцом, отказался получать от него содержание и начал жить своим собственным трудом. «Все, что вы имеете, — писал он отцу, — нажито вами и вашими предками бесчестно, а потому я отказываюсь от присылаемых мне вами субсидий, хотя не отказываюсь от прав наследника. Все нажитое вами добро я возвращу тем, у кого оно было награблено».

И только после этого началась его тяжелая, трудовая жизнь, полная страшных разочарований и неустанной борьбы с тем, что он называл ложью жизни. Эту ложь он находил и во взаимных отношениях людей, и в науке, в искусстве, в литературе, во всем, на что только обращал свой, так сказать, разьедающий анализ. В конце концов он, по естественным законам развития, бросил все, где видел фальшь (а он видел ее везде), и обратился к народности, «к корню». Он пришел к убеждению, что с корня надо начать обновление человечества и его ветхих, неудачных, обидных порядков.

— Так вы надеетесь, что ваши учения о народности обновят силы народа, очеловечат его и сделают счастливым? — спрашивал он одного из поборников народности.

— Да, мы надеемся, — отвечал тот, — по крайней мере, мы не нашли других приемов, более целесообразных.

— А я думаю, что вас народ меньше знает, чем ваших противников.

— Почему же? Напротив.

— Нет... Посмотрите, что делается у нас, за кем идет молодежь... Конечно, не за вами.

— Но мы с народом, а народ с нами, — возражал поборник народности.

— Ошибаетесь! Народ идет туда же, куда и молодежь... А отчего? — спрашивал Караманов.

— Оттого, что вожаки молодежи потворствуют ее слабостям, как и слабостям народа... Мы бы также могли повести за собою народ, но считаем это бесчестным, — отвечал поборник народности.

— Нет, народ не пойдет за вами.

— Почему же?

— Потому что вы в бархатном халате, потому что вы говорите с народом из роскошного кабинета.

— Но ведь и свободное слово к народу, как и слово Божие, должно быть проповедуемо в церкви с амвона, и проповедующий его облачается в золотую ризу.

— Нет, — возражал Караманов, — вы снимите с себя бархатный халат, наденьте сермягу да ступайте на базар, на площадь, на рынок, там в особенности в вас нуждается народ. Киньте ваши роскошные кабинеты, отказывайтесь от привычных удобств, идите в народ, разделяйте его жизнь, его труды, сливайтесь с ним, изучайте его потребности, его нужды, а там развивайте, образуйте и ведите его к счастью, к другой жизни.

— Вы увлекаетесь, господин Караманов.

— К сожалению, нет, хотя я такой же, как и вы, богатый помещик... виноват, не помещик, потому что такого слова, к счастью, уже нет, а крупный землевладелец, но надену лапти, сермягу и пойду в народ.

— Что ж вы там будете делать?

— Пахать, косить... В кабаке, на пашне, на торжке — там я буду учить народ.

Караманов говорил это в то время, когда уже решился «слиться с народом», когда испробовал все приемы общественной деятельности и нашел везде ложь и незнание народных нужд. Он было поступил на службу в какой-то департамент, но тотчас же бросил эту службу, говоря, что он никак не может принудить свою руку каждый день повторять в официальных бумагах одну и ту же лживую фразу: «Имею

честь покорнейше просить», «имею честь сообщить» и т. п. «Какая тут честь просить кого-нибудь, да еще покорнейше?» — говорил он, уходя из департамента.

Сделавшись сотрудником одного журнала, он требовал от редакции, чтоб она разоблачала анонимы, псевдонимы и инициалы своих сотрудников, и когда ему было отказано в этом, он сказал редактору:

— Вы не доносчик?

— Нет.

— Зачем же вы пишете доносы, да еще безыменные?

— На кого? Когда? — спросил удивленный редактор.

— На все другие журналы, на общество, на писателей...

Критик, не подписавший своего имени, — доносчик, всякий аноним и псевдоним — доносчик, клеветник, потому что не разоблачает своего имени из боязни за свою шкуру.

— Но разоблачение имени автора бывает иногда неудобно, — заметил редактор.

— Да и доносчику неудобно объявлять свое имя...

Редактор пожал плечами, а Караманов, увидев, как он говорил в литературе «ту же фальшь, что и в жизни, взаимную между журналами ругань из-за подписчиков, ругань, на которую особенно падки журналы, падающие в общественном мнении, и писатели бессильные, дюжинные, никем не читаемые и бездарные пачкуны», оставил и литературное поприще, говоря: «Рано еще нам писать... надо учить народ и самим учиться».

С Григорием Стожаровым Караманов познакомился года за три до начала нашего рассказа, и одинаковость взгляда на безобразие большинства современных общественных явлений и человеческих отношений сблизила их весьма тесно, хотя Караманов и признавал в Стожарове только «однобокого человека», как он выражался.

— Почему же я однобокий человек? — спрашивал его Стожаров во время одной из их продолжительных бесед.

— Потому что я вижу в вас только однобокую честность, — отвечал Караманов.

— Я не понимаю вас, — говорил Стожаров, — что за однобокая честность?

— Честность наполовину, пассивная честность... Когда вы уживаетесь в этом безобразном обществе, хотя и ратуете против его диких порядков, — вы уже не полный человек и честность ваша не полная.

Результатом этого разговора, особенно когда Караманов сообщил Стожарову свои планы, было то, что Стожаров сказал с грустью:

— Ноша, которую вы берете на себя, может быть только вам по плечу, а моих сил едва ли бы хватило на это... Впрочем, и не бесполезно ли брать на себя такую страшную тяжесть, под которой можно подломиться...

— А подломлюсь, значит, так тому и быть... Надо же когда-нибудь начинать, — отвечал Караманов.

VIII

В смурый сентябрьский день по гладко укатанной дороге ровной трусцой бежит тройка деревенских замухрястых лошадей, запряженная в дряблую тележку. Тележка переплетена веревками и уложена сеном. На облучке сидит такой же, как и лошаденка, замухрястый мужичонка и помахивает обдерганным мочальным кнутиком на лошадок, то называя их «другами любезными», то «подлецами». Из тележки выглядывает такое же смурое, как день, лицо с нахлобученною на глаза шапкою и пристально приглядывается к серой дали, из которой мало-помалу выступали предметы, видимо, поглощавшие все внимание проезжего. Виднелся полуобнаженный от зелени лес, серая мельничная крыша; белесоватая полоса посеревшей под серым небом узенькой речки, серые избы с почерневшими крышами и серый, стоящий на отшибке, господский дом с белыми полосами заплат, напоминавшими белые шевроны на руке старого солдата.

Это было Оболонье, к которому бежала тройка замухрястых лошадей по гладко укатанной дорожке. Смурое лицо, глядевшее на Оболонье, было лицо Стожарова-сына, который, подобно Одиссею, после долгих странствий, возвращался на родину с чувством болезненного сжатия сердца при виде этого маленького, заброшенного мирка, который когда-то казался ему таким обширным, полным такой роскошной и поэтической жизни. Лошадки все более и более ускоряют свою ровную тусцу, возбуждаемые мочальным кнутиком и близостью жилья с доброй мерой овса в перспективе. Вот уже под колесами меловая почва горы, которая маленькому Грише казалась Атлантом, поддерживавшим небо на своих могучих плечах. Вот под горою начало перелеска, за которым начинается лес с его обдерганными деревьями и дуплистыми пнями, под корнями которых водились когда-то потатуйки. И в сыром осеннем воздухе под стук колес слышится Стожарову однообразное тутуканье потатук, хотя потатуйки давно уже отпели свои весенние песни, а монотонное тутуканье их вы-

зывалось только памятью Стожарова, перенесшего его в детство, в мир глупых, узеньких, но таких радужных детских мечтаний. Вот вправо из-за корявого дубняка и из-за переплетенного старым, увядшим хмелем липняка виднеется стеклянная полоса озера Рыбного, с которым так много связано детских воспоминаний: память Стожарова, подобно волшебнику, вызывающему тени умерших, вызывает старого, белоголового, сгорбившегося Назарьича, который, сидя на своей лодчонке-душегубке, едет по Рыбному с закинутой на ухо лесосою блесны, которою он ловит жадных, остромордых и зубастых щук, тогда как из лесу несутся звуки какой-то заунывной, долгой, точно тоскующей песни. Это дурачок Гавря дерет лыки и поет, долго, бесконечно поет и так жалобно, что маленький Гриша нередко плакал под эту песню... И Стожарову слышится песня Гаври, которая давно умолкла: давно схоронили и того, кто ее пел, а в памяти Стожарова все еще звучит эта песня, звучит в продолжение двадцати лет где-то там далеко в мозгу, под черепом, и вызывает по временам и дурачка Гаврю, и беловолосого старого Назарьича, и зеркальную поверхность Рыбного, потонувшего в зелени, в резучей осоке и шумливых, беспокойных камышах... Вот уже не видно и Рыбного, а к телеге, на которой сидит Стожаров, приближается старый раскидистый дуб с поросшими у корня темно-желтыми грибами-трутниками, но уже не слышно над этим старым дубом резкого крика кобчика, крика, который тоже засел в памяти Стожарова, как засело в ней все, что прошло по ней от детства: и жалкий Гавря с его надрывающею сердце песнью, и потонувшее в зелени Рыбное, и все Оболонье со знакомыми лицами мужиков; и лица брюссельских рабочих, и роскошные картины юга, и падающие от колонн храма Петра в Риме длинные тени, и песня венецианского гондольера, и грохот парижских улиц, и причудливая тень от могильного памятника Прудона, и шум колеса оболоньевской мельницы, — все засело в памяти Стожарова, и все в ней поднималось как живое, как будто только вчера или сегодня виденное и слышанное. И тут же в сером тумане вставал бледный, грустный, такой милый облик Вари, и под скрип колес тележки звучал и тогда, когда жалкий Гавря пел над Рыбным свою бесконечную песню, и тогда, когда венецианский гондольер пел свою баркаролу, звучал и тогда даже, когда Стожаров работал в Лионе на фабрике и под шум машинных колес думал о России, о Варе, об Оболонье и о жалком Гавре, сдиравшем лыки себе на лапти. Все это — и мусор, и перлы, и слезы, и режущее горе, и мимолетные радости, и

колыбельную песню матери, и похоронное слово над темной могилой Добролюбова, и резкий крик кобчика над старым дубом — все это разом вмещала в себе память и не ошибалась в размещении этих воспоминаний в глубоком, широком и памятливом сердце Стожарова.

Вот и знакомая плотина, обсаженная плакучими вербами, гибкие ветви которых мокнут в воде, как будто в ней хотят утопить свое неведомое человеку горе... Вот и Гремячка, такая тихая и скромная выше плотины и такая шумливая под мельничными колесами, такая живая, деятельная, потому что там она работает, заставляет двигаться неугомонное колесо, кормит все Оболонье своею неустанною работою... А там уже виднеется и старый дом с колонками и белыми заплатами на крыше и на боках, напоминающими солдатские шевроны, и старые липы с ветлами, униженными темными грачиными гнездами, в которых в течение десяти лет сменялись десятки поколений крикливых грачей... Не видно только старой собаки Гривки, которая, подобно Одиссееву Аргусу, встретила бы своего хозяина бессильным вилянием хвоста, как старый, издыхающий на куче навоза Аргус встретил Одиссея, досыта намыкавшегося по белу свету... Старой собаки давно нет, она не дождалась своего хозяина.

Вот и весь детский мир Стожарова — такой маленький, бедный, с такою простою, хотя милою для сердца обстановкою. Но когда-то этот мирок казался таким широким, богатым и таким полным счастья, что кажется, не выбрось Стожарова прихотливая судьба из Оболонья, не занеси его в шумливый Петербург, а там — за моря и за океаны, за тридевять земель, на роскошные земли юга, в богатые и шумные города Европы, мирок Стожарова казался бы ему полнее всего великого, виденного им мира, и счастье его в этом узеньком мирке было бы полнее, законченнее, как полно и законченно было оно в детстве, когда концом мира казалась меловая гора, упиравшаяся в самое небо.

«Неужели же мы в себе самих носим наше счастье и рассыпаем его на наш собственный мир, созданный нами же и живучестью нашего же собственного богатого сердца? — думал Стожаров. — Ведь мне, полудикому мальчику, этот жаленький мирок казался таким полным, и такое полное счастье я черпал из него, так сказать, пригоршнями, такое законченное счастье, что полнее и законченнее его я уже не находил нигде, вдали от этого бедного Оболонья, в продолжение десятилетней бродячести по свету, по югу и северу, по родине и по чужбине... Верно, только глупость может быть полно и законченно счастлива...»

Мельница шумно работает, и хлопотливые колеса переливают холодную воду своими широкими ковшами. Воробьи, чуя приближение голодной зимы, подобно западноевропейским рабочим, снуют по плотине целыми воробьиными ассоциациями, и куда полетят два-три воробья, туда летит и вся голодная ассоциация, такая же бессильная перед хворостиной мельника и засыпки, как бессильны западные ассоциации перед капиталом и фабрикантом, подкрепляемым, вместо хворостины, полисменами и стрелковыми ротами. У мельницы копошится народ. Согнутые в три погибели человеческие спины таскают тяжелые мешки с мукой, чтобы кормить голодных людей, которым, как и голодным воробьям, грозит хворостина в виде нужды, безденежья, безздоровья и бездомья.

Проезжает мимо мельницы Стожаров и вглядывается, не бросится ли в глаза знакомое лицо, виденное им в детстве. Хочется ему своими глазами проверить действие времени на лица человеческие, на их выражение, хочется ему знать, какие тени навело это время, действие которого он испытал на себе, на своем лице, на своей спине, на волосах своих, уже серебрившихся серебром седины, наконец, на своем мозгу и даже там глубоко, на сердце, — какие тени это время навело на знакомые ему лица, с которыми он рос вместе или которые далеко обогнали его годами и ростом... Но знакомых лиц он не видел, а то, что видел, только напоминало ему что-то не совсем незнакомое, так как действие времени на лица было сильнее даже самой памяти, берегшей в своем запасе только те лица, которые были знакомы тогда, давно, а не видоизменение их под действием времени, забот, нужд, болезней и радостей... Казалось бы, что вон там, у толчеи, стоит Поля, внучка Назарыча... Так нет, едва ли это она: то была стройная, красивая девушка, у которой русая коса, доходившая до коленных сгибов, ломила своей тяжестью грациозно склоненную на бок молодую голову, а белое со здоровым загарцем лицо освещалось живыми прекрасными глазами; у толчеи же стояла какая-то баба, по-видимому, с лицом Поли, но не то было это лицо — грубое и корявое с худобой и болезненной темнотой цвета кожи, и не та была эта коса, что была у Поли, а какие-то жалкие волосенки, выбивавшиеся всклокоченными и бесцветными прядями из-под безобразной головной повязки... Нет, это не Поля, а ее видоизменение, жалкое, грубое, неизящное... Казалось бы, что вон там, на мельничном жернове, сидит Павлуша Извоев, красивый парень, некогда достававший Грише орлиные яйца с самых высоких деревьев оболоньевского леса, и самый звонкий голос в деревенском хороводе... Так нет, едва

ли это он: у того было смелое лицо, а лицо этого, осунувшееся и отупевшее от времени, горя и забот, изрезано морщинами, смелость его сменилась какою-то запуганностью, веселость — горькою озабоченностью... Нет, это не Павлуша, а его видоизменение, постаревшее, робкое, некрасивое.

Вместо Поли и Павлуши выступают иные молодые лица и своими ногами беззаботно затирают даже следы ног, оставленные на земле людьми отживающими, уступающими им свое место и право голоса в хороводе жизни...

— Никак молодой барин едет, — слышатся голоса около мельницы.

— Он и есть... Ах, матки мои! — возглашают бабы.

— Нет, не он, — говорит робко Поля (это была она)... — Смурый больно да худящий...

— Где ему быть! — говорит Павлуша (это тоже был он)... — Наш барин за синими морями.

— И с бородой, матка, словно бы купец...

— Что борода... Ноне такие времена, ноне и цари заморски с бородами живут.

Все останавливаются, смотрят на проезжего. Не узнают. Он, да не он... Время и его зацепило... Узнают... Он, он!.. Есть что-то в лице человеческом, чего и время стереть не в состоянии... Узнали... Шапки снимают, и он снимает.

— Он, мой красавец, — говорит Поля, вздыхает и отворачивается, — не узнает он меня, дурнушную...

— Он, сокол наш, — говорит Павлушка, и поднимается с жернова.

По плотине идет молодой мужик с калмыковатым лицом и со странными, как бы стоячими глазами. На плече у него длинный холщовый мешок, наполненный мукою. Смуглое лицо, как смоль черные волосы, загорелые руки, синяя рубаша и штаны — все покрыто мукою. Даже на длинных ресницах осела мука, точно иней. Раздававшиеся около мельницы голоса о том, что едет барин, заставили этого мужика приостановиться со своею тяжелою ношею.

— Да, это Стожаров, — говорит мужик с мешком на плече, и лицо его принимает странное выражение.

Тележка Стожарова приближается. Ямщик помахивает мочальным кнутом. Стожаров слышит некоторые из возгласов, но знакомых голосов не узнает.

— Здравствуйте, Стожаров, — говорит мужик с мешком на плече.

Стожаров приподнимается в тележке. Все лицо его выражает изумление.

— Здравствуйте, Стожаров! Вы не узнаете меня? — снова говорит мужик с мешком на плече.

Стожаров действительно не узнает лица, но узнает голос... Голос знакомый, недавно, кажется, им слышанный... Этот голос Караманова... Но где мужик взял голос Караманова?..

— Караманов! Это вы? — вскрикивает Стожаров с удивлением.

— Да, это я, — отвечает мужик, ставя мешок на плотину.

— Что вы здесь делаете? — спрашивает Стожаров еще с большим удивлением.

— Мелю вашу пшеницу.

— Как, зачем? Что это значит?

— Это ваша мука, а я ваш батрак.

Это был Караманов. Стожаров смотрел на него долго и пристально, и что-то радостное и гордое загорелось у него в глазах. Это истомленное лицо и глубоко запавшие глаза, которые выражали что-то такое, что напоминало ему другие лица, виденные им во время мыканья по Европе; этот странный для богатого землевладельца наряд, на котором видны были следы грубой и тяжелой работы; эти некогда нежные, теперь загрубелые руки; это добровольное самоизгнание человека молодого, образованного, богатого; это не в меру крайнее и не в меру тяжкое применение еще не признанных миром теорий, — все это казалось Стожарову более чем причудами необузданной фантазии его молодого друга... Нет, так не шалит молодость, так не оригинальничает... Это не шалость.

— Так это применение ваших теорий? — спросил Стожаров с каким-то усиленным биением сердца.

— Да, это начало дела, — отвечал Караманов.

— И давно вы начали?

— Нынешним летом.

— Что ж, тяжело?

Караманов как-то странно улыбнулся.

— Говорят, тяжело, когда вправляют вывихнутую руку... Колумбу, говорят, тяжело было, когда он отчаивался увидеть землю, — отвечал Караманов.

Стожаров вышел из телеги. Его окружили оболоньевские мужики и бабы. Тут был и Павел Извояев, только Поля стояла в стороне и как бы украдкой поглядывала на молодого барина. Все поздравляли Стожарова с приездом, спрашивали, как жилось на чужой стороне, надолго ли он приехал к старикам. Стожаров ласково говорил со всеми, узнавал многих, шутил, вспоминал некоторые случаи из своего детства.

— Однако прощайте, братцы... пора к старикам, — говорил он, направляясь по плотине. — А вы со мной? — спросил он Караманова.

— Нет, мне нельзя... Мешка три осталось еще смолоть, — отвечал тот, снова взваливая мешок на спину.

— Помилуйте, Аркадий Львович, разве вы не можете передать вашего дела кому-нибудь другому?

— Не могу... Нанялся-продался... Впрочем, вы увидите меня в кухне, во время обеда.

— В какой кухне?..

— В вашей... Я там буду обедать.

Мужики как-то странно смотрели и на Стожарова, и на Караманова. К последнему они уже несколько привыкли и полюбили его. Они оказывали ему большое почтение, предупреждали его желания и любили слушать, когда он говорил с ними о предметах, которых крестьянское мировоззрение не заключало в узкой области своих знаний. Часто мужики оставляли свои работы и собирались слушать Караманова, которого продолжали называть «чужим барином», и расходились неохотно, когда он напоминал им о том, что они должны были работать. При всем том они не могли составить себе определенного понятия об этом человеке, не могли понять побуждений, руководивших им, хотя видели, что это не барский каприз, что барчонок не от жиру бесится, а какое-то глубокое горе понудило его действовать так, как он действовал. Действия его они истолковывали тем, что он наложил на себя смирение из набожности, что страдает он за грехи своего отца, о котором оболоньевские крестьяне имели не совсем лестное понятие. Они смотрели на него отчасти как на «блаженного», как на такую личность, какие в народе слынут под названием «божьих людей». Они часто приходили к нему за советами и всегда оставались довольны его решениями. Свободное время Караманов проводил на деревне, где или толковал с мужиками, или учил детей грамоте. Дети его очень любили и называли «добрым учителем».

— Надолго ли вы сюда? — спросил Караманов.

— Думаю, надолго... С вашей помощью мне будет легче начать мое дело, — отвечал Стожаров задумчиво.

— Какое?

— Какие делались в старину... Вспомните, как основывался Рим, Карфаген...

— Что ж, разрежете на полоски шкуру вола, обведете оболоньевские усадьбы и опашете их плугом?

— Нет, мы обойдемся и без шкуры вола... У нас межи обозначены, на то есть землемеры, планы, уставные грамоты.

— А Дидона будет в вашем Карфагене?

— Будет, — отвечал Стожаров, несколько краснея.

— Однако прощайте, — сказал Караманов, отправляясь на мельницу за новым мешком.

— До свидания... Когда же мы увидимся?

— Когда хотите... Вы свободны, а я работаю.

Стожаров догнал Караманова, крепко пожал ему руку и простился с мужиками.

— А что, Павел, разоряешь орлиные гнезда? — обратился он к Извоеву.

— Не до орлов, барин... Вороны заклевали, — отвечал Павел.

— Ничего, мы всех ворон распугаем.

Стожаров снова поместился в свою тележку. Мочальный кнутик взмахнул, мужичонка-ямщик назвал своих лошадей «другами любезными» и «подлецами», причмокнув губами, и тележка двинулась.

— Должно, сродственник твой, — заговорил ямщик, как бы обращаясь к лошадям.

— Кто? — спросил Стожаров.

— Да что с тобой говорил...

— Нет, не родня.

— А не мужик он, вижу.

— Да, не мужик: он богатый помещик.

— Ой ли! Прогулял рази добро-то свое?

— Нет, не прогулял... Это Караманов, знаешь Кологривы?

— Как не знать?.. И барина знаю.

— Так это его сын.

— Аль в опале у родителя-то?

— Нет, сам бросил свое богатство.

— Что ты! Кому ж отдал?

— Никому.

— Что ж он тутотка делает?

— Он нанялся в работники к моему отцу и вот теперь работает на мельнице.

Мужичонка задумался и обозвал своих лошадей подлецами.

— Он, должно, маленько умом сшибся, — заметил он.

— Нет, не сшибся.

— С придурью, значит.

— И не с придурью. Он умнее нас с тобою.

Мужик почесал в затылке и сердито стал хлестать своих лошадей.

— А что, если б все господа стали работать, как этот? — спросил Стожаров.

— Полагать надо, барин, что работа их была бы пустая... Да и то сказать, барин: коли бы все пошли в мужики, кто б тогда распоряжаться-то нами стал?.. Без начальства нельзя.

— А если бы все помещики и все богатые отдали бедным в раздел свои земли и свои деньги? Как ты думаешь, хорошо бы было?

Мужичок ухмыльнулся.

— Чаво не хорошо... Всем бы, поди, достало... Но, но... други любезные! В горку!

— А вот он такой — все отдаст в дележку, — продолжал Стожаров, желая попытать ямщика.

— Хто отдаст?

— Да вон тот, что на мельнице работает.

— Неужто вправду?

— Вправду.

— То-то добрый барин будет... А все дураком назовут.

— Кто назовет?

— Мужики и назовут, — отвечал ямщик. — Но-но-но! Блиско!..

Стожаров задумался над этими приговорами мужичка... «Какое глубокое нравственное падение народа, — думал он, — Всякий смелый шаг кажется ему дерзостью, безумством... Крот не нуждается в солнечном свете...»

Но думать было некогда: перед глазами стоял старый дом, осененный липами и ветлами. Ворота в ожидании приезда дорогого гостя уже второй год раскрыты настежь. По двору гуляют куры, индейки, цесарки и юное поколение собак, отцы и матери, деды и бабки которых, современники молодого Стожарова и соучастники его игр, давно покончили свое земное странствие и остались только в воспоминании старой Аверьянихи, которая к хронике своего вскормленника, молодого барина, приплетала и хронику здоровых собак, вспоминая, как ее золотой барчонок ездил верхом на Кавказке, ходил за зайцами вместе с Юркой, не любил Догоня и т. п.

Телега въехала на двор и остановилась у крыльца. Не успел Стожаров приподняться, как на крыльце показался казачок, растерянно глянул на приехавшего, растерянно что-то сообразил и так же растерянно бросился обратно в дом. Стожаров только теперь пристально взглянул на дом, в котором он родился, и какое-то грустное чувство шевельнулось в нем: его родной дом глядел таким дряблым, таким маленьким и жалким в сравнении с теми зданиями, которые он видел на своем веку, в которых он жил, обдумывая свое

будущее, как ему казалось, великое дело. Позеленевшие от времени стекла в окнах, позеленевшая от старости крыша, облупившаяся штукатурка старого фундамента, маленькие, почерневшие колонки, поддерживавшие фронтоны дома и казавшиеся когда-то маленькому Стожарову громадными колоннами той храмины, которую разрушил Самсон, — все это так умалилось, одряблело, осунулось. Стожарову разом представилось, что он, порывы которого не знали границ, должен заживо похоронить себя в этом одряблевшем домике, в маленьком захолустье, вдали от того великого движения, которое чувствовалось им и в Петербурге, и в Париже, и в Лондоне... И ему стало страшно и жаль того, что осталось у него позади... Мирок, в котором он очутился, вдруг показался ему могилой, виденный им горизонт казался таким узким... Но великое дело требует жертв, к великим подвигам великие люди готовят себя уединением, временным замуровыванием себя в стену, укреплением сил своего духа вдали от тлетворного и разъедающего веяния обыденной ходячей жизненной пошлости и общественной измелченности... Разве тот, доктринами которого живет человечество вот уже около двух тысяч лет, не жертвовал собой во имя великого дела, для исполнения которого он явился между людьми? Разве не хоронил он себя заживо в пустыне, готовясь на мировой подвиг, когда вдали от него, в тогдашних Лондонах, Парижах и Петербургах, шла такая кипучая жизнь, совершалось, по-видимому, такое великое движение? Нет, он отвернулся от этой кипучей жизни, схоронил себя как бы в могиле, сам посеял себя в землю как зерно великого семени и потом вышел на свет Божий, вынес с собою великое слово, что созрело у него в пустыне, и этим словом опрокинул все порядки мира... И весь мир пошел за ним, за тем, который ушел от мира... А разве не такими же подвигами временного удаления от мира подготовили себя к борьбе с этим миром все великие борцы человечества? Только великими жертвами творятся великие дела.

Все эти мысли разом охватили Стожарова, когда он вошел на крыльцо своего родного дома...

На крыльцо снова выскочил казачок, с таким видом, точно он помешался от изумления и радости.

— Ты знаешь меня? — спросил Стожаров изумленного казачка.

— Знаю-с.

— Отец и мать здоровы?

— Здоровы-с... Вас уж очень ждали...

Из сеней слышалось оханье и шарканье ног. Стожаров догадался, что это родители летят к нему навстречу со всею легкостью семидесятилетних ног. Переступив через порог, он увидел следующую сцену в растворенную дверь зала: старуха-мать, как видно, раньше отца успевшая броситься к сыну, не осилила огромного пространства, которое, как ей казалось, разделяло ее с сыном, и, пройдя форсированным маршем гостиную и зал, в конце последней комнаты почувствовала, что старые ноги под ней подкашиваются. Чтобы не упасть, она ухватилась за косяк. В глазах у нее помутилось. Между тем отец, который все еще умел владеть собою, хотя и растерялся, хотя и поспешил навстречу к сыну не совсем мужественными и благоразумными шагами, однако, увидев старуху жену «на привале», как он выражался по-военному, у зального косяка, поспешил к ней на помощь, не забыв сказать: «Что, брат, пошатнулася, за веревочку ухватилась?» Поддержав старуху, он помог ей перебраться через порог и великодушно бросил ее старое тело в объятия сына.

— Гришенька! Сокровушко мое! — бормотала старуха, оседая к полу, точно радость свидания накинута ей на плечи пудовые гири и они тянули ее своею тяжестью к земле, к гробу.

— Здравствуйте, маменька, — говорил Стожаров, чувствуя, что ему приходилось поддерживать ту, которая когда-то его носила на руках.

— Гришенька! Гришенька!

Старуха начала повторяться. В ее лексиконе оказался самый ничтожный запас слов, и она начала выражаться языком Спарты... «Гришенька... Сокровушка» — и больше ничего; других слов она не знала, и только повторяла зады.

Стожаров понял, что от матери ждать больше нечего, и обратился к отцу, который мужественно ждал очереди, переминаясь на месте.

— Здравствуй, отец, — сказал Стожаров, глядя на старика через плечо матери.

— Здравствуй, Григорий.

Старик подошел и, взяв дрожащими руками точеную голову сына, поцеловал его в лоб.

В это мгновение в заднем отделении сеней слышался глухой стук как бы от падения человеческого тела. Все вздрогнули. Казачок, глядевший, как старые господа встречали молодого барина и удивлявшийся, зачем это молодой барин обстриг свою голову «по-рекрутски, точно лобовой», а бороду отрастил «словно прасол Кондратуха», бросился

туда, где послышался странный стук, и с испугом воротился оттуда.

— Убилась... до смерти убилась, — бормотал он, — кровь течет...

Все поглядели на него с изумлением.

— Кто убили? — спросил старик.

— Бабушка Аверьяновна... с подвалки...

— Как! Упала?

— Упала-с... там кровь...

Испуганный старик поспешил по указанию казачка.

— Так и есть... не дождалась, бедная, — говорил старик дрожащим голосом.

Подошли и молодой Стожаров с матерью. На полу, внизу лестницы, ведущей на чердак, лежало мертвое тело старой няни Аверьянихи. Из правого виска старухи сочилась кровь. Она лежала навзничь, с раскинутыми руками. Худое, пересохшее от лет и морщинистое, как сушеная груша, лицо старухи было серьезнее обыкновенного.

Она умерла на своем посту. Сторожа каждодневно своего вскормленника в слуховое окно чердака и ожидая встретить его в богатом тарантасе, а не в жалкой тележке, она не заметила, как ее «золотой» очутился на дворе. Догадавшись, что она проглядела, старушка бросилась вниз, чтоб удостовериться в приезде «золотого» и предупредить о том свою «барыньку», но на крутой лестнице оступилась своими нетвердыми ногами, ударилась виском о что-то острое, и старой жизни как не бывало...

Не ожидал Стожаров, что на пороге родного дома он будет глядеть в лицо мертвецу, кто бы ни был этот мертвец. А он теперь глядел на мертвое лицо и думал: «Какая странная, роковая встреча... Неужели от одного нашего приближения должны вымирать старые люди, как вымирают дикие индейские племена от соприкосновения с европейской цивилизацией? Неужели так же вымрут и старые, отжившие порядки?.. Нет, людские порядки крепче и долговечнее самих людей, которые их устанавливали... Что сделано человеком, то живет дольше, чем сам человек... Дом долговечнее плотника... книга долговечнее своего автора... Странно...».

Мысли эти как-то мгновенно, точно гальванический ток, прошли по мозгу Стожарова при виде мертвого, серьезного лица, встретившего его на пороге родного дома.

Он думал, что еще можно помочь умершей... Но помощь была уже бесполезна: надо было думать о живых, а не о мертвых... Будущее всегда сильнее прошедшего...

Небольшая полуосвещенная комната полна теней, которые, скрадывая настоящие очертания предметов, придают им очертания неясные, фантастические. Защищенный ширмочками слабый свет ночной лампы, поставленной на небольшом столике в отдаленном углу комнаты, напрасно силится оживить находящиеся в комнате предметы и человеческие лица; борьба света с мраком оказывается далеко неравною, и предметы остаются погруженными в полумраке, живые лица кажутся бледными, мертвыми, как будто застывшими.

На низкой постели, приставленной к наименее освещенной стене, неясно очерчиваются формы человеческого тела, как бы случайно брошенного и застывшего, а на белой подушке выделяется мертвое лицо, худоба которого кажется поразительною от того, что впадины глаз и щек слишком глубоки и лицевые угловатости бросают слишком резкие, такие же угловатые тени. Только сильно развитой лоб кажется не мертвым, но спокойным и думающим. Мертвое лицо, по-видимому, молодо, но как-то страшно, до старческой морщиноватости изнурено, измождено и как бы изъедено страданиями. Одна рука брошена вдоль тела, другая как-то свалилась с кровати и в висячем положении как бы застыла, как застыло мертвое лицо и все худое, страдавшее тело.

Слабый свет лампы как бы силится заглянуть в лицо мертвецу, но тени отгоняют его от темного угла и все гуще и гуще ложатся на мертвое лицо и на всю вытянутую на кровати фигуру.

У изголовья кровати, в глубоком кресле, виднеется другая человеческая фигура, вся погруженная в тень и неподвижная, как то мертвое тело, которое лежит на кровати. Широкие, осунувшиеся вперед плечи, седая голова, низко опущенная на грудь, и сложенные на груди руки — все это выступает из мрака в неясных очертаниях и как бы постепенно ступеньвается и отходит по временам дальше и дальше, особенно когда свет лампы тускнеет и как бы притухает.

Из глубины другого кресла, поставленного у противоположного конца кровати, виднеется еще одно лицо, такое, по-видимому, молодое и прекрасное, но глубоко задумчивое и глубоко печальное.

Полумрак, господствующий в комнате, не позволяет узнать, кто эти лица и что свело их у постели, на которой лежит мертвое тело.

В комнате так тихо, что слышен малейший порыв ветра за окном и сонное твяканье собаки. По временам слышно, как

мышь скребет в подполье и как бы сама прислушивается к этим единственным звукам, нарушающим мертвую тишину комнаты.

Но вот свет лампадки как бы вздрагивает и освещает новое лицо, показавшееся на пороге. Задрожавший от лампадки свет заставляет вздрогнуть и тени на лице мертвого, и кажется, что это не тени дрогнули, а дрогнули и шевельнулись мускулы на мертвом лице, поднялись брови покойника, дрогнули бледные, мертвые губы, и худые, ввалившиеся щеки, еще более ввалились. Это дрожание света заставляет приподняться из глубины кресел и ту седую голову, которая была так низко опущена на грудь, и другую, молодую головку, глубоко задумчивую и глубоко печальную.

Вошедшая неслышными шагами подходит к постели и останавливается.

— Что, — спрашивает она тихо, — давно уснул?

— Только что забылся, — отвечает седая голова.

— Вы бы пошли отдохнули, — говорит пришедшая, — а я посижу здесь.

— Ступай, папа, усни немножко, а мы с Варей останемся, — говорит та, которая сидела у ног больного, в полумраке казавшегося мертвым.

— Нет, — отвечает тот, к которому относились эти слова, — я боюсь вас оставить... Вам будет страшно с ним.

Опять молчание и тишина. Та, которая вошла, также садится в тень. Снова в эту тихую комнату долетают только неясные внешние звуки, неровные порывы ветра да сонное, издали доносящееся тявканье собаки. Свет как бы снова притухает и в комнате становится еще темнее.

Больной тяжело вздыхает и открывает глаза, которые смотрят куда-то далеко, очень далеко, как будто предметы, на которые они смотрят, находятся вне комнаты больного, вне этих стен, и предметы эти видимы только ему одному.

Больной начинает шептать, как в полусне, но достаточно ясно для того, чтобы сидящие около него могли слышать его болезненный шепот.

— Зачем он висит и качается?.. Все качается... Все качается... Зачем его не вынут из петли?.. Зачем? — И губы больного горько улыбаются. — Зачем? И земля висит и качается... И ее никто не хочет вынуть из петли... Верно, и она сделала такое же преступление, как он...

Больной закрывает глаза и умолкает. Опять тихо кругом...

— Ух! Оборвался... упал! — говорит больной и весь вздрагивает.

— Он бредит чем-то, — говорит шепотом Бармитинова, нагибаясь к старику Канадееву.

— Да... Это все тем же... повешенным.

Больной начинает оглядываться по сторонам и искать кого-то глазами.

— Где она? Ее нет? — спрашивает он.

— Кто она, Митя? Мать, сестра? — спрашивает старик.

— Я здесь, Митя! — говорит тихо Марина.

— А птица моя?.. Ты ее не отгоняла? — спрашивает больной.

— Нет, Митя.

— Пропала... давно не прилетала... Ее... заперли... повесили... связали крылья.

Опять тихо. Слышно только, как в стекла, точно из решета, зимняя вьюга сыплет мелким снегом.

— Слышите? Это она сеет из своего решета, — говорит больной, обращаясь к присутствующим.

— Кто она, Митя? — спрашивает Марина, не замечая, как отец кивает ей, чтоб она молчала.

— Она... Ананке... это она сеет из решета.

Присутствующие в недоумении переглянулись.

— А ты видишь ее? — вдруг спрашивает больной, обращаясь к отцу.

— Кого?

— Эту оборванную, страшную женщину... Ананке ее зовут... Вот она, вся в лохмотьях, с растрепанною седой косой... Это Ананке... нужда... Какая она старая, а все не умирает, все ходит по земле, все стучится в бедные домики да в серые избушки... Она всесильна... Она проводит морщины по молодым лицам, белит волосы людские, как мартовское солнце белит полотна... А вы разве не видите ее? — спрашивает больной.

— Нет, не видим, — отвечает старик.

— А я вижу... Вон она носится над землею, как туча, и как грязные флаги веют по ветру ее лохмотья... Вон она повисла над большим городом... В руках у нее решето... Решето полно маленьких людей... Они выглядывают из решета, поднимают маленькие ручонки и ссорятся, злобно ведут между собою перебранку... Лица большею частью мне знакомые... Вот Ананке встряхивает решетом, и маленькие люди присмирели. Они боятся старухи.

Больной приподнимается на постели. Глаза его напряженно смотрят вдаль. Он внимательно прислушивается, как зимняя непогода сыплет в окна мелким снегом.

— Сеет... сеет Ананке... Я слышу шум от решета... Маленькие люди смешались в решете, как чистые зерна с пылью и грязью... Посмотрите, из решета сыплется то, что помельче — пыль, сор, грязь, а чистые зерна остаются в решете... Под решетом белая страница какой-то книги... Ты видишь, Мариночка, эту книгу? — спрашивает больной, обращаясь к Марине.

— Вижу, Митя, — говорит она, боясь противоречить больному.

— Наверху страницы написано «Дело», — продолжает больной, — а там лежат другие книги, другие белые страницы... старуха сеет решетом... Все мелкое проскальзывает и падает как пыль на белые страницы... Нет, это не пыль, не сор, а маленькие люди, с узенькими, маленькими, как у лилипутов, головками... А какой, я думаю, у них мозжечок маленький... Ты узнаешь их, Мариночка? — спрашивает он опять.

— Нет, не узнаю...

— Да, ты их не знаешь... Эти вот, самые мелкие, что раньше всех выскользнули из решета, они пачкают своими грязными руками белую страницу «Дела»... Вон самый маленький из них, самый ничтожный пачкун, с узенькой головкой — это Гедебе.

— Какой Гедебе, Митя? — спрашивает Марина.

— Гедебе... разве ты не знаешь его? Вон он прыгает по задним страницам «Дела», такой жалкенький, плюгавенький, и все пачкает их...

— Это Гедебе, который пишет в «Деле», — говорит шепотом Бармитинова, обращаясь к Марине. — Какой странный бред...

Больной беззвучно смеется.

— Ананке грязным ногтем поднимает череп на узенькой головке Гедебе, и я вижу мозжечки там, но такие жидкие, скудные... И строение, форма мозжечков странны.

Больной снова беззвучно смеется.

— Точно у овцы, — продолжает он. — Овечий мозг...

Больной опять прислушивается и говорит:

— А она все сеет, все сеет... Вон из решета еще выпала узенькая головка и начинает прыгать на передних страницах «Дела»... Как дико прыгает, как кривляется. Это — Тредьяковский нашего времени... Он обо всем говорит с азартом, за все хватается и все умеет испошлить и измелчить... Я узнаю его...

Больной обхватывает руками свою голову и сидит неподвижно, продолжая присматриваться к чему-то далекому, ему одному видимому.

— Болит голова? — спрашивает его отец.

Больной не отвечает. Мысль его занята чем-то другим.

— Что он там пачкает на белой странице?.. Я вижу слова «задачи земства», «вопросы русской жизни», «о болезни хвостов у тотемских поросят», — все это одно за другим вылетает из его узенькой головенки и ложится на белые страницы... Посмотри, Мариночка, какой он жалкий...

— Кто жалок, Митя? — спрашивает Марина.

— Шелгунов с его пеклеванной философией.

Марина невольно смеется.

— Какой ты злой, Митя, — говорит она. — Что выдумал, Шелгунова называет пеклеванным философом.

Больной с удивлением смотрит на сестру и опять прислушивается, как зимняя непогода сыплет в стекла мелким снегом.

— Вся мелочь выпала из решета и прилипла к страницам «Дела»... В решете осталось только то, что покрупнее, — чистые зерна... Вот Ананке опрокидывает решето, и все крупное, чистое падает на страницы других журналов, только на страницы «Дела» не упало ни одного крупного зерна...

Старик Канадеев, слушая бред больного сына, грустно качает головой. Он чувствует, что ничем не может пособить несчастному, и как-то безнадежно ждет, что скоро и этого бреда он не будет слышать, что скоро и эти безумные, глядящие куда-то вдаль глаза закроются навеки. И он боится ждать этого страшного времени, боится и желать продолжения страданий дорогого ему существа.

С неменьшей болью в сердце слушала бред больного и Бармитинова. У нее было свое горе, глубоко затаенное, и она всем существом своим чувствовала, как это горе подтачивало ее, съедало жизнь, неотходно давило ее и днем, и ночью.

Зато впечатлительной Марине кажется, что она видит страшную старуху с растрепанною седою косой, слышит, как шумит ее решето и как падают из него маленькие, жалкие люди, падают не на белые страницы книги, а в глубокую пропасть.

— Как темно стало, — говорит больной с каким-то страхом, — что это? Куда все исчезло?.. Где она?.. Пропала... и земля пропала... оборвалась с петли... упала...

И, закрыв глаза, он в изнеможении опрокидывается на подушки... Бледное лицо его вытягивается, руки бессильно валяются вдоль исхудалого тела...

— Папа! Папа! Он умер! — с ужасом говорит Марина, припадая к коленям отца.

Отец бережно приподнимает дочь и, придерживая ее одною рукой, тихо нагибается к лицу больного. Он долго стоит

в таком положении, прислушиваясь к дыханию сына, и на лице его выражается глубокое, безотрадное горе.

— Ты бы пошла к матери, милая, — шепчет он дочери, — тебе надо уснуть, успокоиться... У тебя так испуганно бьется сердце, что даже я слышу... Уйди, милая.

— Нет, папа, я не уйду, я не оставляю тебя... Так недолго осталось, — говорит Марина, прижимаясь к отцу.

— Нет, не говори это, может быть, это перелом к лучшему.

Бармитинова также приблизилась к постели и стала гладить волосы Марины.

— Право, Мариночка, тебе бы следовало уснуть, — говорила она. — Вон как ты вся дрожишь... Подумай, что будет с ними, когда и ты сляжешь.

— Ах, Варя, что ж мне делать, когда я не могу отойти от него?

— Не можешь, милая, потому что он на глазах у тебя, а когда не будешь видеть и слышать его, тебе будет легче.

— Он умрет без меня, — говорит Марина ломая руки, — я не увижу его больше.

— Не умрет он... Разве ты не замечаешь, что даже в его болезненном бреде теперь больше связности, чем было прежде? Его бред обнаруживает теперь то, о чем он думал в последнее время, что его волновало, печалило.

— А эта страшная Ананке, Варя? А это решето?

— Что ж, милая, и это понятно: когда его привезли сюда и ему стало лучше, он жадно набросился на чтение, говоря, что многого не читал во время болезни... Больные нервы не выдержали, и вот ему теперь и мерещится русская литература в решете... Ведь ты помнишь, как он раздражительно отзывался о том, что русская литература сама себе вредит во мнении общества неприличной бранью, доносами обществу на своих же собратьев литераторов за то, что они пишут не в том, а в другом журнале.

— Да, вы правы, — заметил старик Канадеев, — мы напрасно давали ему читать... Он был еще так болезненно настроен.

Больной открыл глаза и несколько секунд глядел на отца, на сестру и на Бармитинову, как бы никого не узнавая.

— Зачем Маркушка яблоки ворует? — вдруг спросил он, обращаясь к отцу.

— Какой Маркушка, Митя? — спросил тот в недоумении.

— Волохов Маркушка.

Бармитинова и Марина переглянулись. Но старик, по-видимому, продолжал не понимать, о чем говорит его сын.

— Зачем он негодяй и глуп, когда должен быть умным и честным? Вы не знаете?

Все молчали, не зная, что отвечать.

— И яблоки ворует... И пьянствует, и лжет, чужое пальто берет... какой подлец... Ты его выгони, Мариночка, когда он к тебе придет, — говорил он, узнавая сестру.

— Хорошо, Митя, выгоню.

— Какой злой Гончаров, — продолжал больной, как бы про себя. — А злится он не на Маркушку, а на других... Это нехорошо, малодушно... А ведь Гончаров из крупных... он в решете и не поместится.

Марина нагнулась к брату и тихо взяла его за руку. Рука его была очень горячая и сухая.

— Митя! Милый мой! — говорила она, глядя ему нежно в глаза. — Зачем ты все об этом думаешь? Зачем ты не дашь себе покою? Ведь ты еще так слаб, стоит ли волноваться из-за того, что Маркушка ворует яблоки?.. Выздоровливай лучше, тогда мы с тобою обо всем переговорим — и о литературе, и о твоих планах... К нам будет часто ходить Варя, и мы все будем так хорошо проводить время... А теперь успокойся, не думай о том, что тебя волнует... Вон какой у тебя жар, и голова такая горячая, точно в огне.

Она приложила руку к его голове.

Широко раскрытые глаза больного как бы мгновенно изменили цвет и форму. Он внимательно прислушивался к тому, что говорила сестра, и вдруг, прижав ее руку к своим горячим губам, а потом, закрыв этою рукою свои глаза, начал плакать. Марина припала своей головой к голове больного.

— Бедный мой! Об чем же ты плачешь? — говорила она, не имея силы удержать слез, которые полились и из ее глаз. — Что у тебя болит? Чего тебе жаль?

Больной продолжал плакать, так что все его худое тело судорожно вздрагивало.

— Пусть выплачется, — говорил старик отец, — может быть, ему легче станет.

— Да, пусть вместе плачут, он так любит ее, — говорила Бармитинова.

— Я в первый раз за его болезнь вижу, как он плачет, — говорил старик тихо.

И брат, и сестра продолжали плакать.

— Выздоровливай скорее, милый! Только не страдай, — говорила Марина, продолжая ласкаться к брату.

— Разве ты не знаешь, отчего я страдаю?.. Мочи моей нет, — говорил больной, и в голосе его слышалось действительно горе глубокое и сильное.

— Отчего же, Митя?

— Оттого, что миллионы людей страдают... Я хотел им помочь... Не я один хотел помочь им, а многие этого хотят, и сил не хватает, зла больше, чем добра; глупости больше, чем ума; нищих больше, чем богатых... И вот я надорвался... И не один я, много честных людей погибло, и долго будут они погибать, пока...

Он замолчал, припав головой к рукам сестры и постоянно вздрагивая.

— Что «пока», Митя?

Больной ничего не отвечал. Видно было, что рассудок его, как бы по какому-то капризу природы, снова возвратился к нему, но у больного, разбитого нравственно и физически, не хватало воли удержать порывов своей фантазии, и рассудок был снова побеждаем болезненностью нервов и необузданностью фантазии, и мысли его снова метались от предмета к предмету, снова сбивались в направлении, как корабль в бурю, лишенный руля и балласта.

— Милая! Не презирай меня, — говорил он, целуя руки сестры.

— Что ты! Что ты, Митя? За что? — говорила она, целуя его горячую голову.

— Я слишком много взвалил на себя и... переломился... Я... собака с перебитым задом... И они же... будут... смеяться надо мною, — говорил он, с трудом переводя дыхание.

— Кто они, Митя?

— Все... скажут, его заела среда... Пошлая фраза!.. Я сам себя заел... Мы сами себя заедаем... Мы не Рудины и не Печорины: те страдали и погибали от недостатка дела, а мы... от избытка дела...

— Друг мой! Зачем же брать на себя дело не по силам? — говорил отец, который видел, что в словах сына нет болезненного бреда.

— Как же не брать, когда жизнь... на каждого честного работника взваливает целую гору?.. Кто ж возьмет, когда мы не возьмем?

— Да надрывать-то не надо, друг мой.

— Надрывать... Лучше надорваться, да вытащить телегу из тины... Мы... ломовые лошади... битюги... наша телега застряла в тине... Что за беда, если мы все поколеем... была бы телега с дорогой кладью вытащена из тины... Мы все

подохнем в оглоблях и в хомуте, а телега и кладь... будут спасены...

— Да, в ваших словах глубокая, но горькая правда, — заметила Бармитинова, которая при этом думала: «И мой Стожаров из таких же битюгов... Теперь их время настало: время Райских и Маркушек Волоховых отошло навсегда».

— Горькая! — возразил больной, вглядываясь в Бармитинову. — Тем лучше... конечно, не нам... да мы себя и не жалеем: неуклюжий обломок мрамора не должен о себе плакать, если из него рука художника высекла статую... Мы... подохнем... а телега таки будет вывезена.

— Я согласна с вами, — продолжала Бармитинова, — следующим поколениям легко будет катить эту дорогую телегу по гладкому шоссе да по чугунке.

В это время вдаль пронесся глухой, протяжный звон церковного колокола. Звон этот раздался так неожиданно и в такую необыкновенную пору, что невольно заставил всех вздрогнуть и прислушаться, как постепенно замирали в ночном воздухе глухие переливные звуки, которые казались отзвуком голоса человеческого, но таким страшным, таким безотрадным, как будто он напоминал людям, что звучит не на радость, а только напоминает о чем-то неизбежном, неотвратимом. Может быть, потому и был страшен этот крик медного горла, что раздавался он в неурочное время, что в темноте проносился он над спящим селом и что кому-нибудь из слышавших этот зов днем никогда уже больше не придется его услышать ни днем, ни ночью...

Марина с испугом взглянула на отца, а потом на брата. Она знала что означал этот крик медного горла в ночную пору. Больной также с каким-то странным беспокойством поглядел на окружающих, а потом на свою постель.

— Что это такое? — спросил он почти шепотом.

— Это, мой друг, звонят у Николы, — отвечал отец с невольной дрожью в голосе.

— Зачем же... так поздно?..

Больной испуганно глядел на отца. Звон долго не повторялся. Все напряженно ждали второго удара. Ждал его и больной, озираясь и прислушиваясь... Колокол ударил так же глухо и протяжно, и опять в ночном воздухе долго замирал этот страшный, нечеловеческий, но такой знаменательный крик...

— Кто это?.. Я? — спрашивал больной и хватал себя за голову.

— Это... по покойнике, друг мой, — отвечал старик.

— По покойнике... Разве я уж умер? — говорил больной с ужасом и снова брал себя за голову. — Это обо мне звонят?

— Что ты, Митенька!.. Успокойся... Кто-нибудь умер на селе.

— А я... не умер еще?..

— Помилуй, дружок... Бог милостив, тебе лучше...

— Кто ж это... не вывез телеги? — спрашивал больной.

— Не знаю, мой друг... Кто-нибудь скончался... Село большое.

Колокол снова ударил, но еще глуше, еще протяжнее.

В то же мгновение в комнату больного неслышными шагами вошла пожилая женщина. На лице ее выражался такой тупой испуг, что она, по-видимому, ничего не сознавала, только глаза ее, едва она показалась на пороге, с ужасом приковались к постели больного. Волосы ее, прикрытые чепцом, были в беспорядке и неровными прядями падали на виски и на шею. Это была женщина плотная, высокая. В неуловимых чертах лица ее проглядывали решительность и твердость, хотя в настоящую минуту лицо это и боролось с тайным ужасом.

— Митенька!.. Ох... голубчик мой, — тихо, сдержанно простонала эта женщина и в изнеможении опустилась в кресло около постели.

— Слышите, звонят? — спросил больной, обращаясь к ней и протягивая руку по тому направлению, откуда донеслись три колокольных удара.

— Слыхала, Митенька.

— Это не я умер? — снова спросил больной.

Женщина, по-видимому, готова была вскрикнуть, но она переселила свой ужас, поднялась и нежно обхватила больного за плечи.

— Христос с тобой!.. Христос с тобой! — говорила она, целуя его в голову.

— На меня венчик положат... холодный венчик... венчик целовать будут...

И Бармитинова, и Марина отошли в темный угол комнаты и тихо плакали. У постели больного остались только мать и отец.

— Не говори ты этого, дорогой мой... не надрывай своего сердца, дитя мое бедное! Бог даст, тебе будет легче: не до конца же Он прогневался на нас и не накажет тебя за грехи наши, — говорила мать, поправляя подушки сыну.

Старик Канадеев, поглядев на часы, подошел к лампадке, взял стоящий на столике пузырек с лекарством и стал отсчи-

тивать светлые капли, которые из пузырька переливались в рюмку. Но руки у него дрожали, и он подошел к дочери, которая вместе с Бармитиновой укрылась в тень за небольшие ширмы.

— Что, папа, не можешь налить? — спросила Марина.

— Не могу, переливаю, руки дрожат.

— Бедный папа! — И она поцеловала его дрожащую руку.

Старик нежно погладил голову своей любимицы.

— Дай я налью, — сказала Марина и взяла из рук отца пузырек и рюмку.

Больной видел это и горько улыбнулся.

— Лошадь завязла в тине... а они хотят давать ей капли, — сказал он. — Смешно.

Лекарство было налито и поднесено больному. Он его выпил.

Принятое ли лекарство произвело на больного успокоительное действие, или успокоение пришло само собою после нервного припадка и больной чувствовал физическое утомление, только через несколько минут он замолчал, а потом ровное и спокойное дыхание дало знать находившимся в комнате, что он уснул.

Мать больного сделала знак рукою, чтобы все вышли из комнаты, и они вышли. Она одна осталась в комнате, чтобы прислушиваться к дыханию спящего сына.

Х

Молодой Канадеев взят был из дома умалишенных по совету докторов, которые находили, что здоровье его начало несколько восстанавливаться, чаще и чаще стали возвращаться к нему минуты полного сознания, а между тем по мере возвращения рассудка больного возмущала мысль, что его держат под присмотром прислужников и под стражею, как преступника. Реже и реже он начал говорить о своих воздушных экспедициях, о посещении его неведомою птицею и о своих болезненных видениях.

С возвращением рассудка он начал искать какой-либо деятельности, которая заняла бы его тревожную, ищущую живой работы мысль. Он просил, чтобы ему позволено было чтение, и при этом требовал, чтобы дали ему такое чтение, из которого бы он познакомился с тем, что за время его болезни было сделано в России и в Европе. Но желания его не

могли удовлетворить, потому что он набрасывался на чтение слишком лихорадочно, читал по целым ночам, и чтение ему было запрещено.

Он просил, чтобы ему позволено было писать. Ему позволено было это занятие. Но пользовавшийся его доктор скоро заметил, что и этому занятию больной отдался с убийственной торопливостью и горячностью. Когда доктор стал доказывать ему весь вред этого увлечения работой, больной раздражался, и в такое время всякое сопротивление ему вызывало болезненные симптомы и опасное нравственное настроение.

Тогда доктор написал родителям Канадеева, что в настоящем нравственном состоянии больного он находил бы более полезным окружить пациента такими условиями, которых не могло быть в распоряжении доктора, но что всего лучше могло бы подействовать на успокоение больного пребывание в семействе или же поездка за границу и такие развлечения, которым больной мог бы отдаться, сам того не замечая.

Отец Канадеева исполнил совет доктора, с которым был дружен со школьной скамейки, и взял сына домой. Окруженный любящими его лицами, поддерживаемый нежною дружбою сестры и Бармитиновой, больной на первое время совершенно ожил. Так как в продолжение университетского курса он редко приезжал домой на каникулы, а потом на несколько лет окончательно отдался усидчивым работам в Петербурге и только переписывался с сестрой, то, возвратясь в свой родной дом, он не мог не поддаться благотворному влиянию со всех сторон оказываемых ему ласк, и в нравственном состоянии его произошел перелом к лучшему. По временам только он говорил, что скучает по книгам, не знает, что делается на свете, жаловался, что изленился, отстал от хода мировой жизни, не думает и не чувствует, как он шутя выражался, заодно с человечеством, не дышит общечеловеческим дыханием, как дышал прежде, когда жил в Петербурге и жадно пил из источника мировой духовной жизни. Ему шутя говорили, что пусть он на время попьет волжскую воду и подышит дыханием варгунинского мира, что Варгуны и тихое Заволожье — такая же часть человечества, как и Петербург со всею Россиею, но что потом, набравшись сил, он может, как сказочный черт, горами качать и дышать дыханием всего человечества.

О видениях, которые являлись ему в болезненном состоянии, о таинственной птице, которая навещала его, о его воздушных полетах никто не упоминал, и он сам не говорил о них, как будто болезненный бред, мучивший его несколько лет, окончательно не остался в его обновленной памяти.

Мало-помалу ему дозволено было чтение, но с тем условием, чтобы читать вслух, вместе с сестрой и Бармитиновой, которая чаще всего навещала семейство Канадеевых. Таким образом, у Канадеевых начались чтения. Чтецом были или Марина, или Бармитинова. После чтения начинались толки, споры, суждения о прочитанном. Канадеев всегда поражал свое маленькое общество неожиданностью и резкостью своих приговоров. Иногда во время чтения он задумывался, «отсутствовал», как шутя говорила ему сестра и грозила пальцем.

— Ты где, Митя? — спрашивала его иногда Марина неожиданно.

Дмитрий не всегда находил ответ на такой вопрос.

— Ты куда сейчас уходил? — спрашивала она снова.

— Я никуда не уходил, я здесь был, — отвечал Дмитрий, приходя в себя.

— Нет, ты летал куда-то... Ну, говори, где был, что видел?

Дмитрий улыбался и ничего не отвечал. Иногда он сознавался в своих духовных alibi.

— Я был в Петербурге... в публичной библиотеке, — говорил он, встряхивая головой, как бы сгоняя со лба неотвязную муху.

— То-то, гадкий! А что делал там?

— Слушал, как кашляет бледный юноша над грудой книг.

И Марина и Бармитинова с боязнью переглядывались. Они догадывались, о каком бледном юноше говорил он.

Тогда его самого заставляли читать вслух, чтоб он не имел возможности «крылатою мыслью мир облетать». Дмитрий покорялся и читал усердно.

Так как это было зимой, то Марина и Бармитинова нередко приглашали Дмитрия кататься с ними или на салазках с волжского берега, или на коньках. Движение на воздухе укрепляло больного; но часто, глядя, как сестра его скользила по льду на железных полозьях своих хорошеньких коньков, он задумывался, и лицо его принимало опасное выражение.

— Митька, гадкий! Ты опять убежал от нас? — спросит, бывало, сестра.

— Дмитрий Константинович! Поддержите меня, помогите подняться на гору, — скажет, бывало, Бармитинова.

Дмитрий вздрагивал и оглядывался по сторонам.

— Ты где был? Признавайся, — пристаёт сестра.

Дмитрий молчит.

— Говори, где был?

— Смотрел, как тот преступник, в белом мешке, катается по воздуху без коньков.

И Бармитинова и Марина опять догадывались, о ком он говорит, и им становилось страшно.

Но эти опасные симптомы реже и реже повторялись с больным, так что через несколько месяцев по возвращении в Варгуны он казался совершенно здоровым.

Однажды, во время чтения, ему подали письмо, которое получено было в Варгунах с последней петербургской почтой. Дмитрий быстро вскрыл письмо и жадно пробежал его глазами. И Бармитинова и Марина, которые следили за ним, заметили, что он сильно изменился в лице при чтении письма и, когда клал его потом в карман, руки его сильно дрожали. Им овладело сильное волнение, которого он не мог скрыть: то вставал и как бы порывался ходить по комнате, но тотчас же вновь садился, то подходил к окну и рассеянно глядел на расстилавшуюся под окном белую поверхность Волги, покрытой льдом и снегом. Зеленые глаза его стали как-то светлее и прозрачнее, хотя смотрели несколько сердито, а белый лоб оттенился какою-то особенною мыслью, которая вызывала решимость, требовала исполнения.

— Откуда письмо, Митя? — спросила Марина, которая знала, что брат не имел от нее тайн.

— Из Петербурга, — отвечал он, останавливаясь перед Бармитиновой и задумчиво глядя ей в лицо.

— Вы что на меня так смотрите? — спросила Бармитинова с улыбкой.

Дмитрий немного подумал и отвечал:

— Я вижу вас в первый раз.

Бармитинова не знала, как понять его слова, и смутилась. Марина с боязнью подошла к брату и положила ему на плечо свою маленькую ручку.

— А меня который раз видишь? — спросила она, зная, что шуткой своей она иногда развлекала больного.

— Тебя знаю с детства, — отвечал он и снова посмотрел на Бармитинову.

— Уж не касается ли меня это письмо, которое вы получили? — спросила последняя.

— Да, оно касается... и вас, — отвечал Дмитрий.

— Кто же бы мог писать обо мне из Петербурга? — сказала она в раздумье и стала припоминать всех, кто мог ею интересоваться. — Не знаю, — прибавила она задумчиво.

Дмитрий молчал. Волнение не оставляло его. По лицу Бармитиновой между тем успели пройти и тени, и свет, и

глубокие глаза ее отразили какую-то тревогу, охватившую ее душу.

— Вы знакомы со Стожаровым? — спросила она, не глядя на Дмитрия.

— Нет, — отвечал он. — Впрочем, я много о нем слышал и много о нем знаю.

Бармитинова опять задумалась.

— Митя! Я вижу, ты начинаешь иметь от меня тайны, — сказала наконец Марина, надувая губки.

— Какие тайны?

— А письмо?

Дмитрий вынул письмо из кармана и, отдавая его сестре, сказал:

— Читай.

— Нет, Митя, мне совестно, — возразила Марина, не решаясь заглянуть в чужое письмо, — тут есть что-то такое, что взволновало тебя.

— Может быть, и тебя взволнует, — отвечал Дмитрий.

— А Варю? — спросила сестра.

— Варвару Григорьевну не взволнует.

Марина решилась заглянуть в письмо. Она пробежала его глазами, взглянула на подпись, потом снова стала читать, причем лицо ее вспыхивало.

— Кто он такой? — спросила она.

— Бледный юноша, — отвечал Дмитрий.

Марина с испугом посмотрела на брата, потом на Бармитинову.

— Господи! Они опять что-то затевают! — вскричала она в отчаянии.

Дмитрий молча пожал плечами и снова стал ходить по комнате.

— Варе можно прочесть? — спросила Марина.

— Читай вслух, — отвечал брат. — Я уверен, Варвара Григорьевна не скажет, что мы «что-то затеваем».

Марина стала читать:

— «Караманов прав был, когда говорил, что я брошу и публичную библиотеку, и мой магистерский экзамен, и мою диссертацию, лишь только меня овеет ветром наших широких полей да охватит дымом курных изб, да когда я сам, изведав нужду, изведаю всю глубину нужд народных. Нынешним летом я побывал там у вас, в сердцевине России: меня овевало русским ветром, от меня отнесло эту затхлую, разъедающую мозг столичную атмосферу, и я извещал и дымную копоть курных изб, и глубину нужд народных.

Я бросаю груды исписанных мною здесь бумаг, бросаю Петербург, бросаю и мою дорогую публичную библиотеку, в которой так много работалось и много думалось, в которой я и с вами познакомился. Я иду туда, к вам, служить не здешним узким, браминским интересам, а великим интересам народа.

Я много пережил после вашего отъезда из Петербурга. Под влиянием Караманова и Стожарова, как между молотом и наковальней, я выковался совершенно в другого человека и не стыжусь признаться в этом влиянии. Этот молот и эта наковальня разбили мои лучшие, дорогие верования, зато, как из кремня огонь, вызвали из меня другие верования, более дорогие, более светлые.

Как перед пришествием Христа ветхий мир жаждал обновления нравственных законов, так он теперь жаждет обновления законов экономических, гражданских. Слишком тяжело становится жить людям. В воздухе накопилось слишком много электричества, и для того, чтобы не разразилась бессмысленная гроза над головами ничего неведующего большинства, как гроза разражается, с ливнем и градом, над крестьянскими полями и выбивает дочиста скудное крестьянское добро, — надо отводить грозу проводниками, и мы хотим быть проводниками накопившегося электричества.

Разве вы не видите, что везде повторяется история Рима перед его падением? Эти, по-видимому, беспричинные самоубийства, почти беспрестанно повторяющиеся, особенно между молодежью, неслыханные преступления во всех сферах общества, разлад в сословиях, в семье, в литературе — разве вы не видите, что все расклеилось, все расшаталось, подгнило? Это то же повторение Рима и его оргий: люди отравляют себя на пирах, убивают себя в ваннах, душат и режут друг друга.

У нас разве почти не то же? Литература гоняется за типами, за идеалами, а их нет. Ищут «новых людей» — и находят самозванцев, которые сами называют себя «новыми людьми», но их общество не признает за искомым «людей». Идет одно обличение идиотов и негодяев да неумелых людей: Литвиновы, Потугины, Раскольниковы, Райские да Маркушки Волоховы — все это не то, чего нам нужно, не то, что у нас есть. Разве можно удовлетвориться туманными Загайными у Марко Вовчка, Загайными, которых автор нам не показывает, а показывает только их комнату да сапоги? Разве Маркинсон, Оглобин да Теленьев Гирса! А что они сделают и чему они служат?

Нет, литература не дает нам живых хороших людей, не дает и идеалов для подражания. Даже Рахметовы теперь ус-

тарели. Современнее всех Оглобин у Гирса, да он слишком уже врос в почву и не поможет росту народа, прозябающего на этой почве.

А мы хотим помочь ему расти, и сами будем расти с ним, сплетаясь корнями и ветвями и давая общие плоды. Мы идем в народ, в курные избы, и будем там жить, будем там пахать и сеять не современные идеи, а просто рожь, ячмень и пшеницу, а после уж и идеи, если достаточно удобрим почву, унавозим ее...»

При последних словах Марина улыбнулась.

— Ты что? — спросил ее брат.

— Так... Разве современные идеи навоз? — отвечала она.

— Навоз, — серьезно сказал брат, — зато навоз помогает росту и питанию... Мы считаем за честь называть себя скромным именем навоза для будущих сеятелей... Впрочем, читай дальше.

— «Мы идем в народ не с прокламациями, как делали наши юные и неопытные предшественники в шестидесятых годах, — продолжала читать Марина, — мы идем не бунты затевать, не волновать народ и не учить его, а учиться у него терпению, молотбе и косьбе. То были дети, а мы уже не дети: мы не верим ни в благотворность французских и испанских революций, ни в благодетельность удобрения земли человеческой кровью. История научила нас не верить этим пустякам, как верили наши предшественники. Мы просто идем слиться с народом: мы бросаем себя в землю, как бросают зерно, чтоб зерно это взошло и уродило от сам-пять до сам-сто, как египетская пшеница.

Мы бросаем города — я бросил даже дорогую мне публичную библиотеку — и идем жить в деревни, «в глушь», хуже чем «в Саратове». Точно таким образом некогда пошли в народ рыбаки и бондари (любимое выражение Караманова) и вот тысячу восемьсот шестьдесят девять лет ведут его за собою во имя того, во имя чего они сами шли. Точно так же пойдет народ и за нами во имя того, во имя чего мы идем к нему в курные избы.

Мы бросаем даже книги, литературу, политику, женский вопрос... Пусть занимается этим, кто хочет; кто *неспособен* идти с нами, тому и книги в руки. Все это своего рода чиновники и ремесленники, подмастерья и мастера книжного, литературного цеха. Эти подмастерья, как александрийские ученые, забывают народ, хоть и говорят о нем жалкие слова и плачут о нем издали из Петербурга да из разных редакций, от чего народу не легче.

Нас литература не знает, оттого и не изображала еще нас в своих романах и повестях, не искажала наших слов, наших намерений. Но скоро и нас она узнает, если только не будет продолжать изучать нас из Петербурга.

Оставляя Петербург, я не жалею о нем, а, напротив, горжусь этим, горжусь моею победою над собою. Английские миссионеры современной цивилизации не жалеют даже покидать великолепный Лондон, чтоб идти к кафрам, готтентотам и диким индийцам, и потому успели покорить Англии половину земного шара. Так нам ли жалеть о Петербурге и теряемом нами наслаждении слышать Патти и Лукку? Зато мы услышим Лукерью да Карпа, а это побольше Лукки и Патти.

Мне Караманов писал, что они со Стожаровым уже начали наше дело. А вы что сделали, дорогой мой Дмитрий поволжский (как я привык вас называть)?

Свой адрес я вам сообщу, когда найду мою ниву, на которую я должен лечь навозом. До свидания».

Марина остановилась.

— А что значит, Митя, два «П»? — спросила она.

— Вероятно, *post scriptum*, — отвечал брат.

Марина задумалась.

— Гм... все по-новому, — сказала она, — по-русски... Уж какие!..

В *post scriptum* было сказано: «А у нас там, говорят, есть уже и женщины-люди... Давно пора!»

Глаза Марины сверкнули.

— Женщины-люди!.. Как это мило... Точно мы не люди, а звери, — сказала она и отвернулась. Потом, обратившись к Бармитиновой, она с ласковой улыбкой прибавила: — Это вот она — люди... Я теперь тебя, Варя, буду всегда называть «люди».

И она бросилась целовать Бармитинову. Дмитрий молчал и поглядывал то на Бармитинову, то в окно на снежную Волгу.

— Уж вижу, что затеваете что-то, — сказала вдруг Марина, подходя к брату, и, положив руки к нему на плечи, ласково глядела в его зеленые задумчивые глаза. — Смотри, Митюк, я маме скажу.

— Что ж, говори, это ничему не поможет, — отвечал Дмитрий задумчиво. — Я уверен, напротив, что и ты скоро сделаешься человеком.

— То-есть «людьми», как пишет твой друг? — сказала Марина шутливо. — Что ж, ты думаешь, я пойду в артель или в коммуну?

— Нет, это старо, да и не ведет ни к чему... Коммуна и артель — это переходные формы общественного строя, как убежище для бедняка или как биржа для поденщика. Мы уже пережили форму коммуны и артели: мы хотим идти дальше.

— Куда же мне идти, Митя? — спросила Марина с любопытством.

— Туда, куда я пойду, — отвечал брат.

— Так и мне быть навозом? — сказала она, смеясь.

— Да, навозом.

Почти все это время Бармитинова молчала. Она внимательно слушала чтение письма и глядела на Марину. Только при некоторых фразах письма брови ее несколько сдвигались, а когда письмо упомянуло о Караманове и Стожарове, руки ее, положенные на колени, крепко сжали одна другую. Губы ее едва заметно дрогнули, когда Марина прочитала: «А у вас, говорят, есть уже и женщины-люди».

— Да, Мариночка, слово «навоз» некрасивое слово, но рано ли, поздно ли этот навоз сделает свое дело, — сказала она при последних словах Дмитрия. — Карамановых и Стожаровых еще очень мало, но уже хорошо то, что они есть. Надо только, чтоб им помогала женщина, а, к несчастью, женщина до сих пор только портила и разрушала то, что создавал мужчина.

— Ах, Варя! Да я согласна с тобой, только что ж мне делать, чтобы быть человеком или навозом, как вот Митя называет? — спросила она с каким-то детским отчаянием в голосе.

— Не быть только похожей на прежних женщин и... работать на других, — отвечала Бармитинова.

Между тем та и другая не могли не заметить, что Дмитрий приходил все в большее и большее волнение. Он брал письмо, пробегал его глазами и по несколько раз бормотал отдельные фразы.

— Рахметовы устарели... Да и где он? Что он сделал для России?.. Отдал свои деньги на какое-то заграничное издание, точно не мог найти им лучшего места... Отдал бы своим мужикам, а то нет, увез за границу... Помещик!.. Где же люди?.. Потугин? Э! Какой он человек! Поклоняется своей Ирине да западной цивилизации, а палец о палец не ударит... Таких нам не надо... Не надо и Райских: они весь век гоняются за юбками... Таких бы молодцов в рабочий дом сажать вместе с Маркушками Волоховыми... Разве Оглобин? Да он сам сознается, что ни к чему не способен... Нет, это лучший человек... А ведь как посмотришь кругом, тошно станет: все пошли в чиновники — гласные, мировые судьи, литераторы,

ученые, учителя... все это чиновники, а не люди... Один Оглобин...

Он остановился, заметив, что и Марина, и Бармитинова смотрят на него с удивлением.

— Ты что бормочешь, Митя? — спросила Марина, боясь возбужденности брата.

— Не я бормочу, а бормочет русская литература, — отвечал он порывисто, останавливая на сестре свои зеленые глаза. — Она говорит бессвязными намеками, полуфразами да экивоками. Ее обязанность — учить русскую молодежь, сказать ей, что она должна делать, указать ей ее дорогу. А наша литература только рисует негодных людей да обличает... Мы сами знаем, что у нас много гадкого, а для разоблачения этого гадкого есть особая печать — газета. А наша беллетристика должна учить нас — не нас, положим, потому что мы сами кое-что знаем, а тех, которые ощупью ищут своей дороги — и не находят ее. Художество художеством, а дело делом...

— Ваши слова отзываются стариной, нигилизмом, — заметила Бармитинова.

— Не стариной, не нигилизмом... Нигилизм, как и романтизм, как и крепостничество в России заносятся уже архивной пылью, — горячо возразил на это замечание Димитрий, приближаясь к Бармитиновой. — Я говорю вот о чем: молодость любит подражать, и без подражания молодость немыслима... Хоть она и бунтует иногда против официального профессора и учителя, против начальства и опеки, но у нее всегда есть тайный предмет культа, тайный профессор, тайный нравственный начальник, которому она слепо верит и которому подражает... В свое время Печорин был срисован с живого лица, если не с одного, то в нем были представлены черты ходячих личностей. После Печорина студенты и офицеры стали подражать Печорину — это факты, грустные, правда, но факты... Лопухов, Кирсанов и Рахметов были тоже рефракторами если не живых лиц, то ходячих идей шестидесятых годов — и Лопуховы, Кирсановы и Рахметовы нашли подражателей, как нашла подражательниц и Вера Павловна... Я эти лица знаю, видел их, жил с ними...

— Одну из них вы теперь видите, — вставила свое слово Бармитинова.

— Кто это, Варя? — с любопытством спросила Марина.

— Я, — отвечала та.

— И я немножко, Варя... — И Марина закрыла руками лицо, которое вспыхнуло.

— Да? — спросил Димитрий, обращаясь к Бармитиновой.

— Да... Но это было давно, в дни моей юности... Теперь я переросла Веру Павловну.

— А Базарову разве не подражали? — продолжал Дмитрий. — Разве не продолжают подражать втайне?

— Гимназисты только да кадеты, — заметила Бармитинова.

— А это разве мало! — возразил горячо Дмитрий. — А кому теперь они подражают и кому им подражать? Ведь прежние образцы устарели для них... Мы все-таки подвинулись вперед, выросли. Впрочем, нам не нужно образцов, мы уже выросли из старого платья Рахметовых, Базаровых и tutti quanti. А они-то, подрастающие, нуждаются в образцах, как институтки в обожателях. Им нужна путеводная звезда, которой бы они поклонялись втайне, потому что молодость более всего любит поклоняться тайным кумирам, хотя и сбрасывает с пьедестала явных, всеми признанных... Молодости нужно вздыхать по ком-нибудь, по Белинском ли, по Добролюбове или по Писареве. Но этих уже нет, и она, растительная, вегетальная молодость ищет их в литературе, если не находит в жизни. А какие образцы дает им современная литература! Где в ней идеалы?

Он остановился, как будто припоминая что-то. Руки его, продолжавшие держать письмо, дрожали.

— Не в романах же Гончарова, в самом деле, не у Авдеева же и не у Тургенева? Что ж, размазня Камышлинцев разве может быть идеалом? Да всех их возьмите: все это узенькие лица с узеньким мировоззрением, людишки, надевающие сапоги не по ногам и шляпу не по голове... У любого нынешнего гимназиста из Ларинской гимназии и задатки прочнее, и шире мировоззрение, и цели глубже, действия устойчивее... Ведь не все же литература должна выводить на свет Божий уродов, капитанов Копейкиных да сластолюбивых Райских; мы и без того знаем, что у нас в России есть уроды, и знаем, какие это уроды и где они водятся. Не все же держаться за «Шинель» Гоголя да хохотать над идиотами, выказывать заеденных средою, клеймить раскольников: на это есть полиция, мировые судьи да острог. Зачем же из литературы острог-то делать да камеру мирового судьи? Для такой литературы годятся и чиновники да полицейские служители. А вы дайте нам других людей.

Дмитрий приступал со своим требованием к Бармитиновой, как будто от нее зависело дать этих людей.

— Да где ж Варя возьмет их, Митя? — заметила Марина, смеясь.

— А если их нет? — задумчиво спросила Бармитинова.

— Нет, есть... Я вам укажу на них... Только они не рисуются, не бросаются в глаза... Одного из них вы знаете...

Бармитинова скользнула каким-то холодным взглядом по лицу Дмитрия и встала.

— Литература — не выдумщица, — сказала она спокойно, — она должна передавать вещи и людей как они есть... Зачем нам идеалы? Нам нужны живые люди, не герои в мантиях, а простые люди в пальто и сапогах.

— Э! Старая песня, которую пел еще покойный «Современник»... Это давно было... А между тем сам же Чернышевский рисовал «новых людей» и даже более — «людей будущего...» У нас есть живые идеалы, и они не в мантиях ходят и не в сандалиях, а просто в сапогах, ходят между нами и задевают нас своим плечом, на мозоль нам наступают.

— А если есть, то литература дурно делает, что не показывает их нам, — заметила Бармитинова,

— Дурно! В том-то и горе ее, что лучше-то она не умеет! — продолжал Дмитрий. — Все романисты — художники, а художники всегда были... плохими мыслителями и мало учились... Им удастся всегда только схватить наружность человека, его костюм, его привычки, а что думает этот человек, особенно если он видит дальше и глубже художника, да думает о том, о чем художнику и во сне не снилось, — это уже не по плечу художникам, и этого они не передадут. Да настоящих-то людей художники и не поймут, это не про них писано, это выше их разумения... Да что и толковать! Настоящие-то люди и говорить не станут с художниками: как молодежь удаляется от стариков, так и настоящий человек не легко выскажется перед тем, кто не его поля ягода, в ком он подозревает рутинную заскорузлость.

Дмитрий волновался все более и более. Болезненная возбужденность проявлялась в каждом слове, в каждом движении. Марина начинала с беспокойством наблюдать за ним.

— Кто же должен изображать таких людей? — спросила Бармитинова.

— Тот, кто их знает, перед кем они не скрываются... Только мыслитель может нам дать идеал человека и деятеля.

— Так не Стюарту ли Миллю прикажете быть романистом, — возразила Бармитинова.

— Отчего ж и не так... Порядочные люди скорей бы пошли за идеалами Милля, чем за идеалами Дюма.

— В таком случае, по вашему мнению, всем великим философам, историкам, натуралистам и экономистам следовало бы стать романистами?

— Конечно, лучше им быть романистами, чем такими, которые ничему не учились... Да вот вам пример: Чернышевский был далеко не художник... Филология, философия, политическая экономия, критика, общественные вопросы — вот над чем он работал, вы это знаете. А между тем его единственный роман, который он успел написать, возбуждая бурю негодования художников, потащил за собою все тогдашнее молодое поколение, потому что в этом романе были не только «новые люди», как он их называл, но и «люди будущего», идеалы... Только хороший критик и ученый может быть хорошим романистом. Пиши романы Белинский, Добролюбов, Писарев, пусть будут романистами все светила науки...

— Ах, Митя, какой ты! — возразила Марина, взяв его за руки. — Да не разорваться же светилам науки: пиши и романы, и ученые статьи... Да не увлекайся ты, Митенька! Вон у тебя какие горячие руки... А какая голова-то горячая. — Она приложила свою руку к его голове. — У тебя жар... Ты напугаешь маму.

Бармитинова поняла, что в таком возбужденном состоянии разговор может быть опасен для Дмитрия. По его словам она видела, что он начинает забываться, что высказываемые им суждения слишком крайние для здорового человека.

— Жар! Жар! — говорил он как бы в забытьи. — Пусть лучше горит мозг, чем замерзает, как он замерз у большинства... Я отправляюсь к ним, я хочу с ними работать.

— С кем, Митя? — спросила Марина.

— С Карамановым, со Стожаровым...

— Нет, я не пушу тебя...

Он рванулся, как если бы его в самом деле удерживали.

— Куда ты, Митя?

— Мне душно здесь, жарко... Я хочу освежиться.

— Будьте осторожнее, — говорила Бармитинова, подходя к нему, — вы простудитесь.

— Я слышу шум в голове... Это... птица шумит своими крыльями... Это она, я слышу, я скоро... увижу ее, — говорил он, глядя кругом какими-то растерянными глазами.

И Марина и Бармитинова с ужасом глядели на него. Ни та ни другая не успели опомниться, как он исчез из комнаты.

Где он был, что делал — никто этого не мог узнать. Только он пропадал несколько часов. Перепуганная Марина просила отца послать разыскивать его, но поиски остались тщетными. Думали, что он ушел в степь или перебрался за Волгу. Боялись даже, что в болезненном припадке он бросился в прорубь или ушел искать Караманова и Стожарова.

Но поздно вечером он воротился и на все вопросы отвечал как-то странно, загадочно. В эту же ночь он слег и через несколько недель был уже в том безнадежном состоянии, в котором мы его видели в полуосвещенной комнате.

XI

Наконец прошла и зима, в продолжение которой на Тарлыке, в бедной избушке, занесенной снегом, не смели даже упоминать имени пропавшего без вести Матвея Таволгина, с которым мы в последний раз встретились на пароходе, когда он вытаскивал из Волги утонувшего Кузю Ногина, «земского ученика».

В конце великого поста в тарлыцкую избушку забрела Макрида-странница, которая, по ее собственному выражению, «трепала грехи свои, аки посконь, по святой и грешной земле, ступаячи в след ступни от ноги праведника и грешника», то есть таскалась по городам, селам и скитам раскольниковым, «лебезила перед светильниками горящими и огарками дымящими веры правой», то есть перед милостивцами духовными и мирянами, и под конец зимы опять пробралась в Поволжье, на Иргизы и на Тарлык.

Только при ней Мавра осмелилась заговорить о своем пропавшем сыне, но получила неутешительные вести.

— Не видала ли ты, матушка, на вольном свету моего Мотеньку, не проносил ли полем, лесом, дорогою широкою ворон костей его белых? — спрашивала она Макриду.

— Ворон утресь принес его грешную кость под окно, так я собаке отдала, — проворчала старуха, бабушка, которая начинала заговариваться от старости.

— Ох, матушка! Зачем ты мне не отдала его косточки? — говорила мать, тяжело вздыхая.

А Макрида, звеня своим железным поясом, говорила:

— Видала я, Маврынька-матушка, его тело белое, грешное, а костей его у ворона в черном клюве не видывала.

— Где же ты видала его, свята душа? — спрашивала Мавра.

— Видала я, как он ступал во след ступни от грешной ноги, — отвечала Макрида многозначительно.

— А жив ли он, горемычный мой? — говорила мать.

— Жив был... Тело его яствиями и питиями проклажало, а душа его черная, аки галица, в костях у коршуна трепыхалась.

— Как я голубя разорвала, так его душу коршун когтями рвет, — прибавила как бы про себя слепая старуха.

— Видала я его, мать моя, Мотьку-то, в видении страшном... Едем мы это на пароходе, на корабле бесовском: бесы-то черные по палубе, аки пассажиры, похаживают, людей блазнят, а ангелы-то светлые, аки голуби распуганные, за пароходом летят, сесть на него не смеют, потому бесы на палубе. И хожу я промеж бесами, аки овца промеж волками, и бесы меня не трогают... И вижу я, мать моя, младенец в Волгу упал, словно камень ко дну пошел: Ногина-то старика внучек в воду упал. И увидали это ангелы, что за пароходом-то летели, как увидали, жаль стало души младенческой, и замахали они крыльшками своими белыми, и спустились к Волге — душу человеческую, значит, спасать. Бесы-то, что на палубе ходили, и взъелись на это: рады они были, что младенец в воду упал. Откуда ни возьмись, мать моя, Мотька твой промеж бесами похаживает как свой человек да на Волгу поглядывает... Бесы его возьми да и спихни в Волгу... бултых!..

Из груди матери вырвался крик ужаса. Она как безумная схватила Макриду за руку и бессмысленно глядела на нее.

— Утонул, — пробормотала слепая старуха, — и костей нет.

— Говори!.. Утонул? Утонул? — кричала Мавра, не выпуская из рук своих руку Макриды.

— Раки глаза выели, раки кости гложут, клешнями сердце рвут, как я голубя разорвала, — бормотала слепая.

— Говори же... Я умру! — кричала Мавра.

Макрида освободила свою жирную руку из рук Мавры и, закатывая свои заплывшие жиром глазки, вздохнула из глубины перепоясанного железным обручем желудка.

— Вода его не приняла, а может, Бог услышал мою грешную молитву, — сказала Макрида. — Как бесы-то спихнули твоего Мотьку в воду, стали плескать радостно руками, восклицая гласом велиим: «Нам упал! Нам упал!» — возвела я духовные очи мои горе и помолилась о спасении Мотьки. И бысть чудо: откуда ни возьмись барин какой-то подбежал ко мне грешной, снял шапку, а голова-то у него словно точеная, и говорит мне: «Помолись обо мне, раба божия» — и с тем словом бултых в воду. Я, мать моя, помолилась, а бесы-то, глядя на меня, зубами скрежещут, а взять-то меня не смеют, потому вериги на мне святые. Вот ангелы-то спустились к воде, чтоб спасти души христианские, а бесы-то за ними. И началась над самой-то водой война промеж бесов и ангелов:

от бесов, как от собак, клочья шерсти летят, а от ангелов белые голубиные перышки. Только ангелы, мать моя, победили, и бесы, поджав хвосты, аки псы смердящие, удалились... Тут приспел и Гриднихи сын, Василий, и велел лодку спустить на воду... Так в лодку-то и вытащили из воды младенца и барина с точеной-то головой...

— А Мотю? — спросила мать, чуть дыша.

— И Мотьку вытащили, — отвечала Макрида.

— Куды ж после девался Мотя? — спрашивала Мавра.

— С Гридневым уехал да с точеной головой... А на меня и попустишь един бес, за то, что за души-то христианские молилась. Я тебе, говорит, глаза исткну!.. Я заградила ему уста — ну, и не исткнул.

Вот все, что могли узнать о Матвее на Тарлыке.

Молодой Гриднев привез его с собою в Петербург, устроил его на квартире Серпороева и поручил его одному учителю, своему бывшему товарищу, с тем, чтобы Матвея подготовить к приемному экзамену в университет. Сам же Гриднев уехал за границу для выполнения своих коммерческих планов, о которых он говорил на пароходе со Стожаровым.

Но вот вскрылась и Волга. Варгунинская пристань очистилась от льда, и зимовавшие там пароходы опять зашипели, опять стали раздаваться свистки...

Свистки эти болезненно резали одно сердце, сердце Бармитиновой. Она чего-то ждала, и это ожидание почему-то связывалось с приходом парохода.

А вот почему была такая связь между ее сердцем и приходом в Варгуны парохода. В продолжение зимы она получала частые мелко исписанные письма. Над этими письмами и над ответами на них она просиживала нередко длинные зимние вечера, и старая Кузьминишна часто заставляла ее в слезах, которые капали на мелко исписанные листки бумаги. Ответы на эти письма имели на пакетах адрес: на Кологривскую станцию такой-то губернии и уезда, для передачи в деревню Оболонье, Григорию Борисовичу Стожарову. Стожаров с каждой почтой сообщал своей Вареньке о положении его дел со времени приезда на родину. Он не скрывал от нее тех трудностей, которые он встретил, когда его социальные доктрины из теоретических должны были сделаться прикладными, когда выработанные им убеждения должны были столкнуться с практической жизнью и с тяжелою артиллерией рутины, предвзвешенных, исторически установившихся форм, которые превратились в цепи, и с еще более тяжелою артиллерией человеческой глупости. Он писал, что пока цели, для которых

он работал почти со школьной скамьи, для которых отворачивался, как от страшного призрака, от своего личного счастья, не будут достигнуты, он не протянет рук к этому счастью, потому что оно на всю жизнь будет отравлено сознанием бессилия его ума, неприменимости теорий, для него казавшихся вескими, так как он добыл их годами тяжелой работы, «купил на вес своей собственной крови». В последних его письмах было много недосказанного, хотя он и прибавлял, что его «великий опыт» уже начинается, что с весной, вероятно, дело его обозначится окончательно, и тогда «Сизиф вкатит на гору тот золотоносный камень, который раздавил уже столько гигантов, а там — Волга, пароход и... самая лучшая учительница самого лучшего земского училища...»

Волга вскрылась ото льда. Уже не первый раз отзывается в сердце Вареньки пароходный свисток; но тот, кого она ждала, не приходил: верно, Сизиф еще не вкатил на гору своего непосильного камня, да и вкатит ли когда-нибудь? Не раздавит ли его этот камень, как он раздавил уже многих? Варенька нередко проходит около пристани, вглядывается в приезжающих пассажиров, но не видит ни знакомой фигуры широкоплечего Сизифа, ни его точеной головы.

Вот и сегодня она вышла с Мариной погулять по своей любимой береговой ложбине, которая еще так недавно была занесена снегом и на которой еще так недавно торчали из-под снега оголенными тычинки кустарника. Из земли уже начинает выползать первая зелень и тянуться к солнцу, как будто этот жалкий пырей и этот тонкостебельный подснежник могут дотянуться до солнца. И солнце, и небо, и все звуки оживающей природы — все это возбуждало ожидание чего-то хорошего, светлого, радостного, во всем этом сказывались зачатки новой жизни. В птичьем крике, в нестройном, разноголосом и каком-то задорном кваканье лягушек слышалось так много мелодии, что самый строгий музыкальный слух не заметил бы в этих звуках природы диссонанса, недостатка художественного выражения жизни.

Варенька и Марина сидят у корня того дерева, под которым мы их видели в прошлом году, хотя ветви этого дерева еще не успели покрыться зеленью. Лицо Вареньки кажется еще бледнее, взгляд еще сосредоточеннее, чем это было в прошлом году. Остриженная коса успела уже подрасти, но не завитая и не подобранная под какую-либо сеть или прозрачное покрывало, она падает на плечи и шевелится при малейшем дуновении ветерка. Лицо Марины, в котором еще так недавно было много детского, как бы возмужало к весне, очертилось

как-то отчетливее, строже, а взгляд стал таким кротким и таким глубоким, как будто маленькая Мариночка и не была никогда ребенком.

В стороне от них, ближе к Волге, на сером гладком пригорке сидит Дмитрий. Лицо его носит следы недавней тяжелой болезни. По временам он к чему-то прислушивается и встряхивает головой, как бы желая согнать со лба докучливую муху или вытряхнуть из головы такую же, как муха, докучливую мысль. Иногда он оглядывается на сидящих под деревом девушек, и тогда взгляд его принимает выражение нежное, но такое грустное, какое бывает у людей, когда они прощаются с чем-либо близким, дорогим, и прощаются надолго.

— Я много думала об этом, Варя, много плакала даже, а все не вижу никакого выхода, — говорит Марина, и в глубоком взгляде ее действительно выражается раздумье, и раздумье скорбное, чего за ней прежде не замечала Бармитинова.

— Да, выхода нет... Одна выход... замуж, — отвечает эта последняя, и думает о чем-то другом.

— И только?

— И только... Полюбишь кого-нибудь, выйдешь замуж... А там любовь мужа, заботы о нем и о детях...

— А дальше, Варя?

— Дальше нет, это все.

Марина молчит. Мысль ее не может помириться с тем, что ей предлагает жизнь, и она снова думает, думает... Недаром молодое личико ее возмужало, очертилось резче и строже...

— И у мамы все было — это мы... Всю жизнь свою она вложила в нас, в заботы о нас, о нашем воспитании. А что вышло? Вон Митя... ты сама все знаешь... Я тоже... не похвалюсь счастьем... И вот все заботы мамы ни при чем — ей же горе... А может быть, без ее забот о нас и он был бы не то, что теперь, и не то, что я, — говорит опять Марина.

— Да, может быть, и лучше было бы, — отвечает Бармитинова и свою думает думу.

— В чем же выразилась жизнь самой мамы, где результаты этой жизни? Что, собственно, сделала она в свою жизнь и счастлива ли, утешена ли тем, что сделала? Ведь нет, Варя?

— Кажется, что нет.

— И вот потому-то мне жаль ее...

— Но ведь это участь всякой женщины, — заметила Бармитинова, продолжая думать о чем-то своем.

— Ах, Варя, милая! Эта-то участь и мучит меня, о ней-то я и думаю... Говорят, призвание женщины — любовь и дети.

Как это пошло и узко, как оскорбительно это! Ведь любовь и дети есть и у мужчины, но ему этого мало — и он прав. Любовь и дети не поглощают его всего, как крота поглощает рытье под землею. У него есть дело, есть труд... Вдумайся ты, милая, ради Бога, во всякую женскую жизнь...

— Вдумывалась.

— И что ж?

— Сначала плохонькое приобретение плохоньких познаний где-нибудь в институте или даром в гимназии, чтоб потом тотчас же забыть этот нищенский запас плохоньких знаний, так как в жизни эти знания окажутся неприменимыми. Бренчание на рояле, чтоб потом забыть и это бренчание. Потом выезды, со специальной целью понравиться, найти себе содержателя на всю жизнь.

— Как это оскорбительно, Варя!

— Да, оскорбительно... Но оскорбительнее всего то, что мать тем более считает себя неоскорбленную, необиженную за честь своей дочери, а тем более почтенную, тем более счастливою, чем более мужчин возбуждаются при виде ее дочери, чем более таких, которые желали бы иметь ее дочь... Понимаешь ты всю грубость этих слов и понятий, Мариночка?

— Понимаю, Варя: мамаша меня предостерегала намеками, и я поняла все.

— Таким образом, — продолжала Бармитинова, — когда девушка нашла себе содержателя, ее берет этот содержатель к себе, вместе с приданым, если есть, а нет — одну ее берет... Пойдут дети и пресловутые заботы о них, которые тоже ни к чему не ведут. Заменяют мать кормилицей, нянькой и гувернанткой, дети и от этого бывают не в проигрыше... А там начинается учение, учителя — и опять-таки не мать. Где же мать? Что она делает? Внушает добрую нравственность детям? Э! Да это делает и воробей, научая своих детей воровать чужие зерна.

— Бедная, бедная мамаша! Она все-таки не сделала нас ни умнее, ни счастливее, — заметила грустно Марина. — Вон хоть бы Митя...

А Митя в это время, как бы сговорившись с сестрой, думал о том, как бесплодно прошло его детство и первая молодость, и как он только к тридцати годам додумался до того, о чем должен был бы знать с колыбели, но чего не понимали его родители, а потому не научили и его понимать, и как, вследствие этого, почти вся жизнь его была разбита.

— Да, скверно становится, когда подумаешь о нашей женской доле, — продолжала Бармитинова. — Возьми какую угодно женщину и увидишь, что жизнь ее или целиком укло-

пана бесплодно, или наполовину, а непременно ухлопана. Пока молода, она вся живет в том, чтоб ее любили, и ничего больше не делает. Все-таки тут ее жизнь хоть чем-нибудь наполнена бывает, хоть бесполезно для человечества, но все же наполнена. Перешло за двадцать лет, и женщина уже начинает меньше нравиться. Она это видит, сознает, что в жизни ее уже есть прореха, пустота, которую нечем наполнить, потому что занятий она никаких не имеет, кроме хозяйства и детей. Но хозяйство скучно, в него нельзя положить все богатство души и ума; дети тоже не всецело поглощают женщину, как бы она ни любила их. И вот женщина ищет «выездов» — это слово будет когда-нибудь таким же историческим термином как «барщина», «бурлачество», «корчемство», «дезертирство» и прочее, — одним словом, женщина ищет чем-нибудь пополнить замечаемую в себе пустоту, недостаток дела. Муж идет на фабрику, в суд, в парламент, муж работает, а жена «выезжает», то есть развозит и собирает сплетни, толкует о шляпках и о грешках приятельниц. За этими занятиями женщина стареет, окисляется, начинает на все брюзжать и охать. Лучшие из них ищут занятий и не находят, потому что ни к чему не подготовлены, ничего основательно не знают, не хотят посвятить себя труду, одним словом, не хотят и не умеют сделаться человеком.

— Ах, Варя, Варя! Приходится сознаться, что и тут прав этот... как его... что Мите-то писал... Караманов, кажется... Кто он такой, Варя? — спросила Марина.

— Я его не знаю. Но, кажется, он друг твоего брата и Стожарова, — отвечала Бармитинова в каком-то раздумье. — Стожаров писал мне о нем... Это какое-то чудо, какая-то титаническая личность.

Марина задумалась. В последнее время она вообще сильно изменилась, особенно под влиянием убеждений брата, которые чем-то разъедающим входили в ее молодую восприимчивую головку и под обаянием которых разбивались ее прежние верования. Полубезумные речи брата, в которых проглядывала большею частью горькая, по мнению Марины, правда, неотразимо действовали на девушку, которая жаждала кипучей, деятельной жизни и ничего не находила вокруг себя.

— Митя! Митя! — закричала она брату, который продолжал сидеть на пригорке и поглядывал на Волгу.

— Зачем он тебе? — спросила Бармитинова.

— Я хочу его спросить о Караманове.

Дмитрий, услышав голос сестры, обернулся было к ней, но потом опять стал смотреть на Волгу. Сестра снова позвала его. В голосе ее слышались раздражение и слезы.

Дмитрий лениво подошел к девушкам. Марина взяла его за руки и глядела ему в глаза своими большими, блестящими глазами.

— Митя, брат! — говорила она, с трудом сдерживая прилив какого-то страстного чувства, которое пробивалось наружу и в огне ее светлых глаз, и в дрожании губ. — Ты всегда говорил мне, что есть какая-то другая жизнь для женщины... Я не могу дольше прозябать здесь, я не хочу быть похожей на остальных женщин, которых вы жалеете и презираете... Я не знаю, что сделаю с собою, если дольше останусь здесь... Митя! Спаси меня...

И девушка, положив голову на плечо брата, горько заплакала.

— Что ты! Что ты, Риночка! — говорил брат, с участием поднимая голову сестры и заглядывая ей в глаза.

— Спаси меня, Митя!.. Я не хочу быть такой, как мамаша, как бабушка... Они несчастные, жалкие... Мы все такие.

Дмитрий улыбнулся и погладил шелковистые сестрины волосы, которые растрепались и падали ей на плечи.

— Чего же ты, хочешь, Рина? — спрашивал он.

— Возьми меня с собой, Митя... Где твой Караманов? Ты ведь к нему отправляешься? Возьми меня, — умоляла она брата, сжимая его руки.

— Ах ты глупенькая, Риночка, — говорил брат, жалостно и с улыбкой качая головою. — Возьми ее!.. Разве ты вещь, что тебя можно взять? Да и куда я тебя возьму? Зачем?.. Вот вы все такие женщины, все привыкли к рабству, к рабским выражениям... Ну что, если б я сказал тебе: «Рина, возьми меня с собою?»

Марина раскрыла свои большие глаза и глядела на брата с удивлением.

— Возьми меня, Рина, с собою, — повторил Дмитрий, продолжая улыбаться.

Глаза Марины блеснули маленькой молнией. Эта молния с лица Дмитрия перенеслась на лицо Бармитиновой, которая продолжала глядеть задумчиво на Волгу.

— Так я сама уйду куда глаза глядят, — сказала она твердо и решительно. — Если она, — Марина поглядела на Бармитинову, — могла это сделать, то и я сделаю... А сломлюсь, пропаду — не буду жалеть о настоящем: лучше сломиться и погибнуть, чем гнить в бездействии.

И Бармитинова и Дмитрий поняли, что это были не фразы, не ребячество: и сердцем и рассудком угадали они, что в сестре заговорило то же чувство, которое брата сделало мучеником его собственных увлечений, — эта страстная отзывчивость на воп-

росы жизни, которые по менее глубоким и менее впечатлительным натурам скользили поверхностно, не заходя глубже кожи.

Марина стояла бледная, точно похудевшая, а глаза ее, недавно плакавшие, были сухи и холодны, как зеленые глаза брата во время его болезненных припадков. Она дышала тяжело, с усилием, точно в груди не доставало воздуха, а руки ее, упавшие с плеч брата, крепко сжимали одна другую.

— Милая! Успокойся, ты вся похолодела, — говорила Бармитинова, приподнимаясь и сясь разжать ее руки.

Дмитрий молча глядел в землю и по временам вздрагивал.

— Успокойся, я прошу тебя, — настаивала Бармитинова.

— Успокойся... А ты успокоилась, когда тот, кого ты любила, отвернулся от тебя... сказал, что ты не стоишь его любви и до тех пор не смеешь думать о счастье, пока не накормишь голодных, пока других не сделаешь счастливыми?.. Успокойся!.. Ты и теперь не успокоилась, я это вижу, — говорила Марина резко и отрывисто.

— Куда же ты пойдешь, милая? — спрашивала Бармитинова, в первый раз со страхом замечая какое-то прежде ею не замечаемое сходство в выражении глаз стоявших перед нею сестры и брата. — Зачем ты уйдешь отсюда?

— Я пойду искать мою Фиваиду... может быть, и найду... Ты же сама говорила мне о современном подвижничестве, о восстании против мертвых... Твои слова, как и слова брата, составили меня, и я не хочу уж возврата к бессмысленному детству...

А брат все молчал и упорно глядел в землю, прислушиваясь к голосу сестры, который казался ему его собственным голосом.

— Прорвалось! — шепнул он. — Теперь не остановить потока старыми плотинами... Прорвалось... не сдержали запруды...

В это самое мгновение на берегу Волги, за крутым яром, раздался отчаянный детский крик, а вслед за ним чей-то старческий голос закричал: «Держи! Держи его, утопится», — и тут же на откосе крутого яра обрисовалась фигура мальчика, который, прыгнув с яра, бросился бежать по берегу Волги и, перепрыгнув через узкое устье ложбины, скрылся за пригорком. На окраине яра, откуда прыгнул мальчик, показалась фигура старика, который с отчаянием протягивал руки по тому направлению, где скрылся беглец, и с ужасом повторял: «Мати Божия! Спаси его... вороти...»

И Бармитинова и Канадеевы с изумлением смотрели на то, что в несколько мгновений произошло на берегу Волги, но не понимали источника тревоги.

— Да это, кажется, старик Ногин, — сказала наконец Бармитинова, пристально глядя в фигуру растерявшегося старика. — Что с ним? Уж опять не наделал ли чего-нибудь этот беспокойный Кузька!

Старик продолжал кричать: «Мати Божия! Вороти его... держи. Держи!» — и бросился с яра в ложбину. Из-за пригорка виднелись только его седые волосы, не прикрытые шапкой, да отчаянно махающие руки.

— Пойдемте к нему... старик нуждается в помощи, — говорила Бармитинова, взяв за руку Марину, которая все еще стояла вся взволнованная и бледная.

Канадеев, перескакивая, как гончая собака, через водомоины и мелкий кустарник, в несколько прыжков очутился около старика. За ним подошла и Бармитинова с Мариной. Старик сидел на земле и плакал. Ему было трудно подняться, потому что, прыгая с обрыва, он ушиб себе ногу.

— Что с вами? Что случилось? — спрашивала испуганная Варенька.

— Кузька... разбойник... пропадет, — говорил старик, утирая слезы.

— Да что он сделал?

— Ах, барышня, барышня! — продолжал старик отчаянно. — Он погубит себя, утопится...

— Да скажите же, пожалуйста, что случилось?

— Да вчера, матушка-барышня, Кузька то мой в самую ночь бежал из дому... Никто не знал, где он... Только ныне утром привели его ко мне добрые люди... поймали ночью на седьмой версте от села... В гимназию, слышь, хочу, — ну, и бежал, никому не сказавши...

Марина вся вспыхнула при этих словах и задвигалась как будто ужаленная.

— А теперь что с ним? — спросила Бармитинова с участием.

— Я его маленько посек... Так стал словно зверенок... Вот и вдругоряд бежал... Говорит, утоплюсь... Помилуй Бог! Долго ль до греха...

Старик растерянно глядел в ту сторону, где скрылся его внучек. Канадеев, не говоря ни слова, бросился по берегу Волги и издала махал кому-то руками.

— Отроду не видывал я таких детей, — говорил старик, с трудом приподнимаясь на ноги. — И что с ним, ума не приложу, словно сухота у него по учению-то этому... все бы учиться ему... Времена ли такие, не ведаю я...

— Ничего... не бойтесь за мальчика, — утешала Бармитинова старика, — из него будет прок.

— Ох, уж и не знаю, матушка... не к добру остер паренек-то... Съест его эта сухота книжная.

А Марина все волновалась: то подходила к старику и слушала его, то всходила на пригорок и смотрела вдаль... «Такой крошка, и столько воли, настойчивости... а потому что мужчина... А мы, женщины, жалкие твари... без воли, без ума», — шептала она почти вслух.

— Ведут! Ведут! — сказала она, и вся побледнела.

Эту бледность на лице Марины вызвала одна тайная мысль, которой она никому не открыла.

Бармитинова поспешила на пригорок и действительно увидела, как у самого берега Волги двигались фигуры. Между ними она узнала Кузю, который, видимо, силился вырваться из рук двух мальчиков, падал на землю, болтал ногами и по временам крестился свободною рукою. Канадеев что-то говорил мальчику, и тот поднимал голову и, по-видимому, успокаивался, но потом опять начинал биться и падать на землю.

— Бедный ребенок! — сказала Бармитинова с грустной улыбкой.

— Это твой ученик, — заметила Марина с какой-то завистью в голосе, и снова какая-то тайная мысль, как облачко, прошла по ее лицу и по глазам, горевшим холодным огнем.

Старик Ногин тоже спешил навстречу своему внуку, прихрамывая и хватаясь за ушибленную ногу: «Ахти, грех какой! Ахти, грех какой! — шептал он и набожно крестился. — Вот до чего дожили...»

Скоро Кузя понял бесполезность своих усилий вырваться и, опустив голову, шел неровными шагами, поддерживаемый двумя мальчиками.

При взгляде на маленького пленника, Бармитинова не могла не рассмеяться. Оказалось, что беглец был арестован злейшими своими врагами — казенными учениками, и одна мысль о том, что его, земского ученика, поймали «казенные», «двухвосткины ученики», увеличивала страдания бедного мальчика. Казенные ученики, которые не знали, что такое почва, для которых троянские войны были важнее «поповой собаки», а отец Ганнибала предпочитался «истории кусочка хлеба» — эти злейшие неприятели Кузи перехватили беглеца и вели теперь к дедушке. Кузя был в ватном нанковом кафтанишке, в сапогах и с маленькой котомочкой за плечами. С этой котомочкой, как странник, он мечтал добраться пешком до губернского города. Дорожную палочку свою он бросил во время бегства.

Наконец он приблизился в сопровождении своих маленьких приставов и Канадеева. Лицо его было красно и покрыто крупными каплями пота. Он смотрел точно захваченный врасплох волчонок, и черные глазенки его не по-детски были злы и необычайно яркие. Исподлобья он украдкой взглядывал то на деда, то на Марину, то на Бармитинову. Когда он взглядывал на последнюю, волчьи глазенки его принимали ласковое выражение.

— Что ты делаешь, разбойник! — начал было дедушка, взяв мальчика за руку, которую тот силился вырвать из рук дедушки.

Но Бармитинова ласково остановила старика.

— Позвольте, не горячитесь, — говорила она тихо старику, — так вы все дело испортите... Дайте я поговорю с ним.

Старик отошел в сторону. Марина напряженно глядела на мальчика, и когда глаза их встречались, то в них на мгновение загоралась искра, по-видимому, взаимного сочувствия. Бармитинова подошла к мальчику и взяла его за руку.

— Ты куда это, милый, собрался? — спросила она ласково.

Кузя молчал, но, взглянув девушке в глаза своими волчьими глазенками и заметив в лице девушки сочувствие, ласково улыбнулся.

— Ты хочешь учиться, милый? — спрашивала девушка.

— Хочу, — отвечал мальчик.

— А разве ты недоволен моим учением? — спросила девушка.

Беглец с удивлением поглядел на нее и потупился. Волчонок превратился в прежнего мальчика.

— Что ж ты молчишь? Недоволен моим учением? — спрашивала Бармитинова.

— Нет, я доволен.

— Зачем же ты убежал?

Мальчик переминался с ноги на ногу и молчал. Канадеев, глядевший на него с видимым сочувствием, заметил как бы про себя: «Я бы его пустил на свободу... Это орленок... пусть выбивается сам...» Орленок взглянул на него и потом на Бармитинову.

— Вы говорили нам... о великих людях... я хочу... — начал было мальчик и замолчал.

Все улыбнулись, а старик Ногин прошептал со вздохом:

— Ох, времена, времена!

— Так ты хочешь быть великим человеком? — спросила Бармитинова, стараясь скрыть улыбку.

На Волге вдруг раздался резкий пароходный свисток. Все невольно вздрогнули и обернулись. Из-за пригорка показался

пароход и быстро прошел мимо ложбины, направляясь к варгунинской пристани.

— Это Караманов за мною приехал, — вдруг произнес Канадеев и, не сказав ни слова, быстро пошел к пристани.

— А он? — спросила Марина, поглядев вопросительно на Бармитинову.

— Не знаю, — отвечала та упавшим голосом.

Обе они, забыв и маленького беглеца, нерешительно стоявшего с котомкой за плечами, и его дедушку, и казенных учеников, быстрыми шагами направились к пристани. Обе девушки находились под влиянием различных, но почти одинаково мучительных впечатлений: и та и другая смутно переживали перелом в жизни, который совершался в них помимо их воли, как совершается нравственное развитие, как совершается перелом тяжелой болезни, перелом, за гранью которого лежит или спасение, или смерть, возрождение к новой жизни или окончательная гибель. В обеих из них просыпалась ненасытная жажда счастья, только в одной — счастья определенного, давно осознанного и рассудком и сердцем, в другой — не определенного, не сознанного рассудком а предчувствуемого и искомого сердцем. Одна искала этого осознанного рассудком счастья, чтобы, так сказать, погрузиться в него и опочить на время после десятилетней гонки за этим счастьем, после мучительной борьбы за свои права на это счастье. Другая искала самой борьбы, думая, что в этой борьбе, в этой гонке за счастьем и заключается само счастье. Но этой борьбы она еще не начинала и потому смотрела на себя как на существо недостойное, презренное, ничего не сделавшее.

— Варя, я не пойду туда, — говорила она, с испугом глядя, как пароход приставал к пристани.

— Куда, милая? — спрашивала Бармитинова.

— К пароходу.

— Отчего же?

— Там он... Караманов, — отвечала она нерешительно.

— Что ж из этого?

— Я боюсь его... Мне будет стыдно... При одном взгляде на меня он подумает: «Это женщина, паразит, это барышня, это не человек»... Ах, Варя милая! Я сама сознаю, что я не человек.

— Будешь человеком.

— Нет, Варя, боюсь этого страшного Караманова... Митя так много говорил мне о нем.

— Полно милая! Какое малодушие... Он ведь не зверь.

— Ах, Варя! Да я-то зверь дикий... Я ни на что не способна.

— Неправда, душа моя. Это покажет время.

— Нет, я бегу отсюда, как бежал Кузя... Ведь ты же сама говорила мне, и Митя часто говорил, что нам, несчастным, можно только бегством спастись из нашей исторической тюрьмы, как он выражался.

Бармитинова ласково потрепала ее по плечу и с грустью заметила, показывая на голову Марины:

— Опасная головка!

— Опасная!.. Ах, Варя моя милая! Не брани меня... Ведь ты же сама говорила, что нам надо бежать от нашего несчастного прошлого, от нашего несчастного общества, от старых порядков и понятий, как первые христиане бежали от языческого прошлого, от старых языческих порядков и верований... Ведь говорила ты это, Варя, там на скамейке, под черемухой, когда дьячки испачкали тебе дегтем ворота, а из Петербурга родные прислали тебе колкое письмо и бритву со шпорами? Говорила?

— Говорила, милая... Но ведь тебе никто не пачкал дегтем ворот и никто не дарил тебе ни бритвы, ни шпор.

Марина только заплакала, но ничего не отвечала. Внутренняя ломка молодого существа зашла слишком далеко, чтоб можно было остановиться на полдороге.

«Да, — подумала Бармитинова, грустно глядя на свою любимицу, — всеильная идея века выхватывает из нашей среды лучшие силы, лучших людей, чтоб на костях этих лучших людей построить мост к острову свободы и человеческого счастья... В основу моста лягут кости и головы лучших людей... А много надо голов, вот таких хорошеньких, как эта, — она взглянула на Марину, — и таких, как та... точеная. — В ее памяти встала точеная голова Стожарова. — До острова далеко, а море людской глупости такое глубокое, не скоро его запрудишь лучшими человеческими головами... А надо прудить его, надо бросать в омут человеческие головы, чтоб хоть другие когда-нибудь добрались по ним до острова... На неприятельскую крепость всегда входят по трупам храбрейших...»

С причалившего парохода выходили на берег два пассажира, которых не могла не заметить Бармитинова. Их встретил Канадеев. То были Стожаров и Караманов.

«Вон они, храбрейшие», — подумала девушка, и сердце ее как бы остановило свою привычную работу...

В великие эпохи обновления отживших идей и застарелых, ложных человеческих верований обновляющее начало как бы носится в воздухе и, помимо коллективной воли всех людских масс, привыкших жить, думать и веровать на основании идей, добытых от поколений предшествовавших, проникает, как самый воздух и свет, чрез все преграды, и за каменные стены крепостей, и в плотно запертую келью отшельника, и в дырявую лачужку бедняка. Против этого носящегося в воздухе обновляющего начала, как против саранчи или эпидемии, ратуют жалкие человеческие массы, всегда живущие и думающие по законам инерции, по привычке, и по привычке любящие даже свои тюрьмы и свои цепи, как их полюбил Бонивар; но война против этого начала всегда оказывается бесполезною и напрасною, и всегда, рано ли, поздно ли, оканчивается для погруженных в отжившие идеи масс тем, чем для австрийцев кончилось столкновение с пруссаками при Садовой и Кенигсгреце. Обновляющее начало всегда побеждает начала отжившие, высохшие от времени, как сохнет от времени человеческий волос и ноготь. Обновляющее начало проникает сначала в лучшие человеческие головы, подобно тому, как лучи восходящего солнца золотят сначала верхушки самых больших деревьев леса, тогда как весь бор еще темен от ночного мрака и ночные звери еще рыщут в темной густой листве бора.

И вот, под влиянием этого обновляющего начала, под лучами этого солнца пробуждаются более чуткие и восприимчивые натуры, «новые люди», и бродят эти новые люди между людьми старыми, как в темном бору, бродят и ищут счастья этим людям, согреть и их тем солнцем, которым они сами согреты, научить их добру, научить полезным знаниям... Бродят эти чуткие, беспокойные натуры, эти Флавии Джойи, Бертольды Шварцы, Гуттенберги, Васко да Гамы, Кабрали, Лоренции Валлы, Макиавелли, Рейхлины, Меланхтоны, Савонаролы, Ульрихи фон Гуттены, Эразмы, Моры, бродят они, как по темному бору, ищут счастья другим, а эти люди бросаются на этих беспокойных, «бессонных» людей и душат их за то, что эти беспокойные люди говорят им: «Бросьте дурные привычки, оставьте ваши вредные верования, разрушьте ваши старые ржавые цепи, учитесь, примите обновляющее начало, которое зовет вас к новой, разумной жизни на новых началах...»

А тут, среди этих «бессонных», беспокойных, «новых» людей появляются еще более беспокойные новые люди и говорят

людям: «Мы разрушим ваш старый несчастный мир и создадим вам мир новый, счастливый». И люди считают их безумцами, дерзкими мечтателями... Один такой безумец бродит по всему лицу земному, стучится и в блестящие дворцы, и в жалкие избушки и всем говорит: «Я дам вам новые миры, я открою вам новые земли, неведомые моря, неведомых людей... Я дам вам еще такую же половину земли, какую вы владеете, на какой вы живете и жили ваши предки»... И над ним смеются, его гоняют и из избушек, и от дворцов, его называют безумцем... А безумец все бродит, все думает свою великую думу... И вот он открывает новый мир... А люди, которым он дал этот новый мир, бросаются на него, мучают его и надевают на него оковы... И великий безумец умирает, прося, чтоб в могилу с ним положили и его оковы... Таковы все великие безумцы, таковы их безумные желания!.. Другой такой безумец сидит в уединенной монастырской келье и все читает, все думает о чем-то... А гадкие люди безобразничают, веселятся, делают преступления, делают других несчастными и сами они несчастны, потому что на ногах их цепи, а на лицах намордники... И говорит им безумец: «Я сниму с вас цепи и намордники, только не верьте той вредной лжи, которую вам говорят вредные люди, бродящие по улицам Вечного города, и из этого города рассеявшиеся по всему лицу земному»... И люди-звери из Вечного города бросаются на этого безумца, но победить его не могут ни силой мышц, ни силой слова: будучи всегда в намордниках, они не научились говорить, а безумец умеет говорить и побеждает их словом... Третий безумец говорит, что земля вертится вокруг солнца, а не солнце ходит по небу, что даже неба нет никакого, но что кажущееся небо просто оптический обман... неба нет!.. Это безумие, безбожие!..

И вот эти беспокойные люди, эти безумцы пошатнули всю Европу: многое старое рухнуло, а для нового настала эпоха возрождения... Преобразились несколько и люди, но только... несколько... Все еще они не нашли счастья, которое им сулят беспокойные, «бессонные» люди: они ищут его не там, где им указывают эти безумцы, да и думают, что пути навечно приросли к их ногам, и лень их стряхнуть с ног, лень шевельнуться, благо спится в путах, можно и танцевать в путах, и детей родить... И думают люди, что лучшего природа и не судила дать им...

А беспокойные люди все не могут успокоиться, уснуть, как спят массы... Всё они быются, всё они ищут человеческого счастья, чтоб дать его людям... Самим им не нужно оно, за-

чем? Они счастливы своим безумием, своею неустанною работою на пользу других... Им бы хотелось добиться, чтобы на земле не было людей ни голодных, ни несчастных, ни обижаемых... И они знают, как этого достигнуть, да только люди не хотят и не умеют понять их, не хотят протянуть руку, чтобы взять свое счастье... Мало того, бедные, жалкие люди нападают на этих безумцев, которые хотят дать миру полное счастье, и вяжут этим безумцам руки, гонят их, ненавидят. А безумцы все-таки не падают духом, все работают для других, распутывают ноги человечеству и говорят: «Бедные жалкие люди! Бедные темные массы! Сделайте только один шаг вперед и вы будете счастливы, вы не будете ни голодать, ни плакать... Уничтожьте только личную собственность, сделайте так, чтобы ничто лично не принадлежало никому, а принадлежало бы всем, как всем принадлежит воздух и свет, и вы будете счастливы... Сделайте же только этот один и последний шаг...»

Но люди не делают этого последнего шага... Они стоят... стоят целые тысячелетия, боясь сделать этот последний шаг, стоят и... плачут, горько плачут, и голодают, и грызут один другого, и убивают один другого, и воруют друг у друга, и работают до чахотки, до идиотизма, до излома костей, и ведут кровавые войны, и плачут, неутешно плачут, а все потому, что не хотят и не умеют сделать этого последнего шага...

Таким безумным, волнующим бредом горела густоволосая растрепавшаяся головка Марины, которая металась в своей постели в ночь того дня, когда Стожаров и Караманов приехали в Варгуны. Ей видится, как страшная черная голова Караманова нервно вздрагивает, когда он говорит эти безумные, волнующие речи, сидя в комнате Мити, а она, Марина, видит в своей комнате, в зеркале, отражение этой страшной головы и слышит те безумные речи... И не спится Марине после этих страшных речей, и мечется она в своей постели, вся в огне, иногда охватываемая холодом и дрожью испуга... А страшная черная голова все говорит, ей кажется, все вздрагивает, а черные стоячие глаза равнодушно смотрят на Митю и как бы приковывают его к стене, как приковывают опасных преступников...

Марина видела Караманова, когда он, сойдя с парохода вместе со Стожаровым, поздоровался с ее братом, а потом Стожаров познакомил его с Бармитиновой. Марина смотрела на них издали, потому что чувствовала себя сильно взволнованною предшествовавшим разговором с Бармитиновой и сценою с пойманным Кузею, и потому не решалась подойти к

приехавшим. Марину страшно поразила наружность Караманова: она не могла выгнать из головы его спокойных, стоячих, светившихся ровным, каким-то холодным светом глаз, над которыми чернелись длинные, прямые и как смоль черные брови; широкое лицо, широкие скулы, весь овал и цвет лица, как и волос, заставляли догадываться, что под смуглой кожей течет не совсем европейская кровь, между тем как очертание лба и всей головы было прекрасно, как будто природа особенно тщательно вырабатывала эту голову. При взгляде на нос Караманова Марину особенно поразила сильная развитость ноздрей, и ей при этом почему-то вспомнилась лошадь с норовом, которая храпит при малейшем к ней прикосновении. Широкие плечи говорили, что на эти плечи можно было взвалить такую тяжесть, которая редкому была по силам.

Марину поразила и костюм Караманова. Серый суконный кафтан, из-за которого виднелась синяя крестьянская рубаша с косым воротом, такие же серые суконные штаны, убранные в высокие голенища грубых сапог, и на голове шляпа с гречушником — все это напоминало какого-нибудь парня владимирца с полотнами, но отнюдь не рисующегося славянофильским костюмом провинциального бульварного паразита. Все лицо его и голая крепкая шея сильно пострадали от загара. Не прикрытые перчатками руки с длинными тонкими пальцами также сильно загорели и загубели.

«И это сын богатого помещика... Странно!.. Так вот они... титаны», — думала Марина, и что-то болезненно отдалось в ее сердце; но это был не страх, не предчувствие опасности, не испуг, не сожаление, а все это вместе, смешанное с каким-то потрясающим изумлением. Сразу же Караманов стал ей неприятен, но в то же время и тянул ее к себе, как тянет нас почти одинаково посмотреть на поражающую красоту и на поражающее безобразие, на счастливую невесту под венцом и на искаженное лицо повешенного.

И густоволосая головка Марины мечется по белой полушке, и треплются тяжелые пряди волос, рассыпавшиеся в беспорядке, потому что жар головы заставил девушку сбросить с себя ночной чепчик; и не спится ей, а перед глазами ее проходят, как в калейдоскопе, раздражающие мозг картины из виденного ею и слышанного, и звучат в самом будто бы мозгу, как в рупоре, какие-то страшные слова и фразы, которые засели под мозгом и мучают, мучают пылающую голову девушки. Ей продолжает слышаться отрывочная беседа, которую ведут между собою ее брат и Караманов, хотя тот и другой давно спят, а не спит одна Марина и слушает свою память, которая ей шепчет в уши:

— Вот и в моей сестре начинают пробиваться наружу эти силы, обрисовывается человеческий образ: из нее выйдет женщина-человек, — говорит брат задумчиво.

— Не думаю, — возражает страшная голова с холодными глазами, — она должна быть глупа и мелка.

— Нет, я ее знаю: она не глупа и не мелка, — возражает, в свою очередь, брат.

— Будет и глупа, и мелка, если теперь не глупа и не мелка, — вколачивает Караманов слова, как гвозди в стену.

— Отчего же?

Страшная голова молчит, и холодные глаза молчат, только смоляные волосы на голове щетинятся, как у зверя, когда его травят.

— Она слишком хороша, чтоб сохранить ум, — говорит страшная черная голова, и холодные глаза становятся еще холоднее.

Марина нетерпеливо поворачивается на подушках и раскидывает руки: ей душно.

— Она не пожалеет красоты для дела, — говорит брат.

«Милый Митя, — думает Марина, — какой добрый!»

— Она не пожалеет красоты, но и красота ее не пожалеет, — говорит черная голова.

— Это старый предрассудок, будто ум съедает красоту и будто от дум она линяет, — тихо говорит брат.

— Такого предрассудка и не было, — снова вколачивает в стену свои жесткие слова Караманов, — не ум съедает красоту, а красота съедает ум.

— Странно, — говорит добрый, милый Митя, — по логике законов природы...

— По логике законов!.. Разве в законах есть логика? — перебивает страшная черная голова.

Добрый Митя тихо смеется; не смеется только черная голова.

— Пишущие законы справляются не с логикой, а с необходимостью, с потребностями народа, места и времени: а где необходимость и потребность, там логика забывается, — говорит черная голова.

Добрый Митя на это замечает:

— По смыслу законов природы, красота и ум должны быть одно и то же, а потому самые красивые люди должны быть и самые умные... Самый красивый апельсин бывает и самый вкусный, потому что красивый и вкусный апельсин и есть настоящий апельсин.

— Это было бы умно, если б не было совсем по-детски, то есть совсем красиво, другими словами — совсем глупо, — говорит черная голова, — самый красивый и вкусный плод никогда не бывает производителем, семенником в ряду менее красивых и вкусных; в нем нет семян, производственного начала, которое в растении то же, что в человеке мозг. Бессеменник огурец и бессеменник бергамот, самые красивые между этого рода плодами, никуда не годятся как производители: они красивы, но глупы, и если б огурцы и бергамоты умели мыслить и говорить, то самых красивых из своих собратьев они назвали бы дураками, идиотами и презирали бы их.

«Урод!» — шепчет Марина, ворочаясь в постели с боку на бок и вспоминая эти слова Караманова.

— Самое красивое дерево то, которое имеет много зелени, у которого много листьев, — продолжает черная голова, отражающаяся в зеркале, — но садовники замечают, что то дерево, которое пошло в листья, в зелень, — то есть красивое дерево, не даст ни цвету, ни плода. Они говорят, что это дерево ни к черту не годится, потому что от него нет никакого толку. Так и между людьми, самые красивые бывают большею частью очень недалеки.

Марина вспоминает эти слова, и краска досады бросается ей в лицо.

— Так по-твоему, только уроды и могут быть умны? — замечает брат с иронией.

«Душка Митя! — думает Марина, вспоминая это возражение. — Значит, писарь нашего станového должен быть гениальнейшим человеком, потому что такого урода свет не производил».

— Нет, — говорит противный Караманов, — я только утверждаю, что красота и ум две взаимно отрицающие одна другую силы и едва ли могут совмещаться в одном человеке без ущерба одна для другой. У кого на первом плане его красота, тот дает мало пищи уму, и ум его чахнет. Вот почему красота съедает ум. Оттого женщина всегда была ниже мужчины, что она больше думала о лице, чем о голове.

И черные глаза блестят холодным светом, и смоляные волосы щетинятся на голове, точно на спине у зверя, когда его травят или когда он бросается на добычу.

— А все-таки моя сестра умненькая девушка, — отстаивает добрый Митя свою Мариночку.

— Будет глупа и пошла... слишком хороша, — огрызается оцетинившийся зверь.

Добрый Митя продолжает защищать свою Мариночку: «Рина может услышать наши слова, она в своей комнате», — говорит он.

— Пусть слушает — это полезно... Я всегда говорю то, что думаю, и ей это скажу, — отвечает Караманов небрежно. — Она и теперь занята своей красотой: все заглядывала в это зеркало, когда была здесь... ну, и выйдет кукла, тряпичница... Куда ей!

При воспоминании об этих словах Марина вспыхивает и даже приподнимается на постели, но опять густоволосая голова ее падает на белые подушки от усталости. Она силится заснуть, забыться, хочет думать о Вареньке, а думает о Караманове и о «последнем шаге», какой должны сделать люди, чтобы быть счастливыми... Засохшие губы шепчут слова этого противного Караманова.

«Зачем же люди не делают этого последнего шага? Зачем они стоят, стоят целые тысячелетия, боясь сделать этот последний шаг, стоят и — бедные, жалкие, глупые! — плачут, горько плачут, и голодают, и грызут один другого, и убивают один другого поодиночке, и убивают массами, ведут кровавые войны, и обманывают друг друга, и работают до чахотки, до идиотизма, до излома костей, и плачут, плачут, неутешно плачут? Зачем же? Неужели затем, что слишком глупы и испорчены историей? Глупы?.. Красивы?.. Зачем они красивы?.. Какой же это последний шаг?.. И неужели он его сделает?..»

И густоволосая голова Марины мечется по белой подушке, и треплются тяжелые пряди волос, рассыпавшиеся в беспорядке, и не спится ей... Какая мучительная ночь!

Бесцеремонный приговор Караманова разбивал точно обухом все дорогие мечты девушки, и она сама начинала сомневаться в своих силах, в своем призвании. Неужели никогда не быть ей женщиной-человеком? Неужели и она должна пойти, как все прочие девушки и женщины, избитой тропой, всю свою жизнь, и свое будущее, и свои мечты уложить в урну, как кладут лобовые и нелобовые номера рекрутов в ящики в рекрутском присутствии, и ждать, чья рука вытащит ее жребий из урны и с лобовым номером поведет ее под венец? К чему же эта проклятая красота, если ее может взять та рука, которая захватит в урне жизни лобовой номер девушки?.. А другие счастливицы будут работать, действовать, как действует Варя, и их ждет слава, они внесутся на страницы истории, не умрут, как умрут все прочие, оставив после себя отрепья лифов и кринолинов.

И вплоть до белого утра не спала бедная девушка. Сон сковал ее глаза и ее память только тогда, когда под окном ее спальни проснулись ласточки и мелким, частым щебетом возвестили, что и им, существам несмыслящим, надо измыслить себе корм, надо поработать над своим гнездышком, поискать и липкой грязью для него и мягкой шерсти для детской постельки.

Но в то время, когда Марина засыпала в своей комнате, в соседней комнате просыпались ее брат и Караманов. Последний привык вставать очень рано, потому что когда он был в наймах у старика Стожарова, то в качестве батрака выходил на работу вместе с крестьянами и оканчивал день одновременно с ними. Пробуждение Караманова заставило проснуться и Канадеева. Караманов сидел на постели и писал что-то в тетрадке, положенной на коленях.

— Что ты так рано встал? — спросил его Канадеев.

— Чтобы успеть больше прожить и продумать, — отвечал Караманов, продолжая писать. — Да хочется и сделать больше, пока мозги и мускулы не одрябли. Ты здешние земли хорошо знаешь? — спросил он.

— А что?

— Я хочу купить здесь имение... собственно, пустопо-
рожный участок земли.

— Отец поручил?

— Нет, отец умер зимой и оставил мне свое имение, родовое... Он бы и не оставил, да родовое... Когда умирал, так, говорят, грозил мне кулаком, а кулак все падал на подушку, только я не видал, потому что в это время рубил дрова у Стожарова.

— А большое имение? — спросил Канадеев.

— Большое... Я ведь один из самых крупных землевладельцев губернии.

— Что ж ты там не прикупишь себе?

— Да я продал все имение... в деньги обратил: на эти деньги и думаю купить себе здесь землю.

— Зачем же там продал, а здесь покупаешь? Каприз?

Караманов перестал писать и обратил блеск своих холодных глаз на Канадеева. Он сидел несколько времени молча, как бы изучая лицо своего товарища.

— Ты еще этого не знаешь, — сказал он медленно. — Помнишь наши толки, там, на Васильевском острове, когда мы еще жили коммуной, или, вернее, играли в коммунизм?

— Помню... То было и хорошее, и тяжелое время... Мы учились расправлять молодые крылья, — сказал Канадеев задумчиво.

— Да, учились, но не полетели... А я хочу полететь, — сказал Караманов и спохватился, что сказал неосторожно.

Канадеев вздрогнул, расширил свои зеленые глаза и стал испуганно оглядываться. Зрачки его глаз тоже расширились неимоверно. Лицо как бы осунулось, но выражало глубокое внимание к каким-то звукам, каких Караманов не слышал. Караманов встал с постели, подошел к Канадееву и сел около него.

— Я хочу попробовать сделать тот последний шаг, который люди боятся и не умеют сделать, чтобы быть счастливыми, — процедил он сквозь зубы.

— Я давно видел, что ты один из тех людей, которые способны на этот шаг, — сказал Канадеев, приходя в себя. — Как же ты это сделаешь?

Караманов еще более придвинулся к Канадееву и положил свою жесткую загорелую руку на худую и белую руку Канадеева, как бы силясь этим вложить свою мысль не только в его мысль, но и в его нервы, во все его тело.

— Мы решились со Стожаровым начать дело обновления общества на новых принципах, — сказал он с расстановкой, как бы опять стараясь гвоздем вбивать свои слова в мозг Канадеева. — Ты, вероятно, находишь, что первые мои слова слишком громки? — вдруг спросил он, заметив, что зеленые глаза Канадеева выразили не то сомнение, не то насмешку.

— Слишком громки, — отвечал тот.

— Они и должны быть громки, — возразил Караманов, как бы внутренне ошестиниваясь и сдавливая, точно клещами, жидкую руку Канадеева. — Там, где словом не прошибешь деревянного черепа, надо вбивать это слово обухом. Там, где слов не слышат, надо кричать.

— Так это на мой счет? — спросил Канадеев с какой-то тихой улыбкой.

— Нет, на счет обновления общества... Надо действительно обновить его, перевоспитать, создать, хоть из земли выкопать, — говорил Караманов с таким жестом, точно он в самом деле из земли людей выкапывал. — Мы уже начали это дело. Стожаров отдал даром все свое имение бывшим своим крестьянам — отдал землю, усадьбу, все заведения. «Вы все это обрабатывали, — говорил он им, — вы и должны этим распоряжаться». Он отдал им свое имение с тем, чтобы они пользовались им на правах общинного владения, на правах абсолютной общинности.

— На коммунистических началах? — как бы переспросил его Канадеев, не поднимая головы.

— Коммунизм! Фурьеризм! — снова оцетинился Караманов. — Не говори ты этих старых, пошлых слов... они истрепались давно, как старая туфля, которую надевали на всякую грязную ногу, и этой туфлей ступали во всякую грязную лужу и били этой туфлей по самым чистым человеческим лицам... Это пугало, которое ставят на огороды, чтоб птица не клевала вишни, но это пугало не мешает людям воровать и вишни, и огурцы, и яблоки.

— Что ж, я не спорю с тобою, — сказал Канадеев как-то покорно, — я сам знаю, что и фурьеризм, и коммунизм отжили свое время; это слишком бабьи, детские понятия, — окончил он с усилием, — не в них счастье человечества.

И тот и другой замолчали. Канадеев не поднимал своей головы, как будто она слишком была тяжела для его исхудалых плеч и как будто не мозг был под этим широким черепом и не думы давили его, а свинец. Голова же Караманова держалась прямо, бодро.

— Что же Стожаров? — спросил Канадеев как бы машинально.

Караманов снова положил свою руку на руку Канадеева.

— Отдав свое имение и свои деньги крестьянам, он сам вошел в их общину таким же членом, как они все, на равных правах. Общинное пользование землей, деньгами и всем имуществом, общинный труд, общие заработки, мирской суд — все общее, мирское, с переделами земли, — говорил Караманов по-прежнему отчетливо, ровно.

— И Стожаров работает? — спросил Канадеев.

— Нынешней весной сам пахал и сеял.

— И крестьяне не дичатся его?

— Несколько дичатся — все смотрят как на барина.

— А избы?

— Пока по-прежнему... А потом будут общинные усадьбы.

— Переделы земли через сколько лет?

— Как покажет время и опыт.

— А общинная касса?

— На правах банка.

— Это экономическая сторона дела, а нравственная?

— Ну, это труднее, — отвечал Караманов как бы с запинкой. — Надо воспитать новое поколение... Тут должна быть доброкачественность молока, которым вскормят это поколение. Вся забота будет состоять в том, чтоб дети этой общины не насосались молока ветхозаветной валаамовой ослицы.

— Ну... и что ж он думает?

— Он рассчитывает на здешнюю учительницу земской школы.

— Это на Бармитинову?

— Да... Он, кажется, любит ее.

— А со старой ослицей что он сделает?

— Она ослепла... Она действует ощупью, по привычке... Ее отведут от молодого поколения.

Канадеев сомнительно покачал головой.

Видно было, что предмет, о котором говорили молодые люди, был темой неоднократных их разговоров в прежнее время. Они, по-видимому, давно условились в терминологии и понимали друг друга. Оттого вопросы и ответы их были так лаконичны.

В это время дверь в их комнату тихонько скрипнула и снова закрылась. В коридоре послышались легкие шаги.

— Что это? — спросил Караманов.

— Это мать, — отвечал Канадеев с неудовольствием, — смотрит, сплю ли я.

— А!.. Это общая привычка матерей и бабушек, подглядывать за детьми и подслушивать... конечно, из любви...

— К детям? — спросил Канадеев, улыбаясь.

— Нет... к искусству, — отвечал Караманов, снова ошестиниваясь.

— Художники... искусство для искусства, — добавил Канадеев с горькой усмешкой.

В это время и солнце, сначала осторожно, как старуха Канадеева, заглянуло в комнату, где беседовали молодые люди, а потом и совсем бесцеремонно забралось в их комнату, но только не в дверь, а через окно, как Маркушка Волохов, и глядело на неумытые лица и непричесанные головы беседующих как бы осведомляясь, поумнело ли за ночь и сделалось ли более счастливым бедное человечество, и как бы считая людские головы, подобно тому, как считает пастух утром свое стадо и осведомляется о тех овцах, которых зарезали за ночь голодные волки. В то же время оно нахально забралось и в комнату спящей Марины, которая забыла опустить на ночь шторы у окон, одинаково равнодушно смотрело и на густоволосую, золотистую головку Марины, и на пушистый хвост серого кота по имени Дарвин, растянувшегося в ногах своей барышни.

Утро было так хорошо, воробьи и ласточки своим чириканьем и неугомонным щебетом о своих житейских птичьих нуждах действовали так раздражительно на молодых людей,

что они не могли более оставаться в комнате, неумытые тихонько вышли из дому и отправились побродить по берегу Волги, благо Волга протекала у самого палисадника дома Канадеевых. На дворе их встретила девчонка Офроська, большая мастерица ловить летучих мышей и большая охотница спать, так что однажды мыши, во время ее сна, съели у нее на ногах новые козловые башмаки. Офроська была на посылах у Марины, и на ее обязанности лежал уход за котом Дарвином и за коровой Забавой Путятишной. В окно за уходившими молодыми людьми следило недреманное око матери Канадеева.

— Так ты не останешься в обществе Стожарова? — спросил Канадеев, когда они подошли к береговому уступу.

— Нет. Я предвижу и предсказывал ему большие трудности в исполнении задуманного им плана: он хочет переделать старый крестьянский мир в новую общину. Это значит заставить вербу родить груши, заставить расти старое дерево не так, как оно само росло. Крестьянский мир давно сложился на известных началах. Он носит в себе историческую порчу, он глубоко деморализован теми понятиями, в каких его воспитала история, припахивающая татарским басмачеством. Мы об этом долго спорили со Стожаровым.

— И что ж? — спросил Канадеев.

— Он остался при своем, а я при своем.

— Так вы с ним разошлись совсем?

— Да, разошлись, но только затем, чтоб произвести отдельные, самостоятельные опыты над созданием новых гражданских общин. Он хочет перевоспитать старую крестьянскую общину, я хочу создать новую. Вот почему я ищу пустыню, никем не заселенную, куплю эту пустыню и заселю ее. Здесь в заволжских степях, по соседству с Азией, всего удобнее будет осуществить мою заветную мысль: сделать тот великий последний шаг.

Канадеев задумался. Слова Караманова все еще не могли убедить его в том, что то, что задумала эта черная упрямая голова, сбудется.

— Ты точно Брейгам-Юнг, — сказал он с улыбкой, — как тот на рубеже нового образованного мира, среди диких индейских племен, основал царство мормонов, так и ты хочешь создать свою новую общину на рубеже Европы и Азии. Твои попытки отдают мормонством.

— Что мормонство? — возразил Караманов, махнув рукой. — В основе его лежит та же нравственная чепуха, как и в старых человеческих обществах; эти первосвященники их, эти святые мужи, эти храмы, эти дикие верования — все это

та же средневековая старина с гнилою подкладкою, тот же капуцинский плащ, сотканный из гнилой шерсти и сшитый гнилою драгвою. Я не того хочу и не то создам...

Они сошли к самой Волге и шли по берегу. По краю береговой крутизны прошмыгнула Офроська и скрылась: старая барыня командировала ее понаблюдать издали, что делают молодые господа. Око матери и женщины не дремало...

— Как же ты думаешь начать свое дело? — спросил Канадеев, не отводя глаз от Волги, которая бессмысленно катила свои воды... Куда?.. Она и сама этого не знала...

«И мы не так ли, как эта бессмысленная стихия, мчимся куда-то по силе инерции, по законам нравственного тяготения?» — подумал Канадеев.

По краю крутизны опять шмыгнула Офроська.

— Я куплю здесь свободные земли и заселю их охотниками, — говорил Караманов, — земли свои я отдам даром моим колонистам с условием, чтобы они разорвали всякую связь со старыми крестьянскими порядками... Новую общину легче устроить, чем переделать старую, — и в этом мы не сходимся со Стожаровым.

— На каких же началах ты устроишь свою общину?

— На простых, чтоб у нас не было ни бедных ни богатых, ни голодных ни объедающих.

— А собственность?

— У нас будет собственность... Мы не применим к делу забавной пословицы Прудона, что «собственность есть воровство». Для этой пословицы уж отошла пора, она устарела, и нашему поколению Прудон не указ... Если собственность — воровство, то ум — насилие, умный всегда сильнее дурака, и забудет его везде — тут равенство невозможно... У нас будет другое правило. «Глупость — воровство, лень — воровство, невежество — хуже воровства» — вот наше правило.

— Значит, ты признаешь принцип вознаграждения, принцип платы, принцип заработка, а следовательно, принцип богатства и бедности, — заметил Канадеев, зорко глянув на него своими зелеными глазами. — Это скользко...

— Для неподкованного ума скользко... А мой ум подкован прочно, — отвечал Караманов и тоже скользнул своими холодными глазами по бледному лицу Канадеева.

Канадеев взял своего друга за плечи, ласково взглянул ему в глаза и сказал с доброй улыбкой:

— Ты все такой же.

По краю береговой крутизны снова прошмыгнула Офроська, быстро скатилась к берегу, оправила свое платье, во-

лосы, перевязанные красной ленточкой и, заложив руки за фартук, проговорила скороговоркой, точно захлебываясь словами:

— Барыня приказала просить вас чай кушать.

Молодые люди должны были покориться необходимости: энергия материнской или вообще женской заботливости, в которой они видели большую дозу деспотизма, оказалась сильнее их энергии. Хотя неохотно, но они пошли домой.

XIII

Поздно проснулась Марина после тревожно проведенной ночи. Молодой сон подкрепил ее молодое, живучее тело и своей всеильной рукой вытолкал из ее густоволосой головы все сцены предыдущего дня: и мучительные грезы ночи, и волнующие речи Караманова, и его жесткие отзывы о красоте, о самой Марине, о «последнем шаге», который должно сделать человечество, чтобы быть счастливым. Девушка, закинув руки за всклоченную голову, лениво потянулась всем своим горячим от сна, упругим телом и прищемила к кровати пушистый хвост кота Дарвина, который в борьбе за свое существование не преминул цапнуть барышню за голенькую икру и тотчас же прыгнул на пол. Девушка проснулась, как просыпалась всегда, беззаботно, с такой доверчивостью к жизни, к какой обыкновенно привыкают баловни этой жизни.

Но вдруг лицо девушки все изменилось, по ее ясному, оттененному искрасна-рыжими волосами лбу, по ее иззелена-серым большущим глазам, по всему лицу ее прошла какая-то тень, какая мгновенно проходит по поверхности ручья, когда между ним и солнцем медленно проплывет бурый коршун с широко распушенными крыльями. Тень прошла и снова воротилась на молодое лицо, да так и осталась на нем, так и затемнила его: коршун стоял в воздухе, закрывая собою солнце. Тень, оставшаяся на лице девушки, казалась уже не просто тенью, а давала лицу определенное выражение — это было выражение тупого испуга. Тени уже нет на лице, да это и не была тень — это был испуг... Девушка с ужасом вспомнила, что она что-то потеряла, лишилась чего-то дорогого; но чего — она не могла припомнить. Только сжавшееся как под клещами сердце говорило, что потеряно что-то...

А потеряно было много в эту ночь... Потеряна уверенность в свои молодые силы, в свое призвание, в свое будущее. Потеряна вера в красоту и в пригодность ее на что бы то ни было.

Потеряна вера в свой ум. Потеряна беззаботность молодости, и как будто самая молодость потеряна. Точно целые годы прошли со вчерашнего дня и оторвали бедную девушку от ее прошлого, которое казалось теперь далеким, от ее интересов, которые теперь уже казались ей чуждыми. Оглядываясь, она видела какую-то темную пропасть, в которую упало все, чем жило ее молодое воображение, а впереди не было ничего, к чему бы могло тянуть ее сердце: надо было вновь искать чего-то, а чего? Не прошлого же? Да и зачем? Цвета его так полиняли, жизненность зачахла. Она чувствовала только какую-то пустоту: это одно из тех тупых страданий, которые скорее толкают человека на самоубийство, чем острые.

Девушка обвела глазами комнату — и комната показалась ей не такою, какою она была вчера, какою была всегда. И стены не те, и цвет обоев не тот, и не то солнце глядит в окна, какое глядело вчера, глядело всегда. Девушка ничего не находила прежнего — она себя не находила...

Это было первое сомнение в жизни... Нет ничего ужаснее этого сомнения. Оно выпадает на долю одних избранных натур и доводит их или до глубокого нравственного падения, до превращения в зверя, до самоубийства, или до недостижимой нравственной высоты, до всеобъемлющего величия. Иных это сомнение заедает, унижает ниже зверя, других возвышает выше человеческого уровня, возводит до грандиозного.

Что-то злобное шевельнулось в сердце девушки, когда она вспомнила, кто отнял у нее прошлое и, по-видимому, отнимал самое будущее. Это была первая злоба в молодой жизни, и девушка даже не поняла этого чувства, так оно было для нее ново и мучительно.

Марина повернула голову, глаза ее упали на блестящую поверхность зеркала, и ей представилось, что из-за стекла глядят на нее холодные, точно из черного хрусталя сделанные глаза Караманова, и эти глаза говорят ей: «Жалкое, узкое существование... Оно и должно остаться жалким и узким...» И Марина ненавидела эти глаза, и в то же время ей хотелось заглянуть в них, заглянуть глубоко в этот черный хрусталь и прочесть в этом хрустале то, что еще так недавно она читала в своем сердце, в своем воображении.

Но вот в дверь просовывается седая голова матери.

— Насилу проснулась, — говорит мать, и зорко оглядывает комнату, — мы уж и чай давно отпили, скоро кофе будем пить.

— А он там, мама? — спрашивает девушка и сама чувствует, что голос ее звучит резко.

— Кто, глупая?

— Трубочист этот, — отвечает она снова надтреснутым голосом.

— Какой трубочист? Ты бредишь?

— Нет, мама... Тот, приезжий, у нас?

— У нас. С Митей все миры пересоздают... Ах, дети, дети!

Марина нетерпеливо передернула плечом... по старой привычке.

— А знаешь, Риночка, — говорит мать вкрадчивым голосом, — он очень богатый помещик... Ты бы с ним была поласковее.

— Уж и не подумаю, с таким уродом?

— Что ты, дурочка!

Это простое слово, которое Марина слышала тысячу раз, теперь точно резануло ее по сердцу.

— Жениха ловить собираемся, — говорит она с горечью, и отворачивается от матери.

Мать с удивлением смотрит на нее и, пожав плечами, уходит из комнаты. «Она белены объелась», — замечает про себя заботливая матушка и отправляется хлопотать по хозяйству.

В дверь просовывается перевязанная красной ленточкой голова Офроськи. За головой входит и вся Офроська, чтоб одевать барышню.

— Забава Путятишна ночью отелилась, барышня, — говорит Офроська радостно.

Марина молчит.

— Посмотрите, барышня, Дарвин муху ловит, — снова заговаривает Офроська.

Дарвин действительно сидит на окне и старается лапкой схватить большую муху. Марина молчит. Ни охота Дарвина за мухой, ни роды Забавы Путятишны не занимают ее. В ее воображении проходят какие-то тени, люди без образов; в ушах звучат жестокие слова этих безобразных теней, между которыми она видит широкоплечую фигуру Караманова, и бледного юношу, и Стожарова, и Варю, и своего брата, который смотрит куда-то вдаль и к чему-то прислушивается. «Мы делаем последний шаг, — говорит Караманов беззвучно, — а ты не сделала и первого»...

Марина машинально взглядывает в зеркало и со страхом опускает голову. Ей кажется, что Караманов смотрит на нее своими холодными, стеклянными глазами, и глаза эти смеются над ней. «Опять зеркало», — говорит он, и Марине стано-

вится стыдно... Она отворачивается от зеркала и решает не глядеть в него. «Зеркало съедает ум женщины, оно съедает и ее честность», — думает она и с боязнью вспоминает, как часто она глядела в зеркало, как часто стирала свой ум и свою честность об это гладкое, блестящее стекло. «Они правы, эти безжалостные люди, что так беспощадно бичуют все», — шепчет ее рассудок, а сердце между тем ноет, как больной зуб, и слезы готовы брызнуть из глаз девушки.

— А зачем это, барышня, энтот молодой барин мужиком ходит? — заговаривает Офроська.

Марина не отвечает. Едва ли она даже и расслышала вопрос горничной. Офроська заговаривала несколько раз, но все было напрасно: барышня была почему-то неразговорчива... Она казалась очень рассеянною и невнимательною к своему туалету. Она не хотела даже, чтоб ее причесали перед зеркалом. «Пусть этот урод не думает, что я перед ним кокетничаю», — говорила она про себя, выходя здороваться с родителями и с братом.

— Ты что такая бледная? — спросила ее мать, встретив в коридоре.

— Сон скверный видела, — отвечала она, и пошла отыскивать брата.

Брат и гость сидели на балконе. Марина ласково поздоровалась с братом и сухо поклонилась гостю. Последний привстал и предложил ей свой стул.

— Благодарю вас, я не устала, — уклонилась Марина.

— Но можете устать, — возразил Караманов.

Марина не садилась.

— Не отказывайся Рина, садись, — сказал брат. — Это первая в жизни любезность Караманова: он еще никому не предлагал своего стула.

Караманов перенес свои глаза куда-то в сторону и оперся о перила балкона.

— Это не любезность, а дело расчета, — пробурчал он, все глядя в сторону.

— Какого расчета? — спросил Дмитрий.

— Простого... И я не устал, и Марина Константиновна не устала. Но она может устать скорее меня.

— Отчего же? — спросила Марина, вскинув на гостя свои большие глаза.

— От непривычки... да и устоя меньше... Оттого я слабым всегда предлагаю свой стул, а сильным никогда.

— Я не прошу вас заботиться о моей слабости, — заметила Марина, несколько раздражившись внутренне, но с шипящей любезностью.

— Я и не забочусь, — отвечал Караманов и перенес взгляд на нее.

Дмитрий засмеялся и тоже встал. Рука его невольно опустилась на золотистые волосы сестры и стала их приглаживать.

— Какая ты встрепанная... Точно в тюки верблюжьей золотой шерсти свою рожицу запрятала, — сказал он, а потом, обратясь к Караманову, заметил: — Какой же тут расчет? Ты уступаешь свой стул сестре если не из любезности, которой ты не жалуешь, то из... человеколюбия.

— Нет, по расчету, — снова отрезал Караманов, — из эгоизма.

— Какой же тут эгоизм?.. Я не понимаю, — заметил Дмитрий.

— Очень подлый, потому что сложный, — отвечал Караманов нехотя. — Кто помогает слабому в пустяках, тот избегает возможной необходимости помогать ему в крупном... Дотяни эту ноту до конца и поймешь мелодию моей песни.

Внутреннее раздражение Марины усиливалось, но она прятала его под своим лифом, а на лицо не выпускала. Только там под лифом точно скреблись слова: «Что ж он, все тешится, противный?»

— Дотяни сам, — сказал Дмитрий, — я не в голосе.

— Изволь... Предположи, что Марина Константиновна может действительно устать... Предположи даже, что от усталости она может упасть в обморок, — я отправляюсь от пустяка и дохожу до крупного, логически, — и тогда нам будет больше с ней хлопот, чем предложить ей стул.

— Натяжка, — заметил Дмитрий, а у Марины кошка, что скребла под лифом, из под лифа перешла в глаза — эти глаза сверкнули, но кошка еще не бросилась на Караманова. — Неловкая натяжка, — повторил Дмитрий.

— Да из натяжек сшита вся жизнь... Самая смерть — неловкая натяжка.

Марина упрямо продолжала стоять, хотя ей хотелось сесть, так как после тревожно проведенной ночи она чувствовала какую-то разбитость в теле и вялость сказывалась в ее упругих ногах.

— Да вот, разве это не натяжка? — продолжал Караманов, садясь на стул, и при этом как бы заскобил следующие слова. — Когда пошло на состязание, я уступаю вам приз в стойке, — сказал он, кланяясь Марине.

Кошка не утерпела и бросилась на добычу...

— Вы кокетничаете своим остроумием, — зазвонила Марина своим металлическим голосом, со скрытым шипением змейки, у которой прищемился хвост.

— Столько же, сколько вы своими волосами, — снова заскобил Караманов. — Разве, например, это не натяжка? — говорил он уже без скобок, медленно и спокойно. — Если я даю нищему пятак, то потому, что боюсь, чтоб он не отнял у меня когда-нибудь рубля, а то и всего кошелька... Мы помогаем нищим из жалости и из боязни, хотя даже не понимаем, что тут и боязнь действует, а также и расчет: если б все нищие и все бедные, не получая от нас пятаков, увидели необходимость умереть с голоду, они бы с нас, с имущих, содрали кожу и сшили себе сапоги... Вот почему эгоистический расчет требует давать нищим пятаки, а девицам предлагать стулья.

Караманов при этом взглянул на Марину, и губы его сделали такую улыбку, какую делает собака, когда хочет укусить, да еще не обдумала своего плана.

— Точно так же и честным человек должен быть по расчету, из эгоизма, — продолжал он. — Подлецом быть не выгодно. Подлецом может быть дурак, и всякий подлец, в сущности, глуп. Вполне умный человек подлецом быть не может — это не расчет.

— Напротив, — возразила Марина, — глупый человек не сумеет быть подлецом, а умный сумеет. Оттого и говорят: «Умный человек, да подлец».

Караманов посмотрел на нее как-то вскользь и в стоячих глазах его выразилось что-то вроде минутной нерешимости.

— Я думал, что вы все-таки умнее, — сказал он.

Девушка от неожиданности присела даже на стул, с которого встал ее брат.

— Ну, вот и сели, — добавил Караманов.

Дмитрий тихо засмеялся.

— Он очень снисходителен, Риночка, не правда ли? — сказал он, и с улыбкой посмотрел на Караманова. — Он мог сказать и хуже этого.

— Хуже этого остается только побить меня, — прозвонила девушка своим серебряным голосом. — Ну, бейте меня, как вы, вероятно, бьете ваших женщин-людей. — И она подчеркнула последние слова.

Караманов, в свою очередь, вскочил со стула.

— Нет, вы умнее, чем я полагал, — сказал он весело.

— А ближе узнаете, так увидите, что я умнее вас... Как вы, однако, скоро меняете ваши мнения, — сказала девушка совсем весело и рассмеялась.

Дмитрий подошел к ней и поцеловал ее в голову.

— Умница! — сказал он ласково. — А головенка все-таки не чесана.

— Было бы в головенке причесано, а на головенке ничего... А вот у господина Караманова ни на голове, ни в голове не причесано, я вижу, — возразила Марина, глядя своими лучистыми глазами на гостя и стараясь не расхохотаться.

— Э! Да вы опасный противник, — сказал Караманов, осклабясь своею собачьею улыбкой. — У вас много остроумия, больше, чем ума... Остроумие, впрочем, низшая способность ума, — добавил он в скобках.

— А тупоумие еще ниже, — отразила девушка, глядя на него пристально.

Караманов, по-видимому, не ожидал таких резких ответов и был ими приятно изумлен. Дмитрий между тем с любопытством наблюдал за состязанием сестры с гостем и был доволен ответами Марины.

— Я рад, что вы можете сражаться со мной почти равным оружием, — сказал Караманов, подчеркнув слово «почти».

— Почти!.. Какая самоуверенность! — воскликнула Марина, вбирая в себя воздух, как она это всегда делала, когда выражала крайнее изумление. — Между остроумием и тупоумием «почти» неуместно.

Караманов, казалось, уже не слушал ее. Глаза его, недавняя улыбка и все его темное лицо как будто застыли. Он смотрел куда-то вдаль, за Волгу, где серые изломы гор кое-где зеленели в ложбинах молодой зеленью.

— Я смотрю на наш спор серьезнее, чем вы, может быть, думаете, — сказал он после некоторого молчания. — Я говорил, что умный человек не может быть подлецом. Я разумею действительно умного человека. Человек прибегает к подлости только тогда, когда для достижения своих целей честными средствами он не надеется на свой ум. Вор ворует просто по глупости, потому что у него не хватает ума честным образом приобрести ту вещь, которую он ворует. Воровство — признак глупости. Ложь — тоже результат глупости. Даже убийство истекает из глупости: убийца потому отнимает жизнь у другого, что не умеет с помощью своего ума сделать этого другого безопасным для себя или выносимым. Вполне умному человеку не расчет быть подлецом. Что за охота умному человеку воровать, чтоб потом бояться, что его воровство обнаружится и его посадят в тюрьму? Что за охота умному человеку быть убийцей? Ведь это и неприятно, и не-

выгодно... Это, наконец, стыдно, унижительно... Вот почему вполне умный человек никогда не лжет, не ворует, не убивает — по расчету, из эгоизма... Оттого умный человек никогда не притесняет слабого, потому что это, в конце концов, невыгодно, не расчетливо, и оттого умный человек всегда предлагает свой стул слабой женщине, по расчету, а не из любезности.

— Так, значит, мы обязаны настоящим знакомством с вами только вашей расчетливости? — спросила Марина лукаво.

— Только расчетливости, — отвечал Караманов серьезно.

— Без расчета вы не делаете ни шагу? — снова спросила девушка.

— Ни шагу...

— И знаешь ли, Риночка, — вмешался брат, — он не любил ни одной женщины, потому что считает это невыгодным.

Девушка с новым любопытством посмотрела на гостя. Замечание брата не вызвало в нем ни отрицания, ни подтверждения, ни даже улыбки. Марина склонна была думать, что это своего рода рисовка, напускное оригинальничанье.

— Что ж, можно драпироваться во всякие лохмотья, и в яркие, и в темные, — заметила девушка. — Но под драпировкой все же остается человек, чувства которого не зависят ни от плаща ни от маски, которые он на себя надевает... Я не верю вашей искренности, — обратилась она к Караманову, — как мой папа не верит, когда я говорю, что разлюбила сладкое.

— Это в вашей воле, верить и не верить, — сказал Караманов серьезно. — Я вам скажу одно только, что я не лгу. Я никогда не лгал, даже в пустяках, даже в шутку.

— Этому, Рина, ты можешь верить, — заметил Дмитрий, — он действительно никогда не лгал.

— Что ж, я верю... Я сама никогда не лгу.

— Так верьте же, что я ни во что не драпируюсь, — сказал Караманов тоном глубокого убеждения. — Рисовка чем бы то ни было — это ложь, кокетничанье. А кокетство я ставлю на одну доску с воровством, даже хуже — кокетство равносильно поджогу чужого дома. Я не кокетничаю, когда говорю, что не любил. Я не смею шутить тем чувством, которое называют любовью.

— Да кто ж им шутит? — спросила Марина.

— Многие... собственно те, которые не любят... Я знаю, что чувство, о котором мы говорим, — опасное проявление

человеческой природы. В малых размерах, дюжинное — оно пошло. В больших размерах, крупное — это великая сила, которая может быть и доброю, и злою... Сколько я мог узнать человеческую жизнь, сила, о которой мы говорим, больше злая, чем добрая. Это зависит от несчастного строя нашего общества. А переменится этот строй, я назову любовь великим благом... А теперь пока любить вообще опасно, неблагоприятно, нерасчетливо.

— А если полюбится? — спросила девушка серьезно.

— Не надо, чтоб полюбилось.

-- Ну, а если случится такое несчастье?

— От нас зависит, чтоб не случилось.

— Но это невозможно.

— Возможно... Я знаю по опыту...

Девушка лукаво поглядела на собеседника. В глазах ее выразилось не то недоверие, не то раздумье.

— А если не убережется человек? — спросила она.

— Тогда... ну, тогда уж приходится махнуть на все рукою.

Сказав это, Караманов поглядел на Дмитрия. Марина также обратила свое оживленное лицо к брату, который стоял позади ее стула, опираясь на балкон и, по-видимому, не слушая, о чем говорили собеседники. В глазах девушки мгновенно отразилось что-то похожее на испуг, когда она увидела выражение лица брата. Лицо это казалось спокойным, но слишком серьезным. Дмитрий глядел куда-то вдаль, хотя глаза его, по-видимому, не останавливались ни на чем, что могли видеть и другие глаза, а просто обращены были в пространство. Марине знакомо было это выражение глаз брата. Она уже видела эти глаза, она знала, на что они смотрят, и ей стало страшно. Как бы с затаенным вопросом она обратила свои недоумевающие глаза к Караманову и не могла не видеть, что и тот заметил в ее брате что-то такое, чего не мог понять.

— Канадеев, — сказал он тихо, — ты нас не слушаешь?

Дмитрий молчал. Он слушал что-то другое и видел то, чего они не видели. Марина слегка дотронулась до его руки. Он вздрогнул, но все еще мысль его была не тут, не в Варгунах, не на балконе.

— Ты нас не слушаешь? — снова спросил Караманов.

Дмитрий посмотрел на него, и глаза его сказали, что он действительно не слушает..

— Митя, ты о чем задумался? — спросила Марина, встав и положив руки на плечи брата.

— Вон он висит на веревке, — сказал Дмитрий, указывая на горизонт, где стояло белое длинное, как повешенный мешок, облачко. — Тяжело ему... Зачем земля тянет его к себе, душит его?... Палач не душит, веревка не душит, а земля душит... тянет силою тяготения, душит повешенного... Земля палач... злая земля.

Марина испуганно и жалобно посмотрела на Караманова. Тот с участием приблизился.

— Канадеев, — сказал он, стараясь стать в фокусе зрения своего друга и привлечь его внимание, — Канадеев! Зачем отрешаться от действительности, от земли?

— Но ведь ты сам видел, как он висел, — отвечал Дмитрий с более сознательным выражением глаз.

— Видел, а теперь не вижу... Зачем вспоминать?

— А ты не вспоминаешь?

— Нет... Зачем?... То прошло, то сон, а у нас есть дело.

— Да, есть...

Он нежно посмотрел в лицо сестры, в ее грустные глаза, и, заметив, что руки ее лежат на его плечах, тихо протянул к своим губам эти руки и поцеловал их.

— А у тебя никого нет? — спросил он, повернув свое бледное лицо к Караманову.

— Никого... Зачем?

— И никто тебя не любит?

— Никто... Зачем? Я сам никого не люблю.

Дмитрий посмотрел на него недоверчиво.

— Не верь ему, Рина, — сказал он сестре, — это такая добрая душа, хоть и свирепая на вид, что не только готов снять с себя последнюю рубашку для бедного, но позволить голодному откусить у себя палец, если тот попросит.

— Нет, не позволю, — возразил Караманов.

— А разве ты не снял с себя, помнишь, там на Охте, шубы и не покрыл ею того больного?

— Что ж, снял, потому что у меня дома была другая шуба...

— А помнишь, мы же с тобою голодали и кормили других...

— Нет, забыл, — сказал Караманов равнодушно.

Марина, впрочем, так была расстроена и напугана болезненным припадком брата, проявившимся в это утро, что минутная живость ее тотчас уступила место какой-то усталости, и снова ее охватила тоска, которую она почувствовала при пробуждении. Опять Караманов стал ей казаться каким-то неумолимым судьей ее совести, и она ненавидела его и в то же время

ничего так страстно не желала, как заслужить его одобрение, обратить на себя его внимание. «Недаром тот бледный юноша пошел за его словом... Неужели я пойду за ним — как идет бессильная птичка в ужасную пасть удава?» — думала она.

У балконной двери показалась растрепанная голова Офроськи. Красная ленточка была на боку. Лицо девчонки казалось встревоженным.

— Барышня, — сказала она нерешительно, — а, барышня-с!

— Что ты? — спросила Марина, вздрагивая.

— У нас беда случилась, барышня.

— Что такое? Что случилось? — спросила девушка с испугом.

— Он костью подавился... умирает-с.

— Кто умирает?

— Дарвин, барыня, костью подавился.

Караманов с неудомением посмотрел и на Марину, и на Офроську.

— Это у нас кот зовется Дарвином, — сказала Марина, вспыхнув, и поспешно ушла с балкона.

Караманов, обратясь к Дмитрию, хотел было спросить его о чем-то, но снова был поражен странным выражением лица своего друга, выражением, которое было у него за несколько минут перед этим. Во взгляде Дмитрия выражалась не сосредоточенность, не задумчивость, а какая-то отрешенность мысли от того, что было здесь, перед глазами.

— Канадеев, — сказал он тихо, положив руку на плечо Дмитрия, — хочешь настоящего дела?

Тот посмотрел на него так, как смотрит человек, который не разу понял, что ему сказали.

— Хочешь настоящего дела? — снова спросил Караманов.

— Дела... да... дай мне дело... не покидай меня...

Караманов взял его под руку и увел с балкона.

XIV

Пока Караманов будет подготавливать Канадеева к «настоящему делу», мы позволим себе возвратиться к другим действующим лицам нашего повествования, к Стожарову и Бармитиновой.

Когда Стожаров и Караманов ехали в Варгуны, чтобы приводить в исполнение свои планы, первый, между прочим, говорил своему приятелю:

— В варварские времена поклонения животной красоте женщины, дикие французы, а за ними и вся дикая Европа говорили, что «человек предполагает, а женщина располагает». В менее дикие времена идеалистического верования в идеальную силу человека, который рассматривался как математическая величина, говорили, что «человек предполагает, человек и располагает». В более новые времена, в которые мы живем, принято уже говорить, что «человек предполагает, а старуха Ананке располагает». Под этой старухой, как вам известно, подразумевается совокупность всех неблагоприятных условий жизни, с которыми должно биться человечество; старуха Ананке — это все, что нас опутывает: и «среда», заедающая того, кто, конечно, по мелкости своих силенок позволит ей это каннибальство, и человеческая бедность, и голод, и давление общественного молота на общественную наковальню, и рабство во всех его грубых и деликатных видах.

— И вы согласны с этим последним объяснением? — спросил Караманов.

— Нет, — отвечал Стожаров.

— Почему же?

— Да потому, что это слишком по-детски, все валить на старуху Ананке: так-де начальство приказало... Старуха сама по себе не существует, а ее сделали сами люди. В этом случае современное общество похоже на дикарей, которые натесали для себя деревянных и каменных идолов и приносят им человеческие жертвы.

— Что же, по-вашему, «располагает» всем? — спросил Караманов.

— Глупость, просто человеческая глупость, во всем она виновата. Она сделала и старуху Ананке, и заедающую среду, как дикари делают своих кровожадных деревянных болванов, и бедность, и голод, молот и наковальню, грубое рабство и деликатное холопство... Что касается лично до меня, то я вытолкал старуху в шею: я математически высчитал, что мне нужно, вымерял, взвесил, долго-таки бился со старухой, но добился своего, мое личное счастье теперь в моих руках.

— И вы его возьмете?

— Возьму... Я долго не брал его, потому что, как Ясон, долго должен был бороться с чудовищами.

— Но ручаетесь ли вы, что его чудовища не вырвут из ваших рук?

— Я их убил.

— А случаю вы не верите?

— Не верю... беспричинности и случайности я не признаю: все зависит от того, как я или другие подготовили то, что должно произойти. Случая нет ни в природе, ни в жизни.

А между тем в Варгунах его ожидало то, что другие, по общепринятой, устаревшей человеческой терминологии, называли бы случаем, страшным, роковым случаем, или неожиданным и неотвратимым ударом бессмысленного рока.

Полна глубокого счастья и для Стожарова, и для Вареньки была их встреча. Добровольно наложенный ими на себя аскетический подвиг во имя идеи, на что способны только люди, которых называют или сумасшедшими или фанатиками, а иногда (ведь величие всегда граничит с сумасшествием), с точки зрения дюжинных, грошовых умов, великими, наконец совершен благополучно. И Стожаров и Варенька могли сказать, положив руку на сердце, что они теперь завоевали себе право на свое личное счастье, потому что, поработав для других, успели дать счастье этим другим, успели накормить много голодных. Стожаров затем и приехал, чтобы взять с собою Вареньку и уже не расставаться с нею.

Когда он сошел с парохода и когда Канадеев предложил Караманову остановиться у них в доме, Варенька спросила Стожарова:

— А вы ко мне или к Ногину?

— Конечно, к вам, если вы не сочтете неприличным девушке находиться под одной крышей с чужим мужчиной.

— Я не считаю этого неприличным, а до других мне дела нет, — отвечала Варенька. — Пусть дьячки меня осуждают за это.

— Правда... Если смотреть на дьячков, то тогда для каждого мужчины и для каждой девушки следовало бы строить отдельные дома или запираемые по особым стойлам.

Затем он велел свой багаж нести в квартиру Вареньки. Эта квартира находилась во флигеле при доме земского училища. Флигель разделен был на две половины, из которых в одной, в надворной, помещалась Кузьминишна с дворником, он же и сторож училища, по имени Савельич; в другой, которая выходила на улицу, жила сама учительница. При ней находилась, в качестве горничной, беловолосая четырнадцатилетняя крестьянская девушка, которую Варенька, за ее вертлявость и постоянную непоседливость, называла перпетуум мобиле. Помещение Вареньки состояло из трех комнат — из зала, где стоял рояль и большой письменный стол, за которым она иногда занималась со своими воспитанниками, из гостиной

и спальней, служившей в то же время и кабинетом для девушки. Стожарову отведена была гостиная.

Весь день Варенька казалась очень оживленной. Большие прекрасные глаза, и без того отражавшие всю силу внутреннего огня, теперь казались еще более яркими и еще более красивыми. На бледных щеках вырисовывался яркий румянец, чего Стожаров не замечал за ней прежде, так как лицо Вареньки всегда было матово-белым.

— Какая ты стала хорошенькая, — говорил Стожаров вечером этого дня, когда они остались только двое.

— Я рада, что нравлюсь тебе, — отвечала девушка, — а разве прежде я была хуже? — спросила она.

— Нет, не знаю, — отвечал он, всматриваясь в ее лицо, — может быть, это каприз вкуса, только ты... еще больше похорошела.

Девушка улыбнулась и взяла Стожарова за руку.

— Какой ты гадкий! — сказала она ласково. — А если б я была не хорошенькая, ты разлюбил бы меня?

— Не знаю... Впрочем, не думаю: тебя и дурную я любил бы.

— Однако странно, — сказала девушка задумчиво, — сколько я знаю, начальным стимулом для любви мужчины к женщине всегда бывает красота, между тем как женщина может любить вполне безобразного мужчину... Прекрасная, изящная герцогиня страстно любит какого-нибудь церковного сторожа Квазимодо, девушка-ребенок отдается со всем пылом первой любви старику, когда видит в нем силу ума, благородство характера... Ведь вот ты как страшно подурнел, постарел, а я люблю тебя больше, чем любила тогда, когда ты был беленьким студентом. А вот вы, сластолюбцы, любите только хороших и молоденьких: будь старуха гениальна, вы не влюбитесь в нее, а мы в старика-гения всю душу положить готовы. Да?

— И да, и не да, — отвечал Стожаров, раздумчиво глядя на яркий румянец белых щек девушки.

— Нет, только да, — сказала девушка настойчиво. — Я готова думать, хотя бы мне этого не хотелось, что любовь женщины менее чувственна, чем ваша.

— Ты думала, Варя, да не додумала до конца, моя умница, — сказал он, притягивая к себе ее обе бледные, хрупкие руки и разглядывая их. — Мы вот это любим, вот эти бледные, хрупкие ручки, мы любим вот эти слабые, хрупкие, нуждающиеся в помощи существа... Мы любим то, чему можем принести счастье, что нуждается в нашей силе.

— А мы?

— Вы, младшие, слабейшие дети природы, любите эту силу, силу ума и силу тела, хотя бы оно было безобразно. Оттого вы полюбите всякого мужчину, только дряблого не полюбите, дряблого умом и дряблого телом: умственная и физическая дряблость мужчины возбуждают в вас отвращение.

— Это справедливо только отчасти, мне кажется, — возразила девушка. — Положим, я люблю вот эти жесткие руки и вот это загорбелое лицо, — она пригнулась к лицу Стожарова, — потому что эта жесткость и грубость прикрывают силу и ум, но отчего же женщина иногда страстно любит слабого и жалкого мужчину?

— Просто по закону контрастов, по тому же закону, по которому сильный мужчина любит хрупкую, слабую женщину. Сильная женщина действительно может иногда любить слабого мужчину, но только потому, что надеется своею силою создать из него человека... Мы более всего любим акт творчества... Едва вышедшая из детства девочка счастлива и горда бывает тем, что заставляет пожилого мужчину полюбить себя... Оттого бессилие любит силу, а сила бессилие; оттого и красота иногда любит безобразие.

Он замолчал, продолжая держать в своих руках руки девушки, и задумчиво глядел на них.

— Когда же мы поедem домой? — спросил он, прерывая молчание.

— Я всегда готова, — отвечала девушка чуть слышно, и Стожаров почувствовал, что руки ее дрогнули в его руках.

— А на каких правах? — спросил он снова.

Девушка молчала. Руки ее начинали гореть в руках Стожарова.

— Под венец? — спросил он, выпуская ее руки и отодвигаясь.

Лицо девушки вдруг побелело, но розовые пятна не сходили с щек. Она подняла голову, и глаза их встретились: выражение глаз Стожарова было строго и холодно. Девушка закашлялась и, приложив платок к лицу, долго его не отнимала. У Стожарова как бы отяжелело сердце. Он снова придвинулся к девушке и тихо привлек ее к себе. Она не сопротивлялась.

— Ты боишься? — спросил он ласково.

— Чего боюсь? — Голос девушки, когда она говорила это, как бы рвался на части.

— Переступить через труп.

Девушка отняла платок от лица и взглянула в глаза Стожарова. Глаза эти изменили прежнее выражение. Она тихо освободилась от его рук.

— Какой труп? — спросила она в недоумении.

— Труп рутины... Если мы его не переступим, не бросим за собою, он будет гнить перед нами и отравлять нашу жизнь.

Девушка положила руку на плечо Стожарова. Рука дрожала.

— Я сама думала об этом, и долго мучила меня эта мысль.

— И что же?

— В трупе так много еще силы: труп этот в состоянии убить и того, кто не в силах перешагнуть через него, и того, кто перешагнет. Таких примеров много.

Стожаров с любовью погладил распустившиеся до плеч волосы девушки, как гладят любимых детей.

— Светлая головка, — сказал он, любуясь, впрочем, не собственно головкой, а хорошеньким личиком девушки, — умница моя! Ты права, труп страшен и силен: если мы его испугаемся и не перешагнем через него, если мы «сочетаемся законным браком», мы можем или погубить себя, или должны будем обманывать друг друга. Твои чувства могут ко мне измениться, ты можешь полюбить другого...

Глаза девушки сверкнули, и она положила обе руки на плечи Стожарова.

— Или ты встретишь другое «слабое, хрупкое существо», и это «хрупкое тело» потянет тебя к себе, и ты захочешь «помочь» ему, — сказала девушка с расстановкой и глядя своими искристыми глазами в глаза Стожарова. Руки его действительно потянулись к хрупкому телу девушки и обвились вокруг хрупкой талии Вареньки. Сильное и крепкое, вопреки законам физики, обвилось вокруг слабого и хрупкого.

— Не думаю, — сказал он, — однако не ручаюсь за капризы моего ума и... тела... Может, и потянет...

Хрупкая талия девушки выскользнула из сильных рук Стожарова, и руки ее соскользнули с его плеч.

— Во всяком случае, — продолжал Стожаров, — лучше обеспечить свободу открытого отступления, чем прибегать к бегству или обману. Связанные по рукам и по ногам законным браком, мы, если надоедим друг другу, не можем свободно разойтись, потому что нам этого не позволят, и мы друг друга задушим, конечно, раньше задушит тот, кто меньше любит.

Девушка было приподнялась с дивана, на котором сидела, и снова опустилась на место.

— Я все это передумала, — сказала она грустно.

— И нашла, что я прав?

— Прав, хоть страшно в этом сознаться... Нерасторжимость брака ведет за собою страшные последствия, очень часто обман, и иногда доводит до ужасных преступлений. Вот что страшно! Но и «гражданский брак» звучит так пошло, так гадко... истаскали это слово, как истаскали нигилизм... Я знала одну барышню-воровку, буквально воровку, безграмотную и пошлую, которая, воруя сахар, воображала себя нигилисткой и чуть ли не тому же учила свою молоденькую кузину... Вот до чего может истаскаться всякое понятие, когда оно попадает в узкие или грязные головы... О! Как это тяжело! В какое ужасное, безвыходное положение поставили себя люди!..

Девушка в каком-то страстном порыве отчаяния ломала руки и, припав головой к столу, горько заплакала, так что все ее тело судорожно вздрагивало.

Стожаров поражен был этим взрывом отчаяния. Он силился приподнять от стола голову девушки, но та продолжала плакать.

— Варя! Дорогая моя... зачем такое горе? — говорил он испуганно, привлекая к себе девушку, но та снова падала на стол.

— Где же выход? — говорила она задыхаясь. — Где спасение?

— Спасение в нас самих, дитя мое дорогое, бедненькое, — утешал ее Стожаров.

— Дитя... дитя! — говорила навзрыд девушка. — А наши... если они будут...

Она не могла договорить.

— Кто «наши», милая?

— Дети!.. — точно оборвалось это слово в груди девушки и вылетело с рыданием.

Стожаров силой приподнял девушку за талию и, как маленького ребенка, прижал к своей груди.

— Плачь тут, — шептал он, целуя ее голову.

Девушка продолжала плакать, но как будто стихало ее страстное отчаяние, и горе становилось менее острым и жгучим.

— Труп... труп... — говорила она всхлипывая, — перешагнуть его можно, но уйти от него нельзя... Он притянет к себе назад холодными руками, он задушит... не нас...

— А кого же, друг мой?

— Детей наших... твоих... моих... Чьи они будут?..

— Чьи они будут? Наши: твои и мои. Фамилия их будет «Стожаровы-Бармитиновы». И ты будешь Стожарова-Бар-

митинова, и я буду Стожаров-Бармитинов. Ты не потеряешь своей фамилии, у тебя ее не отнимут браком... Это обидно для женщины... Жена с честью носит фамилию своего мужа, и муж должен с честью носить и хранить фамилию своей жены, фамилию той, которую он любит, которая дала ему счастье... Понимаешь, Варя?

Девушка все еще не успокаивалась. Все тело ее вздрагивало.

— Будет, будет, дитя мое, — говорил Стожаров, отирая ей слезы, как это делают маленьким детям. — Зачем такой взрыв отчаяния?

— Я не могу... я расстроена.

Девушка мало-помалу оправлялась. Она сама припала головой к груди Стожарова.

— Вот и говори, что это хрупкое тело не обаятельно, — сказал он с волнением, — что эта беспомощность и бессилие не вызывают силу на жертвы: теперь для твоего успокоения я готов дать мое грубое, сильное тело на истязание... Это-то чувство побуждает меня биться и за счастье русского народа, за голодных, слабых, обиженных...

— Ты добрый... ты благородный, — шептала девушка.

В сениях слышались торопливые шаги. Варенька рванулась от Стожарова.

— Зачем? Ты всегда разве так будешь стыдиться? — спросил он.

— Всегда... Я не могу... при других...

— Даже если б мы и обвенчались?

— Даже и тогда... всегда...

Девушка подвинулась на другой конец дивана и старалась оправиться, но лицо ее не умело лгать, потому что никогда никого не обманывало.

— Ты права, — сказал тихо Стожаров.

В дверях показалась беловолосая перпетуум мобиле. Из-за нее выглядывала такая же белокурая, растрепанная головка Кузи Ногина.

— Ты что так поздно? Опять бежал? — спросила Варенька, заметив своего ученика.

— Нет, не бежал, Варвара Григорьевна, — отвечал мальчик, по обыкновению теребя свой искомканный картуз.

— Что же случилось? — спросила девушка снова.

— Я... меня дедушка... — Мальчик замялся.

— Что, опять посек?

— Нет, дедушка везет меня в гимназию... летом... на пароходе...

— Очень рада за тебя, — сказала девушка.

— Дедушка говорит, что купит мне столько книг, сколько я подниму... А я, Варвара Григорьевна, подниму целый пуд....

Восторг и торопливость мешали мальчику говорить. Он был весь красный.

— Скажи дедушке, что я очень рада, — проговорила девушка, глядя на Стожарова, который ласково улыбался мальчику. — Прощай.

— Прощайте... Я скажу дедушке, что Варвара Григорьевна очень рада...

С этими словами мальчик выскользнул в дверь. Слышно было, как он, сбегая с крыльца, говорил торопливо: «Савельич! А Савельич! Варвара Григорьевна очень рада, что меня отдают в гимназию...»

Перпетуум мобиле, между тем, прошмыгнула по всем комнатам, нигде не останавливаясь, дотронулась до некоторых предметов, мебели, вещей, некоторые переставила с места на место, звякнула чайными чашками, прошуршала какими-то бумагами, снова прошмыгнула, раза два зацепилась, раза три стукнула, повертелась на месте и остановилась на секунду перед своей госпожой, по-видимому, готовая снова куда-то бежать, стучать, зацепляться, шуршать, звякать и вертеться.

— Где прикажете постелить барину? — спросила она впопыхах, как если бы ей нужно было бежать куда-либо сломя голову.

Варенька посмотрела на Стожарова, не зная, что отвечать.

— Мне все равно — я могу лечь даже на дворе, в кухне, под забором. Я везде буду хорошо спать, — сказал Стожаров улыбаясь.

— Нет, нет! — поторопилась Варенька. — Вы ляжете в гостиной, там широкий и длинный диван. Постели там, Перпетинька.

— Напрасно... Я могу спать на гвоздях, как Рахметов, — заметил Стожаров.

Перпетуум мобиле бросилась в гостиную и завозилась там словно во время пожара. Потом она стремглав понеслась в спальню барыни, пошумела и повозилась там, сбегала раз пять в кухню, раза три в темноте, в сенях, налетала на дверь, снова вихрем проносилась через комнаты и наконец, затворив заальную дверь, улеглась в крошечной передней и тотчас же заснула.

Скоро разошлись по своим комнатам Варенька и Стожаров. Хотя диван в гостиной был очень широк и длинен, однако, Стожарову казался он хуже рахметовского ложа, потому что

сон упорно отказывался закрыть усталые глаза Стожарова. Он, впрочем, долго читал, хотя чтение мало его занимало в эту ночь. Его мучила безотвязная мысль: в состоянии ли перенести Варенька ту суровую жизнь, которая ожидала ее в Оболонье, и имел ли он право закабалить девушку в свое захолустное царство потому только, что девушка его любила. А если она разлюбит его, если опротивеет ей та аскетическая жизнь, которая ей готовилась, и вечная возня с крестьянскими детьми, которых Стожаров намеревался воспитать в идеальных граждан идеальной общины? Что станет с их собственными детьми, которые, вероятно, будут у них и которые не могут быть ни Стожаровыми, ни Бармитиновыми, потому что не получают прав состояния?.. Он видел перед собою тот страшный труп, через который следовало переступить, и труп этот вырастал в гору, и через эту гору не было никаких человеческих сил перебраться... Нет, от прошлого нелегко отрываться: отвернуться от него нельзя, потому что оно столько же прошедшее, сколько настоящее и, что еще ужаснее, оно и будущее держит в своих когтях... За себя Стожаров не боялся: он застраховал себя от всех посторонних влияний, от трупа, труса, огня и меча. А Варенька? Достанет ли у нее стойкости? Не вспомнит ли она впоследствии тех пошлых приманок света, на которые так падки все женщины, даже порядочные, и не потянет ли ее в этот свет, где для женщины так обаятельна вся его киргизская обстановка: визиты, танцы, глазки да лапки, унижающий человека успех в этом киргизском свете и растлевающее мозг и тело ничего неделание светских кретинов и кретинок?.. И вот ему чудится, что он уже видит свою Вареньку в киргизской кибитке, в светской гостиной, и Варенька, по обычаю всех киргизок, оголена настолько, насколько нужно для возбуждения киргиза, и болтает она по-киргизски о предметах, могущих интересовать только киргизов, и подходят к ней киргизы и по-киргизски любезничают с нею, и потом киргизы и киргизки смешиваются, кружатся, как хлысты, около чана с водой и, как хлыстовки, с голыми плечами и грудями прыгают киргизки, а киргизы хватают их за талию, за руки, и пляшут они как дикари около костра, а киргизки поют: «Пляшу, пляшу, самца прошу...» И слышится Стожарову запах трупа... Киргизы и хлысты смешались, у них одно вероисповедание, одни традиции, они все дети того же трупа... И видит он в стороне бледное лицо, какие бывают только у истязуемых, и лицо ему это знакомо, потому что он видел это лицо в гробу... Да, это оно, это лицо Добролюбова. Как он попал в киргизскую кибитку? Что вызвало его из гроба?.. «Безумные! — говорит это блед-

ное, истомленное страданием лицо. — Зачем вы останавливаете движение человеческой мысли? Зачем вы задерживаете работу лучших людей? Не для вас ли они проводят бессонные ночи, отказываясь от собственного счастья, от сытного куска хлеба? А вы что делаете? Вы продолжаете тупо смотреть на свой позор, на свое безобразие, которое не кажется вам безобразием потому, что вам позволяют любезничать с киргизами? Где же ваша честь, где ваш ум?.. Зачем вы живете, жалкие, бесполезные киргизы? Уступайте место новым поколениям и не дотрагивайтесь до них вашими грязными руками... Ваше темное царство кончается: вы пляшете в одежде мертвых, и не слышите, как стучат под бальную музыку ваши пересохшие под саванами кости... Но вы смертью не разделаетесь с землею: вас опозорит история, будущее поколение за то, что вы лучших ее людей замучили вашей тупостью, вогнали в гроб вашим равнодушием». Добролюбов закашлялся, и кашель был такой тяжелый, надрывающий сердце...

Стожаров проснулся и стал прислушиваться. Надрывающий сердце кашель продолжался где-то в стороне... Неужели это все еще кашель Добролюбова?.. Нет, это не сон, это действительность, и едва ли действительность эта не страшнее самого сна. Это кашляла Варенька, и таким страшным, опасным кашлем.

Стожаров вскочил с постели, наскоро оделся и вышел из своей спальни. В темноте он добрался до двери, за которой слышался болезненный кашель девушки, и не знал, что ему делать. Он хотел тихонько постучать в дверь, но руки его так дрожали, что он сначала не решился на это. Он слышал как будто ускоренные шаги за собою — это стучало его собственное сердце.

Кашель смолк. Стожарову слышалось только, как стучало его сердце, слышалось ему еще что-то вроде слабого, болезненного стога за дверью. Наконец, воля пересилила испуг и дрожание рук, и Стожаров тихонько постучался в дверь спальни, и почему-то ему тотчас представилось с ужасом, что он стучится в гробовую доску.

— Кто там? — послышался слабый голос из спальни.

Стожаров не узнал этого голоса, хотя ужас его говорил ему, что он знает, чей это голос.

— Это я, — сказал он вздрагивая и телом, и голосом. — Могу я войти к вам?

Ответ замедлился.

— Ты больна? — спросил он снова, и бессознательно ломал свои руки с такою силою, что если б это были менее крепкие руки, то он переломил бы кости.

— Ничего... войди, — слышался тот же голос.

Стожаров дрожащею рукой приотворил дверь и остановился. Он почувствовал во всем своем теле такую встряску, что готов был упасть. Но он не упал, встряска была слабее его. В спальне горела свеча. У постели, в глубоком кресле, сидела Варенька, вся в белом, точно в саване, в белой ночной блузе и белом спальном чепце... «Саван, саван», — застучало в сердце у Стожарова, но этот стук сердца был слаб, чтобы повалить на землю все тело Стожарова. Он удержался на ногах, только схватился за то место, где стучало сердце.

Варенька глядела на него с улыбкой, с такою кроткою, тихою, ласковою, но зато с такою слабою.

— Неприлично мужчине входить в спальню девушки, — сказала Варенька с тою же кроткою и слабою улыбкою.

Стожаров автоматически подошел к ней и автоматически тихо опустился перед ней на колени, со смутною мыслью, что ему надо поближе увидеть лицо девушки. Она протянула к нему руки. Он взял их — руки были холодны.

— Что с тобой, дитя мое? — спросил он, чувствуя, что слезы подступают не к глазам, а как будто к горлу и душат его.

— Ничего... кашель.

Нечаянно глаза его упали на белые широкие завязки чепчика Вареньки, и он весь задрожал. На одной ленте он увидел свежее пятно крови... Голова его как будто похолодела, и волосы на ней зашевелились... Это был момент, в который седеют волосы на самой молодой голове... Он как будто слышал, что и его волосы седеют, поднимаясь один за другим.

Варенька тоже заметила кровь на ленте и быстро дрожащими руками сбросила с себя чепчик. Стожаров чувствовал, что и его руки холодеют. Он готов был вскрикнуть, но боялся своего собственного голоса и молчал, только зрачки его глаз расширились и были неподвижны, как у умирающего.

— Милый!.. не бойся... это кашель, — говорила Варенька, нагибаясь к нему и обхватывая его голову.

— А кровь... неужели так далеко зашло? — бормотал он как бы бессознательно.

— Нет, нет... это ничего, — утешала его девушка.

Стожаров откинулся назад и глядел ей в лицо все еще с каким-то оцепенением в лице и с оцепенением во всем теле.

— Неужели поздно? — шептал он, как бы боясь, чтобы его не услышали.

Варенька снова закашляла и схватилась обеими руками за грудь. Стожаров как помешанный и с ужасом оглядывался,

не зная, что ему делать, где искать спасения. Девушка поднялась с кресла, сделала шаг к постели и остановилась, предшествовавший припадок кашля, по-видимому, обессилил ее. Тут только Стожаров понял что ему делать: он взял девушку на руки и, как маленького ребенка, понес к постели. Он уложил ее, поправил подушки, бережно разул ее и прикрыл легким одеялом. Девушка перестала кашлять и с любовью глядела на Стожарова.

— Какая у меня няня милая, — говорила она с слабою улыбкою. — Подойди ко мне, нагнись...

Стожаров подошел и пригнулся к бледному лицу девушки. Две слезы упали на это лицо.

— Как стыдно... Мужч-на плачет... милый мой!

Стожаров осторожно поправил ей волосы, которые, без чепца, рассыпались по подушке, приложив руку к голове девушки, пощупал пульс и что-то обдумывал.

— Сядь поближе ко мне, чтоб я тебя видела... Вот так... дай руку.

Стожаров сел у ног девушки, взял ее за руку и молчал.

— Ты что же такой хмурый? — спросила Варенька ласково.

— Я боюсь утомить тебя — ты так ослабела, — отвечал он, — лучше усни, если можешь, а я посижу около тебя.

Девушка действительно очень ослабела и скоро закрыла глаза. Ей было так покойно на сердце, так приятно было сознать, что она не одна, что сон ее оберегает что-то доброе, любящее, сильное. Ей казалось, что воротилось ее безмятежное, хотя бессмысленное детство, — и годы борьбы с жизнью, годы сомнений, ожиданий, все это отошло далеко-далеко, и впереди всех картин прошлого выступало суровое, но доброе и ласковое лицо Стожарова.

Девушка заснула, а Стожаров все сидел около нее, опустив голову и по временам взглядывая на бледное кроткое, со зловещим румянцем на щеках, лицо Вареньки. И отдавались в ушах у него чьи-то суровые слова: «Проклятые! Проклятые! Проклятые! Посмотрите, что наделало ваше тупое равнодушие, ваша преступная глупость. Зачем вы убиваете лучших людей? Зачем вы ее убили, когда она с вас же хотела снять позор, подняв на свои плечи то, что вы все должны были поднять, и сломилась под тяжестью ноши? А вы что делали, жалкие, преступные идиоты и идиотки? Вы наряжались, выезжали, плясали и любезничали с киргизами, подобно паразитам, уничтожая результаты труда лучших людей, подтачивая под корень их святое, великое дело. Когда же вы

опомнитесь, когда покаетесь, поумнеете, когда вы поймете что вам делать, чтоб только не погибало из-за вас то, что есть лучшего на земле? Опомнитесь, одумайтесь! Вы слишком низко упали, чтоб можно было упасть еще ниже... Вы умеете думать — и думаете только о том, что унижает человека... Вы умеете читать — и во всех книгах читаете только о своем безвозвратном позоре, о вашем глубочайшем падении, и вы не понимаете даже, что это о вас пишется, и вам не стыдно читать о вашей собственной гнусности... Поймите же, что это о вас говорится, о вас, бесполезно живущих на земле и ничего не прибавляющих к работе лучших людей человечества... Вы не умеете краснеть от стыда, вы так низко упали, что вас не оскорбляют даже пощечины, которые публично дают вам в книгах, на театральных подмостках, с профессорских кафедр... И вы живете, вы не умираете, а умирает она, которая взяла на себя ваш труд, которая хотела закрыть ваш глубокий позор... Так умирайте вы, а лучшие люди, мученики мысли и труда, пусть живут... Прочь с земли все бесполезное, останавливающее работу мысли человеческой! Прочь! Скройтесь с глаз честных людей! Вы не замажете ни белилами, ни румянами следы публичных пощечин на ваших щеках: ваш позор проглядывает в вас, как в глазах падшей, глубоко падшей женщины проглядывает позор ее безвозвратного падения...»

В таких безотрадных мыслях утро застало Стожарова у постели Вареньки Бармитиновой.

XV

Поздно проснулась Варенька после этой мучительной ночи, и первый, кого она увидела в своей спальне, был Стожаров. Его нельзя было узнать — так он осунулся и постарел за эту ночь, прислушиваясь к тихому дыханию спящей и снова переживая всю свою жизнь, из которой его собственная упрямая воля исключила все радости и из которой теперь, казалось, сама эта неумолимая жизнь, сама старуха Ананке, которой он не верил, грубо вычеркивала его единственную и последнюю радость.

Стремительно рванулась к нему девушка, увидев бледное, почерневшее лицо Стожарова, но он тихо остановил ее, боясь, чтобы не было для нее убийственным всякое нравственное потрясение. Как и прежде, он бережно взял ее на руки, словно пятилетнего ребенка, и осторожно положил на постель, заку-

тав в одеяло ее похолодевшие ноги. Как с хрупким фарфором обращался он с этим непрочным телом, боясь раздавить в своих жестких сильных руках дорогую ношу, и когда Варенька, уложенная им в постель, обвилась было вокруг его загорелой толстой шеи, он бережно отнял от себя белые и слабые руки девушки и велел ей лежать смирно, пока он не посоветуется с доктором.

Расспросив ее обстоятельно о начале и ходе болезни и попросив Кузьминишну не отходить от барышни (перпетуум мобиле он боялся поручить уход за больной, чтобы вертлявая горничная не утомила ее своим метанием и хлопаньем), Стожаров отправился в дом Канадеевых, чтобы посоветоваться с Карамановым насчет здоровья Вареньки. Караманов, работавший и в университете, и в медицинской академии за десятилетия, имел еще в Петербурге репутацию хорошего доктора и отличного диагноста, а вольной практикой последних лет увеличил свои знания.

Стожарова провели в комнату Дмитрия, где был и Караманов. Вслед за Стожаровым вошла и Марина, с которой он уже был знаком после встречи у Вареньки... При взгляде на Дмитрия он вспомнил, что видел его в доме умалишенных, когда тот рассказывал ему о своих полетах над землею, о повешенном юноше и просил его выпустить на свободу. Дмитрий, по-видимому, узнал Стожарова, но только не мог припомнить, где и когда видел его.

Искаженное лицо Стожарова не могло не поразить Караманова. Марина также заметила в нем печальную перемену.

— Что случилось? — спросил Караманов без всякого предисловия.

— Случилось то, что вы предвидели вашим дьявольским, безжалостным умом, — как бы простонал Стожаров, опускаясь на близстоящий стул.

Марина с недоумением и страхом посмотрела и на того, и на другого. Особенно злобещею казалась ей страшная голова Караманова.

— Что, верно, старуха Ананке втирается в вашу жизнь? — спросил он тихо, как бы кусая собеседника своими холодными глазами.

— Да... Пойдемте сейчас ко мне...

Торопливый голос его дрожал. Караманов понял, что что-то очень острое и сильное надрезало этот голос, потому что такого человека, как Стожаров, можно было пришибить только очень здоровым обухом. А Дмитрий все вглядывался в него и старался припомнить, где видел его, но не мог.

— Значит, и вы не все математически рассчитали... Нашлась и у вас Ахиллесова пята, только под левым подреберьем... Жаль мне вас, — сказал Караманов, и в голосе его дрогнуло что-то вроде чувства.

— Довольно об этом! Надо спасать ее... Спасите мне ее, — говорил Стожаров порывисто и, взяв Караманова за руку, приподнял его со стула.

Караманов встал. За ними встали и Канадеевы. Караманов торопливо собрался. Грубое лицо его осветилось какою-то силой. Вдруг Марина бросилась к Стожарову и, ломая руки, проговорила шепотом испуга: «Ради Бога! Кого спасать?.. Вареньку?..»

Стожаров молча опустил голову. Эта сильная точеная голова как бы не держалась на плечах...

— Спасите ее! Спасите ее! — с тем же испуганным, сдержанным криком бросилась Марина к Караманову и хватала его за руку. — Я пойду с вами... Я хочу ее видеть... Караманов! Спасите ее!

Вслед за тем они все вчетвером отправились в квартиру Вареньки. Караманов молчал, и все молчали. Все как будто инстинктивно сознавали, что тут нужна его сила, и все невольно подчинялись ему. Марина взглядывала иногда на его бесстрастное лицо и силилась разгадать, что думает он, зачем брови его иногда как бы вскидываются к щетинистым волосам, потом углы губ злобно опускаются, а за ними опускаются и черные брови. «Откуда же в нем эта сила, перед которой все склоняются?» — думала Марина, и в сердце ее творилось что-то неладное.

Стожаров провел Караманова прямо в спальню Вареньки. Марина и Дмитрий остались в другой комнате. Но вскоре из спальни вышел и Стожаров, еще более бледный и расстроенный. Он сел на стул и схватился руками за голову.

— Что? — спросила Марина шепотом.

— Он выслал меня... Он за нее и за меня боится... За меня?

И Стожаров рванулся было к двери, но остановился.

Долго тянулось томительное ожидание, точно всем в той закрытой комнате готовился смертный приговор. Все молчали, только Дмитрий иногда что-то шептал про себя и проводил рукою по своему бледному широкому лбу. Марине невыразимо было жаль Стожарова. Она хотела подойти к нему, утешить его, но сил не хватало.

Наконец Караманов вышел из спальни. Темное лицо его казалось еще более темным. Стожаров бросился к нему и... Марина вздрогнула.. Стожаров стоял на коленях перед Ка-

рамановым и целовал его руку... Глаза Караманова ни на кого не глядели, но Марина разом заметила, что нет в них того холода, каким они всегда отдавали, а было что-то теплое, мягкое, грустное.

— Вы спасете ее? — какими-то жгучими звуками преговорил Стожаров. Караманов поднял его, но ничего не говорил. Ведь еще не поздно? — надрывалась грудь Стожарова.

Марина взглянула в глаза Караманова и почувствовала, что дыхание ее захватывает. Холодные глаза Караманова... плакали!..

— Поздно, — произнес Караманов хрипло, точно у него в горле пересохло.

Словно снегом сыпануло на всех от этого одного слова... «Поздно!..» Стожаров снова рванулся было к двери спальни, но Караманов схватил его своими тонкими, хотя за-грубелыми руками и, словно железными клещами, приковал к месту.

— Что вы!.. Добить ее хотите?.. Дайте ей еще пожить, посмотреть на вас перед смертью, — говорил он хриплым шепотом.

— Вы лжете!.. Лжет ваша наука... лгут ваши знания, — шипел Стожаров, напрасно силясь вырваться из железных рук Караманова. — Я спасу ее!

— Бедный! Бедный! — говорил Караманов и плакал... по темному лицу его катились слезы.

Стожаров начал умолять молодого доктора, чтоб тот пустил его к больной. Потом снова метался в каком-то бешенстве. Но Караманов не пускал его.

— Я не позволю добивать ее так скоро, — говорил Караманов все тем же сильным шепотом, — лучше вас добью сразу вашим горем... Скорее встаньте... Зачем тянуть ваши муки? Ничто не спасет ее: у нее чахотка...

— Я знал это сам... но она излечима...

— Нет... это галопирующая... во весь опор несется к смерти... Не толкайте в могилу бедную девушку!

— Гал! Я вас туда столкну, если вы ее...

Стожаров не закончил безумной угрозы... Он снова упал на колени и целовал руки Караманову. Марина и Дмитрий такими же умоляющими глазами смотрели в темное лицо и в заплаканные глаза молодого человека, как будто в этих глазах, по их собственному произволу, могла заключаться и жизнь и смерть Бармитиновой.

— Скажите: она не умрет? — умолял несчастный, и гордая голова его валилась к ногам Караманова.

Тот силился приподнять его... «Бедный! Горе сильнее его», — говорил он безнадежно... А точеная голова все валялась на полу, все не поднималась от ног Караманова.

Вдруг Марина и Дмитрий отступили назад в каком-то неом ужасе. В дверях показалась больная. Она была в белом капоте с наброшенною на плечи шалью. Неподобренные и незавитые волосы рассыпались по плечам. Она была бледнее, чем накануне этого дня, но румянец на белых щеках и добрая улыбка придавали лицу ее столько красоты, что Марина чуть не вскрикнула, увидев свою любимицу. Но ни Караманов, ни Стожаров не видели ее.

Сцена, которую застала Варенька, сильно смутила ее. Она тоже отступила назад. Но когда обратилось к ней темное, заплаканное лицо Караманова и бледное, искаженное лицо Стожарова поднялось от полу, она поняла страшный смысл неом драмы и с каким-то грудным, глухим, перехваченным в горле криком обвилась вокруг шеи Стожарова. Стожаров дрогнул всем телом, но твердо поднялся с пола и поднял на руки девушку. Караманов, Дмитрий и Марина безмолвно глядели на них, боясь шевельнуться.

Караманов раньше других пришел в себя и, приблизившись к Стожарову, спокойно и как бы шутя сказал ему:

— Будет вам! Поставьте ее на пол... Это, наконец, неприлично обниматься при посторонних.

Варенька еще крепче обвилась вокруг шеи Стожарова. Стожаров еще осторожнее и нежнее стал поддерживать ее, не давая ей коснуться ногами пола.

— Сударыня, стыдно, — сказал шутя Караманов, — я ваш доктор, слушайте меня.

А у самого доктора, хотя он и старался шутить, в горле, по-видимому, засела пробка. Варенька через плечо взглянула на него и улыбнулась.

— Пустите ее, — настаивал Караманов, — а иначе я силой отниму ее у вас.

— Попробуйте... — только и отвечал Стожаров: он точно помешался.

Марина, долго боровшаяся с собою, наконец не осилила себя и бросилась к своей любимице.

— Варя! Варюша милая! Зачем ты хвораешь? Разве я не говорила тебе, что надо лечиться? Ты давно кашляешь... А ты все говорила, что это пустилки... Вон какая ты!

Варенька быстро соскользнула на пол с рук Стожарова и обняла Марину. Та начала плакать...

— Что с тобою, девочка? — говорила Бармитинова. — Я думала, что вот посыплется жемчуг на серебряное блюдо, а она вон плачет... Перестань!

Марина всхлипывала. Караманов, вскинув глазами на Стожарова и Канадеева, тихо сказал: «Будьте умнее» — и вышел в другую комнату. За ним вышел и Стожаров, сильно, пошатываясь. Варенька, заметив Канадеева, дружески протянула ему руку. Тот схватил ее и не выпускал из своих рук: почему-то страшно ему было выпустить руку этой девушки, потому что в своем болезненно впечатлительном уме он уже... считал ее дни... «раз... два... десять... двадцать...» он уже видел ее в гробу... хоронил ее... слышал, как шуршит под гробом полотно, на котором опускают гроб в могилу... слышал звуки падающих на крышу гроба комьев варгунинской черной земли... а в гробу видел это белое, прекрасное лицо девушки...

— Вы счастливы, я думаю, приездом вашего друга, — говорила Варенька, не вынимая своей руки из руки Дмитрия.

— Да, я рад, — отвечал тот машинально.

— Какая оригинальная голова, — продолжала Варенька.

— Он страшный... я боюсь его, Варя, — сказала Марина, действительно вздрагивая при воспоминании о Караманове, о его темном лице, о его жестких словах.

— А коли боишься, так полюбишь, — заметила Варенька шутливо, — он умища... своими стеклянными глазами он читал меня насквозь и в четверть часа прочел от доски до доски.

— И меня прочел, Варя; говорит — я дура... красивый кипсек с пустейшим содержанием и глупейшим текстом.

Варенька тихо улыбнулась на это, а у Марины большие глаза заискрились не то влагой слез, не то блеском обидного огня. Она как бы инстинктивно сознавала, что чувства ее к Караманову становятся опасными, чем-то вроде неосторожной ходьбы по обрыву пропасти... Голова кружится, ноги дрожат от ужаса, а заглянуть в пропасть так и тянет, так и тянет... Она не знала, что с ней — любит она его или ненавидит... Да, ненавидит, раздражительно ненавидит! А за что? За обиду самолюбия? Но это пошло... За его злобу, за его темное лицо, за его щетинистые волосы, за его ледяные глаза?.. Но это темное лицо светилось слезами о Вареньке, эти ледяные глаза плакали теплыми слезами участия... Нет, она ненавидит его за тот страх, который он ей вселяет...

Страшная чахотка действительно «галопировала» со своей жертвой и стремительно приближала ее к могиле... В заволжских Варгунах так много свободных земель, варгунинский выгон так обширен — есть где вырыть могилу бедной девушки, есть где лечь на свободе молодому телу, молодым костям...

И варгунинским дьячкам, что пачкали заборы в квартире стриженной учительницы, будет раздолье: они будут читать по мертвой учительнице, получают за это рубли и полтины, будут есть сладкую кутью на ее похоронах и запивать вином да медом.

И литературным пономарям, звонарям, дьячкам, дьяконам и попам раздолье: напишут деготьком на литературных заборах, что вот-де не соваться бы женщине не в свое дело, не искать труда, а знать бы только свою спальню да от века ей предназначенное искание самцов, а затем — рождение, кормление и нравственное уродование детей...

Галопирует чахотка к варгунинскому выгону, быстро галопирует...

Варенька давно кашляла... А кому какое дело, что Варенька кашляла?.. Вон и родовитый Аркадий Степанович кашляет: много пил на своем веку, допился до водяной и кашляет, глухо кашляет... Вон и Сонечка Валеткина кашляет: много плясала с детства, сильно перетягивала свое бесполезное тело, слишком много ничего не делала, слишком много выезжала, так что изъездила свой последний умишко, слишком много и слишком многих любила, ну, кашляет, звонко и резко кашляет... Вон и истаскавшийся Вася Паскуда кашляет... Отчего ж Вареньке не кашлять?.. Не надрываться бы столбовой дворянке над ученьем мужичат, надо бы было выйти за гвардейца, конь которого умнее седока, — тогда бы не кашляла...

Лежит на белой постельке тень Вареньки, и сидит у белой постельки тень Стожарова... Дни и ночи идут, и так скоро проходят, а теням нет сна, нет успокоения... Мертвенно бледная ручка Вареньки свесилась с постельки, и голубые жилки не наливаются кровью, а заливается кровью лишь сердце Стожарова, заливаются слезами глаза его, запавшие, обезувеченные муками бессонных ночей...

Тень Вареньки улыбается благодарною улыбкою: ведь у Вареньки все есть, что она любила и что ее любило... А на крыльце сидит Кузя Ногин и горько плачет, не радует его перспектива гимназии, не радует его целый пуд книг, и десятичные

доби кажутся ему теперь ничем не выше и не важнее персидских войн и отца Ганнибала... И дедушка Ногин часто приходит к земскому училищу и справляется: «Что наша благотельница?». А наша благотельница лежит в своей постельке, белые рученьки раскидала, ясными глазоньками на своего милого друга смотрит... И понуро ходят земские ученики под окнами своей учительницы... «Слышишь, Ряполов, это она кашляет...» Да, это действительно она кашляет, пока еще не засыпан этот кашляющий ротик заволжским тучным черноземом.

А в сердце Марины уже демон поселился, демон темноликий, щетинистоволосый, холодноглазый, и боится она этого демона, и как тень ходит по пятам его... Там смерть стучится в молодую грудь, а в другую молодую грудь демон жизни забирается, чтобы и эту молодую жизнь скомкать, обесцветить румяные щечки, залить слезами огонь молодых глаз, иссосать, высушить страстью молодые, упругие груди да подвести поближе к краю могилы — не чужой, а Марининой.

И к самому темноликому демону в сердце затесался демон белоликий, золотокосый, большеглазый... Эдакую красоту вырастила заволжская ширь! Эдакую силу обаятельную выкормили люди, сеющие пшеницу! Эдакую муку людям взлелеяло поволжское солнышко, вспоила сероберегая, мутная Волга-матушка! И гнет эта сила упругую силу демона темноликого, гнет, как медведь дуги дубовые... А крепок демон темноликий, крепче дуба матерого, осокоря жесткого — не гнется, не ломится... «Не такое мое дело, чтобы об любвях думать, на мечтания да воздыхания время тратить... Есть на это целый легион, что в озере генисаретском когда-то щетинку полоскал, а теперь по паркету шаркает да любезности красавицам на ушко нахрюкивает... А нам некогда!»

Тихо бродит по комнатам перпетуум мобиле — не звякнет, не грохнет, ни за что не зацепит, ничего не уронит, и все прислушивается, не позовет ли ее барышня-красавица. А барышня-красавица не зовет ее, никого не зовет. Лежит барышня тихо в постельке своей, и кашляет по временам ее грудка белая, надсадившаяся, и хватается перпетуум мобиле за свою грудь, точно у нее самой в молодой груди здоровое сердце отрывается. А на улице белоглазые галки не в пору раскричались, и перпетуум мобиле тихонько подходит к окну и сердито грозит им своим кулаком, чтоб не кричали, барышне-красавице спать бы не мешали.

Караманов часто посещает свою пациентку. Он хотел бы обмануть и себя, и других; но он не умеет обманывать ни себя, ни других — никого в жизни не обманывал.

— Нет надежды? — спрашивает Марина, боясь, чтобы слезы не брызнули из ее больших глаз.

— Есть надежда, — отвечал Караманов глухо, — скоро перестанет страдать.

Марина закрывает лицо руками, а сквозь пальцы капая слезы. Караманов не закрывает своего лица руками — свинцовые слезы капаят ему внутрь, на сердце.

— Увядает и отрывается от стебля лучший цветок, — говорит он... — Дорогой алмаз брошен в огонь и пропал, а виновных никто не накажет.

— А кто виновные?! — спрашивает Марина, отрывая руки от лица.

— Вы все.

— Мы? А не вы?

— Вы! — Камнем падает это слово Караманова на сердце Марины. — Вы, только вы! Каждый за себя должен отвечать перед судом истории, не настоящей истории, а будущей. Настоящая-то история похожа не на судью, а на бывшего крепостного, которому боязно сказать правду про господ. Мы будем отвечать за себя, а вы, женщины, за себя. Вы слишком много унизили достоинство человека. Вы думали больше о своей красоте, а не о деле. Вы всего ждали от ума и труда мужчины, любуйтесь же трудами ваших рук! Поздно вздумали вы приняться за дело: вы не добились ни равноправия с мужчиной, ни свободы труда, ни свободы действий. Ваши школы жалки. У вас нет высших учебных заведений, у вас нет университетов. А мы этого давно добились для себя. А вы добьетесь ли?

— Добьемся, — возражает Марина, и глаза ее искрятся блеском силы.

— А пока добьетесь, тысячи лучших женщин зачахнут в борьбе с обстоятельствами, как зачахла Бармитинова. И она не одна. Мужчине легче стать человеком, чем женщине. Мужчина с детства готовится быть деятелем, а вы, в массе, даже учиться не хотите. Выбываются из вас крупные единицы, как Бармитинова, но им нелегко подняться высоко. Не подготовленные с детства, с отрочества, эти единицы должны сами, уже в поздних летах, брать с бою университетскую науку. Ну, или со срамом отступают, меняют диплом на серьги да на собачьи ожерелья, или надламываются!

— Но нам не дают университета, — говорит Марина.

— Не дают! Возьмите сами... Увидят, что вы хотите действительно учиться, вам дадут десять университетов. Не ждите подачки, а сами возьмите.

Марина покорно опускает голову.

— Вы убили Бармитинову, — говорит Караманов, не глядя на собеседницу.

— Я! Боже мой! Чем я ее убила?

— А тем, что не помогли ей по школе... Она просто затянулась.

— Я помогала ей иногда.

— Иногда... А туалетом своим вы «иногда» занимались или всегда?

Марина вспыхнула. Слезы готовы были брызнуть, но она сдержалась.

— О, вы правы, — говорит она, в отчаянии складывая руки на коленях. — Я проклиная теперь всех пустых женщин. Та, которая ничего не сделала за свою жизнь, не облегчила ничей труд, никому не помогла своими руками, своею головою — та больше чем бесчестна. Она — воровка чужого труда, чужого времени, чужих сил, чужих денег, чужой мысли. Она — убийца: она убила мужа, брата, отца, которые убивали для нее свое здоровье. О! Я теперь понимаю вас, и как это страшно, Боже мой! Да, я убийца, подлая убийца и воровка! Я убила Варю... Ох, я больше чем Варю убила, убила Белинского, Добролюбова, всех лучших людей я убила; мы, гадкие твари, убили их! Эти люди для нас трудились, для нас чахли, не спали ночей... О! Сколько крови на нашей совести, на наших подлых руках! Варя, милая Варя! Я твоя убийца, я гадина, которую следует раздавить... О, как все гадко и низко в нас, женщинах! В то время, когда мы танцуем на пустых балах, великие люди для нас же работают, о нашем счастье, развитии и о нашей свободе думают... Великие, святые мужчины!

— Уж и святые! А с кем вы на балах танцуете? Не с мужчинами? — спрашивает Караманов, улыбаясь своей собачьей улыбкой.

— Но то идиоты... То такие же воры и убийцы великих людей, как и мы.

Входит Офроська и говорит Караманову:

— Пожалуйста-с к Варваре Григорьевне — им дурно... Прислали за вами.

XVII

Ночь. Лунная, тихая, теплая, безоблачная. В такие ночи обыкновенно хорошенькие белобрысенькие, немножко золотушные немочки, умеющие родить таких великих людей, как

Шиллер, Гете, Бернс, Гейне и Бисмарк, любят гулять на мондшейне, где бы ни был этот мондшейн — на Васильевском ли острове или на острове Рюгене, и мечтать, вполне добросовестно, немножко о любви, немножко о хозяйстве.

И в Варгунах, против дома сельского училища, золотушная немочка, сидя на крылечке, вяжет под бледным мондшейном чулочки своему будущему сынку, которого она надеется родить, когда будет совершеннолетняя и когда влюбится в нее колонист из колонии Екатеринштадта и женится на ней, если только ее фатер согласится дать за нею в приданое десять коров и две лошади, которые еще жеребятами пасутся в табуне колонии Базель, и Бог даст, не околуют от ящура, который ходит по колониям и морит скот колонистов.

Вяжет немочка чулочки и мечтает, поглядывая на светлые окна квартиры Вареньки Бармитиновой. А в окна небольшого зала видны три высокие свечи в высоких подсвечниках, и стоят эти свечи не на столах, а около длинного стола, и бросают эти свечи свет на лежащее на столе мертвое тело. Бледно и прозрачно это некогда красивое тело, да оно и теперь красиво, и теперь прекрасно, только чего-то в нем нет, и оно стало холодно, неподвижно. Глаза закрыты, и тени от ресниц падают такие длинные, такие прямые, и дрожат эти тени как будто оттого, что у мертвой веки моргают. Нет, не моргают, не моргнули уж больше, а это дрожит пламя свечи от дыхания дьячка, читающего по покойнице.

Читай, читай, усердный блюститель старины! Ты первый мазал дегтем ворота земского училища, чтобы насолить той, которая теперь лежит на столе. Читай же, читай, пока тебя самого не положили на стол и не прочитали над тобой того, что ты теперь читаешь.

И дьячок читает, усердно читает, и только по временам чувствует, что его сердце точно кто клещами сдавливает.

У гроба стоит Стожаров и смотрит в мертвое лицо Вареньки. У него никто не сдавливает сердца клещами, как у дьячка: сердце его спокойно; оно слишком долго ныло, слишком переболело, когда было о ком болеть, а теперь застыло. Иногда точеная голова пригибается к мертвой голове Вареньки, обросшая волосами щека прикладывается к гладкой, холодной щеке умершей; но холод смерти так страшен — живая щека не выдерживает холода мертвой щеки, и точеная голова поднимается, и Стожаров опять смотрит в лицо умершей, опять о чем-то думает.

Думай, думай! Тебе есть над чем подумать...

А мы оставим мертвых и тех, которые должны хоронить мертвых. У нас есть еще живые.

На берегу Волги, вправо от дома земского училища, опустив ноги с береговой крутой осыпи, сидит кто-то, облитый бледным светом луны. На пристани и в Варгунах все заснуло, и тихо кругом. Не спит только тот, кто читает по мертвой, да тот, кто любит мертвую. Не спит еще немочка, вяжущая чулочки своему будущему Адамушке, да не спит, как видно, эта голова над береговой осыпью, которая тоже, верно, о чем-нибудь думает.

И еще кто-то не спит... Жизнь имеет свои права, и ей нет дела до того, что там, облитое светом трех восковых свечей, строго смотрит на Божий мир бледное лицо мертвой девушки, как бы укоряющее живых, зачем они живут и думают о жизни... К береговой осыпи пробирается еще одна тень, пробирается робко и осторожно, как бы боясь своих собственных шагов.

Слышен шорох шагов пробирающейся тени. Тот, кто сидит у крутой осыпи, поворачивает голову и всматривается в тень.

— Кто это? — спрашивает он тихо.

— Это я, Марина, — отвечает тень.

— Зачем вы здесь одни?

— Я к вам пришла... Я не могу...

Голос у Марины дрожит. Дрожат и колени у бедной девушки. Она вся дрожит. Караманов (то был он) встает и молча смотрит в бледное лицо Канадеевой.

— Я не могу здесь оставаться, — говорит Марина, видимо, с трудом пересиливая себя.

— Я это видел, — отвечает Караманов.

Марина молчит. В ней происходит мучительная борьба, из которой она, по-видимому, не выходит победительницей. Караманов замечает, как она дрожит, и ему становится жаль ее.

— Вы озябли? — говорит он ласково.

— Да... Мне страшно.

Он берет ее за руку. Рука холодна, как у мертвой Вареньки, руку которой он целовал недавно. Караманов снимает с себя кафтан.

— Бедная девочка! — говорит он. — Дайте я вас прикрою.

Он осторожно накидывает девушке на плечи свой кафтан и говорит: «Запахнитесь, а то простудитесь, захвораете».

Где-то на селе, должно быть у общественных магазинов, в сонной тишине ночи раздается протяжный выкрик часового:

«Слушай!» Ему отвечает другой такой же выкрик, у пристани, вероятно, около хлебных амбаров Гриднева.

— Вы когда едете? — спрашивает Марина, и глаза ее стараются заглянуть в темные, глубокие глаза Караманова.

— Завтра, после похорон, — отвечает тот.

Девушка вздрагивает всем телом и, закрывая лицо руками, шепчет:

— О, Боже мой! С кем же я останусь!

— Да, мне жаль вас, — говорит Караманов как бы про себя.

— И вы никогда не воротитесь к нам? — спрашивает девушка, снова стараясь заглянуть в его глубокие глаза.

— Вероятно... Вы знаете, я еду в степи покупать участок. Вы имеете также понятие о наших планах со Стожаровым. Его планы наполовину разрушились... Напрасно он привязывался к слишком ломкому счастью! — Караманов как-то безнадежно махнул рукой. — Я буду осторожнее его, я не поставлю исполнение моих планов в зависимость от того, что может разбиться, как фарфоровая чашка... Я не привяжусь к тому, что ломко, я не положу мое сердце на острие меча...

Девушка плотно запахивается кафтаном, чтобы не дать заметить, как она дрожит.

— А если к вам привяжутся? — говорит она.

— Тем хуже для той, которая будет так несчастлива: опасно связывать свою судьбу с судьбою рудокопателя, который, может быть, и не выйдет из глубокой подземной шахты.

Девушка сбрасывает с себя кафтан и хочет удалиться. Караманов ее не останавливает. Он только глубоко вбирает в себя воздух, потому что в широкой груди у него оказывается его мало. Он поднимает с земли кафтан и говорит тихо: «Простудитесь».

Марина уходит, а Караманов снова садится на крутую осыпь и свешивает ноги...

— Все пропало, все, все! — говорит Марина в отчаянии, неровными шагами уходя от берега, и в изнеможении опускается на землю.

В это время у ног мертвой Вареньки более чем в десятый раз раздаются протяжные, певучие слова, абсолютная безнадежность которых понятна только тем, кто терял что-либо самое дорогое в жизни. «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалища губителей не седе, но в законе Господни воля Его, в законе Его поучитесь день и ночь...» А Стожаров все смотрит в пре-

красное лицо покойницы, которое становится все строже и строже, и думает, мучительно думает о чем-то... О чем же, как не о своей жизни, у которой отняли и цену, и цель?

И Караманов не сходит с крутой осыпи: ему душно в домах, ему страшно и стыдно смотреть в лицо той, которая теперь лежит на столе и которую он не мог спасти, как и той, другой, которую, быть может, он губит. Но он не просит Марину воротиться: «Легче ампутировать руку — поболит, перестанет, а отрезанной головы уже не приставишь».

А голова уже отрезана, он этого не знает.

За ним снова шорох и тень. Там, в том маленьком домике, смерть все принизила, а тут жизнь, избыток жизни все принизить хочет.

Опять перед ним стоит Марина. Голова ее поднята гордо... Скоро, скоро принизится эта гордая головка!

Караманов встает поспешно. В груди его, кажется, уж слишком много воздуха, так много, что даже его широкая грудь не может вместить всего.

— Караманов! Разве вы не видите, что я люблю вас? — говорит девушка, стараясь стать так, чтобы лунный свет падал на лицо Караманова.

— Вижу, — отвечает он.

Темное лицо его освещается: лунный ли свет на него упал, или это вышел свет изнутри его самого и блеснул в его холодных глазах, только темное лицо его освещается.

— Я сам тем же несчастлив, — прибавляет он, и в его твердом голосе слышатся какие-то вибрации, этот голос дрогнул, горло сжалось, а темное лицо все бледнело, бледнело.

Если бы на лицо девушки не падала тень, то можно было бы заметить, как от этих слов Караманова по лицу ее прошли какие-то полосы света, а по глазам — молнии.

— Ведь страдание имеет свои права, как и голод, права которого вы признаете... А я... я страдаю, — говорит девушка.

— Кто ж виноват в ваших страданиях? — как бы машинально спрашивает Караманов, сам понимая всю глупость и пустоту вопроса и с ужасом, и в то же время и с радостью (по свойственному человеческой природе гнусному дуализму), сознавая, что... голова уже отрезана и приставить ее нельзя.

— Вы виноваты! — отвечает девушка на глупый вопрос умного человека. — Вы виноваты уже тем, что в вас я встретила силу, против обаяния которой я не могла бороться... Я боролась, я ненавидела вас, глубоко ненавидела, а теперь видите, я люблю вас, я выпрашиваю у вас чувства как милостыни, как подачки!

Она потянулась было к нему обеими руками, но разом отскочила. Он тоже рванулся к ней...

— Прочь! Прочь! Не дотрагивайтесь до меня! — резко шепчет девушка, отшатываясь в сторону. — Вы виноваты, всем виноваты, виноваты! Вы говорили, неосторожно говорили, заметьте, что виновата красота, которая тянет к себе. Вы говорили, что виноват богач за то, что он богат, а другой беден и голодает. Вы говорили, что виновата власть за то только, что она власть. Всякая сила виновата за то только, что она сила и может угнетать бессилие, может принизить человека. Вы виноваты тем, что принизили мою голову, мою гордость, мой девический стыд! Я ненавижу вас! Прощайте!

Девушка стремительно уходит.

— Подождите! Не обвиняйте меня! — говорит Караманов задыхающимся голосом. — Тут вы сильнее меня... Я вас должен ненавидеть, а между тем... я вас люблю, люблю так, как... — он развел руками по направлению к двум противоположным сторонам горизонта, — весь этот необъятный мир живых людей любить не может.

Марина останавливается. При приближении Караманова она поднимает руки, как бы желая обхватить его шею.

— Нет, нет! Не прикасайтесь ко мне, — говорит он со страхом, отступая от девушки.

Марина мгновенно как бы превращается в камень.

— Я боюсь вас, я боюсь вашей страшной силы, — говорит он, — я боюсь подчиниться этой силе, вы сильнее меня. Вы убьете меня, вы уложите меня на стол между трех свечей, как Стожаров уложил Бармитинову... Я думал, что сильнее меня нет. О, как я страшно ошибся! Зачем вы отняли у меня мою голову, мою волю упрямую? Зачем вы сказали мне, что вы...

Он останавливается в нерешимости.

— Что люблю вас? — спрашивает Марина грудным шепотом.

— Да... Вы отрезали волосы у Самсона... Я думал начать великое дело и я бы его сделал, этот последний шаг к свободе и счастью человечества. А вы рубите мне пополам обе ноги, за моим великим делом я буду думать не о деле, а о вас.

— Караманов! Милый! — шепчет девушка, снова протягивая к нему руки.

— Не подходите близко! Я ни за что не ручаюсь...

Он отступает. Марина снова стоит неподвижно с вытянутыми руками.

— Уходите от меня... спрячьтесь... а иначе и вы, и я... в опасности... Я не уеду отсюда, мои планы рушатся, — говорит он, оглядываясь по сторонам, как бы ища спасения.

Девушка прыжком кошки достигает Караманова.

— Так я же тебя возьму, если ты меня не берешь, — шепчет она шепотом груди, в которой перехватило дыхание, и в одно мгновение гибкие руки живым ожерельем обхватили толстую шею Караманова. Он зашатался, машинально сделал было из своих грубых рук пояс вокруг талии девушки, но тотчас же разнял руки и упал на колени, пригибая с собой к земле и девушку, тонкие пальцы которой не расцеплялись, и руки не отпускали плечи и шею Караманова.

— Поцадите себя и... меня! — умоляет он с какою-то отчаянною дрожью хриплого голоса. — Поцадите! Я должен ехать...

— Нет, ты не уедешь... я не пушу тебя, — шепчет девушка, прижимаясь грудью к груди Караманова, — я не отпускаю тебя... или возьми меня с собой... вот так, унеси...

И Караманов чувствует, что к его сжатым губам прильнули жаркие губы девушки и палит его жгучим дыханием... «Караманов! Милый Караманов! Ты мой... я никому не отдам тебя...» И губы не отрываются, и грудь не отрывается.

У Караманова закружилась голова. Дальше он не мог выносить этой пытки и силился оторвать от себя девушку, но оттолкнуть ее силою, грубо, руки не поднимались...

— Я не могу на вас жениться... я...

— Мне все равно... Я буду твоей кухаркой, рабой, только у тебя... Караманов! Милый, милый мой!

Караманов делает последнее усилие. Он отталкивает от себя обеими руками грудь девушки... Пальцы Марины разнимаются, и она падает на землю.

— Караманов! Что вы сделали? — с испугом говорит она, приходя в себя, но ненадолго. За этим сознанием мгновенно последовал обморок.

Испуг охватывает Караманова. Он видит обморок девушки.

— Марина Константиновна! Успокойтесь, — шепчет он, нагибаясь к ней.

Марина не слышит.

— Марина! Марина! — шепчет он, припадая к ее лицу горячей щекой. — Я люблю тебя... люблю больше всего на свете... Слышишь, милая, милая моя?

Марина не слышит.

Дрожащими руками он старается развязать ей шнуровку, расстегнуть воротничок — руки не слушаются... Он разрыва-

ет шнурки, срывает пуговицы, поднимает девушку на руки... «Воздуху, ветру!» — шепчет он растерянно... А воздуху нет — весь пропал, весь вышел, и ветер имеет подлость молчать, когда он нужен, имеет гнусность притихнуть, когда он должен оживить девушку... Нет ни ветру, ни воздуху — ничего нет, все пропало!

Караманов, сжав бесчувственное тело девушки в своих сильных руках, бросается к крутой осыпи, чтобы нести девушку к воде, но крутизна останавливает его... Как у груди кормилицы, лежит у него на руках девушка, и он не знает, что с ней делать... Человек растерялся и доктор растерялся, потерял голову.

С ношей на руках он бросается к домику, где лежит мертвое тело Вареньки... «Вот и другое мертвое тело, — говорит в нем какой-то ужасный голос. — Положите их рядом — и ступайте воспитывать новое общество людей, людоеды...» Но тело Марины не холодно — это не труп... Теперь его жесткие, пересохшие губы льнут к раскрытым губам девушки. «Милая! Мариночка! Я не уеду...» Нет, это не труп — тело теплое, гибкое... Оно еще не успело сделаться трупом, не заглодело, не вытянулось... И жесткие, сухие губы хотят оживить девушку.

Он в домике смерти, а Марина все еще у него на руках.

— Мати Божая! Что с барышней? — вскрикивает со старческой визготней хриплая Кузьминишна.

— Ей дурно...

Марина открывает глаза, и руки ее, как вьюнки, опять вьются около шеи Караманова. «Милый! Караманов!..» «Милый» незаметно проносит ее в гостиную и бережно кладет на кушетку, освобождая свою шею от вьюнков.

— Дайте воды, бабушка.

Бабушка убегает за водой...

— Милый! Не уходи от меня!..

А за стеной слышится режущее по нервам чтение, теплятся свечи... «Милая! Не уходи от меня!» — шепчет сильная мужская грудь, задавленная горем, точно засыпанная могильной землей. Но милая не слышит... она ушла!

И там и тут — те же судороги жизни, отстаивающей свои права, те же нравственные конвульсии, то же порывание тела и мысли к тому, что нужно телу и мысли.

Буря жизни, пронесшись над теми, кто подвернулся под ее неумолимые законы, — стихла. Теперь, может быть, свирепствует над другими индивидуумами, в другом месте. И тут накутерьмила, и там накутерьмит, — и нет на нее ни суда,

ни апелляции. Одних уложила в могилу, других, как железным стопудовым колесом, переехала и искалечила. Сломала одного, другого, третьего... Там только разбила еще не распустившуюся почку жизни. Здесь попримяла, разбросала в разные стороны то, что должно бы быть вместе.

Варенька Бармитинова этой бурей сброшена в могилу и засыпана землей.

Марина, эта только что распустившаяся почка роскошного цветка, попривяла, осунулась, пожелтела в одну ночь.

Стожаров попал под тяжелое колесо и смотрит изломанным, примятым, но не убитым, его нелегко убить.

И по Караманову перекатился тяжелый камень, но не раздавил его, а выковал еще более упрямую волю: эта воля сквозит в почерневшем, как береговая осыпь, лице, в глазах, некогда холодных, стеклянных, а теперь горящих не то огнем страсти, не то блеском запрятанной далеко, куда-то вглубь, злости.

Через окно смотрят на Волгу безумные глаза Канадеева, и он хочет расслышать, что шепчет черная птица на ухо повешенному. Буря и его носила, как лохмоть сена, оторванного от копны, и, растрепав в воздухе, бросила.

И у Кузи Ногина сформировался смысл в маленьком личике: оно побледнело, вытянулось, смотрит строже, и в глазах сквозит небывалая солидная задумчивость. Зацепила его буря — и еще не так зацепит, когда будет за что зацепиться.

Старику Ногину навела новые морщины на лицо, попридушила огоньки в усталых глазах, забелила белой амальгамой последние волосы.

У Супони под Куканью ногу оторвало да серое солдатское лицо побронзировало: ломотой да одышкой отзывается Кукань.

У Серпороева кандидатский диплом в кармане, золотая медаль в залоге да чахотка в груди.

Старики Стожаровы в землю смотрят... нет Гриши — опять пропал, опять только старый кот на утеху остался.

На Тарлыке беззубая, слепая старица Гликерия грызет своими затвердевшими челюстями Мавруньку, зачем родила Мотьку-аспида... А Мотьки-аспида все нет: Мотька в Питере чахнет над книгами и клянет свое сумрачное детство, ничему его не научившее. Мотьке трудно, у Мотьки уже злоеющая зелень на лице и злоеющая раздражительная тряска нервов; подчас ему хочется всему человечеству салазки своротить на сторону...

У Гриднева растут капиталы по мере того, как голодают люди... И к молодому Гридневу свиное спокойствие вместе с

рублями забирается в сердце; мозг затягивает паутиной рутины... Жиреет сердце, жиреет и мысль, а мозг, как куколка в паутине, только изредка вздрагивает от постороннего прикосновения.

Заплыла жиром и Макрида-странница. Не истрепала своего пухлого бабьего тела, хоша истрепала свои грехи, как ризу ветхую... Зажиревшие ее духовные очи уже видят то, чего здравый смысл допустить не может.

Коту Дарвину собаки хвост пообгрызли в борьбе за существование, буря жизни прошла по его хвосту. Забава Путьишна благим матом ревет, давно не видя барышни, — и по жизни коровы прошла буря, и ей душистое сено не в сено.

Немочка чулочки связала под мондшейном и кроит пеленки будущему Адамушке. Офроська мечтать начинает о соседском парне:

Его серые глаза
Порют сердце без ножа.

Перпетуум мобиле горько плачет на свежей могиле барышни-красавицы в барышнинных прынелевых ботинках.

И над всем этим висит понурое, собравшееся плакать чужими слезами варгунинское, оболоньевское да питерское сермяжное небо. Только варгунинские дьячки, мазавшие дегтем забор, — навеселе, подвыпили на похоронах.

Пароход отходит от варгунинской пристани. На палубе — зеленый и злобный Стожаров. Зеленое лицо его дергает. О бок с ним — черный, как насмоленная дратва, с темным и шершавым, как заржавевшая гиря, лицом Караманов. Злые глаза его прекрасны, только для того, кто понимает всю красоту его злобы.

На крутой осыпи стоит Марина. Золотые косы ее как бы почернели. Молодое лицо зажолкло. Заплывающие слезами глаза не имеют способности оторваться от темного, как ржавая гиря, лица Караманова.

— Вы теперь куда? — говорит Караманов Стожарову.

Стожаров махнул только рукой.

— А планы? — снова спрашивает Караманов.

— Их-то я и еду выполнять, — как-то отрывисто звякнул Стожаров. — А вы?

— Я тоже — не отступлюсь.

— А с ней как? — Стожаров указал на Марину.

— Пусть выкуется совсем в человека, тогда возьму.

— А если сломится, как моя? — Стожаров вздрогнул.

— Нет, эта крепче, чуть меня не перековала по-своему.

По пристани проходят знакомые нам калики перехожие и тянут за душу своими голосами, тоже разбитыми несколько:

Не плаьте, моя меньшая братья,
Нищие люди, убоги!
Будете вы сыты и пьяны,
Будете обуты, одеты,
Будете теплом да обогрены.

— Да, жди! — говорит Супоня, ковыляя по палубе на деревянной ноге, которую он добыл под Куканью.

Другой пароход подходит к пристани. Оба парохода почти сходятся палубами.

— А! Стожаров! — слышится голос с пришедшего парохода.

И Стожаров и Караманов оборачивают на голос свои сумрачные лица.

— А, это ты, Надя?

— Я. А где Варвара Григорьевна?

— В могиле.

Серпоров — это был он — только махнул рукой.

— Ты куда? — спрашивает Стожаров.

— На подножный корм.

— А дела как?

— Ничего... Диплом, золотая медаль и... туберкулы в легких.

Серпоров кашляет. Стожаров и Караманов еще больше темнеют.

— А Валя? — спрашивает Стожаров.

— Тоже в могиле... Умерла родами.

— Как!

— Так... От меня подлеца... Это-то меня и доконало.

С задней палубы доносятся слова Макриды-странницы:

— И доходила я, лебедки мои, до пупа земли. А на пупе келейка стоит, а в келейке старей-престарый старичок...

Толстогрудые и глуполицые бабы вздыхают над «пупом земли». Один мужик фыркает. Другой сплевывает. Макрида умолкает.

— А чугунку, слышь, паря, у нас саратовцы оттягали, — говорит заскорузлый мужичонка.

— Пусто б им было, окаянным! — замечает другой, сиповатый, лохматый, точно граблями чесанный.

— А мы свою жиганем.

— Жиганем-то, паря, жиганем, коли животы не подведет.

— А пуп-ать земли с гору большую, — снова начинает Макрида.

— Фу ты сволочь бабы! Им бы все пуп да пуп, нет, чтобы про земство да про чугунок, — огрызается чесанный граблями косматник.

— А мы и ну жарить его пушками, и ну жарить! — говорит своей кучке Супоня.

— Ишь ты! Значит, весь свет заполонил?

— Весь как есть.

Пароход трогается. Караманов машет шляпой на берег и низко-низко кланяется. Глаза его заплакали бы, если б такие глаза могли плакать при других. Пожелтевшее личико Марины, с которого закапали слезы, крупные и тяжелые, как свинцовые пули, скрывается под вуалью.

— Он не обманет, — шепчет девушка, — он никогда в жизни не лгал... О, как страшно и хорошо любить таких людей!..

Пароход безтолково заболтал колесами, замутил воду. Ушел. Черная, как насмоленная дратва, голова все глядела с парохода на берег, а на берегу из-под вуали крупные слезы чаще и чаще падали на береговую осыпь.

В это мгновение мимо Марины кто-то стремительно пробегае к самой крутизне берега. Она с ужасом узнает в нем своего безумного брата Дмитрия, который в последние дни опять заболел, и его боялись выпускать из дому. Он вырвался в окно, увидев отъезжающего Караманова, что держали от него в тайне.

Сумасшедший подбежал к крутизне, остановился и протянул вперед руки, говоря отрывисто:

— Колосс на глиняных ногах просыпается... Видишь, видишь, Риночка? Он проснулся... Лилипуты падают с его плеч в море... Тонут, захлебываются... Он стряхивает со своих ног турецкие и немецкие кандалы... Видишь? Слышишь? Звенит иноземное, антиславянское железо, сброшенное гигантом с славянских ног... Гигант пошел... видишь? Он шагает по морю, по горам... Рина! Рина! Пойдем за ним, догоним его, он уходит от нас, он бросает всех, кто спит... Иди за мной!.. Северный колосс проснулся — это знамения времени... Иди за ним!..

Не успела Марина подбежать к безумцу, как он уже с крутизны летел в Волгу, которая серо-желтыми спиралями гнала струи под самыми его ногами.

Глухой всплеск воды... Пузыри над водою, и снова водяные струи спиралями пошли, куда их гнала сила земного тяготения...

— Утонул! Утонул! — раздался отчаянный голос Марины.

— Утонул! — слышались голоса на пристани.

Из ворот дома Канадеевых показались две седые головы: то были отец и мать безумца-утопленника и Марины.

Но было уже поздно. Вода унесла и труп безумца, и отчаянные головы живых безумцев — Стожарова и Караманова.

Пароход скрылся из глаз. А воротится ли он с Карамановым?.. Этот вопрос, впрочем, больше интересует Марину, чем нас. А нас больше интересует другой вопрос: дадут ли Стожаровы и Карамановы бедным людям то счастье, идея о котором засела в их упрямых головах?

Но на этот вопрос может ответить только время.

Указатель

- Авантюристы 6, 431
Архимандрит-гетман 9, 379
Беглый король 8, 41
Борьба с расколом в Поволжье 6, 239
Ванька Каин 5, 373
Великий раскол 4, 5
Вечевой колокол 6, 125
Видение в публичной библиотеке 12, 321
Воспоминания о Шевченко 12, 335
Вспышки понизовой вольницы в 1812 г. 8, 5
Гайдаматчина 7, 223
Говор камней 13, 337
Господин Великий Новгород 1, 391
Грустное воспоминание 13, 513
Два призрака 10, 493
Двенадцатый год 3, 5
Движение в расколе в 30—40-х годах XIX века 6, 379
Державная сваха 9, 449
Железом и кровью 13, 5
Жертвы вулкана 14, 5
За чьи грехи? 1, 21
Замурованная царица 3, 441
Знамена времени 14, 207
Идеалисты и реалисты 7, 5
Ирод 12, 397
Кавказский герой 13, 421
Крымская неволя 12, 351
Кто он? 13, 323
Кум Иван 2, 473
Лжедмитрий 12, 5
Любовь спасла 13, 479
Мамаево побоище 9, 485
Между Сциллой и Харибдой 2, 543
Мнимые видения и пророчества 6, 37
Наносная беда 4, 441
Наш Одиссей 2, 271
Наши пирамиды 13, 293
Новые люди 8, 189
Один из Лже-Константинов 5, 455
Один из случаев 6, 61
Он идет 2, 631
«Поиманы есте Богом и великим государем...» 11, 447
Последние годы иргизских раскольничьих общин 6, 135
Последний исторический «шпынь» 6, 277
Прометеево потомство 9, 123
Русские женщины нового времени 10, 245

Русские женщины нового времени **11, 229**

Русские женщины нового времени **11, 5**

Русские исторические женщины **10, 5**

Русские полоярники в Турции **10, 503**

Русские чародеи и чародейки **6, 5**

Сагайдачный **1, 193**

Самозванцы и понизовая вольница **5, 5**

Свету больше **9, 5**

Сила веры **2, 503**

Соловецкое сидение **2, 355**

Социалист прошлого века **12, 247**

Тимош **10, 511**

Три детоубийства **9, 441**

Тульский кречет **11, 501**

Тысяча лет назад **11, 491**

Участие семинаристов в народных движениях XVIII века **6, 315**

Фанатик **13, 231**

Царь без царства **8, 389**

Царь и гетман **2, 5**

Чума в Москве **5, 311**

СОДЕРЖАНИЕ

ЖЕРТВЫ ВУЛКАНА

*Исторический роман из последних дней
жизни Помпеи*

5

ЗНАМЕНЕНИЯ ВРЕМЕНИ

Роман в двух частях

207

УКАЗАТЕЛЬ

573

**ДАНИИЛ ЛУКИЧ
МОРДОВЦЕВ**
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 14 ТОМАХ
ТОМ 14

Редактор
И. Шурыгина

Художественный редактор
И. Марев

Технический редактор
Н. Привезенцева

Корректор
В. Антонова

ЛР № 030129 от 02.10.91 г. Подписано в печать 30.04.96 г.
Уч.-изд. л. 35,74. Цена 22 800 р.

Издательский центр «ТЕРРА».
113184, Москва, Озерковская наб., 18/1, а/я 27.

Оригинал-макет подготовлен
ТОО «Макет». 141700, Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Первомайская, 21.

Scan Kreyder - 09.08.2019 - STERLITAMAK

Д.Л. МОРДОВЦЕВ

